

Г.-Х. АНДЕРСЕН

27  
1894  
Г.-Х. АНДЕРСЕН







Ганс-Христиан  
Андерсен

---

Собрание сочинений  
в четырех томах



# Ганс-Христиан Андерсен

---

Собрание сочинений  
в четырех томах



МОСКВА  
«ТЕППА» — «TERRA»  
1995



# Ганс-Христиан Андерсен

---

## Собрание сочинений том 2

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СКАЗОК,  
РАССКАЗОВ И ПОВЕСТЕЙ



МОСКВА  
«ТЕРРА» — «TERRA»  
1995



Иллюстрации художника  
М. ПЕТРОВА

Оформление художника  
Ю. БАЖАНОВА

**Андерсен Ганс-Христиан**

А65 Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2: Сказки / Пер. с дат. — М.: ТЕРРА, 1995. — 496 с.: ил.

ISBN 5-85255-752-8 (т. 2)

ISBN 5-85255-750-1

В том 2 включено более 60 сказок, созданных автором. В основу сюжета произведений положены народные поверья и сказания. Авторские примечания подробно рассказывают об истории создания каждой сказки.

А 4703010000-054 Подписное  
А30(03)-95

ББК 84.4Д

ISBN 5-85255-752-8 (т. 2)

ISBN 5-85255-750-1

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995

## КОЕ-ЧТО

**Х**очу добиться чего-нибудь! — сказал самый старший из пяти братьев. — Хочу приносить пользу! Пусть мое положение в свете будет самое скромное — раз я делаю что-нибудь полезное, я уже не даром копчу небо. Займусь выделкой кирпичей. Они нужны всем, — значит, я сделаю кое-что.

— Но очень мало! — сказал второй. — Выделка кирпичей — дело самое пустое. Стоит ли браться за такой труд, который может выполнить и машина? Нет, вот сделаться каменщиком — это кое-что повыше; каменщиком я и буду. Это все-таки цех, а попав в цех, сделаешься гражданином, у тебя будет свое знамя и свой кабачок! Если же повезет, я стану держать и подмастерьев. И меня будут звать мастером, хозяином, а жену мою — хозяйшюкою! Вот это — кое-что повыше!

— И все же не Бог весть что! — сказал третий. — Каменщик никогда не может возвыситься до более почетного положения в обществе, чем простой ремесленник. Ты можешь быть честнейшим человеком, но ты «мастер», значит — из простых. Нет, я добиваюсь кое-чего повыше! Я хочу быть строителем, вступить в область искусства, достигнуть высших ступеней в умственных сферах. Конечно, придется начать снизу, сознаюсь откровенно — придется поступить в ученики, носить фуражку, хотя я и привык к цилиндру, бегать за пивом и водкой, словом, быть на побегушках у простых подмастерьев, которые станут меня «тыкать», — что и говорить, обидно! Но я буду думать, что все это один маскарад, маскарадные вольности, а завтра, то есть когда я сам выйду в подмастерья, я пойду своею дорожкой; до других мне и дела не будет! Я поступлю в академию, научусь рисовать, добьюсь звания архитектора — вот это уже кое-что повыше! Я могу сделаться «высокоблагородием», получить приставку к имени и спереди и сзади, и буду строить, строить, как и другие до меня! Вот что называется занять настоящее положение в обществе!

— Ну, а мне ничего такого не нужно! — сказал четвертый. — Не хочу идти по проторенной дорожке, не хочу быть копией! Я гений и переделю вас всех! Я изобрету новый стиль, новый вид построек,

соответствующий климату и материалам страны, нашей национальности и современному развитию общества! А ко всему этому я прибавлю еще один этаж — ради моей собственной гениальности!

— А если и климат и материалы никуда не годны? — сказал пятый. — Будет худо! Это ведь сильно влияет! Национальность тоже может развиваться в ущерб естественности, а желание идти в уровень с веком заставит тебя, пожалуй, забежать вперед, как это часто и случается с молодежью. Нет, как вижу, никто из вас не добьется ничего путного, сколько вы там ни воображайте о себе! Но делайте, как знаете! Я не стану подражать вам, буду держаться в стороне и обсуждать ваши дела! В каждой вещи найдется изъянчик, вот я и стану выискивать его да рассуждать о нем! Вот это — кое-что повыше!

Так он и сделал, и люди говорили о нем: «В нем есть кое-что! Умная голова! Одно вот — ничего не делает!» Таким образом и он добился кое-чего.

Вот вам и история; невелика она, а конца ей нет, пока держится мир!

Но разве из пяти братьев так и не вышло ничего особенного? Стоило тогда и заводить о них разговор! А вот послушайте, что вышло. Целая сказка!

Самый старший из братьев, тот, что выделявал кирпичи, скоро узнал, что из каждого готового кирпича выскакивает скиллинг, правда медный, но девяносто шесть таких, сложенных вместе, дают уже серебряный далер, и стоит только постучать им в дверь к булочнику, мяснику, портному, к кому хочешь — дверь сейчас настезь, и получай, что нужно. Так вот на что годились кирпичи; некоторые из них шли, конечно, и в брак, так как трескались или ломались пополам, но и этигодились.

Бедной бабушке Маргарите хотелось выстроить хижинку на самой плотине, на берегу моря. И вот старший брат отдал ей все обломки кирпичей, да еще несколько штук целых в придачу, — он был человек добрый, даром что простой рабочий. Старушка сама кое-как слепила себе из кирпичей лачужку; тесенькая она вышла, единственное оконце смотрело криво, дверь была слишком низка, а соломенная крыша могла бы быть пригнана лучше, но все-таки в лачужке можно было укрыться от дождя и непогоды, а из оконца открывался вид на море, бывшее о плотину. Соленые брызги частенько окачивали жалкую лачугу, но она держалась крепко; умер и тот, кто пожертвовал для нее кирпичи, а она все стояла.

Второй брат, тот умел строить получше! Выйдя в подмастерья, он вскинул котомку на спину и запел песенку подмастерьев:

Конец ученью! В путь-дорогу  
Искать работу я пуцусь!  
Здоров я, молод, слава Богу,  
Работник знатный — побожусь!



Когда ж на родину вернусь,  
Женюсь на любушке своей!  
Сидеть без хлеба не боюсь,  
Ведь мастер нужен всем — ей-ей!

Так он и сделал. Вернувшись в родной город и став мастером, он строил дом за домом и застроил целую улицу. Дома стояли крепко, а улица украшала собою город — и вот все эти дома выстроили в свою очередь домик самому мастеру. Разве дома могут строить? А вот спроси у них; они-то не ответят, но люди скажут: «Конечно, это улица выстроила ему дом!» Домик был невелик, с глиняным полом, но, когда мастер плясал по этому полу со своею невестой, он заблестел, что твой паркет, а из каждого кирпича в стене выскочил цветок — не хуже дорогих обоев вышло!

Да, славный это был домик и счастливая парочка! Над домиком развешался цеховой значок, а подмастерья и ученики кричали хозяину «ура!» Вот он и добился кое-чего, а потом умер — добился кое-чего еще!

Теперь очередь за архитектором, третьим братом, который был сначала мальчиком-учеником, ходил в фуражке и был на побегушках у подмастерьев. Побывав в академии, он в самом деле стал архитектором и «высокоблагородием!» Дома на улице выстроили домик второму брату, каменщику, а сама улица получила имя третьего брата, и самый красивый дом на улице принадлежал ему. Вот этот брат добился кое-чего, добился даже длинного титула и впереди и после имени. Дети его стали благородными, и вдова его, когда он умер, числилась благородною вдовой. Имя же его осталось на углу улицы и не сходило с уст народа. Да, этот добился кое-чего!

За ним шел четвертый брат, гений, который стремился создать нечто новое, особенное, да еще один этаж сверх того. Увы! Этот этаж обрушился, и гений сломал себе шею. Зато ему устроили пышные похороны с музыкой, знаменами и цветами — красноречия в газетах и — живыми на мостовой. Над могилой же были произнесены три речи, одна длиннее другой. Чего же ему больше? Он ведь так желал заставить говорить о себе. Со временем ему поставили и памятник, правда одноэтажный, но и это кое-что значит!

Итак, умер и четвертый брат, как первые три, но пятый, критик, пережил их всех. Оно так и следовало, чтобы последнее слово осталось за ним; это было для него важнее всего. Недаром он слыл «умной головой!» Но вот пробил и его час, он тоже умер, и явился к вратам рая. А здесь подходят всегда попарно, вот и с ним рядом очутилась другая душа, которой тоже хотелось войти в рай. Это была как раз бабушка Маргарита с плотины.

— Эту душонку поставили со мною в пару, верно, ради контраста! — сказал резонер. — Ну, кто ты такая, бабушка? И тебе тоже хочется туда? — спросил он.

Старушка присела чуть не до земли, подумав, что с нею говорит сам св. Петр.

— Я бедная, безродная старуха Маргарита с плотины.

— Ну, а что же ты сделала, что совершила на земле?

— Ох, ничего я такого не сделала, за что бы мне отворили двери рая! Разве уж из милости впустят!

— Как же ты распростилась с жизнью? — спросил он, чтобы как-нибудь скоротать время, — он уж соскучился стоять тут и ждать.

— Да и сама не знаю, как! Больная я была, старая, ну, верно, и не вынесла мороза да стужи, как выползла за порог! Зима-то ведь нынче какая лютая была, натерпелась я всего! Ну, да теперь все уж прошло! Денька два выдались таких тихих, но страсть морозных, как сами знаете, Ваша Милость. Все море, куда ни взглянешь, затянуло льдом, весь город и высыпал на лед, кататься на коньках и веселиться. Играла музыка, затеяли пляс да угощение. Мне все это слышно было из моей каморки. Дело было к вечеру; месяц уж выглянул, но еще не вошел в полную силу. Я лежала в постели и глядела в окошко на море; вдруг вижу там, где небо сливается с морем, стоит какое-то диковинное белое облако с черной точкой в середине! Точка стала расти, и тогда я догадалась, что это за облако. Стара ведь я была и много видала на своем веку! Такое знамение нечасто приходится видеть, но я все-таки видала его уже два раза и знала, что облако это предвещает страшную бурю и внезапный прилив, которые могут застигнуть всех этих бедных людей! А они-то так веселятся, пьют и пляшут на льду! Весь город ведь, все — и стар, и млад были там! Что, если никто из них не заметит и не узнает того, что видала и знала я?! От испуга я просто помолодела, ожила, смогла даже встать с постели и подойти к окну. Растворила я его и вижу, как люди бегают и прыгают по льду, вижу красивые флаги, слышу, как мальчишки кричат «ура!», девушки и парни поют... Веселье так и кипело, но облачко подымалось все выше и выше, черная точка все росла... Я крикнула, что было сил, но никто не услышал меня — далеко было! А скоро ударит буря, лед разобьется в куски, и все провалятся — спасения нет! Услышать меня они не могли, дойти туда самой мне тоже было невмочь! Как же мне выманить их на берег? Тут-то и надоумил меня Господь поджечь мою постель. Пусть лучше сгорит весь дом, чем погибнет столько людей такою ужасною смертью! Я подожгла постель, солома ярко вспыхнула, а я — скорее за порог, да там и упала... Дальше отойти я уж не смогла. Огненный столб взвился вслед за мною из дверей и из окна, пламя охватило крышу!.. На льду увидели пожар и пустились со всех ног на помощь мне, бедной старухе, — они думали, что я сгорю заживо!.. Все до одного прибежали ко мне; я слышала, как они обступили меня, и в ту же минуту в воздухе засвистело, загремело, точно из пушки выпалило; лед взломало, но весь народ был уже на плотине, где меня

обдавало дождем искр. Я спасла их всех. Только мне-то, верно, не под силу было перенести холод и весь этот страх, вот я и очутилась тут у ворот рая. Говорят, они открываются даже для таких бедняг, как я! На земле у меня нет больше крова, но, конечно, это еще не дает мне права войти в рай!

Тут врата райские открылись, и ангел позвал старуху. Входя туда, она обронила соломинку из своей постели, которую подожгла, чтобы спасти столько людей, и соломинка превратилась в чисто золотую, стала расти и принимать самые причудливые, красивые очертания.

— Вот что принесла с собою бедная старуха! — сказал ангел. — А ты что принес? Да, да, знаю, ты не ударил пальцем о палец во всю свою жизнь, не сделал даже ни единого кирпичика. Ах, если бы ты мог вернуться на землю и принести оттуда хоть какой кирпич! Кирпич твоей работы навряд ли годился бы куда-нибудь, но все же он показывал бы хоть доброе желание сделать кое-что. Но возврата нет, и я ничего не могу сделать для тебя!

Тогда вступилась за него бедная старуха с плотины:

— Брат его сделал и подарил мне много кирпичей и обломков; из них я слепила свою убогую лачужку, и это уж было огромным счастьем для меня, бедняжки! Пусть же все эти обломки и кирпичи сочтутся ему хоть за один кирпич! Его брат оказал мне милость, теперь этот бедняга сам нуждается в милости, а тут ведь царство Высшей Милости!

— Брат твой, которого ты считал самым ничтожным, — сказал ангел, — честное ремесло которого находил унижительным, вносит теперь за тебя лепту в небесную сокровищницу. Тебя не отгонят прочь, тебе позволят стоять тут за дверями и придумывать, как бы поправить твою земную жизнь, но в рай тебя не впустят, пока ты воистину не совершишь кое-чего.

— Ну, я бы сказал все это куда лучше! — подумал резонер, но не высказал своей мысли, и это уже было с его стороны кое-что.



# ПОСЛЕДНИЙ СОН СТАРОГО ДУБА

## Рождественская сказка

**В** лесу, на крутом берегу моря, рос старый-старый дуб; ему было ни больше ни меньше, как триста шестьдесят пять лет, но это ведь для дерева все равно, что для нас, людей, столько же суток. Мы бодрствуем днем, а спим и видим сны ночью, дерево же бодрствует три времени года и спит только зимою. Зима — время его сна, ночь, сменяющая длинный день: весну, лето и осень.

В теплые летние дни около дуба кружились и плясали мухи-поденки. Каждая жила, порхала и веселилась, а устав, опускалась в сладкой истоме отдохнуть на один из больших, свежих листьев дуба. И дерево всякий раз говорило крошечному созданию:

— Бедняжка! Вся твоя жизнь — один день! Как коротко, как печально твое существование!

— Печально?! — отвечала муха. — Что ты говоришь? Гляди, как светло, тепло и чудесно! Мне так весело!

— Да ведь всего один день, и — конец!

— Конец! — говорила муха. — Кому конец? И тебе разве тоже?

— Нет, я-то проживу, может быть, тысячи твоих дней; мой день равен трем четвертям года! Ты даже и представить себе не можешь, как это долго!

— Нет, я и не понимаю тебя вовсе! Ты живешь тысячи моих дней, а я живу тысячи мгновений, и каждое несет мне с собою радость и веселье!.. Ну, а с твоею смертью приходит конец и всему этому великолепию, всему свету?

— Нет, — отвечало дерево. — Свет будет существовать куда дольше, так бесконечно долго, что я и представить себе не могу!

— Ну, так нам с тобою дана одинаково долгая жизнь, только мы считаем по-разному!

И муха-поденка плясала и кружилась в воздухе, радуясь своим нежным, изящным, прозрачно-бархатистым крылышкам, радуясь теплему воздуху, напоенному ароматом клевера, шиповника, бузины и каприфолий,

не говоря уже об аромате дикого яминника, скороспелок и душистой мяты. Аромат этот был так силен, что муха словно пьянела от него слегка. Что за длинный, чудный был день, полный радости и сладких ощущений! Когда же солнце заходило, мушка чувствовала такую приятную усталость, крылышки отказывались ее носить, и она тихо опускалась на мягкую, волнующуюся травку, кивала головкой и сладко засыпала — навеки.

— Бедняжка! — говорил дуб. — Чересчур уж короткая жизнь!

И каждый летний день повторялась та же история: та же пляска, те же речи, вопросы и ответы; одна муха-поденка жила, радовалась, веселилась и умирала, как другая.

Дерево бодрствовало весеннее утро, летний день и осенний вечер; теперь дело шло к ночи, ко сну, — приближалась зима.

Вот запели бури: «Покойной ночи, покойной ночи! Листья опали, листья опали! Их мы оборвали, их мы оборвали! Усни теперь, усни! Мы убаюкаем тебя, укачаем, потрепем во сне! Старые ветви трещат от удовольствия! Спи же, усни! Скоро настанет твоя триста шестьдесят пятая ночь! Для нас же ты — только годовалый ребенок! Спи, усни! Облака посыплют тебя снегом, накинут на твои ноги мягкое, теплое покрывало! Спи, усни!»

И дерево сбросило с себя свою зеленую одежду, собираясь на покой, готовясь уснуть, провести в грезах всю долгую зиму, видеть во сне картины пережитого, как видят их во сне люди.

И дуб когда-то был крошкой; колыбелью ему служил маленький желудь. По человеческому счету он переживал теперь четвертое столетие. Больше, великолепнее его не было дерева во всем лесу! Вершина его высоко возносилась над всеми деревьями и была видна с моря издалека, служила приметой для моряков. А дуб и не знал о том, сколько глаз искало его! В ветвях дуба гнездились лесные голуби, куковала кукушка, а осенью, когда листья его казались выкованными из меди, на ветви присаживались и другие перелетные птицы, отдохнуть перед тем, как пуститься через море. Но вот настала зима, и дерево стояло без листьев; обнаженные, извилистые, сучковатые ветви резко вырисовывались всеми своими изгибами; вороны и галки садились на них и толковали о тяжелых временах, о том, как трудно будет зимою добывать прокорм!

В ночь под Рождество дубу приснился самый чудный сон из всех, виденных им в жизни. Послушаем же!

Дерево как будто чувствовало, что время праздничное, слышало звон колоколов, и ему грезился чудный, теплый, летний день. Оно пышно раскинуло свою зеленую, мощную верхушку; солнечные зайчики бегали между листьями и ветвями; воздух был напоен ароматом трав и цветов; пестрые бабочки догоняли друг друга; мухи-поденки плясали, как будто все только и существовало для их пляски и веселья. Все, что пережило



и видело вокруг себя дерево за всю свою долгую жизнь, проходило теперь перед ним в торжественном шествии. Оно видело, как через лес проезжали верхом благородные рыцари и дамы; на шляпах их развевались перья; у каждого всадника, у каждой всадницы сидел на руке сокол; звучали охотничьи рога, лаяли собаки. Видело дерево и неприятельские войска в блестящих латах и пестрых одеждах; вооруженные копьями и алебардами воины разбивали и опять снимали палатки; ярко пылали сторожевые огни; воины располагались под деревом на ночлег, пели и отдыхали в тени его ветвей. Видело оно и влюбленных, встречавшихся около него при свете луны и вырезывавших свои инициалы на его серо-зеленой коре. На ветвях его как будто опять висели цитры и эоловы арфы, которые развешивали, бывало, веселые странствующие подмастерья, и ветер опять играл на них дивные мелодии. Лесные голуби ворковали, точно хотели высказать чувства, волновавшие при этом могучее дерево, а кукушка куковала, сколько еще лет оставалось ему жить.

И вот словно новый, могучий поток жизни заструился по всем, даже мельчайшим корешкам, по всем ветвям и листьям дерева. Оно потянулось и почувствовало всеми своими корешками, что и внизу под землею струится жизнь и тепло. Оно почувствовало прилив новых сил, чувствовало, что растет и растет все выше и выше. Ствол быстро, безостановочно тянулся ввысь, вершина его становилась все раскидистее и кудрявее... Вместе с ростом увеличивалась и сладкая тоска, стремление вырасти еще выше, подняться к самому красному солнышку!

Вершина дуба уже поднялась выше облаков, которые, как стаи перелетных птиц или белых лебедей, неслись внизу.

Дерево видело каждым листком своим, словно в каждом были глаза. Оно видело и звезды, хотя стоял ясный день. Какие они были большие, блестящие! Каждая светила точно пара ясных, кротких очей. И дубу вспомнились другие знакомые, милые очи: очи детей и очи влюбленных, встречавшихся под его сенью в ясные лунные ночи.

Дуб переживал чудные, блаженные мгновения! И все-таки он ощущал какую-то тоску, какую-то неудовлетворенность... Ему недоставало его лесных друзей! Он хотел, чтобы и все другие деревья леса, все кусты, растения и цветы поднялись так же высоко, ощутили бы ту же радость, видели тот же блеск, что и он! Могучий дуб даже и в эти минуты блаженного сна не был вполне счастлив: ему хотелось разделить свое счастье со всеми — и малыми и большими; он желал этого так страстно, так горячо, каждою своею ветвью, каждым листочком, как желают иногда чего-нибудь люди всеми фибрами своей души!

Вершина дуба качалась в порыве тоскливого томления, смотрела вниз, словно ища чего-то, и вдруг до него явственно донеслось благоухание дикого яминника, потом сильный аромат каприфолий и фиалок; ему показалось даже, что он слышит кукование кукушки!

И вот сквозь облака проглянули зеленые верхушки леса! Дуб увидал под собою другие деревья; они тоже росли и тянулись к небу; кусты и травы тоже. Некоторые даже вырывали из земли свои корни, чтобы лететь к облакам быстрее. Впереди всех была береза; гибкий ствол ее, извилистый, как зигзаги молнии, тянулся все выше и выше, ветви развевались, как зеленые флаги. Вся лесная флора, даже коричневые султаны тростника поднимались к облакам; птицы с песнями летели за нею, а на стебельке травки, развевавшемся по ветру, как длинная зеленая лента, сидел кузнечик и наигрывал крылышком на своей тонкой ножке. Майские жуки гудели, пчелы жужжали, каждая птичка заливалась песенкой; в небесах все пело и ликовало!

— А где же красненький водяной цветочек? Пусть и он будет с нами! — сказал дуб. — И голубой колокольчик, и малютка ромашка! — Дуб всех хотел видеть возле себя.

— Мы тут, мы тут! — зазвучало со всех сторон.

— А прошлогодний хорошенький дикий яминник? А чудный ковер ландышей, что расстился в лесу три года тому назад? А прелестная дикая яблонька и все другие растения, украшавшие лес в течение этих многих, многих лет? Ах, если бы и они все дожили до этого мгновения, были бы вместе с нами!

— Мы тут, мы тут! — зазвучало в вышине, как будто отвечавшие были уже впереди.

— Как хорошо, как дивно хорошо! — ликовал старый дуб. — Они все тут со мной — и малые, и большие! Ни один не забыт! Возможно ли такое блаженство?

— В небесах у Бога все возможно! — прозвучало в ответ.

И старый дуб, не перестававший расти, почувствовал вдруг, что совсем отделяется от земли.

— Вот это лучше всего! — сказал он. — Теперь я совсем свободен! Все узы порвались! Я могу взлететь к самому источнику света и блеска! И все мои дорогие друзья со мною! И малые, и большие, все!

— Все!

Пока же дуб грезил, над землей и морем разразилась в святую ночь страшная буря. Мощные волны морские дико бились о берег, дерево трещало, качалось и, наконец, было вырвано с корнями в ту самую минуту, когда ему грезилось, что оно отделяется от земли. Дуб свалился. Триста шестьдесят пять лет минули для него, как день для мухи-поденки.

На восходе рождественского солнышка буря утихла; слышался праздничный звон церковных колоколов; из всех труб, даже из трубы беднейшего крестьянина вился синий дымок, словно жертвенный фимиам в праздник друидов. Море успокоилось, и на большом корабле, выдержавшем ночную бурю, взвились флаги.

— А дерева-то нет больше! Ночная буря сокрушила наш могучий дуб, нашу примету на берегу! — сказали моряки. — Кто нам заменит его? Никто!

Вот какую надгробной речью, краткою, но сказанной от чистого сердца, почтили моряки старый дуб, поверженный бурей на снежный ковер. Донесся до дерева и старинный псалом, пропетый моряками. Они пели о рождественской радости и спасении людей, и сердца всех возносились вместе с звуками псалма высоко-высоко к небу, как возносился к нему в своем последнем сне и старый дуб.



## ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ

**М**ного сказок рассказывают аисты своим птенцам — все про болота да про трясины. Сказки, конечно, приноравливаются к возрасту и понятиям птенцов. Малышам довольно сказать: «крибле, крабле, плурремурре», — для них и это куда как забавно; но птенцы постарше требуют от сказки кое-чего побольше, по крайней мере того, чтобы в ней упоминалось о их собственной семье. Одну из самых длинных и старых сказок, известных у аистов, знаем и мы все. В ней рассказывается о Моисее, которого мать пустила в корзинке по волнам Нила, а дочь фараона нашла и воспитала. Всем известно, что впоследствии он стал великим человеком, но где похоронен — никому не известно. Так оно, впрочем, сплошь да рядом бывает.

Другая сказка не так известна, может быть, именно потому, что она туземного происхождения. Вот уже с тысячу лет, как она переходит из уст в уста от одной аистиши-мамаши к другой, и каждая мамаша рассказывает ее все лучше и лучше, а мы теперь расскажем лучше их всех!

Первая пара аистов, пустившая эту сказку в ход и сама принимавшая участие в описываемых в ней событиях, всегда проводила лето на даче в Дании, близ Дикого болота, в Венсюсселе, то есть в округе Иёринг, на севере Ютландии — если уж дело идет о точности. Гнездо аистов находилось на крыше бревенчатого дома викинга. В той местности и до сих пор еще есть огромное болото; о нем можно даже прочесть в официальном описании округа. Местность эта — говорится в нем — была некогда дном морским, но потом приподнялась; занимает она несколько квадратных миль и представляет собою топкие луга, трясины и торфяные болота, поросшие морошкой да жалким кустарником и деревцами. Над всей местностью почти постоянно клубится густой туман. Лет семьдесят тому назад тут еще водились волки — Дикое болото вполне заслуживало своего прозвища! Представьте же себе, что было тут тысячу лет тому назад! Конечно, и в те времена было отчасти то же, что и теперь: зеленый тростник с темно-лиловыми султанчиками рос так же высоко, березки щеголяли такою же белоснежною корою, такими же нежно-зелеными листьями; что же до живых обитателей, то мухи щеголяли таким

же бархатистым платьицем, фасон его был тот же, любимыми цветами аистов были, как и теперь, белый с черным, чулки они носили такие же красные, только люди в те времена одевались иначе. Но каждый человек, кто бы он ни был, раб или охотник, проваливался в трясину и тысячу лет тому назад, так же как теперь: ведь стоит только ступить на зыбкую почву трясины ногой, и — конец, живо очутишься во владениях болотного царя! Его можно было бы назвать и царем трясины, но болотный царь звучит как-то лучше. К тому же и аисты его так величали. О правлении болотного царя мало что и кому известно, да оно и лучше, пожалуй.

Недалеко от болота, над Лим-фиордом, возвышался бревенчатый замок викинга, в три этажа, с башнями и каменными подвалами. На крыше его свили себе гнездо аисты. Аистиха сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно!

Раз вечером сам аист где-то замешкался и вернулся в гнездо совсем взъерошенный и взволнованный.

— Что я расскажу тебе! Один ужас! — сказал он аистихе.

— Ах, перестань пожалуйста! — ответила она. — Не забывай, что я сижу на яйцах и могу испугаться, а это отразится на них!

— Нет, ты послушай! Она все-таки явилась сюда, дочка-то нашего египетского хозяина! Не побоялась такого путешествия! А теперь — и поминай ее, как звали!

— Что? Принцесса, египетская принцесса, из рода фей, здесь? Ну говори же! Ты знаешь, как вредно заставляешь меня ждать, когда я сижу на яйцах!

— Видишь, она, значит, поверила докторам, которые сказали, что болотный цветок исцелит ее больного отца, — помнишь, ты сама рассказывала мне? — и прилетела сюда, в одежде из перьев, вместе с двумя другими принцессами. Эти каждый год прилетают на север купаться, чтобы помолодеть! Ну, прилететь-то она прилетела, да и тю-тю!

— Ах, как ты тянешь! — сказала аистиха. — Ведь яйца могут остыть! Мне вредно так волноваться!

— Я видел все собственными глазами! — продолжал аист. — Сегодня вечером хожу это я в тростнике, где трясина понадежнее, смотрю, летят три лебедки. Но видна птица по полету! Я сейчас же сказал себе: гляди в оба, это ненастоящие лебедки; они только нарядились в перья! Ты ведь такая же чуткая, женка! Тоже сразу видишь, в чем дело!

— Это верно! — сказала аистиха. — Ну, рассказывай же про принцессу, мне уж надоели твои перья!

— Посреди болота, ты знаешь, есть что-то вроде небольшого озера. Приподымись чуточку, и ты отсюда увидишь краешек его! Там-то, на поросшей тростником трясине лежал большой ольховый пенек. Лебедки уселись на него, захлопали крыльями и огляделись кругом; потом одна из них сбросила с себя лебединые перья, и я узнал нашу египетскую

принцессу. Платья на ней никакого не было, но длинные, черные волосы одели ее, как плащом. Я слышал, как она просила подруг присмотреть за ее перьями, пока она не вынырнет с цветком, который померещился ей под водою. Те пообещали, схватили ее оперение в клювы и взвились с ним в воздух. «Эге! Зачем же это?» — подумал я. Должно быть, и она спросила их о том же. Ответ был яснее ясного. Они взвились в воздух и крикнули ей сверху: «Ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебедкой! Не видать родины! Сиди в болоте!» — и расщипали перья в клочки! Пушинки так и запорхали в воздухе, словно снежинки, а гадкие принцессы улетели!

— Какой ужас! — сказала аистиха. — Сил нет слушать!.. Ну, а что же дальше-то?

— Принцесса принялась плакать и убиваться! Слезы так и бежали ручьями на ольховый пенёк, и вдруг — он зашевелился! Это был сам болотный царь. Я видел, как пенёк повернулся, глядь — уж это не пенёк! Он протянул свои длинные, покрытые тиной, ветви-руки к принцессе. Бедняжка перепугалась, прыгнула и пустилась бежать по трясине. Да где! Мне не сделать по ней двух шагов, не то что ей! Она сейчас же провалилась вниз, а за ней и болотный царь. Он-то и втянул ее туда! Только пузыри пошли по воде и — все! Теперь принцесса похоронена в болоте! Не вернуться ей с цветком на родину. Ах, ты бы не вынесла такого зрелища, женушка!

— Тебе бы и не следовало рассказывать мне таких историй! Ведь это может повлиять на яйца!.. А принцесса выпутается из беды! Ее-то уж выручат! Вот случись что-нибудь такое со мной, с тобой или с кем-нибудь из наших, тогда бы — пиши пропало!

— Я все-таки буду настороже! — сказал аист и так и сделал. Прошло много времени.

Вдруг в один прекрасный день аист увидел, что со дна болота тянется кверху длинный зеленый стебелек; потом на поверхности воды показался листочек; он рос, становился все шире и шире. Затем выглянул из воды и бутон, а однажды утром, как раз в то время, когда аист пролетал над болотом, бутон под лучами солнца распустился, и аист увидел в чашечке цветка крошечную девочку, словно сейчас только вынутую из ванночки. Девочка была так похожа на египетскую принцессу, что аист сначала и принял ее за самое принцессу, которая опять стала маленькою, но, подумав хорошенько, решил, что, вернее, это — дочка египетской принцессы и болотного царя. Вот почему она и лежала в кувшинке.

«Нельзя же ей тут оставаться! — подумал аист. — А в нашем гнезде нас и без того много! Постой, придумал! У жены викинга нет детей, а она часто говорила, что ей хочется иметь малютку... Меня и без того обвиняют, что это я приношу в дом ребятишек, так вот я и взаправду притащу эту девочку жене викинга — то-то обрадуется!»



И аист взял малютку, полетел к дому викинга, проткнул в оконном пузыре клювом отверстие, положил ребенка возле жены викинга, а потом вернулся в гнездо и рассказал обо всем жене. Птенцы тоже слушали — они уж подросли настолько.

— Вот видишь, принцесса-то не умерла — прислала сюда свою дочку, а я ее пристроил! — закончил свой рассказ аист.

— А что я твердила тебе с первого же раза? — отвечала аистиха. — Теперь, пожалуйста, подумай и о своих! Отлет-то ведь на носу! У меня даже под крыльями чесаться начинает. Кукушки и соловьи уж улетели, а перепелки поговаривают, что скоро начнет дуть попутный ветер. Птенцы наши постоят за себя на маневрах, насколько я их знаю!

И обрадовалась же супруга викинга, найдя утром у своей груди крошечную, прелестную девочку! Она принялась целовать и ласкать малютку, но та начала кричать и отбиваться ручонками и ножонками; ласки, видимо, были ей не по вкусу. Наплакавшись и накричавшись, она, наконец, уснула, и тогда нельзя было не залюбоваться прелестным ребенком! Жена викинга не помнила себя от радости; на душе у нее стало так легко и весело, и ей пришло на ум, что и супруг ее с дружиной явится так же неожиданно, как малютка. И вот она поставила на ноги весь дом, чтобы успеть приготовить к приему желанных гостей. По стенам развешали ковры собственной ее работы и работы ее служанок, затканные изображениями богов и богинь: Одина, Тора и Фрейи. Рабы чистили старые щиты и тоже украшали ими стены; по скамьям были разложены мягкие подушки, а на очаг, находившийся посреди главного покоя, навалили груды сухих поленьев, чтобы сейчас же можно было развести огонь. Под вечер жена викинга так устала от всех этих хлопот, что уснула как убитая.

Проснувшись рано утром, еще до восхода солнышка, она страшно перепугалась: девочка ее исчезла! Она вскочила, засветила лучину и осмотрелась: на постели, в ногах, лежала не малютка, а большая, отвратительная жаба. Жена викинга в порыве отвращения схватила тяжелый железный дверной болт и хотела убить животное, но оно устремило на нее такой странный, скорбный взгляд, что она не решилась его ударить. Еще раз осмотрелась она кругом; жаба испустила тихое жалостное кваканье; тогда жена викинга отскочила от постели к отверстию, заменявшему окно, и распахнула деревянную ставню. В эту минуту как раз взошло солнце; лучи его упали на постель и на жабу... В то же мгновение широкий рот чудовища сузился, стал маленьким, хорошеньким ротиком, все тело вытянулось и преобразилось — перед женой викинга очутилась ее красавица дочка, жабы же как не бывало.

— Что это? — сказала жена викинга. — Не злой ли сон приснился мне? Ведь тут лежит мое собственное дитя, мой эльф! — И она прижала девочку к сердцу, осыпая поцелуями, но та кусалась и вырывалась, как дикий котенок.



Не в этот день и не на другой вернулся сам викинг, хотя и был уже на пути домой. Задержал его противный ветер, который теперь собрался помогать аистам, а им надо было лететь на юг. Да, один и тот же ветер, попутный одному, может быть противным другому!

Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над ребенком тяготели злые чары. Днем девочка была прелестна, как эльф, но отличалась злым, необузданным нравом, а ночью становилась отвратительной, но жалобно стонущей жабой с кротким и грустным взглядом. В девочке как бы соединялись две натуры: днем ребенок, подкинутый жене викинга аистом, наружностью был весь в мать, египетскую принцессу, а характером в отца; ночью же, наоборот, внешностью был похож на последнего, а в глазах светились душа и сердце матери. Кто мог снять с ребенка злые чары? Жена викинга и горевала, и боялась, и все-таки привязывалась к бедному созданию все больше и больше. Она решила ничего не говорить о колдовстве мужу: тот, по тогдашнему обычаю, велел бы выбросить бедного ребенка на проезжую дорогу — пусть берет, кто хочет. А жене викинга жаль было девочку, и она хотела устроить так, чтобы супруг ее видел ребенка только днем.

Однажды утром над замком викинга раздалось шумное хлопанье крыльев — на крыше отдыхали ночью, после дневных маневров, сотни пар аистов, а теперь все они взлетели на воздух, чтобы выстроиться в ряды для отлета.

— Все мужья готовы! — прокричали они. — Жены с детьми тоже!

— Как нам легко! — говорили молодые аисты. — Так и щекочет у нас внутри, будто нас набили живыми лягушками! Мы отправляемся за границу! Вот счастье-то!

— Держитесь в рядах! — говорили им отцы и матери. — Да не болтайте так много — вредно для груди!

И все полетели.

В ту же минуту над степью прокатился звук рога: викинг с дружиной пристал к берегу. Они вернулись с богатой добычей от берегов Галлии, где, как и в Британии, народ в ужасе молился: «Боже, храни нас от диких норманнов!»

В замке викинга закипела жизнь. В главный покой вкатили целую бочку меда, запылал костер, закололи лошадей, готовился пир на весь мир. Главный жрец окропил теплой лошадиной кровью всех рабов. Сухие дрова затрещали, дым столбом повалил к потолку, с которого сыпалась на пирующих мелкая сажа, но к этому им было не привыкать.

Гостей богато одарили; раздоры, вероломство — все было забыто; мед лился рекою; подвыпившие гости швыряли друг в друга обглоданными костями в знак хорошего расположения духа. Скальд, нечто вроде нашего певца и музыканта, но бывший в то же время и воином, который сам участвовал в походе и потому знал, о чем поет, пропел песню об одер-

жанных ими в битвах славных победах. Каждый стих сопровождался припевом: «Имущество, родные, друзья, сам человек — все минет, все умрет; не умирает одно славное имя!» Тут все принимались бить в щиты и стучать ножами или обглоданными костями по столу; стон стоял в воздухе. Жена викинга сидела на почетном месте, разодетая, в шелковом платье; на руках ее красовались золотые кольца и запястья, на шее — крупные янтари. Скальд не забыл прославить и ее, воспел и сокровище, которое она только что подарила своему супругу. Последний был в восторге от прелестного ребенка: он видел девочку только днем во всей ее красе. Дикость ее нрава тоже была ему по душе. Из нее выйдет, сказал он, смелая, воинственная женщина, которая сумеет постоять за себя. Она и глазом не моргнет, если опытная рука одним взмахом острого меча сбреет у нее в шутку густую бровь!

Бочка с медом опустела, вкатили новую — в те времена люди умели пить! Правда, и тогда уже была известна пословица: «Скотина знает время, когда пора оставить пастбище и вернуться домой, а неразумный человек не знает меры своего желудка!» Знать-то каждый знал, но ведь знать — одно, а применять знание к делу — другое. Знали все и другую пословицу: «И дорогой гость надоест, если засидится не в меру», и все-таки сидели себе да сидели: еда и питье — славные вещи! Веселье так и кипело! Ночью рабы растянулись на теплой золе, раскапывали пальцами жирную сажу и облизывали их. То-то хорошее было времечко!

В этом же году викинг еще раз отправился в поход, хотя и начались уже осенние бури. Но он собирался нагрянуть с дружиной на берега Британии, а туда ведь было рукой подать; «только через море махнуть», — сказал он. Супруга его опять осталась дома одна с малюткою, и скоро безобразная жаба с кроткими глазами, испускавшая такие глубокие вздохи, стала ей почти милее дикой красавицы, отвечавшей на ласки царапинами и укусами.

Седой осенний туман, «беззубый дед», как его называют, и все-таки обгрызающий листву, окутал лес и степь. «Бесперые птички» — снежинки густо запорхали в воздухе; зима глядела во двор. Воробьи завладели гнездами аистов и судили да рядили о бывших владельцах. А где же были сами владельцы, где был наш аист со своею аистихой и птенцами?

Аисты были в Египте, где в это время солнышко светило и грело, как у нас летом. Тамаринды и акации стояли все в цвету; на куполах храмов сверкали полумесяцы; стройные минареты были облеплены аистами, отдохавшими после длинного перелета. Гнезда их лепились одно возле другого на величественных колоннах и полуразрушившихся арках заброшенных храмов. Финиковые пальмы высоко подымали свои верхушки, похожие на зонтики. Темными силуэтами рисовались сероватые пирамиды в прозрачном голубом воздухе пустыни, где щеголяли быстротою

своих ног страусы, а лев посматривал большими умными глазами на мраморного сфинкса, наполовину погребенного в песке. Нил снова вошел в берега, которые так и кишели лягушками, а уж приятнее этого зрелища для аистов и быть не могло. Молодые аисты даже глазам своим верить не хотели — уж больно хорошо было!

— Да, вот как тут хорошо, и всегда так бывает! — сказала аистиха, и у молодых аистов даже в брюшке защежотало.

— А больше мы уж ничего тут не увидим? — спрашивали они. — Мы разве не пойдем туда, вглубь, в самую глубь страны?

— Там нечего смотреть! — отвечала аистиха. — За этими благословенными берегами лишь дремучий лес, где деревья растут чуть не друг на друге и опутаны ползучими растениями. Одни толстоногие слоны могут пролагать там себе дорогу. Змеи же там чересчур велики, а ящерицы — притки. Если же вздумаете пробраться в пустыню — вам засыплет глаза песком, и это еще будет милостиво, а то прямо попадете в песочный вихрь, и тогда уж не взыщите! Нет, тут куда лучше! Тут и лягушек и саранчи вдоволь! Я останусь тут, и вы со мною!

Они и остались. Родители сидели в гнездах на стройных минаретах, отдыхали, охорашивались, разглаживали себе перья и обтирали клювы о красные чулки. Покончив со своим туалетом, они вытягивали шеи, величественно раскланивались и гордо подымали голову с высоким лбом, покрытую тонкими, глянцевыми перьями; умные карие глаза их так и сверкали. Молоденькие барышни-аистихи степенно прохаживались в сочном тростнике, поглядывали на молодых аистов, знакомились и чуть не на каждом шагу глотали по лягушке, а иногда забирали в клюв змейку и ходили да помахивали ей — это очень к ним шло, а уж вкусно-то как было!.. Молодые аисты заводили ссоры и раздоры, били друг друга крыльями, кусались — даже до крови! Потом, глядишь — то тот, то другой из них становился женихом, а барышни одна за другою — невестами; все они для этого только ведь и жили. Молодые парочки принимались вить себе гнезда, и тут опять не обходилось без ссор и драк — в жарких странах все становятся такими горячими, ну, а вообще-то жизнь текла очень приятно, и старики жили да радовались на молодых: молодежи все к лицу! Изо дня в день светило солнышко, в еде недостатка не было, ешь — не хочу, живи да радуйся, вот и вся забота.

Но в роскошном дворце египетского хозяина, как звали его аисты, радостного было мало.

Могущественный владыка лежал в огромном покое с расписными стенами, похожими на лепестки тюльпана; он почти совсем похолодел и высох, как мумия. Родственники и слуги окружали его ложе. Мертвым его еще назвать было нельзя, но и живым тоже. Надежда на исцеление посредством болотного цветка, за которым полетела на далекий север та, что любила его больше всех, была теперь потеряна. Не дожидаться владыке

своей юной красавицы дочери! «Она погибла!» — сказали две вернувшиеся на родину принцессы-лебедки. Они даже сочинили о гибели своей подруги целую историю.

«Мы все три дня летели по воздуху, как вдруг заметил нас охотник и пустил стрелу. Она попала в нашу подружку, и бедная медленно, с прощальною лебединою песнью, опустилась на воды лесного озера. Там на берегу, под душистой плакучей березой, мы и схоронили ее. Но мы отомстили за ее смерть: привязали к хвостам ласточек, живших под крышей избушки охотника, пучки зажженной соломы — избушка сгорела, а с нею и сам хозяин ее. Зарево пожара осветило противоположный берег озера, где росла плакучая березка, под которой покоилась в земле наша подруга. Да, не видать ей больше родимой земли!»

И обе заплакали. Аист, услышав их речи, защелкал от гнева клювом.

— Ложь, обман! — закричал он. — Ох, так бы и вонзил им в грудь свой клюв!

— Да и сломал бы его! — заметила аистиха. — Хорош бы ты был тогда! Думай-ка лучше о себе самом да о своем семействе, а все остальное побоку!

— Я все-таки хочу завтра усесться на краю открытого купола того покоя, где соберутся все ученые и мудрецы совещаться о больном. Может быть, они и доберутся до истины!

Ученые и мудрецы собрались и завели длинные разговоры, из которых аист не понял ни слова; да немного толку вышло из них и для самого больного, не говоря уже о его дочери. Но послушать речи ученых нам все же не мешает — мало ли что приходится слушать!

Вернее, впрочем, будет послушать и узнать кое-что из предыдущего, тогда мы поближе познакомимся со всею историей, во всяком случае узнаем из нее не меньше аиста.

«Любовь — родоначальница жизни! Высшая любовь рождает и вышшую жизнь! Лишь благодаря любви может больной возродиться к жизни!» — вот что изрек мудрецы, когда дело шло об исцелении больного владыки; изречение было необыкновенно мудро и хорошо изложено — по уверению самих мудрецов.

— Мысль недурна! — сказал тогда же аист аистихе.

— А я что-то не возьму ее в толк! — ответил та. — И уж, конечно, это не моя вина, а ее! А, впрочем, меня все это мало касается: у меня есть о чем подумать и без того!

Потом ученые принялись толковать о различных видах любви: любовь влюбленных отличается ведь от любви, которую чувствуют друг к другу родители и дети, и от любви света к растению, говорили, что солнечный луч целует тину, и из нее выходит росток, говорили и о многом другом. И речи их отличались такою глубиной и ученостью, что аист был не в силах даже следить за ними, не то что пересказать их аистихе. Он

совсем призадумался, прищурил глаза и простоял так на одной ноге весь день. Ученость была ему не по плечу.

Зато аист отлично понял, что болезнь владыки была для всей страны и народа большим несчастьем, а исцеление его, напротив, было бы огромным счастьем, — это толковал весь народ, все — от мала до велика. «Но где же растет целебный цветок?» — спрашивали все друг у друга, рылись в ученых рукописях, старались прочесть о том в звездах, спрашивали у всех четырех ветров, словом, добивались нужных сведений всевозможными путями, но все напрасно. Тут-то ученые и мудрецы, как сказано, и изрекли: «Любовь — родоначальница жизни; она же возродит к жизни и владыку!» Они и сами хорошенько не понимали смысла своего изречения, но все-таки повторили его еще раз и даже написали вместо всякого рецепта: «Любовь — родоначальница жизни!» Но как же приготовить по этому рецепту лекарство? Да, вот тут-то все и стали в тупик. В конце концов, все единогласно решили, что помощи должно ожидать от молодой принцессы, так горячо, так искренно любившей отца. Затем додумались и до того, как следовало поступить принцессе. И вот ровно год тому назад, ночью, когда серп новорожденной луны уже скрылся, принцесса отправилась в пустыню к мраморному сфинксу, отгребла песок от двери, что находилась в цоколе, и прошла по длинному коридору внутрь одной из больших пирамид, где покоилась мумия древнего фараона, — принцесса должна была склониться головой на грудь умершего и ждать откровения.

Она исполнила все в точности, и ей было открыто во сне, что она должна лететь на север, в Данию, к глубокому болоту — место было обозначено точно — и сорвать там лотос, который коснется ее груди, когда она нырнет в глубину.

Цветок этот вернет жизнь ее отцу.

Вот почему принцесса и полетела в лебедином оперении на Дикое болото. Все это аист с аистихой давно знали, а теперь знаем и мы — получше, чем раньше. Знаем мы также, что болотный царь увлек бедную принцессу на дно трясины и что дома ее уже считали погибшею навеки. Но мудрейший из мудрецов сказал то же, что и аистиха: «Она выпутается из беды!» Ну, и решили ждать — иного ведь ничего и не оставалось.

— Право, я стащу лебединые оперения у этих гадких принцесс! — сказал аист. — Тогда небось не прилетят больше на болото да не выкинут еще какой-нибудь штуки! Перья же их я припрячу там на всякий случай!

— Где это там? — спросила аистиха.

— В нашем гнезде, близ болота! — ответил аист. — Наши птенцы могут помочь мне перенести их; если же будет чересчур тяжело, то ведь по дороге найдутся места, где их можно припрятать до следующего перелета в Данию. Принцессе хватило бы и одного оперения, но два все-таки лучше: на севере не худо иметь в запасе лишнюю одежду.



— Тебе и спасибо-то за все это не скажут! — заметила аистиха. — Но ты ведь глава семьи! Я имею голос, лишь когда сижу на яйцах!

Девочка, которую приютили в замке викинга близ Дикого болота, куда каждую весну прилетали аисты, получила имя Гельги, но это имя было слишком нежно для нее. В прекрасном теле обитала жесткая душа. Месяцы шли за месяцами, годы за годами, аисты ежегодно совершали те же перелеты: осенью к берегам Нила, весной к Дикому болоту, а девочка все подрастала; не успели опомниться, как она стала шестнадцатилетней красавицей. Дивно-прекрасна была оболочка, но жестко самое ядро. Гельга поражала своею дикостью и необузданностью даже в те суровые, мрачные времена. Она тешилась, купая руки в теплой дымящейся крови только что зарезанной жертвенной лошади, перекусывала в порыве дикого нетерпения горло черному петуху, приготовленному в жертву богам, а своему приемному отцу сказала однажды совершенно серьезно:

— Приди ночью твой враг, поднимись по веревке на крышу твоего дома, сними самую крышу над твоим покоем, я бы не разбудила тебя, если бы даже могла! Я бы не слышала ничего — так звенит еще в моих ушах пощечина, которую ты дал мне много лет тому назад! Я не забыла ее!

Но викинг не поверил, что она говорит серьезно: он, как и все, был очарован ее красотой и не знал ничего о двойственности ее души и внешней оболочки. Без седла скакала Гельга, словно приросшая, на диком коне, мчавшемся во весь опор, и не соскакивала на землю, даже если конь начинал грызться с дикими лошадьми. Не раздеваясь, бросалась она с обрыва в быстрый фиорд и плыла навстречу ладье викинга, направлявшейся к берегу. Из своих густых, чудных волос она вырезала самую длинную прядь и сплела из нее тетиву для лука.

— Все надо делать самой! Лучше выйдет! — говорила она.

Годы и привычка закалили душу и волю жены викинга, но в сравнении с дочерью она была просто робкой, слабой женщиной. Но она-то знала, что виной всему были злые чары, тяготевшие над ужасной девушкой.

Гельга часто доставляла себе злое удовольствие помучить мать: увидав, что та вышла на крыльцо или на двор, она садилась на самый край колодца и сидела там, болтая руками и ногами, потом вдруг бросалась в узкую, глубокую яму, ныряла с головой, опять выплывала и опять ныряла, точно лягушка, затем с ловкостью кошки выкарабкивалась наверх и являлась в главный покой замка вся мокрая; потоки воды бежали с ее волос и платья на пол, смывая и унося усыпавшие его зеленые листья.

Одно только немного сдерживало дикую, необузданную девушку — наступление сумерек. Под вечер она как-то утихала, словно задумывалась,

и даже слушалась матери, к которой влекло ее какое-то инстинктивное чувство. Солнце заходило и — превращение совершалось: Гельга становилась тихой, грустной жабой и, съезжившись, сидела в уголке. Тело ее было куда больше, чем у обыкновенной жабы, и тем ужаснее на вид. Она напоминала скорее уродливую карлицу, с головой жабы и плавательной перепонкой между пальцами. В глазах же светилась кроткая грусть, из груди вылетали жалобные звуки, похожие на всхлипывание ребенка во сне. В это время жена викинга могла брать ее к себе на колени и невольно забывала все ее уродство, глядя в эти печальные глаза.

— Право, я готова желать, чтобы ты всегда оставалась моею дочкой-жабой! — нередко говорила она жабе. — Ты куда ужаснее в своем обыкновенном виде, хоть и дивно хороша собою!

И она чертила руны, разрушающие чары и исцеляющие недуги, и перебрасывала их через голову несчастной, но толку не было.

— Кто бы поверил, что она умещалась когда-то в чашечке кувшинки! — сказал аист. — Теперь она совсем взрослая и лицом — вылитая мать, египетская принцесса. А ты мы так и не видели больше! Не удалось ей, видно, выпутаться из беды, как вы с мудрецом предсказывали. Я из года в год то и дело летаю над болотом вдоль и поперек, но она до сих пор не подала ни малейшего признака жизни! Да уж поверь мне! Я-то знаю, о чем говорю! Все эти годы я ведь прилетал сюда раньше тебя, чтобы починить наше гнездо, поправить кое-что, и целые ночи напролет — словно я филин или летучая мышь — летал над болотом, да все без толку! И два лебединых оперения, что мы с таким трудом в три перелета перетащили сюда, негодились! Вот уж сколько лет они лежат без пользы в нашем гнезде. Случись пожар, загорись этот бревенчатый дом — от них не останется и следа!

— И от гнезда нашего тоже! — сказала аистиха. — Но о нем ты думаешь меньше, чем об этих перьях да о болотной принцессе! Отправлялся бы уж и сам к ней в трясины. Дурной ты отец семейства! Я говорила это еще в ту пору, когда в первый раз сидела на яйцах! Вот подожди, эта шальная девчонка еще угодит в кого-нибудь из нас стрелой! Она ведь сама не знает, что делает! А мы-то здесь подольше живем, чем она, — хоть бы об этом попомнила! И повинности наши мы уплачиваем честно: перо, яйцо и одного птенца в год, как положено! Что ты думаешь, мне придет теперь в голову слететь вниз во двор, как бывало в старые годы или как и нынче в Египте, где я держусь на дружеской ноге со всеми — нисколько не забываясь, впрочем — и сую нос во все горшки и котлы? Нет, здесь я сижу в гнезде да злюсь на эту девчонку! И на тебя тоже. Оставил бы ее в кувшинке, пусть бы себе погибла.

— Ты гораздо добрее в душе, чем на словах! — сказал аист. — Я тебя знаю лучше, чем ты сама.



И он подпрыгнул, тяжело взмахнул два раза крыльями, вытянул ноги назад, распустил оба крыла, точно паруса, и пролетел, не шевеля ни одним из них, довольно большое пространство; потом опять сильно взмахнул крыльями и опять поплыл по воздуху. Солнце играло на белых перьях, шея и голова грациозно вытянулись вперед... Вот так полет, вот так взмахи крыльев!

— Он и до сих пор красивее всех! — сказала аистиха. — Но ему-то я не скажу этого!

В эту осень викинг вернулся с набега рано. Много добычи и пленных привез он с собою. В числе пленных был молодой христианский священник, один из тех, что отвергали богов древнего севера. В последнее время в замке викинга — и в главном покое, и на женской половине — то и дело слышались разговоры о новой вере, которая распространилась по всем странам юга и благодаря св. Ансгарию проникла даже сюда, на север. Гельге мало было дела до веры в белого Христа, пожертвовавшего собою из любви к людям и ради их спасения. Она все эти рассказы, как говорится, в одно ухо впускала, а в другое выпускала. Слово «любовь» находило доступ в ее душу лишь в те минуты, когда она, в образе жабы, сидела, съезжившись, в запертой комнате. Но жена викинга чутко прислушивалась к рассказам и преданиям, ходившим о Сыне Единого Истинного Бога, и они будили в ней новые чувства.

Воины, вернувшись домой, рассказывали о великолепных храмах, высеченных из драгоценного камня и воздвигнутых в честь Того, Чьим заветом была любовь. В числе добычи находились и два тяжелых золотых сосуда искусной работы, из которых исходил какой-то удивительный аромат.

Это были две кадила, которыми кадили христианские священники перед алтарями, никогда не окроплявшимися кровью. На этих алтарях вино и хлеб превращались в кровь и тело Христовы, принесенные Им в жертву ради спасения всех людей — даже не родившихся еще поколений.

Христианина связали по рукам и ногам веревками из лыка и посадили в глубокий, сложенный из камней подвал замка. «Как он был прекрасен! Словно сам Бальдур!<sup>1</sup>» — сказала жена викинга, тронутая бедственным положением пленника, а Гельге хотелось, чтобы ему продернули под коленками толстые веревки и привязали к хвостам диких быков.

— Я бы выпустила на них собак: то-то бы травля пошла! По лесам, по болотам, прямо в степь! Любо! А еще лучше — самой нестись за ними по пятам!

<sup>1</sup> Сын Одина и Фрейи, бог света. — *Примеч. перев.*

Но викинг готовил пленнику иную смерть: христианин, как отрицатель и поноситель могучих богов, был обречен в жертву этим самым богам. На жертвенном камне, в священной роще, впервые должна была пролиться человеческая кровь.

Гельга выпросила позволение обрызгать кровью жертвы изображения богов и народ, отточила свой нож и потом с размаху всадила его в бок пробежавшей мимо огромной свирепой дворовой собаке.

— Для пробы! — сказала она, а жена викинга сокрушенно поглядела на дикую, злую девушку. Ночью, когда красота и безобразие Гельги, по обыкновению, поменялись местами, мать обратилась к ней со словами горячей укоризны, которые сами собою вырвались из наболевшей души.

Безобразная жаба стояла, устремив на мать свои печальные карие глаза и, казалось, понимала каждое слово, как разумный человек.

— Никогда и никому, даже супругу моему не проговоришься я о том, что терплю из-за тебя! — говорила жена викинга. — И сама не думала я, что так жалею тебя! Велика, видно, любовь материнская, но твоя душа не знает любви! Сердце твое похоже на холодную тину, из которой ты явилась в мой дом!

Безобразное животное задрожало, как будто слова матери затронули какие-то невидимые нити, соединявшие тело с душой; на глазах жабы выступили крупные слезы.

— Настанет время и твоего испытания! — продолжала жена викинга. — Но много горя придется тогда изведать и мне!.. Ах, лучше бы выбросили мы тебя на проезжую дорогу, когда ты была еще крошкой; пусть бы ночной холод усыпил тебя навеки!

Тут жена викинга горько заплакала и ушла, полная гнева и печали, за занавеску из звериной шкуры, подвешенной к балке и заменявшей перегородку.

Жаба, съежившись, сидела в углу одна; мертвая тишина прерывалась лишь тяжелыми, полуподавленными вздохами животного; казалось, в глубине сердца жабы с болью зарождалась новая жизнь. Вдруг она сделала шаг к дверям, прислушалась, потом двинулась дальше, схватилась своими беспомощными лапами за тяжелый дверной болт и тихонько выдвинула его из скобы. В горнице стоял зажженный ночник; жаба взяла его и вышла за двери. Ее влекла вперед, придавая ей необыкновенные силы, чья-то высшая воля. Вот она вынула железный болт из скобы, прокралась к спавшему пленнику и дотронулась до него своей холодной, липкой лапой. Пленник проснулся, увидел безобразное животное и задрожал, словно перед наваждением злого духа. Но жаба перерезала ножом связывавшие его веревки и сделала ему знак следовать за нею.

Пленник сотворил молитву и крестное знамение — наваждение не исчезало; тогда он произнес:

— Блажен, кто разумно относится к малым сим, — Господь спасет его в день несчастья!.. Но кто ты? Как может скрываться под оболочкой животного сердце, полное милосердного сострадания?

Жаба опять кивнула головой, провела пленника по уединенному проходу, между спускавшимися с потолка до полу коврами, в конюшню и указала на одну из лошадей. Пленник вскочил на лошадь, но вслед за ним вскочила и жаба и примостилась впереди его, уцепившись за гриву лошади. Пленник понял ее намерение и пустил лошадь вскачь по окольной дороге, которой никогда бы не нашел один.

Скоро он забыл безобразие животного, понял, что чудовище было орудием милости Божией, и из уст его полились молитвы и священные псалмы. Жаба задрожала — под влиянием ли могущественной силы молитв, или от утреннего предрассветного холодка? Что ощущало животное — неизвестно, но оно приподнялось на лошади, как бы желая остановить ее и спрыгнуть на землю. Христианин силою удержал его и продолжал громко петь псалом, как бы думая победить им злые чары. Лошадь понеслась еще быстрее; небо заалело, и вот первый луч солнца прорвал облако и брызнул на путников. В ту же минуту произошло превращение: жаба стала молодой красавицей с демонски злой душой! Молодой христианин увидел, что держит в объятиях красавицу девушку, испуганно остановил лошадь и соскочил на землю, думая, что перед ним новое наваждение. Но и Гельга в один прыжок очутилась на земле; короткое платье едва доходило ей до колен; выхватив из-за пояса нож, она бросилась на остолебеневшего христианина.

— Пстой! — крикнула она. — Пстой, я проколю тебя ножом насквозь! Ишь, побледнел, как солома! Раб! Безбородый!

Между нею и пленником завязалась упорная борьба, но молодому христианину, казалось, помогали невидимые силы. Он крепко стиснул руки девушки, а старый дуб, росший у дороги, помог ему одолеть ее окончательно: Гельга запуталась ногами в узловатых, переплетающихся корнях дуба, вылезших из земли. Христианин крепко охватил ее руками и повлек к протекавшему тут же источнику. Окропив водой грудь и лицо девушки, он произнес против нечистого духа, сидевшего в ней, заклинание и осенил ее крестным знаменем, но одно наружное крещение водою не имеет настоящей силы, если душа не омыта внутренним источником веры.

И все-таки во всех действиях и словах христианина, совершавшего таинство, была какая-то особая сверхчеловеческая сила, которая и покорила Гельгу. Она опустила руки и удивленными глазами, вся бледная от волнения, смотрела на молодого человека. Он казался ей могущественным волшебником, посвященным в тайную науку. Он ведь чертил над ней таинственные знаки, творил заклинания! Она не моргнула бы глазом перед занесенным над ее головой блестящим топором или острым ножом, но когда

он начертил на ее челе и груди знак креста, она закрыла глаза, опустила голову на грудь и присмирела, как прирученная птичка. Тогда он кротко заговорил с нею о подвиге любви, совершенном ею в эту ночь, когда она, в образе отвратительной жабы, явилась освободить его от уз и вывести из мрака темницы к свету и жизни, но сама она, говорил он, опутана еще более крепкими узами, и теперь его очередь освободить ее и вывести к свету и жизни. Он повезет ее в Гедебу<sup>1</sup>, к святому Ансгарию, и там, в этом христианском городе, чары с нее будут сняты. Но он уже не смел везти ее на лошади перед собою, хотя она и покорилась ему.

— Ты сядешь позади меня, а не впереди! Твоя красота обладает злою силой, и я боюсь ее! Но с помощью Христа победа все-таки будет на моей стороне.

Тут он преклонил колена и горячо помолился; безмолвный лес как будто превратился в святой храм: словно члены новой паствы, запели птички; дикая мята струила аромат, как бы желая заменить ладан. Громко прозвучали слова Святого писания:

«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет!»

И он стал говорить девушке о духовной тоске, о стремлении к высшему всей природы, а ретивый конь в это время стоял спокойно, пощипывая листики ежевики; сочные, спелые ягоды падали в руку Гельги, как бы предлагая ей утолить ими жажду.

И девушка покорно дала христианину усадить себя на круп лошади; Гельга было словно во сне. Христианин связал две ветви наподобие креста и высоко поднял его перед собою. Затем они продолжали путь по лесу, который все густел и густел, дорожка становилась все уже и уже, а где и вовсе пропадала. Терновые кусты преграждали путь, точно опущенные шлагбаумы; приходилось объезжать их. Источник превратился не в быстрый ручей, а в стоячее болото; и его надо было объехать. В лесной чаще веяло отрадной, подкрепляющей и освежающей душу прохладой, но не меньше подкрепляли и освежали душу кроткие, дышащие верой и христианской любовью, речи христианина, воодушевленного желанием вывести заблудшую из мрака к свету и жизни.

Говорят, дождевая капля долбит твердый камень, волны морские обтачивают и округляют оторванные обломки скал — роса Божьего милосердия, окропившая душу Гельги, также продолбила ее жесткую оболочку, сгладила все шероховатости. Но сама Гельга еще не отдавала себе отчета в том, что в ней совершается: ведь и едва выглянувший из земли росток, впивая благотворную влагу росы и поглощая теплые лучи солнышка, тоже мало ведает о заложенном в нем семени жизни и будущем плоде.

<sup>1</sup> Город, где была воздвигнута «апостолом севера», св. Ансгарием, первая в том краю (Шлезвиге) христианская церковь. — *Примеч. перев.*





И, как песня матери незаметно западает в душу ребенка, ловящего одни отдельные слова, не понимая их смысла, который станет ему ясным лишь с годами, — так западали в душу Гельги и животворные слова христианина.

Вот они выехали из леса в степь, потом опять углубились в дремучий лес и под вечер встретили разбойников.

— Где ты подцепил такую красотку? — закричали они, остановили лошадь и стащили всадника и всадницу; сила была на стороне разбойников.

У христианина для защиты был лишь нож, который он вырвал в борьбе у Гельги. Один из разбойников замахнулся на него топором, но молодой человек успел отскочить в сторону, иначе был бы убит на месте. Топор глубоко врезался в шею лошади; кровь хлынула ручьем, и животное упало. Тут Гельга словно очнулась от глубокой задумчивости и припала к издыхающей лошади. Христианин тотчас заслонил девушку собою, но один из разбойников раздробил ему голову секирой. Кровь и мозг брызнули во все стороны, и молодой человек пал мертвым.

Разбойники схватили Гельгу за белые руки, но в эту минуту солнце закатилось, и она превратилась в безобразную жабу. Бледно-зеленый рот растянулся до самых ушей, руки и ноги стали тонкими и липкими, а кисти рук превратились в веерообразные лапы с перепонкой между пальцами. Разбойники в ужасе выпустили ее из рук. Безобразное животное постояло перед ними с минуту, затем, повинуясь животному инстинкту, подпрыгнуло выше своего роста и скрылось в лесной чаще. Разбойники поняли, что это или Локе<sup>1</sup> сыграл с ними злую шутку, или перед ними совершилось волею неба чудо, и в ужасе убежали прочь.

Полный месяц осветил окрестность, и безобразная жаба выползла из кустов. Она остановилась перед трупами христианина и коня и долго смотрела на них полными слез глазами; из груди ее вырвалось тихое кваканье, похожее на всхлипывание ребенка. Потом она начала бросаться то к тому, то к другому, черпала своей глубокой перепончатой горстью воду и брызгала на убитых. Но мертвых не воскресишь! Она поняла это. Скоро набегут дикие звери и растерзают их тела! Нет, не бывать этому! Она выроет для них такую глубокую могилу, какую только сможет. Но у нее не было никаких орудий, кроме толстого обломка ветви и своих перепончатых лап. В пылу работы она разорвала перепонку; из лап полилась кровь. Тут она поняла, что ей не справиться с работой, опять зачерпнула воды и обмыла лицо мертвого; затем прикрыла тела свежими зелеными листьями, на них набросала больших ветвей, сверху еще листьев,

<sup>1</sup> Локе — бог, олицетворяющий коварство и хитрость. — *Примеч. перев.*

на все это навалила тяжелых камней, какие только в силах была поднять, а все отверстия между ними заткнула мхом. Она надеялась, что под таким могильным курганом тела будут в безопасности. За этой тяжелой работой прошла вся ночь; выглянуло солнышко, и Гельга опять превратилась в красавицу девушку, но руки ее были все в крови, а по розовым девичьим щекам, первый раз в жизни, струились слезы. В первую минуту по превращении в её двойственной натуре произошла борьба. Дрожа всем телом и тревожно озираясь кругом, словно только пробудясь от страшного сна, простояла она несколько минут на месте, затем бросилась к стройному буку, крепко уцепилась за ветви, ища точку опоры, и в один миг, как кошка, вскарабкалась на вершину. Там она крепко прилепилась на ветвях и сидела, как пугливая белка, весь день, одна-одинешенька, среди пустынного безмолвия леса. Пустынное безмолвие леса! Да, тут было и пустынно и безмолвно, только в воздухе кружились бабочки, не то играя, не то борясь между собою; муравьиные кучи кишмя кишели крохотными насекомыми; в воздухе плясали бесчисленные рои комаров, носились тьмы жужжащих мух, божьих коровок, стрекоз и других крылатых созданий; дождевой червяк выползал из сырой почвы; кроты выбрасывали комья земли — словом, тихо и пустынно здесь было лишь в том смысле, в каком принято говорить и понимать это. Никто из лесных обитателей не обращал на Гельгу внимания, кроме сорок, с криком летавших над вершиной дерева, где она сидела. Они даже перепрыгивали с ветки на ветку, подбираясь поближе к ней, — такие они смелые и любопытные! Но довольно было ей метнуть на них взгляд, и они разлетелись; так им и не удалось разгадать это странное явление, да и сама Гельга не могла разгадать себя!

Перед закатом солнца предчувствие приближавшегося превращения заставило Гельгу слезть с дерева; последний луч погас, и она опять сидела на земле в виде съезжившейся жабы с разорванной перепонкой между пальцами. Но глаза безобразного животного сияли такой красотой, какой вряд ли отличались даже глаза красавицы Гельги. В этих кротких, нежных глазах светились глубоко чувствующая душа и человеческое сердце; ручьями лились из них слезы, облегчая переполненную горем душу.

На кургане лежал еще крест — последняя работа умершего христианина. Гельга взяла его, и ей сама собою пришла в голову мысль утвердить крест между камнями над курганом. При воспоминании о погребенном под ним слезы заструились еще сильнее, и Гельга, повинувшись какому-то внутреннему сердечному влечению, вздумала начертить знаки креста на земле вокруг всего кургана — вышла бы такая красивая ограда! Но едва она начертила обеими лапами первый же крест, перепонка слетела с них, как разорванная перчатка. Она омыла их в воде источника и удивленно посмотрела на свои белые, тонкие руки, невольно сделала ими тот же знак в воздухе между собой и могилой, губы ее задрожали, и



с языка слетело имя, которое она столько раз во время пути слышала от умершего: «Господи Иисусе Христе»!

Мгновенно оболочка жабы слетела с Гельги, и она опять стала молодой красавицей девушкой; но голова ее устало склонилась на грудь, все тело просило отдыха — она заснула.

Недолго, однако, спала она; в полночь она пробудилась: перед нею стояла убитая лошадь, полная жизни, вся окруженная сиянием; глаза ее метали пламя; из глубокой раны на шее тоже лился свет. Рядом с лошадью стоял и убитый христианин, «прекраснее самого Бальдура» — сказала бы жена викинга. Он тоже был весь окружен сиянием.

Кроткие глаза его смотрели испытующе серьезно, как глаза праведного судии, проникающего взглядом в самые сокровенные уголки души. Гельга задрожала, память ее пробудилась мгновенно, словно в день последнего суда. Все доброе, что выпало ей на долю, каждое ласковое слово, слышанное ею, — все это мгновенно ожило в ее памяти, и она поняла, что ее, дитя живой души и мертвой тины, поддержала в дни испытания, внутренней борьбы и стремления — одна *любовь*. Она сознала, что повиновалась при этом лишь голосу внутреннего настроения, а сама для себя не сделала ничего. Все было ей дано, все она совершила не сама собою, а руководимая чьей-то высшей волей. Сознавая все свое ничтожество, полная стыда, смиренно преклонилась она перед тем, кто читал в глубине ее сердца. В ту же минуту она почувствовала, как зажглась в ней, как бы от удара молнии, светлая, божественная искра, искра Духа Святого.

— Дочь тины! — сказал христианин. — Из тины, из земли ты взята, из земли же ты некогда и восстанешь! Солнечный луч, что животворит твоё тело, сознательно стремится слиться со своим источником, но источник его не солнце, а сам Бог! Ни одна душа в мире не погибает, но медленно тянется время человеческого испытания здесь, на земле, хотя вся жизнь земная и есть лишь единый миг вечности. Я явился к тебе из обители мертвых; некогда и ты совершишь тот же путь через глубокие долины в горные светлые селения, где обитает Милость и Совершенство. Я поведу тебя теперь, но не в Гедебу для восприятия крещения: ты должна сначала прорвать пелену, стелящуюся над глубоким болотом, и освободить живой корень твоей жизни и колыбели, выполнить свое дело, прежде чем удостоишься посвящения!

И, посадив ее на лошадь, он протянул ей золотую кадильницу, похожую на ту, что Гельга видела раньше в замке викинга; из кадильницы струился ароматный фимиам. Рана на лбу убитого христианина сияла, точно диадема. Он взял крест, возвышавшийся над курганом, и высоко поднял его перед собою; затем они понеслись по воздуху над шумящим лесом, над курганами, под которыми были погребены герои, верхом на своих добрых конях. И могучие тени поднялись, выехали и остановились

на вершинах курганов; лунный свет играл на золотых обручах, красовавшихся на лбах героев; плащи их развевались по ветру. Дракон, страж сокровищ, поднял голову и смотрел воздушным путникам вслед. Карлики выглядывали на них из холмов, из борозд, проведенных плугом, мелькая голубыми, красными и зелеными огоньками, — словно сотни искр перебежали по золе, оставшейся после сгоревшей бумаги.

Они пролетали над лесами, степями, озерами и трясиными, направляясь к Дикому болоту. Долетев до него, они принялись реять над ним: христианин высоко поднимал крест, блестящий, точно золотой, а из уст его лились священные песнопения; Гельга вторила ему, как дитя вторит песне матери, и кадила при этом золотой кадильницей. Из кадильницы струился такой сильный, чудодейственный фимиам, что осока и тростник зацвели, а со дна болота поднялись зеленые стебли — все, что только носило в себе зародыш жизни, пустило ростки и вышло оттуда на свет Божий. На поверхности воды раскинулся роскошный цветочный ковер из кувшинок, а на нем покоилась в глубоком сне молодая женщина дивной красоты. Гельга подумала, что видит в зеркале вод свое собственное отражение, но это была ее мать, супруга болотного царя, египетская принцесса.

Христианин повелел спящей подняться на лошадь; последняя опустилась под новой тяжестью, точно свободно висящий в воздухе саван, но христианин осенил ее крестным знаменем, и тень вновь окрепла. Все трое выехали на твердую почву.

Пропел петух во дворе замка викинга, и видения рассеялись в воздухе, как туман от дуновения ветра. Мать и дочь очутились лицом к лицу.

— Не себя ли я вижу в глубокой воде? — спросила мать.

— Не мое ли это отражение в водяном зеркале? — промолвила дочь.

Они приблизились друг к другу и крепко обнялись. Сердце матери забилося сильнее, и она поняла — почему.

— Мое дитя, цветок моего сердца, мой лотос из глубины вод!

И она опять обняла дочь и заплакала; эти слезы были для Гельги новым крещением, возрождавшим ее к жизни и любви.

— Я прилетела на болото в лебедином оперении и здесь сбросила его с себя! — начала свой рассказ мать. — Ступив на зыбкую почву, я погрузилась в болотную тину, которая сейчас же сомкнулась над моей головой. Скоро я почувствовала приток свежей воды, какая-то неведомая сила увлекала меня все глубже и глубже; веки мои отяжелели, и я заснула... Во сне мне грезилось, что я опять внутри египетской пирамиды, но передо мной по-прежнему стоял колеблющийся ольховый пенек, который так испугал меня на поверхности болота. Я рассматривала трещины на его коре, и они вдруг засветились и стали иероглифами — передо мной очутилась уж мумия. Наружная оболочка ее вдруг распалась, и оттуда выступил древний царь, покоившийся мумией тысячи лет, черный, как

смоль, лоснящийся, как лесная улитка или как жирная черная болотная грязь. Был ли передо мною сам болотный царь или мумия — я уж перестала понимать. Он обвил меня руками, и мне показалось, что я умираю. Очнулась я, почувствовав на своей груди что-то теплое: на груди у меня сидела, трепеща крылышками, птичка, щебетала и пела. Потом она взлетела с моей груди кверху, к черному, тяжелому своду, но длинная зеленая лента привязывала ее ко мне. Я поняла ее тоскливое щебетанье: «На волю, на волю, к отцу!» Мне вспомнился мой отец, залитая солнцем родина, вся моя жизнь, моя любовь... и я развязала узел, отпустила птичку на волю, к отцу! С той минуты я уже не видела никаких снов и спала непробудно, пока меня не вызвали со дна болота дивные звуки и аромат!

Где же развевалась, где была теперь зеленая лента, привязывавшая птичку к сердцу матери? Видел ее лишь аист — лентой был ведь зеленый стебель, узлом блестящий цветок — колыбель малютки, которая теперь превратилась в юную красавицу девушку и опять покоилась на груди у матери.

А в то время, как они стояли обнявшись на берегу болота, над ними кружился аист. Он сейчас же слетал назад в гнездо за спрятанными там давным-давно опереньями и бросил их матери с дочерью. Они сейчас же накинули их на себя и поднялись на воздух в виде белых лебедек.

— Теперь поговорим! — сказал аист. — Теперь мы пойдем друг друга, хотя клюв и не у всех птиц скроен одинаково!.. Хорошо, что вы явились как раз сегодня ночью — днем нас бы уж не было тут. И я, и жена, и птенцы — все улетаем поутру на юг! Я ведь старый знакомый ваш с Нильских берегов! И жена моя тут же со мною; сердце у нее добрее, чем язык! Она всегда говорила, что принцесса выпутается из беды! А я и птенцы наши перенесли сюда лебединые перья!.. Ну, очень рад! Ведь это просто счастье, что я еще здесь! На заре мы улетаем всей компанией! Мы полетим вперед, только не отставайте, и вы не собьетесь с дороги! Мы с птенцами будем, впрочем, присматривать за вами.

— И я принесу с собою на родину лотос! — сказала египетская принцесса. — Он летит рядом со мною в лебедином оперении! Цветок моего сердца со мною — вот как это все разрешилось! Домой теперь, домой!

Но Гельга сказала, что не может покинуть Данию, не повидавшись со своей приемной матерью, доброй женой викинга. Гельга припомнила всю ее доброту, каждое ее ласковое слово, каждую слезу, пролитую ею из-за приемной дочери, и в эту минуту девушке казалось даже, что она любит ту мать сильнее, чем эту.

— Да нам и надо слетать в замок викинга! — ответил аист. — Там ведь ждет нас жена с птенцами! Вот-то заворачают они глазами и затрещат! Жена, та, пожалуй, немного скажет! Она вообще скупа на слова,

выражается кратко и вразумительно, а думает еще лучше! Сейчас я затрешу, чтобы предупредить их о нашем приближении!

И он затрещал, защелкал клювом. Скоро они подлетели к замку викинга.

В замке все было погружено в глубокий сон. Забылась сном и жена викинга, но только поздней ночью: страх и беспокойство долго не давали ей уснуть. Прошло ведь уже три дня, как Гельга исчезла вместе с пленным христианином; должно быть, это она помогла ему бежать: в конюшне не доставало именно ее лошади. Но как могло все это случиться? И жене викинга невольно припомнились рассказы о чудесах, которые творили Сам белый Христос и веровавшие в него. Все эти мысли, бродившие в ее голове наяву, облеклись во сне в живые образы, и вот ей пригрезилось, что она по-прежнему сидит на постели, погруженная в думы о Гельге; все кругом тонет в сплошном мраке, надвигается буря. С обеих сторон — и со стороны Северного моря, и со стороны Каттегата слышится грозный шум прибоя. Чудовищная змея, обвивающая в глубине морской кольцом всю землю, бьется в судорогах. Приближалась страшная ночь — Рагнаррок, как древние называли последнюю ночь, когда рушится мир и погибнут сами боги. Вот жена викинга слышит громкий звук рога и видит, как выезжают по радуге из небесных чертогов боги, закованные в светлые доспехи, выезжают на последнюю битву! Перед ними летят крылатые валькирии, а замыкается поезд рядами умерших героев. Воздух весь осветился северным сиянием, но мрак скоро победил. Приближался ужасный час.

Возле жены викинга сидит на полу Гельга в образе безобразной жабы, дрожит от страха и жмет к ней. Она берет жабу на колени и с любовью прижимает к себе, несмотря на ее наружное безобразие. Вот воздух задрожал от ударов мечей и палиц, засвистели стрелы — словно град посыпался с неба. Настал тот час, когда земля и небо должны были рушиться, звезды упасть с неба, и все погибнуть в пламени Суртура<sup>1</sup>.

Но жена викинга знала, что после того возникнут новое небо и новая земля, и хлебная нива заволнуется там, где прежде катило свои волны по желтому песчаному дну сердитое море. Она знала, что воцарится новый неведомый Бог, и к нему вознесется кроткий, светлый Бальдур, освобожденный из царства теней. И вдруг она видит его перед собою! Она узнала его с первого взгляда — это был пленный христианин.

— Белый Христос! — воскликнула она и, произнося это имя, поцеловала в лоб свое безобразное дитя-жабу. В ту же минуту оболочка с жабы спала, и перед ней очутилась Гельга, прекрасная, как всегда, но такая кроткая и с таким сияющим любовью взглядом, как никогда. Она поцеловала руки жены викинга, как бы благодаря ее за все заботы и любовь,

<sup>1</sup> Суртур — «Черный», владыка тьмы, преисподней. — *Примеч. перев.*

которыми она окружала свою приемную дочь в тяжелое время испытания, за все добрые мысли и чувства, которые она пробудила в ее душе, и за произнесенное ею сейчас имя белого Христа. Гельга повторила это имя, и вдруг поднялась на воздух в виде лебедя; белые крылья его распустились и зашумели, словно взлетала на воздух целая стая птиц.

Тут жена викинга проснулась. На дворе в самом деле слышалось хлопанье крыльев. Она знала, что настала пора обычного отлета аистов, и догадалась, что это они шумели крыльями. Ей захотелось еще раз взглянуть на них и попрощаться с ними. Она встала, подошла к отверстию, заменявшему окно, распахнула ставню и выглянула на двор. На крыше надворного строения сидели рядышком сотни аистов, а над двором, над высокими деревьями, летали стаями другие; прямо же против окна, на краю колодца, где так часто сиживала, пугая свою приемную мать, красавица Гельга, сидели две лебедки, устремив свои умные глаза на жену викинга. Она вспомнила свой сон, который произвел на нее такое глубокое впечатление, что почти казался ей действительностью, вспомнила Гельгу в образе лебедя и христианина, и сердце ее вдруг радостно забилося.

Лебедки захлопали крыльями и грациозно изогнули шеи, точно кланяясь ей, а она как бы в ответ на это протянула к ним руки и задумчиво улыбнулась им сквозь слезы.

Аисты, шумя крыльями и щелкая клювами, взвились в воздух, готовясь направить свой полет к югу.

— Мы не станем ждать этих лебедек! — сказала аистиха. — Коли хотят лететь с нами, пусть не мешкают! Не оставаться же нам тут, пока не соберутся лететь кулики! А ведь лететь так, как мы, семьями, куда красивее, чем так, как летят зяблики или турухтаны: у тех мужья летят сами по себе, а жены сами по себе! Просто неприлично! А у лебедей-то, у лебедей-то что за полет?!

— Всяк летит по-своему! — ответил аист. — Лебеди летят косою линией, журавли — треугольником, а кулики — змеею!

— Пожалуйста, не напоминай теперь о змеях! — заметила аистиха. — У птенцов могут пробудиться желания, а как их тут удовлетворить?

— Так вот они, высокие горы, о которых я слышала! — сказала Гельга, летевшая в образе лебедки.

— Нет, это плывут под нами грозовые тучи! — возразила мать.

— А что это за белые облака в вышине? — спросила дочь.

— Это вечно снежные вершины гор! — ответила мать, и они, перелетев Альпы, продолжали путь по направлению к Средиземному морю.

— Африка! Египет! — ликовала дочь Нильских берегов, завидев с высоты желтую волнистую береговую полосу своей родины.

Завидели берег и аисты и ускорили полет.



— Вот уж запахло Нильского тиной и влажными лягушками! — сказала аистиха птенцам. — Ох, даже защекотало внутри! Да, вот теперь сами попробуете, каковы они на вкус, увидите марабу, ибисов и журавлей. Они все нашего же рода, только далеко не такие красивые. А важничают! Особенно ибисы — их избаловали египтяне; они делают из ибисов мумии, набивая их душистыми травами. А по мне лучше быть набитой живыми лягушками! Вот вы узнаете, как это приятно! Лучше при жизни быть сытым, чем после смерти попасть в музей! Таково мое мнение, а оно самое верное!

— Вот и аисты прилетели! — сказали обитатели дворца на Нильском берегу. В открытом покое, на мягком ложе, покрытом шкурой леопарда, лежал сам царственный владыка, по-прежнему ни живой, ни мертвый, ожидая целебного лотоса из глубокого северного болота. Родственники и слуги окружали ложе.

И вдруг в покой влетели две прекрасные белые лебедки, прилетевшие вместе с аистами. Они сбросили с себя оперения, и все присутствовавшие увидали двух красавиц, похожих друг на друга, как две капли воды. Они приблизились к бледному, увядшему старцу и откинули назад свои длинные волосы. Гельга склонилась к деду, и в ту же минуту щеки его окрасились румянцем, глаза заблестали, жизнь вернулась в очоженевшее тело. Старец встал помолодевшим, здоровым, бодрым! Дочь и внучка взяли его за руки, точно для утреннего приветствия после длинного тяжелого сна.

Что за радость воцарилась во дворце! В гнезде аистов тоже радовались — главным образом, впрочем, хорошему корму и обилию лягушек. Ученые впопыхах записывали историю обеих принцесс и целебного цветка, принесшего с собою счастье и радость всей стране и всему царствующему дому, аисты же рассказывали ее своим птенцам, но, конечно, по-своему, и не прежде, чем все наелись досыта, — не то у них нашлось бы иное занятие!

— Теперь и тебе перепадет кое-что! — шепнула аистиха мужу. — Уж не без того!

— А что мне нужно, — сказал аист, — что я такое сделал? Ничего!

— Ты сделал побольше других! Без тебя и наших птенцов принцессам вовек не видать бы Египта и не исцелить старика. Конечно, тебе перепадет за это! Тебя, наверно, удостоят степени доктора, и наши следующие птенцы уже родятся в этом звании, их птенцы — тоже и т. д.! На мои глаза — ты и теперь ни дать ни взять египетский доктор!

А ученые и мудрецы продолжали развивать основную мысль, проходившую, как они говорили, красною нитью через все событие, и толковали ее на разные лады. «Любовь — родоначальница жизни» — это была основная мысль, а истолковывали ее так: «Египетская принцесса, как солнечный луч, проникла во владения болотного царя, и от их встречи произошел цветок»...

— Я не сумею как следует передать их речей! — сказал подслушавший эти разговоры аист, когда ему пришлось пересказать их в гнезде. — Они говорили так длинно и так мудрено, что их сейчас же наградили чинами и подарками; даже лейб-повар получил орден — должно быть, за суп!

— А ты что получил? — спросила аистиха. — Не следовало бы им забывать самое главное лицо, а это — ты! Ученые-то только языком трепали! Но дойдет еще очередь и до тебя!

Поздней ночью, когда весь дворец, все его счастливые обитатели спали сладким сном, не спала во всем доме лишь одна живая душа. Это был не аист — он хоть и стоял возле гнезда на одной ноге, но спал на страже: не спала Гельга. Она вышла на террасу и смотрела на чистое, ясное небо, усеянное большими, блестящими звездами, казавшимися ей куда больше и ярче тех, что она привыкла видеть на севере. Но это были те же самые звезды! И Гельге вспомнились кроткие глаза жены викинга и слезы, пролитые ей над своей дочкой-жабой, которая теперь любовалась великолепным звездным небом на берегу Нила, вдыхая чудный весенний воздух. Она думала о том, как умела любить эта язычница, какими нежными заботами окружала она жалкое создание, скрывавшее в себе под человеческой оболочкой звериную натуру, а в звериной — внушавшее такое отвращение, что противно было на него и взглянуть, не то что дотронуться! Гельга смотрела на сияющие звезды и вспоминала блеск, исходивший от чела убитого христианина, когда они летели вместе над лесом и болотом. В ушах ее снова раздавались те звуки и слова, которые она слышала от него тогда, когда сидела позади него на лошади: он говорил ей о великом источнике любви, высшей любви, обнимающей все поколения людские!..

Да, чего только не было ей дано, чего она ни достигла! Дни и ночи думала Гельга о выпавшем на ее долю счастье, созерцала свою жизнь, которая вела ее чудесными путями все к высшей радости и блаженству, и так и застыла в этом созерцании, как ребенок, который быстро переносит взор от дарящего к подаркам. Она вся ушла в думы о своем настоящем счастье и о будущем, которое ожидало ее, должно было ожидать ее впереди, и совсем забыла о Том, Кто даровал ей это счастье. В ней кипела отвага молодости, глаза ее блистали от восторга. Но вот однажды слух ее был привлечен страшным шумом на дворе. Она взглянула туда и увидела двух больших сильных страусов, бегавших сломя голову кругом по двору. Гельга первый раз видела этих огромных, тяжелых, неуклюжих птиц, точно с обрубленными крыльями. Они бегали, встревоженные, испуганные, словно их кто обидел. Гельга спросила, что с ними случилось, и впервые услышала египетское предание о страусе.



Когда-то страус отличался дивной красотой; крылья его были велики и сильны. Однажды вечером другие могучие лесные птицы сказали страусу: «Брат, завтра, Бог даст, полетим к реке напиться!» И страус ответил: «Я хочу лететь!» На заре птицы полетели. Все выше и выше взвивались они, все ближе и ближе к солнышку, Божьему оку. Страус летел один, впереди всех, горделиво, стремясь к самому источнику света и полагаясь лишь на свои силы, а не на Подателя их; он не говорил: «Бог даст», а «я хочу», и вот ангел возмездия сдернул с раскаленного солнечного диска тонкую пелену — в ту же минуту крылья страуса опалило, как огнем, и он, бессильный, уничтоженный, упал на землю. Никогда больше он и весь его род не могли подняться с земли! Испугавшись чего-нибудь, они мечутся, как угорелые, описывая все один и тот же узкий круг, и служат нам, людям, живым напоминанием и предостережением: и мы каждую нашу мысль, каждое дело должны начинать словами: «даст Бог».

Гельга задумчиво опустила голову, посмотрела на страусов, мечущихся не то от ужаса, не то от глупой радости при виде своей собственной тени на белой, освещенной луною, стене, и душою ее овладело серьезное настроение. Да, ей выпала на долю богатая счастьем жизнь, что же ждет ее впереди? Еще высшее счастье — «даст Бог»!

Раннею весной, перед отлетом аистов на север, Гельга взяла золотое кольцо, начертила на нем свое имя и подозвала к себе своего знакомого аиста. Когда тот приблизился, Гельга надела ему кольцо на шею, прося отнести его жене викинга, — кольцо скажет ей, что приемная дочь ее жива, счастлива и помнит о ней.

«Тяжеленько это будет нести! — подумал аист. — Но золото и честь не выбросишь на дорогу! Аист приносит счастье — скажут там, на севере!»

— Ты несешь золото, а я — яйца! — сказала аистиха. — Но ты-то принесешь его только раз, а я несу яйца каждый год! Благодарности же не дожидается ни один из нас! Вот что обидно!

— Довольно и собственного сознания, женушка! — сказал аист.

— Ну его не повесишь себе на шею! — ответила аистиха. — Оно тебе ни корму, ни попутного ветра не даст!

И они улетели.

Крошечный певец, соловей, распевавший в тамариндовой роще, тоже собирался улететь на север; в былые времена Гельга часто слышала его возле Дикого болота. И она дала поручение и соловью: с тех пор, как она полетала в лебедином оперении, она могла объясняться на птичьем языке и часто разговаривала и с аистами, и с ласточками, которые понимали ее. Соловей тоже понял ее: она просила его поселиться на Ют-

ландском полуострове в буковом лесу, где возвышался курган из древесных ветвей и камней, и уговорить других певчих птичек ухаживать за могилой и не умолкая петь над нею свои песни.

Соловей полетел стрелой, полетело стрелой и время!

Осенью орел, сидевший на вершине пирамиды, увидел приближавшийся богатый караван: двигались нагруженные сокровищами верблюды, гарцевали на горячих арабских конях разодетые и вооруженные всадники. Серебристо-белые кони с красными раздувающимися ноздрями и густыми гривами, ниспадавшими до тонких стройных ног, горячились и фыркали. Знатные гости, в числе которых был и один аравийский принц, молодой и прекрасный, каким и подобает быть принцу, въехали во двор могучего владыки, хозяина аистов, гнездо которых стояло теперь пустым. Аисты находились еще на севере, но скоро должны были вернуться.

Они вернулись в тот самый день, когда во дворце царила самая шумная радость, кипело веселье, праздновали свадьбу. Невестой была разодетая в шелк, сиявшая драгоценными украшениями Гельга; женихом — молодой аравийский принц. Они сидели рядом за свадебным столом, между матерью и дедом.

Но Гельга не смотрела на смуглое мужественное лицо жениха, обрамленное черной курчавой бородой, не смотрела и в его огненные черные глаза, не отрывавшиеся от ее лица. Она устремила взор на усыянный светлыми звездами небесный свод.

Вдруг в воздухе послышались шум и хлопанье крыльев — вернулись аисты. Старые знакомые Гельги были тут же, и как ни устали они оба с пути, как ни нуждались в отдыхе, сейчас же спустились на перила террасы, зная, что за праздник идет во дворец. Знали они также — эта весть долетела до них, едва они приблизились к границам страны, — что Гельга велела нарисовать их изображения на стене дворца: аисты были ведь тесно связаны с историей ее собственной жизни.

— Очень мило! — сказал аист.

— Очень и очень мало! — объявила аистиха. — Меньшего уж нельзя было и ожидать!

Увидев аистов, Гельга встала и вышла к ним на террасу погладить их по спине. Старый аист наклонил голову, а молодые смотрели из гнезда и чувствовали себя польщенными.

Гельга опять подняла взор к небу и засмотрелась на блестящие звезды, сверкавшие все ярче и ярче. Вдруг она увидела, что между ними и ею витает прозрачный, светлый, светлее самого воздуха, образ. Вот он приблизился к Гельге, и она узнала убитого христианина. И он явился к ней в этот торжественный день, явился из небесных чертогов!

— Небесный блеск и красота превосходят все, что может представить себе смертный! — сказал он.

И Гельга стала просить его так кротко, так неотступно, как никогда еще никого и ни о чем не просила, взять ее туда, в небесную обитель, к Отцу, хоть на одну минуту, позволить ей бросить хоть один-единственный взгляд на небесное великолепие!

И он вознеся с нею в обитель блеска, света и чудной гармонии. Дивные звуки и мысли не только звучали и светились вокруг Гельги в воздухе, но и внутри ее, в глубине ее души. Словами ни передать, ни рассказать того, что она чувствовала!

— Пора вернуться! Тебя ищут! — сказал он.

— Еще минутку! — молила она. — Еще один миг!

— Пора вернуться! Все гости уже разошлись!

— Еще одно мгновение! Последнее...

И вот Гельга опять очутилась на террасе, но... все огни и в саду, и в дворцовых покоях были уже потушены, аистов не было, гостей и жениха тоже: все словно ветер развеял за эти три кратких мгновения.

Гельгу охватил страх, и она прошла через огромный, пустынный покой в следующий. Там спали чужеземные воины! Она отворила боковую дверь, которая вела в ее собственный покой, и вдруг очутилась в саду — все стало тут по-другому! Край неба алел, занималась заря.

В три минуты, проведенные ею на небе, протекла целая земная ночь!

Тут Гельга увидела аистов, подозвала их к себе, заговорила с ними на их языке, и аист поднял голову, прислушался и приблизился к ней.

— Ты говоришь по-нашему! — сказал он. — Что тебе надо? Откуда ты, незнакомка?

— Да ведь это же я, Гельга! Ты не узнаешь меня? Три минуты тому назад я разговаривала с тобой тут, на террасе!

— Ты ошибаешься! — ответил аист. — Ты, верно, видела все это во сне!

— Нет, нет! — сказала она и стала припоминать ему замок викинга, Дикое болото, полет сюда...

Аист заморгал глазами и сказал:

— А, это старинная история! Я слышал ее еще от моей прапрабабушки! Тут, в Египте, правда была такая принцесса из Дании, но она исчезла в самый день своей свадьбы, много-много лет тому назад! Ты сама можешь прочесть об этом на памятнике, что стоит в саду! Там же высечены лебедки и аисты, а на вершине памятника стоишь ты сама, изваянная из белого мрамора!

Так оно и было. Гельга увидела памятник, поняла все и пала на колени.

Взошло солнце, и как прежде с появлением его спадала с Гельги безобразная оболочка жабы и из нее выходила молодая красавица, так

теперь из брэнной телесной оболочки, очищенной крещением света, вознесся к небу прекрасный образ, чище, прозрачнее воздуха; солнечный луч вернулся к Отцу!

А тело распалось в прах — на том месте, где стояла коленопреклоненная Гельга, лежал теперь увядший лотос.

— Новый конец истории! — сказал аист. — И совсем неожиданный! Но ничего, мне он нравится!

— А что-то скажут о нем детки? — заметила аистиха.

— Да, это, конечно, важнее всего! — сказал аист.



## СКОРОХОДЫ

**Б**ыл назначен приз, даже два, один большой, другой маленький, за наибольшую быстроту — не на состязании, а вообще за быстроту в течение целого года.

— Я получил первый приз! — сказал заяц. — Можно ведь, я думаю, ожидать справедливости, если судьи — твои близкие друзья и родные. Но присудить второй приз улитке?! Мне это даже обидно!

— Но ведь надо же принимать во внимание и усердие, и добрую волю, как справедливо рассудили высокоуважаемые судьи, и я вполне разделяю их мнение! — заметил заборный столб, бывший свидетелем присуждения призов. — Улитке, правда, понадобилось полгода, чтобы переползти через порог, но все-таки она очень спешила и даже сломала себе второпях бедренную кость! Она душой и телом отдавалась своему делу, да еще таскала при этом на спине весь свой дом! Такое усердие достойно всякого поощрения, вот она и получила второй приз.

— Могли бы, кажется, и на меня обратить внимание! — сказала ласточка. — Быстрее меня на лету, смею думать, никого нет! И где только я ни побывала! Везде, везде!

— То-то вот и горе ваше! — сказал столб. — Уж больно много вы рыскаете! Вечно рветесь в чужие края, чуть здесь холодком пахнет. Вы не патриотка? Нечего на вас и обращать внимание!

— А если бы я проспала всю зиму в болоте, тогда на меня обратили бы внимание? — спросила ласточка.

— Принесите удостоверение от самой болотницы, что проспала на родине хоть полгода, и на вас сейчас же обратят внимание!

— Я-то заслуживала первого приза, а не второго! — заметила улитка. — Я ведь знаю, что заяц бежит, только когда думает, что за ним гонятся, — из трусости! А я смотрела на движение как на свою жизненную задачу и пострадала на службе! Да, уж если кому следовало присудить первый приз, так это мне! Но я не охотница кричать о себе! Презираю все подобное!

И она плюнула.

— Я могу засвидетельствовать, что каждый приз — по крайней мере, с моей стороны — был присужден справедливо! — заявила межевая веха, одна из судей. — Я вообще держусь порядка, меры, расчета. Я уже восьмой раз имею честь участвовать в присуждении призов, но только на этот раз поставила на своем. Дело в том, что я всегда присуждаю призы по алфавиту: для первого приза беру букву с начала, для второго — с конца. Потрудитесь теперь обратить внимание на мой счет: восьмая буква с начала — *З*, я и подала голос за зайца, а шестнадцатая, т. е. дважды восьмая, с конца — *У*<sup>1</sup>, и вот я присудила второй приз улитке. В следующий раз первый приз назначу букве *И*, а второй — букве *С*. Главное дело — всегда и во всем порядок! Иначе не на что и опереться.

— Не будь я сам в числе судей, я бы подал голос за себя! — сказал осел. — Надо обращать внимание не на одну быстроту, но и на другие качества, например на груз. На этот раз я, впрочем, не хотел упираться на это обстоятельство, равно и на ум зайца или на ловкость, с какою он путает свои следы, спасаясь от погони. Нет, есть еще одно обстоятельство, на которое вообще принято обращать внимание и которое никоим образом нельзя упускать из виду, — красота. Я взглянул на прелестные, замечательно развитые уши зайца, — а на них, право, залюбуешься — и мне показалось, что я вижу самого себя в детском возрасте! Я и подал голос за зайца!

— Дзз! — зажужжала муха. — Я не собираюсь держать речь, я хочу только сказать несколько слов. Я-то уж попроворнее всякого зайца — это я хорошо знаю! Недавно я даже раздробила одному зайчишке заднюю ногу! Я сидела на паровозе, я это часто делаю: таким образом лучше всего следить за собственной быстротой. Заяц долго бежал впереди поезда: он и не подозревал моего присутствия! Наконец, ему пришлось свернуть в сторону; тут-то паровоз и перерезал ему заднюю ногу — я ведь сидела на нем. Заяц остался на месте, а я помчалась дальше. Кто же победил? Полагаю — я! Но я не нуждаюсь в призе!

«А по-моему, — подумала дикая роза, вслух она ничего не сказала: это было не в ее характере, хотя и лучше было бы, если бы она высказалась, — по-моему, и первого и второго приза заслуживал солнечный луч! Он в одно мгновение пробегает бесконечное пространство, отделяющее землю от солнца, и пробуждает от сна всю природу. Поцелуй его дарят красоту — мы, розы, алеем и благоухаем от них! А высокие судьи, кажется, совсем и не заметили его! Будь я лучом, я бы отплатила им солнечным ударом... нет, это бы отняло у них последний ум, а они и без того им не богаты! Лучше промолчу! В лесу мир и тишина! Как

<sup>1</sup> Вследствие несоответствия русского и датского алфавитов здесь пришлось несколько отступить от подлинника. — *Примеч. перев.*



хорошо цвести, благоухать, упиваться светом и росой и жить в сказаниях и песнях! Но солнечный луч переживет нас всех!»

— А какой первый приз? — спросил дождевой червяк; он проспал событие и сейчас только явился на сборный пункт.

— Свободный вход в огород с капустой! — ответил осел. — Я сам назначал призы! Первый приз должен был получить заяц — я, как мыслящий и деятельный член комиссии, и обратил надлежащее внимание на потребности и нужды зайца. Теперь он обеспечен. А улитке мы предоставили право сидеть на придорожном камне и греться на солнышке да лизать мох. Кроме того, она избрана в главные члены нашей комиссии — как это принято называть у людей. Комиссии ведь вообще нужны в специалистах! И скажу прямо: судя по такому прекрасному началу, можно ожидать от нашей комиссии многого!



## КОЛОКОЛЬНАЯ БЕЗДНА

«Бом-бом!» — раздается звон из колокольной бездны реки Одензе. Это что за река? Ее знает любой ребенок в городе Одензе; она огибает сады и пробегает под деревянными мостами, стремясь из шлюзов к водяной мельнице. На речной поверхности плавают желтые кувшинки, колышутся темно-коричневые султанчики тростника и высокая бархатная осока. Старые дуплистые, кривобокие, скорчившиеся ивы, растущие возле монастырского болота и луга белильщика, нависают над водою. По другому берегу тянутся разные сады. В некоторых растут чудесные цветы, красуются чистенькие, словно игрушечные, беседки, в других виднеется одна капуста, а иных так и самих не видно: густые, раскидистые кусты бузины теснятся к самой реке, которая в иных местах так глубока, что веслом и не достать до дна. Самое глубокое место — против Девичьего монастыря; зовется оно «колокольною бездною», и в бездне этой живет дедушка-водяной. Весь день, пока солнечные лучи проникают в воду, он спит, а ночью, при свете месяца и звезд, всплывает на поверхность. Он очень стар. Еще бабушка моя слышала от своей бабушки, что он живет один-одинешенек, и нет у него другого собеседника, кроме огромного старого церковного колокола. Когда-то колокол этот висел на колокольне церкви Санкт-Альбани; теперь ни от колокольни, ни от церкви не осталось и следа.

«Бом-бом-бом!» — звонил колокол, когда еще висел на колокольне, и раз вечером, на закате солнца, раскочулся хорошенько, сорвался и полетел... Блестящая медь так и засверкала пурпуром в лучах заходящего солнца.

«Бом-бом! Иду спать!» — зазвонил колокол и полетел прямо в реку Одензе, в самое глубокое место, которое и прозвали с тех пор «колокольною бездною». Но не удалось колоколу уснуть, успокоиться: он звонит в жилище водяного так, что слышно иной раз и на берегу. Люди говорят, что звон его предвещает чью-нибудь смерть, но это неправда. Колокол звонит, беседуя с водяным, и последний теперь уже не так одинок, как прежде.

О чем же звонит колокол? Колокол очень стар; говорят, что он звонил на колокольне еще раньше, чем родилась бабушкина бабушка, и все-таки

он ребенок в сравнении с самим водяным, диковинным стариком, в штанах из угриной кожи и чешуйчатой куртке, застегнутой желтыми кувшинками вместо пуговиц; волосы его опутаны тростником, борода покрыта зеленой тиной, а от этого красивее не будешь!

Чтобы пересказать все, о чем звонит колокол, понадобились бы целые годы. Он звонит обо всем, часто повторяет то же самое, иногда пространно, иногда вкратце — как ему вздумается. Он звонит о старых, мрачных, суровых временах...

«На колокольню церкви Санкт-Альбани взбирался монах, молодой, красивый, но задумчивый, задумчивее всех... Он смотрел в слуховое оконце на реку Одензе, русло которой было тогда куда шире, на болото, бывшее тогда озером, и на зеленый Монастырский холм. Там возвышался Девичий монастырь, из кельи монахини светился огонек... Он знал ее когда-то!.. И сердце его билось сильнее при воспоминании о ней!.. Бом-бом!»

Так вот о чем звонит колокол.

«Подымался на колокольню и слабоумный послушник настоятеля. Я мог бы разбить ему лоб своим тяжелым медным краем: он садился как раз подо мною, да еще в то время, когда я раскачивался и звонил. Бедняк колотил двумя палочками по полу, словно играл на цитре, и пел: «Теперь я могу петь громко о том, о чем не смею и шептать, петь обо всем, что скрыто за тридевятью замками!.. Холодно, сыро!.. Крысы пожирают его заживо!.. Никто не знает о том, никто не слышит — даже теперь... — гудит колокол, — бом-бом!»

«Жил-был король, звали его Кнудом. Он низко кланялся и епископам и монахам, но когда стал теснить ютландцев тяжелыми поборами, они взялись за оружие и прогнали его, как дикого зверя. Он укрылся в церкви, запер ворота и двери. Разъяренная толпа обложила церковь; я слышал ее рев; вороны и галки совсем перепугались и в смятении то взлетали на колокольню, то улетали прочь, таращились на толпу, заглядывали в окна церкви и громко вопили о том, что видели. Король Кнуд лежал распростертый перед алтарем и молился; братья его Эрик и Бенедикт стояли возле него с обнаженными мечами, готовясь защищать короля, но вероломный слуга Блаке предал своего господина. Толпа узнала, где находится король, и в окно был пущен камень, убивший его на месте... То-то ревела и выла дикая толпа, птицы кричали, а я гудел и звонил: бом-бом-бом!»

Церковный колокол висит высоко, видит далеко! Его навещают птицы, и он понимает их язык! Посещает его и ветер, врываясь в слуховые окна, во все отверстия и щели, а ветер знает обо всем от воздуха — воздух облегает ведь землю и все живое, проникает даже в легкие человека и воспринимает каждый звук, каждое слово, каждый вздох!.. Воздух знает обо всем, ветер рассказывает, колокол внимает ему и звонит на весь мир: «бом-бом-бом!..»

«Но уж слишком много приходилось мне слушать и узнавать, сил не хватало звонить обо всем! Я устал, отяжелел, и балка обломилась, а я полетел по сияющему воздуху прямо в глубину реки, где живет водяной! Он одинок, и вот я рассказываю ему из года в год о том, что слышал и видел на свете: бом-бом-бом!»

Так вот какой звон раздается из колокольной бездны реки Одензе — я слышал об этом от бабушки.

А школьный учитель наш говорит: «Какой там может звонить колокол? Никакого там нет колокола! Нет и водяного — водяных совсем нет!» Когда же слышится веселый звон церковных колоколов, он говорит, что это звучат, собственно, не колокола, а воздух; воздух производит звук.

То же ведь говорила и бабушка со слов церковного колокола; в этом учитель сошелся с нею, значит, это так и есть.

«Гляди в оба и на себя оглядывайся!» — говорят и бабушка и учитель.

Да, воздух знает обо всем! Он и вокруг нас, и в нас, он оглашает все наши мысли, все наши деяния и будет оглашать их куда дольше, чем колокол, что лежит на дне у водяного. Воздух разглашает все по небесной бездне, и звуки уносятся выше, дальше, бесконечно далеко, пока не дойдут до небесных колоколов, и те, в свою очередь, не зазвонят: «бом-бом-бом!»



# ЗЛОЙ КНЯЗЬ

## Предание



Жил-был злой, высокомерный князь. Он только и думал о том, как бы покорить себе весь свет, на всех нагнать страху одним своим именем. И вот он шел в чужие земли с огнем и мечом; воины его топтали нивы и зажигали крестьянские дома; красные языки лизали листья на деревьях, а плоды поджаривались на обуглившихся ветвях. Часто бедная мать укрывалась с голеньким грудным малюткой за дымившимися стенами, но воины рыскали повсюду, находили их, и начиналась дьявольская потеха! Злые духи не могли поступать хуже. Но князю казалось, что дела шли, как должно. День ото дня росло его могущество, имя его наводило ужас на всех, и счастье сопровождало его во всех его деяниях. Из покоренных городов вывозил он золото и богатые сокровища, и в столице его скопились несметные богатства; нигде в свете не было ничего подобного. Он повелел строить великолепные дворцы, церкви и арки, и все, видевшие эти чудные постройки, говорили: «Какой великий князь!» Они не думали о бедствиях, в какие он поверг чужие земли, не слышали стонов и жалоб, раздававшихся в ограбленных и сожженных городах.

Сам князь смотрел на свое золото, на великолепные здания и думал, как другие: «Какой я великий князь! Но мне еще мало всего этого! Хочу большего! Ничья власть в мире не должна равняться с моею, не то что превосходить ее!»

И он пошел войной на всех своих соседей и всех покорил.

Плененных королей он велел приковывать золотыми цепями к своей колеснице всякий раз, как собирался проехать по улицам столицы. Когда же он сидел за столом, они должны были лежать у ног его и его придворных и хватать куски хлеба, которые им бросали.

Наконец, князь повелел воздвигнуть себе на площадях и в дворцах статуи; он хотел было поставить их и в храмах, перед алтарем Господа, но священники сказали: «Князь, ты велик, но Бог выше тебя, мы не смеем сделать этого!»

— Ладно! — сказал злой князь. — Так я покорю и Бога!

И ослепленный безумной гордостью, он приказал строить диковинный корабль, на котором можно было носиться по воздуху. Корабль был расписан разными красками и походил на павлиний хвост, усеянный тысячами глазков, но каждый глазок был ружейным дулом. Князь сел на корабль; стоило ему нажать одну пружину, из ружей вылетали тысячи пуль, а ружья сейчас же сами собой заряжались вновь. Сто могучих орлов были впряжены в корабль, и вот он взвился в воздух, к солнцу. Земля едва виднелась внизу, горы и леса казались сначала вспаханным дерном, затем нарисованными на плоской ландкарте и, наконец, вовсе исчезли в облачном тумане. Все выше и выше подымались орлы; тогда Бог выслал одного из своих бесчисленных ангелов, но злой князь встретил его ружейным залпом. Пули отскочили от блистающих крыльев ангела, как градинки; только одна-единственная капелька крови вытекла из белоснежного крыла и упала в корабль, где сидел князь; она глубоко вьелась в дерево и надавила на дно корабля со страшной силой, словно тысячепудовая глыба свинца. Корабль полетел вниз с невероятной быстротой; могучие крылья орлов переломились; ветер так и свистел в ушах у князя; облака, собравшиеся из дыма от сгоревших городов, теснились вокруг и принимали чудовищные формы: огромных раков, протягивавших к князю сильные клешни, катящихся обломков скал и огнедышащих драконов. Князь лежал на дне корабля полумертвый от страха; наконец, корабль застрял в густых ветвях лесных деревьев.

— Я хочу одолеть Бога! — сказал князь. — Я дал себе клятву одолеть его, и быть посему!

И он приказал строить новые воздушные корабли; строили их семь лет. Велел он также ковать молнии из твердейшей стали, чтобы взять твердыню неба приступом, и собрал воинов со всех концов своего государства; войска покрыли пространство в несколько квадратных миль. Воины готовы были сесть на корабли, князь подошел к своему, но Бог выслал на него рой комаров, один только маленький комариный рой. Насекомые жужжали вокруг князя и жалили его в лицо и руки. Он злобно выхватил меч, но рубил им лишь воздух, в комаров же попасть не удавалось. Тогда он велел принести драгоценные ковры и укутать себя ими с ног до головы, чтобы ни один комар не мог достать до него своим жалом. Приказ его был исполнен, но один комар ухитрился пробраться под самый нижний ковер, заполз в ухо князя и ужалил его. Словно огонь разлился по крови князя, яд проник в его мозг, и он сорвал с себя все ковры, разорвал на себе одежды и принялся метаться и прыгать перед толпой своих грубых солдат, а те только насмехались над безумным князем, который хотел победить Бога, а был сам побежден комариком.





## ВЕТЕР РАССКАЗЫВАЕТ О ВАЛЬДЕМАРЕ ДО И ЕГО ДОЧЕРЯХ

**П**ронесется ветер над травой, и по ней пробежит легкая зыбь, словно по водяной поверхности; пронесется над нивою, и она взволнуется, как море; это — пляска ветра. А послушай его рассказы! Он поет их, и голос его звучит на разные лады: в лесу — так, в доме, куда он врывается через слуховые окна, щели и дыры, — иначе. Гляди, как ветер гонит облака; они несутся, точно стадо овец! А слышишь, как он воет в воротах? Будто сторож трубит в рог! Как странно свищет он в трубе и в камине! Дрова трещат и разбрасывают искры; яркий отблеск пламени забирается даже в самые дальние углы комнаты. Как тут тепло, как уютно, как приятно сидеть у комелька и слушать! Пусть только рассказывает сам ветер! Он один знает историй и сказок больше, чем мы все вместе. Слушай же, он начинает:  
«У-у-у! Проносись!» — это его припев.

— На берегу Большого Бельта лежит старая усадьба с красным кирпичным господским домом! — начал ветер. — Мне так знаком каждый кирпич: я видел их все, когда еще из них сложен был замок Марска Стига; замок разрушился, а кирпичи опять пошли в дело — из них выстроили новые стены, новый дом в усадьбе Борребю; он стоит и посейчас.

Знавал я и всех высокородных владельцев и владетельниц усадьбы; много поколений сменилось на моих глазах! Я расскажу теперь о Вальдемаре До и его дочерях!

Высоко держал он свою голову — в нем текла королевская кровь! И умел он не только оленей травить да кубки осушать, а кое-что получше! Что же именно? «А вот со временем выяснится!» — говорил он.

Супруга его, разодетая в парчовое платье, гордо выступала по блестящему мозаичному полу; обстановка дома была роскошная: гобелены,

дорская резная мебель. А сколько серебряной и золотой посуды принесла госпожа с собой в приданое! В погребах хранилось немецкое пиво — пока там вообще хранилось что-нибудь! В конюшнях ржали великолепные вороные кони. Да, богат был владелец Борребю — пока богатство не ушло.

Были у него и дети, три нежных цветка: Ида, Иоганна и Анна-Доротея; я еще помню, как их звали!

Да, богаты были обитатели Борребю, родились в роскоши и воспитаны были в роскоши! У-у-у! Проносись! — прогудел ветер и опять продолжал рассказ:

Тут мне не случалось видеть, как в других старинных усадьбах, чтобы высокородная госпожа сидела в парадной зале вместе со своими девушками за прялкою. Нет, она играла на звучной лютне и пела, да не одни старые датские песни, а и чужеземные, на чужих языках. В усадьбе жилось весело, наезжали знатные гости, и из ближних и из дальних окрестностей, раздавалась музыка, звенели бокалы, стон стоял в воздухе, и даже мне не под силу было заглушить его! Да, тут царила с шумом и треском господская спесь, тут были господа, но не было Господа!..

Был майский вечер, — продолжал ветер, — я только что вернулся с запада; я смотрел там, как разбивались о ютландский берег корабли, а потом со свистом пронесся над степью и покрытым зелеными лесами берегом, над островом Фионией и водами Большого Бельта, и успокоился только у берегов Зеландии. Здесь я улегся возле Борребю, в великолепном дубовом лесу — он был еще цел тогда.

По лесу бродили молодые парни из окрестностей и собирали сухой хворост и самые сухие и крупные ветви, какие только могли найти. Набрав охапку, они возвращались в селение, складывали хворост и ветви в кучи, поджигали их и с песнями принимались плясать вокруг костров. Девушки не отставали от парней.

Я лежал смирно, — рассказывал ветер, — и только тихонько дул на ветку, положенную самым красивым молодым парнем. Она вспыхнула ярче всех, и парня выбрали в майские короли, а он выбрал себе из девушек королеву. То-то было веселья, то-то радости! Побольше, чем в богатом господском доме!

А к господскому двору направлялась запряженная пятью лошадьми золоченая карета. В ней сидели сама госпожа и ее дочери, три нежных, юных, прелестных цветка: роза, лилия и бледный гиацинт. Сама мать была пышным тюльпаном; она сидела, вытянувшись в струнку, и не отвечала ни на один поклон, ни на один книксен, которыми приветствовали ее приостановившие пение и пляску поселяне: она словно боялась переломить свою стройную талию, если поклонится!

«А вы, роза, лилия и бледный гиацинт, — да, я как сейчас вижу их перед собою, — чьими королевами будете со временем вы? — по-

думал я. — Вашими избранниками будут благородные рыцари, может быть, принцы!»

У-у-у! Проносись, проносись!

Карета проехала, и поселяне вновь пустились в пляс.

Так-то встречали лето в Борребю, в Тьэребю и других окрестных селениях!

А ночью, когда я поднялся, — продолжал ветер, — высокородная госпожа слегла и уж больше не вставала. С нею случилось то же, что случается и должно случиться со всеми людьми, — нового тут нет ничего. Вальдемар До постоял с минуту в серьезном раздумье, но «гордое дерево лишь чуть гнется, а не ломается», — звучало в его душе. Дочери плакали, дворня тоже ходила с мокрыми глазами. Но госпожа До все-таки унеслась, унесся и я! У-у-у! — прогудел ветер.

— Я вернулся назад — я часто возвращался назад, проносясь над Фионией и водами Бельта, — и улегся на берегу моря, в Борребю, возле великолепного дубового леса. В лесу вили себе гнезда морские орлы-рыболовы, лесные голуби, иссиня-черные вороны и даже черные аисты. Стояла ранняя весна; в одних гнездах лежали яйца, в других уже пищали птенцы, а птичьи стаи кричали и летали над лесом как шальные! В лесу раздавались удары топоров; высокие дубы были обречены на сруб: Вальдемар До собирался выстроить дорогой трехпалубный военный корабль — его наверное купит король! Вот отчего и вырубали лес, примету моряков, убежище птиц. Сорокопуты в ужасе летали взад и вперед: гнезда их были опустошены; морские орлы и другие лесные птицы тоже лишились своих жилищ и кружились в воздухе, крича от страха и злобы. Я понимал их! А вороны и галки испускали насмешливые крики: «Крах! Разорение! Крах, крах!»

В лесу возле толпы рабочих стоял сам Вальдемар До с тремя дочерьми. Все они смеялись над дикими криками птиц, все, кроме младшей дочери Анны-Доротей. Ей было жаль птиц, и когда дело дошло до полузасохшего дуба, на голых ветвях которого свил себе гнездо черный аист, она со слезами на глазах стала просить отца не давать рубить дерево, не губить птенцов, высовывавших из гнезда головки. И дуб был пощажён ради черного аиста — стоило разговаривать об одном дереве!

Пошла рубка и пилка; строили трехпалубный корабль. Сам строитель был не из важного, но все-таки из благородного рода. Глаза и лоб обличали его ум, и Вальдемар До охотно слушал рассказы молодого человека. Заслушивалась их и молоденькая Ида, старшая пятнадцатилетняя дочка владельца Борребю. Строитель же, строя корабль для Вальдемара До, строил воздушный замок для самого себя и для Иды: они сидели в этом замке рядышком, как муж с женою! Оно бы так

и случилось, будь его замок настоящим, с каменными стенами, валами, рвами, лесами и садами. Но куда уж воробью соваться в журавлиную пляску? Как ни умен был молодой строитель, все же он был бедняком. У-у-у! Я улетел, и он улетел — он не смел тут больше оставаться, а Ида примирилась со своей судьбой, больше ведь ничего и не оставалось.

В конюшнях ржали вороные кони, — продолжал ветер, — стоило на них посмотреть! На них и смотрели. Адмирал, посланный самим королем для осмотра и покупки нового военного корабля, громко восхищался ретивыми конями. Я отлично слышал все — я ведь проходил вслед за господами в открытые двери и сыпал им под ноги золотую солому. Вальдемару До желательно было получить золото, адмиралу же — вороных коней, оттого-то он и выхвалял их. Но его не поняли, и покупка не состоялась. Корабль как стоял, так и остался стоять на берегу, прикрытый досками, как Ноев ковчег; не суждено было ему плавать по синему морю! У-у-у! Проносись! Проносись! — прогудел ветер. — Жалко было смотреть на него!

Зимой, когда снежный ковер покрыл поле, а по Бельту носились льдины, на корабль налетали стаи черных воронов и ворон, одни чернее других; птицы садились на пустое, брошенное, одинокое судно и злобно шипели и вопили о срубленном лесе, о разоренных, дорогих им гнездах, о лишенных приюта старых и молодых птицах — и все ради чего? Ради постройки этого хлама, этого гордого корабля, которому никогда не суждено быть спущенным на воду!

Я поднял снежный вихрь, и хлопья ложились вокруг корабля волнами. Я дал ему послушать мое пение и музыку бури: пусть привыкает, на то он и корабль! У-у-у! Проносись!

Пронеслась и зима; зима и лето проносятся, как проношусь я, как сыплется снег, осыпаются цветы яблони, опадает листва. Проноситесь! Проноситесь! И люди тоже!

Но дочери были еще молоды. Ида по-прежнему цвела, словно роза, как и в то время, когда любовался ею строитель корабля. Я часто играл ее длинными русыми локонами, когда она задумчиво стояла под яблоней, не замечая, что я осыпаю ее распутившиеся волосы дождем цветов. Она смотрела на красное солнышко и золотой небесный свод, просвечивавший между густыми деревьями сада.

Сестра ее Иоганна была похожа на стройную, блестящую лилию, с гордо откинутой назад головкой и такую же тонкой, хрупкой талией, какая была у матери. Она любила заходить в огромный покой, где висели на стенах портреты ее предков. Знатные дамы были изображены в бархатных и шелковых платьях и унизанных жемчугом шапочках, прикрывавших заплетенные в мелкие косы волосы. Как они были прекрасны! Мужья их носили панцири и латы или плащи на беличьем меху с вы-

сокими стоячими голубыми воротниками. Мечи у них висели на бедрах, а не у пояса. Где-то будет красоваться со временем портрет Иоганны и каков-то будет на вид ее благородный супруг? Да, вот о чем она думала, вот что тихо шептали ее губы. Я подслушал все это, носясь взад и вперед по длинному коридору и врываясь в огромный покой.

Анна-Доротея, бледный гиацинт, еще четырнадцатилетняя девочка, была тиха и задумчива. Большие светло-голубые глаза смотрели серьезно-грустно, но на устах порхала улыбка. Я не мог ее сдуть, да и не хотел.

Я часто встречал Анну-Доротею в саду, на дороге и в поле; она собирала цветы и травы, которые могли, как она знала, пригодиться ее отцу: он готовил из них питье и капли. Вальдемар До был горд и смел, но также и знающ! Он много знал! Все это видели, все об этом шептались. Огонь пылал в его комнате даже летом, а дверь всегда была на замке; он работал там дни и ночи, но не любил разговаривать о своей работе: силы природы нужно испытывать в тиши; скоро, скоро он найдет самое лучшее, самое драгоценное на свете — красное золото!

Вот почему валил из трубы дым, трещали дрова и пылал в камине огонь! Я сам помогал алхимику раздувать его! — рассказывал ветер. — «Будет! Будет! — гудел я в трубу Вальдемару До. — Все станет дымом, сажей, золой, пеплом! Ты прогоришь! У-у-у! Проносись! Проносись! Будет! Будет!» Но Вальдемару До все еще было мало.

Куда же девались из конюшен великолепные лошади? Куда девалась из шкафов серебряная и золотая посуда, с полей — коровы, все добро и имение? Да, все это можно расплавить, растопить... расплавить в золотом тигле, но золота из того не получится!

Пусто стало в кладовых, в погребах и на чердаках. Убавилось людей, прибавилось мышей. Одно стекло трескалось, другое разбивалось; мне уже не нужно было входить непременно в двери! Где дымится труба, там готовится еда, а тут дымились такая труба, которая пожирала всякую еду ради красного золота!

Я гудел в воротах усадьбы, словно сторож трубил в рог, но тут не было больше сторожа! Я вертел башенный флюгер, и он скрипел, будто сторож храпел на вышке, но и там не было больше сторожа! Там были только крысы да мыши. Нищета накрывала в господском доме стол, нищета поместилась в шкафах и буфетах; двери соскочили с петель, всюду показывались щели и дыры — мне на руку: доступ становился свободнее! Оттого-то я и знаю, что там творилось.

От дыма и пепла, от забот и бессонных ночей волосы и борода владельца Борребю поседел, кожа на лице сморщилась и пожелтела, но впалые глаза по-прежнему горели жадным блеском в ожидании золота, желанного золота!

Я дул и обдавал его лицо и бороду дымом и пеплом, но золото все не являлось, зато являлись долги. Я пел свои песни в разбитые окна,

щели и дыры, пробирался и в сундуки дочерей, где лежали их полинявшие, изношенные платья, — носить их пришлось без конца, без перемены! Да, не то сулили девушкам песни, что пелись над их колыбелями! Господское житье стало горемычным житьем. Лишь я один пел там громко! — рассказывал ветер. — Я осыпал весь дом снегом, — говорят, что снег греет; дров же у них не было, лес был ведь вырублен. Мороз так и трещал. Я носился взад и вперед по всему дому, врывался в слуховые окна и щели, носился над крышей и стенами: надо было поддерживать в себе бодрость! А благородные девицы попрятались от холода в постели; сам отец заполз под меховое одеяло. Ни еды, ни топлива — вот так господское житье! У-у-у! Проносись! Будет! Будет! Но господину До все было мало.

«За зиму идет весна! — говорил он. — Нужда сменится довольством! Но оно заставляет себя ждать! Теперь имение заложено, ждать больше нельзя, но золото явится скоро... к Пасхе!»

Я слышал, как он шептал пауку: «Ты прилежный, маленький ткач, ты учишь меня терпению! Разорвут твою ткань, ты начинаешь сначала и опять доводишь ее до конца! Разорвут опять — опять начинаешь сначала, сначала, сначала! Так и следует! Награда же впереди!»

Но вот и первый день Пасхи; зазвонили колокола, в небе заиграло солнышко. Вальдемар До лихорадочно работал всю ночь, варил, охлаждал, мешал, перегонял. Я слышал, как он тяжело вздыхал, как горячо молился, я видел, как он сидел за работой, боясь перевести дух. Лампа его потухла, он не замечал. Я раздул уголья, они заалели и осветили его бледное, как мел, лицо и впалые глаза. Вдруг они расширились, еще, еще... готовы были выскочить!

Гляди в стеклянный сосуд! Блестит... Горит, как жар... Что-то яркое, тяжелое!.. Он подымает сосуд дрожащей рукой и, задыхаясь от волнения, восклицает: «Золото! Золото!» Он шатался, я мог бы свалить его с ног одним дуновением! Но я только раздул горячие угли и проводил его в комнату, где мерзли дочери. Платье его все было в золе, борода и всклокоченные волосы — тоже. Он выпрямился и высоко поднял сокровище, лежавшее в хрупком стеклянном сосуде: «Нашел! Нашел! Золото!» — закричал он и протянул им сосуд, заискрившийся на солнце, но... рука его дрогнула, сосуд упал на пол и разбился вдребезги! Последний радужный мыльный пузырь надежды лопнул! У-у-у! Проносись! И я унесся из дома алхимика.

Поздней осенью, когда настали короткие дни, а туман развесил свои мокрые тряпки и выжимал их над красными ягодами и обнаженными ветвями деревьев, я вернулся, свежий и бодрый, подул и прочистил небо, да кстати пообломал гнилые ветви — работа не Бог весть какая, но сделать ее все-таки нужно. В господском доме в Борребю тоже было чисто, словно ветром выметено, но на другой лад. Недруг Валь-



демара До, Ове Ромель из Баснэса, явился в Борребю с купленным им закладным листом на имение: теперь и дом, и все имущество принадлежали ему! Я изо всех сил принялся гудеть в разбитые окна, хлопать сорвавшимися с петель дверями, свистеть в щели и дыры: У-у-у! Пусть не захочется господину Ове остаться тут! Ида и Анна-Доротея заливались горькими слезами; Иоганна стояла, гордо выпрямившись, бледная, как смерть, и так стиснула зубами свой палец, что брызнула кровь. Но помощи от этого было мало! Ове Рамель позволил господину До остаться жить в доме до самой смерти, но ему и спасибо за это не сказали. Я ведь все слышал и видел, как бездомный дворянин гордо вскинул голову и выпрямился. Тут я с такой силой ударил по крыше и по старым липам, что сломал самую толстую и вовсе не гнилую ветвь, она упала возле ворот и осталась там лежать, словно метла, на случай, если понадобится что-нибудь вымести. И вывели — прежних владельцев!

Тяжелый выдался день, горький час, но душа была тверда, спина не гнулась.

Ничего у них не осталось, кроме того, что было на теле да вновь купленного и наполненного подобранным с полу мусором стеклянного сосуда, много обещавшего, но не сдержавшего своих обещаний. Вальдемар До спрятал его на груди, взял посох в руки, и вот некогда богатый владелец поместья вышел со своими тремя дочерьми из Борребю. Я охлаждал своим дуновением их горячие щеки, гладил его по бороде и длинным седым волосам и пел, как умел: «У-у-у! Проносись! Проносись!» Вот каков был конец дворянского великолепия!

Ида и Анна-Доротея шли рядом с отцом; Иоганна, выходя из ворот, обернулась назад. К чему? Счастье ведь не обернется! Она посмотрела на красные кирпичные стены, выстроенные из кирпичей замка Марска Стига, и вспомнила о его дочерях.

И старшая младшую за руку взяв,  
Пустилась бродить с ней по свету<sup>1</sup>.

Вспомнила ли Иоганна и эту песню? Теперь изгнанниц было три, да четвертый отец. И они поплелись по дороге, по которой, бывало, ездили в карете, поплелись в поле Смидструпа, к жалкой мазанке, нанятой ими за 10 марок в год. Новое господское жилье, пустые стены, пустая посуда ожидали их там. Вороны и галки летали над ними и насмешливо кричали: «Крах! Крах! Разорение! Крах!» — так же кричали они в лесу Борребю, во время рубки.

Господин До и его дочери хорошо поняли эти крики, хоть я и дул им в уши изо всех сил, — стоило слушать?<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Отрывок из известной датской народной песни про дочерей Марска Стига. — Примеч. перев.

Они вошли в мазанку, а я понесся над болотами и полями, над голыми кустами и общипанными лесами, к открытому морю, в другие страны. У-у-у! Проносись! Проносись! И так из года в год!

Но что же случилось с Вальдемаром До, что случилось с его дочерьми? А вот сейчас ветер расскажет.

— Последнюю я видел Анну-Доротею, бледный гиацинт; но она была уже слабой старухой — прошло ведь целых пятьдесят лет. Она пережила всех и знала обо всем.

В степи, близ города Виборга, стоял новый, красивый красный кирпичный дом священника. Густой струей вился из трубы дым. Кроткая жена священника и красавицы дочери сидели у окна и смотрели через кусты садового терна в степь. Что же они видели там? Они смотрели на гнездо аиста, лепившееся на крыше полуразвалившейся избушки. Крыша вся поросла мхом и диким чесноком и покрывала-то избушку главным образом не она, а гнездо аиста! Оно только одно ведь и чинилось; держал его в порядке сам аист.

На избушку эту можно было только смотреть, но уж никак не до-трагиваться до нее! Даже мне приходилось дуть здесь с опаской! — сказал ветер. — Только ради гнезда аиста избушку и оставляли стоять, а то бы такой хлам давно сломали. Семья священника не хотела выгонять аиста, и вот избушка уцелела, а в ней жила бедная старуха. За приют она могла благодарить египетскую птицу, или, может быть, это аист благодарил ее за то, что она вступилась когда-то за гнездо его черного брата, жившего в лесу Борребю? В те времена нищая старуха была нежным ребенком, бледным гиацинтом из дворянского цветника. И Анна-Доротея помнила все.

«О-ох! — Да, и люди вздыхают, как ветер в тростнике и осоке. — О-ох! Не звонили колокола над твоей могилой, Вальдемар До! Не пели бедные школьники, когда бездомного владельца Борребю опускали в землю!.. Да, всему, всему наступает конец, даже бесконечному несчастью!.. Сестра Ида вышла замуж за крестьянина. Вот что нанесло отцу жесточайший удар! Муж его дочери — жалкий раб, которого господин может посадить на кобылку!..<sup>1</sup>» Теперь и он, наверно, в земле, и сестра Ида!.. Да, да! Только мне бедной Бог конца не посылает! Ох, освободи же меня, Иисусе Христе!»

Так молилась Анна-Доротея в своей жалкой избушке, уцелевшей лишь благодаря аисту.

О самой же здоровой и смелой из сестер я сам позаботился! — продолжал ветер. — Она надела платье, которое больше было ей по вкусу: переоделась парнем и нанялась в матросы на корабль. Скупа была

<sup>1</sup> Деревянная кобылка — употреблявшееся в старину наказание для провинившихся крестьян. — *Примеч. перев.*

она на слова, сурова на вид, но с делом своим справлялась, только лазить не умела! Ну я и сдул ее в воду, пока не узнали, что она женщина, и хорошо сделал!

Был первый день Пасхи, как и тогда, когда Вальдемар До думал, что нашел золото, и я услышал под крышей с гнездом аиста пение псалма, лебединую песнь Анны-Доротей.

В избушке не было даже окна, а просто круглое отверстие в стене; вошло солнце, словно золотой шар, и лучи его проникли в отверстие. Что за блеск разлился по избушке! Взор Анны-Доротей не вынес и закрылся навеки, сердце перестало биться! Солнце, впрочем, было тут ни при чем: случилось бы то же, если бы оно и не восходило в то утро.

Аист давал Анне-Доротее кров до самой ее смерти. Я пел и над ее могилою, и над могилою ее отца — я знаю, где и та, и другая, а кроме меня не знает никто.

Новые времена, другие времена! Старая проезжая дорога упирается теперь в огороженное поле, по могилам проходит новая, а скоро пронесется тут и паровоз, таща за собою ряд вагонов и шумно гремя над забытыми могилами забытых лиц. У-у-у! Проносись!

Вот вам и вся история про Вальдемара До и его дочерей. Расскажи ее лучше, кто сумеет! — закончил ветер и повернул в другую сторону.

И след его простыл.



## ДЕВОЧКА, НАСТУПИВШАЯ НА ХЛЕБ



ы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков, слышали и о том, как плохо ей потом пришлось. Об этом и написано, и напечатано.

Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки. Крошкой она любила ловить мух и обрывать у них крылышки; ей нравилось, что мухи из летающих насекомых превращались в ползающих. Ловила она также майских и навозных жуков, насаживала их на булавки и подставляла им под ножки зеленый листик или клочок бумаги. Бедное насекомое ухватывалось ножками за бумагу, вертелось и изгибалось, стараясь освободиться от булавки, а Инге смеялась:

— Майский жук читает! Ишь, как переворачивает листок!

С летами она становилась скорее хуже, чем лучше; к несчастью своему, она была прехорошенькая, и ей хоть и доставались щелчки, да все не такие, какие следовало.

— Крепкий нужен щелчок для этой головы! — говаривала ее родная мать. — Ребенком ты часто топтала мой передник, боюсь, что выросши ты растопчешь мне сердце!

Так оно и вышло.

Инге поступила в услужение к знатным господам, в помещичий дом. Господа обращались с нею, как со своей родной дочерью, и в новых нарядах Инге, казалось, еще похорошела, зато и спесь ее все росла да росла.

Целый год прожила она у хозяев, и вот они сказали ей:

— Ты бы навестила своих стариков, Инге!

Инге отправилась, но только для того, чтобы показаться родным в полном своем параде. Она уже дошла до околицы родной деревни, да вдруг увидала, что около пруда стоят и болтают девушки и парни, а неподалеку на камне отдыхает ее мать с охапкой хвороста, собранного в лесу. Инге — марш назад: ей стало стыдно, что у нее, такой нарядной барышни, такая оборванная мать, которая вдобавок сама таскает из лесу

хворост. Инге даже не пожалела, что не повидалась с родителями, ей только досадно было.

Прошло еще полгода.

— Надо тебе навестить своих стариков, Инге! — опять сказала ей госпожа. — Вот тебе белый хлеб, снеси его им. То-то они обрадуются тебе!

Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмаки, приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмачков, — ну, за это и упрекать ее нечего. Но вот тропинка свернула на болотистую почву; приходилось пройти по грязной луже. Не долго думая, Инге бросила в лужу свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одною ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с нею все глубже и глубже в землю — только черные пузыри пошли по луже!

Вот какая история!

Куда же попала Инге? К болотнице в пивоварню. Болотница приходится теткой лешим и лесным девам; эти-то всем известны: про них и в книгах написано, и песни сложены, и на картинах их изображали не раз, о болотнице же известно очень мало; только когда летом над лугами подымается туман, люди говорят, что «болотница пиво варит!» Так вот, к ней-то в пивоварню и провалилась Инге, а тут долго не выдержишь! Клоака — светлый, роскошный покой в сравнении с пивоварней болотницы! От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов тут видимо-невидимо, и стоят они плотно-плотно один возле другого; если же между некоторыми и отыщется где щелочка, то тут сейчас наткнешься на съезжившихся в комок мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инге! Очутившись среди этого холодного, липкого, отвратительного живого месива, Инге задрожала и почувствовала, что ее тело начинает коченеть. Хлеб крепко прильнул к ее ногам и тянул ее за собою, как янтарный шарик соломинку.

Болотница была дома; пивоварню посетили в этот день гости: черт и его прабабушка, ядовитая старушка. Она никогда не бывает праздною, даже в гости берет с собою какое-нибудь рукоделье: или шьет из кожи башмаки, надев которые человек делается непоседой, или вышивает сплетни, или, наконец, вяжет необдуманные слова, срывающиеся у людей с языка, — все во вред и на пагубу людям! Да, чертова прабабушка — мастерица шить, вышивать и вязать!

Она увидела Инге, поправила очки, посмотрела на нее еще и сказала: «Да она с задатками! Я попрошу вас уступить ее мне в память сегодняшнего посещения! Из нее выйдет отличный истукан для передней моего правнука!»

Болотница уступила ей Инге, и девочка попала в ад — люди с задатками могут попасть туда и не прямым путем, а окольным!







Передняя занимала бесконечное пространство; поглядеть вперед — голова закружится, оглянуться назад — тоже. Вся передняя была запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия отворятся. Долгонько приходилось им ждать! Большущие, жирные, переваливающиеся с боку на бок пауки оплели их ноги тысячетелней паутиной; она сжимала их, точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников терзались вечной мучительной тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключ в замке своего денежного ящика, другие... да и конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников!

Инге пришлось испытать весь ужас положения истукана; ноги ее были словно привинчены к хлебу.

«Вот и будь опрятной! Мне не хотелось запачкать башмаков, и вот каково мне теперь! — говорила она самой себе. — Ишь, таращатся на меня!» Действительно, все грешники глядели на нее; дурные страсти так и светились в их глазах, говоривших без слов; ужас брал при одном взгляде на них!

«Ну, на меня-то приятно и посмотреть! — думала Инге. — Я и сама хорошенькая и одета нарядно!» И она повела на себя глазами — шея у нее не ворочалась. Ах, как она выпачкалась в пивоварне болотницы! Об этом она и не подумала! Платье ее все сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал ее по шее, а из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие, точно жирные охрипшие моськи. Страсть, как было неприятно! «Ну, да и другие-то здесь выглядят не лучше моего!» — утешала себя Инге.

Хуже же всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет, спина не сгибалась, руки и ноги не двигались, она вся будто окаменела и могла только водить глазами во все стороны, кругом, даже выворачивать их из орбит и глядеть назад. Фу, как это выходило гадко! И вдобавок ко всему этому явились мухи и начали ползать по ее глазам взад и вперед; она моргала глазами, но мухи не улетали — крылья у них были общипаны, и они могли только ползать. Вот была мука! А тут еще этот голод! Под конец Инге стало казаться, что внутренности ее пожрали самих себя, и внутри у нее стало пусто, ужасно пусто!

— Ну, если это будет продолжаться долго, я не выдержу! — сказала Инге, но выдержать ей пришлось: перемены не наступало.

Вдруг на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб; за нею другая, третья, целый град слез. Кто же мог плакать об Инге?

А разве у нее не оставалось на земле матери? Горькие слезы матери, проливаемые ею из-за своего ребенка, всегда доходят до него, но не освобождают его, а только жгут, увеличивая его муки. Ужасный, нестер-

пимый голод был, однако, хуже всего! Топтать хлеб ногами и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек! Ей казалось, что все внутри ее пожрало само себя, и она стала тонкой, пустой тростинкой, втягивавшей в себя каждый звук. Она явственно слышала все, что говорили о ней там, наверху, а говорили-то одно дурное. Даже мать ее, хоть и горько, искренно оплакивала ее, все-таки повторяла: «Спесь до добра не доводит! Спесь и сгубила тебя, Инге! Как ты огорчила меня!»

И мать Инге, и все там, наверху, уже знали о ее грехе, знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Один пастух видел все это с холма и рассказал другим.

— Как ты огорчила свою мать, Инге! — повторяла мать. — Да я другого и не ждала!

«Лучше бы мне и не родиться на свет! — думала Инге. — Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне!»

Слышала она и слова своих господ, почтенных людей, обращавшихся с нею, как с дочерью: «Она большая грешница! Она не чтит даров Господних, попирает их ногами! Не скоро откроются для нее двери милосердия!»

«Воспитывали бы меня лучше, построже! — думала Инге. — Выгоняли бы из меня пороки, если они во мне сидели!»

Слышала она и песню, которую сложили о ней люди, песню о спесивой девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать башмаков. Все распевали ее.

«Как подумаю, чего мне ни пришлось выслушать и выстрадать за мою провинность! — думала Инге. — Пусть бы и другие заплатились за свои! А скольким бы пришлось! У, как я терзаюсь!»

И душа Инге становилась еще грубее, жестче ее оболочки.

— В таком обществе, как здесь, лучше не станешь! Да я и не хочу! Ишь, таращатся на меня! — говорила она и вконец ожесточилась и озлобилась на всех людей. — Обрадовались, нашли теперь, о чем галдеть! У, как я терзаюсь!

Слышала она также, как историю ее рассказывали детям, и малютки называли ее безбожницей.

— Она такая гадкая! Пусть теперь помучается хорошенько! — говорили дети.

Только одно дурное слышала о себе Инге из детских уст.

Но вот раз, терзаясь от голода и злобы, слышит она опять свое имя и свою историю. Ее рассказывали одной невинной, маленькой девочке, и малютка вдруг залилась слезами о спесивой, суетной Инге.

— И неужели она никогда не вернется сюда, наверх? — спросила малютка.

— Никогда! — ответили ей.

— А если она попросит прощения, обещает никогда больше так не делать?

— Да она вовсе не хочет просить прощения!

— Ах, как бы мне хотелось, чтобы она попросила прощения! — сказала девочка и долго не могла утешиться. — Я бы отдала свой кукольный домик, только бы ей позволили вернуться на землю! Бедная, бедная Инге!

Слова эти дошли до сердца Инге, и ей стало как будто полегче: в первый раз нашлась живая душа, которая сказала: «бедная Инге!» — и не прибавила ни слова о ее грехе. Маленькая, невинная девочка плакала и просила за нее!.. Какое-то странное чувство охватило душу Инге; она бы, кажется, заплакала сама, да не могла, и это было новым мучением.

На земле годы летели стрелою, под землею же все оставалось по-прежнему. Инге слышала свое имя все реже и реже — на земле вспоминали о ней все меньше и меньше. Но однажды долетел до нее вздох: «Инге! Инге! Как ты огорчила меня! Я всегда это предвидела!» Это умирала мать Инге.

Слышала она иногда свое имя и из уст старых хозяев.

Хозяйка, впрочем, выражалась всегда смиренно: «Может быть, мы еще свидимся с тобою, Инге! Никто не знает, куда попадет!»

Но Инге-то знала, что ее почтенной госпоже не попасть туда, куда попала она.

Медленно, мучительно медленно ползло время.

И вот Инге опять услышала свое имя и увидела, как над нею блеснули две яркие звездочки: это закрылась на земле пара кротких очей. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала о «бедной Инге»: малютка успела вырасти, состариться и была отозвана Господом Богом к Себе. В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающей и ее горькие слезы об Инге, да так живо, что она невольно воскликнула: «Господи, может быть, и я, как Инге, сама того не ведая, попирала ногами Твои всеблагие дары, может быть, и моя душа была заражена спесью, и только Твое милосердие не дало мне пасть ниже, но поддержало меня! Не оставь же меня в последний мой час!»

И телесные очи умирающей закрылись, а духовные отверзлись, и так как Инге была ее последней мыслью, то она и узрела своим духовным взором то, что было скрыто от земного — увидела, как низко пала Инге. При этом зрелище благочестивая душа залилась слезами и явилась к престолу Царя Небесного, плача и молясь о грешной душе так же искренно, как плакала ребенком. Эти рыдания и мольбы отдались эхом в пустой оболочке, заключавшей в себе терзающуюся душу, и душа Инге была как бы подавлена этой неожиданной любовью к ней на небе. Божий ангел плакал о ней! Чем она заслужила это? Измученная душа оглянулась на всю свою жизнь, на все содеянное ей и залилась слезами, каких никогда не знавала Инге. Жалость к самой себе наполнила ее: ей каза-

лось, что двери милосердия останутся для нее запертыми на веки вечные! И вот, едва она с сокрушением сознала это, в подземную пропасть проник луч света, сильнее солнечного, который растопляет снежного истукана, слепленного на дворе мальчуганами, и быстрее, чем тает на теплых губках ребенка снежинка, растаяла окаменелая оболочка Инге. Маленькая птичка молнией взвилась из глубины на волю. Но, очутившись среди белого света, она съежилась от страха и стыда — она всех боялась, стыдилась и поспешно спряталась в темную трещину в какой-то полуразрушившейся стене. Тут она и сидела, съежившись, дрожа всем телом, не издавая ни звука, — у нее и не было голоса. Долго сидела она так, прежде чем осмелилась оглядеться и полюбоваться великолепием Божьего мира. Да, великолепен был Божий мир! Воздух был свеж и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали; в уголке, где укрылась птичка, было так уютно, а платье на ней было такое чистенькое, нарядное. Какая любовь, какая красота были разлиты в Божьем мире! И все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песне, но птичка не могла петь, как ей ни хотелось этого; не могла она ни прокуковать, как кукушка, ни зацелкать, как соловей! Но Господь слышит даже немую хвалу червяка и услышал и эту безгласную хвалу, что мысленно неслась к небу, как псалом, звучавший в груди Давида, прежде чем он нашел для него слова и мелодию.

Немая хвала птички росла день ото дня и только ждала случая вылиться в добром деле.

Настал сочельник. Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овса — пусть и птички весело справят праздник Рождества Спасителя!

В рождественское утро встало солнышко и осветило сноп; живо налетели на угощение щебетуньи-птички. Из расщелины в стене тоже раздалось: «пи! пи!» Мысль вылилась в звуке, слабый писк был настоящим гимном радости: мысль готовилась воплотиться в добром деле, и птичка вылетела из своего убежища. На небе знали, что это была за птичка.

Зима стояла суровая, воды были скованы толстым льдом, для птиц и зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая пташка летала над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах, проведенных санными, зернышки, а возле стоянок для кормежки лошадей — крошки хлеба; но сама она съедала всегда только одно зернышко, одну крошку, а затем сзывала кормиться других голодных воробышков. Летала она и в города, осматривалась кругом и, завидев накрошенные из окна милосердной рукой кусочки хлеба, тоже съедала лишь один, а все остальное отдавала другим.

В течение зимы птичка собрала и раздала такое количество хлебных крошек, что все они вместе весили столько же, сколько хлеб, на который

наступила Инге, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и широко распустились.

— Вон летит морская ласточка! — сказали дети, увидав белую птичку.

Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам — и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видел, куда она делась.

— Она улетела на солнышко! — сказали дети.



## КОЛОКОЛЬНЫЙ СТОРОЖ ОЛЕ

**В** свете все идет то в гору, то под гору, то под гору, то в гору! Мне уже выше не подняться! — говаривал колокольный сторож Оле. — В гору — под гору, под гору — в гору, это всем придется испытать! Под конец же все мы, в сущности, становимся колокольными сторожами — смотрим на жизнь и вещи сверху вниз.

Так говаривал мой приятель Оле, колокольный сторож, веселый, словоохотливый старик. Казалось, у него что на уме, то и на языке, но он много чего таил у себя на душе. Происхождения он был хорошего; поговаривали, что он сын важного чиновника, или мог бы быть им; он получил образование, побывал помощником учителя, потом помощником пономаря, но толку из того не вышло! Оле жил у пономаря на всем готовом, а он был в те времена еще молод и любил-таки щегольнуть, как говорится; ну вот, он и требовал для своих сапог глянец-ваксы, а пономарь отпускал ему только простую смазку, оттого они и не ладились. Один заговорил о скупости, другой о суетности; вакса стала черной причиной их ссоры, и они расстались. Но требования Оле остались те же: он и от всего света требовал глянец-ваксы, а получал всегда только простую смазку; вот он и ушел от людей, сделался отшельником. Но отшельническую келью, да еще с куском хлеба, можно найти в большом городе только на колокольне. Туда-то и забрался Оле и прохаживался по вышке один-одинешенек, покуривая свою трубочку. Глядел он вниз, глядел и вверх, и рассказывал о том, что видел и чего не видел, что прочел в книгах и что в своей душе. Я часто снабжал его книгами, только хорошими: скажи, с кем водишься, и я скажу, кто ты таков! Оле не любил назидательных английских романов, не любил и французских, состряпанных из ветра и изюмных стебельков. Он просил у меня описания жизни людей и чудес природы. Я навещал Оле по крайней мере раз в год, обыкновенно вскоре после Нового года: в это время у приятеля моего всегда находилось о чем поговорить, всегда было в запасе что-нибудь такое, имеющее связь с переменной года.

Расскажу здесь о двух посещениях, стараясь, по возможности, держаться собственных слов Оле.



## Посещение первое

В числе книг, данных мною Оле в последний раз, была одна о валунах; она-то особенно и понравилась ему.

— Вот чей юбилей следует отпраздновать — юбилей валунов! — сказал мне Оле. — А мимо них проходят, даже не замечая их. Я сам так делал, гуляя по полю и по берегу, где их лежат сотни. На мостовой же эти остатки седой старины равнодушно попираются ногами! И я делал тоже! Но теперь я смотрю на каждый камень мостовой с глубоким почтением! Спасибо за эту книжку! Она овладела моим вниманием, освободила меня от старых предрассудков и привычек и возбудила желание прочесть побольше таких книг. Роман земли все-таки интереснее всех романов! Жаль только, что нельзя прочесть первых его глав: они написаны на таком языке, которому мы не учились; приходится читать по слоям, кремневым пластам различных земных периодов, а действующие лица, Адам и Ева, появляются только в шестой главе. Некоторым читателям такое появление кажется несколько запоздалым: им подавай живых лиц в самом начале земного романа, ну а мне — все равно. Да, вот роман со сказочным содержанием, и все мы выведены в нем! Мы барахтаемся, копошимся, ползаем и — все ни с места, а шар-то вертится себе да вертится, не выливая на нас океана. Корка, по которой мы ходим, тверда, так что мы не проваливаемся, и вот роман тянется миллионы лет, а продолжение все впереди. Спасибо за книгу о валунах! Вот молодцы! Умей они говорить, они бы рассказали кое о чем! Право, забавно этак, сидя тут, на вышке, превратиться в нуль, вспомнив, что все мы, со всей нашей глянец-ваксой, орденами, движением вперед, — только минутные муравьи на земной куче! Да, чувствуешь себя таким молокососом в сравнении с этими миллионолетними валунами, что просто неловко становится. Я читал книгу как раз под Новый год и так углубился в нее, что позабыл доставить себе обычное удовольствие — поглядеть, как «мчится на Амагер дикая орда». Да, вы-то, пожалуй, об этом и не знаете!

О полете ведьм на шабаш знают все; это бывает в Иванову ночь, и слетаются они на гору Брокен. Но у нас бывает свой, туземный и современный, шабаш на Амагере в ночь под Новый год. Все плохие поэты и поэтессы, музыканты, журналисты и другие никуда не годные артистические величины мчатся в ночь под Новый год по воздуху на Амагер; летят они верхом на кисточках или гусиных перьях — стальные не годятся: слишком тверды, не гнутся. Я, как сказано, смотрю на путешествие дикой орды каждый год и многих из путешественников мог бы назвать вам по именам — не стоит только связываться! Им смерть не хочется, чтобы люди знали об их ежегодном ночном путешествии, верхом на перьях, на Амагер, но у меня есть одна дальняя

родственница, торговка рыбой и поставщица бранных слов в три уважаемые газеты как она говорит, — и она раз присутствовала на таком шабаше в качестве гостыи. Ее принесли туда, так как сама она не держит в руках пера и верхом ездить не умеет. Так вот, она-то мне обо всем и рассказала. Половина из ее рассказов — ложь, но и остальной половины довольно. Начался праздник песнями; каждый из гостей написал свою и пел свою — она ведь была лучше всех! Да и не все ли равно? Все пели на один лад! Затем «труженики языка» маршировали небольшими кучками. Тут были и звонари, что звонят по домам, и маленькие барабанщики, что барабанят в семействах. Потом те, кому нужно было, познакомились с писаками, что пускают свои статейки без подписи — чтобы смазка могла сойти за глянец-ваксу! Между ними был палач и его подручный; подручный-то и был самым резким на язык — иначе на него не обратили бы внимания! Был тут и мусорщик, который вываливал из ящика мусор, приговаривая: «Хорошо, очень хорошо, замечательно хорошо!» В самый разгар «веселья» из помойной ямы вырос стебель, дерево, чудовищный цветок, огромный гриб, целая крыша; это была «елка» честного собрания; на ней было навешано все, что они в продолжение старого года дали миру. От нее сыпались искры, словно блуждающие огоньки летали; это были заимствованные мысли и взятые напрокат идеи, которыми участники веселья пользовались; теперь они освободились и взлетели на воздух фейерверком. Началась игра в «жгут горит»; поэтики же играли в «сердце горит», краснобаи сыпали остротами — иначе они не могут, — и остроты гремели, точно разбивались о двери пустые горшки или горшки с золою. Ужасно весело было — по словам моей родственницы! Собственно говоря, она высыпала еще с три короба злых, но остроумных замечаний, но я не стану повторять их: надо быть добрыми людьми, а не критиками. Теперь вы поймете, что я, зная о таком празднике, не упускаю случая ежегодно, в ночь под Новый год, посмотреть, как мчится дикая орда. Иной год случается мне хватиться некоторых прошлых годовых путешественников, зато прибавляется обыкновенно и несколько новых. Нынешний же год я прозевал зрелище, катясь вместе с валунами через миллионы лет. Я видел, как они отрывались от скал севера, скатывались вниз, плавали на льдинах задолго до построения Ноева ковчега, падали в воду, погружались на дно и вновь подымались на поверхность вместе с песчаной отмелью, которая говорила: «Здесь будет Зеландия!» Я видел, как эти камни служили сидищем для неизвестных нам пород птиц, тронем для предводителей диких дружин, имен которых мы тоже не знаем; видел, наконец, как на некоторых из камней вырубили топором рунические знаки. Этим камням, таким образом, отведено место в счислении времени, зато сам я окончательно потерял всякое представление о времени, превратился в нуль... В это

время с неба упали три-четыре прелестные звездочки, и мысли мои приняли другой оборот. Вы знаете, что такое падающие звезды? Ученые ведь этого не знают! Я смотрю на них по-своему.

Как часто посылают люди тайное, немое спасибо человеку, совершившему нечто прекрасное, доброе; спасибо это беззвучно, но оно не пропадает даром. По-моему, это молчаливое, тайное спасибо подхватывается солнечным лучом, который затем и возлагает его на голову благодетеля. Если же случается, что целый народ посылает такое спасибо давно умершему благодетелю, с неба падает на его могилу яркий букет — звездочка. И мне доставляет истинное удовольствие угадывать, особенно в ночь под Новый год, кому назначается этот благодарственный букет. В последний раз звезда упала на юго-западный берег; это было спасибо многим, многим! Кому же именно? По-моему, звезда, наверное, упала на крутой берег Фленсбургского залива, где веет Данеброг над могилами Шлэппегреля, Лэссе<sup>1</sup> и их товарищей. Потом раз я видел, как скатилась звезда в самую середину страны — в Сорё, на могилу Гольберга. Это было спасибо от многих читателей его дивных комедий!

И что за великая, радостная мысль — сознать, что на твою могилу скатится такая звездочка!.. На мою-то не упадет ни одна, ни один солнечный луч не принесет мне спасибо — не за что! Мне не удалось добиться глянца-ваксы; моя судьба — довольствоваться простой смазкой.

### *Посещение второе*

В первый день Нового года я поднялся на колокольню, и Оле заговорил о тостах, которые осушаются по случаю перехода от старой «канители» — как он назвал год — к новой. Тут я услышал от него историю о бокалах, и в ней была недурная мысль.

— Едва часы в ночь под Новый год пробьют двенадцать, люди встают с мест с полными бокалами в руках и пьют за здоровье Нового года. Год начинают с бокалами в руках — недурное начало для пьяниц! Начинают год тем, что ложатся спать, — хорошее начало для лентяев! И сон, и бокалы действительно играют в течение года немалую роль! А знаете вы, что в бокалах? — спросил меня Оле. — В них здоровье, радость и веселье! Но в них же и злополучие, и величайшие несчастья! Считая бокалы, я, конечно, подразумеваю степени опьянения.

Вот первый бокал, бокал здоровья! В нем растет цветок здоровья; посади его в своем доме — и к концу года будешь сидеть в беседке здоровья!

<sup>1</sup> Датские офицеры, павшие геройской смертью в первую датско-прусскую войну (1848 — 1850) — *Примеч. перев.*

Возьмете второй бокал — из него вылетает птичка; она невинно-радостно щебечет; человек прислушивается и невольно подпевает ей: «Жизнь прекрасна! Не надо вешать носа! Смело вперед!»

Из третьего бокала вылетает маленькое крылатое существо; ангелочком его назвать нельзя — он из породы домовых, но не издевается, а только шутит. Он прильнет к уху человека и начнет нашептывать забавные выдумки, уляжется у его сердца и так согревает его, что человеку хочется шалить и острить, и он действительно становится остряком, по мнению других таких же остряков.

В четвертом бокале нет ни цветка, ни птички, ни крылатого шалуна; в нем черта, проводимая разумом, и за нее никогда не следует переходить.

Если же возьмешь пятый бокал, заплачешь над самим собою, расстрогаешься или, наоборот, расшумишься: из бокала выскочит с треском принц Карнавал, невоздержанный на язык, шальной!.. Он увлечет тебя, ты забудешь свое достоинство — если оно у тебя есть! Забудешь многое, больше чем можешь и смеешь. Пляска, пение, звон бокалов!.. Маски увлекают тебя в бешеный вихрь... Перед тобой дочери сатаны в газе и шелке, с распущенными волосами, стройные, красивые... Оторвись от них, коли сможешь!

Шестой бокал!.. В нем уж сидит сам сатана, прекрасно одетый, красноречивый, привлекательный, в высшей степени приятный человек! Он вполне понимает тебя, находит, что ты прав всегда и во всем, он — твое второе «я»; он является с фонарем, чтобы проводить тебя восвояси. Да, в одной старой легенде рассказывается о святом, который должен был выбрать один из семи смертных грехов и выбрал, как ему казалось, наименьший — пьянство, но благодаря ему впал и во все остальные. В шестом бокале кровь сатаны, смешанная с человеческой. Только выпей его — все дурные семена, что прячутся в твоей душе, пустят ростки и каждое разрастется, подобно евангельскому горчичному зерну, в целое дерево, которое может покрыть своей тенью весь свет. Большинству людей остается после этого только отправиться в переплавку!

Вот вам история бокалов! — заключил Оле. — Ее можно подавать под соусом и из глянц-ваксы, и из простой смазки. Я подаю ее под обоими.

Это было мое второе посещение Оле; захочешь послушать еще, придется продолжать посещения<sup>1</sup>.



<sup>1</sup> Семь лет спустя (1868 г.) автор и написал такое продолжение под названием «День переезда»; сказка эта будет помещена в «Собрании» на своем месте. — *Примеч. перев.*

## АННА-ЛИЗБЕТА

**А**нна-Лизбета была красавица, просто кровь с молоком, молодая, веселая. Зубы сверкали ослепительной белизной, глаза так и горели; легка была она в танцах, еще легче в жизни! Что же вышло из этого? «Дрянной мальчишка!» Да, некрасив-то он был некрасив! Его и отдали на воспитание жене землекопа, а сама Анна-Лизбета попала в графский замок, поселилась в роскошной комнате; одели ее в шелк да в бархат. Ветерок не смел на нее пахнуть, никто — грубого слова сказать: это могло расстроить ее, она могла заболеть, а она ведь кормила грудью графчика! Графчик был такой нежный, что твой принц, и хорош собою, как ангелочек. Как Анна-Лизбета любила его! Ее же собственный сын... ютился в избушке землекопа, где не каша варилась, а больше языки трещали, чаще же всего мальчишка орал в пустой избушке один-одинешенек. Никто не слышал его криков, так некому было и пожалеть! Кричал он, пока не засыпал от усталости, а во сне не чувствуешь ведь ни голода, ни жажды; сон вообще чудесное изобретение! Годы шли, а «с годами и сорная трава вырастает», как говорится; мальчишка Анны-Лизбеты тоже рос, как сорная трава. Он так и остался в семье землекопа, Анна-Лизбета заплатила за него и этим развязалась с ним окончательно. Сама она стала горожанкой, жилось ей отлично, она даже носила шляпки, но к землекопу с женой не заглядывала никогда — далеко было, да и нечего ей было у них делать! Мальчишка принадлежал теперь им, и так как есть-то он умел, говорили они, то и должен был сам зарабатывать себе на харчи. Пора было ему взяться за дело, вот его и приставили пасти рыжую корову Мадса Иенсена.

Цепной пес на дворе белильщика гордо сидит в солнечные дни на крыше своей конуры и лает на прохожих, а в дождь забирается в конуру; ему там и сухо, и тепло. Сынишка Анны-Лизбеты сидел в солнечные дни у канавы, стругая кол, и мечтал; весною он заприметил три цветочка земляники: «наверно, из них выйдут ягодки!» Мысль эта была его лучшей радостью, но ягод не вышло. В дождь и непогоду он промокал до костей, а резкий ветер просушивал его.

Если же случилось ему забраться на барский двор, его угощали толчками и пинками: он такой дрянной, некрасивый, как говорили девушки и парни, и он уже привык не знать ни любви, ни ласки!

Так как же сынку Анны-Лизбеты жилось на белом свете? Что выпало ему на долю? Не знавать ни любви, ни ласки!

Наконец, его совсем сжили с земли — отправили в море на утлом судне. Он сидел на руле, а шкипер пил. Грязен, прожорлив был мальчишка; можно было подумать, что он от роду досыта не наедался! Да так оно и было.

Стояла поздняя осень, погода была сырая, мгlistая, холодная; ветер пронизывал насквозь, несмотря на толстое платье, особенно на море. А в море плыло однопарусное утлое судно всего с двумя человеками экипажа; можно даже сказать, что их было всего полтора: шкипер да мальчишка. Весь день стояли мгlistые сумерки, к вечеру стало еще темнее; мороз так и щипал. Шкипер принялся прихлебывать, чтобы согреться; бутылка не сходила со стола, рюмка тоже; ножка у нее была отбита, и вместо нее к рюмке приделана деревянная, выкрашенная в голубой цвет подставка. «Один глоток хорошо, два еще лучше», — думал шкипер. Мальчик сидел на руле, держась за него обеими жесткими, запачканными в дегте руками. Некрасив он был: волосы жесткие, унылый, забитый вид... Да, вот каково приходилось сынишке землекопа, а по церковным книгам — Анны-Лизбеты.

Ветер резал волны по-своему, судно по-своему! Парус надулся, ветер подхватил его, и судно понеслось стрелой... Сырость, мгла... Но этим еще не кончилось! Стоп!.. Что такое? Что за толчок? Отчего судно взметнулось? Что случилось? Вот оно завертелось... Что это, хлынул ливень, обдало судно волною?.. Мальчик-рулевой вскрикнул: «Господи Иисусе!» Судно налетело на огромный подводный камень и погрузилось в воду, как старый башмак в канаву, потонуло со всеми людьми и мышами, как говорится. Мышей-то на нем было много, а людей всего полтора человека: шкипер да сынишка землекопа. Никто не видал крушения, кроме крикливых чаек и рыб морских, да те ничего не разглядели хорошенько, испуганно метнувшись в сторону, когда вода с таким шумом ворвалась в затонувшее судно. И затонуло-то оно всего на какую-нибудь сажень! Экипаж был похоронен, на поверхность всплыла только рюмка с голубой деревянной подставкой — подставка-то и заставила всплыть рюмку. Волны понесли ее и выкинули на берег в осколках. Когда, где? Не все ли равно — она отслужила свой век, была любима, не то что сын Анны-Лизбеты! Но, вступив в небесные чертоги, ни одной душе не приходится больше жаловаться на то, что ей суждено было «век не знавать ни любви, ни ласки!»





Анна-Лизбета жила в городе уже много лет, и все звали ее сударыней. А уж как подымала она нос, если речь заходила о старых временах, когда она жила в графском доме, разъезжала в карете и имела случай разговаривать с графинями да баронессами! И что за красавчик, ангелочек, душка был ее графчик! Как он любил ее и как она его! Они целовали друг друга, гладили друг друга; он был ее радостью, половиной ее жизни.

Теперь он уж вырос, ему было четырнадцать лет, и он обучался разным наукам. Но она не видела его с тех пор, как еще носила на руках; ни разу за все это время она не побывала в графском замке: далеко было, целое путешествие!

— Когда-нибудь да все-таки надо собраться! — сказала Анна-Лизбета. — Надо же мне взглянуть на мое сокровище, моего графчика! И он-то, верно, соскучился обо мне, думает обо мне, любит по-прежнему! Бывало, уцепится своими ангельскими ручонками за мою шею да и лепечет: «Ан-Лис!» Голосок — что твоя скрипка! Да, надо собраться взглянуть на него!

И она отправилась; где проедет конец дороги на возке с телятами, где пешком пройдет, так помаленьку и добралась до графского замка. Замок был все такой же огромный, роскошный; перед фасадом по-прежнему расстился сад, но слуги все были новые. Ни один из них не знал Анны-Лизбеты, не знал, что она значила когда-то здесь, в доме. Ну, да сама графиня скажет им, объяснит все, и графчик тоже. Как она соскучилась по нему!

Ну вот, Анна-Лизбета и вошла. Долго пришлось ей ждать, а когда ждешь, время тянется еще дольше! Перед тем как господам сесть за стол, ее позвали к графине, которая приняла ее очень благосклонно. Дорогого же графчика своего Анна-Лизбета могла увидеть только после обеда. Господа откушали, и ее позвали опять.

Как он вырос, вытянулся, похудел! Но чудные глазки и ангельский ротик остались! Он взглянул на нее, но не сказал ни слова. Он, кажется, не узнал ее. Он уже повернулся, чтобы уйти, как она вдруг схватила его руку и прижала ее к губам. «Ну, ну, хорошо, хорошо!» — сказал он и вышел из комнаты... Он, ее любовь, ее гордость, ее земное сокровище, так холодно обошелся с нею!..

Анна-Лизбета вышла из замка очень печальная. Он встретил ее как чужую, он совсем не помнил ее, не сказал ей ни слова, ей, своей кормилице, носившей его на руках день и ночь, носившей его и теперь в мыслях!

Вдруг прямо перед ней слетел на дорогу большой черный ворон, каркнул раз, потом еще и еще.

— Ах ты, зловещая птица! — сказала Анна-Лизбета.

Пришлось ей идти мимо избушки землекопа; на пороге стояла сама хозяйка, и женщины заговорили.

— Ишь ты, как раздобрела! — сказала жена землекопа. — Толстая, здоровая! Хорошо живется, видно!

— Ничего себе! — ответила Анна-Лизбета.

— А судно-то с ними погибло! — продолжала та. — Оба утонули — и шкипер Ларс, и мальчишка! Конец! А я-то думала, мальчишка вырастет, помогать станет нам! Тебе-то ведь он грош стоил, Анна-Лизбета!

— Так они потонули! — сказала Анна-Лизбета и больше о погибших не упоминала: она была так огорчена — графчик не удостоил ее разговором. А она так любила его, пустилась в такой дальний путь, чтобы только взглянуть на него, в такие расходы вошла!.. Удовольствия же — на грош. Но, конечно, она не проговорила о том ни словом, не захотела излить сердца перед женой землекопа: вот еще! Та, пожалуй, подумает, что Анна-Лизбета больше не в почете у графской семьи!.. Тут над ней опять каркнул ворон.

— Ах ты, черное пугало! — сказала Анна-Лизбета. — Что ты все пугаешь меня сегодня!

Она захватила с собою кофе и цикория; отсыпать щепотку на угощение жене землекопа значило бы оказать бедной женщине сущее благодеяние, а за компанию и сама Анна-Лизбета могла выпить чашечку. Жена землекопа пошла варить кофе, а Анна-Лизбета присела на стул да задремала. И вот диковина: во сне ей приснился тот, о ком она никогда и не думала! Ей приснился собственный сын, который голодал и ревел в этой самой избушке, рос без призора, а теперь лежал на дне моря Бог ведает где. Снилось ей, что она сидит, где сидела, и что жена землекопа ушла варить кофе; вот уже запахло вкусным напитком, как вдруг в дверях появился прелестный мальчик, не хуже самого графчика, и сказал ей:

«Теперь конец миру! Держись за меня крепче — все-таки ты мне мать! У тебя есть на небесах ангел-заступник! Держись за меня!»

И он схватил ее; в ту же минуту раздался такой шум и гром, как будто мир лопнул по всем швам... Ангел взвился в воздух и так крепко держал ее за рукав сорочки, что она почувствовала, как отделяется от земли... Но вдруг на ногах ее повисла какая-то тяжесть, и что-то тяжелое навалилось на спину... За нее цеплялись сотни женщин и кричали: «Если ты спасешься, так и мы тоже! Цепляйтесь за нее, цепляйтесь!» И они крепко повисли на ней. Тяжесть была слишком велика, рукав затрещал и ~~разорвался~~, Анна-Лизбета полетела вниз... От ужаса она проснулась и чуть было не упала вместе со стулом. В голове у нее была путаница, она и вспомнить не могла, что сейчас видела во сне — что-то дурное!

Попили кофе, поговорили, и Анна-Лизбета направилась в ближний городок; там ждал ее крестьянин, с которым она хотела доехать до дому. Но когда она пришла к нему, он сказал, что не может выехать раньше вечера следующего дня. Она порассчитала, что будет ей стоить прожить

в городе лишний день, пораздумала о дороге и сообразила, что если она пойдет не по проезжей дороге, а вдоль берега, то выиграет мили две. Погода была хорошая, ночи стояли светлые, лунные, Анна-Лизбета и порешила идти пешком. На другой же день она могла уже быть дома.

Солнце село, но колокола еще звонили к вечерне... Нет, это вовсе не колокола звонили, а лягушки квакали в прудах. Потом и те смолкли; не слышно было и птичек: маленькие певчие улеглись спать, а совы, должно быть, не было дома.

Безмолвно было и в лесу, и на берегу. Анна-Лизбета слышала, как хрустел под ее ногами песок; море не плескалось о берег; тихо было в морской глубине: ни живые, ни мертвые обитатели моря не подавали голоса.

Анна-Лизбета шла, как говорится, не думая ни о чем; да, она-то могла обойтись без мыслей, но мысли-то не хотели от нее отстать. Мысли никогда не отстают от нас, хотя и выдаются минуты, когда они спокойно дремлют в нашей душе, дремлют как те, что уж сделали свое дело и успокоились, так и те, что еще не просыпались в нас. Но настает час, и они просыпаются, начинают бродить в нашей голове, заполняют нас.

«Доброе дело и плод приносит добрый!» — сказано нам. «А в грехе — зародыш смерти» — это тоже сказано. Много вообще нам сказано, но много ли знающих и помнящих то, что нам сказано? Анна-Лизбета, по крайней мере, к таким не принадлежала. Но для каждого рано или поздно наступает минута просветления.

В нашем сердце, во всех сердцах, и в моем, и в твоём, лежат зародыши всех пороков и всех добродетелей. Лежат они там крошечными невидимыми семенами; вдруг в сердце проникает солнечный луч или прикасается к нему злая рука, и ты сворачиваешь вправо или влево, да вот этот-то поворот и решает все: маленькое семечко встряхивается, разбухает, пускает ростки, и сок его смешивается с твоей кровью, а тогда уж дело сделано. Страшные это мысли! Но пока человек ходит, как в полусне, он не сознает этого, мысли эти только смутно бродят в его голове. В таком-то полусне бродила и Анна-Лизбета, а мысли, в свою очередь, начинали бродить в ней! От Сретения до Сретения сердце успевает занести в свою расчетную книжку многое; на страницах ее ведется годовая отчетность души; все внесено туда, все то, о чем сами мы давно забыли: все наши грешные слова и мысли, грешные перед Богом, людьми и перед нашей собственной совестью! А мы и не думаем о них, как не думала и Анна-Лизбета. Она ведь не совершила преступления против государственных законов, слыла почтенной женщиной, все уважали ее, о чем же ей было думать?

Она спокойно шла по берегу, вдруг... что это лежит на дороге?! Она остановилась. Что-то выброшено на берег? Старая мужская шапка. Как она попала сюда? Анна-Лизбета подошла ближе и опять остановилась...



Ах! Что это?! Она задрожала от испуга, а пугаться-то вовсе было нечего: перед ней лежал большой продолговатый камень, опутанный водорослями, — с первого взгляда казалось, что на песке лежит человек. Теперь она разглядела ясно и камень, и водоросли, но страх ее не проходил. Она пошла дальше, и ей припомнилось поверье, которое она слышала в детстве, поверье о береговом призраке — привидении непогребенных утопленников. Само тело утопленника не делает никому зла, но призрак его преследует одинокого путника, цепляется за него и требует христианского погребения. «Цепляйся! Цепляйся!» — кричит призрак. Как только Анна-Лизбета припомнила это, в ту же минуту ей вспомнился и весь ее сон. Она словно наяву услышала крик матерей, цеплявшихся за нее: «Цепляйтесь! Цепляйтесь!» Вспомнила она, как рушился мир, как разорвался ее рукав, и она вырвалась из рук своего сына, хотевшего поддержать ее в час Страшного суда. Ее сын, ее собственное, родное, нелюбимое дитя, о котором она ни разу не вспоминала, лежало теперь на дне моря и могло явиться ей в виде берегового призрака с криком: «Цепляйся! Цепляйся! Зарой меня в землю по-христиански!» От этих мыслей у нее даже в пятке закололо, и она прибавила шаг. Ужас сжимал ее сердце, словно кто давил его холодной, влажной рукой... Она готова была лишиться чувств...

Туман над морем между тем все густел и густел; все кусты и деревья на берегу тоже были окутаны туманом и приняли странные, диковинные очертания. Анна-Лизбета обернулась взглянуть на месяц. У, какой холодный, мертвенный блеск, без лучей! Словно какая-то страшная тяжесть навалилась на Анну-Лизбету, члены ее не двигались. «Цепляйся, цепляйся!» — пришло ей на ум. Она опять обернулась взглянуть на месяц, и ей показалось, что его бледный лик приблизился к ней, заглянул ей в самое лицо, а туман повис у нее на плечах, как саван. Она прислушалась, ожидая услышать: «Цепляйся! Цепляйся! Зарой меня!» — и в самом деле раздался какой-то жалобный, глухой стон... Это не лягушка квакнула в пруде, не ворона каркнула: их не было видно кругом... И вот ясно прозвучало: «Зарой меня!» Да, это береговой призрак ее сына, лежащего на дне морском. Не знаять ему покоя, пока его тело не отнесут на христианское кладбище и не предадут земле! Надо скорее на кладбище, зарыть его! Анна-Лизбета повернула по направлению к церкви, и ей сразу стало легче. Она было хотела опять повернуть назад, чтобы кратчайшей дорогой добраться до дому, — не тут-то было! На нее опять навалилась та же тяжесть. «Цепляйся! Цепляйся!» Опять словно квакнула лягушка, жалобно прокричала какая-то птица, и явственно прозвучало: «Зарой меня! Зарой меня!»

Холодный, влажный туман не редел; лицо и руки Анны-Лизбеты тоже были холодны и влажны от ужаса. Все тело ее сжимало, как в тисках; зато в голове образовалось обширное поле для мыслей — таких, каких она никогда прежде не знавала.

Весной на севере буковые леса, бывает, распускаются в одну ночь; взойдет солнышко, и они уже в полном весеннем уборе. Так же в одну секунду может пустить ростки и вложенное в нас нашей прошлой жизнью — мыслью, словом или делом — семя греха; и в одну же секунду может грех сделаться для нас видимым, в ту секунду, когда просыпается наша совесть. Пробуждает ее Господь, и как раз тогда, когда мы меньше всего того ожидаем. И тогда нет для нас оправдания: дело свидетельствует против нас, мысли облакаются в слова, а слова звучат на весь мир. С ужасом глядим мы на то, что носили в себе, не стараясь заглушить, на то, что мы в нашем высокомерии и легкомыслии сеяли в своем сердце. Да, в тайнике сердца кроются все добродетели, но также и все пороки, и те, и другие могут развиться даже на самой бесплодной почве.

У Анны-Лизбеты бродило в мыслях как раз то, что мы сейчас высказали словами; под бременем этих мыслей она опустила на землю и проползла несколько шагов. «Зарой меня! Зарой меня!» — слышалось ей; она лучше бы зарылась в могилу сама — в могиле можно было найти вечное забвение! Настал для Анны-Лизбеты серьезный, страшный час пробуждения совести. Суеверный страх бросал ее то в озноб, то в жар. Многие, о чем она никогда и думать не хотела, теперь пришло ей на ум. Беззвучно, словно облачная тень, пронеслось мимо нее видение, о котором она слыхала прежде. Близко-близко мимо нее промчалась четверка фыркающих коней; из очей и ноздрей их сверкало пламя; они везли горевшую, как жар, карету, а в ней сидел злой помещик, который больше ста лет тому назад бесчинствовал тут, в окрестностях. Рассказывали, что он каждую полночь въезжает на свой двор и сейчас же поворачивает обратно. Он не был бледен, как, говорят, бывают все мертвецы, но черен, как уголь. Он кивнул Анне-Лизбете и махнул рукой: «Цепляйся, цепляйся! Тогда опять можешь ездить в графской карете и забывать свое дитя!»

Анна-Лизбета опрометью бросилась вперед и скоро достигла кладбища. Черные кресты и черные вороны мелькали у нее перед глазами. Вороны кричали, как тот ворон, которого она видела днем, но теперь она понимала их карканье — каждый кричал: «Я воронья мать! Я воронья мать!» И Анна-Лизбета знала, что это имя подходило и к ней: и она, быть может, превратится вот в такую же черную птицу и будет постоянно кричать, как они, если не успеет вырыть могилы.

Она бросилась на землю и руками начала рыть в твердой земле могилу; кровь брызнула у нее из-под ногтей.

«Зарой меня! Зарой меня!» — звучало без перерыва. Анна-Лизбета трепетала, как бы не раздалось пение петуха, не показалась на небе красная полоска зари, прежде чем она выроет могилу: тогда она погибла!.. Но вот петух пропел, загорелась заря, а могила была вырыта только наполовину!.. Холодная ледяная рука скользнула по ее голове и лицу,



соскользнула на сердце. «Только полмогилы!» — слышался вздох, и видение опустилось на дно моря. Да, это был береговой призрак! Анна-Лизбета, подавленная, упала на землю без сознания, без чувств... Она пришла в себя только среди белого дня; двое парней подняли ее с земли. Анна-Лизбета лежала вовсе не на кладбище, а на самом берегу моря, где выкопала перед собою в песке глубокую яму, до крови порезав себе пальцы о разбитую рюмку; острый осколок ее был прикреплен к голубой деревянной подставке. Анна-Лизбета была совсем больна. Совесть перетасовала карты суеверия, разложила их и вывела заключение, что у Анны-Лизбеты теперь только половина души: другую половину унес с собою на дно моря ее сын. Не попасть ей в царство небесное, пока она не вернет себе этой половины, лежащей в глубине моря! Анна-Лизбета вернулась домой уже не тем человеком, каким была прежде: мысли ее словно смотались в клубок, и только одна нить осталась у нее в руках — мысль, что она должна отнести береговой призрак на кладбище и предать его земле: тогда она опять обретет всю свою душу.

Много раз схватывались ее по ночам и всегда находили на берегу, где она ожидала берегового призрака. Так прошел целый год. Однажды ночью она опять исчезла, но найти ее не могли; весь следующий день прошел в бесплодных поисках.

Под вечер пономарь пришел в церковь звонить к вечерне и увидел перед алтарем расprostертую на полу Анну-Лизбету. Тут она лежала с раннего утра; силы почти совсем оставили ее, но глаза сияли, на лице горел розоватый отблеск заходящего солнца; лучи его падали на алтарь и играли на блестящих застежках Библии, которая была раскрыта на странице из книги пророка Иоиля: «Раздерите сердца ваши, а не одежды, и обратитесь к Господу!»

— Ну, случайно так вышло! — говорили потом люди, как и во многих подобных случаях.

Лицо Анны-Лизбеты, освещенное солнцем, дышало ясным миром и спокойствием; ей было так хорошо! Теперь у нее отлегло от сердца: ночью береговой призрак ее ребенка явился ей и сказал: «Ты вырыла только полмогилы для меня, но теперь вот уж год ты носишь меня в своем сердце, а в сердце матери самое верное убежище ребенка!» И он вернул ей другую половину ее души и привел ее сюда, в церковь.

«Теперь я в Божьем доме, — сказала она, — а тут спасение!»

Когда солнце село, душа ее вознеслась туда, где нечего бояться тому, кто здесь боролся и страдал до конца, как Анна-Лизбета.



## РЕБЯЧЕСКАЯ БОЛТОВНЯ



богатого купца был детский вечер; приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично; сам он был человек образованный, даже выдержал в свое время экзамен при университете. На этом настоял его почтенный отец, который был сначала простым прасолом, но честным и трудолюбивым человеком, сумел составить себе капитал, а сын еще приумножил его. Купец был человек умный и добрый, но люди не так много говорили об этих качествах, как о его богатстве.

Он вел знакомство и с аристократами крови, и с аристократами ума — как это говорится, с аристократами и крови и ума вместе и, наконец, с теми, которые не могли похвалиться ни тем, ни другим аристократизмом.

Итак, у него в доме собралось большое общество, и исключительно детское; дети болтали без умолку; у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая; спесь не вбили, а «вцеловали» в нее, и не родители, а слуги — родители были для этого слишком разумны. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто «ужасно важное».

— Я камер-юнкерская дочка! — сказала она. Она точно так же могла бы быть лавочниковой дочкой — и то, и другое одинаково не во власти самого человека. И вот она рассказывала другим детям, что в ней течет «настоящая кровь», а в ком ее нет, из того ничего и не выйдет. Читай, старайся, учись сколько хочешь, но если в тебе нет настоящей крови, толку не выйдет. — А уж из тех, чье имя кончается на «сен», — прибавила она, — никогда ничего не выйдет путного. Надо упереться руками в бока, да и держать себя подальше от всех этих «сен, сен!» — И она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила локти, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была премиленькая!

Но дочка купца обиделась: фамилия ее отца была Мадсен, а она знала, что эта фамилия тоже кончается на «сен», и вот она гордо закинула голову и сказала:

— Зато мой папа может купить леденцов на целых сто риксдалеров и разбросать их народу! А твой может?

— Ну, а мой папа, — сказала дочка писателя, — может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете! Все его боятся, говорит мама, ведь это он распоряжается газетой!

И девочка прегордо закинула головку — ни дать ни взять принцесса крови!

А за полуотворенной дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку; мальчуган не смел войти в комнату: куда было такому бедняку соваться к богатым и знатым детям! Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных веселящихся детей в щелку; и это уж было для него огромным счастьем.

«Вот бы мне быть на их месте!» — думалось ему. Вдруг он услышал болтовню девочек, а слушая ее, можно было упасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша; у них не было средств даже выписать газету, не то что самим издавать ее. Хуже же всего было то, что фамилия его отца, а значит и его собственная, как раз кончалась на «сен»! Из него никогда не выйдет ничего путного! Вот горе-то! Но кровь в нем все-таки была самая настоящая, как ему казалось; иначе и быть не могло.

Так вот что произошло в тот вечер!

Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми.

В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Ну, это легко угадать! То-то не очень! Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на «сен» — *Торвальдсен*.

А другие дети? Дети кровной, денежной и умственной спеси, из них что вышло? Да все они друг друга стоили, все они были дети как дети! Вышло из них одно хорошее: задатки-то в них были хорошие. Мысли же и разговоры их в тот вечер были ребяческой болтовней!



## ОБРЫВОК ЖЕМЧУЖНОЙ НИТИ

**Ж**елезная дорога проведена у нас в Дании пока только от Копенгагена до Корсера<sup>1</sup>; дорога эта — настоящий обрывок жемчужной нити, каких в Европе множество. Драгоценнейшими жемчужинами, нанизанными на них, являются: Париж, Лондон, Вена, Неаполь!.. Многие укажут, впрочем, не на эти большие города, а на какой-нибудь незначительный городок, где родились и где живут милые их сердцу; в глазах иных жемчужиной является одинокий двор, маленький домик, приютившийся в зелени; миг — и он промелькнул перед глазами путешественника, смотрящего из окна вагона.

Много ли жемчужин нанизано на нить, что протянута от Копенгагена до Корсера? Можно указать на шесть, на которые редко кто не обратит внимания; старые песни и поэзия придали этим жемчужинам такой блеск, что они вечно сияют в нашей памяти.

Вот близ холма, где возвышается дворец Фредерика IV, где стоит отчий дом Эленслегера, блестит на лесной поляне в Сендермаркене одна из этих жемчужин; прозвали ее «Хижиной Филемона и Бавкиды», т. е. хижинкой любящей супружеской четы. Здесь жил когда-то Рабек<sup>2</sup> со своей женой Каммой. Под их гостеприимной кровлей собирались в течение полувека представители умственных сфер шумной столицы — Копенгагена; в те времена здесь был приют ума, а теперь!.. Но не говорите: «как изменчивы времена!» Здесь и теперь «приют ума», теплица для больных растений! Бутоны, что не в силах распуститься, все-таки скрывают в себе ростки, лепестки и семена. Солнце ума светит в этот мирный приют, оживляет растения, пробуждает к жизни зародыши. Впечатления окружающего мира, воспринимаемые темной душой, отражаются в глазах. «Приют слабоумных», воздвигнутый человеколюбием, — священное место, теплица для больных растений, которые должны быть некогда пе-

<sup>1</sup> Т. е. в 1859 г. — *Примеч. перев.*

<sup>2</sup> Датский писатель, критик и автор чувствительных и популярных застольных песен, бывший с женой своей Каммой душой и центром литературных кружков Дании. — *Примеч. перев.*

ствуют ныне одни обвалившиеся старые валы. На заходе солнца от них падает тень как раз на то местечко, где стоял он. С этих валов смотрел ты, «когда был ребенком», и воспевал в бессмертных стихах «месяц, что скользит над островом», как воспел впоследствии и горы Швейцарии! Да, тут жил ты, исходивший мировой лабиринт и нашедший, что

Нигде, нигде так ярко не алеют розы,  
Нигде не сыщем мельче мы шипов,  
Нигде нас не баюкают так сладко грезы,  
Как там, где наш родной, наш отчий кров!

Певец остроумия! Мы сплетем тебе венок из дикого яминника, бросим его в море, и волны отнесут его в Кильский залив, на берегу которого покоится твой прах. Венок принесет тебе привет от молодого поколения, поклон от родного города Корсера, где обрывается жемчужная нить.

— Да это и впрямь обрывок жемчужной нити! — сказала бабушка, выслушав то, что мы ей прочли. — Дорога от Копенгагена до Корсера, по-моему, настоящая жемчужная нить; так я стала смотреть на нее еще сорок с лишком лет тому назад. Тогда железных дорог у нас еще не было, и приходилось ехать дни, тогда как теперь нужны только часы. Было это в тысяча восемьсот пятнадцатом году, мне тогда шел двадцать второй год — славный возраст! Впрочем, и шестьдесят лет — славный, благословенный возраст! В те времена поездка в Копенгаген, город городов, как мы называли его, была редким событием, не то что теперь. Мои родители собрались повторить такую поездку только через двадцать лет и решили и меня взять с собою; о поездке этой мы толковали много лет, и, наконец, она должна была состояться. Мне казалось, что теперь для меня начнется новая жизнь, да так оно отчасти и вышло.

Пошло шитье, упаковка; когда же настало время отъезда, сколько добрых друзей понашло к нам пожелать счастливого пути! Нам предстояло ведь большое путешествие! Поутру мы выехали из Одензе в собственном старомодном возке; из окон высовывались и кланялись знакомые; поклоны и пожелания провожали нас по всей улице, пока мы не выехали из ворот св. Юргена. Погода стояла чудная, птицы пели, все было так хорошо, что забывалось, какая предстоит нам долгая, утомительная дорога до Ньюборга; к вечеру, однако, мы благополучно добрались до него. Почта приходила туда только ночью, а раньше не отправлялся и корабль, на который мы сели. Перед нами лежала огромная водяная равнина — глазом не окинуть! Мы улеглись на койках, не раздеваясь, и заснули. Утром я проснулась и вышла на палубу — не было видно ни зги, нас окружал густой туман. Я слышала крик петухов и почувствовала, что восходит солнце; зазвонили колокола; где же мы были? Туман рассеялся, и я увидела, что мы лежим себе прямехонько против... Ньюборга. Днем, на-

конец, подул ветер, но как раз навстречу нам. Мы лавировали, лавировали, и часам этак к двенадцати ночи добрались-таки до Корсера. Таким образом, мы в двадцать два часа сделали четыре мили.

То-то приятно было выйти на берег!.. Но в городе царствовала темнота; фонари горели прескверно, все казалось мне тут таким чужим, диким — я ведь ни разу еще не бывала ни в каком другом городе, кроме своего родного Одензе. «Вот тут родился Баггесен! — сказал мне отец. — Тут же жил и Биркнер!<sup>1</sup>»

И старый город с маленькими домами сразу показался мне как-то светлее и больше. К тому же мы так радовались, что у нас, наконец, под ногами твердая почва. Но заснуть в эту ночь я так и не могла от наплыва массы новых впечатлений. И подумать, что мы выехали из дома всего третьего дня! На следующее утро пришлось подняться рано: нам предстояла ужасная дорога по холмам, по рытвинам до самого Слагельсе, да и за ним, говорили нам, пойдет не лучше, а нам хотелось вовремя прибыть в гостиницу «Рака», чтобы успеть в тот же день побывать в Сорё и навестить «мельника Эмиля», как мы его звали. Это и был ваш дедушка, мой покойный муж, священник. Тогда он был студентом академии в Сорё и только что сдал свой второй экзамен.

После полудня мы прибыли в гостиницу; в те времена это была лучшая гостиница на всем пути. Окрестности ее были тогда удивительно живописны, да вы, конечно, скажете, что они и теперь не хуже. Расторопная хозяйка, госпожа Пламбек, держала свое заведение в безукоризненной чистоте и порядке. На стене, в рамке за стеклом, висело письмо Баггесена к ней — на него стоило взглянуть! В моих глазах это была такая достопримечательность!.. Потом мы пошли в Сорё и разыскивали Эмиля. Вот-то обрадовался он нам, а мы ему! Как он был мил, внимателен к нам! Вместе пошли мы в церковь, где находится могила Абсалона и гробница Гольберга, осматривали старинные надписи на стенах, сделанные монахами, переправлялись через озеро на «Парнас», словом, провели чудеснейший вечер, какой только запомню! И мне, право, казалось, что если где-нибудь на свете можно писать стихи, так это именно в Сорё, среди его мирной, чудной природы. При свете луны мы прошли по «аллее философов», как называют прелестную уединенную дорожку вдоль озера и болота, ведущую на проезжую дорогу к гостинице. Эмиль остался у нас ужинать; отец и мать мои нашли, что он стал таким умным и похорошел. Он пообещал нам через пять дней приехать в Копенгаген к родным и навестить нас — через пять дней наступала ведь Троица. Часы, проведенные нами в Сорё и в гостинице «Рака», принадлежат к прекраснейшим жемчужинам моей жизни.

<sup>1</sup> Автор знаменитой в свое время статьи о свободе печати (1797 г.). — Примеч. перев.



На другое утро мы выехали очень рано — нам предстояла длинная дорога, а мы должны были прибыть в Роскильде засветло, чтобы успеть осмотреть церковь; вечером же отец хотел навестить одного старого школьного товарища. Так все и вышло; ночь мы провели в Роскильде, утром выехали и, наконец, только около полудня — тут пошла самая ужасная, избитая дорога — добрались до Копенгагена. Итак, мы почти три дня добирались от Корсера до Копенгагена, а вам теперь нужно на это всего три часа. Жемчужины не стали от того прекраснее, это невозможно, но теперь они нанизаны на новую диковинную нить!

Мы пробыли в Копенгагене три недели; Эмиль почти не расставался с нами и потом проводил нас обратно до Корсера; там мы обручились и расстались! Теперь вы понимаете, отчего и я называю дорогу от Копенгагена до Корсера обрывком жемчужной нити.

Позже, когда Эмиль получил приход в Ассенсе, мы женились. Часто вспоминали мы поездку в Копенгаген и собирались повторить ее, но тут явилась сначала ваша мать, потом другие ее братья и сестры, хлопот и забот прибыло, а тут дедушка ваш получил повышение и стал пробстом<sup>1</sup>, дела шли хорошо, в семье у нас была тишь да гладь, да Божья благодать, но в Копенгаген мы так и не попали. Ни разу я больше не побывала там, хоть мы и часто думали и говорили о поездке. Теперь же я состарилась, не гоюсь ездить по железным дорогам. Но радоваться им радуюсь. Чистая благодать! Теперь вы можете быстрее приезжать ко мне! Теперь Одензе не дальше от Копенгагена, чем в дни моей молодости было от Ньюборга! Вы можете теперь слетать в Италию во столько же времени, сколько мы употребили тогда на поездку в Копенгаген, вот что!.. Но я все-таки не двигаюсь с места — пусть ездят другие ко мне! Нечего вам смеяться над тем, что я такая сидня! Мне предстоит иное путешествие, куда более далекое и скорое. Когда Господь Бог призовет меня, я отправлюсь к дедушке, а когда вы совершите ваше земное дело, порадуетесь вдоволь на этот чудный мир, я знаю, что и вы придете к нам, и мы поговорим тогда о нашей земной жизни. И поверьте, дети, я и тогда скажу, как теперь: «Дорога от Копенгагена до Корсера — настоящая жемчужная нить!»



---

<sup>1</sup> Священнический сан, соответствующий протоиерейскому. — *Примеч. перев.*

## ПЕРО И ЧЕРНИЛЬНИЦА

**К**то-то сказал однажды, глядя на чернильницу, стоявшую на письменном столе, в кабинете поэта: «Удивительно, чего-чего только ни выходит из этой чернильницы!.. А что-то первое выйдет из нее теперь?.. Да, поистине удивительно!»

— Именно! Это просто непостижимо! Я сама всегда это говорила! — обратилась чернильница к гусиному перу и другим предметам на столе, которые могли ее слышать. — Замечательно, чего только ни выходит из меня! Просто невероятно даже! Я и сама, право, не знаю, что первое выйдет, когда человек опять начнет черпать у меня! Одной моей капли достаточно, чтобы исписать полстраницы, и чего-чего только ни уместится на ней! Да, я нечто замечательное! Из меня выходят всевозможные поэтические творения! Все эти живые люди, которых узнают другие, эти искренние чувства, юмор, дивные описания природы!.. Я и сама не возьму в толк — я ведь совсем не знаю природы, — как все это вмещается во мне? Однако же это так! Из меня вышли и выходят все эти воздушные, грациозные девичьи образы, отважные рыцари на фыркающих конях, и кто там еще?.. Уверю вас, все это я выпускаю из себя просто бессознательно!

— Конечно! — сказала гусиное перо. — Если бы вы отнеслись к делу сознательно, вы бы поняли, что вы только сосуд с жидкостью. Вы смачиваете меня, чтобы я могло высказать и выложить на бумагу то, что ношу в себе! Пишет перо. В этом не сомневается ни единый человек, а полагаю, что большинство людей понимают в поэзии не меньше старой чернильницы!

— Мало же вы опытни! — возразила чернильница. — Вы состоите на службе всего неделю и уж почти совсем износились. Так вы воображаете, что это вы творите? Вы только слуга, и много вас у меня перебивало — и гусиных и английских стальных! Да, я отлично знакома и с гусиными перьями, и со стальными! И много вас еще перебивает у меня в услужении, пока человек будет продолжать записывать то, что черпает из меня!

— Чернильная бочка! — сказала перо.

Поздно вечером вернулся домой поэт; он пришел с концерта скрипача-виртуоза и весь был еще под впечатлением его бесподобной игры. В инструменте виртуоза, казалось, был неисчерпаемый источник звуков: то как будто катились, звеня, словно жемчужины, капли вод, то щебетали птички, то ревела буря в сосновом бору... Поэту чудилось, что он слышит плач собственного сердца, выливавшийся в мелодии, похожей на гармоничный женский голос; звучали, казалось, не только струны скрипки, но и все ее составные части. Удивительно, необычайно! Трудна была задача скрипача, и все же искусство его смотрелось игрою, смычок словно сам порхал по струнам; всякий, казалось, мог сделать то же самое. Скрипка пела сама собою, смычок играл сам собою, вся суть как будто была в них, мастер же, управлявший ими, влагавший в них жизнь и душу, забывался. Но не забыл о нем поэт и написал вот что:

«Как безрассудно было бы со стороны смычка и скрипки кичиться своим искусством. А как часто делаем это мы, люди, поэты, художники, ученые, изобретатели, полководцы! Мы кичимся, а ведь все мы — только инструменты в руках Создателя. Ему одному честь и хвала! А нам гордиться нечем!»

Так вот что написал поэт и озаглавил свою притчу «Виртуоз и инструмент».

— Что, дождались, сударыня? — сказала перо чернильнице, когда они остались одни. — Слышали, как он прочел вслух то, что я написал?

— То есть то, что вы извлекли из меня! — сказала чернильница. — Вы вполне заслужили этот щелчок своей спесью! А вы-то и не понимаете, что над вами посмеялись! Я дала вам этот щелчок из собственного нутра. Уж позвольте мне узнать свою собственную сатиру!

— Чернильная душа! — сказала перо.

— Гусь лапчатый! — ответила чернильница.

И каждый сознавал, что ответил хорошо, а такое сознание вещь хорошая; с таким сознанием можно спать спокойно, они и заснули. Но поэт не спал: мысли волновались в нем, как звуки скрипки, катились жемчужинами, шумели, как буря в лесу, и он слышал в них голос собственного сердца, чуял проявление Самого Творца...

Ему одному честь и хвала!



## НА МОГИЛЕ РЕБЕНКА

**В** доме воцарилась печаль; все сердца были полны скорби. Младший ребенок, четырехлетний мальчик, единственный сын, радость и надежда родителей, умер. Правда, у них оставались еще две дочери — старшая должна была в этом году подтвердиться — славные, добрые девочки, но умерший ребенок всегда кажется самым дорогим, а этот к тому же был самый младший, да еще сын. Да, тяжелое испытание выпало на долю родителей. Сестры печалились, как и вообще юные сердца, главным образом глядя на скорбь родителей; отец грустил, но мать совсем была подавлена горем. День и ночь ухаживала она за больным ребенком, лелеяла его, подымала и носила на руках; страдала ведь ее собственная плоть и кровь, часть ее самой! Она не могла и представить себе, что дитя ее умрет, что его положат в гроб и зароят в землю! Господь не мог отнять у нее ребенка, думала она, и вот когда это все-таки случилось, она в порыве болезненного отчаяния воскликнула:

— Господь не знает об этом! У него бессердечные слуги здесь, на земле. Они делают, что хотят, не вникая в мольбы матери!

В своем отчаянии она отшатнулась от Бога, и ею овладели мрачные мысли, мысли о вечной смерти, внушавшие ей, что человек становится прахом во прахе и что этим все кончается. Охваченная такими мыслями, она утратила всякую точку опоры и все больше и больше погружалась в мрачную бездну отчаяния.

Слез у нее в эти тяжелые часы не было. Она не думала больше о юных дочерях; слезы мужа падали ей на лоб, но она не замечала его. Все ее мысли были заняты умершим ребенком, она жила только воспоминаниями о нем, старалась воскресить в памяти каждое его невинное детское слово.

Наступил день похорон; несколько ночей перед тем мать не спала, и к утру усталость одолела ее — она забылась сном. В это время гроб унесли в отдаленную комнату, чтобы мать не услышала ударов молотка, когда стали забивать крышку.

Проснувшись, мать хотела опять посмотреть на ребенка, но муж со слезами сказал ей:

— Мы забили крышку: пора было.

— Если Бог так жесток ко мне, — промолвила она, — то чего же ожидать от людей! — И она залилась слезами.

Гроб опустили в могилу; безутешная мать сидела с дочерьми и смотрела на них, не видя их; мысли ее отшатнулись от семьи, от дома; она предалась скорби и стала ее игрушкой, как становится игрушкой волн корабль без руля и парусов. Так прошел день похорон, за ним потекли однообразные, тяжелые, скорбные дни. Со слезами на глазах, печально смотрели на мать домашние; она не слушала их утешений, да и какие утешения могли они предложить ей — они сами были в такой горе.

Сон, казалось, совсем покинул ее, а он один мог бы оказать ей лучшую услугу, подкрепив тело и успокоив душу. Домашние уговаривали ее ложиться в постель, она слушалась и лежала тихо, словно спала. Но однажды ночью муж прислушался к ее дыханию, и ему показалось, что она действительно нашла, наконец, покой и облегчение во сне. Он набожно сложил руки, помолился и скоро заснул сам здоровым, крепким сном. Он не слышал, как она поднялась, накинула на себя платье и тихонько вышла из дома, чтобы направиться туда, куда день и ночь влекли ее мысли, — на могилу своего ребенка. Она прошла через сад, прилежавший к дому, в поле и свернула на тропинку, которая вела за город, на кладбище. Никто не видел ее, и она никого.

Стояла чудная, ясная звездная ночь. Воздух был еще так мягок, сентябрь только начался. Мать вошла на кладбище и остановилась у могилки, похожей, скорее, на большой букет благоухающих цветов. Опустившись на колени, она приникла лицом к могиле, словно надеясь увидеть сквозь толстый земляной покров своего мальчика. Как живо помнила она его улыбку, любовное выражение глаз! Они были все те же даже на одре болезни! Не забыть ей их никогда! Как много говорил его взор, когда она наклонялась к нему и брала его за руку, которую сам он уже не в силах был приподнять!.. И вот, как прежде, бывало, сидела она возле его кровати, так теперь сидела у его могилки! Но теперь она могла дать полную волю своим слезам, и они ручьем бежали на могилу.

— Хочешь туда, к твоему ребенку? — раздался возле нее голос.

Он прозвучал так ясно и так глубоко отозвался в ее сердце. Она оглянулась; возле нее стояла человеческая фигура, закутанная в длинный черный плащ, с капюшоном на голове. Она заглянула в ее лицо: оно было строго, но внушало доверие, глаза горели чистым юношеским огнем.

— К моему ребенку! — повторила с отчаянной мольбой мать.

— Осмелишься ли ты последовать за мной? — спросило видение. — Я — смерть!

Мать утвердительно кивнула головой. В то же мгновение ей показалось, что каждая звезда над нею вспыхнула, словно полная луна, и осветила разноцветный цветочный ковер на могиле; затем земляной покров

ресажены и расцвести в саду Божиим. Слабоумные собраны ныне здесь, где когда-то встречались гиганты ума, встречались, обменивались мыслями и возносились душою туда, туда!.. Туда же стремится душевное пламя из «Хижины Филемона и Бавкиды» и поныне.

Город, где почивют короли, где журчит источник Роара, старый Роскильде лежит перед нами! Стройные, остроконечные башни собора возвышаются над маленьким городком и отражаются в Исефиорде. Отыщем же здесь одну могилу — блестящую жемчужину. Это не будет могила могущественной королевы Маргариты Объединительницы, нет, мы отыщем на кладбище, мимо белых стен которого мчится поезд, скромную надгробную плиту; под нею почивает царь органистов, обновитель датского романса. Благодаря ему старые предания звучат для нас родными, близкими сердцу мелодиями, мы чувствуем, где «катятся прозрачные волны», где «жил-был в Лейре король!»<sup>1</sup>. Роскильде, город, где почивют короли, твоей жемчужиной является скромная могила; на плите, покрывающей ее, высечены лира и имя: Вейзе.

Теперь мы у местечка Сигерстед близ города Рингстеда; река обмелела, и желтая рожь растет там, где приставала некогда лодка Гагбарта к терему Сигне. Кто не знает сказания о Гагбарте, висевшем на дубу, и о Сигне, сгоревшей в терему, о их пламенной любви?<sup>2</sup>..

«Чудный Сорё, в венке из лесов!» Монастырски-тихий городок выглядывает из-за обросших мхом деревьев. Юношеским взором смотрит он из окон Академии на озеро, на мировую дорогу и прислушивается к пыхтению паровоза, пролетающего через лес. Сорё, жемчужина поэзии, хранящая прах Гольберга! Словно могучий белый лебедь покоится над глубоким озером в чаще леса «Дворец науки», а вблизи его взор наш отыскивает блестящий, как беленький полевой цветочек, скромный домик. Оттуда разносятся по всей стране благочестивые псалмы; к раздающемуся оттуда слову прислушивается даже крестьянин и узнает из него о давно минувших временах и судьбах Дании. Зеленый лес и пение птиц, Сорё и Ингеманн<sup>2</sup> — одинаково нераздельные понятия.

Теперь в город Слагельсе! Какая жемчужина блесит здесь? Исчез Антверсовский монастырь, исчезли роскошные дворцовые покои, даже покинутый одинокий флигель. Сохранился лишь один памятник старины — его подновляли не раз — деревянный крест на холме, где, по преданию, пробудился перенесенный сюда из Иерусалима в одну ночь священник св. Андерс.

Корсер! Здесь родился ты, Кнуд Зеландский дядюшка<sup>3</sup>, мастер слова, виртуоз остроумия! О месте, где находился твой отчий дом, свидетель-

<sup>1</sup> Первые строфы двух любимых датских песен, положенных на музыку композитором Вейзе. — *Примеч. перев.*

<sup>2</sup> Один из популярнейших датских повтов и романистов. — *Примеч. перев.*

<sup>3</sup> Псевдоним Багтесена (см. примеч. Том I, стр. 318). — *Примеч. перев.*



мягко осел под нею, точно развевавшийся по воздуху покров, и она стала погружаться в землю. Видение накрыло ее своим черным плащом, и вокруг нее воцарился могильный мрак. Мать опустилась глубже, чем проникает могильный заступ; кладбище легло кровлей над ее головой.

Плащ отодвинулся в сторону. Мать очутилась в огромном приветливом покое. Здесь царил какой-то полусвет, но она в то же мгновение почувствовала, что прижимает к сердцу своего ребенка. Он улыбался ей, сияя новой, незнакомой ей красотой; она вскрикнула, но крика ее не было слышно: возле нее, то удаляясь, то приближаясь, раздавалась чудная музыка. Никогда в жизни не слыхала она таких дивных звуков; они раздавались за черной плотной занавесью, отделявшей этот покой от великой страны вечности.

— Мапочка! Милая моя мамочка! — услышала она голос своего ребенка. Это был его милый, знакомый ей голос! Поцелуи сыпались за поцелуями; мать не помнила себя от радости, но дитя указало на черную занавесь.

— Как там чудесно! Не так, как на земле! Видишь, мама? Видишь их всех, блаженных?

И мать смотрела туда, куда указывал ребенок, но не видела ничего, кроме черной мглы; она смотрела ведь телесными очами, а не так, как ребенок, отозванный Богом к Себе. Мать слышала звуки, но не могла уразуметь слов, которые бы могли вернуть ей веру.

— Теперь я умею летать, мама! — сказала дитя. — Могу улететь вместе с другими добрыми детьми прямо к Богу! Мне очень хочется лететь к Нему, но если ты будешь так плакать, я не смогу оставить тебя! А мне очень хочется! Можно ведь? Ты и сама скоро придешь ко мне, мамочка!

— О, побудь, побудь со мною! — молила она. — Еще минутку! Дай еще разок взглянуть на тебя, поцеловать тебя, прижать к сердцу!

И она крепко прижимала его к себе, осыпая поцелуями. Вдруг кто-то сверху окликнул ее по имени; жалобно звучал призыв. Кто бы это звал ее?

— Слышишь? — сказала дитя. — Это папа зовет тебя!

Через несколько секунд послышались глубокие вздохи, словно всхлипывали дети.

— Это сестры плачут! — сказал ребенок. — Мама, ты ведь не забыла их!

Она вспомнила покинутых ею на земле, и ужас охватил ее; она стала пристально вглядываться в пролетавшие мимо нее тени, и ей показалось, что она узнала некоторые. Они пролетали через покой смерти и скрывались за черной занавесью. Что, если она увидит тут и мужа, и дочерей своих? Нет, их призывы и вздохи раздавались еще там, наверху. Она чуть было совсем не забыла их ради умершего!..



M. 0. 94

— Мама, зазвонили небесные колокола! Мама, встает солнышко! — сказал ребенок.

Навстречу ей хлынул ослепительный поток света, дитя исчезло, а она поднялась наверх... Холод охватил ее, она подняла голову и увидела, что лежит на кладбище, на могиле своего ребенка: Бог во сне послал ей утешение и поддержку, просветил ее разум. Она пала на колени и сказала:

— Прости меня, Господи, что я хотела остановить полет бессмертной души, забыла свой долг к живым, долг, который возложил на меня Ты!

Молитва облегчила ее душу. А тут взошло солнце, над головой ее запела птичка, колокола зазвонили к заутрене... Как чудесно стало вокруг! И святой мир водворился в ее душе. Она познала Бога и свой долг и поспешила домой. Вот она наклонилась над мужем, разбудила его горячим поцелуем, и из уст ее полились теплые, сердечные слова, полные мужества и утешения. Она, как и подобает мужественной и крепкой духом супруге, открыла для него в своем сердце источник утешения.

«Божья воля все направляет к лучшему!»

И муж спросил ее:

— Где почерпнула ты эту силу утешения?

Она поцеловала его, поцеловала дочерей и ответила:

— Бог послал мне ее на могиле моего ребенка!



## ДВОРОВЫЙ ПЕТУХ И ФЛЮГЕРНЫЙ

**С**тояли два петуха: один на навозной куче, другой на крыше, но спесивы оба были одинаково. Кто же из них совершил больше? Ну, кто, по-твоему? Скажи, а мы... все-таки останемся при своем мнении.

Птичий двор был отделен от другого двора деревянным забором, а на том дворе была навозная куча, и на ней рос большой огурец, сознававший, что он — растение парниковое.

«А таковым нужно родиться!» — рассуждал он сам с собою. Но не всем же родиться огурцами, надо существовать и другим живым породам. Куры, утки и все население птичьего двора тоже ведь создания Божии. Вот дворовый петух стоит на заборе. Он будет почище флюгерного! Тот хоть и высоко сидит, а даже и скрипеть не может, не то что петь! Нет у него ни кур, ни цыплят, он занят только самим собою и потеет яр-медянкой! Нет, дворовый петух — вот это так петух! Как выступает! Словно танцует! А запоет — что твоя музыка! Как начнет, так узнаешь, что значит настоящий трубач! Да, приди он сюда, проглоти меня целиком, вот была бы блаженная смерть!

Ночью разыгралась непогода; куры, цыплята и сам петух — все попрытались. Забор повалило ветром; шум, треск!.. С крыши попадали черепицы, но флюгерный петух усидел. Он даже с места не двигался, не вертелся — он не мог, хоть и был молод, недавно отлит. Флюгерный петух был очень разумен и степенен, он уж так и родился стариком и не имел ничего общего с легкими птичками небесными, воробьями и ласточками, которых презирал, как «ничтожных, вульгарных пискуний». Голуби — те побольше, и перья у них отливают перламутром, так что они даже немножко смахивают на флюгерных петухов, но толсты и глупы они ужасно! Только и думают о том, как бы набить себе зобы! Прескучные создания! Перелетные птицы тоже навещали флюгерного петуха и рассказывали ему о чужих странах, о воздушных путешествиях, о разбойничьих нападениях хищных птиц... Это было ново и интересно — в первый раз, но затем пошли повторения одного и того же, а это куда как скучно! Надоели ему и птицы, надоело и все на свете. Не стоило ни с кем и связываться, все такие скучные, пошлые!..

— Свет никуда не годится! — говорил он. — Все — одна ерунда! Флюгерный петух был, что называется, петухом разочарованным и, конечно, очень заинтересовал бы собою огурец, знай тот об этом, но огурец был занят одним дворовым петухом, а этот как раз и пожаловал к нему в гости.

Забор был повален ветром, но гром и молния давно прекратились.

— А что вы скажете о ночном петушином крике? — спросил у куриц и цыплят дворовый петух. — Грубоват он был, ни малейшего изящества!

За петухом взобрались на навозную кучу и куры с цыплятами; петух двигался вперевалку, как кавалерист.

— Садовое растение! — сказал он огурцу, и последний сразу уразумел высокое образование петуха и даже не заметил, что тот клюет и поедает его.

Блаженная смерть!

Подбежали куры и цыплята — куры ведь всегда так: куда одна, туда и другая. Они кудахтали, пищали, любовались на петуха и гордились, что он из их породы.

— Ку-ка-ре-ку! — запел он. — Цыплята сейчас сделаются большими курами, если я провозглашу это в мировом курятнике!

Куры и цыплята закудахтали и запищали. А петух объявил великую новость:

— Петух может снести яйцо! И знаете, что в нем? Василиск! Никто не может вынести его вида! Люди это знают, а теперь знаете и вы, знаете, что есть во мне, знаете, что я из петухов петух!

И дворовый петух захлопал крыльями, поднял гребешок и опять запел. Куриц и цыплят даже озноб прошиб, но как им было лестно, что один из их семейства — петух из петухов! Они кудахтали и пищали, так что даже флюгерному петуху было слышно, но он и не шевельнулся.

— Все ерунда! — говорил он сам себе. — Никогда дворовому петуху не снести яйца, а я — не хочу! А если бы захотел, я бы снес ветряное яйцо! Но мир не стоит ветряного яйца! Все ерунда!.. Я и сидеть-то здесь больше не хочу!

И флюгерный петух переломился и слетел вниз, но не убил дворового петуха, хоть и рассчитывал на это, как уверяли куры.

Мораль?

Лучше петь петухом, чем разочароваться в жизни и переломиться!



## «КАК ХОРОША!»

**Т**ы ведь знаешь скульптора Альфреда? Все мы знаем его: он получил золотую медаль, ездил в Италию и опять вернулся на родину; тогда он был молод, да он и теперь не стар, хотя, конечно, состарился на десять лет.

Вернувшись на родину, он поехал погостить в один из зеландских городков. Весь город узнал о приезде, узнал, кто он такой. Одно из богатейших семейств города дало в честь него большой вечер. Все, кто хоть мало-мальски чем-нибудь выдавался — деньгами или положением в свете, — были в числе приглашенных. Вечер являлся настоящим событием; весь город знал о том и без барабанного оповещения. Мальчишки-мастеровые и другие ребяташки мелких горожан, а с ними кое-кто и из родителей, стояли пред освещенными окнами и глядели на спущенные занавески. Ночной сторож мог вообразить, что на его улице праздник: такое тут собралось большое общество. Для зевак и стояние на улице отзывалось удовольствием, а уж там, в доме-то, что было за веселье! Там ведь находился сам господин Альфред, скульптор!

Он говорил, рассказывал, а все остальные слушали его с удовольствием и чуть ли не с благоговением, особенно одна пожилая вдова-чиновница. Она напоминала собою в этом случае пропускную бумагу — жадно впивала в себя каждое слово и просила еще и еще. Невероятно восприимчивая была барыня, но и невежественная до невероятия — настоящий Каспар Гаузер в юбке.

— Вот Рим бы я посмотрела! — сказала она. — То-то, должно быть, чудесный город! Сколько туда наезжает иностранцев! Опишите нам Рим! Что видишь, въезжая в ворота?

— Ну, это не так-то легко описать! — ответил молодой скульптор. — Видите ли, там большая площадь, а посреди ее возвышается обелиск; ему четыре тысячи лет.

— Вот так василиск! — проговорила барыня; она от роду не слышала слова «obelisk».

Многим, в том числе и самому скульптору, стало смешно, но усмешка его мгновенно испарилась, как только он увидел рядом с барыней



пару больших синих, как море, очей. Очи принадлежали дочке барыни, а матушка такой дочки не может, конечно, быть глупой!..

Матушка была неисчерпаемым источником вопросов, дочка — прекрасной, молчаливой наядой источника. Как она была хороша! Скульптору легко было заглядеться на нее, но не заговорить с ней — она совсем не говорила или, по крайней мере, очень мало!

— А у папы большая семья? — спросила барыня.

И молодой человек ответил, как следовало бы ответить при более умной постановке вопроса:

— Нет, он не из большой семьи.

— Я не про то! — возразила барыня. — Я спрашиваю, есть ли у него жена и дети?

— Папа не имеет права жениться! — ответил скульптор.

— Ну, это не в моем вкусе! — сказала она.

Конечно, и вопросы, и ответы могли бы быть поумнее, но если бы они не были так глупы, стала ли бы дочка выглядывать из-за плеча матери с такой трогательной улыбкой?

И господин Альфред продолжал рассказывать — рассказывал о ярких красках природы Италии, о синеющих горах, о голубом Средиземном море, о южном небе... Подобную синеву можно встретить здесь, на севере, разве только в очах северных дев! Сказано это было с ударением, но та, к кому относился намек, не подала и вида, что поняла его. И это тоже вышло чудо как хорошо!

— Италия! — вздыхали одни.

— Путешествовать! — вздыхали другие. — Как хорошо, как хорошо!

— Вот когда я выиграю пятьдесят тысяч, — сказала вдова, — мы с дочкой поедem путешествовать! И вы, господин Альфред, с нами! Поедем втроем, да еще прихватим с собою кое-кого из добрых друзей! — И она благосклонно подмигнула всем окружающим, так что каждый получал право надеяться, что именно его-то она и прихватит с собою. — Мы поедem в Италию, только не туда, где водятся разбойники. Будем держаться Рима да больших дорог, где безопаснее.

Дочка слегка вздохнула. Что может заключаться в одном маленьком вздохе, или что можно вложить в него! Молодой человек вложил в этот вздох многое! Пара голубых очей осветили ему в этот вечер скрытые сокровища, богаче всех сокровищ Рима! И он оставил общество сам не свой, он... весь принадлежал красавице.

С тех пор дом вдовы, как видно, особенно полюбился господину Альфреду, скульптору; но видно было также, что он посещал его не ради самой мамыши, — хотя с нею только и вел беседу, — а ради дочки. Звали ее Кала; то есть, собственно говоря, ее звали Карен-Малена, а уж из этих двух имен сделали одно — Кала. Как она была

хороша! «Только немножко вялая», — говорили про нее; она таки любила по утрам понежиться в постели.

— Так уж она привыкла с детства! — говорила мамаша. — Она у меня балованное дитя, а такие легко утомляются. Правда, она любит полежать в постели, зато какие у нее ясные глазки!

И что за сила была в этих ясных, синих, как море, тихих и глубоких глазах! Наш скульптор и утонул в их глубине. Он говорил, рассказывал, а матушка расспрашивала с такою же живостью и развязностью, как и в первый раз. Ну, да и то сказать, послушать рассказы господина Альфреда было настоящим удовольствием. Он рассказывал о Неаполе, о восхождениях на Везувий и показывал раскрашенные картинки, на которых были изображены различные извержения Везувия. Вдова ни о чем таком сроду не слыхивала, ничего такого ей и в голову не приходило.

— Господи помилуй! — сказала она. — Вот так огнедышащие горы! А вреда от них не бывает?

— Как же! Раз погибли целых два города: Геркуланум и Помпея!

— Ах, несчастные люди! И вы сами все это видели?

— Нет, извержений, что изображены на этих картинках, я не видел, но вот я покажу вам мой собственный набросок одного извержения, которое было при мне.

И он вынул карандашный набросок, а мамаша, насмотревшись на ярко раскрашенные картинки, удивленно воскликнула:

— Так при вас огонь был белый!

Уважение господина Альфреда к мамаше пережило критический момент, но присутствие Калы скоро придало сказанному иную окраску — он сообразил, что матушка ее просто не обладает «глазом», чутьем красок, вот и все! Зато она обладала лучшим, прекраснейшим сокровищем — Калою.

И вот Альфред обручился с Калою; этого и следовало ожидать. О помолвке было оповещено в местной газете. Мамаша достала себе тридцать нумеров, вырезала печатное оповещение и разослала его в письмах друзьям и знакомым. Жених с невестой были счастливы, мамаша тоже; она, по ее словам, как будто родилась с самим Торвальдсенем!

— Вы ведь его преемник!

И Альфред нашел, что она сказала довольно умную вещь. Кала не говорила ничего, но глаза ее сияли, улыбка не сходила с уст, каждое движение дышало пленительной грацией. Как она была хороша, как хороша!..

Альфред вылепил бюсты Калы и мамыши. Они сидели перед ним и смотрели, как он мят и сглаживал мягкую глину.

— Это вы ради нас взялись сами за эту грубую работу? — сказала мамаша. — Пусть бы мальчик мят глину!

— Нет, мне необходимо лепить самому! — сказал он.

— Ну да, ведь вы всегда так любезны! — сказала матушка, а дочка тихонько пожала ему руку, запачканную в глине.

Во время работы Альфред разъяснял им красоты природы и всего мироздания, превосходство живого создания перед мертвым, растения перед минералом, животного перед растением, человека перед животным; объяснял, что скульптор воплощает высшее проявление красоты в земных образах.

Кала молчала, убаюканная его речами, а мамаша изрекла:

— Трудно, знаете, уследить за вашими словами! Но хоть я и медленно соображаю, а мысли так и жужжат у меня в голове, я все-таки держу их крепко.

И его тоже крепко держала красота; она наполняла все его помыслы, завладела им всецело. Красотой дышало все существо Калы — и глаза, и ротик, даже каждое движение пальчиков. Все это было по части скульптора, и он говорил только о красавице, думал только о ней; оба они составляли теперь одно, поэтому много говорила и она, раз говорил много он.

Так прошел день помолвки, затем настал и день свадьбы: явились подружки невесты, пошли подарки, о которых было упомянуто в поздравительных речах, словом — все как водится.

Мамаша поместила за свадебным столом, в качестве почетного гостя, бюст Торвальдсена в шлафроке — это была ее собственная идея. Пели заздравные песни, осушали заздравные тосты, веселая была свадьба и чудесная парочка! «Пигмалион обрел свою Галатею» — говорилось в одной из песен.

— Ну, это что-то из мифологии! — сказала мамаша.

На другой день молодая чета отправилась в Копенгаген; мамаша с ними — взять на себя грубую часть семейной жизни, хозяйство. Кала пусть живет, как в кукольном домике! Все так чисто, ново, уютно! Ну, вот, наконец, все трое и сидели в своем домике; Альфред, тот сидел, по пословице, словно епископ в гусяном гнезде.

Его околдовала красота форм, он глядел только на футляр, а не на то, что в нем, а это большой промах, особенно если дело идет о браке! Износится футляр, сотрется позолота, и пожалеешь о покупке. Очень неприятно заметить в гостях, что у тебя оторвались пуговицы у подтяжек, что пряжки ненадежны, что их совсем нет, но еще неприятнее замечать, что жена твоя и теща говорят глупости, и не быть уверенным, что всегда найдешь случай затушевать глупость остроумной шуткой.

Часто молодая чета сидела рука в руку; он говорил, она изредка роняла слово — тот же тон, те же два-три мелодичных звука... София, подруга новобрачной, вносила с собою в дом освежающую струю воздуха.

София красотой не отличалась, но и особенных физических недостатков не имела. Правда, она была слегка кривобока, по словам Калы, но это

было заметно лишь на глаз подруги. София была девушка умная, но ей и в голову не приходило, что она может стать «опасной». Она вносила в кукольный домик струю свежего воздуха, а здесь-таки чувствовался в нем недостаток. Все понимали это, всем хотелось проветриться, и решили проветриться: теща и молодые новобрачные отправились в Италию.

— Слава Богу, вот мы и дома опять! — сказали мамаша и дочка, вернувшись через год, вместе с Альфредом, на родину.

— Ничего нет хорошего в путешествии! — говорила мамаша. — Даже скучно! Извините за откровенность! Я просто соскучилась, хоть со мною и были мои дети. И как это дорого, как дорого! Все-то галереи надо осмотреть, все обегать! Нельзя же — приедешь домой, спросят обо всем! И все-таки в конце концов узнаешь, что самого-то лучшего и не видали! А эти бесконечные, вечные мадонны надоели мне вот до чего!.. Право, того и гляди, сама станешь мадонной!

— А стол-то! — говорила Кала.

— Даже порядочного бульона не достанешь! — подхватывала мамаша. — Просто беда с их стряпней!

Кала была очень утомлена путешествием, сильно утомлена и — что хуже всего — долго не могла оправиться. София переселилась к ним совсем и была очень полезна в доме.

Мамаша отдавала Софии полную справедливость — она была весьма сведуща в хозяйстве и в искусстве, во всем, отдаться чему она до сих пор не могла за неимением собственных средств. Вдобавок она была девушка вполне порядочная, искренне преданная, что и доказала во время болезни и полной беспомощности Калы.

Если футляр — все, то футляр и должен быть прочен, не то беда; так оно и вышло — Кала умерла.

— Как она была хороша! — говорила мамаша. — Не то что антики; те все с изъянами, а Кала была цельная! Вот это настоящая красота!

Альфред плакал, мамаша тоже; оба надели траур. Черный цвет особенно шел к мамаше, и она носила его дольше, дольше и грустила, тем более что грусть ее нашла новую пищу: Альфред женился на Софии, не отличавшейся внешностью.

— Он ударился в крайность! — говорила мамаша. — От красоты перешел к безобразию! И он мог забыть свою первую жену! Вот вам мужское постоянство! Нет, мой муж был не таков! Он и умер-то прежде меня!

«Пигмалион обрел свою Галатею», так говорилось в свадебной песне! — сказал Альфред. — Да, я, в самом деле, влюбился в прекрасную статую, которая ожила в моих объятиях. Но родственную душу, которую посылает нам само Небо, одного из тех ангелов, что живут одними чув-

ствами, одними мыслями с нами, поддерживают нас в минуты слабости, — я обрел только теперь. Тебя, София! Ты явилась мне не в ореоле внешней красоты, но ты добра и красива даже более, чем это необходимо! Суть все же остается сутью! Ты явилась и научила скульптора, что творение его только глина, прах, оболочка внутреннего ядра, которое нам следует искать прежде всего. Бедная Кала! Наша совместная жизнь прошла, как свадебная поездка. Там, где встречаются родственные души, мы, быть может, окажемся чуждыми друг другу.

— Ну, это нехорошо с твоей стороны говорить так! — возразила София. — Не по-христиански! Там, на небе, где не женятся и не выходят замуж, но где, как ты говоришь, встречаются родственные души, где всякая красота разворачивается в полном блеске, ее душа, может быть, расцветет так пышно, что совсем затмит меня, и ты опять воскликнешь, как в первом любовном порыве: «Как хороша! Как хороша!»



## НА ДЮНАХ

**Р**ассказ пойдет о ютландских дюнах, но начинается он не там, а далеко, далеко на юге, в Испании: море ведь соединяет все страны, перенесись же мыслью в Испанию! Как там тепло, как чудесно! Среди темных лавровых деревьев мелькают пурпуровые гранатные цветы; прохладный ветерок веет с гор на апельсиновые сады и великолепные мавританские галереи, с золочеными куполами и расписными стенами. По улицам двигаются процессии детей, со свечами и развевающимися знаменами в руках, а в вышине над улицами города раскинулось ясное, чистое небо, усеянное сияющими звездами! Лютят звуки песен, щелкают кастаньеты, юноши и девушки кружатся в пляске под сенью цветущих акаций; нищий сидит на ступенях мраморной лестницы, утоляет жажду сочным арбузом и затем опять погружается в привычную дремоту, сладкий сон! Да и все здесь похоже на какой-то чудный сон! Все манит к сладкой лени, к чудным грезам! Таким грезам наяву предавалась и юная новобрачная чета, осыпанная всеми благами земными; все было ей дано: и здоровье, и счастье, и богатство, и почетное положение в обществе.

— Счастливей нас никого и быть не может! — искренне говорили они; и все же им предстояло подняться по лестнице человеческого благополучия еще на одну ступень, если бы Бог даровал им ожидаемое дитя, сына, живое физическое и духовное изображение их самих.

Счастливое дитя! Его бы встретили общее ликование, самый нежный уход и любовь, все благополучие, какое только могут дать человеку богатство и знатная родня.

Вечным праздником была для них жизнь.

— Жизнь — милосердный дар любви, почти слишком великий, необъятный! — сказала супруга. — И представить себе, что эта полнота блаженства должна еще возрасти там, за пределами земной жизни, возрасти до бесконечности!.. Право, я даже не в силах справиться с этой мыслью, до того она необъятна!

— Да она и чересчур самонадеянна! — ответил муж. — Ну, не самонадеянно ли, в сущности, воображать, что нас ожидает вечная



жизнь... как богов? Стать подобными богам — ведь эту мысль внушил людям змий, отец жи!

— Но не сомневаешься же ты в будущей жизни? — спросила молодая супруга, и словно темное облачко скользнуло впервые по безоблачному горизонту их мыслей.

— Религия обещает нам ее, священники подтверждают это обещание! — сказал молодой муж. — Но именно теперь, чувствуя себя на верху блаженства, я и сознаю, насколько надменно, самонадеянно с нашей стороны требовать после этой жизни еще другой, требовать продолжения нашего блаженства! Разве не дано нам уже здесь, в этой жизни, так много, что мы не только можем, но и должны вполне удовлетвориться ей!

— Да, нам-то дано много, — возразила жена, — но для скольких тысяч людей земная жизнь — сплошное испытание; сколько людей от самого рождения бывают обречены на бедность, унижение, болезни и несчастье! Нет, если бы за этой жизнью не ждала людей другая, земные блага были бы распределены слишком неровно, и Бог не был бы Судьею Всеправедным!

— И у нищего бродяги есть свои радости, по-своему не уступающие радостям короля, владетеля пышного дворца! — ответил молодой человек. — И разве не чувствует, по-твоему, тяжести своей земной участи рабочий скот, которого бьют, морят голодом и работой? Значит, и животное может требовать себе загробной жизни, считать несправедливостью свое низкое положение в ряду других созданий.

— «В доме Отца Моего Небесного есть много обителей», — сказал Христос! — возразила молодая женщина. — Царство небесное беспрдельно, как и любовь Божия! Животные тоже Его творения, и, по-моему, ни одно живое существо не погибнет, но достигнет той ступени блаженства, на какую только способно подняться!

— Ну, а с меня довольно и этой жизни! — сказал муж и обнял свою красавицу жену. Дым его сигаретки уносился с открытого балкона в прохладный воздух, напоенный ароматом апельсиновых цветов и гвоздики; с улицы доносились звуки песен и щелканье кастаньет; над головами их сияли звезды, а в глаза мужу глядели нежные очи, сияющие огнем бесконечной любви, очи его супруги.

— Да одна такая минута стоит того, чтобы человек родился, пережил ее и — исчез! — продолжал он, улыбаясь; молодая женщина ласково погрозила ему пальчиком, и темное облачко пронеслось — они были чересчур счастливы!

Обстоятельства сложились для них так благоприятно, что жизнь сулила им впереди еще большие блага. Правда, их ждала перемена, но лишь места, а не счастливого образа жизни. Король назначил молодого человека посланником при Императорском Российском Дворе — происхождение и образование делали его вполне достойным такого почетного назначения.

Молодой человек и сам имел состояние, да и молодая супруга принесла ему не меньшее; она была дочерью богатого, уважаемого коммерсанта. Один из самых больших и лучших кораблей последнего как раз должен был в этом году идти в Стокгольм; на нем-то и решили отправить дорогих детей, дочь и зятя, в Петербург. Корабль был разубран с королевской роскошью, всюду мягкие ковры, шелк и бархат...

В одной старинной, всем нам, датчанам, известной песне «об английском королевиче» говорится, как королевич этот отплывает на богато разубранном корабле, с якорями из чистого золота и шелковыми снастями. Вот об этом-то корабле и вспоминалось, глядя на испанский корабль: та же роскошь: те же мысли при отплытии:

О, дай же нам, Боже, счастливо вернуться!

Подул сильный попутный ветер, минута прощания была коротка. Через несколько недель корабль должен был достигнуть конечной цели путешествия. Но когда он был уже далеко от земли, ветер улегся, сияющая ровная поверхность моря, казалось, застыла; вода блестела, звезды сияли, а в богатой каюте словно праздник шел.

Под конец, однако, все стали желать доброго попутного ветра, но он и не думал являться, если же временами и дул ветер, то не попутный, а встречный. Недели шли за неделями, прошло целых два месяца, пока дождались благоприятного ветра с юго-запада. Корабль находился в это время между Шотландией и Ютландией; ветер надул паруса и понес корабль — совсем как в старинной песне об «английском королевиче»:

И ветер подул, небеса потемнели;  
Куда им укрыться? Где берег, где порт?  
Свой якорь на дно золотой опустили,  
Но к Дании злобный их ветер несет.

С тех пор прошло много лет. В те времена на троне Дании сидел юный король Христиан VII; много событий совершилось за это время, многое изменилось, переменилось. Озера и болота стали сочными лугами, степи — обработанными полями, а на западном берегу Ютландии, под защитой стен крестьянских избышек, выросли яблоки и розы. Но их приходится отыскивать глазами: так ловко они прячутся от резкого западного ветра. И все же тут, на этом берегу, легко перенестись мыслью даже во времена еще более отдаленные, нежели царствование Христиана VII: в Ютландии и теперь, как в старину, стелется необозримая бурая степь, родина миражей, усеянная могильными курганами, изрезанная перекрешивающимися, кочковатыми песчаными дорогами. На западе же, где большие реки впадают в заливы, по-прежнему расстилаются луга и болота, защищенные со стороны моря высокими дюнами. Зубчатые вершины дюн тянутся по берегу, словно горная цепь, прерываемая в иных местах глинистыми откосами; море годы за годами откусывает от них

кусок за куском, так что выступы и холмы, наконец, рушатся, точно от землетрясения. Такова была Ютландия и в те времена, когда счастливая чета плыла на богатом корабле.

Сентябрь был на исходе; погода стояла солнечная; было воскресенье; звуки колоколов догоняли друг друга, разносясь вдоль берега Ниссум-фиорда. Самые церкви напоминали обтесанные каменные глыбы — каждая была высечена в обломке скалы. Море перекатывало через них свои волны, а они себе стояли да стояли. Большинство из них было без колоколен; колокола, укрепленные между двумя столбами, висели под открытым небом.

Служба в церкви кончилась, и народ высыпал на кладбище, на котором и тогда, как теперь, не виднелось ни деревца, ни кустика, ни цветка, ни даже венка на могилах. Только небольшие холмы указывали места, где покоились усопшие; все кладбище поросло острой, жесткой травой; ветер так и трепал ее. Кое-где на могилах попадались и памятники, то есть полусгнившие обломки бревен, обтесанные в виде гроба. Обломки эти доставлял прибрежный лес — дикое море. В море растут для берегового жителя и готовые балки, и доски, и деревья; доставляет же их на берег прибой. Но ветер и морской туман скоро заставляют их сгнить.

Такой обломок лежал и на детской могилке, к которой направилась одна из женщин, вышедших из церкви.

Она стояла молча, устремив взор на полуистлевший деревянный обломок. Немного погодя к ней присоединился ее муж. Они не обменялись ни словом, он взял ее за руку, и они пошли по бурой степи и болоту к дюнам. Долго шли они молча, наконец муж промолвил:

— Хорошая была сегодня проповедь! Не будь у нас Господа, у нас не было бы ничего!

— Да, — ответила жена, — Он посылает нам радости, Он же посылает и горе! И Он прав всегда... А сегодня нашему мальчугану исполнилось бы пять лет, будь он жив.

— Право, напрасно ты так горюешь! — сказал муж. — Он счастливо отделился и находится теперь там, куда и нам надо проситься у Бога.

Больше они не говорили и направились к дому. Вдруг над одной из дюн, на которой песок не был укреплен никакой растительностью, поднялся как бы столб дыма: сильный вихрь взрыл и закрутил мелкий песок. Затем пронесся новый порыв ветра, и развешанная на веревках для просушки рыба забарабанила в стены дома; потом опять все стихло; солнце так и пекло.

Муж с женой вошли в свою избушку и, живо поснимав с себя праздничные платья, поспешили опять на дюны, возвышавшиеся на берегу, словно чудовищные, внезапно остановившиеся на пути, песочные волны. Некоторое разнообразие красок вносили росшие на белом песке голубовато-зеленые острые стебельки песочного овса и песчанки. На берег со-

брались еще несколько соседей, и мужчины соединенными силами втащили лодки повыше на песок. Ветер все крепчал, становился все резче и холоднее, и, когда муж с женою повернули обратно домой, песок и острые камешки так и полетели им прямо в лицо. Сильные порывы ветра срывали белые гребешки волн и рассыпали их мелкой пылью.

Свечерело; в воздухе как будто выл, свистел и стонал целый легион проклятых духов; муж с женою не слышали даже грохота моря, а избушка их стояла чуть не на самом берегу. Песок так и летел в оконные стекла, порывы ветра грозили иногда повалить саму избушку. Стемнело, но около полуночи должна была проглянуть луна.

Небо прояснилось, но буря бушевала на море с прежней силой. Муж и жена давным-давно улеглись в постели, но нечего было и думать заснуть в такую непогоду; вдруг в окно к ним постучали, дверь приотворилась, и кто-то сказал:

— На крайнем рифе стоит большой корабль!

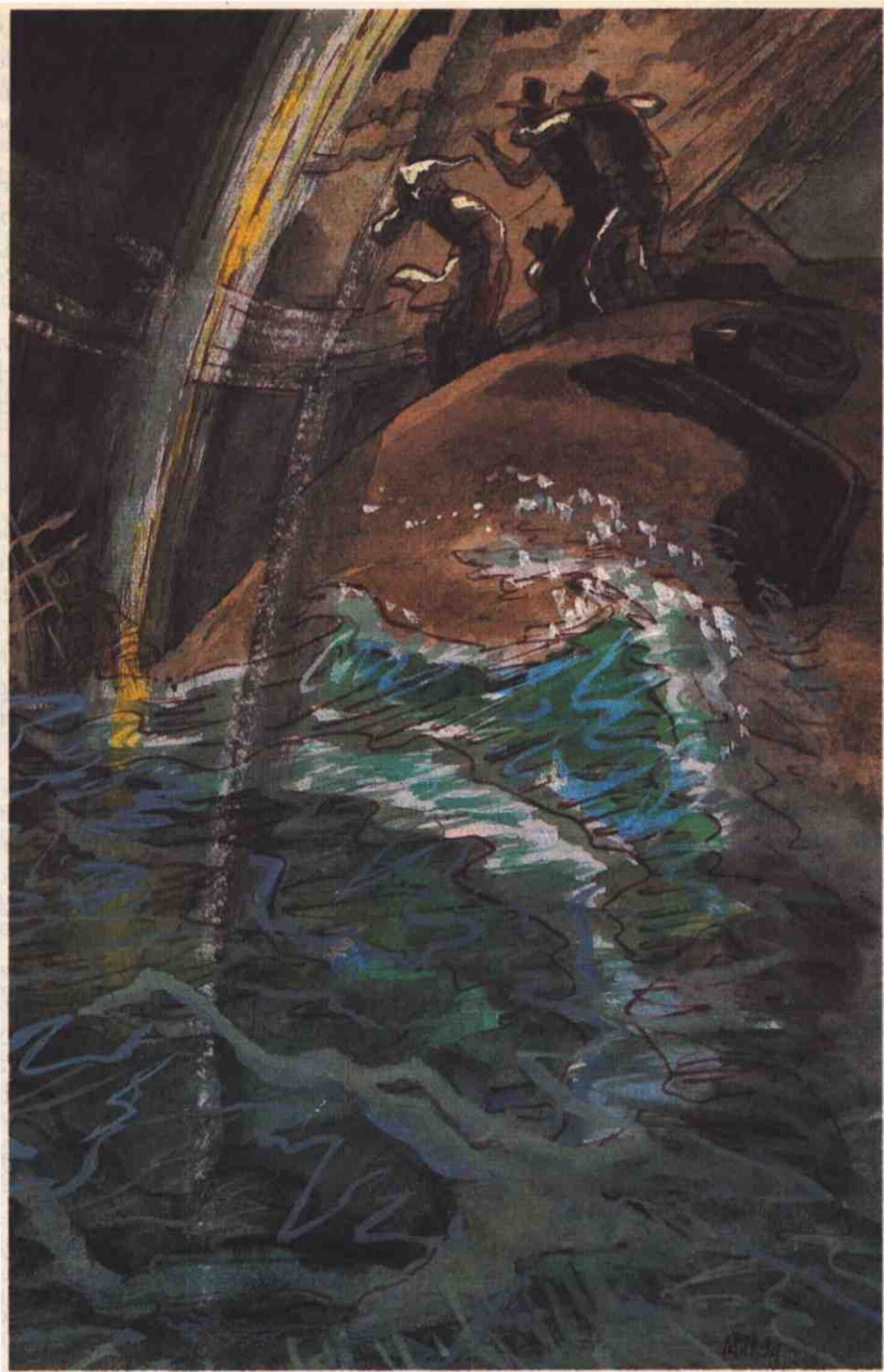
В одну минуту муж и жена вскочили и оделись.

Луна светила довольно ярко, но бушующий песочный вихрь слепил глаза. Ветер дул такой, что хоть ложись на него; только с большим трудом, чуть не ползком, пользуясь паузами между порывами урагана, можно было перебраться через дюны. На берег, словно лебяжий пух, летела с моря соленая пена; море с шумом и ревом катило кипящие волны. Надо было иметь опытный глаз, чтобы сразу различить в море судно. Это был великолепный двухмачтовый корабль; его несло к берегу через рифы, но на последнем он сел.

Оказать помощь кораблю или экипажу нечего было и думать — море слишком разбушевалось, волны нещадно хлестали корпус судна и перекатывались через него... Рыбакам чудились крики и вопли отчаяния; видно было, как люди на корабле беспомощно, растерянно суетились... Вот встал огромный вал и обрушился на бугшприт. Миг — и бугшприта как не бывало; корма высоко поднялась над водою, и с нее спрыгнули в этот момент две обнявшиеся человеческие фигуры, спрыгнули и исчезли в волнах... Миг еще, и — огромная волна выкинула на дюны тело... молодой женщины, по-видимому, бездыханное. Несколько рыбаков окружили ее, и им показалось, что она еще подает признаки жизни. Сейчас перенесли ее в ближайшую избушку. Как хороша и нежна была бедняжка! Верно, знатная дама!

Ее уложили на убогую кровать, без всякого белья, прикрытую одним шерстяным одеялом, но в него-то и следовало укутать незнакомку — чего уж теплее!

Ее удалось вернуть к жизни, но она оказалась в жару и не сознавала ничего: ни того, что случилось, ни того, куда попала. Да и слава Богу: все, что было ей дорого в жизни, лежало теперь на дне морском. Все случилось, как в песне «об английском королевиче»:





Ужаснее вида и быть не могло:  
Разбился судно о риф, как стекло.

Море выбросило на берег обломки корабля, из людей же уцелела одна молодая женщина. Ветер все еще выл, но в избушке на несколько мгновений воцарилась тишина: молодая женщина забылась; потом начались боли и крики, она раскрыла свои дивные глаза и сказала что-то, но никто не понял ни единого слова.

И вот в награду за все перенесенные ею страдания в объятиях ее очутилось новорожденное дитя. Его ожидала великолепная колыбель с шелковым пологом, роскошное жилище, ликование, восторги и жизнь, богатая всеми благами земными, но Господь судил иначе: ему довелось родиться в бедной избушке, и даже поцелуя матери не суждено было ему принять.

Жена рыбака приложила ребенка к груди матери, и оно очутилось возле сердца, которое уже перестало биться, — мать умерла. Дитя, которое должно было встретить в жизни одно богатство, одно счастье, было выброшено морем на дюны, чтобы испытать нужду и долю бедняка.

Испанский корабль разбился немного южнее Ниссумфиорда. Жестокое, бесчеловечное время, когда береговые жители промышляли грабежом потерпевших кораблекрушение, давным-давно миновали. Теперь несчастные встречали тут любовное, сердечное отношение, широкую готовность прийти на помощь. Наше время может гордиться истинно благородными чертами характера! Умиравшая мать и несчастный ребенок нашли бы приют и уход в любом домике на берегу, но нигде не отнеслись бы к ним участливее, сердечнее, чем в том именно, куда они попали: у бедной рыбаки, так грустно стоявшей вчера возле могилы своего ребенка, которому в этот день должно было бы исполниться пять лет.

Никто не знал, кто такая была умершая женщина или откуда. Корабельные обломки были немые.

В Испании, в доме богатого купца, так никогда и не дождались ни письма, ни весточки о дочери или зяте. Узнали только, что они не достигли места назначения и что в последние недели на море бушевали страшные бури. Ждали месяцы, наконец пришла весть: «Полное крушение; все погибли».

А в рыбацкой избушке на дюнах появился новый жилец.

Там, где Господь посылает пищу для двоих, хватит и на третьего: на берегу моря хватит рыбы на голодный желудок. Мальчика называли Юргеном.

— Это, верно, еврейское дитя! — говорили про него. — Ишь, какой черномазый!

— А, может быть, он испанец или итальянец! — сказал священник. Но все эти три народности были в глазах жены рыбака одним и тем



же, и она утешалась, что дитя крещено. Ребенок подрастал; благородная кровь питалась бедною пищей; отпрыск благородного рода вырастал в бедной избушке. Датский язык, западно-ютландское наречие, стал для него родным языком. Гранатное зернышко с испанской почвы выросло на западном берегу Ютландии песчинкой. Вот как может приспособляться человек! Он сросся с новой родиной всеми своими жизненными корнями. Ему суждено было изведать и голод, и холод, и другие невзгоды, но также и радости, выпадающие на долю бедняка.

Детство каждого человека имеет свои радости, которые бросают светлый отблеск на всю его жизнь. В играх и забавах у Юргена недостатка не было. На морском берегу было чистое раздолье для игр: весь берег был усеян игрушками, выложен, словно мозаикой, разноцветными камешками. Тут попадались и красные, как кораллы, и желтые, как янтари, и белые, кругленькие, как птичьи яички, словом, всевозможные мелкие обточенные и отшлифованные морем камешки. Высохшие остовы рыб, сухие водоросли и другие морские растения, белевшие на берегу и опутывавшие камни точно тесемками, тоже служили игрушками, забавой для глаз, пищей для ума. Юрген был мальчуган способный, богато одаренный. Как он запоминал разные истории и песни! А уж что за руки у него были, просто золотые! Из камней и ракушек мастерил он кораблики и картинки для украшения стен. Мальчик мог, по словам его приемной матери, выразить свои мысли резьбой на кусочке дерева, а он был еще невелик. Как чудесно звенел его голосок; мелодии так сами собой и лились из его горлышка. Да, много струн было натянуто в его душе: они могли бы зазвучать на весь мир, сложись его судьба иначе, не забрось она его в эту глухую рыбацью деревушку.

Однажды поблизости разбился корабль и на берег выбросило волнами ящик с редкими цветочными луковицами. Некоторые из них были искрошены в похлебку — рыбаки сочили их за съедобные, другие остались гнить на песке. Им не суждено было выполнить свое назначение — развернуть взорам всю скрытую в них роскошь красок. Будет ли Юрген счастливее? Луковицы скоро погибли, его же ожидали долгие годы испытания.

Ни ему, ни кому другому из окружающих никогда и в голову не приходило, что дни тянутся здесь скучно и однообразно: здесь было вдоволь работы и рукам, и глазам, и ушам. Море являлось огромным учебником и каждый день развертывало новую страницу, знакомило береговых жителей то со штилем, то с легким волнением, то с ветром и штормом. Кораблекрушения были крупными событиями, а посещения церкви являлись настоящими праздниками. Из посещений же родных и знакомых особенную радость доставлял семейству рыбака приезд дяди, продавца угрей из Фьяльтринга, что близ Бовбьерга. Он приезжал сюда два раза в год на крашеной тележке, полной угрей; тележка представляла

ящик с крышкой и была расписана по красному фону голубыми и белыми тюльпанами; тащила ее пара чалых волов. Юргену позволялось покататься на них.

Торговец угрями был остряк, весельчак и всегда привозил с собою бочонок водки. Всякому доставался полный стаканчик или кофейная чашечка, если не хватало стаканов; даже Юргену, как ни мал он был, давалась порция с добрый наперсток. Надо же выпить, чтобы удержаться в желудке жирного угря, говорил торговец и при этом всякий раз рассказывал одну и ту же историю, а если слушатели смеялись, рассказывал ее еще раз с начала. Такая уж слабость у словоохотливых людей! И так как Юрген сам зачастую руководился этой историей и в отрочестве, и даже в зрелом возрасте, то надо и нам познакомиться с нею.

В реке плавали угри; дочери все просились у матери погулять на свободе, подняться вверх по реке, а мать говорила им: «Не заходите далеко! Не то придет гадкий рыбак и всех вас заколет!» Но они все-таки зашли слишком далеко, и из восьми дочерей вернулись к матери только три. Они принялись жаловаться: «Мы только чуть-чуть вышли из дома, как явился гадкий рыбак и заколол сестриц своим трезубцем до смерти!» — «Ну, они еще вернутся к нам!» — сказала мать. «Нет! — ответили дочери, — он ведь содрал с них кожу, разрезал их на куски и зажарил!» — «Вернутся!» — повторила мать. «Да ведь он съел их!» — «Вернутся!» — «Он запил их водкой!» — сказали дочери. «Ай! Ай! Так они никогда не вернутся!» — завывала мать. — Водка хоронит угрей!»

— Вот и следует всегда запивать это блюдо водочкой! — прибавлял торговец.

История эта прошла через всю жизнь Юргена красной нитью, давая обширный материал для забавных острот, поговорок и сравнений. И Юргену по временам страсть как хотелось выглянуть из дома, погулять по белу свету, а мать его, как и угриная matka, говорила: «На свете много злых людей-рыбаков!» Ну, а недалеко от дюн, в степи, побывать было можно, и он побывал. Четыре веселых дня осветили собой все его детство; в них отразилась для него вся красота Ютландии, вся радость и счастье родного края. Родителей Юргена пригласили на пир — правда, на похоронный.

Умер один из их состоятельных родственников. Жил он в степи, к северо-востоку от рыбацкой слободки. Родители взяли Юргена с собою. Миновав дюны, степь и болото, дорога пошла по зеленому лугу, где прорезывает себе путь река Скэрум, изобилующая угрями. В ней-то и жила угриная matka со своими дочками, которых злые люди убили, ободрали и разрезали на куски. Но часто люди поступали не лучше и с себе подобными. Вот и рыцарь Бугте, о котором говорится в старинной песне,

был убит злыми людьми, да и сам он, как ни был добр, собирался убить строителя, что воздвигнул ему толстостенный замок с башнями. Замок этот стоял на том самом месте, где приостановился теперь Юрген со своими родителями, при впадении реки Скэрум в Ниссумфиорд. Валы еще виднелись, и на них остатки кирпичных стен. Рыцарь Бугге, посылая своего слугу в погоню за ушедшим строителем, сказал: «Догони его и скажи: «Мастер, башня падает! Если он обернется, сруби ему голову и возьми деньги, что он получил от меня, а если не обернется, оставь его идти с миром».

Слуга догнал строителя и сказал, что было велено, но тот, не оборачиваясь, ответил: «Башня еще не падает, но некогда придет с запада человек в синем плаще и заставит ее упасть». Так оно и случилось сто лет спустя: море затопило страну, и башня упала, но владелец замка Предбьёрн Гюльденсьтерне выстроил себе новую, еще выше прежней; она стоит и посейчас в Северном Восборге.

Мимо последнего им тоже пришлось проходить. Все эти места давно были знакомы Юргену по рассказам, услаждавшим для него долгие зимние вечера, и вот теперь он сам увидел и двор, окруженный двойными рвами, деревьями и кустами, и вал, поросший папоротником. Но лучше всего были здесь высокие липы, достававшие вершинами до крыши и наполнявшие воздух сладким ароматом. В северо-западном углу сада рос большой куст, осыпанный цветами, что снегом. Это была бузина, первая цветущая бузина, которую видел Юрген. И она да цветущие липы запечатлелись в его памяти на всю жизнь; ребенок запасся на старость воспоминаниями о красоте и аромате родины.

Остальную часть пути совершили гораздо скорее и удобнее: как раз у Северного Восборга, где цвела бузина, Юргена с родителями нагнали другие приглашенные на пир, ехавшие в тележке, и предложили подвезти их. Конечно, всем троиим пришлось поместиться позади, на деревянном сундуке, окованном железом, но для них это было все-таки лучше, чем идти пешком. Дорога шла по кочковатой степи; волы, тащившие тележку, время от времени останавливались, встретив среди вереска клочок земли, поросший свежей травкой; солнышко припекало, и над степью курился диковинный дымок. Он вился клубами и в то же время был прозрачнее самого воздуха; казалось, солнечные лучи клубились и плясали над степью.

— Это «Локеман» гонит свое овечье стадо! — сказали Юргену, и ему было довольно: он сразу перенесся в сказочную страну, но не терял из виду и окружающей действительности. Какая тишина стояла в степи!

Во все стороны разбегалась необозримая степь, похожая на драгоценный ковер; вереск цвел; кипарисово-зеленый можжевельник и свежие отпрыски дубков выглядывали из него букетами. Так и хотелось броситься на этот ковер поваляться — не будь только тут множества ядовитых

гадюк!.. Об них-то да о волках и пошла речь; последних водилось тут прежде столько, что всю местность звали Волчьей. Старик возница рассказывал, что в старину, когда еще жив был его покойный отец, лошадям часто приходилось жестоко отбиваться от кровожадных зверей, а раз утром и ему самому случилось набрести на лошадь, попиравшую ногами убитого ей волка, но ноги ее были все изгрызены.

Слишком скоро для мальчика проехали они кочковатую степь и глубокие пески и прибыли в дом, где было полным-полно гостей. Повозки жалась друг к другу; лошади и волы пощипывали тощую травку. За двором возвышались песчаные дюны, такие же высокие и огромные, как и в родной слободке Юргена. Как же они попали сюда с берега, ведь оттуда три мили? Ветер поднял и перенес их; у них своя история.

Пропели псалмы, двое-трое старичков и старушек прослезились, а то было очень весело, по мнению Юргена: ешь и пей вволю. Угощали жирными угрями, а их надо было запивать водочкой. «Она удерживает угрей!» — говаривал старик-торговец, и тут крепко держались его слов. Юрген шнырял повсюду и на третий день чувствовал себя тут совсем как дома. Но здесь, в степи, было совсем не то, что у них в рыбацкой слободке, на дюнах: степь так и кишела цветочками и голубицей; крупные, сладкие ягоды прямо топтались ногами, и вереск орошался красным соком.

Там и сям возвышались курганы; в тихом воздухе курился дымок; горит где-нибудь степь — говорили Юргену. Вечером же над степью подымалось зарево — вот было красиво!

На четвертый день поминки кончились, пора было и домой, на приморские дюны.

— Наши-то настоящие, — сказал отец, — а в этих никакой силы нет.

Зашел разговор о том, как они попали сюда, внутрь страны. Очень просто. На берегу нашли мертвое тело; крестьяне схоронили его на кладбище, и вслед за тем началась страшная буря, песок погнало внутрь страны, море дико лезло на берег. Тогда один умный человек посоветовал разрыть могилу и поглядеть, не сосет ли покойник свой большой палец. Если да, то это водяной, и море требует его. Могилу разрыли: покойник сосал большой палец; сейчас же взвалили его на телегу, запрягли в нее двух волов, и те как ужаленные помчали ее через степь и болото прямо в море. Песочная метель прекратилась, но дюны как их намело, так и остались стоять внутри страны. Юрген слушал и сохранял все эти рассказы в своей памяти вместе с воспоминаниями о счастливейших днях детства, о поминках.

Да, то ли дело вырваться из дома, увидеть новые места и новых людей! И Юргену предстояло-таки вырваться опять. Ему еще не минуло четырнадцати лет, а он уже нанялся на корабль и отправился по белу свету. Узнал он и погоду, и море, и злых, жестоких людей! Недаром

он был юнгой! Скучная пища, холодные ночи, плеть и кулаки — всего пришлось ему отведать. Было от чего иногда вскипеть его благородной испанской крови; горячие слова просились на язык, но умнее было прикусить его, а для Юргена это было то же, что для угря позволить себя ободрать и положить на сковороду.

— Ну, да я возьму свое! — говорил он сам себе.

Довелось ему увидеть и испанский берег, родину его родителей, даже тот самый город, где они жили в счастье и довольстве, но он ведь ничего не знал ни о своей родине, ни о семье, а семья о нем — и того меньше.

Парнишке не позволяли даже бывать на берегу, и он ступил на него в первый раз только в последний день стоянки: надо было закупить кое-какие припасы, и его взяли с собою на подмогу.

И вот Юрген, одетый в жалкое платишко, словно выстиранное в канаве и высушенное в трубе, очутился в городе. Он, уроженец дюн, впервые увидел большой город. Какие высоченные дома, узенькие улицы, сколько народа! Толпы сновали туда и сюда; по улицам как будто неслась живая река: горожане, крестьяне, монахи, солдаты... Крик, шум, гам, звон бубенчиков на ослах и мулах, звон церковных колоколов, пение и щелканье, стукотня и грохотня: ремесленники работали на порогах домов, а то так и прямо на тротуарах. Солнце так и пекло, воздух был тяжел и удушлив; Юргену казалось, что он в раскаленной печке, битком набитой жужжащими и гудящими навозными и майскими жуками, пчелами и мухами; голова шла кругом. Вдруг он увидел перед собою величественный портал собора; в полутьме под сводами мерцали свечи, курился фимиам. Даже самый оборванный нищий имел право войти в церковь; матрос, с которым послали Юргена, и направился туда; Юрген за ним. Яркие образа сияли на золотом фоне. На алтаре, среди цветов и зажженных свечей, красовалась Божья Матерь с Младенцем Иисусом. Священники в роскошных облачениях пели, а хорошенькие нарядные мальчики кадили. Вся эта красота и великолепие произвели на Юргена глубокое впечатление; вера и религия его родителей затронули самые сокровенные струны его души; на глазах у него выступили слезы.

Из церкви они направились на рынок, закупили нужные припасы, и Юргену пришлось тащить часть их. Идти было далеко, он устал и приостановился отдохнуть перед большим великолепным домом с мраморными колоннами, статуями и широкими лестницами. Юрген прислонил свою ношу к стене, но явился раззолоченный швейцар в ливрее и, подняв на него палку с серебряным набалдашником, прогнал прочь — его, внука хозяина! Но никто ведь не знал этого; сам Юрген — меньше всех.

Корабль отплыл; опять потянулась та же жизнь: толчки, ругань, недосыпание, тяжелая работа... Что ж, не мешает отведать всего! Это ведь, говорят, хорошо — пройти суровую школу в юности. Хорошо-то, хорошо — если потом ждет тебя счастливая старость!



Рейс кончился, корабль опять стал на якорь в Рингкьбингсфюрге, и Юрген вернулся домой, в рыбацью слободку, но, пока он гулял по свету, приемная мать его умерла.

Настала суровая зима. На море и суше бушевали снежные бури; просто беда была пробираться по степи. Как, в самом деле, разнятся между собою разные страны: здесь леденящий холод и метель, а в Испании страшная жара! И все же, увидав в ясный, морозный день большую стаю лебедей, летевших со стороны моря к Северному Восбору, Юрген почувствовал, что тут все-таки дышится легче, что тут, по крайней мере, можно насладиться прелестями лета. И он мысленно представил себе степь, всю в цветах, усеянную спелыми, сочными ягодами, и цветущие липы у Северного Восбора... Ах, надо опять побывать там!

Подошла весна, началась ловля рыбы, Юрген помогал отцу. Он сильно вырос за последний год, и дело у него спорилось. Жизнь так и была в нем ключом; он умел плавать и сидя, и стоя, даже кувыркаться в воде, и ему часто советовали остерегаться макрелей — они плавают стадами и нападают на лучших пловцов, увлекают их под воду и пожирают. Вот и конец! Но Юргену судьба готовила иное.

У соседей был сын Мортен; Юрген подружился с ним, и они вместе нанялись на одно судно, которое отплывало в Норвегию, потом в Голландию. Серьезно ссориться между собою им вообще было не из-за чего, но мало ли что случается! У горячих натур руки ведь так и чешутся; случилось это раз и с Юргеном, когда он повздорил с Мортеном из-за каких-то пустяков. Они сидели в углу за капитанской рубкой и ели из одной глиняной миски; у Юргена был в руках нож, и он замахнулся им на товарища, причем весь побледнел и дико сверкнул глазами. А Мортен только промолвил:

— Так ты из тех, что готовы пустить в дело нож?

В ту же минуту рука Юргена опустилась; молча доел он обед и взялся за свое дело. По окончании же работ он подошел к Мортену и сказал: «Ударь меня в лицо — я стою! Во мне, право, вечно бурлит через край, точно в горшке с кипятком!»

— Ну, ладно, забудем это! — отвечал Мортен, и с тех пор дружба их стала чуть не вдвое крепче. Вернувшись домой, в Ютландию, на дюны, они рассказывали о житье-бытье на море, рассказали и об этом происшествии. Да, кровь в Юргене бурлила через край, но все же он был славный, надежный «горшок».

— Только не «ютландский»<sup>1</sup> — ютландцем его назвать нельзя! — сострил Мортен.

<sup>1</sup> Так называемая «ютландская посуда», изготавливается из темной глины и отличается огнеупорностью и прочностью. — *Примеч. перев.*



Оба были молоды и здоровы; оба — парни рослые, крепкого сложения, но Юрген отличался большей ловкостью.

На севере, в Норвегии, крестьяне пасут свои стада на горах, где и имеются особые пастушьи шалаши, а на западном берегу Ютландии на дюнах понастроены хижины для рыбаков; они сколочены из корабельных обломков и крыты торфом и вереском; по стенам внутри идут нары для спанья. У каждого рыбака есть своя девушка-помощница; обязанности ее — насаживать на крючки приманки, встречать хозяина, возвращающегося с лова, теплым пивом, готовить ему кушанье, вытаскивать из лодок пойманную рыбу, потрошить ее и проч.

Юрген, отец его и еще несколько рыбаков с их работницами помещались в одной хижине. Мортен жил в ближайшей.

Между девушками была одна по имени Эльза, которую Юрген знал с детства. Оба были очень дружны между собою; в их нравах было много общего, но наружностью они резко отличались: он был смуглый брюнет, а она беленькая; волосы у нее были желтые, как лен, а глаза светло-голубые, как освещенное солнцем море.

Раз они шли рядом; Юрген держал ее руку в своей и крепко пожимал ее. Вдруг Эльза сказала ему:

— Юрген, у меня есть что-то на сердце! Лучше бы мне работать у тебя — ты мне все равно что брат, а Мортен, к которому я нанялась, — мой жених. Не надо только болтать об этом другим!

Песок словно заколыхался под ногами Юргена, но он не проронил ни слова, только кивнул головой: согласен, мол. Большого от него и не требовалось. Но он-то в ту же минуту почувствовал, что всем сердцем ненавидит Мортена. Чем больше он думал о случившемся — а раньше он никогда так много не думал об Эльзе, — тем яснее становилось ему, что Мортен украл у него любовь единственной девушки, которая ему нравилась, то есть Эльзы; вот оно как теперь выходило!

Стоит посмотреть, как рыбаки переносятся, в свежую погоду, по волнам через рифы. Один из рыбаков стоит на носу, а гребцы не спускают с него глаз, выжидая знака положить весла и отдаться надвигающейся волне, которая должна перенести лодку через риф. Сначала волна поднимает лодку так высоко, что с берега виден киль ее; минуту спустя она исчезает в волнах; не видно ни самой лодки, ни людей, ни мачты; море как будто поглотило все... Но еще минута, и лодка вновь показывается на поверхности по другую сторону рифа, словно вынырнувшее из воды морское чудовище; весла быстро шевелятся — ни дать ни взять ноги животного. Перед вторым, перед третьим рифом повторяется то же самое; затем рыбаки прыгивают в воду и подводят лодку к берегу; удары волны помогают им, подталкивая ее сзади.

Не подать вовремя знака, ошибиться минутой, и — лодка разобьется о риф.



«Тогда бы конец и мне, и Мортену!» Эта мысль мелькнула у Юргена, когда они были на море. Отец его вдруг серьезно занемог, лихорадка так и трепала его; между тем лодка приближалась к последнему рифу; Юрген вскочил и крикнул:

— Отец, пусти лучше меня! — и взгляд его скользнул с лица Мортена на волны.

Вот приближается огромная волна... Юрген взглянул на бледное лицо отца и — не мог исполнить злого намерения. Лодка счастливо миновала риф и достигла берега, но злая мысль крепко засела в голове Юргена; кровь в нем так и кипела; со дна души всплывали разные соринки и волокна, запавшие туда за время дружбы его с Мортеном, но он не мог выпрясть из них цельную нить, за которую бы мог ухватиться, и он пока не приступал к делу. Да, Мортен испортил ему жизнь, он чувствовал это!

Так как же ему было не возненавидеть его? Некоторые из рыбаков заметили эту ненависть, но сам Мортен не замечал ничего и оставался тем же добрым товарищем и словоохотливым — пожалуй, даже чересчур словоохотливым — парнем.

А отцу Юргена пришлось слечь; болезнь оказалась смертельной, и он через неделю умер. Юрген получил в наследство дом на дюнах, правда маленький, но и то хорошо, у Мортена не было и этого.

— Ну, теперь не будешь больше наниматься в матросы! Останешься с нами навсегда! — сказал Юргену один из старых рыбаков.

Но у Юргена как раз было в мыслях другое — ему именно и хотелось погулять по белу свету. У торговца угрями был дядя, который жил в Старом Скагене; он тоже занимался рыболовством, но был уже зажиточным купцом и владел собственным судном. Слыл он милым стариком; у такого стоило послужить. Старый Скаген лежит на крайнем севере Ютландии, далеко от рыбацкой слободки и дюн, но это-то обстоятельство особенно и было по душе Юргену: он не хотел пировать на свадьбе Эльзы и Мортена, а ее готовились сыграть недели через две.

Старый рыбак не одобрял намерения Юргена — теперь у него был собственный дом, и Эльза, наверно, склонится, скорее, на его сторону.

Юрген ответил на это так отрывисто, что не легко было добраться до смысла его речи, но старик взял да и привел к нему Эльзу. Немного сказала она, но все-таки сказала кое-что:

— У тебя дом... Да, тут задумаешься!..

И Юрген сильно задумался.

По морю ходят сердитые волны, но сердце человеческое волнуется иногда еще сильнее; его обуревают страсти. Много мыслей пронеслось в голове Юргена; наконец он спросил Эльзу:

— Если бы у Мортена был такой же дом, кого из нас двоих выбрала бы ты?

— Да ведь у Мортена нет и не будет дома!

— Ну, представь себе, что он у него будет.

— Ну, тогда я, верно, выбрала бы Мортена — люб он мне! Но этим сыт не будешь!

Юрген раздумывал об этом всю ночь. Что такое толкало его, он и сам не мог дать себе отчета, но безотчетное влечение оказалось сильнее его любви к Эльзе, и он повиновался ему — пошел утром к Мортену. То, что Юрген сказал Мортену при свидании, было строго обдуманно им в течение ночи. Он уступил товарищу свой дом на самых выгодных для того условиях, говоря, что сам предпочитает наняться на корабль и уехать. Эльза, узнав обо всем, расцеловала Юргена прямо в губы — ей ведь был люб Мортен.

Юрген собирался отправиться в путь на другой же день рано утром. Но вечером, хотя и было уже поздно, ему вздумалось еще раз навестить Мортена. Он пошел и на пути, на дюнах, встретил старого рыбака, который не одобрял его намерения уехать. «У Мортена, верно, зашит в штанах утиный клюв, что девушки так лнут к нему!» — сказал старик. Но Юрген прервал разговор, простился и пошел к Мортену. Подойдя поближе, он услышал в доме громкие голоса: у Мортена кто-то был. Юрген остановился в нерешительности — с Эльзой ему вовсе не хотелось встречаться. Подумав хорошенько, он не захотел выслушивать лишний раз изъявлений благодарности Мортена и повернул назад.

Утром, еще до восхода солнца, он связал свой узелок, взял с собой корзинку со съестными припасами и сошел с дюн на самый берег; там идти было легче, чем по глубокому песку, да и ближе: он хотел пройти сначала в Фьяльтринг к торговцу угрями, благо обещал навестить его.

Ярко синела блестящая поверхность моря; берег был усеян ракушками и раковинками; игрушки, забавлявшие его в детстве, так и хрустели под его ногами. Вдруг из носа у него брызнула кровь — пустячное обстоятельство, но и оно, случается, приобретает важное значение. Две-три крупные капли упали на рукав его рубашки. Он затер их, остановил кровь и почувствовал, что от кровотечения ему стало как-то легче и в голове, и на сердце. В песке вырос кустик морской капусты; он отломил веточку и воткнул ее в свою шляпу. «Смело, весело вперед! Белый свет посмотреть, выглянуть из дома, как говорили угри. Берегитесь людей! Они злые, убьют вас, разрежут и зажарят на сковороде! — повторил он про себя и рассмеялся: — Ну, я-то сумею сберечь свою шкуру! Смелость города берет!»

Солнце стояло уже высоко, когда он подошел к узкому проливу, соединявшему западное море с Ниссумфиордом. Оглянувшись назад, он увидел вдали двух верховых, а на некотором расстоянии за ними еще нескольких пеших людей; все они, видимо, спешили. Ну да ему-то что за дело? Лодка была у другого берега; Юрген кликнул перевозчика; отчалили, но не успели выехать на середину пролива, как мчавшиеся во весь опор верховые доскакали до берега и принялись кричать, приказывая



Юргену именем закона вернуться обратно. Юрген в толк не мог взять, что им от него надо, но рассудил, что лучше всего вернуться, сам взялся за одно весло и принялся грести обратно к берегу. Едва лодка причалила, люди, толпившиеся на берегу, вскочили в нее и скрутили Юргену руки веревкой; он и опомниться не успел.

— Погоди! Поплатишься головой за свое злодейство! — сказали они. — Хорошо, что мы поймали тебя!

Обвиняли его ни больше ни меньше, как в убийстве: Мортена нашли с перерезанным горлом. Один из рыбаков встретил вчера Юргена поздно вечером на пути к жилищу Мортена, Юрген уже не раз угрожал последнему ножом — значит, он и убийца! Следовало крепко стеречь его; в Рингкёпинге — самое верное место, да не скоро туда доберешься. Дул как раз западный ветер; в какие-нибудь полчаса, а то и меньше, можно было переправиться через залив и выехать на реку Скэрум, а оттуда уж всего четверть мили до Северного Восборга, где тоже есть крепкий замок с валами и рвами. В лодке был вместе с другими брат старосты, и он полагал, что им разрешат посадить Юргена в яму, где сидела вплоть до самой своей казни Долговязая Маргарита.

Оправданий Юргена не слушали: капли крови на рубашке уличали его. Сам-то он знал, что невинен, но другие этому не верили, и он решил покориться судьбе.

Лодка пристала как раз у того вала, где возвышался некогда замок рыцаря Бугге и где останавливались отдохнуть Юрген и его родители на пути на пир, на поминки. Ах, эти четыре счастливых, светлых дня детства!.. Теперь его вели по той же самой дороге, по тем же лугам, к Северному Восборгу, где по-прежнему стояла осыпанная цветами бузина и цветущие, душистые липы. Он словно только вчера проходил тут.

В левом надворном крыле замка, под одной из высоких лестниц, открывался спуск в низкий сводчатый подвал. Оттуда выведена была на казнь Долговязая Маргарита. Она съела пять детских сердец и думала, что, если съест еще два, приобретет умение летать и делаться невидимкою. В стене была пробита крошечная отдушина, но освежающий аромат душистых лип не мог через нее пробраться. Сырость, плесень, голые доски вместо постели — вот что нашел Юрген в подвале. Но чистая совесть, говорят, мягкая подушка, значит, Юргену спалось хорошо.

Толстая дверь была заложена тяжелым железным болтом, но призраки суеверия проникают и через замочную скважину, проникают и в барские хоромы, и в рыбацьи хижины, а сюда, к Юргену, пробирались и подавно. Он сидел и думал о Долговязой Маргарите, о ее злодеянии... В воздухе как будто витали еще ее последние мысли, мысли, которым она предавалась в ночь перед казнью. Приходили Юргену на ум и рассказы о чудесах, какие совершались тут при жизни помещика Сванведея: собаку, сторожившую мост, каждое утро находили повешенной на цепи на перилах

моста. Все эти мрачные мысли осаждали и пугали Юргена, и лишь одно воспоминание озаряло подвал солнечным лучом — воспоминание о цветущей бузине и липах.

Впрочем, недолго сидел он тут; его перевели в Рингкьепинг, в такое же суровое заточение.

В те времена было не то что в наше; плохо приходилось бедному человеку. У всех еще в памяти было, как крестьянские дворы и целые селения обращались в новые господские поместья, как любой кучер или лакей становился судьей и присуждал бедняка крестьянина за самый ничтожный проступок к лишению надела или к плетям. Кое-что подобное и продолжало еще твориться в Ютландии: вдали от королевской резиденции и просвещенных блюстителей порядка и права с законом поступали довольно произвольно. Так это было еще сполна, что Юргену пришлось потомиться в заключении.

Что за холод стоял в помещении, куда его засадили! Когда же будет конец всему этому? Он невинен, а его предали позору и бедствиям — вот его судьба! Да, тут он мог поразмыслить о ней на досуге. За что она так преследовала его?.. Все выяснится там, в будущей жизни, которая ждет нас всех! Юрген вырос с этой верой. То, чего не мог уяснить себе отец, окруженный роскошной, залитой солнцем природой Испании, то светило отрадным лучом сыну среди окружавшего его мрака и холода. Юрген твердо уповал на милость Божию, а это упование никогда не бывает обмануто.

Весенние бури опять давали себя знать. Грохот моря слышен был на много миль кругом, даже в глубине страны, но лишь после того, как буря улеглась. Море грохотало, словно катились по твердому, взрытому грунту сотни тяжелых телег. Юрген чутко прислушивался к этому грохоту, который вносил в его жизнь хоть какое-нибудь разнообразие. Никакая старинная песня не доходила так до его сердца, как музыка катящихся волн, голос бурного моря. Ах, море, дикое, вольное море! Ты да ветер носите человека из страны в страну, и всюду он носится вместе с домом своим, как улитка, всюду носит с собою часть своей родины, клочок родной почвы!

Как прислушивался Юрген к глухому ропоту волн и как в нем самом волновались мысли и воспоминания! «На волю! На волю!» На воле — рай, блаженство, даже если на тебе башмаки без подошв и заплатанное грубое платье! Кровь вскипала в нем от гнева, и он ударял кулаком о стену.

Так проходили недели, месяцы, прошел и целый год. Вдруг поймали вора Нильса, по прозвищу «барышник», и для Юргена настали лучшие времена: выяснилось, как несправедливо с ним поступили.

К северу от Рингкьепинского залива была корчма; там-то и встретились вечером, накануне ухода Юргена из слободки, Нильс и Мортен.



Выпили по стаканчику, выпили по другому, и Мортен не то чтобы опьянел, а так... разошелся больно, дал волю языку — рассказал, что купил дом и собирается жениться. Нильс спросил, где он взял денег, и Мортен хвастливо ударил по карману:

— Там, где им и следует быть!

Хвастовство стоило ему жизни. Он пошел домой, Нильс прокрался за ним и всадил ему в шею нож, чтобы отобрать деньги, которых не было.

Все эти обстоятельства были изложены в деле подробно, но с нас довольно знать, что Юргена выпустили на волю. Ну, а чем же вознаградили его за все, что он вытерпел: годовое заключение, холод и голод, отторжение от людей? Да вот, ему сказали, что он, слава Богу, невинен и может уходить. Бургомистр дал ему на дорогу десять марок, а несколько горожан угостили пивом и хорошей закуской. Да, водились там и добрые люди, не все одни такие, что готовы заколоть, ободрать да на сковородку положить! Лучше же всего было то, что в город приехал в это время по делам тот самый купец Бренне из Скагена, к которому Юргену хотелось поступить год тому назад.

Купец узнал всю историю и захотел вознаградить Юргена за все перенесенное им; сердце у старика было доброе, он понял, чего должен был натерпеться бедняга, и собирался показать ему, что есть на свете и добрые люди.

Из темницы — на волю, на свет Божий, где его ожидали любовь и сердечное участие! Да, пора ему было испытать и это. Чаша жизни никогда не бывает наполнена одной полыньей — такой не поднесет ближнему ни один добрый человек, а уж тем меньше сам Господь — Любовь Всеобъемлющая.

— Ну, поставь-ка ты над всем этим крест! — сказал купец Юргену. — Вычеркнем этот год, как будто его и не было, сожжем календарь и через два дня — в путь, в наш мирный, богоспасаемый Скаген! Его зовут «медвежьим углом», но это уголок уютный, благословенный, с открытыми окнами на белый свет!

Вот была поездка! Юрген вздохнул полной грудью. Из холодной темницы, из душного, спертого воздуха вновь очутиться на ярком солнышке!

Вереск цвел, вся степь была в цветах; на кургане сидел пастушонок и наигрывал на самодельной дудочке из бараньей кости. Фата-Моргана, чудные воздушные видения степи: висячие сады и плавающие в воздухе леса, диковинное колебание воздушных волн — явление, о котором крестьяне говорят: «Это Локеман гонит свое стадо» — все это увидел он вновь.

Путь их лежал к Лимфиорду, к Скагену, откуда вышли «длиннобордые люди», лонгобарды. В царствование короля Снио здесь был голод,

и порешили избить всех стариков и детей, но благородная женщина Гамбарук, владелица одного из северных поместий, предложила лучше выселить молодежь из пределов страны. Юрген знал это предание — настолько-то он был учен — и если не знал вдобавок и самой страны лонгобардов, лежащей за высокими Альпами, то знал, по крайней мере, на что она приблизительно похожа. Он ведь еще мальчуганом побывал на юге, в Испании, и помнил сваленные горами плоды, красные гранаты, шум, гам и колокольный звон в огромном городе, напоминавшем собою улей. Но самой лучшей страной остается все-таки родина, а родиной Юргена была Дания.

Наконец, они достигли и Вендиль-Скага, как называется Скаген в старинных норвежских и исландских рукописях. Уже и в те времена тянулась здесь по отмели, вплоть до маяка, необозримая цепь дюн, прерываемая обработанными полями, и находились города: Старый Скаген, Вестербю и Эстербю. Дома и усадьбы и тогда были рассыпаны между наносными, подвижными песчаными холмами, и тогда взметал буйный ветер ничем не укрепленный песок, и тогда оглушительно кричали здесь чайки, морские ласточки и дикие лебеди. Старый Скаген, где жил купец Бренне и должен был поселиться Юрген, лежит на милом юго-западнее мыса Скагена. Во дворе купца пахло дегтем; крышами на всех надворных строениях служили перевернутые кверху дном лодки; свиные хлева были сколочены из корабельных обломков; двор не был огорожен — не от кого и нечего было огораживать, хотя на длинных веревках, развешанных одна над другою, и сушилась распластанная рыба. Весь морской берег был покрыт гнилыми сельдями: не успевали закинуть в море невод, как он приходил битком набитый сельдями; их и девать было некуда — приходилось бросать обратно в море или оставлять гнить на берегу.

Жена и дочь купца и все домочадцы радостно встретили отца и хозяина, пошло пожиманье рук, крики, говор. А что за славное личико и глазки были у дочки купца!

В самом доме было просторно и уютно. На столе появились рыбные блюда — такие камбалы, какими бы полакомился сам король! А вина были из скагенских виноградников из великого моря: виноградный сок притекает в Скаген прямо в бочках и бутылках.

Когда же мать и дочь узнали, кто такой Юрген, услышали, как жестоко и безвинно пришлось ему пострадать, они стали глядеть на него еще ласковее; особенно ласково смотрела дочка, милая Клара. Юрген нашел в Старом Скагене уютный, славный семейный очаг; теперь сердце его могло успокоиться, а много-таки этому бедному сердцу пришлось изведать, даже горечь несчастной любви, которая либо ожесточает его, либо делает еще мягче, чувствительнее. Сердце Юргена не ожесточилось, оно было еще молодо, и теперь в нем оставалось незанятое местечко. Кстати, поэтому подросла поездка Клары в гости к тетке, в Христи-

анзанд, в Норвегию. Она собиралась отправиться туда на корабле недели через три и прогостить там всю зиму.

В последнее воскресенье перед отъездом Клары все отправились в церковь причащаться. Церковь была большая, богатая; построили ее несколько столетий тому назад шотландцы и голландцы; недалеко от нее выстроился и самый город. Церковь уже несколько обветшала, а дорога к ней вела очень тяжелая, с холма на холм, то вверх, то вниз, по глубокому песку, но жители все-таки охотно шли в Божий храм пропеть псалмы и послушать проповедь. Песочные заносы достигали уже вершины кладбищенской ограды, но могилы постоянно очищались.

Это была самая большая церковь к северу от Лимфиорда. На алтаре словно живая стояла Божья Матерь с Младенцем на руках; на хорах помещались резные деревянные изображения апостолов, а наверху, по стенам, висели портреты старых скагенских бургомистров и судей; под каждым портретом красовалась условная подпись данного лица. Кафедра тоже была вся резная. Солнце весело играло на медной люстре и на маленьком кораблике, подвешенном к потолку.

Юргена охватило то же чувство детского благоговения, которое он испытал еще мальчиком в богатом соборе в Испании, но здесь к этому чувству присоединялось еще сознание, что и он принадлежит к пастве.

После проповеди началось причащение. Юрген тоже вкусил хлеба и вина, и случилось так, что он преклонил колена как раз рядом с Кларою. Но мысли его были обращены к Богу, он всецело был занят совершавшимся таинством и заметил, кто была его соседка, только тогда, когда уже встал с колен. Взглянув на нее, он увидел, что по щекам ее струились слезы.

Два дня спустя она уехала в Норвегию, а Юрген продолжал исправлять разные работы по дому, участвовал и в рыбной ловле, а в те времена там-таки было что ловить — побольше, чем теперь. Стада макрелей оставляли за собою по ночам светящийся след, выдававший их движения под водою; керцы<sup>1</sup> хрипели, а крабы издавали жалобный вой, когда попадались ловцам; рыбы вовсе не так немые, как о них рассказывают. Вот Юрген, тот был помолчаливее их, хранил свою тайну глубоко в сердце, но когда-нибудь и ей суждено было всплыть наружу.

Сидя по воскресеньям в церкви, он набожно устремлял взоры на изображение Божьей Матери, красовавшееся на алтаре, но иногда переводил их не надолго и на то место, где стояла рядом с ним на коленях Клара. Она не выходила у него из головы... Как она была добра к нему!

Вот и осень пришла: сырость, мгла, слякоть... Вода застаивалась на улицах города, песок не успевал ее всасывать, и жителям приходилось пускаться по улицам вброд, если не вплавь. Бури разбивали о смертоносные

<sup>1</sup> Рыба (cottus scorpius).

риффы корабль за кораблем. Начались снежные и песочные метели; песок заносил дома, и обывателям приходилось зачастую вылезать из них через дымовые трубы, но им это было не в диковинку. Зато в доме купца было тепло и уютно; весело трещали в очаге торф и корабельные обломки, а сам купец громко читал из старинной хроники сказание о датском принце Амлете, вернувшемся из Англии и давшем битву у Бовбьерга. Могила его находится близ Раммэ, всего милях в двух от того места, где жил старый торговец угрями; в необозримой степи возвышались сотни курганов; степь являлась огромным кладбищем. Купец Бренне сам бывал на могиле Амлета. Наскучит читать, принимались за беседу; толковали о старине, о соседях англичанах и шотландцах, и Юрген пел старинную песню «об английском королевиче», о том, как был разубран корабль:

Борта золоченые ярко сияют,  
Написано слово Господне на них;  
А нос корабля галион украшает:  
Принц девицу держит в объятьях своих.

Эту песню Юрген пел с особенным чувством; глаза его так и блеснули; они уж с самого рождения были у него такие черные, блестящие.

Итак — пели, читали; в доме царила тишь да гладь да Божья благодать; все чувствовали себя, как в родной семье, даже домашние животные. А уж что за порядок был в доме, что за чистота! На полках блеснула ярко вычищенная оловянная посуда, к потолку были подвешены колбасы и окорока — обильные зимние запасы. В наши времена все это можно увидеть на западном берегу Ютландии у многих крестьян: такое же обилие съестных припасов, такое же убранство в горницах, веселье и здравый смысл; вообще дела у них поправились. И гостеприимство здесь царит такое же, как в шатрах арабов.

Никогда еще не жилось Юргену так хорошо, так весело, если не считать тех веселых четырех дней детства, проведенных в гостях на поминках. А между тем здесь еще не было Клары; то есть не было ее дома, а в мыслях и разговорах она присутствовала постоянно.

В апреле купец решил послать в Норвегию свое судно; на нем отправлялся и Юрген. Вот-то повеселел он! Ну, да и в теле он за это время поправился, как говорила сама матушка Бренне; приятно было взглянуть на него.

— И на тебя тоже! — сказал ей муж. — Юрген оживил наши зимние вечера, да и тебя, старушка! Ты даже помолодела за этот год. Ишь, какая стала — любо посмотреть! Ну да ведь ты и была когда-то первою красавицей в Виборге, а это много значит: нигде я не видал таких красивых девушек, как там.

Юрген не проронил ни слова — да и не следовало, — а только подумал об одной девушке из Скагена. К ней-то он и отправлялся теперь. Судно, подгоняемое свежим ветром, пробыло в пути всего полдня.

Рано утром купец Бренне отправился на маяк, что возвышается далеко в море, близ самой крайней точки мыса Скагена. Когда он поднялся на вышку, огонь был уже давно потушен, солнце стояло высоко. На целую милю от берега тянулись в море песчаные мели. На горизонте показалось в этот день много кораблей, и купец надеялся с помощью подзорной трубы отыскать между ними и свою «Карен Бренне». В самом деле, она приближалась; на ней были и Клара с Юргеном. Вот они уже увидели вдали Скагенский маяк и церковную колокольню, казавшиеся издали цаплей и лебедем на голубой воде. Клара сидела у борта и смотрела, как на горизонте вырисовывались одна за другою родные дюны. Продолжай дуть попутный ветер, они бы меньше чем через час были дома. Так близка была радость встречи — так близок был и ужасный час смерти.

В одном из боков судна сделалась пробоина, и вода хлынула в трюм. Бросились выкачивать воду, затыкать отверстие, подняли все паруса, выкинули флаг, означавший, что судно в опасности. До берега оставалось плыть всего какую-нибудь милю, вдали уже показались рыбацьи лодки, спешившие на помощь, ветер гнал судно к берегу, течение помогало, но судно погружалось в воду с ужасающей быстротой. Юрген обвинил правой рукой стан Клары.

Как она посмотрела ему в глаза перед тем, как он, призывая имя Божие, бросился с нею в волны! Она вскрикнула, но ей нечего было бояться — он не выпустит ее.

Принц девицу держит в объятьях своих!

Юрген тоже решил на это в час страшной опасности. Умение плавать пригодилось ему теперь; он то работал обеими ногами и свободной рукой — другой он крепко прижимал к себе девушку, то отдавался течению, лишь слегка шевеля ногами, словом, пользовался всеми приемами, какие знал, чтобы сберечь силы и достигнуть берега. Вдруг он почувствовал, что Клара глубоко вздохнула и судорожно затрепетала... Он прижал ее к себе еще крепче. Волны перекатывались через их головы; течение подымало их; вода была так чиста и прозрачна. Одну минуту ему казалось, что он видит в глубине стадо блестящих макрелей или, может быть, это было само морское чудовище, готовившееся поглотить их... Облака, проплывая по небу, бросали на воду легкую тень, потом на ней опять играли лучи солнца. Стаи птиц с криком носились над головой Юргена; сонливо покачивавшиеся на волнах дикие утки при его приближении испуганно взлетали вверх. А силы пловца все падали... Он чувствовал это; до берега оставалось плыть еще немало, но помощь была близка, лодка подходила. Вдруг он ясно увидел под водой белую, смотревшую на него в упор, фигуру... Волна подхватила его, фигура приблизилась... Он почувствовал удар... все померкло в глазах!..



На рифе под водой засел обломок корабля с галионом, изображавшим женщину, опиравшуюся на якорь. Об его-то острие, торчавшее кверху, и ударился Юрген, подгоняемый течением. Без чувств погрузился он в воду вместе со своей ношей, на следующая волна опять вскинула их кверху.

Рыбаки втащили обоих в лодку; лицо Юргена было все в крови; он лежал, как мертвый, но девушку держал так крепко, что ее едва высвободили у него из рук. Безжизненную, бледную положили ее на дно лодки, направлявшейся к Скагену.

Были пущены в ход все средства, но вернуть Клару к жизни не удалось. Давно уже плыл Юрген с трупом в объятиях, боролся и изнемогал, спасая мертвую.

А сам Юрген еще дышал, и его отнесли в ближайший дом, за дюнами. Какой-то фельдшер, бывший в то же время и кузнецом и мелочным торговцем, перевязал его рану в ожидании лекаря, за которым послали в Гьерринг.

У больного был затронут мозг; он лежал в бреду, испуская дикие крики, но на третий день впал в забытие. Жизнь, казалось, висела в нем на волоске, и, по словам лекаря, лучше было бы, если бы волосок этот порвался.

— Дай Бог, чтобы он умер! Ему не бывать больше человеком!

Но он не умер, волосок не порвался; зато порвалась нить воспоминаний, были подрезаны в корне все умственные способности — вот что ужасно! Осталось одно тело, которое готовилось выздороветь и жить по-своему.

Купец Бренне взял Юргена к себе.

— Он пострадал, спасая наше дитя! — сказал старик. — Теперь он наш сын.

Юргена стали звать полоумным. Но это было не совсем верно; он походил на инструмент с ослабевшими, переставшими звучать, струнами. Лишь на какое-нибудь мгновение, в редкие минуты, они обретали прежнюю упругость и звучали, да и то раздавалось всего несколько отдельных аккордов старых мелодий. Картины прошлого всплывали и опять исчезали, и Юрген снова сидел, бессмысленно вперив в пространство неподвижный взор. Надо думать, что он, по крайней мере, не страдал. Черные глаза утратили свой блеск, смотрели безжизненными, тусклыми.

«Бедный, слабоумный Юрген!» — говорили про него.

Так вот до чего дожило дитя, которое мать носила под сердцем для жизни, столь богатой счастьем, что было бы непростительной гордостью желать, не говоря уже — ожидать за пределами ее другой! Итак, все богатые способности души пошли прахом? Нужда, горе и бедствие были его уделом; он, как роскошная цветочная луковица, был выдернут из богатой почвы и брошен на песок — гнить! Разве не достойно было лучшей участи творение, созданное «по образу и подобию» самого Бога? Разве все на свете лишь игра пустых случайностей? Нет! Милосердный



Господь несомненно готовил ему в другой жизни награду за все, что он выстрадал в этой. «Милосердие Божие превыше всех дел Его!» — эти слова псалмопевца с верою повторяла благочестивая жена купца, и сердечной молитвой ее была молитва о скорейшем переселении Юргена в царство Божьей милости, где царит вечная жизнь.

Клару похоронили на кладбище, которое все больше и больше заносило песком. Но Юрген, казалось, и не сознавал этого; это не входило в узкую сферу его мыслей; они ловили только обрывки прошлого. Каждое воскресение сопровождал он семейство купца в церковь и сидел смирно, уставившись перед собою бессмысленным взором. Но однажды, слушая пение псалмов, он вздохнул, глаза его заблестели и остановились на том месте близ алтаря, где он год тому назад стоял на коленях рядом со своей умершей возлюбленной. Он назвал ее имя, побледнел, как полотно, и заплакал.

Ему помогли выйти из церкви, и он сказал, что ему совсем хорошо. Он уже не помнил, что с ним случилось, не помнил ничего. Да, Господь тяжело испытывал его! Но может ли кто сомневаться в мудрости и милосердии Творца Нашего? Наше сердце, наш разум говорят нам о Его мудрости и милосердии, а Библия подтверждает: «Милосердие Его превыше всех дел Его!»

А в Испании, где теплый ветерок ласкает апельсиновые и лавровые деревья, веет на мавританские золоченые купола, где льются звуки песен, щелкают кастаньеты, где по улицам движутся процессии детей со свечами и развевающимися знаменами, сидел в роскошном доме бездетный старик, богатейший купец. Чего ни отдал бы он из своего богатства, чтобы только вернуть своих детей, дочь или ее ребенка, которому, может быть, и не суждено было увидеть света, а следовательно, и жизни вечной? «Бедное дитя!»

Да, бедное дитя! Именно дитя, хотя ему и шел уже тридцатый год; вот до какого возраста дожил Юрген в Скагене.

Песочные заносы уже покрывали кладбище до самой стены церкви, но умирающие все же хотели быть погребенными рядом с ранее отошедшими в вечность, родными и милыми их сердцу. Купец Бренне и его жена тоже легли под белый песок возле своей дочери.

Пришла весна, время бурь; дюны курились, море высоко вздымало волны, птицы тучами летали над дюнами, испуская крики. О рифы разбивался корабль за кораблем.

Однажды вечером Юрген сидел в комнате один, и в его груди вдруг вспыхнуло какое-то беспокойное влечение, стремление вдаль, которое так часто увлекало его еще в детстве из дома на дюны и в степь.

«Домой, домой!» — твердил он; никто не слышал его; он вышел из дома и направился на дюны; песок и мелкие камешки летели ему в лицо, крутились вокруг него столбами. Вот он дошел до церкви. Песок занес всю стену и даже окна до половины, но проход к дверям был прочищен. Двери не были заперты и легко отворились; Юрген вошел.



Ветер выл над городом; разразился страшный ураган, какого не помнили жители, но Юрген был уже в доме Божиим. Вокруг стояла темная ночь, а на душе у него было светло, в ней разгорался духовный огонь, который никогда не потухает совсем. Он почувствовал, что тяжелая глыба, давившая его голову, вдруг с треском свалилась. Ему чудились звуки органа, но это выла буря и стонало море. Юрген сел на свое место; церковь осветилась огнями; одна свеча вспыхивала за другою; такой блеск он видел только раз в жизни, в испанском соборе. Старые портреты бургомистров и судей ожили, сошли со стен, где висели годы, и заняли места на хорах. Церковные ворота и двери растворились, и вошли все умершие прихожане в праздничных платьях, какие носили в их время. Они шествовали под звуки чудной музыки и усаживались на свои места. Хор запел псалмы; мощными волнами полились звуки. Старики, приемные родители Юргена, купец Бренне с женою, тоже были тут, а рядом с Юргеном сидела и милая, любящая дочь их Клара. Она протянула Юргену руку, и они пошли вместе к алтарю, преклонили колена, и священник соединил их руки, благословил их жить в мире и любви!.. Раздались звуки труб; полные звуки блаженно рыдали, словно сотни детских голосов, разрастались в мощные, возвышающие душу, бурные аккорды органа и снова переходили в нежные, чарующие, но вместе с тем способные потрясти могильные склепы!

Кораблик, что висел под потолком, спустился вниз, стал вдруг таким большим, великолепно разубранным, с шелковыми парусами, золочеными реями, золотыми якорями и шелковыми канатами, как тот корабль, о котором поется в старинной песне. Новобрачные взошли на корабль, все остальные прихожане — за ними; всем нашлось место, всем было хорошо. Стены и своды церковные зацвели, как бузина и душистые липы, и ласково протянули к кораблю свои ветви и листья, сплелись над ним зеленой беседкой. Корабль поднялся и поплыл по воздуху. Все свечи в церкви превратились в звездочки, ветер пел псалмы, пели и самые небеса: «Любовь! Блаженство! Ни одна жизнь не погибнет, но спасется! Блаженство! Аллилуйя!» Слова эти и были последними словами Юргена: порвалась нить, удерживавшая бессмертную душу... В темной церкви лежало только безжизненное тело, а вокруг нее по-прежнему бушевала буря, вихрем крутился песок.

Следующий день был воскресный; утром прихожане и священник отправились в храм. Трудно было туда пробираться: дорога сделалась почти непроходимой. Наконец, добрались, но... церковные двери оказались заваленными песком; перед ними возвышался целый холм. Священник прочел краткую молитву и сказал, что Господь закрыл для них дверь этого Своего дома, и им надо воздвигнуть Ему в другом месте новый.

Пропели псалом и разошлись по домам.

Юргена не нашли ни в городе, ни на дюнах, где ни искали, и решили, что его смыло волнами.

А его тело почивало в грандиозной гробнице — в самом храме. Господь повелел буре забросать его гроб землей, и он остается под тяжелым песчаным покровом и поныне.

Пески покрыли величественные своды храма, и над ним растут теперь терн и дикие розы. Из песков выглядывает лишь одна колокольня — величественный памятник над могилой Юргена, видный издали за несколько миль. Ни один король не удостоивался более великолепного памятника! Никто не нарушит покоя умершего; никто и не знает или, по крайней мере, не знал до сих пор, где он погребен. Мне же рассказал обо всем ветер, разгуливающий над дюнами.



## ДИРЕКТОР КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

**В** числе пассажиров на пароходе находился пожилой господин; лицо у него было такое веселое, довольное, что не лги оно только — обладателя его приходилось признать счастливейшим человеком на свете. Да так оно и было — он сам сказал мне это. Оказался он моим земляком, датчанином и директором странствующей труппы. Всю труппу он возил с собою — в большом сундуке: он был директором кукольного театра. Природный веселый нрав господина директора прошел через горнило испытания и закалился благодаря эксперименту одного политехника. Последний превратил директора в истинного счастливца. Сразу я не смекнул, в чем было дело; тогда он подробно рассказал мне всю историю. Вот она.

— Дело было в городе Слагельсе, — рассказывал он. — Я давал представление в зале на почтовой станции; сбор был полный, публика блестящая, но совсем зеленая, за исключением двух-трех пожилых матрон. Вдруг входит господин, в черной паре, с виду студент, садится и, где следует, смеется, где следует, аплодирует!.. Зритель не из обыкновенных! Я захотел узнать, кто он такой. Слышу — кандидат политехнических наук, командированный в провинцию просвещать народ. В восемь часов вечера представление мое кончилось — детям надо ведь ложиться спать пораньше, а мое дело заботиться об удобствах публики. В девять часов начал читать лекцию и показывать свои опыты кандидат, и теперь я превратился в слушателя. Да оно и стоило послушать и поглядеть! Правда, большую часть лекции впору было понять разве пастору — как это у нас говорится, — но все же я кое-что понял, а главное, усвоил себе мысль, что если мы, люди, способны додуматься до таких вещей, то должны годиться кое на что и после того, как нас упрячут в землю. Кандидат положительно делал маленькие чудеса, но все выходило у него так просто, естественно! Во времена Моисея и пророков такой политехник прослыл бы за одного из первых мудрецов, а в средние века его бы прямо сожгли! Всю ночь я не мог заснуть; на другой день вечером я опять давал представление; кандидат снова присутствовал, и я был, что называется, в ударе. Я слышал от одного актера, что он, играя роли



«первых любовников», всегда имел в виду одну из зрительниц, для нее одной и играл, забывая всех остальных. Такой «зрительницей» стал для меня кандидат; для него я и играл. Представление кончилось, всю мою труппу вызвали, а меня кандидат пригласил к себе распить с ним в компании бутылочку вина. Он говорил о моем театре, а я — о его науке, и думаю, что оба мы были одинаково довольны друг другом, но я в своем деле все-таки перещеголял его: он-то многих из своих фокусов и сам объяснить не мог. Почему, например, железная пластинка, пропущенная сквозь спираль, намагничивается? Она словно одухотворяется, но как, чем? Вот и с людьми то же самое, думается мне: Создатель пропускает их через спираль времени, на них нисходит дух, и вот вам — Наполеон, Лютер или кто-нибудь другой в этом роде. «Мир — ряд чудес, — сказал мой кандидат, — но мы так привыкли к ним, что зовем их обыденными явлениями». И он пустился в объяснения; под конец мне стало казаться, что мне как будто приподняли темя, и мозговое помещение мое расширилось! Я сознался, что, не уйди уже мое время, я бы сейчас же поступил в политехнический институт — учиться разбирать мир по косточкам, даром что я и без того один из счастливейших людей на свете! «Один из счастливейших людей! — повторил кандидат, словно смакуя мои слова. — Так вы счастливы?» — «Да! — ответил я, — я счастлив; меня с моей труппой принимают отлично во всех городах. Правда, есть у меня одно желание, которое иногда дразнит меня, как бесенок, и смущает мой веселый нрав... Мне бы хотелось стать директором настоящей труппы!» — «Вы хотели бы оживить своих марионеток? Желали бы, чтобы они сделались настоящими актерами, а вы директором настоящей труппы?» — спросил меня кандидат. — Вы думаете, что будете тогда вполне счастливы?»

Сам он этого не думал, а я думал, и мы долго спорили, но каждый остался при своем мнении. Разговаривая, мы не переставали чокаться; вино было доброе, но не простое, что ни говори; иначе пришлось бы объяснить всю историю тем, что я попросту наклюкался! Но пьян я не был, ни-ни!.. Вдруг вижу, всю комнату точно озарило солнцем; лицо кандидата так и светится. Мне сейчас вспомнились сказания о вечно юных богачах древности, разгуливавших по свету. Я сказал ему об этом, он улыбнулся, и я готов был поклясться, что передо мною сидит сам переодетый бог или один из сродников богов. Так оно и было, и вот желанию моему суждено было исполниться, куклы должны были сделаться живыми людьми, а я — настоящим директором. По этому случаю мы выпили еще; потом кандидат запрятал всех моих кукол в сундук, привязал его к моей спине и пропустил меня через спираль. Я и теперь еще слышу, как я шлепнулся на пол!

В самом деле, я лежал на полу, а вся моя труппа выпрыгнула из ящика. Куклы превратились в замечательных артистов — это они сами мне сказали, — а я был их директором. Все было готово к первому



представлению, но вся труппа желала поговорить со мною, публика тоже. Первая танцовщица заявила, что, если она не будет стоять на одной ножке, сборы упадут; она являлась главным лицом в труппе и требовала соответственного обращения с собою. Кукла, игравшая королев, желала, чтобы с нею и вне сцены обходились, как с королевой, — иначе она отвыкнет от своего амплуа! Выходной актер, являвшийся с письмами, воображал себя такой же артистической величиной, как и первый любовник: нет ни малых, ни великих актеров, все одинаково важны в смысле сценического ансамбля! Трагик же требовал, чтобы вся его роль сплошь состояла из одних сильных мест: за ними ведь следуют аплодисменты и вызовы. Примадонна хотела играть только при красном бенгальском освещении — это ей шло, а голубое было не к лицу. Словом, все жужжали, точно мухи в бутылке, а в середине ее сидел я сам — я был директором! Дыхание спиралось у меня в груди, голова кружилась, я очутился в самом жалком положении, в какое только может попасть человек: меня окружала совсем новая порода людей! Я от души желал упрятать их всех опять в сундук и вовеки не бывать настоящим директором! Я и сказал им прямо, что все они в сущности только марионетки, а они за это избили меня до полусмерти. Очнулся я на своей постели, в своей комнате. Как я попал туда от кандидата, знает он, а не я. Месяц светил прямо на пол, а на полу валялся опрокинутый сундук и вокруг него все мои куклы, малые и большие, — вся труппа! Я зевать не стал, спрыгнул с постели, побросал их всех в сундук, которых ногами вниз, которых головой, захлопнул крышку и сам уселся на нее. Вот-то была картина. Можете вы себе представить ее? Я могу. «Ну-с, теперь вы останетесь там! — сказал я куклам, — а я никогда больше не пожелаю оживить вас!» На душе у меня стало так легко, я опять был счастливейшим человеком. Кандидат политехнических наук просветил меня. Я был до того счастлив, что как сидел на сундуке, так и заснул. Утром — скорее, впрочем, в полдень, я непостижимо долго спал в этот день! — я проснулся и увидел, что все еще сижу на сундуке. Теперь я был вполне счастлив: я убедился, что мое прежнее желание было просто глупостью. Я справился о кандидате, но он исчез, как исчезали греческие и римские боги. С тех пор я и остаюсь счастливейшим человеком. Ну, не счастливый ли я в самом деле директор? Труппа моя не рассуждает, публика тоже, а забавляется себе от всей души. И я свободно могу сам сочинять для себя пьесы. Из всех пьес я беру, что хочу, самое лучшее, и никто не в претензии. Есть такие пьесы, которыми теперь директора больших театров пренебрегают, но которые лет тридцать тому назад давали полные сборы, заставляли публику проливать слезы; я даю эти пьесы на своей сцене, и малыши плачут, как, бывало, плакали их папаши и мамыши. Я даю «Иоганну Монфокон»

и «Дювеке» — конечно, в сокращенном виде: малыши не любят длинной любовной канители; им хоть несчастливо, да скоро. Так-то изъездил я всю Данию вдоль и поперек, знаю всех, и меня знают все. Теперь вот направляюсь в Швецию; посчастливится мне там, наживу деньжонок — сделаюсь скандинавом<sup>1</sup>, а иначе — нет; говорю вам откровенно, как своему земляку!

А я, в качестве такового, конечно, не замедлил рассказать о своей встрече вам: такая уж у меня повадка — рассказывать.



---

<sup>1</sup> То есть приверженцем идеи объединения всех трех северных государств.

## ДВА БРАТА

**Н**а одном из датских островов, где среди хлебных полей лежат полукругами камни, обозначающие места древних тингов<sup>1</sup>, а в лесах зеленеют мощные буки, есть городок; застроен он низенькими домишками, крытыми красной черепицей. В одном из домиков на очаге пылали уголья и стряпалось что-то диковинное: в стеклянных сосудах что-то варилось, что-то такое мешали, перегоняли, в ступке толклись коренья... Заправлял всем делом пожилой человек.

— Надо добиваться настоящего! — говорил он. — Настоящего, истинного, самой истины во всем и всюду! Добиваться и крепко держаться ее.

В горнице сидели возле доброй хозяйки двое сыновей; они были еще малы, но развиты умственно не по летам. Мать тоже постоянно твердила им о настоящем, истинном добре, учила держаться истины — в ней ведь отражается на земле лик самого Господа.

Взор старшего мальчугана блестел смышленостью и смелостью; больше всего любил он читать о силах природы, солнце, о звездах. Никакая сказка не занимала до такой степени его воображения. Ах, какое счастье пуститься в далекие странствования по белу свету, совершать открытия, или изобрести крылья, подобные птичьим, на которых бы можно было летать! Вот это значит «дойти до настоящего»! Отец и мать правы: истинною держится мир.

Младший брат был тише, замкнутее, весь зарывался в книги. Читая об Иакове, надевшем козью шкуру, чтобы выманить у отца благословение на первородство, он сжимал кулачки в гневе на обманщика. Читая о тиранах, о несправедливостях и злых деяниях, что творятся на свете, он готов был заплакать. Его всецело поглощала мысль, что торжествовать в мире должно одно «настоящее», сама истина.

Раз вечером мальчик улегся в постель, но половинки полога были задернуты неплотно, к нему проникал луч света, и он мог еще читать. Он и улегся в постель с книгой: ему непременно надо было дочитать

<sup>1</sup> Тинг — вече. — Примеч. перев.

историю о Солоне. И мысли унесли мальчугана далеко-далеко; кровать стала кораблем, который поплыл на всех парусах. Во сне это все было или...? Корабль скользил по волнам, по могучим волнам времени, и мальчик явственно услышал голос Солона; понятно, хотя и на чужом языке, прозвучал девиз Дании: «Законом строится государство!»

Гений человечества витал в эту минуту в бедной комнатке над постелью ребенка и целовал его в лоб: «Будь тверд и честен, крепок в борьбе с жизнью! Будь хранителем истины на земле и стремись в царство вечной истины!»

Старший брат еще не ложился, а стоял у окна и смотрел на туман, поднимающийся с лугов. Это не эльфы водили хороводы, хоть так и говорила ему старая честная служанка. Нет, мальчик знал, что это пары: они теплее и легче воздуха, оттого и поднимаются вверх. Вдруг с неба скатилась светлая звездочка, и мысли мальчика мгновенно перенеслись от земных испарений к блестящему метеору. Звезды небесные сияли; от них как будто тянулась к земле длинная золотая нить. «Летим со мною!» — зазвучало в сердце мальчика, и могучий гений человечества унес его в бесконечное пространство, где вращаются связанные между собою световыми лучами планеты. Они унеслись туда быстрее птицы, быстрее стрелы, быстрее всякого земного существа. Наша земля двигалась, окруженная слоем тонкой атмосферы; города как будто жались один к другому. И вот прозвучало: «Что значит «близко», что значит «далеко», если тебя поднимает на своих крылах могучий гений духа!»

И ребенок опять очутился у окна, где стоял и смотрел на туман; младший брат лежал в постели; мать окликнула обоих: «Андерс, Ганс Христиан!»

Дания знает эти имена; знает и весь свет двух братьев *Эрстедов*.



# СТАРЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КОЛОКОЛ

*Написано для «Шиллеровского альбома»*

**В** немецкой земле, в Вюртемберге, где весною так чудесно цветут придорожные акации, а осенью яблоневые и грушевые деревья гнутся под изобилием зрелых плодов, есть городок Марбах. Он из числа маленьких, неважных городков, но расположен очень живописно у реки Неккара, что стремглав бежит мимо городов, старых рыцарских замков и зеленых виноградников, торопясь слить свои воды с гордым Рейном.

Стояла поздняя осень; виноградные листья окрасились в красноватый цвет; лили дожди, дул холодный ветер; для бедняков наступило не особенно веселое время. Дни стояли серенькие, мрачные, а еще мрачнее было внутри старых городских домишек. Один из этих домишек был обращен к улице не лицевой, а боковой стеной, с низенькими окошечками; неказист, беден был он с виду. Не богаче была и семья, обитавшая в нем, хотя честная, трудолюбивая и богобоязненная. Скоро Господь должен был подарить им еще ребенка. Настал час, мать лежала в муках, вдруг на колокольне ударили в большой колокол — был торжественный час богослужения. Глубоко отдался этот звук в сердце матери и наполнил его благоговейной верой. Мысли ее устремились к Богу, и в тот же момент Бог послал ей радость — у нее родился сын. Церковный колокол, казалось, звонил о радости матери на весь город, на всю страну. На мать глядели ясные детские глазки, кудри ребенка отливали золотом. Ребенок был встречен при своем вступлении в жизнь, в темный ноябрьский день, колокольным звоном. Мать и отец поцеловали сына и занесли в свою Библию: «Десятого ноября 1759 г. Господь даровал нам сына»; позднее было приписано, что при крещении он получил имя Иоганна-Христофа-Фридриха.

Что же вышло из маленького парнишки, из бедного мальчугана, уроженца городка Марбаха? Да тогда-то еще никто не знал, что из него выйдет; не знал даже сам старый колокол, как ни высоко он висел и как ни громко звонил, приветствуя появление того, кто впоследствии сам спел чудеснейшую «Песнь о колоколе».

Мальчик подрастал, вырастал в его глазах и весь мир. Родители переехали в другой город, но друзья их остались в Марбахе, поэтому мать с сыном и приехали туда однажды в гости. Мальчику было тогда всего шесть лет, но он уже знал кое-что из Библии, знал псалмы и часто слушал, сидя на своем плетеном креслице, как отец читал по вечерам басни Геллерта и Мессиаду. У мальчугана навертывались на глаза слезы; сестра его, двумя годами старше, тоже плакала, слушая о Том, Кто принял крестную смерть ради нашего спасения.

Город, на взгляд вернувшихся сюда в гости, не особенно изменился; да и времени-то с их отъезда прошло не Бог весть сколько. Дома по-прежнему выставляли напоказ свои остроконечные кровли, покрывившиеся стены и низенькие окна, только на кладбище прибавились новые могилы, а у самой стены, в густой траве, лежал старый колокол. Он упал с колокольни, получил трещину и не годился больше к службе; на его месте висел уже новый.

Мать с сыном прошли на кладбище, остановились перед старым колоколом, и мать стала рассказывать мальчику, как колокол этот в продолжение столетий делал свое дело, звонил и к крестинам, и к свадьбе, и к погребению, возвещал и о праздничной радости, и об ужасах пожара, словом — сопровождал звоном все важнейшие моменты человеческой жизни! И ребенок запомнил рассказ матери; он звучал в детском сердце, пока мальчик не вырос и сам не воспел колокол. Мать рассказала также, как этот колокол утешил, обрадовал ее своим звоном в час скорби и страха, приветствуя рождение ее маленького сына. И мальчик посмотрел на огромный старый колокол с чувством, близким к благоговению, потом наклонился и нежно поцеловал его, даром что он был стар, надтреснут и валялся брошенный в крапиве.

Колокол запечатлелся в памяти мальчика, росшего в бедности. Худой он был, длинный, с рыжими волосами, весь в веснушках; зато у него были чудесные, ясные, глубокие, как море, глаза. Как же жилось ему? Хорошо, завидно хорошо! Он по особой высшей милости был принят в военную школу, в отделение, где воспитывались все дети знатных особ. Это была для него такая честь, такое счастье! Он носил штiblеты, высокий галстух и напудренный парик. И обучали его всему под звуки: «Марш! Стройся! Во фронт!» Как не выйти проку из такого обучения?

Старому колоколу, конечно, суждено было попасть в переливку; а что же из него должно было выйти? Ну, этого предсказать было невозможно, как нельзя было предсказать и того, что выйдет из колокола, звучавшего в груди юноши. Этот колокол был из чистого металла, и звон его должен был разнестись по всему свету! И чем громче звучал он в груди юноши, тем теснее становилось тому в школьных стенах, тем оглушительнее раздавались в его ушах эти: «марш!», «стройся!», «во фронт!» Он и воспел этот колокол в кругу товарищей, но песня унеслась далеко за пределы



страны! Но не за это же давались юноше воспитание и образование, одежда и пища! Он был занумерованным винтиком и должен был, как и все мы, приносить осязаемую пользу в огромном часовом механизме. Что ж, если мы и сами-то зачастую не понимаем самих себя, как же требовать, чтобы понимали нас другие, хотя бы и лучшие люди в свете! Но алмаз образуется именно высоким давлением; недостатка в давлении здесь не было, только суждено ли было свету узреть со временем алмаз?

Столица той страны праздновала большое торжество; горели тысячи лампочек, вспыхивали ракеты; весь этот блеск вспоминается еще и поныне благодаря юноше, который в это время в слезах и горе пытался незаметно перебраться в чужую страну. Он должен был выбрать одно из двух: покинуть свое отечество, мать, всех близких или — захлебнуться в общем течении.

Старому колоколу было хорошо: он стоял в укромном месте, защищенный церковной стеной. Над ним гулял ветер и мог рассказать ему о том мальчике, чье рождение колокол приветствовал своим звоном. Ветер мог рассказать, каким холодом обдавал путника, устало опустившегося на землю в лесу соседней страны, путника, все богатство которого, все надежды на будущее заключались в исписанных листах, повествовавших о «Фиеско». Он мог бы рассказать и о единственных ценителях — все ведь художниках, — которые улизнули из комнаты во время чтения этого произведения и занялись игрою в кегли! Он мог бы рассказать о бледном беглеце, жившем недели, месяцы на бедном постоялом дворе, где сам хозяин пил и бушевал, где царило буйное веселье, в то время как юноша воспевал идеалы. Тяжелые, мрачные дни! Но сердце должно выстрадать все, о чем ему суждено петь.

Мрачные дни, холодные ночи пронеслись и над старым колоколом, но он-то не чувствовал их, как чувствует тяжесть своего земного испытания колокол в человеческой груди. Как же жилось молодому человеку? Как жилось старому колоколу? Да колокол отправился в далекий путь, куда дальше, чем разносился когда-то с колокольни его звон, а звон колокола, звучавшего в груди молодого человека, разнесся еще куда дальше; дальше, чем когда-либо ступала нога юноши, дальше, чем видел его глаз; звон этот разносится по всему свету еще и до сих пор. Но послушай сперва о церковном колоколе! Его увезли из Марбаха, продали, как старую медь, в баварскую землю. Как же он туда попал и когда? Об этом пусть расскажет он сам, коли может; это неважно. Нам довольно знать, что он попал в столицу Баварии. Много лет прошло с тех пор, как он упал с колокольни; пора было его перелить, и вот из него решили отлить часть памятника великому сыну немецкого народа и страны. Послушай же, что вышло! Какие чудесные совпадения бывают на белом свете! В Дании, на одном из зеленых островов, где шумят буковые леса, где такое множество курганов, жил-был бедный, бедный мальчик; он

ходил в деревянных башмаках и носил в стареньком платочке обед своему отцу, резчику, работавшему на верфи. Этот бедный мальчик сделался гордостью своей родины — он высекал из мрамора чудные статуи, дивившие весь мир. Ему-то именно и выпало на долю вылепить из глины прекрасный, величавый образ, который потом отлили из металла, изображение того, чье имя отец занес в свою Библию, *Иоганна-Христофа-Фридриха*.

И металл раскаленной струей полился в форму. Из старого колокола — да никто и не вспомнил о его происхождении и умолкнувшем звоне! — вышли голова и грудь статуи, которая теперь красуется в Штутгарте, перед старым замком, на той самой площади, по которой ходил при жизни тот, кого изображает статуя. Да, по ней ходил терпевший тяжелый гнет нужды и борьбу со светом мальчик из Марбаха, воспитанник военной школы, беглец, великий, бессмертный немецкий поэт, воспевавший освободителя Швейцарии и боговдохновенную французскую девственницу.

Стоял чудный солнечный день; на башнях и крышах домов в Штутгарте развевались флаги, все колокола торжественно и радостно звонили. Только один колокол безмолвствовал, блистая при свете солнца с лица и груди статуи. В этот день как раз минуло сто лет с того дня, как марбахский колокол зазвонил на радость и утешение страждущей матери, рожавшей ребенка. Ребенок родился в бедном доме, в бедной обстановке, но стал впоследствии великим обладателем сокровищ, которые благословляет весь мир. Кто же он?

Поэт, воспевавший благородные женские сердца, певец всего великого и прекрасного, *Иоганн-Христоф-Фридрих Шиллер*.



## ДВЕНАДЦАТЬ ПАССАЖИРОВ

**М**ороз так и трещал; вывездило; воздух словно застыл. «Бумс!» — о двери разбился горшок. «Паф!» — выстрел приветствовал Новый год. Это было в ночь под Новый год, и часы как раз пробили двенадцать.

«Тра-та-та-ра!» Пришла почта. У городских ворот остановился почтовый дилижанс, привезший двенадцать пассажиров; больше в нем и не умещалось; все места были заняты. «Ура! Ура!» — раздалось в домах, где люди собрались праздновать наступление Нового года. Все встали из-за стола с полными бокалами в руках и принялись пить за приход Нового года, приговаривая: «С Новым годом, с новым счастьем!» — «Вам славную женку!» — «Вам денег побольше!» — «Конец старым дрязгам!»

Вот какие раздавались пожелания! Люди чокались, а дилижанс, привезший гостей, двенадцать пассажиров, остановился в эту минуту у городских ворот.

Что это были за господа? У них были с собой и паспорта и багаж, подарки для тебя и для меня, для всех в городе. Кто же такие были эти гости? Что им надо было тут и что они привезли с собою?

— С добрым утром! — сказали они часовому у ворот.

— С добрым утром! — ответил он, — часы ведь уже пробили двенадцать. — Ваше имя? Звание? — спросил часовой у первого, вылезшего из дилижанса.

— Взгляни на паспорт! — ответил тот. — Я — я! — Это был парень здоровый, в медвежьей шубе и меховых сапогах. — Я тот самый, на кого уповают столько людей. Приди ко мне утром, я дам тебе на чай! Я так и швыряю деньгами, дарю подарки, задаю балы! Тридцать один бал! Больше ночей я тратить не могу. Корабли мои, правда, замерзли, но в конторе у меня тепло. Я — коммерсант, зовут меня Январь. У меня с собою только счета.

Затем вылез второй — «увеселительных дел мастер», театральный директор, распорядитель маскарадов и других веселых затей. В багаже у него была огромная бочка.

— Из нее мы на масленице выколоти́м кое-что получше кошки!<sup>1</sup> — сказал он. — Я люблю повеселить других, да и себя самого, кстати! Мне ведь уделен самый короткий срок! Мне дано всего двадцать восемь дней; разве иногда прикинут лишний денек! Но все равно! Ура!

— Нельзя кричать! — заявил часовой.

— Мне-то? Я — принц Карнавал, а путешествую под именем Февраля!

Вышел и третий; вид у него был самый постный, но голову он задира́л высоко: он ведь был в родстве с сорока мучениками и числился пророком погоды. Ну да это должность не из сытных, вот он и восхвалял воздержание. В петлице у него красовался букет фиалок, только крошечных-прекрошечных!

— Март, марш! — закричал четвертый и толкнул третьего. — Март, марш! Марш в караулку, там пунш пьют! Я чую. — Однако это была неправда: Апрелью все бы только дурачиться — он с этого и начал. Смотрелся он парнем разудалым, делами много не занимался, а все больше праздновал. С расположением духа он вечно играл то на повышение, то на понижение, то на понижение, то на повышение. Дождь и солнце, переезд из дома, переезд в дом<sup>2</sup>. — Я ведь тоже состою квартирным комиссаром, сзываю и на свадьбы, и на похороны, готов и посмеяться и поплакать! В чемодане у меня есть летнее платье, но надеть его было бы глупо! Да, вот я! Ради парада я щеголяю в шелковых чулках и в муфте!

Затем из дилижанса вышла барыня.

— Девица Май! — отрекомендовалась она. На ней было легкое летнее платье и калоши; платье шелковое, буково-зеленое, в волосах анемоны; от нее так пахло диким яминником, что часовой не выдержал, чихнул.

— Будьте здоровы! — сказала она в виде приветствия. Как она была мила! И какая певица! Не театральная, а вольная, лесная; да и не из тех, что поют в увеселительных палатках; нет, она бродила себе по свежему зеленому лесу и пела для собственного удовольствия. В ридикюле у нее лежали «Гравюры на дереве» Христиана Винтера<sup>3</sup> — они поспорят свежестью с буковым лесом — и «Стишки» Рихарда<sup>4</sup> — эти благоухают, что твой дикий яминник!

— Теперь идет молодая дама! — закричали из дилижанса. И дама вышла. Молодая, изящная, гордая, прелестная! Она задавала пир в самый

<sup>1</sup> Старый обычай, долго державшийся в Дании: в бочку сажают кошку и начинают из всех сил колотить по бочке, пока, наконец, не вышибут из нее дно, и кошка, как угорелая, не выскочит оттуда. — *Примеч. перев.*

<sup>2</sup> См. примеч. т. I, стр. 196

<sup>3</sup> Христиан Винтер — один из выдающихся датских поэтов-лириков.

<sup>4</sup> Христиан Рихард — то же.

длинный день года, чтобы гостям хватило времени покончить с многочисленными блюдами. Средства позволяли ей ездить и в собственной карете, но она приехала в дилижансе вместе со всеми, желая показать, что совсем неспесива. Но, конечно, она ехала не одна: ее сопровождал младший брат Июль.

Июль — толстяк; одет по-летнему, в шляпе «панاما». У него был с собою очень небольшой запас дорожной одежды: в такую жару да вояться еще! Он и взял с собою только купальные панталоны да шапочку.

За ним вылезла матушка Август, оптовая торговка фруктами, владелица многочисленных садков, земледелец в кринолине. Толстая она и горячая, до всего сама доходит, даже сама обносит пивом рабочих в поле. «В поте лица своего ешь хлеб свой, — приговаривала она. — Так сказано в Библии! А вот осенью — милости просим! Устроим вечеринку на открытом воздухе, пирушку!» Она была молодец баба, хозяйка хоть куда.

За нею следовал опять мужчина, живописец по профессии. Он собирался показать лесам, что листья могут и переменить цвета, да еще на какие чудесные, если ему вздумается! Стоит ему взяться за дело, и леса запестреют красными, желтыми и бурными листьями. Художник насвистывал, что твой черный скворец, и мастер был работать! Пивную кружку его украшала ветка хмеля — он вообще знал толк в украшениях. Весь его багаж заключался в палитре с красками.

Вылез и десятый пассажир, помещик. У него только и дум было, что о пашне, о посевах, о жатве, да еще об охотничьих забавах. Он был с ружьем и собакою, а в сумке у него гремели орехи. Щелк! Щелк! Багажа у него было пропасть, между прочим даже английский плуг. Он что-то говорил о сельском хозяйстве, но его почти и не слышно было из-за кашля и отдувания следующего пассажира — Ноября.

Что за насморк у него был, ужасный насморк! Пришлось вместо носового платка запастись целой простыней! А ему, по его словам, приходилось еще сопровождать служанок, поступающих на места! Ну, да простуда живо пройдет, когда он начнет рубить дрова. А он это непременно сделает — он ведь был старшиной цеха дровосеков. Вечерами он вырезывал коньки, зная, что эта веселая обувь скоро понадобится.

Вышел и последний пассажир — бабушка Декабрь с грелкою в руках. Она дрожала от холода, но глаза ее так и сияли, словно звезды. Она несла в цветочном горшочке маленькую елочку. «Я ее выхожу, выращу к сочельнику! Она будет большая — от полу до потолка, обрастет зажженными свечками, вызолоченными яблоками и разноцветными сеточками с гостинцами. Грелка согревает не хуже печки, я вытащу из кармана книжку со сказками и буду читать вслух. Все детки в комнате притихнут, зато куколки на елке оживут, восковой ангелочек на самой верхушке ее

затрепещет золочеными крылышками, слетит и расцелует всех, кто в комнате, — и малюток, и взрослых, и даже бедных деток, что стоят за дверями и славят Христа и звезду Вифлеемскую.

— Теперь дилижанс может отъехать! — сказал часовой. — Вся дюжина тут! Пусть подъезжает следующий.

— Пусть сначала войдут эти двенадцать! — сказал дежурный капитан. — По одному зараз! Паспорта остаются у меня. Каждому паспорт выдан на один месяц; по истечении срока я сделаю пометку о поведении каждого. Пожалуйста, господин Январь! Не угодно ли вам войти?

И тот вошел.

Когда год кончится, я скажу тебе, что эти двенадцать пассажиров принесли тебе, мне и всем остальным. Теперь я этого еще не знаю, да и сами они не знают, — удивительные ведь времена у нас настали!





## НАВОЗНЫЙ ЖУК

**Л**ошадь императора удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

За что?

Она была чудо как красива, с тонкими ногами, умными глазами и шелковистой гривой, ниспадавшей на ее шею длинной мантией. Она носила своего господина в пороховом дыму, под градом пуль, слышала их свист и жужжание и сама отбивалась от наступавших неприятелей. Она защищалась от них на жизнь и смерть, одним прыжком перескочила со своим всадником через упавшую лошадь врага и тем спасла золотую корону императора и саму жизнь его, что подороже золотой короны. Вот за что она и удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

А навозный жук тут как тут.

— Сперва великие мира сего, потом уж малые! — сказал он. — Хотя и не в величине, собственно, тут дело! — И он протянул свои тощие ножки.

— Что тебе? — спросил кузнец.

— Золотые подковы! — ответил жук.

— Ты, видно, не в уме! — сказал кузнец. — И ты золотых подков захотел?

— Да! — ответил жук. — Чем я хуже этой огромной скотины, за которой еще надо ухаживать? Чисть ее, корми да пои! Разве я-то не из царской конюшни?

— Да за что лошади дают золотые подковы? — спросил кузнец. — Вдомек ли тебе?

— Вдомек? Мне вдомек, что меня хотят оскорбить! — сказал навозный жук. — Это прямая обида мне! Я не стерплю, уйду куда глаза глядят!

— Проваливай! — сказал кузнец.

— Невежа! — ответил навозный жук, выполз из конюшни, отлетел немножко и очутился в красивом цветнике, где благоухали розы и лаванды.

— Правда ведь, здесь чудо как хорошо? — спросила жука жесткокрылая божья коровка, вся в черных крапинках. — Как тут сладко пахнет, как все красиво!

— Ну, я привык к лучшему! — ответил навозный жук. — По-вашему, тут прекрасно? Даже ни одной навозной кучи!..

И он отправился дальше, под сень большого левкоя; по стеблю ползла гусеница.

— Как хорош Божий мир! — сказала она. — Солнышко греет! Как весело, приятно! А после того, как я, наконец, засну или умру, как это говорится, я проснусь уже бабочкой!

— Да, да, воображай! — сказал навозный жук. — Так вот мы и полетим бабочками! Я из царской конюшни, но и там никто, даже любимая лошадь императора, которая донашивает теперь мои золотые подковы, не воображает себе ничего такого. Получить крылья, полететь? Да, вот мы так сейчас улетим! — И он улетел. — Не хотелось бы сердиться, да поневоле рассердишься!

Тут он бухнулся на большую лужайку, полежал, полежал да и заснул.

Батюшки мои, какой припустился лить дождь! Навозный жук проснулся от этого шума и хотел было поскорее уползти в землю, да не тут-то было. Он барахтался, барахтался, пробовал уплыть и на спине и на брюшке — улететь нечего было и думать, — но все напрасно. Нет, право, он не выберется отсюда живым! Он и остался лежать, где лежал.

Дождь приостановился немножко; жук отмигал воду с глаз и увидал невдалеке что-то белое; это был холст, что разложили бабы белить; жук добрался до него и заполз в складку мокрого холста. Конечно, это было не то, что зарыться в теплый навоз в конюшне, но лучшего ничего здесь не представлялось, и он остался лежать тут весь день и всю ночь — дождь все лил. Утром навозный жук выполз; ужасно он сердит был на климат.

На холсте сидели две лягушки; глаза их так и блестели от удовольствия.

— Славная погода! — сказала одна. — Какая свежесть! Этот холст чудесно задерживает воду! У меня даже задние ноги зачесались: так бы вот и поплыла!

— Хотела бы я знать, — сказала другая, — нашла ли где-нибудь ласточка, что летает так далеко, лучший климат, чем у нас? Этакie дожди, сырость — чудо! Право, словно сидишь в сырой канаве! Кто не радуется такой погоде, тот не сын своего отечества!

— Вы, значит, не бывали в царской конюшне? — спросил их навозный жук. — Там и сыро, и тепло, и пахнет чудесно! Вот к чему я привык! Там климат по мне, да его не возьмешь с собою в дорогу! Нет ли здесь в саду хоть парника, где бы знатные особы вроде меня могли найти приют и чувствовать себя как дома?

Но лягушки не поняли его или не хотели понять.

— Я никогда не спрашиваю два раза! — заявил навозный жук, повторив свой вопрос три раза и все-таки не добившись ответа.

Жук отправился дальше и наткнулся на черепок от горшка. Ему не следовало бы лежать тут, но раз он лежал, под ним можно было найти

прият. Под ним и жило несколько семейств клещей. Им простора не требовалось — было бы общество. Клещихи отличаются материнской нежностью, и у них поэтому каждый малютка был чудом ума и красоты.

— Наш сынок помолвлен! — сказала одна мамаша. — Милая невинность! Его заветнейшая мечта — заползти в ухо к священнику. Он совсем еще дитя; помолвка удержит его от сумасбродств. Ах, какая это радость для матери!

— А наш сын, — сказала другая, — едва вылупился, а уж сейчас за шалости! Такой живчик! Ну, да надо же молодежи перебеситься! Это большая радость для матери! Не правда ли, господин навозный жук? — Они узнали пришельца по фигуре.

— Вы обе правы! — сказал жук, и клещихи пригласили его проползти к ним, насколько он мог подлезть под черепок.

— Надо вам взглянуть и на моих малюток! — сказала третья, а потом и четвертая мамаша. — Ах, это милейшие малютки и такие забавные! Они всегда ведут себя хорошо, если только у них не болит животик — а от этого в их возрасте не уберешься!

И каждая мамаша рассказывала о своих детках; детки тоже вмешивались в разговор и пускали в ход свои клещи на хвостиках — дергали ими навозного жука за усы.

— Чего только ни выдумают эти шалунишки! — сказали мамы, потя от умиления; но все это уже надоело навозному жуку, и он спросил, далеко ли еще до парника.

— О, далеко, далеко! Он по ту сторону канавы! — сказали в один голос клещихи. — Надеюсь, что ни один из моих детей не вздумает отправиться в такую даль, а то я умру!

— Ну, а я попробую добраться туда! — сказал навозный жук и ушел, не прощаясь, — это самый высший тон.

У канавы он встретил своих сродников, таких же навозных жуков.

— А мы тут живем! — сказали они. — У нас прелюдно! Милости просим в наше сочное местечко! Вы, верно, утомились в пути?

— Да! — ответил жук. — Пока дождь лил, я все лежал на холсте, а такая чистоплотность хоть кого уходит, не то что меня. Пришлось постоять и под глиняным черепком на сквозняке, ну и схватил ревматизм в предкрылье! Хорошо наконец очутиться среди своих!

— Вы, может быть, из парника? — спросил старший из навозных жуков.

— Подымай выше! — сказал жук. — Я из царской конюшни; там я родился с золотыми подковами на ногах. И путешествую я по секретному поручению. Но вы не спрашивайте меня, я все равно ничего не скажу.

И навозный жук уполз вместе с ними в жирную грязь. Там сидели три молодые барышни их же породы и хихикали, не зная, что сказать.

— Они еще не просватаны! — сказала мать, и те опять захихикали, на этот раз от смущения.

— Прекраснее барышень я не встречал даже в царской конюшне! — сказал жук-путешественник.

— Ах, не испортите мне моих девочек! И не заговаривайте с ними, если у вас нет серьезных намерений. Впрочем, они у вас, конечно, есть, и я даю вам свое благословение!

— Ура! — закричали остальные, и жук стал женихом. За помолвкой последовала и свадьба — зачем откладывать?

Следующий день прошел хорошо, второй — так себе, а на третий уже приходилось подумать о пропитании жены, а может быть, и деток.

«Вот-то поддели меня! — сказал он себе. — Так и я ж их поддену!»

Так и сделал — ушел. День нет его, ночь нет его — жена осталась вдовой. Другие навозные жуки объявили, что приняли в семью настоящего бродягу. Еще бы! Жена теперь осталась у них на шее!

— Так пусть она опять считается барышней! — сказала мама-ша. — Пусть живет у меня по-прежнему. Плюнем на этого негодяя, что бросил ее!

А он себе переплыл канаву на капустном листке. Утром явилось двое людей, увидели жука, взяли его и принялись вертеть в руках. Оба были страсть какие ученые, особенно мальчик.

— «Аллах видит черного жука на черном камне черной скалы», так ведь сказано в Коране? — спросил он и, назвав навозного жука по-латыни, сказал, к какому классу насекомых он принадлежит. Старший ученый не советовал мальчику брать жука с собою домой — не стоило, у них уже имелись такие же хорошие экземпляры. Жуку такая речь показалась невежливой, он взял да и вылетел из рук ученых. Теперь крылья у него высохли, и он мог отлететь довольно далеко, долетел до самой теплицы и очень удобно проскользнул в нее — одно окно стояло открытым. Забравшись туда, жук поспешил зарыться в свежий навоз.

— Ах, как славно! — сказал он.

Скоро он заснул и видел во сне, что царская лошадь пала, а сам господин навозный жук получил ее золотые подковы, причем ему пообещали дать и еще две. То-то было приятно! Проснувшись, жук выполз и огляделся. Какая роскошь! Огромные пальмы веерами раскинули в вышине свои листья, сквозь которые просвечивало солнце; внизу же всюду зеленела травка, кишмя кишели цветы, огненно-красные, янтарно-желтые и белые, как свежеевыпавший снег.

— Вот-то бесподобная растительность! То-то будет вкусно, когда все это сгниет! — сказал навозный жук. — Знатная кладовая! Здесь, верно, живет кто-нибудь из моих родственников. Надо отправиться на поиски, найти кого-нибудь, с кем можно свести знакомство. Я ведь горд и горжусь этим! — И жук пополз, думая о своем сне, о павшей лошади и о золотых подковах.





Вдруг его схватила чья-то рука, стиснула, принялась вертеть и поворачивать...

В теплицу пришел сынишка садовника с товарищем; они увидели навозного жука и вздумали позабавиться с ним. Жука завернули в виноградный листок и положили в теплый карман панталон. Он было принялся там вертеться, карабкаться, но мальчик притиснул его рукой и побежал вместе с товарищем в конец сада, к большому озеру. Там они посадили жука в старый сломанный деревянный башмак, укрепили в середине его щепочку, вместо мачты, привязали к ней жука шерстинкой и спустили башмак на воду. Теперь жук попал в шкипера и должен был отправиться в плавание.

Озеро было большое-пребольшое; навозному жуку казалось, что он плывет по океану, и это до того его поразило, что он упал навзничь и задрывал ножками.

Башмак относил от берега течением, но как только он отплывал чуть подальше, один из мальчуганов засучивал штанишки, шлепал по воде и притягивал его обратно. Но вот башмак отплыл опять, и как раз в эту минуту мальчуганов так настойчиво позвали домой, что они впопыхах забыли и думать о башмаке. Башмак же уносило все дальше и дальше. Какой ужас! Улететь жук не мог — он был привязан к мачте.

В гости к нему прилетела муха.

— Какая славная погода! — сказала она. — У вас тут можно отдохнуть, погреться на солнышке! Вам тут очень хорошо.

— Болтаете, сами не знаете, что! Не видите, что ли — я привязан?

— А я нет! — сказала муха и улетела.

— Вот когда я узнал свет! — сказал навозный жук. — Как он низок! Я один только порядочный! Сначала меня обходят золотыми подковами, потом мне приходится лежать на мокром холсте, стоять на сквозняке, и, наконец, мне навязывают жену! Едва же я делаю смелый шаг в свет, осматриваюсь и приглядываюсь, является мальчишка и пускает меня, связанного, в дикое море! А царская лошадь щеголяет себе в золотых подковах! Вот что меня больше всего мучит! Но на этом свете справедливости не жди! История моя очень интересна, а что толку, если ее никто не знает! Да свет и не достоин знать ее, иначе он дал бы золотые подковы мне, когда царская лошадь протянула за ними ноги. Получи я золотые подковы, я бы стал украшением конюшни, а теперь я погиб для них, свет лишился меня, и всему конец!

Но конец всему, видно, еще не наступил: на озере появилась лодка, а в ней сидели несколько молодых девушек.

— Вон плывет деревянный башмак! — сказала одна.

— И бедное насекомое привязано крепко-накрепко! — сказала другая.



Они поравнялись с башмаком, поймали его, одна из девушек достала ножницы и осторожно обрезала шерстинку, не причинив жуку ни малейшего вреда. Выйдя же на берег, она посадила его на траву.

— Ползи, ползи, лети, лети, коли можешь! — сказала она ему. — Свобода — славное дело!

И навозный жук полетел прямо в открытое окно какого-то большого строения, а там устало опустился на тонкую, мягкую, длинную гриву любимой царской лошади, стоявшей в конюшне, родной конюшне жука. Жук крепко вцепился в гриву лошади, стараясь отдышаться и прийти в себя от усталости.

— Ну вот я и сижу на любимой царской лошади, как всадник! Что я говорю?! Теперь мне все ясно! Вот это мысль! И верная! «За что лошадь удостоилась золотых подков?» — спросил меня тогда кузнец. Теперь-то я понимаю! Она удостоилась их из-за меня!

И жук опять повеселел.

— Путешествие проясняет мысли! — сказал он. Солнышко светило прямо на него и светило так красиво! — Свет, в сущности, не так-то уж дурен! — продолжал рассуждать навозный жук. — Надо только уметь за него взяться!

Да и как не быть свету хорошим, если любимая лошадь императора удостоилась золотых подков ради того только, что на ней ездил верхом навозный жук?

— Теперь я поползу к другим жукам и расскажу, что для меня сделали! Расскажу и обо всех прелестях заграничного путешествия и скажу, что отныне буду сидеть дома, пока лошадь не износит своих золотых подков.





## УЖ ЧТО МУЖЕНЕК СДЕЛАЕТ, ТО И ЛАДНО

**Р**асскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она казалась мне все лучше и лучше: и с историями ведь бывает то же, что с многими людьми, и они становятся с годами все лучше и лучше, а это куда как хорошо!

Тебе ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые избушки с соломенными кровлями? Крыши у них поросли мхом, на коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Хлебные печи выпячивают на улицу свои толстенные брюшки, а через изгородь перевешивается бузина. Если же где случится лужица воды, по которой плавают утка или утята, там уж, глядишь, приткнулась и корявая ива. Возле избушки есть, конечно, и цепная собака, что лает на всех и каждого.

Вот точь-в-точь такая-то избушка и стояла у нас за городом, а в ней жили старички, муж с женой. Как ни скромно было их хозяйство, им все-таки было чем одолжить других, — была у них лошадь, кормившаяся травой, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям, ну а уж известно: за услугу отплачивают услугой! Но все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или променять на что-нибудь более подходящее и полезное. Только на что бы такое?

— Ну, уж тебе это лучше знать, муженек! — сказала жена. — Теперь как раз ярмарка в городе, поезжай туда да и продай лошадку или променяй с выгодой! Уж что ты сделаешь, то всегда ладно! Поезжай с Богом!

И она повязала ему на шею платок — это-то она все-таки умела делать лучше мужа, — завязала его двойным узлом; очень шикарно вышло! Потом она пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его прямо в губы. И вот он поехал на лошади, которую надо было или продать, или променять в городе. Уж он-то знал свое дело!

Солнце так и пекло, на небе не было ни облачка! Пыль по дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу — кто в тележке, кто верхом,

а кто и просто пешком. Жара была страшная; солнцепек и — ни малейшей тени по всей дороге.

Шел тут и какой-то человек с коровой; вот уж была корова так корова, чудесная! «Верно, и молоко дает чудесное! — подумал наш крестьянин. — То-то была бы мена, если бы сменять на нее лошадь!»

— Эй, ты там, с коровой! — крикнул он. — Поговорим-ка! Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит подороже твоей коровы! Но так и быть: мне корова сподручнее! Поменяемся?

— Ладно! — ответил тот, и они поменялись.

Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть восвояси — он ведь сделал, что было нужно; но раз уж он вздумал побывать на ярмарке, так и надо было — хотя бы для того только, чтоб поглядеть на нее. Вот он и пошел с коровой дальше. Шагал он быстро, корова не отставала, и они скоро нагнали человека, который вел овцу. Овца была добрая, в теле, с густой шерстью.

«Вот от такой бы я не отказался, — подумал крестьянин. — Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимой ее можно держать в избе. По правде-то, нам сподручнее держать овцу, чем корову. Поменяться разве?»

Владелец овцы охотно согласился, мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг у придорожного плетня он увидел человека с большим гусем под мышкой.

— Ишь, гусище-то у тебя какой! — сказал крестьянин. — У него и жира и пера вдоволь! А ведь любо было бы поглядеть, стой он на привязи у нашей канавки! И старухе моей было бы для кого собирать объедки да обрезки овощей! Она часто говорит: «Ах, кабы у нас был гусь!» Ну вот, теперь есть случай добыть его... и она его получит! Хочешь меняться? Я дам тебе за гуся овцу, да спасибо в придачу!

Тот не отказался, и они поменялись; крестьянин получил гуся. Между тем он дошел до городской заставы; тут была толкотня, люди и животные так и кишели по всей дороге вдоль канавы, вплоть до картофельного поля сторожа. В поле бродила курица сторожа, но ее привязали к изгороди веревочкой, чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома. Она была короткохвостая, подмигивала одним глазом и вообще на вид была курица хоть куда. «Кок, кок!» — бормотала она; что хотела она этим сказать, я не знаю, но крестьянин, слушая ее, думал: «Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее наседки священника; ее бы я взял! Курица везде сыщет себе зернышко, почитай что сама себя прокормит! Право, хорошо было бы сменять на нее гуся».

— Хочешь меняться? — спросил он у сторожа.

— Меняться! Отчего ж! — ответил тот, и они поменялись. Сторож взял себе гуся, а крестьянин курицу.



Не мало-таки дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы теперь и перекусить да выпить! А постоянный двор тут как тут. К нему он и направился, оттуда же выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком, и они встретились в дверях.

— Что у тебя там? — спросил крестьянин.

— Гнилые яблоки! — ответил работник. — Несу полный мешок свиньям!

— Таковую-то уйму? Вот бы поглядела моя старуха! У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко, так мы берегли в сундуке, пока оно не сгнило! «Все же это показывает достаток в доме!» — говорила старуха. Вот бы посмотрела она на такой достаток! Да, надо будет порадовать ее!

— А что вы дадите за мешок? — спросил парень.

— Что дам? Да вот курицу! — И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу и — прямо к прилавку, а мешок свой прислонил к печке. Она топилась, но он и не подумал о том. В горнице было пропасть гостей: барышники, торговцы волами и два англичанина. Эти были такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота, и большие охотники до пари. Теперь слушайте!

«Зу-ссс! Зу-ссс!» Что это за звуки раздались у печки? А это яблоки начали печься.

— Что это такое? — спросили гости и сейчас же узнали всю историю о мене лошади на корову, коровы на овцу и так далее до мешка с гнилыми яблоками.

— Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься! — сказали они. — То-то гвалт поднимется!

— Поцелует она меня, вот и все! — сказал крестьянин. — Старуха моя скажет: «Уж что муженек сделает, то и ладно!»

— А вот посмотрим! — сказали англичане. — Бочку золота на пари! В мере сто фунтов!

— И полной мерки золота довольно! — сказал крестьянин. — А я могу поставить только полную мерку яблок да нас со старухой в придачу! Так мерка-то выйдет уж с верхом!

— Ну-ну! — сказали те и ударили по рукам.

Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже, взвалили и яблоки, и — марш к избешке крестьянина.

— Здравствуй, старуха!

— Здравствуй, муженек!

— Ну, я променял!

— Да ведь ты уж знаешь свое дело! — сказала жена, обняла его и забыла и о мешке, и об англичанах.

— Я променял лошадь на корову!



— Слава Богу! С молоком будем! — сказала жена. — Будем кушать и масло и сыр. Вот это так мена!

— Так-то так, да я корову-то сменял на овцу!

— Да оно и лучше! — ответила жена. — Ты обо всем подумаешь! У нас и травы-то как раз на овцу! Теперь у нас будут овечье молоко и сыр, да еще шерстяные чулки и даже фуфайки! А корова-то этого не даст! Она линяет! Вот какой ты, право, умный!

— Я и овцу променял — на гуся!

— Как, неужели у нас в этом году будет к Мартинову дню жареный гусь, муженек?! Все-то ты думаешь, чем бы радовать меня! Как ты это славно придумал! Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к Мартинову дню!

— Я и гуся променял на курицу! — сказал муж.

— На курицу! Вот это мена! Курица нанесет яиц, высидит цыплят, у нас заведется целый птичник! Вот чего мне давно хотелось!

— А курицу-то я променял на мешок гнилых яблок!

— Ну, так дай же мне расцеловать тебя! — сказала жена. — Спасибо тебе, муженек! Вот ты послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я и подумала: «Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее — яичницу с луком!» Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойди к жене школьного учителя. Я знаю, что у них есть лук, но она ведь скупая-прескупая! Я попросила ее одолжить мне луку, а она: «Одолжить? Ничего у нас в саду не растет, даже гнилого яблока не отыщешь!» Ну, а я теперь могу одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок! То-то смех, муженек! — И она опять поцеловала его прямо в губы.

— Вот это нам нравится! — вскричали англичане. — Все хуже да хуже, и все нипочем! За это и деньги отдать не жаль! — И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую мерку червонцев.

Да, уж если жена считает мужа умнее всех на свете и все, что он ни делает, находит хорошим — это без награды не останется!

Так вот такая история! Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее тебе, и ты теперь знаешь, что «уж что муженек сделает, то и ладно!»





## СНЕГУР

**Т**ак и хрустит во мне! Славный морозище! — сказал снегур. — Ветер-то, ветер-то так и кусает! Просто любо! А эта что глазееет, пучеглазая? — Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. — Нечего, нечего! Я и не смигну! Устоим!

Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы, вместо рта — обломок старой грабли; значит, он был и с зубами.

На свет он появился при радостных «ура» мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчичьих кнутов.

Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная!

— Ишь, с другой стороны ползет! — сказал снегур. Он думал, что это опять солнце показалось. — Я все-таки отучил ее паялить на меня глаза! Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне видно было себя!.. Ах, кабы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться! Так бы и побегал туда на лед покататься, как давеча мальчишки! Беда — не могу двинуться с места!

— Вон! Вон! — залаяла старая цепная собака; она немножко охрипла — с тех пор еще, как была комнатной собачкой и лежала у печки. — Солнце выучит тебя двигаться! Я видела, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже! Вон! Вон! Все убрались вон!

— Что ты толкуешь, дружище? — сказал снегур. — Вон та пучеглазая выучит меня двигаться? — Снегур говорил про луну. — Она сама-то удрала от меня давеча: я так пристально посмотрел на нее в упор! А теперь вон опять выползла с другой стороны!

— Много ты смыслишь! — сказала цепная собака. — Ну да, ведь тебя только что вылепили! Та, что глядит теперь, — луна, а то, что ушло, — солнце; оно опять вернется завтра. Уж оно подвинет тебя — прямо в канаву! Погода переменится! Я чую — левая нога заныла! Переменится, переменится!

— Не пойму я ее что-то! — сказал снегур. — А сдается, она сулит мне недоброе! Та пучеглазая, что зовут солнцем, тоже не друг мне, я уж чую!

— Вон! Вон! — пролаяла цепная собака, три раза повернулась вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать.

Погода и в самом деле переменялась. К утру вся окрестность была окутана густым, тягучим туманом; потом подул резкий, леденящий ветер, и затрепал мороз. А что за красота была, когда взошло солнышко!

Деревья и кусты в саду стояли все осыпанные инеем — точно лес из белых кораллов! Все ветви словно покрылись блестящими белыми цветочками! Мельчайшие разветвления ветвей, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны; от каждой ветки как будто лилось сияние! Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила; длинные ветви ее с пушистой бахромой тихо шевелились — точь-в-точь как летом! Вот было великолепие! Встало солнышко... Ах! как все вдруг засверкало и загорелось крошечными, ослепительно-белыми огоньками! Все было точно осыпано алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты!

— Что за прелесть! — сказала молодая девушка, вышедшая в сад под руку с молодым человеком. Они остановились как раз возле снегура и смотрели на сверкающие деревья.

— Летом такого великолепия не увидишь! — сказала она, вся сияя от удовольствия.

— И такого молодца — тоже! — сказал молодой человек, указывая на снегура. — Он бесподобен!

Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снегуру и пустилась с молодым человеком по снегу вприпрыжку; так и захрустело у них под ногами, точно они бежали по крахмалу.

— Кто такие приходили эти двое? — спросил снегур цепную собаку. — Ты ведь живешь тут подольше меня; знаешь ты их?

— Знаю! — сказала собака. — Она гладила меня, а он бросал косточки — таких я не кусаю.

— А что же они из себя изображают? — спросил снегур.

— Парррочку! — сказала цепная собака. — Вот они поселятся в конуре и будут вместе глотать кости! Вон! Вон!

— Ну, а значат они что-нибудь, как вот я да ты?

— Да ведь они господа! — сказала цепная собака. — Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет Божий! Это я по тебе вижу! Вот я так богата и годами и знанием! Я всех, всех знаю здесь! Да, я знавала времена получше!.. Не мерзла тут в холод на цепи! Вон! Вон!

— Славный морозец! — сказал снегур. — Ну, ну, рассказывай, рассказывай! Только не греми цепью, а то меня просто коробит!

— Вон! Вон! — залаяла цепная собака. — Я была щенком, крошечным, хорошеньким щенком, и лежала на бархатных креслах, там, в доме, лежала на коленях у знатных господ! Меня целовали в мордочку

и вытирали лапки вышитыми платками! Звали меня Милкой, Крошкой!.. Потом я подросла, велика для них стала, и меня подарили ключнице; я попала в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда; с твоего места отлично видно. Так вон в той коморке я и зажила барыней, да, барыней! Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху: меня не таскали и не тискали дети. Ела я тоже не хуже, если еще не лучше! У меня была своя подушка и еще... там была печка, самая чудеснейшая вещь в свете в такие холода! Я совсем уползала под нее!.. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке! Вон! Вон!

— Разве уж она так хороша, печка-то? — спросил снегур. — Похожа она на меня?

— Ничуть! Вот сказал тоже! Печка черна, как уголь; у нее длинная шея и медное пузо! Она так и пожирает дрова, огонь пышет у нее из рта! Рядом с нею, под нею — настоящее блаженство! Ее видно в окно, погляди!

Снегур посмотрел и в самом деле увидел черную блестящую штуку с медным животом; из него светился огонь. Снегура вдруг охватило какое-то странное желание — в нем как будто зашевелилось что-то... Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снегур.

— Зачем же ты ушла от нее? — спросил снегур собаку. — Как ты могла уйти оттуда?

— Пришлось поневоле! — сказала цепная собака. — Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусила за ногу младшего барчука — он хотел отнять у меня кость! «Кость за кость!» — думаю себе... А они осердились, и вот — я на цепи! Потеряла голос... Слышишь, как я хриплю? Вон! Вон! Вот тебе и вся недолга!

Снегур уж не слушал: он не сводил глаз с подвального этажа, с коморки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной с самого снегура.

— Во мне что-то так странно шевелится! — сказал он. — Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание, отчего ж бы ему и не сбыться? Это мое само заветное, мое единственное желание! Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней... прижаться к ней во что бы то ни стало, хоть бы пришлось разбить окно!

— Туда тебе не попасть! — сказала цепная собака. — А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец! Вон! Вон!

— Мне уж и так конец подходит, того и гляди свалюсь!

Целый день снегур стоял и смотрел в окно; в сумерки коморка выглядела еще приветливее: печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне! Куда им! Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда его открыли — из него так и метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице и груди снегура.

— Не выдержу! — сказал он. — Как мило она высовывает язык! Как это идет к ней!

Ночь была длинная-длинная, только не для снегура; он весь погрузился в чудные мечты, они так и трещали в нем от мороза.

К утру все окна подвального этажа покрылись чудесным ледяным узором, цветами; лучших снегуру нечего было и требовать, но они скрывали печку! Стекла не оттаивали, и он не мог видеть печку! Мороз так и трещал, снег хрустел, снегуру радоваться бы да радоваться, так нет! Он тосковал о печке! Он был положительно болен.

— Ну, это опасная болезнь для снегура! — сказала цепная собака. — Я тоже страдала этим, но поправилась. Вон! Вон! Будет перемена погоды!

И погода переменялась, сделалась оттепель.

Оттепель усиливалась, и снегур поубавился, но он не говорил ничего, не жаловался, а это плохой признак.

В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки; на ней-то мальчишки и укрепили его.

— Ну, теперь я понимаю его тоску! — сказала цепная собака. — У него внутри была кочерга! Вот что шевелилось в нем! Теперь все прошло! Вон! Вон!

Скоро прошла и зима.

— Вон! Вон! — лаяла цепная собака, а девочки на улице пели:

Цветочек лесной, поскорей распускайся!  
Ты, вербочка, мягким пушком одевайся!  
Кукушки, скворцы, прилетайте,  
Весну нам красну воспевайте!  
И мы вам подтянем: ай люли-люли,  
Деньки наши красные снова пришли!

О снегуре же и думать забыли!



## НА УТИНОМ ДВОРЕ

**И**з Португалии — а кто говорит из Испании, но это все едино — вывезли утку; прозвали ее Португалкою; она несла яйца, потом ее зарезали, зажарили и подали на стол — вот и вся ее история. Выводков из ее яиц тоже звали Португалками, и это кое-что значило. Наконец, из всего потомства первой Португалки осталась на утином дворе только одна. На этот утиный двор допускались и куры с петухом, неимоверно задиравшим нос.

— Он просто оскорбляет меня своим неистовым криком! — говорила Португалка. — Но он красив, этого нельзя у него отнять, хоть и не сравнится с селезнем. Ему бы следовало быть посдержаннее, но ведь сдержанность — это целое искусство, требующее высшего образования. Этим отличаются певчие птички, что гнездятся вон там, в соседском саду, на липах! Как мило они поют! В их пении есть что-то такое трогательное, «португальское», как я это называю. Будь у меня такая певчая птичка, я бы заменила ей мать, была бы с нею ласкова, добра! Это уж у меня в крови, в моем португальстве.

И как раз в эту минуту к ней и свалилась с крыши певчая птичка. Она шарахнулась оттуда, спасаясь от кошки, и отделалась сломанным крылом.

— Как это похоже на кошку, на эту кровопийцу! — сказала Португалка. — Я знаю ее еще с той поры, как у меня самой были утята! И подумать, что такому созданию позволяют жить и бегать тут по крышам! Нет, уж в Португалии, я думаю, этого не увидишь!

И она принялась соболезновать о бедной певчей птичке. Соболезновали и простые утки, не португальские.

— Бедная крошка! — говорили они, подходя к ней одна за другой. — Сами мы не из певчих, но в нас есть внутренний резонанс, или... как это назвать иначе? Мы чувствуем, хоть и не говорим о том!

— Так я поговорю! — сказала Португалка. — И сделаю для нее кое-что! Это прямой долг каждого! — С этими словами она подошла к корыту и зашлепала по воде крыльями, так что чуть не потопила птичку под дождем брызг, но — от доброго сердца. — Вот это доброе дело! — сказала Португалка. — Пусть смотрят и берут пример.

— Пип! — пискнула птичка; сломанное крылышко не давало ей встряхнуться хорошенько; но она все-таки понимала, что ее выкупали от доброго сердца. — Вы очень добры, сударыня! — прибавила она, но о повторении душа не просила.

— Я никогда не думала о своей доброте! — ответила Португалка. — Но я знаю, что люблю всех моих ближних, кроме кошки! А этого уж от меня и требовать не вправе. Она съела у меня двух утят!.. Ну, будьте же теперь здесь как дома! Это можно! Сама я тоже нездешняя, что вы, конечно, видите по моей осанке и оперению. А селезень мой здешний, не моей крови, но я не спесива!.. Если вас вообще кто-нибудь поймет здесь, во дворе, то, смею думать, это я!

— У нее Портулакия в зобу! — сострил один маленький простой утенок; остальные простые утки нашли это бесподобным: Портулакия звучит ведь совсем как Португалия! И они подталкивали друг друга, крикая: — Рап! Вот остряк! — Потом они опять заговаривали с певчей птичкой.

— Португалка — мастерица поговорить! — сказали они. — У нас нет таких громких слов в клюве, но и мы принимаем в вас не меньшее участие! И если мы ничего не делаем для вас, то не кричим об этом! По-нашему, так благороднее.

— У вас прелестный голос! — сказала одна из пожилых уток. — То-то, должно быть, приятно сознавать, что радуешь многих, как вы! Я, впрочем, мало смыслю в пении! Оттого и держу язык в клюве. Это лучше, чем болтать глупости, каких вам столько приходится выслушивать.

— Не надоедайте ей! — вмешалась Португалка. — Ей нужен отдых и уход. Хотите, я опять вас выкупаю, маленькая певунья?

— Ах, нет, нет! Позвольте мне остаться сухою! — попросила та.

— А мне только водяное лечение и помогает! — продолжала Португалка. — Развлечение тоже очень полезно! Вот скоро придут в гости соседки куры; между ними есть две китайнки; они ходят в панталончиках и очень образованны. Они тоже нездешние, и это очень подымает их в моих глазах.

Куры явились; явился и петух. На этот раз он был настолько вежлив, что не грубиянил.

— Вы настоящая певчая птица! — сказал он птичке. — И делаете из своего крохотного голоса, что можете. Но надо иметь свисток по-сильнее, чтобы слышно было, что ты — мужчина!

Обе китайнки пришли от птички в восторг: она после купания была вся взъерошенная и напомнила им китайского цыпленка.

— Как она мила! — сказали они и вступили с нею в беседу. Говорили они шепотом и все на «пе», как породистые китайнки.

— Мы ведь вашей породы! Утки, даже сама Португалка, принадлежат к водяным птицам, как вы, вероятно, заметили. Вы нас еще не



знаете, но и многие ли нас здесь знают или дают себе труд узнать? Никто, даже из кур никто, хотя мы и рождены для более высокого нашего, нежели большинство! Ну да пусть! Мы смиренно идем своей дорогой среди других, хотя у нас и другие принципы: мы смотрим только на одно хорошее, говорим только о хорошем, хотя и трудно найти его там, где нет ничего! Кроме нас двух да петуха, во всем курятнике нет даровитых и в то же время честных натур. Об утином дворе и говорить нечего. Мы предостерегаем вас, милая певунья! Не верьте вон той короткохвостой утке — она хитрая! А вот та пестрая, с кривым узором на перьях, страшная спорщица, никому не дает сказать последнего слова, а сама всегда не права! Та жирная утка обо всех отзывается дурно, а это противно нашей природе: уж если нельзя сказать хорошего, лучше молчать! Португалка одна отличается хоть некоторым образованием, и с нею еще можно водиться, но она тоже пристрастна и слишком много говорит о своей Португалии.

— И что эти китайки расшептались? — удивлялась пара простых уток. — На меня они наводят скуку; я никогда с ними не разговариваю.

Вот явился и селезень. Он принял певчую птичку за воробья.

— Ну да, я много не разбираю! — сказал он. — Все едино! Она из породы шарманок; есть они — ну и ладно.

— Пусть себе говорит, а вы не обращайтесь внимания! — шепнула птичке Португалка. — Он зато весьма деловитый селезень, а дела ведь главное!.. Ну, а теперь я прилягу отдохнуть. Это прямой долг по отношению к самой себе, если хочешь разжиреть и быть набальзамированной яблоками и черносливом.

И она улеглась на солнышке, помигивая одним глазом. Улеглась она хорошо, сама была хороша и заснула хорошо. Певчая птичка почесала сломанное крылышко и прилегла к своей покровительнице. Солнышко так славно пригревало, тут было чудесное местечко.

Соседские куры принялись рыться в земле; они, в сущности, и приходили сюда только за кормом. Потом они стали расходиться; первые ушли китайки, за ними и остальные. Остроумный утенок сказал про Португалку, что она скоро впадет в «утиное детство». Другие утки закрикали от смеха.

Утиное детство! Ах, он бесподобен! Вот остряк! И они повторяли и прежнюю его остроту: «Портулакия». Ужасно забавно было! Затем улеглись и они.

Прошел час, вдруг на двор выплеснули помои и всякие кухонные отбросы. От этого всплеска вся спящая компания проснулась и забила крыльями. Проснулась и Португалка, перевалилась на другой бок и предельно придавила певчую птичку.

— Пип! — пискнула та. — Вы наступили на меня, сударыня!

— Не попадайтесь под ноги! — ответила Португалка. — Да не будьте такою неженкой! У меня тоже есть нервы, а я никогда не пишу!

— Не сердитесь! — сказала птичка. — Это у меня так вырвалось!

Но Португалка не слушала, бросилась на поживу и отлично пообедала. Покончив с едой, она опять улеглась. Птичка снова подошла к ней и хотела было доставить ей удовольствие своим пением:

Чу-чу-чу-чу!  
Уж я не промолчу,  
Я вас воспеть хочу!  
Чу-чу-чу-чу!

— Теперь мне надо отдохнуть после обеда! — сказала утка. — Пора вам привыкать к здешним порядкам! Я спать хочу!

Бедная птичка совсем растерялась: она ведь хотела услужить! Когда же госпожа Португалка проснулась, птичка уж опять стояла перед нею и поднесла ей найденное зернышко. Но утка не выпалась как следует и, разумеется, была не в духе.

— Отдайте это цыпленку! — крикнула она. — Да не стойте у меня над душой!

— Да вы сердиты на меня? — спросила птичка. — Что же я сделала?

— Сделала! — повторила Португалка. — Выражение не из изящных, позвольте вам заметить!

— Вчера светило солнышко, — сказала птичка, — а сегодня так серо, темно! Мне так грустно!

— Вы не сильны во времяисчислении! — сказала Португалка. — День еще не кончился! Да не смотрите же так глупо!

— Теперь у вас точь-в-точь такие же злые глаза, как те, от которых я спаслась сюда!..

— Ах, бесстыдница! — сказала Португалка. — Вы меня приравниваете к кошке, этой хищнице? В моей крови нет ни единой злой капельки! Я приняла в вас участие и научу вас приличному обхождению!

И она откусила птичке голову; птичка упала мертвая.

— Это еще что?! — сказала Португалка. — И этого перенести не могла? Ну, так она и не жилища была на этом свете! А я была для нее матерью, это я знаю! Сердце у меня есть!

Соседский петух просунул голову на двор и закукарекал, что твой паровоз.

— Вы изводите меня своим криком! — сказала утка. — Это все вы виноваты! Она потеряла голову, да и я свою скоро потеряю!

— Не много-то места она теперь занимает! — сказал петух.

— Говорите о ней почтительнее! — сказала Португалка. — У нее был голос, она умела петь, была образованна! Она была нежная и любящая, а это также приличествует животным, как и так называемым людям!

Вокруг мертвой птички собрались все утки; утки вообще сильно чувствуют и выражают свои чувства: и зависть и жалость. Тут завидовать было нечему, так они жалели. Пришли и куры-китайнки.

— Такой певчей птички нам уж не нажить! Она была почти что китайнка! — И они всхлипывали; другие куры тоже, а утки ходили с красными глазами.

— Сердце-то у нас есть! — говорили они. — Этого уж у нас не отнимут!

— Сердце! — повторила Португалка. — Да, этого-то добра у нас здесь почти столько же, сколько и в Португалии!

— Подумаем-ка лучше, чем бы набить зобы! — заметил селезень. — Это важнее всего! А если и разбилась одна шарманка, что ж? Их еще довольно осталось на свете!





## МУЗА НОВОГО ВЕКА

**К**огда же проявит свое существование Муза нового века, которую узрят наши правнуки, а может быть, и еще более поздние поколения? Какова будет она? О чем споет? Каких душевных струн коснется? На какую высоту подымет свой век?

Да можно ли задавать столько вопросов в наше суетливое время, когда поэзия является чуть ли не помехой, когда ясно сознают, что от большинства бессмертных произведений современных поэтов останется в будущем много-много что-то вроде углевых надписей, встречающихся на тюремных стенах и привлекающих внимание разве некоторых случайных любопытных?

При таком положении дел поэзии поневоле приходится принимать известное участие в жизни, играть хоть роль пыжа в борьбе партии, когда люди проливают кровь или чернила.

Это односторонний взгляд, скажут многие; поэзия не забыта и в наше время.

Нет. Находятся еще люди, у которых в «ленивые понедельники» просыпается потребность в поэзии; испытывая от голода духовное урчание в соответствующих благородных частях своего организма, они посылают слугу в книжный магазин купить поэзии — особенно рекомендуемой, на целых четыре скиллинга! Некоторые же довольствуются и тою поэзией, которую могут получить в придачу к покупкам, или удовлетворяются чтением печатных клочков, в которые лавочники завертывают им покупки. Так выходит дешевле, а в наше суетливое время нельзя не обращать внимания на дешевизну. Итак, существующие потребности удовлетворяются — чего же еще? Поэзия же будущего, как и музыка будущего, — только донкихотство, и говорить о них — все равно что говорить о путешествии с научной целью на Уран!

Время слишком дорого, чтобы тратить его на фантазирование, а ведь что такое, в сущности, — если рассуждать как следует — что такое поэзия? Эти звучные излияния чувств и мыслей — только движение и колебание нервов. Восторг, радость, боль, даже материальные стремления — все это, по словам ученых, только колебание нервов. Каждый из нас, в сущности, нечто вроде арфы или другого струнного инструмента.

Но кто же затрагивает эти струны? Кто заставляет их колебаться и дрожать? Дух, незримый, божественный дух; его голос приводит их в колебание; они колеблются, звучат, и мелодия их или сливается с основным звуком в один гармонический аккорд, или образует могучий диссонанс. Так оно было, так и будет всегда в великом прогрессе человечества на пути свободного сознания.

Каждый век, можно даже сказать, каждое тысячелетие находит свое высшее выражение в поэзии. Рожденная в известную эпоху, Муза века выступает и царствует только в следующую.

Муза нового века родилась в наше суетливое время под грохот и стук машин. Привет ей! Она услышит или, может быть, прочтет его когда-нибудь между только что упомянутыми углевыми надписями.

Колыбель ее раскачивалась в пространстве, ограниченном, с одной стороны, крайней точкой, которой касалась нога человека в его изысканиях на севере, а с другой — крайними пределами видимого человеку темного полярного горизонта. Мы не слышали скрипа ее колыбели из-за шума стучащих машин, свиста паровозов, взрывов скал материализма и грохота сбрасываемых умственных оков.

Она родилась в великой фабрике, представляемой ныне нашей землей, в эпоху господства пара, неустанной работы господина Бескровного и его подручных.

У нее великое любвеобильное сердце женщины; в ее душе горит священное пламя весталки и огонь страсти. Одарена она быстрым, ярким, как молния, умом, проникающим через тьму тысячелетий; в нем, как в призме, отражаются все оттенки господствовавших когда-либо людских мнений, сменявшихся согласно моде. Силу и сокровище новой Музы составляет лебединое оперение фантазии, вытканное наукой и оживленное первобытными силами природы.

Она дитя народа по отцу; здравомыслящая, со здоровой душой, серьезными глазами и улыбкой на устах. По матери же она ведет род от знатных, академически образованных эмигрантов, хранящих память о золотой эпохе рококо. Муза нового века уродилась душой и телом в обоих.

На зубок ей положили в колыбель великолепные дары. В изобилии были насыпаны туда, словно лакомства, загадки природы с разгадками; из водолазного колокола высыпали ей разные безделушки и диковинки морского дна. На пологе была отпечатана карта неба, напоминающего океан с мириадами островов-миров. Солнце рисовало ей картинки; фотография должна была доставлять игрушки.

Кормилица пела ей песни северного скальда Эйвинда и восточного певца Фирдоуси, песни миннезингеров и песни, что выливались из глубины истинно поэтической души шаловливого Гейне. Много, даже слишком много, рассказывала ей кормилица. Муза знает и наводящие ужас

предания прапрабабушки Эдды, предания, в которых как бы слышится свист кровавых крыл проклятий. Она прослушала в четверть часа и всю восточную фантазию — «Тысячу и одну ночь».

Муза нового века еще дитя, но она уже выпрыгнула из колыбели; она полна стремления, но еще и сама не знает, к чему ей стремиться.

Она еще играет в своей просторной детской, наполненной сокровищами искусств и безделушками стиля рококо. Тут же и чудные мраморные изваяния греческой трагедии и римской комедии; по стенам развешаны, словно сухие травы, народные песни; стоит ей поцеловать их, и они пышно распустятся, свежие, благоухающие! Вокруг нее раздаются бессмертные созвучия Бетховена, Глюка, Моцарта и других великих мастеров. На книжной полке стоят произведения авторов, считавшихся в свое время бессмертными, но на ней хватило бы места и для трудов всех тех, чьи имена передаются нам по телеграфной проволоке бессмертия, но замирают вместе с передачей телеграммы.

Много, слишком много она читала: она ведь родилась в наше время, многое придется ей забыть, и она сумеет позабыть.

Она еще не думает о своей песне, которая будет жить в новом веке, как живут теперь вдохновенные творения Моисея и другие. Она еще не думает о своей миссии, о своем будущем, она играет под шум борьбы наций, потрясающий воздух и образующий разные звуковые фигуры из гусиных перьев или из ядер — руны, которые трудно разгадать.

Она носит гарибальдийскую шапочку, читает Шекспира, и у нее мелькает мысль: «А ведь его еще можно будет ставить, когда я вырасту!» Кальдерон покоится в саркофаге своих произведений; надпись на нем говорит о его славе. Гольберга же — да Муза ведь космополитка — она переплела в один том с Мольером, Плавтом и Аристофаном; но охотнее всего она читает все-таки Мольера.

Ей незнакомо то беспокойство, которое гонит горную серну, но и ее душа жаждет соли жизни, как горная серна — раздолья гор. В сердце ее разлит такой же покой, каким дышат сказания древних евреев, этих кочевников, кочевавших в тихие звездные ночи по зеленым равнинам, и все же, когда она поет их, сердце ее бьется сильнее, чем билось оно у вдохновенного древнего воина с Фессалийских гор.

Ну, а насчет ее религии как? Она изучила все философские таблицы, сломала себе на «происхождении первоначальных сил» один из молочных зубов, но получила взамен новый, вкусила плод познания еще в колыбели и стала так умна, что бессмертие кажется ей гениальнейшей мыслью человечества.

Когда же настанет новый век поэзии? Когда выступит его Муза? Когда мы услышим ее?

В одно прекрасное весеннее утро она примчится на паровом драконе, с шумом пронесется по туннелям, по мостам над пропастями, или про-



несется по бурному морю на пылящем дельфине, или по воздуху на птице Рок Монгольфьера и спустится на землю, откуда и раздастся впервые ее приветствие человечеству. Откуда же? Не из земли ли Колумба, страны свободы, где туземцы стали гонимыми зверями, а африканцы — выючными животными, страны, откуда прозвучала «Песнь о Гайавате»? Или из земли наших антиподов, золотого острова в южном море, страны контрастов, где наша ночь является днем, где в мимозовых лесах поют черные лебеди? Или из той страны, где звенит и поет нам колосс Мемнона, хотя мы и не понимаем пения сфинкса пустыни? С каменноугольного ли острова, где со времен Елизаветы господствует Шекспир? Из отчизны ли Тихо де Браге, где его не оценили, или из страны сказочных приключений Калифорнии, где возносит к небу свою главу царь лесов — Веллингтоново дерево?

Когда же заблестит звезда с чела Музы? Когда распустится цветок, на лепестках которого будет начертан символ красоты века, красоты форм, красок и благоухания?

«А какова будет программа новой Музы? — спросят сведущие «депутаты» от нашего времени. — Чего она хочет?»

Спросите лучше, чего она не хочет. Она не хочет выступить тенью истекшего времени! Не хочет мастерить новых драм из сданных в архив сценических эффектов или прикрывать убожество драматической архитектуры ослепительными лирическими драпировками! Она на наших же глазах шагнет в этой области так же далеко, как далеко шагнул мраморный амфитеатр от колесницы Фесписа. Она не хочет разбивать в куски естественную человеческую речь и потом лепить из них затейливые колокольчики с вкрадчивыми звуками времен состязаний трубадуров. Она не захочет признать поэзию дворянкой, а прозу мещанкой — она сделает и стихи и прозу равными по звуку, полноте и силе. Не захочет она и вновь ваять старых богов из могучих, как скалы, исландских саг! Те боги умерли, и у нового века нет к ним сочувствия — они чужды ему! Не захочет она и приглашать своих современников отдыхать мыслью в вертепах французских романов. Не захочет и усыплять их «обыкновенными историями»! Она хочет поднести современникам жизненный эликсир! Песнь ее и в стихах и в прозе будет сжата, ясна и богата содержанием! Биение сердца каждой национальности явится для нее лишь буквою в великой азбуке мирового развития, и она возьмет каждую букву с одинаковой любовью, составит из них слова, и они ритмично польются в гимне, который она воспоет своему веку!

Когда же наступит это время?

Для нас, еще живущих здесь, на земле, не скоро, а для улетевших вперед — очень скоро.

Скоро рушится китайская стена; железные дороги Европы достигнут закрытых культурных архивов Азии, и два потока культуры сольются!

Они зашумят, может быть, так грозно, что мы, престарелые представители современности, затрепещем, как перед наступлением Рагнарока, когда должны пасть старые боги. Но нам не следовало бы забывать, что эпохи и поколения человеческие должны сменяться и исчезать, что от них остаются лишь миниатюрные отражения, заключенные в рамки слова, которые и плывут по потоку вечности, словно цветы лотоса, говоря нам, что все эти поколения таких же людей, как и мы, только одетых иначе, действительно жили. Картина жизни древних евреев светит нам со страниц Библии, греков — из «Илиады» и «Одиссеи», а нашей жизни? Спроси у Музы нового века, спроси у нее во время Рагнарока, когда возникнет новая, преображенная Гимле<sup>1</sup>.

Вся сила пара, всякое давление современности послужат для Музы рычагами! Мастер «Бескровный» и его юркие подручные, которые казались могучими господами нашего времени, явятся лишь слугами, черными рабами, украшающими залы, подносящими сокровища и накрывающими столы для великого праздника, на котором Муза, невинная, как дитя, восторженная, как молодая девушка, и спокойная, опытная, как матрона, зажжет дивный светоч поэзии, являющийся богатым, переполненным человеческим сердцем, в котором горит божественный огонь.

Привет тебе, Муза поэзии нового века! Привет наш вознесется и будет услышан, как бессловесный гимн червя, перерезанного плугом. Когда настанет новая весна, плуг опять пойдет взрезывать землю и перерезывать нас, червей, ради удобрения почвы для новой богатой жатвы, нужной грядущим поколениям.

Привет тебе, Муза нового века!



---

<sup>1</sup> По сев. миф. — одна из небесных обителей, самая прекрасная и светлая, избегающая разрушения во время Рагнарока и предназначенная для душ добрых и правдивых людей. — *Примеч. перев.*

# ДЕВА ЛЬДОВ

## I. РУДИ

**З**аглянем-ка в Швейцарию, в эту дивную горную страну, где по отвесным, как стены, скалам растут темные сосновые леса. Взяберем на ослепительные снежные склоны, опять спустимся в зеленые равнины, по которым торопливо протекают шумные речки и ручьи, словно боясь опоздать слиться с морем и исчезнуть. Солнце палит и внизу, в глубокой долине, и в вышине, где нагромождены тяжелые снежные массы; с годами они подтаивают и сплавляются в блестящие ледяные скалы или катящиеся лавины и громоздкие глетчеры. Два таких глетчера возвышаются в широком ущелье под «Шрекгорном» и «Веттергорном», близ горного городка Гриндельвальда. На них стоит посмотреть; поэтому в летнее время сюда наезжает масса иностранцев со всех концов света. Они переходят высокие, покрытые снегом горы, или являются снизу из глубоких долин, и тогда им приходится взбираться ввысь в продолжение нескольких часов. По мере того, как они восходят, долина опускается все глубже и глубже, и они смотрят на нее сверху, точно из корзины воздушного шара. В вышине над ними, на горных выступах виснут тяжелыми, плотными, дымчатыми занавесями облака, а внизу в долине, где разбросаны бесчисленные темные деревянные домики, еще светит солнце, и залитый его лучами зеленый клочок земли выделяется так ярко, что кажется почти прозрачным. Внизу воды шумят, бурлят и режут, в вышине же мелодично журчат и булькают; ручейки выются здесь над скалами, точно серебряные ленты.

По обеим сторонам дороги, ведущей вверх, расположены бревенчатые дома; при каждом — картофельный огородик; тут это необходимо: в каждом домике масса ртов, целая куча ребят, а они-то есть мастера. И ребятки ежедневно высыпают на дорогу и обступают туристов, и пешеходов, и приехавших в экипажах. Вся эта толпа малышей торгует изящно вырезанными из дерева домиками, моделями настоящих здешних

домов, и другими безделушками. Малыши не смотрят на погоду — и в дождь, и в солнце они одинаково на своих местах.

Лет двадцать тому с небольшим постаивал тут иногда, но всегда в сторонке от других детей, один маленький мальчуган. Он тоже выходил торговать, но стоял всегда с таким серьезным личиком и так крепко сжимал в руках корзинку с товарами, как будто ни за что не желал расставаться с ними. Именно эта серьезность крохотного мальчугана и привлекала на него общее внимание. Его подзывали, и он почти всегда торговал счастливее всех своих товарищей, сам не зная почему. Повыше, на горе, жил его дедушка, который и вырезывал все эти изящные, прелестные домики. В хижине у них стоял старый шкаф, битком набитый разными резными вещами; там были и орешные щелкуны, и ножи, и вилки, и ящики, украшенные затейливой резьбой: завитушками, гирляндами и скачущими сернами. У любого ребенка разбегались бы глаза, но Руди — так звали мальчика — больше заглядывался на старое ружье, подвешенное к потолку. Дедушка сказал мальчику, что ружье будет со временем его, но не раньше, чем он подрастет и окрепнет настолько, что сумеет справляться с такой вещью.

Как ни мал был Руди, ему уже приходилось пасти коз, и если уметь лазать, как козы, значит быть хорошим пастухом, то Руди был отличным. Он лазал даже повыше коз, взлезал за птичьими гнездами на самые высокие деревья. Большой смельчак был Руди, но улыбку на его лице видали лишь в те минуты, когда он прислушивался к шуму водопада или грохоту лавины. Никогда не играл он с другими детьми и сходил с ними, лишь когда дедушка высылал его продавать разные безделушки, что Руди не особенно-то было по вкусу. Он больше любил карабкаться один по горам или сидеть подле деда и слушать его рассказы о старине и о народе, живущем вблизи, в Мейринге, откуда он сам был родом. Народ этот не жил тут с сотворения мира, рассказывал дедушка, но пришел сюда с севера, оставив там своих родичей, шведов. Такие сведения обогащали ум Руди, но он получал сведения и иным путем — от домашних животных. У них была большая собака по имени Айола, принадлежавшая еще покойному отцу Руди, и кот. Последний-то и играл в жизни Руди особенно важную роль — он выучил мальчика лазать.

«Пойдем со мной на крышу!» — говаривал кот самым ясным, понятным языком. Дитя, еще не умеющее говорить, отлично ведь понимает и кур, и уток, и кошек, и собак; они говорят так же понятно, как и папаша с мамашей, но чтобы понимать их, надо быть очень, очень маленьким! Тогда и дедушкина палка может заржать, стать лошадью, настоящей лошадью с головой, ногами и хвостом! Иные дети утрачивают такую понятливость позже, чем другие, и слынут поэтому неразвитыми, отставшими; о них говорят, что они чересчур долго остаются детьми. Мало ли что говорят!





«Пойдем со мной на крышу, Руди!» — вот первое, что сказал кот, а Руди понял. «Говорят, что можно упасть, — вздор! Не упадешь, если не будешь бояться! Иди! Одну лапку сюда, другую сюда! Упирайся передними лапками! Гляди в оба! И будь половчее! Встретится расщелина — перепрыгни, да держись крепко, как я!»

Руди так и делал; оттого он часто и сиживал рядом с котом на крыше, но сиживал и на верхушках деревьев и высоко на уступе скалы, куда даже кот не забирался.

«Выше! Выше! — твердили деревья и кусты. — Видишь, как мы лезем вверх, как крепко держимся, даже на самом крайнем, остром выступе!»

И Руди часто взбирался на гору еще до восхода солнца и пил там свое утреннее питье — свежий, крепительный горный воздух, питье, которое может изготавливать лишь сам Господь Бог, а люди только могут прочесть его рецепт: «свежий аромат горных трав да запах мяты и тимьяна, растущих в долинах». Все тяжелые частицы воздуха впиваются облаками, которые ветер расчесывает потом гребнем сосновых лесов, и вот воздух становится все легче, все свежее! Так вот какое питье пил Руди по утрам.

Солнечные лучи, благодатные дети солнца, целовали Руди в щеки, а Головокружение стояло на стороже, но не смело приблизиться. Ласточки же, жившие под крышей дедушкиного дома, — там лепилось по крайней мере семь гнезд, — вились над Руди и его стадом и щебетали: «Вы и мы! Мы и вы!» Они приносили Руди поклоны из дому, между прочим даже от двух кур, единственных птиц в доме, с которыми Руди, однако, не водился.

Как ни мал он был, ему уже доводилось путешествовать на своем веку, и неблизко для такого малыша. Родился он в кантоне Валлис, по ту сторону гор, и был перенесен сюда еще годовалым ребенком. А недавно он ходил пешком к водопаду Штаубаху, который развевается в воздухе серебряной вуалью перед лицом вечно снежной, ослепительно белой Юнгфрау. Побывал Руди и на большом Гриндельвальдском глетчере, но с этим связана грустная история! Мать его нашла там себе могилу; там же, по словам деда, маленький Руди потерял свою детскую веселость. Когда мальчику не было еще года, он больше смеялся, чем плакал, писала о нем деду мать, но с тех пор, как ребенок полежал в ледяном ущелье, он словно переродился душевно. Дед не любил много говорить об этом происшествии, но все соседи знали о нем.

Отец Руди был почтальоном; большая собака Айола постоянно сопровождала его в переходах через Симплон к Женевскому озеру. В долине Роны, в Валлийском кантоне, и теперь еще жили родственники Руди по отцу. Дядя его был отважным охотником за сернами и из-



вестным проводником. Руди было всего год, когда отец его умер, и матери захотелось переселиться с ребенком к своим родным в Бернский Оберланд. Недалеко от Гриндельвальда жил ее отец, занимавшийся резьбой по дереву и с избытком зарабатывавший себе на прожиток. Пустилась она с ребенком в путь в июне, вместе с двумя охотниками за сернами. Путники уже прошли наибольшую часть дороги, перебрались через гребень горы на снежную равнину, и молодая женщина уже видела перед собою родную долину с разбросанными по ней знакомыми домиками; оставалось только одолеть еще одну трудность — перейти большой глетчер. Недавно выпавший снег прикрыл расщелину, хоть и не проникавшую до самого дна пропасти, где шумела вода, но все же довольно глубокую. Молодая женщина, несшая на руках ребенка, поскользнулась, провалилась в снег и исчезла. Спутники не слышали даже крика, услышали только плач малютки. Прошло больше часа, пока им удалось принести из ближайшей хижины веревки и шесты, с помощью которых с большими усилиями и извлекли из расщелины — два трупа, как им показалось сначала. Были пущены в ход все средства, и ребенка удалось вернуть к жизни, но мать умерла. Старый дедушка принял в дом вместо дочери только внука, ребенка, который прежде больше смеялся, чем плакал, а теперь, казалось, совсем разучился смеяться. Перемена эта произошла в нем, верно, оттого, что он побывал в расщелине глетчера, в холодном ледяном царстве, где — по поверью швейцарских крестьян — осуждены томиться души грешников до дня Страшного суда.

Словно быстрый водопад, застывший в воздухе неровными зеленоватыми стеклянными глыбами, блещет глетчер; одна ледяная скала громоздится на другую. А в глубине пропастей ревут бурные потоки, образовавшиеся из растаявшего снега и льда. Глубокие ледяные пещеры и огромные ущелья образуют там диковинный хрустальный дворец — обиталище Девы Льдов, королевы глетчеров. Губительная, уничтожающая дева — наполовину дитя воздуха, наполовину могущественная повелительница вод. Она перелетает с одного острого ледяного уступа горных вершин на другой с быстротой серны, тогда как смелейшие горные проводники должны вырубать себе здесь во льду ступеньки. Она переплывает ревушие потоки на тонкой сосновой веточке, перепрыгивает со скалы на скалу, причем ее длинные, белые, как снег, волосы и зеленовато-голубое, блестящее, как воды альпийских озер, платье развеваются по ветру.

— Раздавлю, уничтожу! Здесь мое царство! — говорит она. — У меня украли прелестного мальчика; я уже отметила его своим поцелуем, но не успела зацеловать до смерти. Теперь он опять между людьми, пасет коз на горах, карабкается вверх, все вверх, хочет уйти от других, но от меня ему не уйти! Он мой, я доберусь до него!

И она просила Головокружение помочь ей: самой ей становилось летом слишком душно среди горной растительности, где благоухает мята. Головокружения же носятся тут целой стайей: их ведь много сестер. Дева Льдов и выбрала из них самую сильную, властную и в домах, и на вольном воздухе. Головокружения сидят по перилам лестниц и по перилам башен, бегают белками по краю скал, прыгивают, плывут по воздуху, как пловцы по воде, и заманивают своих жертв в пропасть. И Головокружение и Дева Льдов хватают людей, как полипы хватают все, что мимо них проплывает. Так вот Головокружению-то Дева Льдов и поручила поймать Руди.

— Да, поди-ка поймай его! — сказала Головокружение. — Я не могу! Дрянной кот обучил его всем своим штукам! Ребенка этого охраняет какая-то сила, что отталкивает меня. Я не могу схватить этого мальчишку, даже когда он висит, зацепившись за ветку, над пропастью, а уж как бы мне хотелось пощекотать его под подошвами или спустить кувырком в воздух! Да нет, не могу!

— Вдвоем-то мы сможем! — говорила Дева Льдов. — Ты или я! Я, я!

— Нет! Нет! — зазвучало им в ответ, словно в горах раздалось эхо колокольного звона. Это пели хором другие духи природы, кроткие, любящие, добрые дети солнца. Они как венком окружают вечерней порой горные вершины, паря на своих распростертых розовых крыльях, пламенеющих по мере того, как солнце садится, все ярче и ярче. Люди называют это сияние гор альпийским заревом. Когда же солнце сядет, они взлетают на самую вершину и ложатся на снег спать до восхода солнца. Они больше всего любят цветы, бабочек и людей. Из последних же они избрали и особенно полюбили Руди.

— Не поймать вам его! Не поймать! — говорили они.

— Ловила я людей и постарше и посильнее! — отвечала Дева Льдов.

Тогда дети солнца затягивали песнь о путнике, с которого вихрь сорвал плащ. Оболочку только унес ветер, а не самого человека! Вы, дети грубой силы, можете схватить его, но не удержать! Он сильнее духов, даже сильнее нас! Он взбирается на горы выше солнца, нашей матери! Он знает слово, которое связывает ветер и воды, так что они должны служить и повиноваться ему!

Голоса их звенели в воздухе, словно колокольчики. И каждое утро светили солнечные лучи в единственное окошечко дедушкиного домика на тихого ребенка. Дети солнца целовали его; они хотели оттаять, согреть его щечки, стереть с них ледяные поцелуи владычицы глетчеров, которые она запечатлела на них в то время, как ребенок лежал в объятиях умершей матери, в глубокой ледяной расщелине, откуда спасся как бы чудом.

Руди исполнилось восемь лет. Дядя его по отцу, живший по ту сторону гор, в долине Роны, предложил взять мальчика к себе: у него ребенок мог лучше подготовиться зарабатывать себе средства к жизни. Дед понял это и согласился расстаться с внуком.

И Руди собрался в путь. Со многими приходилось ему прощаться, не считая дедушки, прежде всего со старушкой Айолой.

— Отец твой был почтальоном, а я почтовой собакой! — сказала она Руди. — Мы то и дело подымались в гору да спускались вниз; я знаю и собак и людей по ту сторону гор. Я неболтлива по природе, но теперь нам уж немного времени остается беседовать друг с другом, так я на этот раз дам волю языку. Расскажу я тебе историю, которая все бродит у меня в голове. Я ее никак не пойму, не поймешь и ты, да и не надо! Вывела же я из нее вот что: не всем собакам и не всем людям живется одинаково! Не всем суждено нежиться у господ на коленях да лакать молоко! Я к этакому житью не привыкла, но видела раз такую собачку. Она ехала в почтовом дилижансе, занимала пассажирское место! Дама, госпожа ее, или, вернее, та дама, чьею госпожою была сама собачонка, везла с собою бутылку молока и поила им собачку, кормила ее сладкими сухарями, а собачонка даже не изволила есть, только нюхала, и госпожа съедала их сама. А я бежала по грязи рядом с почтовой каретой, голодная, как настоящая собака, и думала свою думу. «Не порядок!» — думала я, да мало ли о чем приходится сказать то же, если приглядеться ко всему хорошенько! Дай тебе Бог нежиться на коленях да ездить в карете, но зависит-то это не от нас самих! Мне вот, сколько я ни лаяла, не удалось этого добиться!

Вот что сказала Руди Айола, и мальчик обнял собаку за шею и поцеловал прямо в морду. Потом он взял на руки кота, но этот оцетинился.

— Теперь мы с тобой больше не товарищи, а царапать тебя я все-таки не хочу! Карабкайся себе по горам, как я тебя учил! Только не бойся, что упадешь, и — не упадешь никогда. — И кот убежал: ему не хотелось, чтобы Руди заметил, как он огорчен, а это так и светилося в его глазах.

Куры бегали по полу; одна была бесхвостая; какой-то путешественник, мнивший себя охотником, принял ее за хищную птицу да и отстрелил ей хвост.

— Руди-то собирается за горы! — сказала одна курица.

— У него вечно спешка! — сказала другая. — А я страсть не люблю прощаться! — И обе засеменили дальше.

С козами он тоже простился, и они жалобно заблеяли: «И мы-ы! И мы-ы!» — Очень это грустно было!

Случилось как раз, что двум известным проводникам из окрестности понадобилось побывать по ту сторону гор; с ними-то и отправился Руди пешком. Это был большой переход для такого малыша, но силы у него были, смелости тоже не занимать было.

Ласточки проводили их недалеко, распевая: «Вы и мы! Мы и вы!»

Дорога шла над быстрой Лючиной, которая разбивается здесь на множество мелких потоков и быстро несется вниз из черного ущелья Гриндельвальдского глетчера. Вместо мостов служат тут перекинутые с одного берега на другой деревья и каменные глыбы. Вот путники достигли Эллернвальда и стали подыматься вверх, как раз неподалеку от того места, где глетчер уже отделился от каменистой почвы горы. Дальше пошли по самому глетчеру, то шагая прямо по ледяным глыбам, то обходя их. Но Руди и ходок был хороший, и карабкаться мастер. Глаза его так и блестели от удовольствия, и он так твердо ступал своими крепкими ногами, обутыми в подкованные башмаки, точно хотел отпечатать по дороге свои следы. Черный землистый осадок, оставленный горными потоками, придавал глетчеру вид покрытого штукатуркой, из-под которой проглядывал местами зеленовато-голубой хрустальный лед. То и дело приходилось обходить маленькие пруды, образовавшиеся между нагроможденными одна на другую ледяными глыбами. Встретился им также по пути огромный камень, качавшийся на краю расщелины; вдруг он потерял равновесие и с грохотом покатился вниз; эхо гулко прокатилось по глубоким горным ущельям.

Путники все подымались да подымались. Сам глетчер напоминал бурно разлившуюся и внезапно застывшую беспорядочно нагроможденными одна на другую ледяными массами реку, сжатую между отвесными скалами. Руди вспомнилось на минуту, как он, по рассказам, лежал вместе с матерью в глубине одной из этих дышащих холодом расщелин. Но затем мысли его приняли другой оборот, — история эта была для него не диковиннее всех остальных, слышанных им в таком изобилии. В иных местах, где, по мнению спутников Руди, такому мальчугану трудно было карабкаться вверх, они протягивали ему руки, но он отказывался от помощи, говоря, что не устал, и держался на скользкой ледяной поверхности, как серна. Путники шли то по обнаженным скалам, то пробирались между огромными голыми камнями, то по низенькому сосновому кустарнику, то опять шли по зеленой траве; природа вокруг них все менялась, рисуя им все новые и новые виды. Кругом подымались снежные горы, которые знает тут каждый ребенок: «Юнгфрау», «Менх» и «Эйгер». Никогда еще не случалось Руди взбираться на такую высоту, где расстиралось безбрежное снежное море. В самом деле, куда ни взглянешь — всюду неподвижные снежные волны, с которых ветер как будто срезал верхушки и разбросал их по сторонам

отдельными пенистыми клочьями. Глетчеры стояли тут такой тесной толпой, словно хороводы водить собирались, если можно так выразиться. И каждый глетчер являлся хрустальным дворцом Девы Льдов; здесь ее царство; ее воля здесь закон! А воля ее — губить людей. Солнце светило ярко, снег сверкал ослепительной белизной и казался усеянным голубоватыми блестящими бриллиантиками. Мертвые насекомые, преимущественно бабочки и пчелы, валялись на снегу массаами; они отважились подняться слишком высоко — а может быть, их занесло в это безжизненное царство холода ветром — и погибли. На Веттергорне висело что-то вроде тонко расчесанного черного клочка шерсти — грозное облако. Оно опускалось все ниже и ниже; что оно предвещало? Ураган — фен, как называют здесь ужасный южный ветер. Впечатления этого путешествия навсегда врезались в память Руди: и ночлег в горах, и подъем, и глубокие ущелья, в которых вода точила каменные глыбы с незапамятных времен.

Покинутая каменная постройка, по ту сторону снежного моря, дала путникам приют на ночь. Они нашли тут древесный уголь и сосновые ветви. Запылал костер, путники устроились на ночь как могли удобнее. Оба проводника уселись возле огня, курили трубки и потягивали из кружек теплое, пряное питье, которое сами приготовили. Руди тоже получил свою порцию и сидел, прислушиваясь к рассказам о таинственных существах, населяющих Альпы, о диковинных, гигантских змеях, живущих в глубоких озерах, о ночных привидениях, переносящих сонных людей по воздуху в дивный плавучий город Венецию, о диком пастухе, пасущем своих черных овец на горных пастбищах. Если никому никогда и не удавалось увидеть их, то, по крайней мере, часто слышали звон колокольчиков и отдаленное дикое блеяние стада. Руди с любопытством, но без всякого страха — его он не знал — стал прислушиваться, и вдруг ему почудилось, что он действительно слышит это таинственное, глухое блеяние... Да, оно слышалось все явственнее и явственнее! Мужчины тоже услышали его, смолкли, прислушались и сказали Руди, чтобы он постарался не засыпать.

Это начался фен — дикий ураган, который несется с гор в долины и в своем неистовстве ломает деревья, как тростинки, переносит с одного берега рек на другой целые хижины, словно шахматные фигурки.

Прошел час, проводники сказали Руди, что теперь все кончилось и он может уснуть. Усталый мальчуган заснул, как по приказу.

Рано утром опять пустились в путь. В этот день солнце осветило для Руди новые, незнакомые ему горы, глетчеры и снежные равнины. Они уже вступили в кантон Валлис, перевалив через горный хребет, который виднелся из Гриндельвальда, но до нового жилища Руди было еще далеко. Иные ущелья, иные горные лужайки, леса и горные тропинки развertyвались перед взором мальчика; показались иные дома, иные люди. И какие люди! Уроды, с жирными, желтыми лицами, с зобастыми



шеями! Это были кретины. Они еле таскали ноги и глупо поглядывали на пришельцев. Особенным безобразием отличались женщины. Такие ли люди ждут Руди на его новой родине?

### III. ДЯДЯ

Слава Богу! В доме своего дяди Руди увидал таких же людей, к каким привык на родине. Тут был всего-навсего один кретин, слабоумный бедняга Саперли. Бедные создания эти распределены в кантоне Валлис по домам жителей и проводят в каждом по очереди месяца по два. Когда явился Руди, Саперли жил как раз у его дяди.

Дядя был еще сильный, ловкий охотник и, кроме того, бондарь по ремеслу. Жена его была маленького роста, но очень живая, подвижная женщина с каким-то птичьим лицом: глаза как у орлицы, шея длинная, покрытая пушком.

Все было тут ново для Руди — и одежда, и нравы, и обычаи, даже сам язык. Но ухо ребенка скоро освоилось с ним, и мальчик стал понимать окружающих. Все здесь указывало на достаток и благосостояние, куда большие, нежели знал Руди в доме деда: горница, в которой помещалась семья, была гораздо просторнее, стены изукрашены рогами серн и отполированными ружьями, а над дверями висело изображение Божьей Матери, окруженное венком из свежих альпийских роз и освещенное лампадой.

Дядя слыл, как уже сказано, за отважнейшего охотника и лучшего проводника в окрестности. Руди скоро сделался баловнем семьи, хотя здесь и до него был уже таковой — старый пес. Он не годился больше ни на что, но когда-то был прекрасной охотничьей собакой. Хозяева помнили это и смотрели на него чуть ли не как на члена семьи, так что собаке жилось отлично. Руди первым делом погладил ее, но она не так-то скоро подружилась с «чужим», каким явился для нее Руди. Мальчик, впрочем, скоро пустил прочные корни в сердцах всех домашних.

— Не так-то уж худо у нас, в кантоне Валлис! — говаривал дядя. — Серны у нас еще водятся; они вымирают медленнее, чем каменные бараны. И в наши времена живетсЯ много лучше, чем в старину. Как там ни расхваливают ее, наше время все же лучше. В нашем мешке прорезали дырку, впустили в нашу замкнутую долину свежего воздуха! На смену старому, отжившему всегда является новое и лучшее! — Так говаривал дядя, а если уж очень разговорится, то расскажет, бывало, и о своих детских годах, и о той поре, когда еще был в цвете лет отец его. Вот в те-то времена, по его рассказам, Валлис и был «глухим мешком», набитым большими жалкими крестинами. — Но вот явились французские



солдаты. То-то были заправские доктора! Живо уничтожили болезнь, да и людей вместе. Да, они умели драться на разные лады! И девушки их умели не хуже! — И дядя, смеясь, подмигивал своей жене, француженке родом. — Французы так ударили по камням, что камни поддавались! Они пробили в скалах Симплонский проход, проложили такую дорогу, что я могу сказать теперь трехлетнему ребенку: ступай в Италию, только держись проезжей дороги! — И дядя затягивал французскую песню и провозглашал «ура» Наполеону Бонапарту.

Тут Руди впервые услышал о Франции и о Лионе, большом городе близ долины Роны, в котором дяде его случалось бывать.

В несколько лет из Руди должен был выработаться искусный охотник за сернами — задатки в нем для этого были, по словам дяди. И дядя принялся учить мальчика держать в руках ружье, прицеливаться и стрелять, брал его с собою на охоту и заставлял пить теплую кровь серны, чтобы не знаять головокружения. Учил он также племянника узнавать время, когда скатятся лавины в различных частях гор — в полдень или вечером, смотря по тому, как действовали на них солнечные лучи; учил наблюдать за сернами и учиться у них прыгать: падать прямо на ноги и стоять твердо, а если на скалистом выступе не окажется опоры для ног, удерживаться локтями, пускать в дело каждый мускул в ляжках и икрах, впиваться в скалы, если понадобится, шейными позвонками! Серны умны и выставляют стражей, но охотник должен быть умнее их и заходить с подветренной стороны. И дядя умел-таки обманывать серн: вешал на свою альпийскую палку плащ и шляпу, и серны принимали чучело за человека. Эту штуку дядя и применил раз на охоте, в которой участвовал и Руди.

Горная тропинка была очень узка, можно даже сказать, что ее не было вовсе, а был лишь узкий карниз, лепившийся по краю скалы над пропастью. Снег, покрывавший его, наполовину растаял, камни осыпались под ногами; дядя растянулся во всю длину и пополз вперед на животе. Каждый камешек, отрывавшийся от скалы, падал, прыгал и катился вниз, перепрыгивая с уступа на уступ, пока не успокаивался в бездне. Руди остался стоять шагах в ста от дяди, на последнем прочном выступе скалы. Вдруг он увидел, что в воздухе парит над охотником огромный ягнятник, видимо, собиравшийся сбить ползущего червяка ударами крыльев в бездну и там пожрать его. А дядя не видел ничего, кроме серны да козленка, видневшихся по ту сторону ущелья. Руди зорко следил за птицей, он понял ее намерение и держал ружье наготове... Вдруг серна сделала скачок — дядя выстрелил, и животное было пронизано пулей; козленок же убежал, как будто всю жизнь свою только и делал, что спасался от погони. Огромная птица, испуганная выстрелом, улетела, и дядя только от Руди узнал о грозившей ему беде.

Веселые, довольные возвращались они домой; дядя насвистывал песенку, знакомую ему еще с детских лет; вдруг невдалеке послышался

какой-то странный звук. Они оглянулись и увидели, что снежный покров отделяется от вершины горы, вздувается, точно широкий кусок холста от ветра, и несется вниз по склону. Хребты снежных волн трещали и ломались в куски, словно мраморные плиты, распускались в пену и бешено стремились вниз с грохотом, подобным раскатам грома. Это была лавина, катившаяся хоть и не прямо на Руди и его дядю, но близко-близко.

— Держись крепче, Руди! — закричал дядя. — Изо всех сил!

И Руди схватился за ближайший древесный ствол; дядя вскарабкался на одну из ветвей и тоже держался крепко. Лавина катилась в нескольких саженях от них, но ураган, поднявшийся вокруг, ломал в щепки кусты и деревья, как тонкие тростинки, и разбрасывал их во все стороны. Руди был брошен на землю; ствол, за который он держался, как будто перепилили, и вершину дерева отбросило далеко в сторону. Между изломанными ветвями лежал дядя с раздробленной головой; рука его была еще тепла, но лицо неузнаваемо. Руди стоял над ним бледный, дрожащий. Это был первый страшный испуг в его жизни; тут он впервые пережил час ужасной опасности.

Ранним вечером принес он весть о смерти дяди в его дом, который отныне становился домом печали. Тетка стояла без слез, не говоря ни слова, и только когда труп принесли, горе ее вырвалось наружу. Бедный кретин заполз в свою постель, и целый день его не было видно нигде; только вечером он подошел к Руди.

— Напиши мне письмо! Саперли не умеет! Саперли отнесет его на почту!

— Письмо? — переспросил Руди. — От тебя? Кому?

— Господу Христу!

— Кому?!

Идиот, как они звали кретина, посмотрел на Руди глазами, полными слез, сложил руки и набожно, торжественно произнес:

— Иисусу Христу! Саперли хочет послать Ему письмо, попросить Его, чтобы умер Саперли, а не хозяин!

Руди пожал ему руку.

— Письмо не дойдет! Оно не вернет нам дядю!

Но трудно было Руди объяснить кретину, почему это невозможно.

— Теперь ты опора дома! — сказала тетка, и Руди стал ею.

#### IV. БАБЕТТА

Кто первый стрелок в кантоне Валлис? Спроси у серн, они знают. «Берегись Руди!» — сказали бы они. А кто первый красавец? «Руди!» — сказали бы девушки, но они не говорили: «Берегись Руди!» Не

говорили этого и степенные матушки: он кланялся им так же приветливо, как и молоденьким дочкам. Да, красивый он был парень! Смелый, веселый, смуглый, с белыми блестящими зубами и черными, как уголь, сверкающими глазами. И всего-то ему было двадцать лет! Он не боялся купаться в холодной воде, плавал, как рыба, карабкался по горам, как никто, лепился к отвесным скалам не хуже улитки — мускулами и жилами он похвалиться мог. Прыгать он тоже умел; первым его учителем был ведь кот, а потом серны. Лучшим, надежнейшим проводником тоже считался Руди, и этим занятием он мог бы составить себе целое состояние. Бондарным же ремеслом, которому также научил его дядя, он не занимался: его страстью была охота за сернами, но и это занятие приносило доходы. Руди считался поэтому хорошей партией для любой девушки; только бы он не занесся слишком высоко! Отличался он и в танцах, да так, что о красавце танцоре бредили и во сне, и наяву все девушки.

«А меня он поцеловал во время танцев!» — сказала дочка школьного учителя Аннета своей лучшей подруге. Такие вещи трудно ведь хранить про себя: они так вот сами и бегут с языка, как песок из дырявого мешка! Скоро все узнали, что скромник Руди целуется на танцах, а он хоть и поцеловал, да не ту, которую ему больше всего хотелось.

— Ишь его! — сказал один старый охотник. — Он поцеловал Аннету! Начал с буквы А и, верно, перецелует всю азбуку!

Один поцелуй на танцах — вот и все; больше болтать о Руди было нечего. Но он хоть и поцеловал Аннету, а сердце его было занято не ею.

Возле города Бэ, в тени ореховых деревьев, на берегу быстрого горного потока, жил богатый мельник. Занимал он большой дом, в три этажа, с маленькими башенками, обшитый тесом и крытый жестяными листами, так и горевшими при солнечном и лунном свете. На самой большой башне флюгером служило яблоко, пронзенное блестящей стрелой — в память о выстреле Вильгельма Телля. Мельница тоже смотрелась такой нарядной и красивой, что так и просилась на картинку или в описание. Но дочку мельника нельзя было ни нарисовать, ни описать. Так по крайней мере сказал бы Руди, и все-таки образ ее был нарисован в его сердце. Глазки ее зажгли в нем целое пламя, и вспыхнуло оно вдруг, внезапно, как вспыхивает и всякий пожар. Удивительнее же всего было то, что сама-то дочка мельника, красotka Бабетта, и не подозревала о пожаре, который зажгла: дай Бог, чтобы она обменялась с Руди парой слов!

Мельник был богат, и потому Бабетта сидела очень высоко! Но нет такой высоты, на которую бы нельзя было взобраться, думалось Руди. Надо карабкаться да не думать о том, что упадешь, и не упадешь! Этой мудростью он запасся еще в доме у дедушки.

И вот Руди понадобилось побывать в Бэ, а туда было не близко — целое путешествие! Железной дороги в то время еще не существовало. От

Ронского глетчера до подножия Симплонской горы, между многочисленными и разнообразными горными высотами, тянется широкая Валлийская долина; по ней несется могучая река Рона, которая часто выходит из берегов и катит свои волны по полям и дорогам, разрушая на своем пути все. Между городами Сионом и С. Морисом долина делает изгиб и близ самого С. Мориса становится до того узкой, что на ней только и остается место для русла реки да для узкой проезжей дороги. Ветхая сторожевая башня кантона Валлис, который здесь оканчивается, стоит на горном склоне и смотрит через каменный мост на таможенную, что на другом берегу. Там уже начинается кантон Во, и ближайший город тут — Бэ. Тут путник вступает в роскошную плодородную область: идешь точно по саду, усаженному каштанами и ореховыми деревьями; там и сям поднимаются кипарисы и гранатовые деревья; здесь совсем юг, словно попал в Италию.

Руди добрался до Бэ, уладил свои дела, потом стал разгуливать по городу, присматриваясь к людям, но увя! Ему не встретился даже ни один работник с мельницы, не то что сама Бабетта. Не того он ожидал!

Свечерело, воздух был напоен благоуханием тмина и липового цвета; на поросшие зелеными лесами горы была как будто заброшена сияющая голубоватая дымка; стояла тишина, но не сонная или мертвая, нет! Вся природа как будто притаила дыхание, притихла, словно позируя перед голубым небесным сводом, на котором должна была появиться ее фотография. Там и сям среди деревьев и по зеленому полю возвышались столбы, поддерживавшие телеграфную проволоку, проведенную через эту тихую долину. К одному из этих столбов прислонился какой-то предмет, до того неподвижный, что его можно было принять за обрубок дерева, но это был Руди. Он стоял, не шевелясь, затаив дыхание, как и все окружающее. Он не спал и подавно не умер, но, как по телеграфной проволоке часто пробегают известия о великих мировых событиях или о жизненных моментах, полных значения для какого-нибудь отдельного человека, а сама проволока не выдает этого ни малейшим колебанием, так и в мозгу Руди проносились мысли, мощные, всепоглощающие мысли о счастье всей его жизни, ставшие отныне его постоянными мыслями, сам же он оставался неподвижным. Глаза его были прикованы к одной точке, к огоньку, мелькавшему между листвою деревьев; он горел в светелке мельниковой дочки. Глядя на неподвижного Руди, можно было подумать, что он прицеливается в серну, но он сам в эту минуту был серной; серна тоже стоит иногда на одном месте, будто изваянная из скалы, и вдруг внезапно, услышав шум от скатившегося камня, делает прыжок и мчится прочь. То же было и с Руди, но его заставила встрепенуться мысль.

«Никогда не надо падать духом! — сказал он самому себе. — Надо прямо отправиться на мельницу! Поздороваться с мельником и Бабеттой! Не упадешь, если сам о том не думаешь! Должна же Бабетта увидеть меня, раз я буду ее мужем!»

И Руди засмеялся, ободрился и пошел на мельницу; он знал, чего хотел, а хотел он жениться на Бабетте.

Желтоватая вода шумно бежала по своему руслу; к ней свесились ветвями ивы и липы; Руди прошел по тропинке, но, как и тот добрый молодец, о котором поется в детской песенке:

К дому мельника пришел,  
Никого там не нашел,  
Кроме серого кота!

И тут тоже на лестнице стояла кошка, изгибала спинку и мяукала, но Руди не до нее было, и он постучал в дверь. Никто не отозвался, никто не отпер. «Мяу!» — сказала кошка. Будь Руди маленьким, он бы понял ее речь: «никого нет дома!», а вот теперь ему пришлось идти справляться о хозяевах на мельницу. Там ему сказали, что хозяин уехал в город Интерлакен — Inter lacus — Междоозерный, как объяснял школьный учитель, ученый отец Аннеты. Так вот туда-то и отправились мельник с Бабеттой: сегодня там начинается праздник, большое состязание стрелков, и будет длиться целую неделю. На этот праздник стекаются люди из всех немецких кантонов.

Бедняга Руди! Не вовремя попал он в Бэ. Пришлось ему повернуть обратно; так он и сделал — направился мимо городков С. Морис и Сион к родной долине, родным горам, но духом не пал. На следующее утро солнце только еще встало, а уж расположение его духа давно было в зените; оно, впрочем, никогда и не закатывалось. «Бабетта в Интерлакене, в нескольких днях ходьбы отсюда! — сказал он сам себе. — Далеко, если идти по проторенной дороге, но куда ближе, если пуститься напрямик через горы, а это и есть настоящая дорога для охотника за сернами. Да она и знакома мне, я уже ходил по ней: там, за горами, — моя старая родина, там я жил ребенком у бабушки!.. Так в Интерлакене праздник стрелков! Ну, я хочу получить первый приз, хочу быть там первым, как и в сердце Бабетты, когда познакомлюсь с нею!»

С легонькой котомкой за плечами, в которой лежало его праздничное платье, с ружьем и охотничьей сумкой пустился Руди по горам, самой короткой дорогой. И все же путь ему предстоял неблизкий! Но праздник ведь только что начался и продлится еще больше недели, а все это время, как сказали Руди рабочие, мельник с дочкой останутся у своих родственников в Интерлакене. Руди и пошел через Гемми, намереваясь спуститься в Гриндельвальдскую долину.

Весело, бодро шагал он, впивая в себя свежий, легкий, живительный горный воздух. Долина опускалась все глубже и глубже, горизонт все расширялся; вот уже стали попадаться снежные вершины, и скоро он вступил в область снегов. Руди был знаком тут каждый уступ, каждая вершина; он направился прямо к Шрекгорну, высоко подымавшему к небу свой, словно обсыпанный мукой, каменный перст.



Наконец Руди перешел хребет. Зеленые пастбища спускались к его родимой долине; воздух был легкий, на душе у него тоже было легко; гора и долина были убраны цветами и зеленью; сердце Руди билось от переполнявшего его чувства юношеской радости. «Старость никогда не придет, смерть тоже! Жить, царствовать, наслаждаться!» Руди чувствовал себя свободным, легким, как птица! Ласточки сновали над ним, щебеча, как и во времена его детства: «Вы и мы! Мы и вы!» Все в природе было полно жизни и радостного движения.

Внизу расстился бархатисто-зеленый луг, с разбросанными по нему темными деревянными домиками; река шумела и гудела. Руди смотрел на глетчер, на его зеленоватые хрустальные края, выделявшиеся на грязном снегу, на глубокие трещины, смотрел на верхний и на нижний глетчер. До слуха его доносился звон церковных колоколов, точно приветствовавших его возвращение на старую родину. Сердце Руди забилося сильнее, расширилось и переполнилось воспоминаниями до того, что Бабетта на минуту совсем исчезла в нем.

Он опять шел той же дорогой, на которой стаивал, бывало, мальчиком вместе с другими ребятишками и продавал резные деревянные домики. Вон там, за соснами, виднеется еще домик его дедушки; в нем живут теперь чужие. Ребятишки сбежались на дорогу, желая продать ему что-нибудь; один мальчуган протянул ему альпийскую розу, и Руди взял ее, как добрый знак, подумав при этом о Бабетте. Скоро он перешел мост, переброшенный через слившиеся вместе два рукава Лючины; лиственные деревья попадались все чаще, ореховые были уже так высоки и густы, что давали тень. И вот, наконец, Руди увидел развевающийся флаг: белый крест на красном поле, флаг швейцарцев и датчан. Перед ним лежал Интерлакен.

Красивее городка и быть не могло, как казалось Руди. В самом деле, швейцарский городок смотрелся в своем праздничном наряде так приветливо, не то что другие провинциальные города, с кучей громоздких каменных домов, тяжелые, неприветливые, надменные! Нет, тут деревянные домики как будто сами сбежали с горы в зеленую долину, к ясной, быстрой реке, и расположились в неправильный ряд, чтобы наскоро образовать улицу, да какую еще! Лучшую, прекраснейшую улицу в свете! Как она выросла с тех нор, как Руди видел ее в последний раз! Право, она как будто образовалась из всех тех хорошеньких деревянных домиков, которые вырезывал когда-то его дедушка и которыми был набит старый шкаф; только домики успели с тех пор подрасти, как и старые каштаны. Каждый домик был «гостиницей»; окна и балконы были изукрашены резьбой, крыши выдавались вперед. Домики смотрелись такими чистенькими, нарядными; перед каждым красовался цветник, обращенный к широкой, вымощенной камнями проезжей дороге. Дома шли вдоль всей дороги, но лишь по одной стороне, а то бы закрылся вид на зеленый



луг, на котором паслись коровы с колокольчиками на шее, звучащими, как и на горных альпийских пастбищах. Луг был окаймлен высокими горами, которые в самой середине вдруг расступались и открывали вид на сияющую снежную вершину Юнгфрау, первую красавицу Швейцарии.

Какое сборище разодетых иностранных господ и дам, какое смешение поселян из разных кантонов! На украшенных венками шляпах стрелков красовались номера, чтобы каждый знал свою очередь. Музыка, пение, звуки шарманок и духовых инструментов, крик и гам! Все дома и мосты были убраны щитами со стихотворными надписями и эмблемами; всюду развевались флаги и значки, раздавался выстрел за выстрелом!.. Это было для Руди лучшей музыкой, и в эту минуту он совсем забыл про Бабетту, ради которой явился сюда.

Стрелки толпились около тира; Руди тоже был в их числе и оказался самым счастливым: он без промаха попадал в самую середину мишени.

— Кто этот чужой молодец? — спрашивали все.

— Он говорит по-французски, как говорят в кантоне Валлис, но хорошо объясняется и по-нашему, по-немецки! — говорили некоторые.

— Он жил ребенком в окрестностях Гриндельвальда! — сказал кто-то.

Да, жизнь была в молодце ключом; глаза его блестели, глаз и рука были тверды, и он не давал промаха! Счастье придает смелости, а Руди и без того был смел. Скоро вокруг него образовался целый кружок друзей, его чествовали, хвалили, и Бабетта почти совсем вылетела у него из головы. Вдруг на плечо его легла тяжелая рука, и грубый голос спросил по-французски:

— Вы из кантона Валлис?

Руди обернулся и увидел перед собой красное, довольное лицо толстого богача-мельника из Бэ. Он совсем закрывал своей широкой массивной фигурой тоненькую, миловидную Бабетту; скоро, однако, ее блестящие темные глазки выглянули из-за его спины. Толстый мельник был польщен, что лучшим стрелком, героем праздника, оказывался его земляк. Руди в самом деле был счастливецом: те, ради кого он явился сюда и кого в эту минуту почти позабыл, сами шли ему навстречу.

Случись двум землякам встретиться на чужбине, они сейчас узнают друг друга, сейчас разговоятся. Руди был здесь, на празднике, первым благодаря своей меткой стрельбе, а мельник был первым у себя в Бэ благодаря своим денежкам и хорошей мельнице, и вот они теперь пожали друг другу руки, чего никогда не делали прежде. Бабетта тоже доверчиво протянула Руди ручку, и он так пожал ее, так поглядел на девушку, что она вся вспыхнула.

Мельник принялся рассказывать о том, какой длинный путь им пришлось сделать, какие большие города они видели. Да, им таки пришлось попутешествовать! И на пароходе-то они плыли, и по железной дороге ехали, и в почтовых дилижансах!

— А я шел кратчайшей дорогой! — сказал Руди. — Я перешел через горы; высоконько это, но все-таки взобраться можно!

— Да и сломать себе шею! — сказал мельник. — И вы таки сломите ее себе со своею отвагой!

— Не думай, что упадешь, и не упадешь никогда! — ответил Руди.

Родственники мельника, у которых гостили он и Бабетта в Интерлакене, пригласили Руди зайти к ним — он ведь был земляком их родственников. Приглашение это было для Руди как раз кстати; счастье благоприятствовало ему, как и всегда тому, кто надеется на самого себя, памятуя, что «Господь Бог дает нам орехи, да не раскалывает их для нас!»

И вот Руди сидел в семейном кружке у родственников мельника; все стали пить за здоровье первого стрелка, и Бабетта тоже чокнулась с Руди, а он горячо поблагодарил за тост.

Вечером все отправились гулять по красивой дороге, окаймленной старыми ореховыми деревьями, мимо разукрашенных гостиниц. Но тут была такая давка и толкотня, что Руди пришлось предложить Бабетте руку. Он говорил ей, что ужасно рад встрече с земляками из кантона Во: кантоны Во и Валлис ведь соседи! И он высказал свою радость так искренно, что Бабетта сочла долгом пожать ему за это руку. Так они шли рука об руку и болтали, точно старые знакомые. А презанимательная была эта миленькая красоточка Бабетта! Она вышучивала смешные и эксцентричные одеяния и манеры барынь-иностранок, и Руди находил, что все это выходило у нее премоило! Она ведь только шутила, а вовсе не имела в виду надсмехаться над людьми, — они могли быть очень и очень почтенными и даже милыми и любезными барынями! Бабетта хорошо это знала, у нее самой была крестная мать, такая же знатная дама, англичанка. Восемнадцать лет тому назад, когда Бабетту крестили, дама эта жила в Бэ; она-то и подарила крестнице дорогую булавку, которую теперь Бабетта носила на груди. Крестная мать писала им два раза, а нынешний год они должны были опять свидеться с нею в Интерлакене, куда она собиралась приехать с двумя своими дочерьми, старыми девами — им уж было под тридцать, а самой Бабетте всего восемнадцать!

Хорошенький ротик все время был в движении, но все, что болтала Бабетта, казалось Руди необыкновенно важным, и он, в свою очередь, рассказал ей все, что было нужно: рассказал, как часто бывал в Бэ, как знакома ему мельница, как часто он любовался на Бабетту — хотя она-то, вероятно, и не замечала его. Рассказал он и о своем последнем посещении мельницы, куда пришел с такими намерениями, которых не смел теперь и высказать, но не застал дома ни ее, ни отца ее и узнал, что они уехали далеко-далеко! Не так, однако же, далеко, чтобы нельзя было перелезть через стену, преграждавшую путь!

Да, он сказал ей все это и даже еще больше — сказал, что любит ее и что явился сюда... только ради нее, а вовсе не ради состязания!

Бабетта совсем притихла: уж очень много, пожалуй, даже слишком много доверил он ей за раз!

Пока они гуляли, солнце село за высокие горы, но Юнгфрау еще сияла в огненном венце, окруженная темно-зеленой рамкой соседних лесов. Толпы людей безмолвно любовались величавой картиной; Руди с Бабеттой тоже засмотрелись.

— Нигде в свете не может быть лучше! — сказала Бабетта.

— Нигде! — отозвался Руди и взглянул на Бабетту. — Завтра я должен отправиться домой! — прибавил он немного спустя.

— Навести нас в Бэ! — прошептала Бабетта. — Отец будет очень доволен!

## V. ПО ПУТИ ДОМОЙ

Нелегкую ношу пришлось тащить на себе Руди, возвращаясь на следующий день домой: три серебряных кубка, два великолепных ружья и серебряный кофейник! Ну, этот-то пригодится, когда Руди обзаведется домом! Но не это было главное. Кое-что поважнее нес он, вернее — несло его самого через горы. А погода между тем была сырая, серая, туманная, дождливая. Облака нависали над горами траурным крепом и заволакивали сияющие горные вершины. Из глубины леса доносились удары топора, и по горным склонам катились вниз деревья; сверху они казались щепками, а вблизи оказывались матчевыми деревьями. Лючина однообразно шумела, ветер свистел, облака неслись по небу. Вдруг возле Руди очутилась молодая девушка; он заметил ее только тогда, когда она поравнялась с ним. Она тоже собиралась перейти через горы. В глазах ее была какая-то притягательная сила, заставлявшая смотреть в них; они были удивительно прозрачные, ясные, как хрустальные, и глубокие-глубокие, какие-то бездонные!..

— Есть у тебя милый? — спросил ее Руди; он теперь ни о чем другом и думать не мог.

— Никого у меня нет! — ответила она и рассмеялась; но видно было, что она лукавит. — Зачем же делать обход? — продолжала она. — Возьмем левее, короче будет!

— Да, да, возьмем левее да и угодим в расщелину! — сказал Руди. — Так-то ты знаешь дорогу? А еще в проводники набиваешься!

— Я знаю настоящую дорогу! — сказала она. — И у меня голова на плечах, а твоя осталась там внизу, в долине! Но здесь, на высоте, надо помнить о Деве Льдов! Говорят, она не очень-то благоволит к людям!



— Не боюсь я ее! — сказал Руди. — Ей пришлось выпустить меня из своих лап, когда еще я был ребенком, а теперь-то я и подавно сумею уйти от нее!

Между тем стемнело, полил дождь, пошел снег, блестящий, ослепительно белый.

— Дай сюда руку! Я помогу тебе взбираться! — сказала девушка и дотронулась до его руки холодными, как лед, пальцами.

— Ты поможешь мне? — ответил Руди. — Я и без бабьей помощи давно умею лазить по горам! — И он ускорил шаги. Метель укутывала его, словно саваном; ветер свистел, а позади охотника раздавались смех и пение девушки. Какие странные звуки! Должно быть, это было наваждение Девы Льдов. Руди много слышал об ее проделках в ту ночевку на горах, когда он отправлялся из дедушкиного дома к дяде.

Снег поредел, облака остались внизу; он оглянулся назад — никого уже не было видно, но хохот и пение раздавались по-прежнему. Странно, не по-человечески звучали они.

Наконец, Руди достиг высочайшей горной площадки, откуда уже начинался спуск в долину Роны; тут он увидел в той стороне, где лежит долина Шамуни, на узкой голубой полоске неба, проглянувшей из облаков, две ясные звездочки. Руди вспомнилась Бабетта, он стал думать о ней, о себе самом, о своем счастье, и — на сердце у него стало так тепло!

## VI. В ГОСТЯХ У МЕЛЬНИКА

— Вот так барские вещи принес ты с собою, Руди! — сказала ему старая тетка, и ее странные орлиные глаза засверкали, а худая шея заворочалась еще быстрее. — Везет тебе, Руди! Дай я расцелую тебя, милый мой мальчик!

И Руди позволил себя целовать, хотя по лицу его видно было, что он только покоряется обстоятельствам, примиряется с маленькими домашними неприятностями.

— Какой ты красавец, Руди! — прибавила старуха.

— Ну, ну, рассказывай сказки! — сказал Руди и засмеялся; слова старухи, однако, польстили ему.

— А я все-таки повторю! — сказала она. — Везет тебе!

— Ну, насчет этого-то я согласен с тобой! — ответил он, и ему вспомнилась Бабетта.

Никогда еще он так не скучал по глубокой долине.

«Теперь они, верно, дома! — сказал он сам себе. — Ведь прошло уже два дня с того срока, который они назначили! Надо пойти в Бэ!»



И Руди пошел в Бэ. Хозяева оказались дома. Приняли его очень радушно и передали поклоны от интерлакенских родственников. Бабетта говорила немного; она стала вдруг молчалива; зато говорили ее глаза, и Руди этого было довольно. Мельник вообще любил поговорить сам — он ведь привык, что над его прибаутками и красными словами всегда дружно смеялись. Еще бы! Он был такой богат! Но теперь он, по-видимому, предпочитал слушать рассказы Руди о его охотничьих приключениях. Руди рассказывал о трудностях и опасностях, которые приходится испытывать охотнику за сернами на высоких скалах, как приходится карабкаться по ненадежным снежным карнизам, которые прилепляют к краю скал ветер да погода, перебираться по опасным мостам, переброшенным через пропасти снежной метелью. И глаза Руди так и блеснули, когда он рассказывал об этих приключениях, о смысленности серн, об их смелых прыжках, о свирепом фене и катящихся лавинах. Он отлично замечал, что рассказы его все больше и больше располагали к нему мельника; особенно же понравились тому рассказы об ягнятниках и отважных королевских орлах.

Неподалеку оттуда, в кантоне Валлис, рассказывал между прочим Руди, находилось орлиное гнездо, хитро устроенное под выступом скалы. В гнезде был один птенец, но до него уж не добраться было! Еще на днях один англичанин предлагал Руди целую горсть золота, если он достанет птенца живым. «Но всему есть границы! — ответил ему Руди. — Орленка достать нельзя — надо быть сумасшедшим, чтобы взяться за такое дело!»

Вино текло, текла и беседа, и вечер показался Руди чересчур коротким, а между тем он простился с хозяевами уже далеко за полночь.

Свет еще виднелся несколько времени в окнах дома и мелькал между ветвями деревьев. Из слухового окна вышла на крышу комнатная кошка, а по водосточной трубе поднялась туда кухонная.

— Знаешь новость на мельнице? — спросила комнатная кошка. — В доме тайная помолвка! Отец-то еще ничего не знает! А Руди и Бабетта целый вечер то и дело наступали друг другу под стол на лапки! Они и на меня наступили два раза, но я и не мякнула, чтобы не возбудить подозрений.

— А вот я так непременно мякнула бы! — сказала кухонная кошка.

— Ну, что можно в кухне, то не годится в комнате! — сказала комнатная. — А хотелось бы мне знать, что скажет мельник, когда услышит о помолвке!

Да, это-то хотелось знать и Руди, и ждать долго он не смог. Через несколько дней по мосту, перекинутому через Рону и соединявшему кантоны Валлис и Во, катился дилижанс, а в нем сидел Руди, бодрый и смелый, как всегда, и предавался чудным мечтам о согласии, которое получит сегодня же вечером.

Когда же вечер настал и дилижанс покатился по той же дороге обратно, в нем опять сидел Руди, а комнатная кошка опять явилась с новостью.



— Эй, ты, из кухни! Знаешь что? Мельник-то ведь узнал все. Нечего сказать, славный конёк вышел! Руди явился сегодня под вечер и о чем-то долго шептался с Бабеттою в сенях, как раз перед комнатою мельника. Я лежала у самых их ног, но им не до меня было. «Я прямо пойду к твоему отцу!» — сказал Руди. «Что ж, это дело честное! Не пойти ли мне с тобою?» — спросила Бабетта. — Я подбодрю тебя!» — «Я и без того бодр!» — ответил Руди. — Но, пожалуй, пойдем вместе: при тебе он волей-неволей будет сговорчивее!» И они вошли в комнату; по пути Руди пребольно наступил мне на хвост! Он ужасно неуклюж! Я мяукнула, но ни он, ни Бабетта и ухом не повели. Они отворили дверь, вошли оба, а я прошмыгнула вперед и вспрыгнула на спинку стула — кто ж его знал, как Руди станет тут расшаркиваться! А вот мельник так шаркнул его! Любо! Вон из дома, в горы, к сернам! Пусть метит в них, а не в нашу Бабетточку!

— Ну, а что же Руди говорил? — спросила кухонная кошка.

— Говорил что? Да что всегда говорится при сватовстве: «Я люблю ее, а она меня! А раз в кринке хватает молока на одного, хватит и на двоих!» — «Но она сидит слишком высоко! Тебе не достать ее!» — сказал мельник. — Она сидит на мешке с крупой, да еще с золотой вдобавок! Вот что! Тебе не достать до нее!» — «До всего можно достать, была бы охота!» — ответил Руди: он ведь смелый такой. «А вот орленка-то все-таки не можешь достать, сам же сказал! Ну, а Бабетта сидит еще повыше!» — «Я достану обоих!» — сказал Руди. «Так я подарю тебе Бабетту, когда ты подаришь мне живого орленка!» — сказал мельник и захохотал так, что слезы покатались у него по щекам. — А теперь спасибо за посещение, Руди! Приходи опять завтра, нас не будет дома! Прощай!» Бабетта тоже мяукнула «прощай», да так жалобно, словно котенок, потерявший матку. «Слово — слово, человек — человек!» — сказал Руди. — Не плачь, Бабетта! Я добуду орленка!» — «И надеюсь, сломишь себе шею!» — сказал мельник, — а мы избавимся от твоей беготни!» Да, вот это я называю «шаркнуть»! Теперь Руди нет, Бабетта сидит и плачет, а мельник напевает немецкую песню; он выучил ее во время поездки! Ну, что до меня, то я горевать не стану — толку из этого не будет!

— Ну, все же хоть для вида надо! — сказала кухонная кошка.

## VII. ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

С горной тропинки неслись в долину веселые, громкие «йодли», дышавшие удалью и бодростью духа. Это шел Руди; он шел к другу своему Везинану.

— Ты должен помочь мне! Мы прихватим еще Рагли — мне надо достать орленка из гнезда под выступом скалы!

— Не хочешь ли сперва снять пятна с луны — это так же легко! — сказал Везинан. — Ты, видно, весело настроен сегодня!

— Да! Я ведь собираюсь жениться!.. Ну, а теперь поговорим серьезно: тебе надо знать все!

И скоро и Везинан, и Рагли узнали, чего хотел Руди.

— Смелый ты парень! — сказали они. — Но это дело не выгорит! Сломаешь себе шею!

— Не упадешь, если не будешь думать об этом! — ответил Руди.

Около полуночи они пустились в путь, запасшись шестами, лестницами и веревками. Дорога шла кустарником, по скатывающимся камням, все вверх. Было темно; воды шумели внизу, журчали в вышине; серые облака ползли над головами путников. Наконец, они поднялись на верхнюю площадку; здесь стало еще темнее: отвесные утесы почти сходились вверху, и оттуда светился лишь узенький клочок голубого неба. Внизу же у самых ног охотников развиралась бездна, где глухо шумела вода. Тихо сидели они все трое, дожидаясь зари и вылета орлицы из гнезда. Надо было сначала застрелить ее, а потом уж думать о поимке птенца. Руди сидел на низеньком камне так неподвижно, как будто и сам был из камня. Ружье он держал наготове и не сводил глаз с верхнего уступа, под которым лепилось гнездо. Долго пришлось охотникам ждать.

Вдруг в вышине над ними послышался свист могучих крыльев, и какой-то огромный предмет заслонил им свет. Два ружейных дула направились на орлицу в ту же минуту, как она вылетела из гнезда. Раздался выстрел... одно мгновение распростертые крылья еще шевелились, затем птица стала медленно опускаться вниз; казалось, эта огромная тяжелая масса с широко распростертыми крыльями наполнит собою все ущелье и увлечет в бездну охотников. Но вот птица исчезла в пропасти; послышался треск древесных сучьев и ветвей кустарника, которые обламывало в своем падении тело орлицы.

И вот началась суетня: связали вместе три самые длинные лестницы и укрепили их на краю обрыва. Но оказалось, что они не доставали до гнезда; над последней ступенью возвышался еще порядочный уступ отвесной, гладкой, как стена, скалы, под верхним огромным выступом которой и находилось гнездо. После краткого совещания остановились на том, что иного ничего сделать нельзя, как взобраться на самую вершину скалы и спустить оттуда вниз еще пару связанных вместе лестниц и прикрепить к трем, стоявшим на нижней площадке. С большим трудом втащили по тропинке вверх две лестницы и крепко связали их там веревками. Затем лестницы были спущены с уступа и свободно повисли в воздухе над пропастью. Руди живо очутился на самой нижней ступени колеблющихся лестниц.

Утро было холодное, над черным ущельем клубился густой туман. Руди сидел, как муха на зыблемой ветром соломинке, которую обронила на краю высокой фабричной трубы строящая там гнездо птица. Но муха-то может улететь, если соломинку сдунет ветром, а Руди мог только сломать себе шею. Ветер свистел у него в ушах; внизу с шумом бежала вода, вытекавшая из таявшего глетчера, дворца Девы Льдов.

Вот Руди раскачал лестницу, как паук раскачивает свою длинную, колеблющуюся паутинку, собираясь прикрепить ее к чему-нибудь. Коснувшись в четвертый раз края лестницы, подымавшейся снизу, он поймал ее, и скоро лестницы были связаны вместе верной, крепкой рукой; тем не менее они колебались и качались, точно скрепленные истершимися петлями.

Все пять лестниц казались колеблющейся тростинкой, вертикально упиравшейся в стену скалы. Теперь предстояло самое трудное — вскарабкаться по ней, как кошка, но Руди умел и это; кот выучил его. Головокружения он не знал, а оно плыло по воздуху позади него, протягивая к нему свои полипьи руки. Вот Руди остановился на верхней ступеньке лестницы, но и отсюда он еще не мог заглянуть в самое гнездо. Руди попробовал, крепко ли держатся нижние, толстые, ветви, из которых сплетено было дно гнезда, выбрал самую надежную, уцепился за нее и приподнялся на руке. Теперь голова и грудь его были выше гнезда; он заглянул туда, но его так и отшибло удушливым зловонием падали: разложившихся овец, серн и птиц; Головокружение, не смевшее схватить его, нарочно дунуло ему в лицо эти ядовитые испарения, чтобы помутить его сознание. Внизу же, в черной зияющей глубине, на хребте снежных волн, сидела сама Дева Льдов, с распущенными длинными зеленоватыми волосами, и вперила в охотника свои мертвящие глаза — ни дать ни взять два ружейных дула! «Теперь я поймаю тебя!»

В углу гнезда Руди увидал большого, сильного орленка, который еще не умел летать. Руди пристально вперил в него взор, и, крепко держась за ветку одною рукой, другою набросил на орленка петлю... Орленок был пойман живым! Петля захлестнулась вокруг его ноги; Руди вскинул петлю с птицей на плечи, так что она висела ниже его ног, сам же с помощью спущенной ему со скалы веревки опять утвердился на верхней ступени лестницы.

«Держись крепко! Не думай, что упадешь, и не упадешь никогда!» И он следовал этому мудрому совету, держался крепко, карабкался, был уверен, что не упадет и — не упал.

Раздался сильный, торжествующий «йодль»: Руди с орленком в руках стоял на твердой площадке скалы.

## VIII. У КОМНАТНОЙ КОШКИ ОПЯТЬ НОВОСТИ

— Вот вам требуемое! — сказал Руди, войдя в горницу мельника, поставил на пол большую корзинку, снял с нее холст, и оттуда выглянули два желтых, окруженных черными ободками, глаза. Как они дико сверкали! Точно хотели впиться в тех, на кого смотрели, и испепелить их; короткий, сильный клюв широко раскрывался, собираясь укусить; красная шея была покрыта пухом.

— Орленок! — закричал мельник.

Бабетта вскрикнула и отскочила в сторону, но не могла глаз оторвать от Руди и от орленка.

— Ну, ты не даешь себя запугать! — сказал мельник.

— А вы всегда верны своему слову! У всякого своя особенность! — сказал Руди.

— Но отчего ты не сломал себе шеи? — спросил мельник.

— Оттого, что держался крепко! — сказал Руди. — Так я и буду продолжать — крепко держаться за Бабетту!

— Получи ее сперва! — сказал мельник и засмеялся; это было добрым знаком — Бабетта уж знала. — Ну, давай-ка вытащим его из корзины! Ишь ты! Страх просто, как он таращится! Как ты схватил его?

Руди пришлось рассказать обо всем; он говорил, а мельник все шире и шире раскрывал глаза.

— С твоей удалей да счастьем ты прокормишь трех жен! — сказал он наконец.

— Спасибо! Спасибо! — вскричал Руди.

— Ну, да Бабетты-то ты все-таки еще не получил! — сказал мельник и шутиливо похлопал молодого охотника по плечу.

— Знаешь новости? — спросила комнатная кошка кухонную. — Руди принес нам орленка и взамен берет Бабетту. Они уж целовались прямо на глазах у отца! Это ведь почти то же, что помолвка! Старик уж не порывался «шаркнуть» Руди за дверь, припрятал когти и прикорнул после обеда, а молодежь оставил миловаться! А уж сколько им надо пересказать друг другу! Они не кончат и до Рождества.

Они и не кончили. Ветер крутил опавшую и побуревшую листву, снег шел и в долине, и в горах. Дева Льдов сидела в своем гордом замке, который вырастал зимою. На скалах повисли толстые хоботообразные ледяные сосульки; это застыли горные потоки, которые летом извиваются тут, по скалам, словно серебристые ленты. Напудренные сосны сверкали ледяными кристаллами и фантастическими гирляндами... Дева Льдов со свистом носилась над глубокой долиной на крыльях буйного ветра; снежный ковер покрывал всю местность вплоть до Бэ, так что она могла явиться

туда и узнать, что Руди сделался домоседом — вечно сидел у Бабетты! Свадьбу собирались сыграть летом, и у жениха и невесты часто звенело в ушах: друзья не переставали толковать о них. Резвая, веселая Бабетта сияла, как солнышко, цвела, как альпийская роза, была прелестна, как сама приближавшаяся весна, по мановению которой все птички должны были запеть о лете и о свадьбе!

— И как только они могут вечно шушукаться да нежничать? Мне это вечное их мяуканье просто надоело! — сказала комнатная кошка.

## IX. ДЕВА ЛЬДОВ

Весна убралась в зеленые, сочные гирлянды из ветвей ореховых и каштановых деревьев. Пышнее же всего оделись зеленью деревья у моста близ города Мориса, у берегов Женевского озера и по берегам Роны, дико выбегающей из-под зеленого глетчера, хрустального дворца Девы Льдов. Там ее царство, там она переносится с одной снежной равнины на другую на крыльях буйного ветра, нежится на залитых солнцем мягких снежных пуховиках, сидит и смотрит своими дальнзоркими глазами вниз, в глубокие долины, где, словно муравьи на освещенном солнцем камне, копошатся люди.

— Вы, «избранники духа», как называют вас дети солнца! — говорила она. — Козявки вы! Спустить на вас комок снега, и вы будете сплюснуты, раздавлены со всеми вашими домами и городами! — И она гордо вскидывала голову и озирала своим мертвящим взором окружающее, потом опять смотрела вниз. Снизу из долины доносился грохот взрывов — люди взрывали скалы, прокладывая туннели и мосты для железных дорог. — Они играют в кротов! — сказала Дева Льдов. — Копают себе проходы, вот откуда эта ружейная трескотня. А вот двинь слегка мои дворцы и — раздастся грохот посильнее громовых раскатов!

Из долины подымался дымок; он двигался вперед, развеваясь в воздухе; это развевался султан локомотива, который мчал по вновь проложенным рельсам извивающуюся змею — поезд; каждое кольцо было вагоном. Змея ползла вперед с быстротою стрелы.

— Они играют там в господ, эти «избранники духа»! — сказала опять Дева Льдов. — Но силы природы все же могущественнее их! — И она засмеялась, запела; грохотом отдались эти звуки в долине.

«Вот лавина катится!» — сказали люди. А дети солнца еще громче запели о человеческом уме, который господствует над миром, покоряет моря, двигает горы, засыпает пропасти. Ум человеческий господствует над силами природы!

В ту же самую минуту на снежную равнину, где сидела Дева Льдов, взобралась компания путешественников. Они крепко связались все вместе веревкой, чтобы устойчивее двигаться по скользкой ледяной поверхности, у краев пропасти.

— Козявки! — сказала Дева Льдов. — Вам быть господами над силами природы?! — И, отвернувшись от них, она вперила насмешливый взор в глубокую долину, по которой пыхтя мчался поезд. — Вон они сидят, эти «умы»! Я вижу каждого! Вон один восседает особняком, словно король! А вон там их целая куча! Половина из них спит! Когда же паровой дракон остановится, они вылезут и пойдут каждый своей дорогой. «Умы» разбредутся по свету! — И она рассмеялась.

«Опять лавина катится!» — говорили люди в долине.

— До нас она не доберется! — сказали двое путников, сидевших на спине дракона. Эти двое были, как говорится, «одной душою, одною мыслью». То ехали по железной дороге Руди и Бабетта; ехал с ними и мельник.

— В виде багажа! — говорил он. — Меня взяли с собою, как необходимое!

— Вон она сидит, эта парочка! — сказала Дева Льдов. — Сколько серн я раздавила, сколько миллионов роз раздробила так, что не осталось и корешков. Сотру я и их всех в порошок! «Умы! Избранники духа»! — и она засмеялась.

«Опять катится лавина!» — сказали люди в долине.

## Х. КРЕСТНАЯ МАТЬ

В Монтрэ, одном из ближайших городков, образующем вместе с городами Клараном, Вевэ и Крэном гирлянду вокруг северо-восточной части Женевского озера, жила крестная мать Бабетты, знатная барыня, англичанка, со своими дочерьми и молодым родственником. Они только что прибыли туда, но мельник уже успел побывать у них и сообщить им и о помолвке Бабетты с Руди, и об орленке, и о празднике в Интерлакене — словом, обо всем. Все это очень понравилось дамам и сильно расположило их в пользу Руди, Бабетты и самого мельника. И вот их всех троих пригласили приехать в Монтрэ; они и приехали: надо же было крестной матери повидать Бабетту, а Бабетте — крестную мать.

На пароход садились как раз у небольшого городка Вильнева, у конца Женевского озера, и через полчаса приезжали в Вевэ, что лежит чуть пониже Монтрэ. Берег этот воспет поэтами. Тут, в тени ореховых деревьев, сиживал у глубокого голубовато-зеленого озера Байрон и писал свою



дивную поэму о шильонском узнике; тут, где отражаются в воде плакучие ивы Кларана, ходил Руссо, обдумывая свою «Элоизу». Рона скользит у подножия высоких снежных гор Савойи; неподалеку от впадения реки, на озере, лежит островок, такой маленький, что с берега кажется просто лодкой. Собственно говоря, это небольшая скала, которую лет сто тому назад одна дама велела обложить камнями, покрыть землей и засадить акациями. Три акации покрывали теперь своею тенью весь островок. Бабетта пришла в восторг от этого клочка земли, он показался ей милее всего, что они видели по пути, и ей непременно захотелось побывать на нем. Там должно быть чудесно, восхитительно! Непременно надо заехать туда! Но пароход проехал, как и следовало, мимо — прямо в Вевэ.

Оттуда маленькая компания отправилась по дороге в Монтрэ; дорога шла в гору между двумя рядами белых, освещенных солнцем стен, которыми были обнесены виноградники; дома поселян ютились в тени фиговых деревьев, в садах росли лавры и кипарисы. Пансион, где жила крестная мать, лежал на полпути между Вевэ и Монтрэ.

Гостей ожидал самый радушный прием. Крестная мать оказалась высокой, приветливой дамой, с круглым улыбающимся лицом. В детстве она, наверно, походила на одного из рафаэлевских херувимов; теперь же «херувим» успел состариться: вьющиеся волосы, окружавшие когда-то его личико золотым ореолом, были теперь седы. Дочери ее были нарядно одетые, изящные, длинные и стройные особы. Молодой их кузен, одетый с ног до головы в белое, рыжеволосый, с рыжими же и притом такими густыми бакенбардами, что их хватило бы на трех джентльменов, выказал Бабетте величайшее внимание.

На большом столе в гостиной лежала масса книг в богатых переплетах, ноты и рисунки; дверь на балкон была открыта, а с балкона открывался чудный вид на озеро, такое тихое и гладкое, что Савойские горы с разбросанными по ним городками, лесами и снегами на вершинах отражались в нем, как в зеркале.

Руди, всегда такой бодрый, жизнерадостный, живой, чувствовал себя тут не в своей тарелке и еле-еле двигался по блестящему, скользкому полу, точно по нему был рассыпан горох. Да и время-то тянулось бесконечно! Попался Руди, словно белка в колесо, а тут еще вздумали отправиться на прогулку! Время потянулось еще медленнее. Руди положительно приходилось делать один шаг вперед да два назад, чтобы не забежать вперед других. Дойдя до старого, мрачного Шильонского замка, они зашли посмотреть на позорный столб темницы, куда сажали приговоренных к смерти, на ржавые цепи, ввинченные в скалистые стены, на каменные нары и на люки, в которые проваливались несчастные, попадая прямо на железные острые зубцы и затем — в водоворот. И смотреть на все это называлось удовольствием! Байрон воспел и опоэтизировал это ужасное место, но Руди видел в нем лишь то, чем оно было в

действительности, — место истязаний. Он облокотился на каменный выступ окна и смотрел на глубокую зеленовато-голубую воду и на уединенный островок с тремя акациями. Как ему хотелось туда, уйти от всей этой болтливой компании! Но Бабетте, как она призналась потом, было страсть как весело! Кузена она нашла настоящим джентльменом.

— Настоящий болван он, вот что! — сказал Руди.

И Бабетте в первый раз не понравилось то, что говорил Руди. Англичанин подарил ей на память о Шильоне книжечку; это была поэма Байрона «Шильонский узник» во французском переводе, так что Бабетта могла прочесть ее.

— Книга-то, может статься, и хороша, — сказал Руди, — но этот лощеный молодчик, который подарил ее тебе, ничего, по-моему, не стоит.

— Он точно мучной мешок без муки! — сказал мельник и сам захохотал над своей остроумной шуткой. Руди тоже рассмеялся, вполне соглашаясь с мельником.

## XI. КУЗЕН

Явившись через несколько дней в гости на мельницу, Руди нашел там молодого англичанина; Бабетта как раз угощала его вареной форелью, которую, конечно собственноручно, украсила зеленью петрушки, чтобы блюдо смотрелось аппетитнее. Это уж было совсем лишнее! И что нужно тут этому англичанину? Чего он хотел? Чтобы Бабетта угощала его, любезничала с ним? Руди ревновал, и это тешило Бабетту. Ей весело было знакомиться со всеми сторонами его характера — и сильными, и слабыми. Любовь была еще для нее игрою, вот она и играла с сердцем Руди, несмотря на то, что он был «ее счастьем, мечтой ее жизни, самым дорогим для нее человеком на свете!» И чем мрачнее глядел он, тем веселее смеялись ее глазки; она готова была расцеловать белокурого англичанина с золотистыми бакенбардами, только бы Руди взбесился и убежал прочь. Это бы показало ей, как сильно он ее любит! Не умно это было со стороны Бабетты! Ну и то сказать, ей ведь шел всего девятнадцатый год! Где ей было сообразить, что она поступает нехорошо, что англичанин может истолковать себе ее поведение совсем иначе: принять честную, только что просватанную дочку мельника за особу, более веселую и легкомысленную, чем следовало.

Мельница стояла у проезжей дороги, которая бежала от самого Бэ под покрытыми снегом скалистыми вершинами, носящими на местном наречии название «Diablerets»; неподалеку от мельницы, клубясь и пенясь, струился быстрый горный ручей. Двигал мельницу, однако, не он, а другой ручей, поменьше, который, низвергаясь с утеса по другую сторону реки, пробегал

сначала по каменной трубе под дорогой, потом с силой выбивался наверх и протекал по закрытому, широкому деревянному желобу, проведенному над водой с одного берега реки на другой. Этот-то ручей и вертел мельничные колеса. Желоб всегда так переполнялся водой, что представлял собой мокрый, скользкий и очень ненадежный мост для того, кому бы вздумалось ради сокращения пути перебраться по нему на мельницу. А вот эта-то фантазия как раз и пришла молодому англичанину. Одетый с ног до головы в белое, как мельник, он перебирался вечером по желобу, руководимый светом, мелькавшим в окошке Бабетты. Но он не учился лазать и карабкаться и чуть было не выкупался в воде с головою, да, по счастью, отделался мокрыми рукавами и обрызганными панталонами. Мокрый, грязный, явился он под окно Бабетты, вскарабкался на старую липу и давай кричать по-совиному — другой птице он подражать не умел. Бабетта услышала и поглядела сквозь тоненькие занавески, но, увидя человека в белом и догадавшись, кто это такой, она и испугалась и рассердилась, быстро потушила свечку и, убедившись, что все задвижки окна задвинуты плотно, предоставила англичанину петь и быть на здоровье.

Вот ужас был бы, если бы Руди находился на мельнице! Но Руди не было на мельнице. Нет, хуже — он был как раз тут, внизу! Понесся громкий, крупный разговор... Ну — быть драке, а пожалуй, и до убийства дойдет!

Бабетта в ужасе открыла окно, окликнула Руди и попросила его уйти: она не могла позволить ему остаться!

— Не можешь позволить мне остаться? — произнес он. — Так у вас уговор был! Ты поджидаешь дружка получше, чем я! Стыдно, Бабетта!

— Гадкий! Противный! — сказала Бабетта. — Я ненавижу тебя! — И она заплакала. — Уходи! Уходи!

— Не заслужил я этого! — сказал он и ушел. Щеки его горели, как в огне, сердце тоже.

Бабетта кинулась на постель, заливаясь слезами.

— Я тебя так люблю, Руди, а ты считаешь меня такой гадкой!..

И она рассердилась, ужасно рассердилась на него. Но то и хорошо было, иначе бы она уж чересчур разогорчилась. Теперь же она заснула здоровым, подкрепляющим сном юности.

## XII. ЗЛЫЕ СИЛЫ

Руди, уйдя из Бэ, кинулся в горы, в этот свежий, холодный воздух, в область снегов, в царство Девы Льдов. Внизу виднелись лиственные деревья; они смотрели отсюда картофельной зеленью; сосны и кустарники становились все мельче, там и сям попадались альпийские розы, росшие

прямо на снегу, который местами напоминал разостланный для беления холст. Руди попалась голубая горечавка; он смял ее ружейным прикладом. В вышине показались две серны; глаза Руди заблестели, мысли приняли другой оборот. Но серны были еще слишком далеко, чтобы рассчитывать на верный выстрел. Руди поднялся еще выше; здесь между каменными глыбами пробивалась уже одна жесткая трава. Серны спокойно расхаживали по снежной равнине. Руди прибавил шагу, но туман вокруг все сгущался, и он внезапно очутился перед отвесной скалой; начался проливной дождь.

Руди чувствовал жгучую жажду, голова его горела, а во всем теле ощущался озноб. Он схватился за свою охотничью фляжку, но она была пуста: он забыл про нее, как и про все на свете, кидаясь в горы. Никогда еще не хворал он, а теперь чувствовал что-то похожее на болезнь; им овладела какая-то усталость... Так бы вот и бросился ничком да заснул! Но кругом было мокро, всюду струилась вода, и Руди старался овладеть собою. Все предметы как-то прыгали перед его глазами, и вдруг он увидал новую, только что построенную хижину, которую никогда не видывал здесь прежде. Хижина лепилась к скале; в дверях стояла молодая девушка, похожая, как ему показалось, на Аннету, дочку школьного учителя, которую он раз поцеловал на танцах. Нет, это была не Аннета! И все-таки лицо девушки было ему как будто знакомо. Где же он видел ее раньше? Может быть, в Гриндельвальде, в тот вечер, когда возвращался с состязания стрелков из Интерлакена?

— Как ты попала сюда? — спросил он.

— Я тут живу! — ответила она. — Пасу свое стадо!

— Где же оно пасется? Тут один снег да голые скалы.

— Много ты знаешь! — рассмеялась она. — Тут позади, немножко пониже, чудесное пастбище! Там и ходят мои козы! Я стерегу их крепко! У меня уж не пропадет ни одна: что мое, то моим и останется!

— Ишь ты, какая храбрая! — сказал Руди.

— Ты тоже! — ответила она.

— Если у тебя есть молоко, дай мне! Смерть как пить хочется!

— У меня есть для тебя кое-что получше! — молвила она. — Вчера тут были путешественники с проводниками и позабыли полбутылки вина. Ты еще и не пробовал такого! Они за ней не пришлют, сама я не пью, так выпей ты!

И она вышла с вином, налила его в деревянную чашку и подала Руди.

— Славное вино! — сказал он. — Такого горячего, жгучего мне еще не приходилось пробовать! — И глаза его заблестели, он ожил, огонь пробежал по его жилам; горе его словно рукой сняло. Он снова чувствовал себя свежим, бодрым, кипящим силой и молодостью.

— Да ведь это и впрямь Аннета! — произнес он. — Поцелуй меня!

— А ты отдай мне твое хорошенькое колечко!

— Мое обручальное кольцо?!

— Вот, вот! — сказала девушка, опять налила в чашку вина и поднесла к его губам; он выпил. Кровь в нем заиграла: весь свет — его, стоит ли горевать, все манит к радости, к наслаждению!.. Река жизни — река наслаждения! Броситься в нее, отдаться течению — вот блаженство!.. Он взглянул на молодую девушку; это была Аннета и в то же время как будто не Аннета, но никак и не злое наваждение, каким она показалась ему на Гриндельвальдском глетчере. Свежая, как только что выпавший снег, пышная, как альпийская роза, легкая, проворная, как серна, девушка все же была создана из ребра Адама, была таким же человеком, как и Руди. И он обвил ее руками, заглянул ей в удивительные, ясные глаза всего на одно мгновение, и — да, вот объясните, найдите для этого подходящее выражение! — исполнилась ли его душа высшей духовной жизни или почувствовала холод смерти? Взлетел он ввысь или глубоко-глубоко опустился в ледяную пучину?.. Вокруг него вздымались зеленовато-голубые хрустальные ледяные стены, зияли ущелья, мелодично журчали струйки воды, звеня, словно колокольчики, и сияя светлым голубоватым пламенем... Дева Льдов поцеловала Руди, смертельный холод пробежал по его спине в мозг, он вскрикнул, рванулся, зашатался и упал. В глазах у него померкло, но скоро он открыл их опять. Злые силы сыграли-таки с ним штуку!

Девушка исчезла, хижина тоже, с голой скалы стекала вода, кругом лежал снег. Руди дрожал от холода, он промок до костей! Обручальное кольцо, кольцо, данное ему Бабеттой, тоже исчезло! Ружье валялось на снегу возле него; он взял его, хотел выстрелить — осечка. В ущельях лежали густые облака, точно исполинские, снежные сугробы. На скале сидело Головокружение и стерегло обессилевшую жертву. Внизу, в глубине ущелья, раздался гул, словно рушилась целая скала, раздробляя и увлекая за собою в бездну все, что попадалось ей на пути.

А Бабетта сидела на мельнице и плакала: Руди не показывался вот уже целых шесть дней! А ведь виноватым-то был он, он должен был просить у нее прощенья — она ведь любила его всем сердцем.

### XIII. В ДОМЕ МЕЛЬНИКА

— Ну и бестолковщина же идет у этих людей! — сказала комнатная кошка кухонной. — Теперь у Бабетты с Руди опять все врозь пошло! Она плачет, а он и знать ее не хочет больше!

— Не люблю я этого! — сказала кухонная кошка.

— И я тоже! — сказала первая. — Но горевать уж я не стану! Пусть Бабетта возьмет себе другого жениха — того, с рыжими бакенбардами! Впрочем, и он не бывал здесь с тех пор, как собирался влезть на крышу.

Злые силы творят свое и вне, и внутри нас; это Руди испытал на себе и крепко задумался над этим. Что случилось с ним, что творилось в нем самом там, в горах? Было ли то злое наваждение или горячечный бред? Но до сих пор он ведь не знал ни лихорадки, ни других недугов! Осуждая Бабетту, он заглянул на минуту и в глубь собственной души, и ему вспомнилась бушевавшая в ней дикая буря, жгучий фен, который вырвался из нее наружу. Мог ли он сам открыть Бабетте каждую свою мысль, которая в час искушения могла перейти в дело? Он потерял ее кольцо, и именно благодаря этой потере Бабетта вновь обрела Руди. А она, могла ли она открыть ему всю свою душу? Сердце его как будто рвали на части, когда он думал о ней; в нем просыпалось столько воспоминаний! Он видел ее перед собой как живую — веселую, смеющуюся, детски-шаловливую! Ласковые слова, которых он столько слышал от нее в минуты сердечного упоения, прокрались в его душу солнечными лучами, и скоро она вся была залита ими — Бабетта опять могла воцариться в ней! «Да, она наверно могла открыть ему всю свою душу и — откроет!»

И вот он пришел на мельницу. Приступили к исповеди; началась она поцелуем, а кончилась тем, что виновным был признан Руди. Он был страшно виноват, позволив себе усомниться в верности Бабетты! Он поступил просто непозволительно, гадко! Такое недоверие, такая горячность могли погубить их обоих. Конечно! И вот Бабетта прочитала ему маленькое нравоучение; это очень шло к ней и доставило ей большое удовольствие. Но в одном все-таки Руди был прав: родственник крестной мамы был просто шалопай! Она даже хотела сжечь книгу, которую он подарил ей, чтобы ничто больше не напоминало ей о нем.

— Ну, опять все уладилось! — сказала комнатная кошка. — Руди опять тут, они столковались и говорят, что это величайшее счастье!

— А я слышала сегодня ночью от крыс, что величайшее счастье — пожирать сальные свечи и всегда иметь в запасе протухшее сало! Кому же теперь верить: крысам или людям?

— Ни тем, ни другим! — сказала комнатная кошка. — Это вернее всего!

Но величайшее счастье для Руди и Бабетты было еще впереди; их ожидал прекраснейший день их жизни — день свадьбы.

Свадьбу собирались праздновать не в местной церкви и не в доме мельника: крестная пожелала, чтобы свадьбу сыграли у нее, а обряд был совершен в красивой маленькой церкви в Монтрэ. И мельник решил уважить требование крестной матери: он один знал, что собиралась она



подарить молодым, и нашел, что такой свадебный подарок стоил маленькой уступки. День был назначен. Вечером накануне мельник, жених и невеста должны были выехать в Вильнев, а с утренним пароходом за-благовременно прибыть в Монтрэ, чтобы дочери крестной матери успели одеть невесту к венцу.

— Полагаю все-таки, что они справят свадьбу и здесь, хоть на другой день! — сказала комнатная кошка. — Иначе я не дам и «мяу» за всю эту историю!

— Попируем и здесь! — ответила кухонная кошка. — Недаром за-резали столько уток и голубей, а на стене висит целая коза! У меня уж зубы чешутся, как погляжу! Завтра они уедут!

Да, завтра! Сегодня же вечером Руди и Бабетта в последний раз сидели на мельнице женихом и невестой. Альпийское зарево пылало, вечерние колокола звонили, дети воздуха пели: «Да свершится все к лучшему!»

#### XIV. НОЧНЫЕ ВИДЕНИЯ

Солнце зашло, облака спустились в долину Роны, окруженную высокими горами, ветер дул с юга, из Африки. Он бурно проносился над высокими Альпами и рвал облака в клочья. Минутами фен утихал, и тогда воцарялась тишина. Разорванные облака нависали над поросшими лесом горами и быстрой Роной какими-то фантастическими образами: тут вырисовывалось допотопное морское чудовище, там — парящий орел; здесь — какие-то скачущие лягушки. Они спускались к ревящему потоку, как будто плыли по нему, и все-таки плыли по воздуху. Поток нес вырванную с корнями сосну; по воде перед ней ходили круги: это волновали воду Головокружения, кружившиеся на бурлящем потоке. Луна освещала снежные вершины гор, темные леса, белые причудливые облака и видения ночи, духов природы. Горные жители часто видят их сквозь стекла окон. Теперь они толпами проплывали перед Девой Льдов, которая вышла из своего хрустального дворца и плыла по быстрому потоку на хрупком корабле — вырванной из земли сосне — прямо в широкое озеро.

«Свадебный поезд мчится!» — шумело и шелестело в воздухе и на воде. Видения и тут и там.

Бабетте приснился удивительный сон.

Она как будто уже была много лет замужем за Руди. Он ушел на охоту, а она осталась дома, и у нее сидел в гостях молодой англичанин с золотистыми бакенбардами. Глаза его смотрели так ласково, из уст лились такие чарующие слова, он протягивал ей руку, и

она невольно пошла за ним! Они ушли из ее родного дома, стали спускаться все ниже и ниже... На сердце у Бабетты было так тяжело, и с каждой минутой становилось все тяжелее. Она знала, что совершает грех, грех против Руди, грех против Бога!.. Вдруг она очутилась одна, покинутая! Платье ее было все изорвано о клочки терна, волосы поседел. Тоскливо взглянула она вверх и на скалистом уступе увидела Руди. Она протянула к нему руки, но не смела окликнуть его или обратиться к нему с мольбой о прощении. Да это и не привело бы ни к чему: она скоро заметила, что это был вовсе не Руди, а лишь его охотничья куртка и шляпа, повешенные на альпийскую палку, — чучело, часто устраиваемое охотниками, чтобы обмануть серн. В приливе безграничной скорби Бабетта простонала: «О, лучше бы умереть мне в день моей свадьбы, счастливейший день моей жизни! Боже милосердный, это было бы для меня высшей милостью, величайшим счастьем и для меня, и для Руди! Никто не знает своего будущего!» И, полная скорби и отчаяния, она бросилась в пропасть. Порвалась струна, прозвучал печальный аккорд!..

Бабетта проснулась; сон кончился и улетучился из ее памяти, но она помнила, что ей снилось что-то страшное, снился молодой англичанин, которого она не видела наяву вот уже несколько месяцев и о котором даже не вспоминала. Пожалуй, он теперь в Монтрэ. Неужели он будет на ее свадьбе?

Легкая гримаса тронула изящный ротик, брови сдвинулись, но скоро в глазах засияла улыбка — солнышко светило так ярко, и завтра ее свадьба!

Сойдя вниз, Бабетта уже нашла там Руди; скоро все трое отправились в Вильнев. Жених и невеста были бесконечно счастливы, мельник просто сиял весь — он был добрый отец, честная душа!

— Теперь мы господа в доме! — сказала комнатная кошка.

## XV. КОНЕЦ

Трое счастливцев прибыли в Вильнев еще до наступления вечера. После обеда мельник уселся в кресло, закурил трубку и задремал, а молодая парочка вышла рука об руку из города и направилась по проезжей дороге, проходившей под обросшими кустарником скалами, вдоль голубовато-зеленого озера. Серые стены и громоздкие башни угрюмого Шильонского замка отражались в чистой, прозрачной воде. Маленький островок с тремя акациями лежал совсем близко и смотрелся настоящим букетом, плавающим по озеру.

— Там, должно быть, чудесно! — сказала Бабетта. Ей опять страшно захотелось туда, и желание это могло быть удовлетворено сейчас же.

У берега качалась лодка; ничего не стоило отвязать ее. Позволения просить было не у кого: вблизи не виднелось ни души живой. Руди с Бабеттой, не долго думая, уселись в лодку; грести Руди умел.

Весла, точно рыбы плавники, забирали послушную, легко поддающуюся воду. Послушную! Да, она послушна, гибка и в то же время крепка; чего только ни носит она на своем хребте, чего ни поглощает ее пасть! Она любовно улыбается, на вид — сама мягкость, сама нежность и все же внушает людям страх своей мощной, всесокрушающей силой. Лодка оставляла за собой пенящийся след; через несколько минут она пристала к острову, и молодые люди вышли на берег. Тут можно было даже устроить танцы, но не больше как для одной парочки.

Руди сделал с Бабеттой два-три тура; потом оба уселись на скамеечку под тень развесистых акаций, взялись за руки и долго сидели молча, любовно глядя друг на друга. Все кругом было залито сиянием заходящего солнца. Горные сосновые леса приняли лиловатые оттенки цветущего вереска, голые же выступы скал сияли, словно освещенные изнутри. Облака горели ярким пламенем, озеро алело, как свежий розовый лепесток. Но вот мало-помалу на снежные вершины Савойских скал стали ложиться темно-синие тени; только самые верхние зубцы еще горели, точно раскаленная лава, воскрешая в памяти наблюдателя момент образования самих гор, когда эти раскаленные массы поднялись из недр земли и еще не успели остыть. Руди и Бабетте сдавалось, что они никогда не видели подобного «альпийского зарева». Покрытая снегами Dent du Midi блесла, словно только что выплывший на небосклон полный месяц.

«Какое великолепие. Какое счастье!» — повторяли влюбленные.

— Земля не в состоянии дать мне большего! — сказал Руди. — Такой вечер, как сегодня, стоит целой жизни! И как часто я ощущал такой же прилив счастья, как теперь, и думал, что, если бы даже с этим днем кончилась вся моя жизнь, мне нечего было бы жалеть о том, столько я уже испытал счастья! Но дивно хорош Божий мир! День тот проходил, наступал новый и казался мне еще лучше предыдущего! Господь бесконечно благ, Бабетта!

— Я так счастлива! — сказала она.

— Земля не в состоянии дать мне большего! — повторил Руди.

С гор Савойи, с гор Швейцарии доносился звон вечерних колоколов: на западе стояла в золотом венце темно-синяя Юра.

— Да устроит для тебя Господь все к лучшему! — воскликнула Бабетта.

— Устроит! — сказал Руди. — И это будет завтра! Завтра ты всецело будешь моей! Моей собственной милой женой!

— Лодка! — вскрикнула вдруг Бабетта.

Лодка, на которой они должны были переправиться обратно, отвалилась и отплыла от острова.

— Я понимаю ее! — сказал Руди, сбросил куртку и сапоги, кинулся в воду и быстрыми взмахами поплыл к лодке.

Прозрачная голубовато-зеленая вода, вытекавшая из горного глетчера, была холодна, как лед, и глубока. Руди бросил в глубину быстрый взгляд, и перед глазами его как будто замелькало, закружилось, засияло золотое колечко, то самое, которое он потерял! Кольцо стало расти, расширилось в сияющий круг, а в середине его заблестел глетчер. Вокруг зияли бездонные пропасти, вода журчала, звеня, словно колокольчики, и сияя голубоватым пламенем. Все, что мы должны описать столькими словами, Руди увидал в одно мгновение ока. Молодые охотники, девушки, женщины и мужчины, некогда провалившиеся в расщелины скал, стояли перед ним как живые, широко раскрыв глаза и улыбаясь, а из глубины, из погребенных под лавинами городов, доносился колокольный звон; молящиеся преклонили колена под сводами церкви; льдины образовали орган, горные потоки загудели... На ясном, прозрачном дне сидела сама Дева Льдов; вот она поднялась к Руди, поцеловала его в ноги, и по телу его пробежал смертельный холод, электрический ток... Огонь и лед!.. При мимолетном прикосновении к ним их ведь не различишь!

«Мой! Мой! — зазвучало вокруг него и в нем самом. — Я целовала тебя еще маленького! Целовала тебя в губы, теперь же целую твои подошвы и пятки — ты весь мой!»

И Руди исчез в ясной синеватой глубине.

В воздухе стояла тишина; последние звуки колоколов замирали в воздухе, а вместе с ними исчезал и последний отблеск вечерней зари на облаках.

«Мой!» — звучало в глубине. «Мой!» — звучало в бесконечной вышине небес.

Блажен вознесшийся от любви к любви — от любви земной к любви небесной! Порвалась струна, прозвучал печальный аккорд, смерть запечатлела на брэнной оболочке свой ледяной поцелуй; пролог жизненной драмы кончился; диссонанс разрешился гармоническим аккордом.

Что ж, разве это печальная история?

Бедняжка Бабетта! Для нее это был час ужаса и скорби! Лодку относил все дальше и дальше. Никто на берегу не знал, что жених с невестой отправились на островок. Сумерки все сгущались, облака садились ниже, наступила тьма. Одна, покинутая, несчастная, стояла Бабетта на острове. Над Юрой, Швейцарией и Савойей разразилась гроза; молнии блистали, удары грома следовали один за другим, раскаты продолжались по несколько минут. Молнии сверкали, как солнечные лучи; на мгновение становилось светло, как днем, и можно было явственно различить каждую тычинку, но затем опять все погружалось в мрак. Молнии бороздили небо, извиваясь по нему хвостами, зигзагами, лентами, ударяли прямо в озеро, и оно вспыхивало то тут, то там; раскаты грома разда-

вались еще громче благодаря гулкому эху. На противоположном берегу торопливо вытаскивали на землю лодки; все живое спешило куда-нибудь укрыться!.. И вот полил дождь.

— Где же, однако, Руди и Бабетта в такую непогоду? — сказал мельник.

Бабетта сидела, скрестив руки, опустив голову на грудь, онемев от скорби, обессилив от криков и жалоб.

«Там, на дне! — сказала она самой себе. — Глубоко, глубоко под водой, словно погребен в пропасти глетчера!»

И ей вспомнились рассказы Руди о смерти его матери, о том, как его вытащили из ледяного ущелья безжизненным. «Дева Льдов таки поймала его!»

Блеснула ослепительная молния. Бабетта вскочила; озеро на мгновение приподнялось, точно сверкающий глетчер; на нем стояла Дева Льдов, величественная, вся озаренная голубым сиянием, и у ног ее лежало тело Руди!.. «Мой!» — сказала она, и все опять потонуло во мраке. Дождь все лил.

— Ужасно! — стонала Бабетта. — Зачем, зачем было ему умирать как раз на заре нашего счастливейшего дня! Господи, просвети мой ум! Просвети мое сердце! Пути Твои темны для меня! Я не могу уразуметь Твоего всемогущества и мудрости!

И Господь просветил ее: как луч божественного милосердия, мелькнуло в ее мозгу воспоминание — ее последний сон! Он восстал перед нею как наяву; она вспомнила каждое свое слово, вспомнила, чего просила у Бога: «лучшего для себя и для Руди».

— Горе мне! Неужели зародыш греха тайлся в моем сердце? Неужели мой сон предвещал наше будущее, и нить его жизни должна была порваться ради моего спасения! О, я несчастная!

Так просидела она в слезах всю ночь. Среди глубокой тишины, казалось, звучали еще последние слова Руди: «Большого, высшего счастья земля не может дать мне!» Они были сказаны в минуту блаженства, и теперь она повторяла их в час безысходной скорби.

Прошло два года. Озеро улыбается, берега тоже; в виноградниках висят пышные гроздья; разукрашенные флагами пароходы проплывают мимо; лодочки с распушенными парусами проносятся по зеркальной поверхности, словно бабочки. Железная дорога к Шильонскому замку открыта; она ведет далеко в глубь долины Роны. На каждой станции выходят туристы-иностранцы и сейчас же справляются о местных достопримечательностях в книжке с красным переплетом. Они посещают Шильон, смотрят из его окон на островок с тремя акациями и читают в «Путеводителе» о женихе и невесте, отправившихся туда на лодке однажды вечером, 1856 г., о смерти жениха и о том, что «лишь на следующее утро услышали с берега отчаянные вопли невесты».





М.П. 94



Но «Путеводитель» ничего не говорит о замкнутой, тихой жизни Бабетты у своего отца — не на мельнице — там живут теперь чужие, — но в хорошеньком домике близ вокзала. Часто стоит она вечерами у окошка и смотрит через верхушки каштановых деревьев на снежные горы, по которым карабкался когда-то Руди, смотрит на альпийское зарево — сияние распростертых крыл детей солнца, поющих о путнике, с которого ветер сорвал плащ; оболочку унес он, а не самого человека.

На снегах горит розовый отблеск зари; ясная заря горит и в каждом человеческом сердце, которое верит, что «Бог все устраивает к лучшему для нас!» Но не всегда это бывает нам открыто, как было открыто во сне Бабетте.



## МОТЫЛЕК

**М**отылек вздумал жениться. Конечно, ему хотелось взять за себя хорошенький цветочек.

Он посмотрел кругом: цветочки сидели на своих стебельках тихо, скромно, как и подобает еще непросватанным барышням, но выбрать было ужасно трудно — так много их было.

Мотыльку скоро надоело раздумывать, и он порхнул к полевой ромашке. Французы зовут ее маргариткой и уверяют, что она умеет ворожить. По крайней мере, влюбленные всегда прибегают к ней, обрывают лепесток за лепестком и приговаривают: «Любит всем сердцем? всей душою? очень? чуть-чуть? ни капли?» — или нечто в этом роде: всякий ведь спрашивает по-своему. И мотылек тоже обратился к ромашке, но не стал обрывать лепестков, а перецеловал их, думая, что всегда лучше действовать добром.

— Матушка маргаритка, полевая ромашка, мудрейшая из цветов! — сказал он. — Вы умеете ворожить! Укажите же мне мою суженую! Тогда, по крайней мере, я сразу могу посвататься.

Но ромашка молчала — она обиделась: она была девицей, а ее вдруг назвали матушкой — как вам это нравится?

Мотылек спросил еще раз, потом еще, ответа все не было, он соскучился и прямо полетел свататься.

Это было ранней весной; всюду цвели подснежники и крокусы.

— Недурны! — сказал мотылек. — Миленькие подросточки! Только... зеленноваты больно!

Мотылек, как и все юноши, искал девиц постарше.

Потом он оглядел других и нашел, что анемоны горьковаты, фиалки немножко сентиментальны, тюльпаны — щеголихи, белые лилии простоваты, липовые цветы и малы, да и родни у них пропасть, яблочные цветы, конечно, чуть-чуть не розы, но уж чересчур недолговечны: ветром пахнуло, и нет их, стоит ли тут жениться? Горошек понравился ему больше всех: бело-розовый, просто кровь с молоком, нежный, изящный, да и на кухне не ударит лицом в грязь — словом, девица хоть куда! Мотылек совсем было уж собрался посвататься, да вдруг увидел рядом стручок с увядшим цветком.

— Это... кто же? — спросил он.

— Сестрица моя! — отвечал горошек.

— Так потом и вы такая же будете?

Мотылек испугался и поскорее улетел прочь.

Через изгородь перевешивалась целая масса каприфоли, но эти ба-рышни с вытянутыми желтыми физиономиями были ему совсем не по вкусу. Да, но что же было ему по вкусу? Подите узнайте!

Весна прошла, прошло и лето, настала осень, а мотылек не подвинулся со своим сватовством ни на шаг. Появились новые цветы в роскошных нарядах, но что толку? С годами сердце все больше и больше начинает тосковать о весенней свежести, об оживляющем аромате юности, а не искать же их у осенних георгинов и штокрозов! И мотылек полетел к кудрявой мяте.

— На ней нет никаких особых цветов, но она вся один сплошной благоухающий цвет, ее я и возьму!

И он посватался.

Но мята не шелохнула листочком и, наконец, сказала:

— Дружба и — больше ничего! Мы оба стары; друзьями мы еще можем быть, но пожениться?.. Нет, что за дурачество на старости лет!

Так мотылек и остался ни с чем. Он уж чересчур много выбирал, а это не годится, — вот и остался старым холостяком.

Скоро налетела непогода с дождем и изморозью; поднялся холодный ветер; дрожь пробирала старые скрипучие ивы. Не сладко было разгуливать по такому холоду в летнем платье. Но мотылек и не разгуливал — ему как-то удалось залететь в комнату; там топилась печка и стояло чисто летнее тепло. Жить бы да поживать здесь мотыльку.

— Но что это за жизнь? Мне нужны солнце, свобода и хоть маленький цветочек! — сказал мотылек, полетел и прямо ударился в оконное стекло.

Тут его увидели, пришли от него в восторг и посадили на булавку в ящичек с прочими редкостями. Большого для него уж не могли сделать.

— Теперь и я сижу на стебельке, как цветок! — сказал мотылек. — Не особенно-то это сладко! Ну да зато это нечто вроде женитьбы: тоже сидишь крепко.

И он утешался этим.

— Плохое утешение! — сказали комнатные цветы.

«Ну, комнатным цветам не очень-то верь! — думал мотылек. — Они уж чересчур близко знают с людьми».



## ПСИХЕЯ

**Н**а заре в румянном утреннем небе горит крупная, яркая звезда. Луч ее дрожит на белой стене, словно хочет начертить на ней рассказы обо всем, виденном ею там и сям на нашей вращающейся земле.

Послушай же один из ее рассказов!

— Недавно (недавнее для звезды для нас, людей, означает событие, совершившееся несколько столетий тому назад) лучи мои следили за одним молодым художником; жил он в папской столице, во всемирном городе Риме. Многое изменилось там с течением времени, хотя такие перемены и совершаются далеко не так быстро, как человек становится из ребенка стариком. Императорский дворец и тогда уже был в развалинах; между поверженными в прах мраморными колоннами и над расписанными золотом стенами полуразрушенных терм возвышались фиговые и лавровые деревья. Колизей тоже представлял одни руины. Но церковные колокола звонили; ладан курился; по улицам проходили процессии со свечами и сияющими балдахинами. Рим был городом церковной пышности, но здесь также процветало и высоко почиталось искусство. В Риме жили величайший художник мира Рафаэль и величайший ваятель средних веков Микеланджело. Сам папа отдавал честь обоим, удостаивал их своими посещениями. Искусство признавали, чттили и награждали. Но, конечно, не все достойное замечалось и удостаивалось награды.

В маленькой, узенькой улице стоял старый дом, бывший некогда храмом. В доме этом жил молодой ваятель, бедный, безызвестный. Но у него, конечно, были друзья, тоже молодые художники, юные душой, богатые надеждами и мыслями. Они говорили ему, что у него большой талант и что он просто глуп, если сам этому никак поверить не может. А он и в самом деле постоянно разбивал вдребезги созданное им накануне, никогда не бывал доволен своей работой и не доводил ее до конца, а это необходимо, иначе кто же ее увидит, признает и заплатит за нее деньги?

— Ты мечтатель! — говорили ему друзья. — И в этом твое несчастье! Происходит же все это оттого, что ты еще не жил, как надо, не вкусил жизни, не пил жадными глотками жизненного нектара. А ведь в

молодости-то именно и надо слиться с жизнью воедино! Вот тебе пример — величайший художник мира Рафаэль; его чтит сам папа, ему дивится весь свет, а он и ест и пьет, как все, ни от чего не отказывается!

— Даже от самой булочки, прекрасной Форнарины! — сказал Анджело, один из первых весельчаков молодой компании.

И многое еще чего наговорили они! Они говорили, что подсказывали им их молодость, разум и желание увлечь молодого художника в круговорот веселья, шалостей — пожалуй, даже сумасбродств. Временами и он сам был не прочь от этого: кровь в нем была горячая, душа пылкая, и он мог участвовать в веселых беседах, смеяться от души не хуже других! И все-таки так называемая веселая жизнь Рафаэля казалась ему каким-то чадом, туманом в сравнении с божественным блеском, которым сияли картины великого мастера. А как волновалась его грудь, когда он стоял в Ватикане перед образами нетленной красоты, изваянными из мрамора художниками древних времен! Какой ощущал он тогда подъем духа, какую силу, какой священный огонь жег его сердце! В нем загоралось желание создать из мрамора подобные же образы. Он хотел воплотить в мраморе то чувство, которое стремилось из глубины его души вознестись к Вечному и Бесконечному. Но как воссоздать его, в каком образе? Мягкая глина послушно принимала под его пальцами прекрасные формы, но на другой день он, как и всегда, уничтожал созданное им накануне.

Однажды он проходил мимо одного из многочисленных роскошных римских палаццо, остановился перед большими открытыми воротами и увидел внутри двора, за расписанными аркадами, садик, полный душистых роз. Сочные зеленые листья змеиной травы купались в мраморном бассейне, наполненном прозрачной водой. Тут же перед ним промелькнуло видение — молодая девушка, дочь хозяина дома. Как она была нежна, воздушна, прелестна! Никогда в жизни не видывал он такой женщины! Ах, нет, видел в одном из римских палаццо на картине Рафаэля, в образе Психеи. Там она была написана красками, здесь явилась ему живая.

Она ярко запечатлелась в его сердце и мыслях; вернувшись в свою бедную мастерскую, он принялся лепить из глины Психею — знатную молодую римлянку — и впервые остался доволен своей работой. Она имела в его глазах значение — это было ведь ее изображение!

Друзья, увидев статую, громко возликовали: в этой работе художественный талант его выразился необычайно ярко; до сих пор его признавали только одни они, теперь его признает весь свет!

Глина прекрасно передает жизненность тела, но не обладает белизной и прочностью мрамора; Психея должна была ожить в мраморе, и у художника даже имелся этот драгоценный материал: во дворе с давних лет лежала мраморная глыба, принадлежавшая еще его родителям. На

ней валялся разный мусор, осколки стекла, обрезки овощей; все это грязнило, пачкало ее снаружи, но внутри мрамор сиял снежной белизной; из него-то и должна была восстать Психея.

В один прекрасный день — звезда об этом ничего не рассказывает, она не видела этого, но мы-то знаем, что оно было так, — узенькую, бедную улицу посетило знатное общество; посетители оставили карету неподалеку от дома и пешком прошли к жилищу художника. Явились они посмотреть на его работу, о которой случайно услышали. Кто же такие они были? Бедный юноша! Или лучше: слишком счастливый юноша! В его студии стояла она, сама молодая красавица! И как улыбнулась она, когда отец ее сказал: «Да ведь это ты, живая!» Эту улыбку нельзя было передать, этого взора удивления нельзя было изобразить! Он поднимал, облагораживал и — повергал в прах!

— Психею нужно изваять из мрамора! — сказал знатный посетитель. И слова эти вызвали к жизни мертвую глину и тяжелую мраморную глыбу, равно как и самого взволнованного художника. — Когда работа будет окончена, я покупаю ее! — прибавил знатный римлянин.

Словно новая эра настала в бедной мастерской; в ней закипели жизнь, веселье, работа. Сияющая утренняя звезда созерцала, как работа подвигалась вперед. Сама глина, казалось, ожила с тех пор, как побывала здесь она, и послушно принимала под рукою художника желаемые формы, передавала знакомые черты. Скоро они засияли высшей, совершеннейшей красотой.

— Теперь я знаю, что такое жить! — ликовал художник. — Это значит — любить, увлекаться возвышенным, восхищаться прекрасным! То же, что называют жизнью мои товарищи, — обман, пузыри, вскакивающие на бродящей гуще, а не чистый, небесный напиток, приобщающий человека к истинной жизни!

Мраморная глыба была поднята на подставку, и от нее начали откалывать кусок за куском. Художник мерил, ставил черточки и точки, и мало-помалу грубая работа была выполнена, камень стал принимать формы живого тела, очертания божественно-прекрасного образа молодой девушки. Тяжелый камень превратился в воздушную, порхающую, прелестную Психею, улыбающуюся небесной улыбкой, навеки запечатлевшуюся в сердце молодого ваятеля.

Звезда, сиявшая на румянном утреннем небе, видела все это и, право, поняла, что творилось в душе молодого человека, поняла и краску, вспыхивавшую на его щеках, и блеск его глаз в то время, как он воплощал в мраморе создание Божие.

— Ты — мастер, какие жили во времена древних греков! — говорили ему восхищенные друзья. — Скоро весь свет будет дивиться твоей Психее!

— *Моей Психее!* — повторил он. — *Моей!* Да, она и должна быть моею! И я такой же художник, как мои великие предшественники. Ми-



лосердый Господь даровал мне талант, превознес меня, как своего избранника! Я не ниже кровных аристократов!

И он упал на колени и со слезами благодарил Бога, потом опять забывал Его ради нее, ради ее мраморного изображения, ради Психеи, словно вылепленной из снега и разрумяненной утренним солнцем.

Но ему предстояло увидеть ее живую, прекрасную, воздушную, предстояло опять услышать ее музыкальный голос! Он должен был явиться в роскошное палаццо с известием о том, что мраморная Психея исполнена. Он и явился туда; прошел по двору, мимо мраморного бассейна, куда бежала вода из пасти дельфинов и где в изобилии росли змеиная трава и свежие, пышные розы, а затем вступил в обширную, высокую переднюю. Стены и потолок ее были расписаны картинами и гербами; разодетые слуги, гордые, увешанные погремушками, как лошади во время карнавала, ходили вниз и вверх по лестницам; некоторые лениво развалились на резных скамьях; сдавалось, что господа в доме — они! Молодой человек сказал, зачем пришел, и его повели по гладкой мраморной лестнице, устланной мягкими коврами; по обеим сторонам ее стояли статуи; затем молодой человек прошел через анфиладу роскошных, изукрашенных картинами покоев, с блестящими мозаичными полами. При виде всей этой роскоши ему стало как-то не по себе, у него захватило дух, но скоро он преодолел это чувство, и ему опять стало легко. Старый знатный господин принял его очень ласково, почти дружески и, поговорив с ним, предложил ему пройти к молодой синьоре — она тоже желала видеть художника. Слуги опять повели его по роскошным покоем и залам, и вот он очутился в комнате синьоры, лучшим украшением которой была она сама.

Она заговорила с ним; никакое *Miserere*, никакой церковный гимн не могли бы так потрясти сердце, так взволновать душу! Он схватил ее руку и прижал к своим губам; рука была мягче, нежнее лепестка розы, но от этого лепестка исходил огонь! Он прожог молодого человека насквозь, поднял его высоко-высоко!.. И из уст его полились слова, в которых он и сам не отдавал себе отчета. Разве знает кратер, что выбрасывает раскаленную лаву? Он высказал ей свою любовь. Она стояла пораженная, негодующая, гордая, с таким выражением гадливого презрения на лице, как будто внезапно дотронулась до мокрой лягушки. Щеки ее горели огнем; губы совсем побелели; черные, как ночь, глаза метали молнии.

— Безумец! — сказала она. — Прочь! Прочь! — и повернулась к нему спиной. Прекрасное лицо приняло выражение знаменитой окаменелой головы с змеями вместо волос.

Упавший духом, осунувшийся, беспомощный, побрел он по улицам, как лунатик. Очнулся он только у себя дома, и тут, в приливе бешенства и отчаяния, схватил молоток, замахнулся и хотел раздробить прекрасную

мраморную статую. Он и не заметил, что друг его Анджело стоял позади него. Анджело с силой схватил его за руку.

— С ума ты сошел?! Что с тобою?

Началась борьба; Анджело был сильнее, и молодой ваятель, тяжело дыша, бросился на стул.

— Что случилось? — продолжал Анджело. — Приди в себя! Говори!

Но что он мог сказать? Что мог рассказать? Анджело не добился от него ничего и махнул рукой.

— У тебя просто кровь сгустилась от твоих вечных мечтаний! Будь же человеком, как мы все, не живи одними идеалами — не выдержишь! Хлеба вина, увидишь, как чудесно заснешь! Возьми доктором красивую девушку. Девушки Кампании прелестны, не хуже принцесс из мраморных палат: и те, и другие ведь дочери Евы, и в раю их не различишь! Пойдем со мною! Я буду твоим ангелом-хранителем! А придет время — состаришься, тело одряхлеет, и в один прекрасный день, когда все кругом будет веселиться на солнце и ликовать, ты будешь валяться, как высохшая былинка, которой больше уж не расти! Я не верю тому, что говорят патеры, — будто за могилою нас ждет другая жизнь, это прекрасная мечта, детская сказка, довольно утешительная, если верить в нее. Но я не предаюсь мечтам, а живу действительностью. Пойдем со мною! Будь человеком!

И он увлек его с собою; ему удалось это в данную минуту: в крови молодого ваятеля горел огонь, в душе произошел переворот, пробудилось непреодолимое желание порвать со всем старым, привычным, отрешиться от своего прежнего я. Вот почему он и последовал за Анджело.

На одной из окраин Рима находился излюбленный трактирчик художников; устроен он был в уцелевшей части древних терм; старые желто-красные стены скрывались за темной, блестящей зеленью лимонных деревьев, сквозь которую сверкали золотистые крупные плоды. Трактир помещался под глубоким сводом, так что напоминал пещеру. Внутри перед образом Богоматери горела лампада; в очаге пылал огонь; тут жарили, варили и пекли; в саду под тенью лимонных и лавровых деревьев стояло несколько накрытых столиков.

Друзья встретили вновь пришедших с распростертыми объятиями, и закипело веселье. Закусили немножко, порядочно выпили — это веселит и подбадривает — и принялись петь и играть на гитарах. Зазвучала сальтарелла, и начались танцы. Две молодые римлянки, натурщицы художников, закружились в пляске. Две прелестные вакханки! Да, они не были похожи на Психею, не были нежными, прекрасными розами, но свежими, сочными, пышными гвоздиками.

Какая жара стояла в этот день! Она продолжалась даже после заката солнца! Огонь в крови, огонь в воздухе, огонь во взглядах! Воздух отливало золотом и розами, казалось, и вся жизнь полна золота и роз!

— Ну, наконец-то и ты с нами! Отдайся же течению жизни!

— Никогда еще не чувствовал я себя таким здоровым и веселым! — сказал молодой художник. — Ты прав, вы все правы, я был глупцом, мечтателем! Человек принадлежит действительной жизни, а не фантазии!

С пением под аккомпанемент гитар вышли молодые люди из трактира и направились по переулкам города; вечер был ясный, звездный. Обе роскошные гвоздики, дочери Кампании, сопровождали их.

В комнатке Анджело, заваленной разбросанными повсюду эскизами, листками и картинами, изображавшими сцены, полные красоты и страсти, голоса зазвучали глуше, но так же весело и страстно. По полу валялись рисунки, изображавшие дочерей Кампании во всевозможных видах; рисунки дышали жизнью и красотой, но сами девушки были еще куда красивее. Канделябр о шести свечах пылал всеми огнями, и при их свете красота девушек выступала еще ярче: из телесного образа просвечивал образ божества.

«Аполлон! Юпитер! Я возношусь к вам, на небо! В моем сердце как будто распускается цветок жизни!»

Да, он распустился... поблек и опал, распространяя одуряющие испарения. Лицо побледнело, мысли спутались... Фейерверк страстей погас, и наступила тьма.

Он добрался до своего дома, бросился на постель и тогда только немного собрался с мыслями. «Тьфу! — вырвалось из его уст, из глубины его сердца. — Несчастный! Прочь! Прочь!» И он горько, глубоко вздохнул.

«Прочь! Прочь!» — эти слова живой Психеи не переставали раздаваться в его сердце, срывать с его уст. Он уронил голову на подушку, мысли его спутались, и он заснул.

На заре он проснулся и стал припоминать вчерашнее. Что такое случилось накануне? Не во сне ли все это было? И ее жестокие слова, и пирушка в трактире, и вечер, проведенный в обществе пунцовых гвоздик Кампании?.. Нет, все это было наяву, было действительностью, новой для него действительностью!

На алеющем небе светилась яркая звезда; лучи ее упали на ваятеля и на мраморную Психею. И он задрожал, взглянув на этот нетленный образ: ему казалось, что его нечистый взгляд не смел больше смотреть на нее. Он торопливо набросил на статую покров; потом опять было хотел снять его и раскрыть Психею, но нет! Он был не в силах больше смотреть на свое создание!

Тихий, угрюмый, весь уйдя в самого себя, просидел он весь этот длинный день, не зная, не сознавая, что творилось вокруг, и никто не знал, что творилось в нем самом.

Дни шли за днями, недели за неделями; особенно долго тянулись ночи. Однажды утром яркая звезда увидела, как он, смертельно бледный,

дрожащий, словно в лихорадке, вскочил с постели, подбежал к мраморной статуе, сдернул с нее покров, посмотрел на свое творение долгим, скорбным взглядом и затем, почти изнемогая под ее тяжестью, стащил ее в сад. Там был глубокий, высохший колодезь, скорее яма; в нее-то он и опустил свою Психею, забросал ее землей, а свежую могилу прикрыл хворостом и крапивой.

«Прочь! Прочь!» — коротка была надгробная речь.

Звезда видела все это с румяного небосклона, и лучи ее задрожали в двух крупных слезах, скатившихся по бледным щекам молодого человека, заболевшего лихорадкой — заболевшего смертельно. Так говорили о нем, когда он лежал в постели.

Монах, брат Игнатий, явился для него другом и врачом. Он явился к одру больного со словами религиозного утешения, заговорил о мире, о счастье, даруемых церковью, о греховности человеческой, о милосердии Бога и спасении через Него.

Слова его были солнечными лучами, падавшими на мокрую, вспаханную почву, и из нее стали подниматься испарения, превращавшиеся в облака — в мысленные образы, бывшие в то же время и действительными. С этих-то воздушных, скользящих в пространстве островов молодой человек и стал смотреть вниз на жизнь человеческую; вся она была обман, разочарование, по крайней мере для него! Самое искусство было волшебницей, вовлекающей нас в грех суетного земного тщеславия! Мы лжем и самим себе, и друзьям, и Богу. Змея, скрывающаяся в нас, твердит нам: «Вкуси и станешь подобным Богу!»

Теперь только — казалось ему — он понял самого себя, уразумел путь истины и мира. В церкви был свет Божий и ясный мир, в монашеской келье — покой; там только древо человеческой жизни могло возрасти для вечности!

Брат Игнатий укрепил в нем эти мысли, и он решился: дитя света стало слугой церкви, молодой ваятель отрекся от мира, ушел в монастырь.

Как сердечно, любовно приветствовала его братия! Как торжественно было посвящение! Сам Господь, казалось ему, присутствовал в церкви, в озарявших ее солнечных лучах, в сиянии, окружавшем лики святых и кресты. И, стоя вечером, на закате солнца, у открытого окна в своей маленькой келье, он окинул взором старый Рим, разрушенные храмы, величественный, но мертвый Колизей, узрел все это в весеннем уборе цветущих акаций, свежей зелени плюща, пышных роз, золотистых апельсинов и роскошных веерных пальм и ощутил в своей груди такую полноту блаженства, какой никогда еще не знал прежде! Открытая тихая долина Кампании убегала к блестящим, покрытым снегом горам, точно нарисованным на небе. Все сливалось, дышало миром и красотой, все как будто грезило, расплывалось в мечтах, весь мир был мечтою!

Да, мир был мечтою, а мечта может покорить человека на час или на два, затем опять вернуться на некоторое время, жизнь же в монастыре должна была длиться годы — многие, долгие годы!

И ему пришлось сознаться, что изнутри человека выходит многое, оскверняющее его! Что это за огонь жег его временами? Что это был в нем за источник зла, которое вырывалось наружу, несмотря на его сопротивление? И он бичевал свою плоть, но источник зла не иссякал. Что такое заставляло его ум обвиваться змеею вокруг его совести и заползать вместе с нею под плащ Божественной любви? Чей это голос шептал ему: «Святые ведь молятся за нас, Божья Матерь тоже, а сам Иисус Христос отдал за нас свою плоть и кровь!» В силу ли ребячества или легкомыслия он отдавался под покровительство Высшей Милости и чувствовал себя превознесенным над прочими людьми? Как же! Он ведь оттолкнул от себя мирскую суету, стал сыном церкви!

Однажды, спустя много лет, он встретился с Анджело; тот узнал его.

— Ну вот! — сказал Анджело. — Так это ты! Что ж, счастлив ты теперь? Ты согрешил против Бога, отбросил Его дар, загубил свой талант. Прочти притчу о доверенных талантах! Учитель, рассказавший ее, принес в мир истину! Ну, чего же ты добился, чего достиг? Не создал ли ты себе жизнь праздного мечтателя? Не создал ли себе собственную религию, как и все монахи? А что, если все это лишь мечта, фантазия, прекрасные вымыслы?

— Отойди от меня, сатана! — сказал монах и отошел прочь от Анджело. — Это сам дьявол! Я видел его сегодня воочию! — шептал монах. — Я протянул ему однажды палец, а он схватил всю мою руку!.. Нет! — вздыхал он потом, — зло во мне самом! В этом человеке тоже есть зло, но он не падает под его бременем, носит голову высоко, счастлив! А я ищу счастья в утешениях религии... А что, если это и впрямь только утешение?.. Что, если и это, как все то, от чего я отказался в мире, лишь красивый вымысел, обман, как красота розовых вечерних облаков, как голубая волнующая даль за горами?! Ведь вблизи все оказывается иным! О вечность! Ты, как великий, безграничный, безмятежный океан, манишь, зовешь к себе, наполняешь нашу душу предчувствиями, а дойдешь до тебя и, может быть, погрузишься в бездну, исчезнешь, умрешь... перестанешь существовать! Обман! Прочь! Прочь!

Без слез, углубившись в самого себя, стоял он на своем жестком ложе, преклонив колени, — перед кем? Перед каменным распятием, вделанным в стену? Одна привычка заставила его преклонить колени!

Чем глубже заглядывал он в свою душу, тем она казалась ему темнее: пустота внутри, пустота вне! «Даром загубил свою жизнь!» И мысли катились и росли, словно ком снега, росли, давили, стирали его с лица земли.



«И никому не смею я открыть этого червяка, гложущего мою душу! Моя тайна — мой пленник; выпущу я его — я стану его пленником!»

И частица божественного духа в нем продолжала страдать и бороться.  
— Господи, Господи! — молился он в отчаянии. — Сжался надо мною, пошли мне веру!.. Я зарыл в землю Твой дар — свой талант! У меня не хватило сил, Ты не дал их мне! Бессмертная Психея в моей груди... Прочь, прочь!.. И ее предадут земле, как ту, лучший проблеск моей жизни!.. Никогда не восстанет она из своей могилы!

Звезда сияла на румянном небе. И она когда-нибудь потухнет, исчезнет, а души все будут вечно жить и сиять! Дрожащий луч ее упал на белую стену, но не начертил на ней ничего о величии Бога, о Его милости и любви, отголоски которых звучат в душе каждого верующего.

— Нет, Психея тут, во мне, никогда не умрет!.. Жить сознательно?.. Может ли сбыться непостижимое?.. Да, да! Непостижимо — мое я! Непостижим и Ты, Господи! Весь Твой мир непостижим! Он чудо Твоей силы, великолепия и... любви!..

Глаза его засияли и потухли навеки. Звуки колокола проводили его в могилу. Он был зарыт в землю, привезенную из Иерусалима и смешанную с прахом благочестивых умерших.

По истечении нескольких лет остов вынули, как и остоны всех умерших до него монахов, закутали его в темную рясу, надели на руку четки и поставили его в нишу, сложенную из человеческих костей, найденных на монастырском кладбище. Туда светило солнце, доносился благоуханный дым ладана, звуки молитв.

Прошло много лет.

Кости скелетов рассыпались; черепа собрали и сложили в ряды, так что они образовали целую ограду вокруг церкви. В числе прочих лежал тут под жгучими лучами солнца и череп ваятеля; много, много было их тут, но никто не знал, кому они принадлежали, не знали и его имени. И вот однажды при свете солнца в глазных впадинах черепа мелькнуло что-то живое. Что это было? В пустой череп пробралась пестрая ящерица и шмыгала взад и вперед через открытые глазные впадины. Итак, в голове опять была жизнь, в той самой голове, где некогда бродили великие мысли, сияли мечты, любовь к искусству, ко всему прекрасному, откуда катились жгучие слезы, где жила надежда на бессмертие! Ящерица выпрыгнула и пропала; череп истлел; стал прахом во прахе.

Прошли столетия. Яркая звезда светила по-прежнему, все такая же светлая, крупная, какою была тысячелетия; небо отливало пурпуром, нежным, как пурпур роз, алым, как кровь.

Там, где некогда проходила узенькая улица, на которой находились развалины храма, была теперь площадь, а на ней возвышался женский монастырь. В саду рыли могилу; умерла молодая монахиня, и в это утро ее хотели похоронить. Вдруг заступ наткнулся на камень, сверкавший



ослепительной белизной. Показался белый мрамор; он округлился в плечо, потом обнажилась и вся рука. Стали действовать заступом осторожнее, и из земли показалась женская голова, потом крылья бабочки... Из могилы, куда хотели зарыть тело молодой монахини, извлекли при свете розовой утренней зари чудную статую Психеи, изваянную из белого мрамора. «Как она прелестна! Какое совершенство! Памятник искусства лучших времен! — говорили люди. — Кто создал ее?» Никто не знал этого, никто, кроме сияющей тысячелетия утренней звезды. Она одна знала земную жизнь творца Психеи, его испытания, его веру в человеческое достоинство и слабость. Брэнная оболочка его перестала жить, распалась в прах, как и должно быть, но результат его стремлений, воплощение таившейся в нем искры Божией — Психея осталась!.. И она никогда не умрет, она переживет самую память о своем творце, будет служить здесь на земле отблеском его бессмертной души! И вот ее нашли, оценили и полюбили! Ясная утренняя звезда, горевшая на румянном небе, обливала своим дрожащим светом Психею и освещала блаженно улыбающиеся уста и глаза зрителей, созерцавших в немом восторге душу, изваянную из мрамора.

Все земное истлевает, рассыпается в прах, забывается; помнит о нем лишь звезда, свидетельница бесконечных времен; все же небесное само сияет и живет в памяти. Но и эта память может угаснуть, тогда как Психея живет вечно!



## УЛИТКА И РОЗОВЫЙ КУСТ

**В**округ сада шла живая изгородь из орешника; за нею начинались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвел розовый куст; под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием — она содержала самое себя.

— Постойте, придет и мое время! — сказала она. — Я дам миру кое-что поважнее этих роз, орехов или молока, что дают коровы и овцы!

— Я многого ожидаю от вас! — сказал розовый куст. — Позвольте же узнать, когда это будет?

— Время терпит! Это вот вы все спешите! А спешка ослабляет впечатление!

На другой год улитка лежала чуть ли не на том же месте, на солнышке, под розовым кустом, снова покрытым бутонами; бутоны распустились, розы цвели, отцветали, а куст выпускал все новые и новые.

Улитка наполовину выползла из раковины, вытянула рожки и опять подобрала их.

— Все то же да то же! Ни шагу вперед! Розовый куст остается при своих розах; ни на волос не продвинулся вперед!

Лето прошло, настала осень, розовый куст цвел и благоухал, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно, розовый куст пригнулся к земле, улитка уползла в землю.

Опять настала весна, снова зацвели розы, и выползла улитка.

— Теперь вы уж стары! — сказала она розовому кусту. — Пора бы вам и честь знать! Вы дали миру все, что могли дать; многое ли — это вопрос, которым мне некогда заниматься. А что вы ровно ничего не сделали для своего внутреннего развития — это ясно! Иначе из вас вышло бы кое-что другое. Что вы скажете в свое оправдание? Вы скоро ведь обратитесь в палку! Понимаете вы, что я говорю?

— Вы меня пугаете! — сказал розовый куст. — Я никогда об этом не думал!

— Да, да, вы, кажется, мало затрудняли себя думаньем! А вы пробовали когда-нибудь заняться этим вопросом, дать себе отчет: почему, собственно, вы цветете и как это происходит, почему так, а не иначе?

— Нет! — сказал розовый куст. — Я радовался жизни и цвел — я не мог иначе! Солнце так грело, воздух так освежал меня, я пил живую росу и обильный дождь, я дышал, я жил! Силы подымались в меня из земли, вливались из воздуха, я жил полной жизнью, счастье охватывало меня, и я цвел — в этом была моя жизнь, мое счастье, я не мог иначе!

— Да, вы таки жили — не тужили, нечего сказать!

— Да! Мне было дано так много! — сказал розовый куст. — Но вам дано еще больше! Вы одна из глубокомыслящих, высокоодаренных натур!.. Вы должны удивить мир!

— Была охота! — сказала улитка. — Я знать не знаю вашего мира! Какое мне до него дело? Мне довольно самой себя!

— Да, но мне кажется, что все мы обязаны делиться с миром лучшим, что есть в нас!.. Я мог дать миру только розы!.. Но вы? Вам дано так много? А что вы дали миру? Что вы дадите ему?

— Что я дала? Что дам? Плюю я на него! Никуда он не годится! И дела мне нет до него! Снабжайте его розами — вас только на это и хватит! Пусть себе орешник дает ему орехи, коровы и овцы — молоко — у них своя публика! Моя же — во мне самой! Я замкнусь в себе самой и — баста! Мне нет дела до мира!

И улитка заползла в свою раковину и залепилась там.

— Как это грустно! — сказал розовый куст. — А я так вот и хотел бы, да не могу замкнуться в самом себе — у меня все просится наружу, я должен цвести! Розы мои опадают и разносятся по ветру, но я видел, как одну из них положила в молитвенник мать семейства, другую приютила у себя на груди прелестная молодая девушка, третью целовали улыбающиеся губки ребенка!.. И я был так счастлив! Вот мои воспоминания; в них — моя жизнь!

И розовый куст цвел и благоухал, полный невинной радости и счастья, а улитка тупо дремала в своей раковине — ей не было дела до мира.

Года шли за годами.

Улитка стала землей в земле, розовый куст стал землей в земле, роза воспоминания истлела в молитвеннике... Но в саду цвели новые розовые кусты, под ними ползали новые улитки; они заползали в свои домики и плевались — им не было дела до мира!

Не рассказать ли эту историю с начала? Она не меняется!



## «БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ В ГОРОДЕ!»

**Ж**ил-был человек; он когда-то знал много-много новых сказок, но теперь запас их — по словам его — истощился. Сказка, которая является сама собою, не приходила больше и не стучалась к нему в двери. Почему? По правде-то сказать, он сам несколько лет не вспоминал о ней и не поджидал ее к себе в гости. Да она, конечно, и не приходила: была война, и в стране несколько лет стояли плач и стон, как и всегда во время войны.

Аисты и ласточки вернулись из дальнего странствования — они не думали ни о какой опасности; но явиться-то они явились, а гнезд их не оказалось больше: они сгорели вместе с домами. Границы страны были почти стерты, неприятельские кони топтали древние могилы. Тяжелые, печальные то были времена! Но и им пришел конец.

Да, им пришел конец, а сказка и не думала стучаться в двери к сказочнику; и слуха о ней не было!

«Пожалуй, и сказкам пришел конец, как многому другому! — вздыхал сказочник. — Но нет, сказка ведь бессмертна!»

Прошел год с чем-то, и он стал тосковать.

«Неужели же сказка так и не придет, никогда больше не постучится ко мне?» И она воскресла в его памяти как живая. В каких только образах она ему ни являлась! То в образе прелестной молодой девушки, олицетворенной весны, с сияющими, как глубокие лесные озера, очами, увенчанной диким яминником, с буковой ветвью в руке. То в образе корабейника, который, открыв свой корабль с товарами, развлекал перед ним ленты, испещренные стихами и преданиями старины. Милее же всего было ему ее появление в образе старой, убеленной сединами бабушки, с большими умными светлыми глазами. Вот у нее так был запас рассказов о самых древнейших временах, куда древнее тех, когда принцессы еще пряли на золотых прялках, а их сторожили драконы и змеи! И она передавала их так живо, что у слушателя темнело в глазах, а на полу рисовались кровавые пятна. Жутко было слушать и все-таки куда как занятно! Все это было ведь так давно-давно!

«Неужели же она так-таки и не постучится больше?» — спрашивал себя сказочник, не сводя взгляда с двери; под конец у него потемнело в глазах, а на полу замелькали черные пятна; он и сам не знал, что это — кровь или траурный креп, в который облеклась страна после тяжелых, мрачных дней скорби.

Сидел он, сидел, и вдруг ему пришла мысль: а что, если сказка скрывается, как принцесса добрых старинных сказок, и ждет, чтобы ее разыскали? Найдут ее, и она засияет новой красотой, лучше прежнего!

«Кто знает! Может быть, она скрывается в брошенной соломинке, колеблющейся вон там, на краю колодца? Тише! Тише! Может быть, она спряталась в высохший цветок, что лежит в одной из этих больших книг на полке?»

Сказочник подошел к полке и открыл одну из новейших просветительных книг. Не тут ли сказка? Но там не было даже ни единого цветка, а только исследование о Гольгере Данске. Сказочник стал читать и прочел, что история эта — плод фантазии одного французского монаха, роман, который потом взяли да перевели и «тиснули на датском языке», что Гольгера Данске вовсе и не существовало никогда, а следовательно, он никогда и не появится опять, о чем мы поем и чему так охотно верим. Итак, Гольгер Данске, как и Вильгельм Тель, оказывался одним вымыслом! Все это было изложено в книге с подбауживающей ученостью.

— Ну, а я во что верю, в то и верю! — сказал сказочник. — Без огня и дыма не бывает!

И он закрыл книгу, поставил ее на полку и подошел к живым цветам, стоявшим на подоконнике. Не тут ли спряталась сказка? Не в красном ли тюльпане с желтыми краешками, или, может быть, в свежей розе, или в яркой камелии? Но между цветами прятались только солнечные лучи, а не сказка.

«Цветы, росшие тут в тяжелое, скорбное время, были куда красивее, но их срезали все до единого, сплели из них венок и положили в гроб, который накрыли распущенным знаменем. Может быть, с теми цветами схоронили и сказку? Но цветы знали бы о том, самый гроб, самая земля почувствовали бы это! Об этом рассказала бы каждая пробившаяся из-под земли былинка! Нет, сказка умереть не может! Она бессмертна!.. А может быть, она и приходила сюда, стучалась в дверь, но кому было услышать ее стук, кому было дело до нее? В то мрачное время и на весеннее солнышко-то смотрели чуть ли не с озлоблением, сердились, кажется, даже на щебетание птишек, на жизнерадостную зелень! Язык не поворачивался тогда пропеть хоть одну из старых, неувядающих народных песен; их схоронили вместе со многим, что было так дорого сердцу! Да, сказка отлично могла стучаться в двери, но никто не слышал этого стука,

никто не пригласил ее войти, она и ушла! Пойти поискать ее! За город! В лес, на берег моря!»

За городом стоит старый замок; стены сложены из красного кирпича, на башне развевается флаг. В тонковырезной листве буквых деревьев поет соловей, любясь на цветы яблони и думая, что перед ним розы. Летом здесь суетятся пчелы, носясь гудящим роем вокруг своей царицы, а осенью бури рассказывают о дикой охоте, об увядающих и опадающих человеческих поколениях и листьях. На Рождество сюда доносится с моря пение диких лебедей, а в самом старом доме, у печки, в это время так уютно, так приятно сидеть и слушать сказки и предания!

В нижней, старой, части сада находилась каштановая аллея, так и манившая своим полумраком. Туда-то и направился сказочник. Здесь некогда прогудел ему ветер о *Вальдемаре До и его дочерях*, а Дриада, обитавшая в дереве, — это и была сама бабушка-сказка, — рассказала *последний сон старого дуба*. Во времена прабабушки здесь росли подстриженные кусты, теперь же — только папоротник да крапива. Они разрослись над валявшимися тут обломками старых каменных статуй. Глаза статуй заросли мхом, но видели они не хуже прежнего, а вот сказочник и здесь не увидел сказки.

Куда же, однако, она девалась?

Высоко над головой его и старыми деревьями носились стаи ворон и каркали: «Кра-кра! Прочь! Прочь!»

Он и ушел из сада на вал, окружавший дом, а оттуда — в ольховую рощу. Здесь стоял шестиугольный домик, при котором был птичий двор. В горнице сидела старуха, смотревшая за птицей; у нее было на счету каждое снесенное яйцо, каждый вылупившийся цыпленок, но все-таки она не была сказкой, которую разыскивал наш сказочник, — на это у нее имелись доказательства: метрическое свидетельство и свидетельство о привитии оспы; оба хранились в ее сундуке.

Неподалеку от домика возвышался холм, поросший терном и желтой акацией. Тут же лежал старый могильный памятник, привезенный сюда много лет тому назад со старого кладбища как память об одном из честных «отцов города». Памятник изображал его самого, а вокруг него были высечены из камня его супруга и пять дочерей, все со сложенными руками и в высоких стоячих воротничках. Долгое, пристальное созерцание памятника действовало на мысли, а мысли, в свою очередь, действовали на камень, и он начинал рассказывать о старине; так по крайней мере бывало с человеком, разыскивавшим сказку. Придя сюда, он увидел на лбу каменного «отца города» живую бабочку; вот она взмахнула крыльшками, полетала-полетала и уселась на травку неподалеку от памятника, как бы желая обратить внимание сказочника на то, что там росло. А рос там четырехлистный клевер; да не одна такая былинка, а целых семь, одна подле другой. Да, счастье коли привалит, так уж привалит



разом! Сказочник сорвал их все и сунул в карман. Счастье ведь не хуже чистых денег, но новая хорошая сказка была бы, однако, еще лучше, думалось сказочнику. Сказки-то он, однако, так и не нашел.

Солнце садилось, большое, красное; луга дымились, Болотница варила пиво.

Свечерело; сказочник стоял один в своей комнате и смотрел через сад и луг на болото и морской берег. Ярко светил месяц; над лугами стоял такой туман, что луг казался огромным озером. Он и был им когда-то, гласили предания; теперь же, благодаря лунному свету, предание превратилось в действительность. Сказочнику вспомнилось то, что он прочел сегодня в книге о Вильгельме Телле и Гольгере Данске, — будто они никогда не существовали; они, однако, жили в народном поверье, как вот и это озеро, вновь ставшее вдруг действительностью! Значит, и Гольгер Данске может воскреснуть!

В эту минуту что-то сильно стукнуло в окно. Что это? Птица, летучая мышь, сова? Ну, таким гостям не отворяют! Но вот окно распахнулось само собою, и в него просунулась старушечья голова.

— Это еще что? — спросил сказочник. — Кто это? И как она может заглянуть в окно второго этажа? Что она, на лестнице стоит?

— У вас в кармане четырехлистный клевер! — отозвалась старуха. — У вас даже целых семь таких былинков, и одна из них шестилистная!

— Кто ты? — спросил ее сказочник.

— Болотница! — ответила она. — Болотница, что варит пиво. Я ж возилась с пивом, да один из болотных чертенят расшалился, выдернул из бочки втулку и бросил ее сюда, во двор, прямо в окно. Теперь пиво так и бежит из бочки, а это невыгодно.

— А скажите... — начал было сказочник.

— Постойте маленько! — прервала его Болотница. — Теперь у меня есть дело поважнее! — И она исчезла.

Сказочник только что собрался затворить окно, как старуха показалась опять.

— Ну вот, дело и сделано! — сказала она. — Остальную половину пива я доварю завтра, коли погода будет хороша. О чем же вы хотели спросить меня? Я вернулась потому, что всегда держу слово, да к тому же у вас в кармане семь былинков четырехлистного клевера, из которых одна даже шестилистная, — это внушает уважение! Такой четырехлистник — что твой орден; правда, он растет прямо у дороги, но находит-то его не всякий! Так что же вы хотели спросить? Ну, не мямлите же, я тороплюсь!

Сказочник и спросил о сказке, спросил, не встречала ли ее Болотница.

— Ох ты, пиво мое, пиво! — сказала старуха. — Вы все еще не сыты сказками? А я так думаю, что они всем уж набили оскомину. Теперь у людей есть чем заняться другим! Даже дети, и те переросли

сказки. Теперь подавайте мальчикам сигары, а девочкам кринолины; вот что им по вкусу! А то сказки?! Нет, теперь есть чем заняться поважнее!

— Что вы хотите сказать? — спросил сказочник. — И что вы знаете о людях? Вы ведь имеете дело только с лягушками да блуждающими огоньками!

— Да, берегитесь-ка этих огоньков! — сказала старуха. — Они теперь на воле! Вырвались! Об них-то мы и поговорим с вами. Только приходите ко мне в болото, а то меня там дело ждет. Там я и расскажу вам обо всем. Но торопитесь, пока ваши четырехлистные да одна шестилистная былинки клевера не завяли и месяц не зашел.

И Болотница исчезла.

Башенные часы пробили двенадцать, и не успели еще они пробить четверть первого, как сказочник, выйдя из дома и миновав сад, стоял на лугу. Туман улегся; Болотница кончила варку пива.

— Долгонько же вы собирались! — сказала ему она. — Нечистая сила куда проворнее людей; я рада, что родилась Болотницею!

— Ну, что же вы мне скажете? — спросил сказочник. — Что-нибудь о сказке?

— Вы ни о чем другом и говорить не можете? — ответила старуха.

— Так речь пойдет о поэзии будущего?

— Только не залетайте слишком высоко! — сказала Болотница. — Тогда я и буду с вами разговаривать. Вы только и бредите поэзией, говорите только о сказке, точно она всему миру голова! А она хоть и постарше всех, да считается-то самою младшею, вечно юною! Я хорошо знаю ее! И я когда-то была молода, а молодость ведь не то, что детская болезнь. И я когда-то была хорошенькой лесной девой, плясала вместе с подругами при лунном свете, заслушивалась соловья, бродила по лесу и не раз встречала девицу-сказку — она вечно шатается по свету. То она ночует в полураспустившемся тюльпане, то в желуде, то шыгнет в церковь и закутается там в креп, ниспадающий с подсвечников в алтаре!

— Да вы очень сведущи! — заметил сказочник.

— Должна же я знать по крайней мере с ваше! — отозвалась Болотница. — Поэзия и сказка — обе одного поля ягоды, и пора им обоим убираться подобру-поздорову! Их теперь можно отлично подделать; и дешево и сердито выходит! Хотите, я дам вам их сколько угодно задаром! У меня полный шкаф поэзии в бутылках. В них налита эссенция, самый экстракт поэзии, извлеченный из разных корней — и горьких, и сладких. У меня имеются все сорта поэзии, в которой нуждаются люди. По праздникам я употребляю эти эссенции вместо духов — лью несколько капель на носовой платок.

— Удивительные вещи вы рассказываете! — проговорил сказочник. — Так у вас поэзия разлита по бутылкам?

— И у меня ее столько, что вам и не переварить! — ответила старуха. — Вы ведь знаете историю о девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать новых башмаков? Она и написана и напечатана.

— Я сам рассказал ее! — сказал сказочник.

— Ну так вы знаете ее и знаете, что девочка провалилась сквозь землю, ко мне в пивоварню, как раз в то время, когда у меня была в гостях чертова прабабушка; она пришла посмотреть, как варят пиво, увидела девочку и выпросила ее себе в истуканы, на память о посещении пивоварни. Чертова прабабушка получила, что желала, меня же одарила такой вещью, которая мне совсем не ко двору! Она изволила подарить мне дорожную аптечку, шкаф, полнехонький бутылок с поэзией! Прабабушка сказала, где надо поставить шкаф, там он и стоит до сих пор. Взгляните! У вас в кармане семь четырехлистных былинков клевера, из которых одна даже шестилистная, так вам можно взглянуть!

И в самом деле, посреди болота лежало что-то вроде большого ольхового пня, но оказалось, что это-то и есть прабабушкин шкаф. Он был открыт для самой Болотницы и для всякого, кто только знал, где должен стоять шкаф<sup>1</sup>, сказала Болотница.

Шкаф открывался и спереди, и сзади, со всех сторон и углов. Прехитрая штука! И все же на вид он был ни дать ни взять старый ольховый пенек! Тут имелись в искусных подделках всевозможные поэты, но преобладали все-таки туземные. Из творений каждого был извлечен самый их дух, квинтэссенция их содержания; затем добытое было раскритиковано, обновлено, сконцентрировано и закупорено в бутылку. Руководимая высоким инстинктом, — как принято говорить в тех случаях, когда нежелательно назвать это гениальностью, — чертова прабабушка отыскивала в природе то, что отзывалось тем или другим поэтом, прибавляла к этому немножко чертовщины и таким образом запасалась поэзией данного рода.

— Ну покажите же мне эту поэзию! — попросил сказочник.

— Сперва вам надо послушать кое о чем поважнее! — возразила Болотница.

— Да ведь мы как раз у шкафа! — сказал сказочник и заглянул в шкаф. — Э, да тут бутылки всех величин! Что в этой? Или в этой?

— В этой так называемые майские духи. Я еще не нюхала их, но знаю, что стоит чуть плеснуть из этой бутылки на пол, и сейчас перед тобой будет чудное лесное озеро, поросшее кувшинками. Если же капнуть всего капельки две на тетрадку ученика, хотя бы из самого низшего класса, — в тетрадке окажется такая душистая комедия, что хоть сейчас ставь ее на сцену да засыпай под нее — так сильно от нее пахнет! На бутылке написано: «Варки Болотницы» — вероятно, из вежливости ко мне!

<sup>1</sup> «Он знает, где должен стоять шкаф», — говорят у датчан о человеке, который твердо знает, чего он хочет. — *Примеч. перев.*

А вот бутылка со скандальной поэзией. С виду в ней налита одна грязная вода; так оно и есть, но к этой воде подмешан шипучий порошок из городских сплетен, три лота лжи и два грана истины; все это перемешано березовым прутом, не из розог, помоченных в рассоле и обрызганных кровью преступника, даже не из пучка школьных розог — нет, просто из метлы, которою прочищали уличную канаву.

Вот бутылка с минорно-набожной поэзией. Каждая капля издает визг, напоминающий скрипение ржавых петель в воротах ада; извлечена же эта эссенция из пота и крови самобичующихся. Поговаривают, правда, что это только голубиная желчь, но другие спорят, что голубь — птица благочестивая и в ней даже желчи нет; видно, что эти мудрецы не учились естественной истории!

Потом сказочник увидел еще бутылку. Вот так была бутылка! Из бутылок бутылка! Она занимала чуть не половину шкафа; это была бутылка с «обыкновенными историями». Горлышко ее было обвязано свиной кожей и обтянуто пузырем, чтобы эссенция не выдохлась. Каждый народ мог добыть из нее свой национальный суп — все зависело от того, как повернуть и тряхнуть бутылку. Тут был и старинный немецкий кровавый суп с разбойничьими клецками, и жиденький домашний супец, сваренный из настоящих надворных советников вместо кореньев; на поверхности его плавали философские жирные точки. Был тут также и английский гувернантский суп, и французский «*potage à la Kock*», сваренный из петушьей ноги и воробьиного яйца и на датском языке носящий название «канканного супа». Лучшим же из всех супов был копенгагенский. Так по крайней мере говорили свои люди.

В бутылке из-под шампанского содержалась трагедия; она могла и должна была вышибать пробку и хлопать; комедия же была похожа на мелкий-мелкий песок, пыль, которую можно было бы пустить людям в глаза; это была, конечно, высокая комедия. Низкая комедия, впрочем, тоже имелась в особой бутылке, но она состояла из одних *афиш будущего*, в которых название пьесы играло главную роль. И тут попадались замечательные названия, например: «А ну, плюнь-ка в нутро!», «В морду!», «Душка-скотина!», «Пьяна, как стелька!»<sup>1</sup>.

Сказочник слушал, слушал и совсем задумался, но мысли Болотницы забегали вперед, и ей хотелось поскорее положить этому думанью конец.

— Ну, теперь насмотрелись на это сокровище? Знаете теперь, в чем тут дело? Но есть кое-что поважнее, чего вы еще не знаете: блуждающие огоньки в городе! Это поважнее всякой поэзии и сказки. Мне бы сле-

<sup>1</sup> Все выражения взяты из уличного жаргона; первое нуждается в объяснении: когда мальчишка получает в подарок первые часы, он, конечно, сейчас бежит на улицу похвастаться ими перед товарищами, а те требуют от него доказательства, что часы действительно его: «А ну, плюнь-ка в нутро!» — *Примеч. перев.*

довало, конечно, держать язык за зубами, но судьба сильнее меня, на меня точно нашло что-то, язык так вот и чешется! Блуждающие огоньки в городе! Вырвались на волю! Берегитесь их, люди!

— Ни слова не понимаю! — сказал сказочник.

— Присядьте, пожалуйста, на шкаф! — сказала старуха. — Только не провалитесь в него да не перебейте бутылок! Вы ведь знаете, что в них. Я расскажу вам сейчас о великом событии; случилось оно не далее как вчера, но случилось и прежде. Длиться же ему еще триста шестьдесят четыре дня. Вы ведь знаете, сколько дней в году?

И она повела рассказ.

— Вчера в болоте была такая суетня! Праздновали рождение малюток! Родилось двенадцать блуждающих огоньков из того сорта, что могут по желанию вселяться в людей и действовать между ними, как настоящие люди. Это великое событие в болоте, вот почему по болоту и лугу и началась пляска. Плясали все блуждающие огоньки — и мужского и женского пола. Среди них есть и женский пол, но о нем не принято упоминать. Я сидела на шкафу, держа на коленях двенадцать новорожденных огоньков. Они светились, как Ивановы червячки, начинали уже попрыгивать и с каждой минутой становились все больше и больше. Не прошло и четверти часа, как все они стали величиной со своих папаш или дядюшек. По древнему закону блуждающие огоньки, родившиеся в такой-то час и минуту, при таком именно положении месяца, какое было вчера, и при таком ветре, какой дул вчера, пользуются особым преимуществом: принимать человеческий образ и действовать как человек — но, конечно, сообразно со своей натурой — целый год. Такой блуждающий огонек может обождать всю страну, даже весь свет, если только не боится упасть в море или погаснуть от сильного ветра. Он может прямехонько вселиться в человека, говорить за него, двигаться и действовать по своему усмотрению. Он может избрать для себя любой образ, вселиться в мужчину или женщину, действовать в их духе, но сообразно своей натуре. Зато в продолжение года он должен совратить с прямого пути триста шестьдесят пять человек, да совратить основательно. Тогда блуждающий огонек удостоивается у нас высшей награды: его жалуют в скороходы, что бегут перед парадной колесницей черта, одевают в огненно-красную ливрею и даруют ему способность изрыгать пламя прямо изо рта! А простые-то блуждающие огоньки глядят на это великолепие да только облизываются! Но честолюбивому огоньку предстоит тоже немало хлопот и забот и даже опасностей. Если человек разгадает, с кем имеет дело, и сможет задуть огонек — тогда этот пропал: полезай назад в болото! Если же сам огонек не выдержит срока испытания, соскучится по семье, он тоже пропал: не может уже гореть так ярко, скоро потухает, и — навсегда. Если же год пройдет, а он не успеет за это время совратить с пути истины трехсот шестидесяти пяти человек, его наказывают



заклчением в гнилушку: лежи себе там да свети, не шевелясь! А это для шустрого блуждающего огонька хуже всякого наказания. Все это я знала и рассказала двенадцати молодым огонькам, которых держала на коленях, а они так и бесились от радости. Я сказала им, что вернее, удобнее всего отказаться от чести и ничего не делать. Но огоньки не захотели этого: все они уже видели себя в огненной ливрее и с пламенем изо рта! «Оставайтесь-ка дома!» — советовали им некоторые из старших. «Подурачьте людей! — говорили другие. — Люди осушают наши луга! Что будет с нашими потомками?» — «Мы хотим гореть, пламя нас возьми!» — сказали новорожденные огоньки, и слово их было твердо.

Сейчас же устроился минутный бал — короче балы уж не бывают! Лесные девы сделали по три тура со всеми гостями, чтобы не показаться спесивыми; вообще же они охотнее танцуют одни. Потом начали дарить новорожденным «на зубок», как это называется. Подарки летели со всех сторон, словно в болото швыряли камушки. Каждая из лесных дев дала огонькам по клочку от своего воздушного шарфа. «Возьмите их, — сказали они, — и вы сейчас же выучитесь труднейшим танцам и изворотам, которые могут понадобиться в минуту трудную, а также приобретете надлежащую осанку, так что не ударите лицом в грязь в самом чопорном обществе!» Ночной ворон выучил всех новорожденных огоньков говорить: «Браво! Браво!» — и говорить всегда кстати, а это ведь такое искусство, которое никогда не остается без награды. Сова и аист тоже кое-что обрели в болото, но «о такой малости не стоит и говорить» — заявили они сами, мы и не будем говорить. В это же время мимо пронеслась «дикая охота короля Вальдемара»; господа узнали, что за пир у нас идет, и прислали в подарок двух лучших собак; они носились с быстротою ветра и могли снести на спине хоть трех блуждающих огоньков. Две старые бабы-кошмарихи, которые промышляют ездой, тоже присутствовали на пиру и научили огоньков искусству пролезать в замочную скважину — таким образом, перед ними были открыты все двери. Они предложили также отвезти молоденьких огоньков в город, где знали все ходы и выходы. Обыкновенно кошмарихи ездят, сидя верхом на собственных косах, — они связывают их на кончике в узелок, чтобы сидеть тверже. Теперь же они уселись верхом на диких охотничьих собаках, взяли на руки молоденьких огоньков, которые отправлялись в свет соблазнять людей, и — марш! Все это было вчера ночью. Теперь блуждающие огоньки в городе и взялись за дело, но как, где? Да, вот скажите-ка мне! Впрочем, у меня большой палец на ноге — что твой барометр, и кое о чем да дает мне знать.

— Да это целая сказка! — воскликнул сказочник.

— Нет, только присказка, а сказка-то еще впереди! — ответила Болотница. — Вот вы и расскажите мне, как ведут себя огоньки, какие личины на себя надевают, чтобы совращать людей?



— Я думаю, что об огоньках можно написать целый роман в двадцати частях, по одной о каждом, или еще лучше — народную комедию! — сказал сказочник.

— Ну и напишите! — сказала старуха. — Или лучше отложите попечение!

— Да, оно, пожалуй, и удобнее и приятнее! — отозвался сказочник. — По крайней мере, тебя не будут трепать в газетах, а от этого ведь приходится иной раз так же тяжело, как блуждающему огоньку от сидения в гнилушке!

— Мне-то это все едино! — сказала старуха. — А лучше все-таки предоставьте писать об этом другим — и тем, кто может, и тем, кто не может! Я же дам им старую втулку от моей бочки; ею они могут открыть себе шкаф с поэзией, разлитой по бутылкам, и почерпнуть оттуда все, чего у них самих не хватает. Ну, а вы, милый человек, по-моему, довольно попочкали себе пальцы чернилами, да и в таких уже годах, что пора вам перестать круглый год гоняться за сказкой! Теперь есть чем заняться поважнее. Вы ведь слышали, что случилось?

— Блуждающие огоньки в городе! — ответил сказочник. — Слышать-то я слышал и понял! Но что же мне, по-вашему, делать? Меня забросают грязью, если я скажу людям: «Берегитесь, вон идет блуждающий огонек в почетном мундире!»

— Они ходят и в юбках! — сказала Болотница. — Блуждающие огоньки могут принимать на себя всякие личины и являться во всех местах. Они ходят и в церковь — не ради молитвы, конечно! Пожалуй, кто-нибудь из них вселится в самого пастора! Они произносят речи и на выборах, но не на пользу страны и государства, а на свою собственную. Они вмешиваются и в области искусства, но удастся им утвердить там свою власть — прощай искусство! Однако я все болтаю да болтаю, язык у меня так и чешется, и я говорю во вред своей же семье! Но мне, видно, на роду написано быть спасительницей рода человеческого! Конечно, я действую не по доброй воле и не ради медали! Что ни говори, однако, я творю глупости: рассказываю все поэту — скоро об этом узнает и весь город!

— Очень ему нужно знать это! — сказал сказочник. — Да ни один человек и не поверит этому! Скажи я людям: «Берегитесь! Блуждающие огоньки в городе!» — они подумают, что я опять сказки рассказывать принялся!



## ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА

**Н**а холме горделиво возвышалась мельница; она таки и была горденька.

— И вовсе я не горда! — говорила она. — Но я очень просвещена и снаружи и внутри. Солнце и месяц к моим услугам и для внутреннего и для наружного употребления; кроме того, у меня есть в запасе стеариновые свечи, лампы с ворванью и сальные свечки. Смею сказать, что я просвещена! Я — существо мыслящее и так хорошо устроена, что просто любо. В груди у меня отличный жернов, а на голове, прямо под шляпой, четыре крыла. У птиц же всего по два крыла, и они таскают их на спине! Я голландка родом — это видно по моей фигуре — «летучая голландка»! «Летучий голландец», я знаю, явление сверхъестественное, но во мне нет ничего неестественного! Вокруг живота у меня идет целая галерея, а в нижней части — жилое помещение. Там живут мои мысли. Главная, которая всем заправляет, зовется остальными мыслями хозяином. Он знает, чего хочет, стоит куда выше крупы и муки, но и у него есть ровня; зовут ее хозяйкою. Она — душа всего дела; у нее губа вообще не дура, она тоже знает, чего хочет, и знает, что ей по силам; нежна она, как дуновение ветерка, сильна, как буря, и умеет добиваться своего исподволь. Она моя чувствительная сторона, хозяин же — положительная; но оба они составляют, в сущности, одно и зовут друг друга своею половиной. Есть у них и малютки, маленькие мысли, которые могут со временем вырасти. Малыши эти поднимают порою такую возню! На днях, когда я умно и рассудительно позволила хозяину и его подручному расследовать в моей груди жернова и колеса, — я чувствовала, что там что-то не ладно, а ведь нужно же знать, что происходит в тебе самой! Так вот, малыши подняли тогда такую возню! А это не кстати, если стоишь так высоко, как я! Надо же помнить, что стоишь на виду и в полном освещении; суд людской то же освещение! Да, что, бишь, я хотела сказать? Ах, да — ужасная возня малышей! Самый младший добрался до моей шляпы и принялся трещать языком так, что у меня защекодтало внутри. Но маленькие мысли могут вырасти, я это испытала; да и извне могут прийти мысли, и не совсем моей породы; я, как далеко ни смотрю кругом, нигде не вижу себе подобной,

никого, кроме себя! Но и в бескрылых домах, где мелют без жерновов, одними языками, тоже водятся мысли. Эти мысли приходят к моим и выходят за них замуж, как они это называют. Удивительно! Да, много есть на свете удивительного. Вот, например: со мной или во мне что-то совершилось; что-то как будто изменилось в механизме. Мельник как будто переменял свою «половину» на более нежную, молодую, благочестивую и сам стал оттого мягче душою; «половина» его как будто изменилась, а в сущности осталась той же самой, только смягчилась с годами. И вот все горькое улетучилось, и дело пошло еще лучше. Дни идут за днями, все вперед да вперед, на радость и счастье, и вот наконец — да, об этом и сказано и написано в книгах — придет день, когда меня не станет, и все-таки я останусь! Я разрушусь, чтобы восстать вновь в еще лучшем виде; я перестану существовать и все-таки буду продолжать существовать. Стану другой и в то же время останусь сама собой! Мне трудно понять это, как ни просвещена я солнцем, луной, стеарином, ворванью и салом! Но я твердо знаю, что мои старые бревна и кирпичи восстанут из мусора. Надеюсь, что я сохраню и свои старые мысли: хозяина, хозяйку, всех больших и малых, всю семью, как я называю их, всю мыслящую компанию, — без них я не могу обойтись! Надеюсь тоже, что я останусь самой собой, такою, какова я есть, с жерновом в груди, крыльями на голове и галереею вокруг живота, а не то и я не узнаю самое себя, да и другие не узнают меня и не скажут больше: «Вот у нас на холме гордо возвышается мельница, но сама-то она вовсе не горда!»

Так вот что говорила мельница; говорила она и еще много чего, но это главное.

И дни шли за днями, и последний из них был для нее последним.

Мельница загорелась; пламя вспыхнуло, бросилось наружу, внутрь, лизнуло бревна и доски, а потом и пожрало их все. Мельница обрушилась, и от нее осталась одна зола; пожарище еще дымилось, но скоро ветер развеял дым.

С живыми обитателями мельницы ничего не случилось при этой okazji — они только выиграли. Семья мельника — одна душа, много голов, составлявших одно целое, приобрела новую, чудесную мельницу, которой могла быть вполне довольна. Мельница была с виду точь-в-точь такая же, как старая, и о ней тоже говорили: «Вон на холме гордо возвышается мельница!» Но эта была устроена лучше, более современно, — все ведь идет вперед. Старые же бревна, источенные червями, истлели, превратились в прах, в золу, и тело мельницы не восстало из праха, как думала она. Она понимала все сказанное в буквальном смысле, а нельзя же все понимать буквально!



## СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТКА



Жила-была монетка; она только что вышла из чеканки, чистенькая, светленькая, покатилась и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу свету!» И пошла.

Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке, скряга тискал холодными, липкими пальцами, люди постарше вертели и поворачивали в руках много раз, а молодежь живо ставила ребром и катила дальше. Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она уже целый год гуляла по белу свету, то есть по той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась путешествовать за границу и оказалась последней туземной монеткой в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о ее существовании, пока она сама не попалась ему под руку.

— Вот как! У меня еще осталась одна наша родная монетка! — сказал он. — Ну, пусть едет со мной путешествовать!

И монетка от радости подпрыгнула и зазвенела, когда он сунул ее обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать с иностранными товарками, которые все сменялись; одна уступала место другой, а наша монетка все оставалась на своем; это уж было некоторого рода отличием!

Прошло несколько недель; монетка заехала далеко-далеко от родины, но куда — не знала. Она только слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то или таком-то городе, но сама не имела о том никакого представления: не много увидишь, сидя в мешке, как она! Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт; ей вздумалось выглянуть на свет Божий, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, ну и это не прошло ей даром! Она упала в карман брюк; вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась, где лежала. Брюки вынесли в коридор чистить, и тут монетка вывалилась из кармана на пол; никто не слышал, никто не видел этого.

Утром платье опять снесли в комнату; путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и ей предстояло опять поступить на службу; она очутилась вместе с тремя другими монетками.

«Вот славнo-то! Опять пойду гулять по свету; увижу новых людей, новые обычаи!» — подумала монетка.

— Это что за монетка? — слышалось в ту же минуту. — Это не ходячая монета. Фальшивая! Никуда не годится!

Тут-то и начались для монетки мытарства, о которых она потом рассказывала.

— «Фальшивая! Никуда не годится!» Меня так и пронизало насквозь! — рассказывала она. — Я же знала, что я чисто серебряная, хорошего звона и настоящей чеканки! Верно, люди ошиблись — не могли они так отзываться обо мне! Однако они говорили именно про меня! Это меня называли фальшивой, я никуда не годилась! «Ну, я сбуду ее с рук в сумерках!» — сказал мой хозяин и сбыл-таки. Но при дневном свете меня опять принялись бранить: «Фальшивая!», «Никуда не годится!», «Надо ее поскорее сбить с рук!»

И монетка дрожала от стыда и страха всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо ходячей туземной монеты.

— Ах, несчастная я монетка! Что толку в моем серебре, в моем достоинстве, чеканке, когда все это ни к чему! В глазах света останешься тем, за кого он тебя примет! Как же должно быть ужасно иметь нечистую совесть, пробиваться вперед нечистыми путями, если мне, ни в чем не повинной, так тяжело потому только, что я кажусь виновною!.. Переходя в новые руки, я всякий раз трепещу от того взгляда, который бросят на меня сейчас: я ведь знаю, что меня сейчас же отшвырнут в сторону, бросят, точно я обманщица!

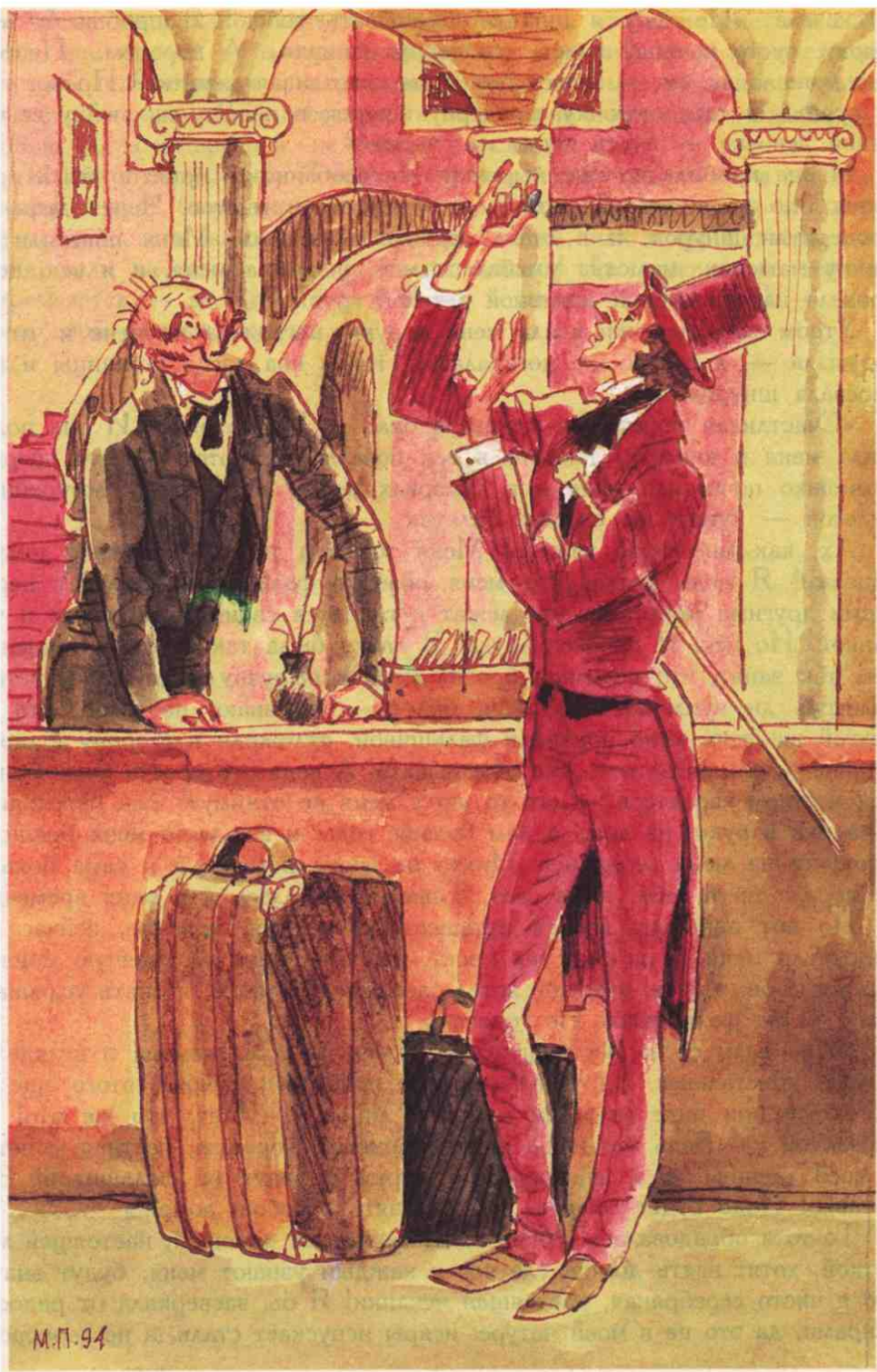
Раз я попала к одной бедной женщине; она получила меня в уплату за тяжелую поденную работу. Но ей-то уж никак не удавалось сбить меня с рук, никто не хотел брать меня; я была для бедняги сущим несчастьем.

«Право, поневоле придется обмануть кого-нибудь! — сказала женщина. — Где мне, при моей бедности, беречь фальшивые деньги! Отдам-ка ее богатому булочнику; он-то не разорится от этого! Но все-таки нехорошо это! Сама знаю, что нехорошо!»

«Ну вот, теперь я буду лежать на совести у бедной женщины! — вздохнула я. — Неужели же я, в самом деле, так изменилась от времени?»

И женщина отправилась к богатому булочнику; но он слишком хорошо знал все ходячие монеты, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили, — он швырнул меня бедной женщине в лицо. Ей не дали за меня хлеба, и мне было так грустно, так грустно сознавать, что я отчеканена на горе другим! Это я-то, я, когда-то такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне! И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Женщина же принесла меня обратно домой, добродушно-ласково поглядела на меня







и сказала: «Не хочу я никого обманывать тобою! Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая... А впрочем... Пстой, мне пришло на ум — может быть, ты счастливая монетка? Право, так! Я пробью в тебе дырочку, продерну шнурок и повешу на шейку соседкиной девочке — пусть носит на счастье!»

И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно быть пробитою, но ради доброй цели можно перенести многое. Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шейку малютки; малютка улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой невинной детской груди.

Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела на меня и что-то задумала — я сейчас же догадалась! Потом она взяла ножницы и перерезала шнурок.

«Счастливая монетка! — сказала она. — Посмотрим!» И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела, потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов — купить на счастье билетик.

Ах, как мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам! Я ведь знала, что меня обзовут фальшивой, осрамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкой. Но нет! Я проскользнула! В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что не глядя бросил меня в выручку к другим монетам. Выиграл ли купленный за меня билет — не знаю, но знаю, что на другой же день меня признали фальшивой, отложили в сторону и опять отправили обманывать — все обманывать! А ведь это просто невыносимо при честном характере — его-то уж у меня не отнимут! Так переходила я из рук в руки, из дома в дом больше года, и всюду-то меня бранили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня, и я сама больше не верила ни в себя, ни в свет. Тяжелое выдалось для меня времечко!

Но вот однажды явился путешественник; ему, конечно, сейчас же подсунули меня, и он был так прост, что взял меня за ходячую монету. Но когда он, в свою очередь, хотел расплатиться мною, я опять услышала крик: «Она фальшивая! Не годится!»


«Мне дали ее за настоящую! — сказал путешественник и взгляделся в меня пристальнее. Вдруг на лице его появилась улыбка; этого еще не случалось при виде меня ни с одним лицом. — Нет, что же это! — сказал он. — Ведь это наша родная монетка, хорошая, честная монетка с моей родины, а в ней пробили дырку и зовут ее фальшивой! Вот забавно! Надо будет сберечь тебя и взять с собою домой!»

То-то я обрадовалась! Меня опять называют хорошей, настоящей монеткой, хотят взять домой, где все и каждый узнают меня, будут знать, что я чисто серебряная, настоящей чеканки! Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре: искры испускает сталь, а не серебро.

Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетами и не затерять; вынимали меня только в торжественных случаях, при встречах с земляками, и тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересной, не говоря ни слова!

И вот я попала домой! Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь: я ведь была чисто серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне была пробита дырка, как в фальшивой: что за беда, если на самом деле ты не фальшивая! Да, надо иметь терпение: перемелется — все мука будет! В это я теперь твердо верю! — заключила свой рассказ монетка.





## ЕПИСКОП БЕРГЛУМСКИЙ И ЕГО РОДИЧИ

**В**от мы и на севере Ютландии, севернее Дикого болота. Тут уже слышится вой моря. Море отсюда близехонько, но его загораживает от нас песчаный холм. Холм этот давно у нас перед глазами, но мы все еще не доехали до него, медленно подвигаясь вперед по глубокому песку. На холме возвышается большое старинное здание; это бывший Берглумский монастырь; в самом большом флигеле его до сих пор — церковь. Мы доберемся до вершины холма лишь поздно вечером, но погода стоит ясная, ночи светлые, так что можно ясно видеть на много-много миль кругом; с холма открывается вид на поля и болота вплоть до Ольборгского фиорда, на степи и луга вплоть до темно-синего моря.

Ну вот мы и на холме, с грохотом катимся между гумном и овином и заворачиваем в ворота старого замка; вдоль стен его — ряды лип; тут они защищены от ветра и непогоды и разрослись так, что почти закрыли все окна.

Мы поднимаемся по каменной витой лестнице, проходим по длинным коридорам под бревенчатыми потолками. Как странно гудит здесь ветер: снаружи или внутри — не разберешь. Жутко... А тут еще эти рассказы... Ну, да мало ли что рассказывают, мало ли что видят, когда боятся сами или хотят напугать других! Рассказывают, что давно умершие монахи скользят по коридорам в церковь, где идет обедня; звуки молитв прорываются сквозь вой ветра. Наслушаешься таких рассказов, и душою овладевает странное настроение: начинаешь думать о старине и так задумаешься, что невольно перенесешься в те времена.

О берег разбился корабль; слуги епископа уже на берегу; они не щадят тех, кого пощадило море; море смывает с берега красную кровь, струящуюся из проломленных черепов. Выброшенный морем груз становится добычей епископа, а его тут немало. Море выкатывает

на берег бочки и бочонки с дорогим вином; все идет в погреба епископа, и без того битком набитые бочками с медом и пивом. Кухня его полным-полна битой дичью, колбасами и окороками; в прудах плавают жирные леи и караси. Богат и могуществен епископ Берглумский! Много у него земли и поместий, но ему все мало! Все должно преклоняться перед Олуфом Глобом!

В Тю умер его богатый родич. «Родич родичу хуже врага» — справедливость этой пословицы пришлось испытать на себе вдове умершего. Муж ее владел всеми землями в крае, кроме монастырских. Единственный сын находился в чужих краях — он был отослан туда еще мальчиком познакомиться с чужими нравами и обычаями, к чему так лежала его душа, но вот уже несколько лет о нем не было ни слуха ни духа. Может быть, он давно лежит в могиле и никогда не вернется больше на родину, хозяйничать там, где хозяйничает его мать.

«Что смыслит в хозяйстве баба?» — сказал епископ и послал ей вызов на народный суд — тинг. Но что из того толку? Вдова никогда не преступала законов, и сила права на ее стороне.

Епископ Олуф Берглумский, что замышляешь ты? Что пишешь на гладком пергаменте? Что запечатываешь восковой печатью и перевязываешь шнурком? Что за грамоту отсылаешь с рыцарем и оруженосцем далеко-далеко, в папскую столицу?

Начался листопад, завывли бури, пошли кораблекрушения, а вот и зима на дворе.

Два раза приходила она; в конце второй вернулись жданные посланцы. Они вернулись из Рима с буллой от папы, предававшей проклятию вдову, оскорбительницу благочестивого епископа. «Пусть ляжет проклятие на нее и на все, ей принадлежащее! Она отлучается от церкви и от людей! Да не протянет ей никто руки помощи, родные и друзья да бегут от нее, как от чумы и проказы!»

— Не гнется дерево, так его ломают! — сказал епископ Берглумский. Все отвернулись от вдовы, но она не отвернулась от Бога. Он стал ее единственным покровителем и защитником.

Только одна служанка, старая дева, осталась ей верна, и госпожа сама ходила вместе с нею за плугом. И хлеб уродился, даром что земля была проклята папой и епископом.

«Ах, ты исчадие ада! Постой! Будет же по-моему! — говорит епископ. — Рукою папы я достану тебя и привлеку на суд!»

Тогда вдова впрягает в телегу двух последних волов, садится на нее вместе со служанкой и едет по степи прочь из датской земли, в чужую страну, где всё и все ей чуждо: и люди, и язык, и нравы, и обычаи. Далеко-далеко заехала она, туда, где тянутся высокие зеленые горные склоны, растет виноград. Купцы, едущие с товарами, боязливо озираются со своих нагруженных возов, опасаясь нападения разбойничьих рыцарских

шаек. Две же бедные женщины на жалкой телеге, запряженной двумя черными волами, едут по опасной дороге и по густым лесам совершенно спокойно. Они теперь во Франции. Тут встречается им богато одетый рыцарь в сопровождении двенадцати оруженосцев. Он останавливается и смотрит на странную повозку, затем спрашивает женщин, откуда, куда и зачем они едут. Младшая из них называет датский город Тю, рассказывает про свое горе и обиду. Но тут и конец ее невзгодам! Так было угодно Богу! Чужестранный рыцарь — сын ее! Он протягивает ей руки, обнимает ее, и мать плачет от радости, а она не плакала вот уже много лет — только кусала себе губы до крови.

Начался листопад, завывали бури, пошли кораблекрушения; море катит в погреб епископа бочки с вином. На вертелах в кухне жарится дичь. Уютно, тепло в замке, а на дворе мороз так и кусает. И вот разносится весть: Иенс Глоб из Тю вернулся домой вместе с матерью; Иенс Глоб вызывает епископа на суд Божий и людской!

«Много он возьмет этим! — говорит епископ. — Оставь-ка лучше попечение, рыцарь Иенс Глоб!»

Опять начался листопад, снова завывали бури, пошли кораблекрушения; вот и зима на дворе. В воздухе порхают белые пчелы и жалят в лицо, пока не растают.

«Холодно сегодня!» — говорят люди, побывав на дворе. Иенс Глоб стоит у огня, думает думу и прожигает на платье большую дыру.

«Ну, епископ Берглумский! Я таки осилю тебя! Закон не может достать тебя под плащом папы, но Иенс Глоб достанет!»

И он пишет своему зятю Олуфу Газе Саллингскому письмо, назначает ему в сочельник свидание в Видбергской церкви во время заутрени. Епископ сам будет служить ее, для чего и отправляется из Берглума в Тю. Иенс Глоб знает это.

Луга и болота покрыты льдом и снегом; лед и снег окрепли настолько, что могут сдерживать лошадей со всадниками, целый поезд; то едет епископ с канониками и слугами. Они едут кратчайшей дорогой между хрупким тростником; печально шелестит в нем ветер.

Труби в свой медный рог, трубач в лисьей шубе! Звуки гулко разносятся в морозном, ясном воздухе. Поезд продвигается вперед по степям и болотам, где летом расстилаются луга Фаты-Морганы; направляется он к югу, к Видбергской церкви.

А ветер трубит в свой рог сильнее трубача; вот завывала буря, разыгралась непогода. Путь епископа лежит к Божьему дому. Дом Божий стоит крепко, как ни свирепствует вокруг него над полями, над болотами, над фиордом и морем страшная буря. Епископ Берглумский доехал до церкви вовремя, а вот Олуфу Газе вряд ли это удастся, хоть он и гонит лошадь изо всех сил. Он спешит на помощь Иенсу Глобу, вызвавшему епископа на суд Всевышнего. И вот Олуф Газе подъезжает к фиорду...

Скоро дом Божий станет судилищем, Престол — судейским столом; в тяжелых медных подсвечниках затеплятся свечи; буря прочтет жалобу и приговор. Отголоски их разнесутся по воздуху над болотами, степью и бурным морем. Но через фиорд в такую погоду нет переправы!

Олуф Газе останавливается у Оттезунда, отпускает своих людей, дарит им лошадей и вооружение, дает отпускные листы и велит свезти поклон своей супруге. Один хочет он довериться бушующим волнам, а слуги пусть засвидетельствуют, что не его вина, если Иенс Глоб останется в Видбергской церкви без подкрепления. Но верные слуги не хотят отстать от своего господина и бросаются вслед за ним в глубокие волны. Десятеро из них тонут, но сам Олуф Газе и еще двое отроков выплывают на противоположный берег. Им остается еще четыре мили пути.

За полночь; канун Рождества. Ветер улегся; церковь освещена. Яркий свет льется сквозь окна на луга и степь. Заутреня давно отошла; в Божьем доме тишина; слышно, как каплет воск со свечей на каменный пол. Является Олуф Газе.

В притворе встречает его Иенс Глоб:

— Здравствуй! Я помирился с епископом!

— Вот как! — отвечает Олуф. — Так ни ты, ни епископ не выйдете живыми из церкви!

И меч Олуфа Газе сверкает из ножен, вонзается и расщепляет дверь, которую успел захлопнуть между собой и зятем Иенс Глоб.

— Повремени, дорогой зять! Погляди сперва, каково примирение! Я убил епископа со всеми его людьми! Не придется им больше распространяться об этой истории, да и я не стану больше говорить о той обиде, что понесла моя мать!

Фитили восковых свечей горят красными языками; еще краснее свет разливается по полу. Тут плавает в крови епископ с раздробленным черепом; убиты и все его спутники. Тихо, безмолвно в Видбергской церкви в ночь под Рождество.

На третий день праздника в Берглумском монастыре зазвонили в колокола. Убитый епископ и его слуги выставлены напоказ в церкви; тела покоятся под балдахином, кругом стоят обвернутые крепом подсвечники. В парчовой ризе, с посохом в безжизненной руке, лежит епископ, некогда могущественный повелитель края. Курится ладан, монахи поют. В пении их звучит жалоба, злоба и осуждение. Ветер подтягивает им и разносит эти звуки по всей стране. Ветер утихает, успокаивается на время, но не навеки. Время от времени он просыпается и опять принимается за свои песни. Он распевает их и в наше время, поет здесь, на севере Ютландии, о епископе Берглумском и его родиче. Песни его слышатся темной ночью; испуганно внимлет им крестьянин, проезжающий по тяжелой песчаной дороге мимо Берглумского монастыря; внимлет им и бессонный обитатель толстостенных покоев Берглума. Вот почему так



странно и шелестит по длинным, гулким коридорам, ведущим к церкви. Вход в нее давно заложен, закрыт, но не для суеверных очей. Им мерещатся открытые двери: ярко горят свечи в паникадилах, курится ладан, церковь блещет прежним великолепием, монахи отпевают умершего епископа, что лежит в парчовой ризе, с посохом в бессильной руке. На бледном, гордом челе зияет кровавая рана; она горит, как огонь; таким огнем выжигаются дурные страсти детей света.

Прочь! Скройтесь в землю, покройте мраком забвения ужасные воспоминания старины!

Прислушайся к порывам ветра; они заглушают шум катящихся волн морских. Разыгралась буря; многим людям будет она стоять жизни! Нрав моря не изменился с годами. В эту ночь оно является всепоглощающей пастью, утром же, может быть, опять станет ясным оком, в котором можно видеть себя, как в зеркале. Так же бывало и в старину, которую мы только что схоронили. Спи же спокойно, если можешь!

Вот и утро.

Новые времена светят в нашу комнату вместе с лучами солнца. Ветер все еще бушует. Приносят весть о кораблекрушении — то же бывало и в старину.

Ночью, у Лекке, маленькой рыбацьей слободки, застроенной домиками с красными черепичными крышами, — ее видно отсюда из окон — разбился корабль. Он сел на мель далеко от берега, но спасительная ракета перебросила мост между тонущим судном и твердой землей. Все спаслись, вышли на берег и нашли себе приют и ночлег у рыбаков. Сегодня же их перевели в Берглумский монастырь. В уютных покоях их встречают радушный прием и привет на родном языке. С клавиш льются звуки родных мелодий, и не успеют еще они замереть, как зазвучит иная струна, безмолвная и в то же время полная звуков: вестник мысли сообщит семьям потерпевших крушение в чужой земле о их спасении. Родные успокоены; с души спасенных сваливается бремя, и в замке Берглум поднимается пляс и веселье. Протанцуем же старинный вальс, споем песни о Дании и о «храбром ополченце» нового времени!

Благословенно будь ты, новое время! Вступай в страну, как новое лето! Свети своими лучами в сердца людей! Быстро промелькнут на твоём светлом фоне воспоминания о старых, суровых, жестоких временах!



## В ДЕТСКОЙ

**П**апаша с мамашей и все братья и сестры уехали в театр; дома остались Аня да ее крестный.

— Мы тоже устроим себе театр! — сказал он. — Сейчас же начнем представление.

— Да ведь у нас нет театра! — возразила Аня. — Нет и актеров! Моя старая кукла не годится, она стала такая гадкая, а новую нельзя взять — платьице изомнешь!

— Актеры найдутся, если только не брезговать тем, что есть под рукой! — сказал крестный. — Ну, построим сначала театр. Вот сюда одну книжку, сюда другую, сюда третью; все три поставим вкось. Теперь по другую сторону еще три — вот и кулисы готовы. А этот старый ящик будет задней стеной — мы повернем его сюда дном. Сцена, как всякий видит, представляет комнату. Теперь дело за актерами! Посмотрим-ка, не найдется ли чего подходящего в ящике с игрушками. Сначала надо отыскать действующих лиц, а потом уж сочинять пьесу: одно ведет за собою другое — и выходит чудесно! Вот трубка от чубука, а вот перчатка без пары; пусть это будет папаша и дочка!

— Так это всего только два лица! — сказала Аня. — Вон лежит старый мундирчик брата. Нельзя ли и его взять в актеры?

— Отчего же нет? Ростом-то он для этого вышел. Он будет у нас женихом. В карманах у него пусто — вот уж и интересная завязка: тут пахнет несчастной любовью!.. А вот еще орешный шелкун — сапог со шпорою! Топ, топ! То-то лихой мазурист! Он топает и прищелкивает! Он будет у нас милым женихом. Ну, какую же пьесу ты хочешь? Драму или комедию из семейного быта?

— Комедию! — сказала Аня. — Все так любят комедии. А ты знаешь какую-нибудь?

— Целую сотню! — ответил крестный. — Самый большой успех имеют французские, но они неподходящи для девочек. Мы возьмем лучше какую-нибудь из своих: они все ведь на один лад. Ну, я встряхиваю мешок! «Ку-ка-ре-ку! Обновись!» Вот теперь все комедииновились! Слушай же афишу. — И крестный взял газету и стал читать как будто по афише:

Трубка и умный малый.  
Комедия в одном действии.

Действующие лица:

Господин Трубка — отец.  
Госпожа Перчатка — дочь.  
Господин Мундирчик — милый.  
Фон Сапог — немилый.

Теперь начнем! Занавес поднят — у нас его нет, ну, значит, он поднят. Все лица налицо. Я поведу речь за папашу. Он сегодня сердит, — видишь, потемнел весь от куренья:

«Вздор, вздор, ерунда! Я хозяин в доме! Я отец своей дочери! Извольте слушаться меня! Фон Сапог такая персона, что хоть глядись в него, как в зеркало! Он из сафьяна, да еще со шпорою! Тринь-бринь! Тринь-бринь! Он и женится на моей дочери!»

— Теперь следи за мундиром, Аня! — продолжал крестный. — Теперь он начнет. Он носит отложной воротничок, очень скромненький, но сознает собственное достоинство и имеет право говорить так:

«На мне нет ни одного пятна! Добрые качества тоже надо принимать в расчет. А я ведь из самой добротной материи, да еще с галунами!» — «Ну, они только до свадьбы и продержатся! В стирке полиняют! — Это говорит опять господин Трубка. — Фон Сапог, тот непромокаем, из крепкой и в то же время тонкой кожи, может скрипеть, щелкать шпорою и похож на Италию!»

— Но они должны говорить стихами! — заметила Аня. — Говорят, это выходит так красиво!

— Можно и так! — ответил крестный. — Захочет публика, актеры заговорят и стихами. Ну, гляди же на барышню Перчатку; гляди, как она ломает пальчики:

Лучше век мне быть без пары,  
Только бы избегнуть кары —  
Жизнь с постылым проводить!  
Мне того не пережить!  
Ох, ох, ох,  
Лопну, лопну, вот вам Бог!

«Вздор!» — Это уж отвечает папаша Трубка. А вот теперь говорит господин Мундир:

Перчатка-душа,  
Ты так хороша!  
Ты мне суждена,  
Моей быть должна!

Тут Фон Сапог шаркает, топает, щелкает шпорою и опрокидывает три кулисы разом.

— Чудо как хорошо! — воскликнула Аня.

— Тс! — сказал крестный. — Молчаливое одобрение говорит о высокой степени воспитанности зрителей первых рядов. Теперь барышня Перчатка поет свою большую арию с руладами:

Я так убита,  
Так сердита,  
Что вам клянусь,  
Я разреву-у-усь!..

Теперь самый интересный момент, Аня! Видишь, господин Мундир расстегивается и обращает свою речь прямо к тебе, чтобы ты похлопала ему! Но ты не хлопай! Так бонтоннее! Послушай, как он шуршит: «Чаша терпения моего переполнилась! Берегитесь! Я подведу интригу! Вы — Трубка, а я — малый с головой! Фьють! и — нет вас!» Гляди, Аня! Это самая интересная сцена во всей комедии! Мундир схватывает Трубку и засовывает к себе в карман — лежи тут! — а затем говорит: «Вы теперь у меня в кармане и не выйдете оттуда, пока не обещаете соединить меня узами брака с вашей дочерью, Перчаткой с левой руки! Я протяну ей свою правую».

— Ужасно хорошо! — опять воскликнула Аня.

— А старая Трубка отвечает:

Что делать мне?  
Горю, как в огне!  
Ах, где ж мой чубук?  
Ведь я — как без рук!  
О, сжальтесь, простите,  
Меня отпустите!  
Я дочь вам отдам,  
Венчаю вас сам!

— И конец? — спросила Аня.

— Что ты! — ответил крестный. — Конец только для Фон Сапога. Жених и невеста опускаются на колени; первая поет:

Отец, оживаю!

Второй:

Я вас отпускаю!

Господин Трубка благословляет их, а вся мебель поет хором:

То-то любящий отец!  
Он повел их под венец!  
Тут и пьесе всей конец!

Вот теперь похлопаем! — прибавил крестный. — И вызовем их всех, вместе с мебелью: она ведь из красного дерева!

— А что, наша комедия так же хороша, как та, что идет в настоящем театре? — спросила Аня.

— Она еще лучше! — ответил крестный. — Она короче, даром доставлена нам прямо на дом и помогла скоротать время до чаю!



## ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК

**Ж**ена барабанщика была в церкви и смотрела на новый алтарь, уставленный образами и украшенный резными херувимчиками. Какие они были хорошенькие! И те, с золотым сиянием вокруг головок, что были нарисованы на холсте, и те, что были вырезаны из дерева, а потом раскрашены и вызолочены. Волоски у них отливали золотом; чудо, как было красиво! Но солнечные лучи были еще красивее! Как они сияли между темными деревьями, когда солнышко садилось! Какое блаженство было глядеть в этот лик Божий! И жена барабанщика загляделась на красное солнышко, думая при этом о малютке, которого скоро принесет ей аист. Она ждала его с радостью и, глядя на красное солнышко, желала одного: чтобы блеск его отразился на ее малютке; по крайней мере, чтобы ребенок походил на одного из сияющих херувимов алтаря!

И вот когда она, наконец, действительно держала в объятиях новорожденного малютку и подняла его показать отцу, оказалось, что ребенок в самом деле был похож на херувима: волосы у него отливали золотом; на них как будто легло сияние закатившегося солнышка.

— Золотой мой мальчик, сокровище, солнышко мое! — воскликнула мать и поцеловала сияющие кудри. В комнатке барабанщика словно гремела музыка, раздавалось пение, воцарились радость, веселье, жизнь, шум! Барабанщик принялся выбивать на своем барабане такую дробь, что держись! Барабан — большой пожарный барабан — так и гремел: «Рыжий! У мальчишки рыжие волосы! Слушай, что говорит барабанная кожа, а не мать! Трам-там-там!»

И весь город говорил то же, что барабан.

Мальчика снесли в церковь и окрестили. Ну, против имени сказать было нечего: ребенка называли Петром. Весь город и барабан звали его «рыжий барабанщиков Петр», но мать целовала золотистые волосы сына и звала его «золотым мальчиком».

На глинистом откосе у дороги было выцарапано много имен.



— Слава! Она что-нибудь да значит! — сказал барабанщик и выцарапал там свое имя и имя сына.

Прилетели ласточки; они видели в своих странствиях надписи попроче, вырезанные на скалах и на стенах храмов в Индостане, надписи, вещавшие о могучих, славных владыках; но они были такие древние, что никто уже не мог прочесть их, никто не мог выговорить этих бессмертных имен.

Слава! Знаменитое имя!

Ласточки устраивали себе на откосе гнезда, выкапывая в мягкой глине ямки; дождь и непогода тоже помогали стирать выцарапанные там имена. Скоро исчезли и имена барабанщика и Петра.

— Петрово имя все-таки продержалось полтора года! — сказал отец.

«Дурак! — подумал пожарный барабан, но сказал только: — Дур-дур-дур-дум-дум-дом!»

Рыжий барабанщиков Петр был мальчик живой, веселый. Голос у него был чудесный; он мог петь и пел, как птица в лесу, не зная никаких мелодий, и все-таки выходила мелодия.

— Он будет певчим! — говорила мать. — Будет петь в церкви, стоять под теми прелестными вызолоченными херувимчиками, на которых так похож!

«Рыжий кот!» — говорили городские остряки. Барабан часто слышал это от соседей.

— Не ходи домой, Петр! — кричали уличные мальчишки. — А то ляжешь спать на чердаке, а в верхнем этаже загорится! Вашему пожарному барабану будет дело!

— Берегитесь-ка вы барабанных палок! — сказал Петр и, как ни был мал, храбро пошел прямо на мальчишек и ткнул кулаком в брюхо ближайшего. Тот полетел кверху ногами; остальные — давай Бог ноги!

Городской музыкант, такой важный, знатный — он был сыном придворного буфетчика, — очень полюбил Петра, часто призывал его к себе, давал в руки скрипку и учил его играть. У мальчика оказался талант; из него должно было выйти кое-что получше простого барабанщика — городской музыкант!

— Солдатом я буду! — говорил сам Петр. Он был еще маленьким мальчуганом, и ему казалось, что лучше всего на свете — носить мундир и саблю да маршировать под команду: раз-два, раз-два!

— Выучись ходить под барабан! Трам-там-там! — сказал барабан.

— Хорошо, кабы он дошел до генерала! — сказал отец. — Но тогда надо войну!

— Боже упаси! — сказала мать.

— Нам-то нечего терять! — заметил отец.

— А мальчугана нашего? — возразила мать.

— Ну, а подумай, если он вернется с войны генералом!

— Без руки или ноги! Нет, пусть лучше мой золотой мальчик останется целым!

«Трам-там-там!» — загремел пожарный барабан, загремели и все барабаны. Началась война. Солдаты выступили в поход, с ними ушел и барабанщик Петр, «рыжая макушка», «золотой мальчик»! Мать плакала, а отец уже видел сына знаменитым; городской же музыкант находил, что Петру следовало не ходить на войну, а служить искусству дома.

«Рыжая макушка!» — говорили солдаты, и Петр смеялся, но если кто-нибудь говорил: «Лисья шкура!» — он закусывал губы и смотрел в сторону, пропуская эти слова мимо ушей.

Мальчик был шустрый, прямой и веселый, а «веселый нрав — лучшая походная фляжка», — говорили его старые товарищи.

Часто приходилось ему проводить ночи под открытым небом, мокнуть в дождь и непогоду до костей, но веселость не покидала его, барабанные палки весело выбивали: «Трам-там-там! В поход!» Да, он прямо рожден был барабанщиком!

Настал день битвы; солнце еще не вставало, но заря уже занялась; в воздухе было холодно, а бой шел жаркий. Стоял густой туман, но пороховой дым был еще гуще. Пули и гранаты летали над головами и в головы, в тела, в руки и ноги, но солдаты все шли вперед. То тот, то другой из них падал, пораженный в висок, побелев, как мел. Но маленький барабанщик не бледнел; ему еще не пришлось потерпеть вреда, и он весело посматривал на полковую собаку, прыгавшую впереди так беззаботно, как будто кругом шла игра, как будто ядра были только мячиками!

«Марш! Вперед!» Эта команда была переложена на барабан, и такой команды не берут назад, но тут ее пришлось взять назад — разум приказывал! Вот и велено было бить отбой, но маленький барабанщик не понял и продолжал выбивать: «Марш! Вперед!» И солдаты повиновались барабанной коже. Славная то была барабанная дробь! Она выиграла сражение готовым отступить.

Битва многим стоила жизни; гранаты рвали мясо в клочья, поджигали вороха соломы, в которые заползали раненые, чтобы лежать там брошенными много часов, может быть — всю жизнь! Но что пользы думать о таких ужасах! И все же о них думается — даже далеко от поля битвы, в мирном городке. Барабанщик с женой тоже не переставали о них думать: Петр был ведь на войне!

— И надоело же мне это хныканье! — сказал пожарный барабан.

Дело было в самый день битвы; солнце еще не вставало, но было уже светло; барабанщик с женою спали — они долго не засыпали на-

кануне, разговаривая о сыне: он был ведь там, «в руках Божиих». И вот отец увидел во сне, что война кончена, солдаты вернулись, и у Петра на груди серебряный крест. Матери же приснилось, будто она стоит в церкви, смотрит на резных и нарисованных на образах херувимов с золотыми кудрями и видит среди них своего милого «золотого мальчика». Он стоит в белой одежде и поет так чудесно, как поют разве только ангелы! Потом он стал возноситься вместе с ними на небо, ласково кивая матери головою...

— Золотой мой мальчик! — вскрикнула она и проснулась. — Ну, значит, Господь отозвал его к Себе! — И она прислонилась головой к полу, сложила руки и заплакала. — Где-то он покойся теперь? В огромной общей могиле? Может быть, в глубоком болоте? Никто не знает его могилы! Никто не прочтет над нею молитвы! — И из уст ее вырвалось беззвучное «Отче наш»... Потом голова ее склонилась на подушку, и усталая мать задремала.

Дни проходили; жизнь текла, думы росли!

День клонился к вечеру; над полем сражения перекинулась радуга, упираясь одним концом в лес, другим в глубокое болото. Народ верит, что там, куда упирается конец радуги, зарыт клад, золото. Тут и действительно лежало золото — «золотой мальчик». Никто не думал о маленьком барабанщике, кроме его матери, вот почему ей и приснилось это.

Дни проходили; жизнь текла, думы росли!

Но с его головы не упало ни единого волоска, ни единого золотого волоска!

«Трам-там-там, и он к вам!» — мог бы сказать барабан, могла бы пропеть мать, если бы она ожидала сына или увидела во сне, что он возвращается.

С песнями, с криками «ура», увенчанные свежей зеленью, возвращались солдаты домой. Война кончилась, мир был заключен. Полковая собака бежала впереди, описывая большие круги, словно ей хотелось удлинить себе дорогу втрое.

Дни и недели проходили, и вот Петр вступил в комнатку родителей. Он загорел, как дикарь, но глаза и лицо его так и сияли. Мать обнимала, целовала его в губы, в глаза, в рыжие волосы. Мальчик ее опять был с нею! Он, правда, вернулся без серебряного креста на груди, как снилось отцу, но зато целым и невредимым, чего и не снилось матери. То-то было радости! И смеялись и плакали вместе. Петр даже обнял старый барабан.

— Ты все еще тут, старина! — сказал он, а отец выбил на барабане громкую, веселую дробь.

— Подумаешь, право, в доме пожар! — сказал пожарный барабан. — Макушка вся в огне, сердце в огне, «золотой мальчик» вернулся! Трам-там-там!

А потом? Потом что? Спроси-ка городского музыканта!

— Петр перерос барабан! Петр перерастет и меня! — говорил он, даром что был сыном придворного буфетчика! Но все, чему он выучился за целую жизнь, Петр прошел в полгода.

В сыне барабанщика было что-то такое открытое, сердечное. А глаза и волосы у него так и сияли — этого уж никто не мог отрицать.

— Ему бы следовало красить свои волосы! — говорила соседка. — Вот дочери полицмейстера это отлично удалось, и она сделалась невестой!

— Да, но ведь волосы у нее сразу позеленели, как тина, и ей вечно придется краситься!

— Так что ж! Средств у нее на это хватит! — отвечала соседка. — И у Петра они есть! Он вхож в самые знатные семейства, даже к самому бургомистру, обучает игре на фортепьяно барышню Лотту!

Да, играть-то он умел! Он вкладывал в игру всю свою душу, и из-под его пальцев выливались чудные мелодии, которых не было ни на одной нотной бумаге. Он играл напролет все ночи — и светлые и темные. Это было просто невыносимо, по словам соседей и барабана.

Он играл, а мысли уносили его высоко-высоко, чудные планы роились в голове... Слава!..

Дочка бургомистра Лотта сидела за фортепьяно; изящные пальчики бегали по клавишам и ударяли прямо по струнам Петрова сердца. Оно как будто расширялось в груди, становилось таким большим-большим! И это было не раз, не два, а много раз, и вот однажды Петр схватил эти тонкие пальчики, эту прекрасную руку, поцеловал ее и заглянул в большие черные глаза девушки. Бог знает, что он сказал ей при этом! Мы можем только догадываться. Лотта покраснела до ушей, но не ответила ни слова: как раз в эту минуту в комнату вошел посторонний, сын статского советника; у него был большой гладкий лоб, доходивший до самого затылка. Петр долго сидел с ними, и Лотта так умильно улыбалась ему.

Вечером, придя домой, он заговорил о чужих краях и о том ладе, который лежал для него в скрипке.

Слава!

— Трам-там-там! — сказал барабан. — Он совсем спятил! Право, в доме как будто пожар!

На другой день мать отправилась на рынок.

— Знаешь новость, Петр? — спросила она, вернувшись оттуда. — Славная новость! Дочка бургомистра Лотта помолвлена вчера вечером с сыном статского советника!

— Не может быть! — воскликнул Петр, вскакивая со стула. Но мать сказала «да» — она узнала эту новость от жены цирюльника, а муж той слышал о помолвке от самого бургомистра.

Петр побледнел, как мертвец, и упал на стул.





— Господи Боже! Что с тобой? — воскликнула мать.

— Ничего, ничего! Только оставь меня! — ответил он, а слезы так и побежали у него по щекам ручьем.

— Дитятко мое милое! Золотой мой! — сказала мать и тоже заплакала. А барабан напевал — конечно, про себя: «Lotte ist todt! Lotte ist todt!» Вот и песенке конец!»

Но песне еще не был конец; в ней оказалось еще много строф, чудных, золотых строф!

— Ишь, ломается, из себя выходит! — оговаривала соседка мать Петра. — Весь свет должен читать письма ее «золотого мальчика» и газеты, где говорится о нем и о его скрипке. Он и денег ей высылает немало, а это ей кстати теперь — овдовела!

— Он играет перед королями и государями! — говорил городской музыкант. — Мне этого не выпало на долю, но он — мой ученик и не забывает своего старого учителя.

— Отцу снилось, что Петр вернулся с войны с серебряным крестом на груди, но там трудно заслужить его! Зато теперь у него командорский крест! Вот бы отец дожил! — рассказывала мать.

— Он — знаменитость! — гремел пожарный барабан, и весь родной город повторял: сын барабанщика, рыжий Петр, бегавший мальчиком в деревянных башмаках, бывший барабанщик, музыкант, игравший на вечеринках танцы, — *знаменитость!*

— Он играл у нас раньше, чем в королевских дворцах! — говорила жена бургомистра. — В те времена он без ума был от нашей Лотты. Он всегда метил высоко! Но тогда это было с его стороны просто дерзостью! Муж мой так смеялся, узнав об этой глупости. Теперь наша Лотта — статская советница!

Золотые были сердце и душа у бедного мальчугана, бывшего барабанщика, который заставил идти вперед и победить готовых отступить.

В груди у него был золотой клад, неисчерпаемый источник звуков. Они лились из скрипки, словно она была целым органом, словно по струнам ее танцевали эльфы летней ночи. В этих звуках отдавались и пение дрозда, и полнозвучный человеческий голос. Вот почему были так очарованы его слушатели, вот почему слава его прогремела далеко за пределами его родины. Он зажигал в сердцах святой огонь, пламя, целый пожар восторга.

— И как он хорош собою! — восторгались и молодые и старые дамы и девицы. Самая пожилая из них даже завела себе альбом для

<sup>1</sup> То есть «Лотта умерла». — Строфа из уличной песни. — *Примеч. перев.*



локонов знаменитостей ради того только, чтобы иметь предлог выпросить прядь роскошных волос молодого скрипача.

И вот он вернулся в бедную комнатку барабанщика разодетый, изящный, как принц, счастливый, как король! Глаза и лицо его так и сияли. Мать целовала его в губы и плакала от радости, а он обнимал ее и ласково кивал головой всей знакомой мебели — и сундуку, на котором стояли чайные чашки и цветы в стаканах, и деревянной скамье, на которой спал мальчиком. Старый же барабан он вытащил, поставил посреди пола и сказал:

— Отец непременно выбил бы теперь на нем дробь! Так я сделаю это за него! — И он выбил на барабане такую дробь, что твой град! А барабан был так польщен этим, что кожа на нем взяла да и лопнула.

— Кулак-то у него здоровый! — заметил барабан. — Теперь у меня на всю жизнь останется воспоминание о нем! Да и мать-то, того и гляди, лопнет от радости, глядя на своего «золотого мальчика!»

Вот и вся история о «золотом мальчике».



## БУРЯ ПЕРЕМЕЩАЕТ ВЫВЕСКИ

**В** старину, когда дедушка, отец моей матери, был еще совсем маленьким мальчуганом, щеголял в красных штанишках, в красной курточке с кушачком и в шапочке с перышком, — вот как тогда наряжали маленьких мальчиков, — так в то время и все было иначе, чем теперь. Тогда часто устраивались такие уличные торжества, каких нам уж не видать: мода на них прошла, устарели они. Но куда как занятно послушать о них!

Что было за торжество, когда сапожники меняли свое главное цеховое помещение и переносили цеховую вывеску на новое место. Они шли целой процессией; впереди несли шелковое цеховое знамя, на котором красовался большой сапог и двуглавый орел; затем шли младшие подмастерья с «заздравным кубком» и «цеховым ларцом»; на рукавах у них развевались красные и белые ленты; старшие же несли шпаги с воткнутыми на острие лимонами. Музыка гремела вовсю, и лучшим из инструментов была «птица», как называл дедушка большой шест с полумесяцем на верхушке; на шесте были навешаны всевозможные бубенчики и позвонки — настоящая турецкая музыка! Шест подымали вверх и потряхивали им: динг-данг! В глазах рябило от сияющих на солнце золотых, серебряных и медных погремушек и украшений!

Перед шествием бежал арлекин в платье, сшитом из разноцветных лоскутков; лицо его было вымазано сажей, на голове колпак с бубенчиками — ну, словно лошадь во время карнавала! Он раздавал своей складной палкой удары направо и налево; треску было много, а совсем не больно. В толпе же просто давили друг друга! Мальчишки и девчонки шныряли повсюду и шлепались прямо в канавы; пожилые кумушки проталкивали себе дорогу локтями, хмурились и бранились. Повсюду говор и смех; на всех лестницах, во всех окнах, даже на крышах виднелись люди. Солнышко так и сияло; случалось, что процессию вспрыскивал и дождичек, но дождик — благодать для земледельца, так не беда, если даже горожане промокнут насквозь!

Ах, как дедушка рассказывал! Он ведь сам видел все эти торжества, во всем их блеске. Цеховой старшина взбирался на помост под пове-

шенную на новое место вывеску и держал речь в стихах, будто сам был стихотворцем. Да оно так и было: он сочинял эти стихи вместе с двумя другими товарищами, а чтобы дело шло на лад, они предварительно осушали целую миску пунша. Народ кричал ему в ответ «ура», но еще громче раздавалось «ура» в честь арлекина, когда тот выходил и переразвивал оратора.

Шут презабавно острил, попивая мед из водочных рюмок, которые потом бросал в толпу, а люди ловили их; у дедушки даже хранилась такая рюмочка; ее поймал один каменщик и подарил ему. То-то было веселье! И вот вывеска висела на новом доме вся в зелени и цветах.

«Такого торжества не забудешь никогда, до какой бы глубокой старости ни дожил!» — говаривал дедушка; и он таки не забыл, хотя и много хорошего видел на своем веку. Много о чем мог он порассказать, но забавнее всего рассказывал о том, как распорядилась вывесками в большом городе буря.

Дедушке еще мальчиком довелось побывать в этом городе вместе со своими родителями, и это было в первый раз в его жизни. Увидя на улице толпы народа, он вообразил, что здесь тоже готовится торжество перемещения вывесок, а сколько их тут было! Если бы собрать да развесить их по стенам, понадобилась бы сотня комнат! На вывеске портного были нарисованы всевозможные костюмы; он мог перекроить любого человека из грубого в изящного. На вывеске табачного торговца красовались прелестные мальчуганы с сигарами во рту — ну совсем как живые! На некоторых вывесках было намалевано масло, на других — селедки, на третьих пасторские воротнички, гробы и всевозможные надписи. Можно было с утра до вечера ходить взад и вперед по улицам и досыта любоваться этими картинками да кстати и разузнать, где какие живут люди, — они ведь сами вывешивали свои вывески. А это очень хорошо в таком большом городе, говорил дедушка: очень полезно знать, что делается за стенами домов!

И надо же было случиться с вывесками такой оказии, какая случилась с ними как раз к прибытию в город дедушки. Он сам рассказывал об этом, и без всяких плутовских ужимок, означавших, как уверяла мама, что он собирался подурочить меня. Нет, тут он смотрел совсем серьезно.

В первую же ночь по прибытии его в город разыгралась такая буря, о какой и в газетах никогда не читали, какой не запомнили и старожилы. Кровельные черепицы летали в воздухе, старые заборы ложились плашмя, а одна тачка так прямо покатила по улице, чтобы спастись от бури. В воздухе шумело, гудело, выло, буря свирепствовала. Вода выступала из каналов, она просто не знала, куда ей деваться в такой ветер. Буря проносилась над городом и срывала с крыш дымовые трубы. Сколько

покривилось в ту ночь церковных шпицов. И они не выпрямились уже никогда!

Против дома старого, почтенного и вечно опаздывавшего брандмайора стояла караульная будка; буря не захотела оставить ему этот знак почета: сорвала будку со шкворня, покатила по улице и — что всего удивительнее — оставила ее перед домом, где жил бедняк плотник, спасший на последнем пожаре из огня трех человек. Конечно, сама-то будка не имела при этом никакого злого умысла!

Вывеску цирюльника, большой медный таз, сорвало и занесло в оконное углубление дома советника. Это уж смахивало на злой умысел, говорили соседи: все ведь, даже ближайшие приятельницы, называли госпожу советницу «бритвой». Она была так умна и знала о людях куда больше, чем они сами о себе!

Вывеска с нарисованной на ней сушеной треской перелетела на дверь сотрудника одной из газет. Со стороны бури это было плоской шуткой; буря, видно, забыла, что с сотрудником газет шутки плохие — он царь в своей газете и в собственных глазах.

Флюгерный же петух перелетел на крышу соседнего дома, да там и остался — «в виде злейшей насмешки», — говорили соседи.

Бочка бочара перенеслась к мастерской дамских нарядов.

Меню кухмистера, висевшее в тяжелой рамке над его дверью, буря поместила над входом в театр, мало посещаемый публикой. Забавная вышла афиша: «Суп из хрена и фаршированная капуста». Но тут-то публика и повалила в театр.

Лисья шкурка, вывеска честного скорняка, повисла на ручке колокольчика у дверей одного молодого человека, который не пропускал ни одной церковной службы, смотрел «сложенным дождевым зонтиком», стремился к истине и был «примерным молодым человеком», по отзыву своей тетки.

Вывеска с надписью «Высшее учебное заведение» перенеслась на миллиардный клуб, а самое учебное заведение получило вывеску с надписью: «Здесь вскармливают детей на рожке». И остроумного в том ничего не было, одна неучтивость, но с бурей ведь ничего не поделаешь — вздумала и сделала!

Ужасная выдалась ночь! К утру — подумайте только! — все вывески в городе были перемещены, причем в иных местах вышла такая злая насмешка, что дедушка даже и говорить о том не хотел, а только посмеивался про себя — я это отлично заметил, — значит, у него было что-то на уме!

Бедные городские жители, особенно же приезжие, совсем сбились с толку, попадали совсем не туда, куда хотели, и что мудреного, если они руководились только вывесками! Иным хотелось, например, попасть в серьезное собрание пожилых людей, занимающихся обсуждением дельных

вопросов, и вдруг они попадали в школу к мальчишкам-крикунам, готовым прыгать по столам!

Многие ошибались церковью и театром, а это ведь ужасно!

Подобной бури в наши дни уж не было; это только дедушке довелось пережить такую, да и то мальчуганом. Подобной бури, может быть, и вовсе не случится в наше время, а разве при наших внуках. Но уж надеемся и пожелаем, чтобы они благоразумно оставались по домам, пока буря будет перемещать вывески!



## ЧАЙНИК

**Ч**айник был-таки горденек — он гордился и фарфором своим, и длинным носиком, и широкой ручкой — всем. У него была приставка и спереди, и сзади; спереди — носик, сзади — ручка; об этом-то он и говорил. О том же, что крышка у него была разбита и склеена, молчал. Это ведь недостаток, а кто же любит говорить о своих недостатках — это и другие сделают. Чашки, сливочник, сахарница — словом, весь чайный прибор, конечно, больше помнил и охотнее говорил о недостатке чайника, нежели о его прекрасной ручке и о великолепном носике. Чайник знал это.

«Знаю я их! — рассуждал он сам с собою. — Знаю и сознаю и свой недостаток — я скромн, смиренн! Недостатки у всех у нас есть, но у каждого есть зато и свои преимущества. У чашек есть ручка, у сахарницы — крышка, а у меня и то и другое, да еще кое-что сверх того, чего у них никогда не будет, — носик! Благодаря ему я — король всего чайного стола. Сахарнице и сливочнику тоже выпало на долю услаживать вкус, но я — главный; я утоляю жажду людей; во мне кипящая безвкусная вода перерабатывается в китайский ароматный напиток!»

Все это говорил чайник в пору беспечальной юности. Тогда он стоял на накрытом столе; чай разливала тонкая изящная ручка, но неловка она была, чайник выскользнул из нее, упал и — носика как не бывало, ручки тоже, о крышке же и говорить нечего — о ней сказано уже довольно. Калека чайник без чувств лежал на полу, горячая вода бежала из него ручьем. Ему был нанесен тяжелый удар, и тяжелее всего было то, что смеялись-то не над неловкой рукой, а над ним.

«Этого мне никогда не забыть! — говорил чайник, рассказывая впоследствии свою биографию самому себе. — Меня прозвали калекой, ткнули куда-то в угол, а на другой день подарили женщине, получавшей обыкновенно остатки со стола. Пришлось мне попасть в бедную обстановку, стоять без пользы, без всякой цели — и внутренней и внешней. Но вот стоял я, стоял — и вдруг для меня началась новая, лучшая жизнь. Да, бываешь тем, а становишься совсем иным. Меня набили землею — для чайника это то же, что быть зарытым в землю, но в



эту землю посадили цветочную луковицу. Кто посадил, кто подарил ее мне, не знаю, но она была дана мне взамен китайской травки, взамен кипятка, взамен отбитой ручки и носика. Луковица лежала в земле, лежала во мне, стала моим сердцем, моим живым сердцем, какого прежде во мне никогда не бывало. И во мне зародилась жизнь, закипели силы, забился пульс; луковица пустила ростки; она готова была лопнуть от избытка мыслей и чувств. Они и вылились в цветке! Я любовался на него, я держал его в своих объятиях, я забывал себя самого ради его красоты. Какое блаженство забывать себя самого ради других! А цветок даже не сказал мне за то спасибо, он и не думал обо мне — ему все удивлялись, им все восхищались, и если я был так рад этому, то как же должен был радоваться он сам? Но вот однажды я услышал слова: «Такой цветок достоин лучшего горшка!» Меня разбили... Ужасно было больно! Зато цветок пересадили в лучший горшок! Меня же выбросили на двор, и я теперь валяюсь там как старый черепок, но воспоминаний моих у меня никто не отнимет!



## ПТИЦА НАРОДНОЙ ПЕСНИ

**З**имняя пора; земля покрыта снежной корой, словно пластом мрамора, высеченного из скалы; небо ясное, чистое; ветер колет, как острие выкованного гномами меча; деревья похожи на белые кораллы, на цветущие миндальные деревья; свежо здесь, как на вершинах Альп. Чудная ночь озаряется северным сиянием и мерцанием бесчисленных звездочек.

Завыли бури, облака собираются на небе стаями и отряхивают свое лебединое оперение; снежные хлопья порхают в воздухе и усыпают дорогу, дом, открытое поле и глухие переулки. А мы-то сидим у себя в уютной комнате, у пылающей печки, и слушаем рассказ о старине — сагу.

«У открытого моря возвышается могильный курган; на нем появляется в полночный час призрак погребенного там героя, конунга. Золотой обруч блестит на его челе, волосы развеваются по ветру, грудь закована в латы. Он печально поник головой и глубоко, горько вздыхает, словно дух, обреченный на муки.

Мимо плывет корабль. Мореплаватели бросают якорь и пристают к берегу. Между ними скальд; он подступает к призраку и вопрошает его: «О чем ты скорбишь и страждешь?»

Мертвец отвечает: «Никто не воспел моих подвигов; они забыты, умерли вместе со мною. Песнь не разносит мою славу по свету, не говорит о ней сердцам людей — вот отчего я не знаю покоя в могиле!»

И он поведал о своих славных делах и подвигах, оставшихся невоспетыми в его время, — не было скальда.

Старый скальд схватывает свою арфу, ударяет по струнам ее... и льется песнь о мужестве героя в юности, о силе его в годы зрелости, о всех его великих и добрых деяниях! Лицо умершего проясняется, словно край облака, освещенный луной. Яркое сияние озаряет призрак... Мгновение — и оно погасает, словно сноп северного сияния, а вместе с ним исчезает и самый призрак».

На том месте остались только зеленый холм да голые камни без надписей. Но над ними взвилась, одновременно с последним ударом скальда по струнам, прелестная птичка. Она как будто вылетела из самой

арфы. Это певчая птичка; она рассыпает трели, как звонкий дрозд, поет и задушевным человеческим голосом; в ее пении слышатся родные отголоски. Птичка понеслась над скалами, над долинами, над полями и лесами — то была бессмертная птица народной песни!

Мы слушаем ее пение, слушаем его сейчас, сидя вечерней порой в теплой комнате; на дворе же в это время летают белые пчелы и воет буря. Птичка поет нам не только суровые богатырские песни, но и нежные любовные мелодии о любви северян; она знает их без конца, без счета. Знает она и сказки, и пословицы, и поговорки в стихах; она истолковывает нам на нашем родном языке руны — язык мертвецов, заставляет говорить умершие поколения, и мы узнаем их житье-бытье; оно воскресает перед нами.

В древние языческие времена, во времена викингов, гнездо птицы качалось на струнах арфы скальда. А в рыцарскую эпоху, когда кулак склонял чаши весов правосудия, когда сила была правом, когда крестьян меняли на собак, — тогда где находила себе приют птица народной песни? Невежеству и мелочности не до нее было, но в оконной нише сидела за пергаментом благородная владельница замка и записывала старые предания в песнях, которые сказывала ей старушка из крестьянской хижины или странствующий корабейник, и вот тут-то вилась и щебетала бессмертная птичка! Птица народной песни не умрет, пока на земле останется для ее ног хоть единая точка опоры!

Теперь она поет нам в теплой, уютной комнате, а на дворе бушует снежная метель, царит мрак. Птица переводит на наш язык древние руны, и благодаря ей мы познаем свою родину. Сам Бог говорит нам на нашем родном языке устами птички. Старые предания восстают из могил, потускневшие краски освежаются. Песня и сказание — благодатный напиток, возвышающий душу и мысль. Простой зимний вечер становится рождественским сочельником! Вьюга крутится, лед трещит, буря бушует; она сильна, она господствует, но над нею есть еще Господин.

Зимняя пора; ветер колет, как острие меча, выкованного гномами; вьюга крутится; сдается, что она крутится уже целые дни, недели, что весь город погребен под снежными сугробами и погружен в тяжелый зимний сон. Все занесено снегом; над белой насыпью возвышается только золотой крест церкви, символ веры в Распятого, и сияет под лучами солнца.

И вот над погребенным городом пролетают птички небесные, большие и малые. Они щебечут, поют, каждая по-своему.

Прежде всех являются воробьи. Они чирикают о малых мира сего, обитающих в улицах и переулках, гнездах и домах. Они знают, что творится и в больших домах, и в надворных флигелях. «Знаем мы этот погребенный город! — говорят они. — Все живое в нем чирикает по-своему! Пип! Пип!»



Над белой снежной пеленой пролетают и черные вóроны и ворóны. «Кар! Кар! — кричат они. — Город похоронен! Но там все-таки найдется еще чем набить зобы! А это ведь первое дело! Так думает большинство, а оно всегда пра-пра-право!»

Пролетают, шумя крылами, и дикие лебеди и поют о всем великом и прекрасном, что еще пробивается из сердец и мыслей людей, обитающих в этом занесенном снегом городе.

Но не смерть там царит, там кипит жизнь. Мы внемлем ей; она выливается в звуках, мощных, как звуки церковного органа, хватающих за сердце, как мелодии из «Лесного холма», как песнь Оссиана, как бурный полет валькирий! Какие созвучия! Они говорят нашему сердцу, возвышают мысли, мы внемлем им в пении птицы народной песни! Мы внемлем ее пению, и — с неба веет теплым дыханием Божиим, ледяная кора дает трещины, в них проникают лучи солнца, вестники шествующей весны, прилетают птицы — новые птицы все с теми же старыми, родными песнями! Слушай же, слушай эпос года! Неистовство снежной бури, тяжелый сон зимней ночи — все исчезает, все забывается при звуках чудного пения бессмертной птицы народной песни!



## ЗЕЛЕННЫЕ КРОШКИ

**Н**а окне стоял розан; недавно еще он был так свеж, а теперь что-то начал чахнуть, хиреть.

У него завелись постояльцы, которые стали пожирать его, постояльцы, впрочем, очень почтенные, носившие зеленый мундир.

Я имел разговор с одним из них; ему было всего три дня от роду, а он уже имел правнуков. И знаете, что он сказал мне? Он говорил о самом себе и о прочих постояльцах, и говорил одну правду.

«Мы замечательнейшее войско в свете. В теплое время года мы производим живых малюток; погода в это время хороша, и они сейчас же сватаются и играют свадьбы. В холодное же время года мы кладем яички — малюткам тепло в них. Мудрейшие создания, муравьи — мы питаем к ним глубочайшее уважение — изучают нас, ценят нас. Они не пожирают нас тотчас же, а берут наши яички, уносят их в свою семейную кучу, в самый нижний этаж, и укладывают там очень толково по номерам, рядышком, слоями, так, чтобы каждый день иметь новорожденного малютку. Потом муравьи ставят нас в хлев и щекочут, т. е. доят. После того мы уж умираем. То-то хорошо! Муравьи называют нас прелестнейшим именем — «сладкими дойными коровками!» Все животные, одаренные муравьиным разумом, зовут нас так, все, кроме людей! И это такая обида для нас. Просто впору лишиться всей своей сладости! Не можете ли вы написать что-нибудь против этого, не можете ли как-нибудь усовестить этих людей! Они смотрят на нас так глупо, злятся, что мы поедаем листья розана, а сами пожирают на земле все живое, все, что только растет и зеленеет! Они дают нам самое презренное, самое отвратительнейшее имя! Я не произнесу его! У! Как подумаю только, у меня внутри все переворачивается! Я не могу выговорить его, по крайней мере — в мундире, а я всегда в мундире.

Я родился на листке розана; я и весь наш полк живем им, но он, в свою очередь, оживает в нас, а мы ведь принадлежим к высшему разряду творений. Люди нас не терпят, приходят и смывают нас мыльной водой. Прескверный напиток! Право, мне все кажется — где-то пахнет



им?! И каково перенести такое мытье, если природа твоя совсем не терпит мытья!

Человек! Ты смотришь на меня такими сердитыми мыльными глазами, но вспомни наше место в природе, наше искусное устройство: мы кладем яйца и производим живых малюток! Вспомни, что и нам дан завет «плодиться и размножаться»! Мы родимся на розах и умираем на розах; вся наша жизнь — чистейшая поэзия. Не клейми же нас позорным, гнусным именем, которого я не произнесу ни за что! Зови нас «дойными коровками муравьев», «гвардией розана», «зелеными крошками»!»

А я, человек, стоял и смотрел на розан и на зеленых крошек, которых не назову по имени, чтобы не оскорбить граждан розана, большое семейство, кладущее яйца и производящее живых малюток. Мыльную же воду, которою я хотел смыть их, — я явился именно с этим злым намерением, — я решил вспенить: буду пускать мыльные пузыри и любоваться роскошью их красок! Как знать, может быть, в каждом пузыре сидит сказка?

И вот я выдул пузырь, большой, блестящий, отливающий всеми цветами радуги; на дне его как будто лежала белая серебристая жемчужина. Пузырь колебался несколько мгновений на конце трубочки, потом вспорхнул, полетел к двери и — лопнул. В ту же минуту дверь распахнулась, и на пороге показалась сама бабушка сказка!

Ну, она лучше меня расскажет вам сказку о — нет, я не назову их — о зеленых крошках!

— О травяных вшах! — сказала бабушка сказка. — Каждую вещь следует называть настоящим именем, и если уж бояться это делать в действительной жизни, то пусть не бояться хоть в сказке!



## ДОМОВОЙ И ХОЗЯЙКА

**Т**ы знаешь домового, а хозяйку знаешь? Жёну садовника. Она была начитана, знала наизусть много стихов и даже бойко сочиняла их сама. Вот только рифмы, «спайки» — как она их называла — давались ей не без труда. Да, у нее был и писательский талант, и ораторский; она могла бы быть хоть пастором, по крайней мере — пасторшею!

— Как хороша земля в воскресном уборе! — сказала она и поспешила облечь эту мысль в стихи со «спайками», очень красивые и длинные.

Семинарист, господин Киссеруп, — имя тут, впрочем, ни при чем — сын сестры садовника, гостивший у них, услышал стихи хозяйки и заявил, что они очень, очень хороши.

— Да, на вас лежит печать гения, сударыня! — прибавил он.

— Экий вздор! — сказал садовник. — Не вбивайте ей ничего такого в голову! Женщина прежде всего должна обладать наружностью, приличной наружностью, и дело ее — смотреть за тем, чтобы каша в горшке не прикипела да не подгорела!

— Пригар я очищу древесным углем! — ответила жена, — а накипь на душе у тебя сниму поцелуем! Подумаешь, право, что у тебя на уме одна капуста да картофель, а ты ведь любишь и цветы! — И она поцеловала его. — Цветы — это и есть поэзия! — прибавила она.

— Смотри за кашей! — повторил он и ушел в сад, — у него была своя каша, за которой следовало смотреть.

А семинарист остался сидеть с хозяйкой. Ее слова: «Как хороша земля!» — он развил в целую проповедь — в своем духе.

— Земля прекрасна; «наследуйте землю» — было сказано людям, и они стали господами на земле. Один добился этого благодаря своим духовным дарованиям, другой — физическим; один был пущен в свет вопросительно-восклицательным знаком, другой многоточием, так что невольно спрашиваешь: зачем он, в сущности, явился? Один становится епископом, другой остается бедным семинаристом, но все на свете устроено одинаково премудро. Земля прекрасна и всегда в праздничном уборе! Это стихотворение про-буждает столько дум, сударыня! Оно полно чувства и знания географии.

— На вас тоже лежит печать гения! — заметила хозяйка. — Уверю вас! Беседуя с вами, начинаешь ясно понимать себя!

И они продолжали беседу в том же прекрасном, возвышенном духе. А в кухне тоже кто-то вел беседу — домовой! Домовой в сером балахоне и красненькой шапочке. Ты знаешь его! Он был в кухне, обозревал там горшки. Он тоже говорил, но его никто не слушал, кроме большого черного кота, «сливкокрада», как величала его хозяйка.

А на нее домовый был очень сердит — он знал, что она не верит в его существование. Правда, она и не видела его никогда, но все же была, кажется, достаточно просвещена, чтобы знать о его существовании и оказывать ему хоть некоторое внимание. Ей вот небось не приходило на ум угостить его в сочельник хоть ложкой каши! А ее получали все его предки, даром что хозяйки их были совсем неученые! И какую кашу! Она так и плавала в масле и в сливках!

У кота даже слюнки потекли при одном упоминании о ней.

— Она называет меня «понятием»! — говорил домовый. — Ну, это выше всех моих понятий. Она прямо-таки отрицает мое существование. Я уж раз подслушал ее речи и теперь опять хочу пойти подслушивать. Ишь, сидит и шушукается там с этим «секутором», семинаристом! А я повторю за хозяином: «Смотри лучше за кашей!» Но она и не думает об этом. Постой же, я заставлю кашу кипеть через край! — И домовый раздул огонь. У! Как зашипело, загорелось! Каша так и побежала из горшка. — А теперь пойду и понаделаю дыр в чулках хозяина! — продолжал он. — Больших дыр и в пятках, и в носках. Будет ей тогда чем заняться, если останется досуг от рифмоплетства! Штопай-ка лучше мужнины чулки, сударыня поэтесса!

Кот в ответ на это чихнул: он простудился, хоть и ходил в шубе.

— Я открыл дверь в кладовую! — сказал домовый. — Там стоят кипяченые сливки, густые, что твой кисель! Хочешь вылакать? Не то я сам вылакаю!

— Нет, уж коли терпеть побои, так было бы за что! Я вылакаю! — ответил кот.

— Потешь язычок, а потом тебе почешут спинку! — сказал домовый. — Теперь я пойду в комнату семинариста, повешу его подтяжки на зеркало, а носки суну в умывальный таз с водой — пусть думает, что пунш был чересчур крепок и что у него в голове шумело. Сегодня ночью я сидел на дровах возле собачьей конуры. Мне ужасно нравится дразнить цепную собаку, я и давай болтать ногами. Собака, как ни прыгала, не могла достать до них, злилась и лаяла. А я-то себе болтаю да болтаю ногами! То-то потеха была! Семинарист проснулся от шума, три раза вставал с постели и смотрел в окно, но меня-то уж ему не увидеть, даром что он в очках. Он и спит в них!

— Ты мякни, когда хозяйка придет! — сказал кот. — А то я не услышу — я сегодня болен.

— Язычком ты болен, вот что! Ну, лакай — выздоравливай скорее! Только оботри рыльце, а то сливки с усов каплют. Ну, а теперь я пойду подслушивать.

И домовый подкрался к двери, а дверь-то стояла полуотворенною. В комнате не было никого, кроме хозяйки и семинариста. Они говорили о том, что семинарист так прекрасно называл «печатью гения» и ставил выше всяких горшков и каш в любом хозяйстве.

— Господин Киссеруп! — начала хозяйка. — Я хочу воспользоваться случаем и показать вам что-то, чего еще не показывала ни единой живой душе, особенно мужчине, — мои маленькие стишки. Некоторые из них, впрочем, несколько длинноваты! Я назвала их «спайки дщери Дании»: я, знаете, люблю больше старинные слова.

— Так и подобает! — сказал семинарист. — Немецкие же слова следует совсем изгнать из языка.

— Вот я так и делаю! Я никогда не говорю «Kleiner» или «Butterdeig», а всегда «лепешки» и «сдобное тесто».

И она вынула из ящика стола тетрадь в светло-зеленой обложке, на которой красовались две кляксы.

— В этой тетрадке очень много серьезного! — сказала она. — Меня все больше тянет к печальному. Вот «Ночные вздохи», «Моя вечерняя заря», вот «Наконец, я твоя, мой Клемен!» Это стихотворение посвящено моему мужу, но его можно пропустить, хотя оно и очень прочувствованно и продуманно. Вот «Обязанности хозяйки» — это лучшая вещь! Но все стихи грустны — в этом моя сила. Тут есть только одна вещь в шутовском духе. Я излила в ней свои веселые мысли — находят на человека и такие, — мысли о... Да вы не смейтесь надо мною! Мысли о положении поэтессы! До сих пор об этом знали только я да мой ящик, а теперь узнаете вот вы. Я люблю поэзию, и на меня часто находит поэтическое настроение. В такие минуты я сама не своя. Все это я и высказала в «Крошке Домовом!» Вы ведь знаете старинное народное поверье о домашнем духе, который вечно проказит в доме? И вот я изобразила себя домом, а поэзию, волнующее меня поэтическое настроение — домовым. Я воспела могущество и величие «Крошки Домового!» Но вы должны дать мне слово никогда не проговориться об этом моему мужу или кому бы то ни было. Читайте вслух, я хочу видеть, разбираете ли вы мой почерк!

И семинарист читал, а хозяйка слушала; слушал и домовый. Он ведь, как ты знаешь, собирался подслушивать и подошел как раз в ту минуту, когда прочли заглавие «Крошка Домовой».

— Э, да дело-то идет обо мне! — сказал он. — Что она могла написать обо мне? Постой же, дойму я тебя! Буду воровать у тебя яйца,

цыпляют, выгонять жир из телянка! Вот что, сударыня хозяйюшка. Скажите пожалуйста!

И он наострил уши. Но вот он слышит о величии и могуществе домового, о его власти над хозяйкой — она ведь подразумевала под домовым поэтическое настроение, но домовый понял все это буквально — и лицо его стало расплываться в улыбку, глазки заблестели от удовольствия, губы сложились в важную мину; он даже невольно привстал на цыпочки и вырос на целый вершок! Ах, он был в таком восторге от всего сказанного о «Крошке Домовом»!

— А в хозяйке-то и впрямь сидит гений! И как она образована! Я был ужасно несправедлив к ней! Она поместила меня в свои «спайки» — их напечатают и прочтут!.. Ну, уж по́лно теперь коту лакать хозяйкины сливки — я сам буду лакать их! Один все же выпьет меньше, чем двое, вот и экономия! Я и буду теперь соблюдать ее, буду почитать и уважать хозяйку!

«Сколько, однако, в нем человеческого! — подумал старый кот. — Стоило хозяйке польстивее мяукнуть ему, и он сейчас запел на иной лад! Хитра она, хозяйка-то!»

Но она вовсе не была хитра — хитер-то был домовый: в нем было много человеческого!

Если ты не понимаешь этой истории, то попроси объяснения — только не у домового, да и не у хозяйки.



## ПЕЙТЕР, ПЕТР И ПЕЙР

**У**жасно много знают нынешние дети! И не придумаешь, кажется, чего бы они не знали. Рассказ о том, что аист принес их папаше с мамашей из пруда или из колодца, считается теперь такой старой историей, что они ей и верить не хотят больше. А ведь нет ничего достовернее ее!

Но как же попадают малютки в пруд или колодезь? Да, это знает не всякий, но кое-кто все-таки знает. Вы вглядывались когда-нибудь как следует в небо ясной, звездной ночью? Видели падающие звездочки? Блестящая звездочка вдруг скатывается с неба и исчезает! Первые ученые в свете и те не в состоянии объяснить, чего сами не знают, но если знаешь, в чем тут дело, — объяснить нетрудно. С неба как будто падает и гаснет елочная свечка; но это не свечка, а душевная искорка, посылаемая Господом Богом на землю. Попав в густую, тяжелую земную атмосферу, она вспыхивает последним блеском и делается уже невидимою для нашего глаза — она ведь куда тоньше, эфирнее нашего воздуха. Это дитя неба, ангелочек, только без крылышек: он должен стать человеком. Тихо скользит он по воздуху, ветерок подхватывает его и переносит на цветок — в чашечку ночной фиалки, одуванчика, розы или гвоздики; там дитя приходит в себя. Легко и воздушно крошечное существо, муха могла бы унести его, а пчела и подавно. И те, и другие являются пить из цветка сладкий сок; если дитя мешает им, они не выбрасывают его — им жалко малютку, — а выносят его на солнышко и кладут на широкий лист кувшинки. Дитя начинает ползать по листу, сваливается в воду, спит и растет там, пока аист не увидит его и не отнесет в семью, которой хотелось иметь такого миленького крошку. Мил он бывает или не мил — зависит, впрочем, от того, что пил малютка: чистую ли влагу источника, или наглотался тины и грязи; тина и грязь делает из малютки такое земное, низменное существо. Аист же не выбирает, а берет первого попавшегося малютку. И вот один попадает в хорошую семью, к прекрасным родителям, другой — к таким грубым, суровым людям, в такую безысходную нужду, что лучше бы ему оставаться в пруду.



Малютки совсем не помнят, что снилось им в тени листка кувшинки, под песни лягушек, баюкавших их своим кваканьем: «Ква-ква-ква!» На нашем языке это значит: «Ну смотрите же, спите хорошенько!»

Не помнят они и того, в каком цветке лежали или какой у него был запах, но у них остается какое-то смутное влечение к тому или к другому цветку, и, выросши, они говорят: «Вот это мой любимый цветок!» Это-то и есть тот самый, в котором они лежали воздушными созданиями.

Аист доживает до глубокой старости, но не перестает следить за тем, как живет малюткам, которых он принес, и как они сами ведут себя на свете. Конечно, он не может ничего сделать для них, не может изменить условий их жизни, ему вряд ли управиться с заботами о своей семье — но все же никогда не забывает о них.

Я знаю одного старого, весьма почтенного и сведущего аиста, который доставил людям множество малюток и знает историю каждого, а эти истории иногда ух как отдают тиною и грязью! Я упросил его как-то рассказать мне вкратце биографию хоть одного малютки, а он ответил, что я сейчас услышу биографии целых трех. Дело пойдет о семье Пейтерсен.

Это была очень милая семья; муж состоял в числе тридцати двух «отцов города», а это уж было отличием. Он весь отдавался делу этих тридцати двух и от роду ему было тридцать два. В эту-то пору аист и принес к нему в дом малютку Пейтера. На другой год аист принес другого, которого называли Петром, и на третий год — третьего; этот получил имя Пейр: все эти имена ведь так подходят к фамилии Пейтерсен!

Итак, это были три родных братца, три упавшие звездочки, лежавшие каждая в своем цветке, а потом попавшие в пруд под листок кувшинки. Оттуда же их вынул аист и принес в семью Пейтерсен, что живет в угловом доме, как вам известно.

Мальчики подрастали, развивались и физически, и умственно, и вот у них уже возникли желания быть кое-чем побольше, нежели их отец — один из «тридцати двух».

Пейтер говорил, что хочет быть разбойником. Он видел в театре «Фра-Дьяволо» и решил, что лучше ремесла разбойника и быть не может.

Петр хотел быть «мусорщиком», что разъезжает с мусорным ящиком и трещоткой<sup>1</sup>, а Пейр, мальчик милый, послушный, толстенький, сдобный, страдавший лишь одним недостатком — привычкой обкусывать свои ногти, — хотел быть «папашей». Так каждый и объявлял, когда их спрашивали, кем они хотят быть.

<sup>1</sup> Копенгагенские мусорщики, разъезжая по улицам, дают о себе знать громкой трескотней на особой деревянной трещотке. — *Примеч. перев.*

Вот они начали ходить в школу. Один стал первым учеником, другим — последним и третий — средним, но это не мешало им быть одинаково добрыми и умными, по словам их весьма опытных родителей.

Они посещали детские балы, курили тайком сигары и преуспевали в познаниях и науках.

Пейтер с ранних лет был упрям, как и подобает разбойнику. Он был очень непослушный мальчик, но это все оттого, говорила мамаша, что он страдал глистами; непослушные дети всегда страдают глистами — от тины в желудке. Его строптивость и настойчивость отозвались раз на новом шелковом платье мамаше.

— Не толкай стола, мой ягненок! — сказала она. — Ты опрокинешь сливочник и забрызгаешь мое новое шелковое платье.

И «ягненок» твердой рукой взял сливочник и вылил сливки прямо на колени мамаше, а та только ахнула: «Ах, как нехорошо, ягненок!» Нельзя было, однако, не сознаться, что у ребенка твердая воля, твердая же воля показывает и твердость характера — как тут не радоваться мамаше.

Из него и мог бы выйти заправский разбойник, но все-таки не вышел. Он только наружностью напоминал разбойника: ходил в мягкой широкополой шляпе, с голой шеей, носил длинные волосы. Ему хотелось быть художником, но пока удалось лишь усвоить себе одежду и манеры художников. Вдобавок ко всему этому не только он сам сильно напоминал собою штокрозу, но и все люди, которых он рисовал, смотрелись штокрозами — такие же длинные, худые! Пейтер очень любил этот цветок: он ведь и лежал когда-то в штокрозе, объяснил аист.

Петр лежал в подсолнечнике. И улыбка у него была такая масляная, а цвет лица такой желтый, что, право, кажется, поскобли его по щеке — из нее закапало бы подсолнечное масло! Ему как будто на роду было написано торговать маслом, даже вывеска была налицо, но в душе он был и остался «мусорщиком с трещоткой». Он один из всех (и «за всех», — говорили соседи) членов семьи обладал музыкальным талантом. В одну неделю он сочинил семнадцать новых полек, а затем составил из них оперу; в оркестре принимали участие и дудка, и трещотка. Футь, как вышло хорошо!

Пейр был мальчик белый, розовый, маленький и заурядный; он лежал в ромашке. Его частенько колотили, но он никогда не давал сдачи, говоря, что он умнее всех, а умные всегда уступают! Сначала он занимался собиранием грифелей, потом печатей, а потом завел себе маленькую зоологическую коллекцию; в ней находился скелет колюшки, три слепых крысенка в спирте и чучело крота. Пейр чувствовал влечение к науке и к изучению природы, что было очень приятно и родителям, и ему самому. Он, впрочем, охотнее ходил в лес, чем в школу, охотнее следовал указаниям природы, нежели воспитания. Братья его давно уже обзавелись

невестами, а он все еще хлопотал над пополнением своей коллекции яиц водяных птиц. Скоро он приобрел куда более обстоятельные сведения о животных, нежели о людях, и даже полагал, что мы, люди, далеко уступаем животным в том, что сами же ставим выше всего, — в любви. Он видел, например, что самка соловья сидит на яйцах, а самец всю ночь развлекает ее своим пением: «Клюк-клюк-клюк! Ци-ци! Лю-ли-лю-ли!» Этого Пейр никогда бы не мог взять на себя! Аист же, когда самка его сидит с птенцами в гнезде, всю ночь стоит на коньке крыши на карауле, да еще на одной ноге! Пейру не простоять бы так и одного часа. Когда же Пейр рассмотрел однажды тенета паука, то окончательно махнул рукою на брак. Господин паук всю жизнь ткал свои тенета, чтобы ловить легкомысленных мух — и молодых, и старых, и полнокровных, и тощих — и высасывать из них кровь, словом, жил исключительно для того, чтобы ткать и кормить свою семью. Госпожа же паучиха жила исключительно своим супругом, и вот взяла да и съела его от пушей любви! Съела его сердце, голову, желудок, оставила в тенетах, где он сидел, промышляя для своей семьи, одни его тонкие длинные ножки. Вот истинная правда, прямо из естественной истории! Пейр увидал это и рассудил: «Вызвать к себе со стороны жены такую необузданную любовь, что она пожрет тебя?! Нет, до этого не решится дойти ни один человек, да и желательно ли это?»

И Пейр решил остаться холостяком, решил никогда не целоваться и не позволять целовать себя, чтобы не навлечь подозрения в желании вступить в брак. Но поцелуя-то он все-таки не избегнул, сочного поцелуя смерти! От него не отвертеться никому. Прожил человек свой век, и смерть получает приказ зацеловать его до смерти. Ну, тут и конец человеку! Его поражает солнечный луч свыше, и в глазах у него темнеет. Человеческая душа, упавшая на землю звездочкою, снова возносится на небо звездочкою, но уже не для того, чтобы отдыхать в цветке или спать под листом кувшинки. Теперь ей предстоит нечто более важное — вознестись в великую страну вечности. Каково же там — никто сказать не может. Никто не заглядывал туда, даже аист, как он ни дальноророк, как ни сведущ. Он и не знал ничего больше о Пейре, о Пейтере же и Петре мог бы порассказать еще многое, но о них я уже наслушался довольно, да и вы, вероятно, тоже. Поэтому я поблагодарил аиста за его любезность. Но что ж вы думаете? Он потребовал с меня за этот простой рассказ три лягушки и змееныша — он берет плату натурою! Хотите вы заплатить? Я не хочу! У меня нет ни лягушек, ни змеенышей.



## СКРЫТО — НЕ ЗАБЫТО

**С**тоял старый замок, окруженный тинистыми рвами; вел к нему подъемный мост, который чаще бывал поднят, чем опущен, — не всякий гость приятен! В стенах под крышей были бойницы; из них стреляли, лили кипяток и даже растопленный свинец на головы врагов, если те подступали чересчур близко. Потолки в замковых покоях были высокие, и хорошо, что так: по крайней мере было куда деваться дыму, выходившему из камина, где шипели огромные сырые коряги. По стенам висели портреты закованных в латы мужчин и гордых дам в платьях из тяжелой материи. Самой же стройной, величественной из них была сама нынешняя владетельница замка — Метта Могенс.

Раз вечером на замок напали разбойники, убили трех слуг и цепную собаку, а вместо нее посадили на цепь госпожу. Сами же расселись в зале и начали бражничать, попивая доброе вино и пиво из погребов замка.

И вот госпожа Метта сидела на цепи и даже лаять не могла.

Вдруг явился слуга разбойников; он подкрался к ней потихоньку, чтобы не заметили разбойники, — они бы убили его.

— Госпожа Метта Могенс! — сказал он. — Помнишь ли ты, как твой муж посадил на кобылку моего отца? Ты просила за него, но просьбы не помогли, он должен был сидеть, пока не искалечится; тогда ты подкралась к нему, как я теперь к тебе, и сама подложила ему камешек, сперва под одну, потом под другую ногу, чтобы дать ему отдохнуть. Никто не заметил этого, или все сделали вид, что не заметили, — ты была ведь молодой доброй госпожой их! Вот что рассказывал мне мой отец, и я скрыл это в моем сердце, скрыл, но не забыл! Теперь я освобожу тебя, госпожа Метта Могенс.

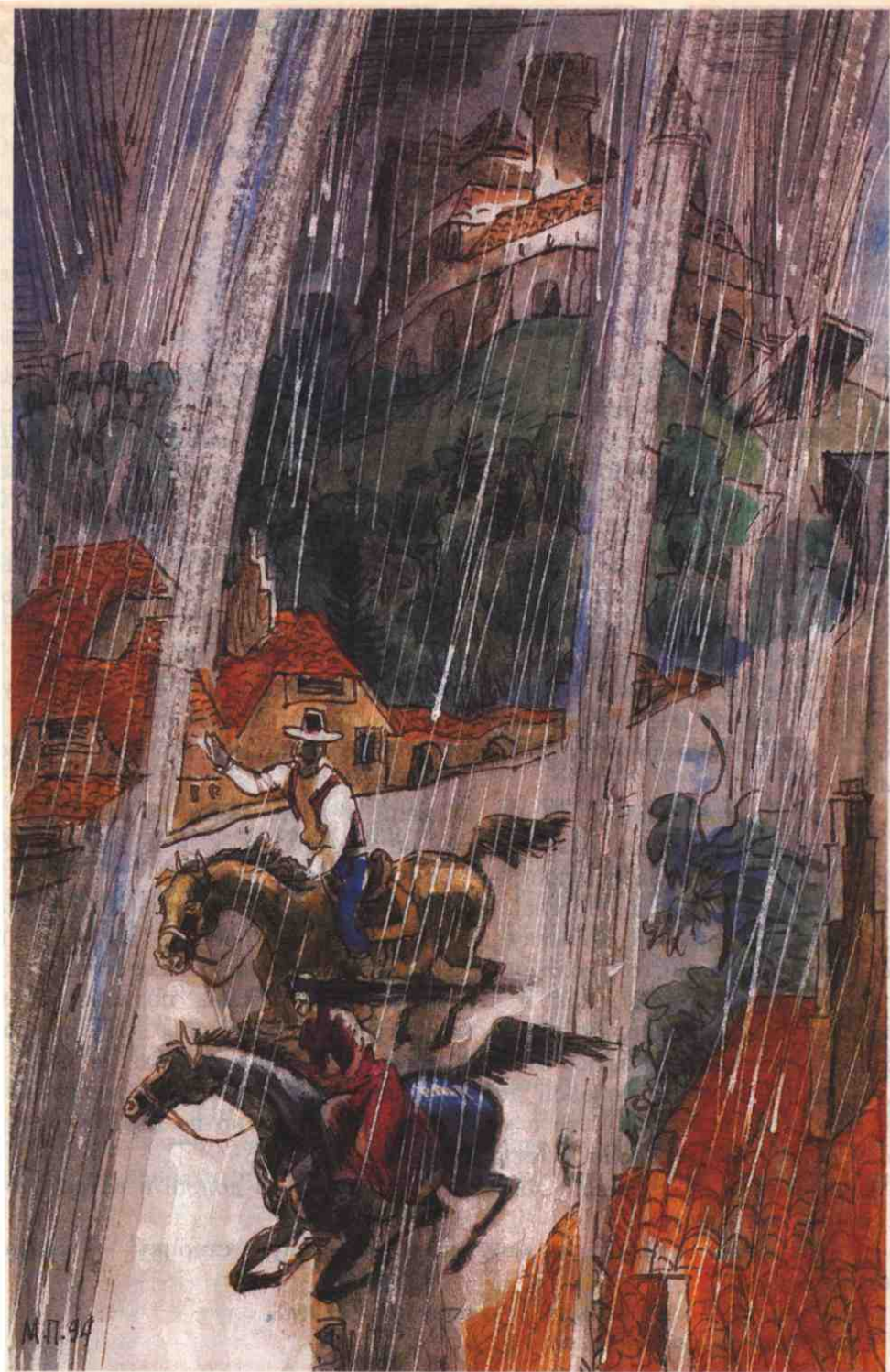
Они вывели из конюшни лошадей и помчались в дождь и ветер прочь от замка, за помощью.

— Ты щедро платишь за мою маленькую услугу старику! — сказала Метта Могенс.

— Скрыто — не забыто! — повторил слуга.

Разбойников повесили.





Стоял старый замок; стоит он и посейчас, но владеет им не Метта Могенс, а другой дворянский род.

Было это уже в наше время. Золоченые шпицы башен сияли на солнце, маленькие лесные островки выглядывали из воды словно букеты, а вокруг них плавали белые лебеди. В саду цвели розы, но сама владелица замка была свежее, прекраснее лепестка розы. Она вся сияла от радости, от сознания сделанного ей доброго дела. Добрые дела ее не кричат о себе по свету, но находят себе приют в сердцах людей; там они скрыты, но не забыты.

Вот она идет из замка к одинокой лачужке в поле. В ней живет бедная параличная девушка. Единственное окошечко ее коморки было обращено на север, и солнце не заглядывало к ней никогда. Она видела в окно только краешек поля, ограниченного высокой насыпью. Но сегодня в комнатке сияет солнышко, теплое Господне солнышко! Оно светит с юга в новое окошко, прорубленное в прежде глухой стене.

Параличная сидит и греется на солнышке, любит лесом и берегом морским; свет вдруг так расширился для нее, приобрел новую красоту, и все это — по одному зову ласковой владелицы замка.

— Мне ничего не стоило сделать это маленькое доброе дело! — говорит она. — А оно доставило мне такую огромную, бесконечную радость!

Вот почему она и продолжает творить добро, думать обо всех нуждающихся в утешении и в бедных хижинах, и в богатых домах — и там находятся такие. Добрые дела ее остаются скрытыми, но не забытыми Господом Богом.

В большом, шумном городе стоял старый дом. В нем было много комнат и зал, но мы туда не пойдем, а останемся в кухне. Тут тоже светло, уютно, чисто и мило. Медная посуда так и блестит, стол чисто выскоблен, лоханка тоже. Все это дело рук служанки; она одна служанка в доме и все-таки находит еще время, убравшись по дому, приодеться, словно собирается в церковь. На голове у нее чепчик с черным бантиком; это означает траур, скорбь. Но у нее нет никого, о ком бы ей печалиться, — ни отца, ни матери, ни родственников, ни милого; она бедная, одинокая девушка. Когда-то, впрочем, у нее был жених, такой же бедняк, как и она сама; они горячо любили друг друга, но вот однажды он сказал ей:

— У нас с тобой нет ничего! А богатая вдова-погребщица давно нашептывает мне ласковые слова. Она хочет мне добра! Но мое сердце полно тобою! Что ты посоветуешь мне?

— Делай так, как, по-твоему, будет для тебя лучше! — сказала она. — Будь добр и ласков с нею, но помни, что раз мы расстанемся — больше уж не увидимся!



Прошло несколько лет, и вот она встретила на улице своего прежнего жениха. Он выглядел так плохо, что она не могла пройти мимо него, не спросив:

— Что с тобою? Как тебе живется?

— Хорошо и богато! — ответил он. — Жена моя добрая, славная женщина, но в моем сердце одна ты. Я отстрадал свое, скоро конец! Мы свидимся теперь только на том свете!

Прошла неделя, и сегодня утром в газете появилось извещение о его смерти; вот почему у девушки черный бантик на чепчике. Жених ее умер, «потерян для жены и трех пасынков» — как сказано в извещении. Звучит-то оно как-то фальшиво, но самый колокол из чистого металла.

Черный бантик говорит о горе; лицо девушки говорит о нем еще сильнее. В сердце ее он скрыт и никогда не будет забыт!

Вот и все три истории, три листка, выросшие на одном стебельке. Хочешь еще таких трилистников? Их много хранится в памятной книжке сердца.

Многое там скрыто, но не забыто!



## СЫН ПРИВРАТНИКА

**Г**енеральская семья проживала в бельэтаже, семья привратника — в подвале. Их разделяло большое расстояние — весь первый этаж, да табель о рангах. Но все же обе семьи жили под одной крышей, и из обоих жилищ открывался вид на улицу и во двор. На дворе была лужайка, а на ней росла цветущая акация — цветущая в пору цветения. Под нею часто сиживала в летнее время разряженная мамка с еще более разряженной генеральской дочкой, малюткой Эмилией. А перед ними выплясывал босоногий, черноглазый, темноволосый сынишка привратника. Малютка улыбалась ему и протягивала ручонки; случалось увидеть в окно такую картинку самому генералу, он кивал головой и говорил: «Charmant!» Молодая же генеральша — она была так молода, что могла бы быть дочкой своего мужа от раннего брака, — никогда не смотрела из окна во двор, но раз навсегда отдала мамке приказание, чтобы она позволяла мальчику из подвала забавлять малютку, но отнюдь не дотрагиваться до нее. И мамка строго соблюдала приказ.

А солнышко одинаково светило и в бельэтаж, и в подвал; акация цвела, потом цветы опадали, но на следующий год появлялись новые. Дерево цвело из года в год, цвел и привратников сынишка — ни дать ни взять свежий тюльпан!

Генеральская же дочка была бледненькая, нежненькая, как бледно-розовый лепесток акации. Теперь она редко появлялась во дворе под деревом — она дышала свежим воздухом в карете, катаясь вместе с тапап. Увидя из окна кареты привратникова Георга, она всегда кивала ему головкой и даже посылала воздушные поцелуи, пока мать не объявила ей, что она уже слишком велика для этого.

Раз утром Георгу пришлось подняться к генералу с газетами и письмами. Проходя мимо чуланчика под лестницей, он услышал там какой-то писк и подумал было, что туда забился цыпленок. Но оказалась, что там всхлипывает генеральская дочка в кисее и кружевах.

— Только не говори папе и маме — они рассердятся! — сказала она.

— О чем, барышня? — спросил Георг.

— Все сгорит! — ответила она. — Там горит!

Георг отворил дверь в детскую — оконные занавески почти все обгорели, карниз пылал. Георг подпрыгнул, сорвал занавески, созвал людей. Не будь его, вспыхнул бы настоящий пожар.

Генерал и генеральша подвергли Эмилию допросу.

— Я только взяла одну спичку, чиркнула, она сейчас загорелась и занавеска тоже! Я стала плевать на нее, чтобы потушить, плевала, плевала, но у меня не хватило слюней... Тогда я убежала и спряталась — я боялась, что рара и тапан рассердятся!

— Плевала, плевала! — заметил генерал. — Это еще что за слово? Ты его слышала когда-нибудь от рара или от тапан? Это все оттуда, из подвала!

Маленькому Георгу все-таки дали целых четыре скиллинга. Он спустил их не в булочной, а в копилку, и скоро там набралось их столько, что он мог купить себе ящичек с красками — раскрашивать свои рисунки, а рисовал он много. Картинки как будто сами собой сыпались на бумагу с кончика его карандаша. Первые же раскрашенные рисунки пошли в подарок Эмилии.

— Charmant! — изрек генерал, и даже генеральша была принуждена сознаться, что можно догадаться, что именно хотел изобразить мальчуган. «В нем есть талант!» — вот с каким известием вернулась в подвал жена привратника.

Генерал и генеральша были люди знатные; на карете их красовалось целых два герба — у каждого из супругов был свой. Генеральшин герб красовался и на всем ее белье, даже на ночном чепчике и туалетном мешке. Ее герб был такой драгоценный! Он стоил ее папаше много блестящих червонцев — ни папаша, ни даже дочка не родились с гербом; она появилась на свет за семь лет до приобретения его папашей. Это отлично помнили все, кроме их самих. Герб же генерала был древний и крупный. И один-то герб довольно тяжело носить на себе, а тут их было целых два — поневоле затрещишь по всем швам! И немудрено, что разряженная, гордая генеральша выезжала на придворные балы с таким шумом и треском.

Генерал был стар и сед, но хорошо держался на седле. Он это знал и ежедневно выезжал верхом в сопровождении слуги — на почтительном расстоянии. Являясь в общество, он тоже держал себя так, как будто смотрел на всех с высоты седла. Орденов у него было столько, что просто уму непостижимо; сам он, впрочем, был тут ни при чем. Он вступил на военное поприще еще очень молодым человеком и участвовал во всех больших осенних маневрах в мирное время. От этой эпохи у него сохранялось еще воспоминание, анекдот, единственный, который он знал и рассказывал. Его унтер-офицер отрезал и взял в плен одного из принцев, и этому пришлось со своим маленьким

отрядом въехать в город позади генерала в качестве его военнопленного. Об этом-то незабвенном происшествии генерал и рассказывал вот уже многие годы, никогда не забывая привести памятные слова, которые были при этом сказаны. Генерал, возвращая принцу шпагу, сказал: «Только мой унтер-офицер мог взять в плен Ваше Высочество; я — никогда!» А принц ответил: «Вы несравненны!» На настоящей же войне генерал никогда не бывал; когда шла война, он шел дипломатической дорогой и прошел три иностранных двора. По-французски он говорил так хорошо, что почти забыл свой родной язык, отлично танцевал, ездил верхом, и ордена вырастали у него на груди, точно грибы. Солдаты отдавали ему честь, и одна из первых красавиц отдала ему честь — сделалась генеральшей. Скоро у них появилась прелестная дочка, словно упавшая с неба, — так она была прелестна! Едва она начала понимать, сынишка привратника стал выплясывать перед нею во дворе, а потом, когда она подросла, дарить ей все свои раскрашенные картинки. Она принимала их, играла ими и рвала в клочки. Она была такая миленькая, нежненькая!

— Мой розовый лепесток! — говорила генеральша. — Ты рождена для принца!

А принц-то уж стоял за дверями, только никто не знал этого. Люди не видят дальше порога.

— А наемдни наш мальчуган поделился с нею бутербродом! — сказала жена привратника. — Он был без сыра, без мяса, но понравился ей, что твой бифштекс! То-то бы содом поднялся, узнай об этом генерал с генеральшею! Но они не узнали!

Да, Георг поделился с Эмилией бутербродом; он бы поделился с ней и своим сердцем, знай только, что это доставит ей удовольствие. Он был мальчик добрый, развитой, умный и уже посещал вечерние рисовальные классы, чтобы хорошенько научиться рисовать. Эмилия тоже преуспевала в науках: она говорила по-французски со своей бонной и брала уроки у танцмейстера.

— К Пасхе Георг наш будет подтвержден! — сказала жена привратника. Вот как успел вырасти Георг.

— Хорошо бы потом отдать его в ученье! — заметил отец. — Надо только выбрать ремесло почище. Ну, и тогда — с хлеба долой!

— Но он все же будет приходить домой ночевать! — возразила мать. — Нелегко-то найти мастера, который бы взял его к себе совсем. Одевать его нам, значит, тоже придется. Так уж найдется у нас для него и кусок хлеба, пара печеных картошек — он и доволен! Учится же он и теперь задаром. Пусть его идет своей дорогой; увидишь, как он порадует нас! Это ведь и профессор говорит!

Платье для конфирмации было готово; мать сама сшила его, кроил же портной, а он хорошо кроил, даром что должен был по бедности своей пробиваться починкой старой одежды. Поставь он себя иначе да будь в состоянии держать мастерскую и подмастерьев, говорила жена привратника, он мог бы стать придворным портным!

Итак, платье сшили, и Георг конфирмовался. В день конфирмации он получил от самого богатого из своих крестных отцов, старого приказчика, большие томпаковые часы. Старинные они были, испытанные и имели привычку забегать вперед, но это лучше, чем отставать. Это был дорогой подарок! От генеральской семьи тоже явился подарок — псалтырь в сафьяновом переплете. Прислана она была от имени барышни, которой Георг дарил картинки. На первой, чистой, страничке книги было написано его имя и ее имя с прибавлением «благосклонная». *«Георгу на память благосклонная Эмилия»*. Написано это было под диктовку генеральши. Генерал прочел и сказал: «*Charmant*».

— В самом деле, это большое внимание со стороны таких важных господ! — сказала жена привратника, и Георга, как он был — в новом наряде и с псалтырью в руках, — послали благодарить господ.

Генеральша сидела вся закутанная: она страдала своей обычной «ужасной мигренью», как и всегда, когда ей было скучно. Но все-таки она взглянула на Георга очень ласково и пожелала ему всего хорошего, а также — никогда не страдать такой головной болью, как она.

Генерал расхаживал в халате, в ермолке и в русских сапогах с красными отворотами на голенищах. Он прошелся по комнате раза три, предаваясь собственным мыслям и воспоминаниям, потом остановился и сказал:

— Итак, Георг стал теперь членом христианского общества! Будь же честен и уважай начальство! Состаришься, можешь сказать, что этому учил тебя генерал!

Длиннее этой речи генералу никогда не приходилось держать. Проговорив ее, он опять углубился в себя и принял важный вид.

Из всего виденного наверху сильнее всего запечатлелась в памяти Георга барышня Эмилия. Как она была мила, нежна, воздушна, изящна! Если срисовать ее, так уж разве на мыльном пузыре. От ее платья, от золотистых локонов пахло духами, ни дать ни взять как от только что распустившейся розочки! И с нею-то он когда-то делился бутербродом! Она уничтожила свою порцию с жадностью, не переставая благодарно кивать ему головкой, — говорить с набитым ртом было неудобно. Помнит ли еще она об этом? Конечно! Красивая книжка была ведь подарена ему «на память». И вот в первое же новолуние после Нового года он вышел на двор с хлебом, медным скиллингом и псалтырью и раскрыл книгу наугад — что-то ему выйдет? Книга раскрылась на благодарственном псалме. Он опять закрыл псалтырь, чтобы загадать на Эмилию, но постарался при этом не открыть книги в том месте, где были похо-

ронные псалмы. И все-таки она открылась как раз там! Конечно, верить этому было нечего, но он все-таки струсил порядком, когда вслед за тем Эмилия слегла и к воротам стал каждый день подъезжать экипаж доктора.

— Не вылечить им ее! — говорила жена привратника. — Господь Бог знает, кого Ему прибрать к себе!

Но ее удалось вылечить! И вот Георг опять принялся рисовать и отсылать ей картинки. Между прочим, он нарисовал царский дворец, древний Московский Кремль с башенками и куполами, похожими на гигантские зеленые и вызолоченные огурцы, — так по крайней мере выходило по рисунку Георга. Эмилию эти картинки очень развлекали, и через неделю Георг прислал ей еще несколько. На всех были нарисованы разные здания: глядя на них, она могла дать волю фантазии — сама рисовать себе, что происходит там за стенами и окнами.

В числе рисунков был и китайский домик в шестнадцать этажей, весь увешанный колокольчиками, и два греческих храма, окруженных стройными мраморными колоннами и террасами, и норвежская церковь, причудливой постройки, вся из бревен; лучше же всего был «Эмилиин замок». В нем она должна была жить сама. Георг придумал для него особый стиль — смесь всего красивого из всех других стилей. От норвежской церкви он взял покрытые резьбой бревна, от греческого храма — мраморные колонны, от китайского домика — колокольчики, а от царского Кремля — зеленые и золотые купола.

То-то был детский замок! И под каждым окошком было подписано: «тут Эмилия спит», «тут танцует», «тут играет в гости» и т. д. Вот-то весело было разглядывать все это! И рисунок-таки разглядывали.

— Charmant! — сказал генерал.

Но старик граф (был еще старый граф, куда важнее самого генерала, владевший замком и поместьем) не сказал ничего, хотя при нем и говорили, что рисунок придуман и нарисован маленьким сынишкой привратника. Не очень-то он, впрочем, был мал — он ведь уже конфирмовался. Старик граф только посмотрел на рисунки и намотал себе все слышанное на ус.

И вот один серенький, ненастный день оказался самым радостным, светлым днем в жизни Георга. Профессор Академии художеств призвал его к себе.

— Послушай, дружок! — сказал он. — Поговорим-ка! Господь одарил тебя способностями, он же посылает тебе и добрых покровителей. Старик граф, что живет на углу, говорил мне сегодня о тебе. Я тоже видел твои рисунки... Ну, на них-то мы поставим крест — в них много найдется погрешностей! А вот теперь ты можешь два раза в неделю приходить в мою рисовальную школу и скоро выучишься рисовать лучше. Я думаю, однако, что в тебе больше задатков для архитектора, чем для художника. Ну, да со временем сам увидишь! Но смотри, сегодня



же сходи в уголовной дом к графу поблагодарить его, да поблагодари и Бога за такого покровителя!

На углу стоял огромный дом; над окнами красовались лепные слоны и дромадеры; все носило отпечаток старины. Но старый граф предпочитал наше время со всем, что в нем было хорошего, не разбирая, откуда оно идет — из бельэтажа, из подвала или с чердака.

— Право, кажется, чем кто знатнее, тем тот и проще! — сказала жена привратника. — Как просто держит себя старый граф! Говорит ну вот как ты да я! Генерал с генеральшею так не могут! Георг вчера в себя прийти не мог от восторга — так мило граф с ним обошелся! Да и я сегодня, после милостивого приема его сиятельства, тоже сама не своя! Ну, не хорошо ли, что мы не отдали Георга в ученье? У него такие способности!

— Да, но ему нужна помощь со стороны! — заметил отец.

— Помощь у него будет! — ответила мать. — Граф насчет этого так ясно и милостиво выразился!

— А все-таки вышло-то все благодаря генеральской семье! — заметил отец. — Ее тоже надо поблагодарить.

— Отчего же не поблагодарить! — ответила мать. — Только, моему, не за что особенно! А вот Господа Бога так я поблагодарю от всего сердца! Поблагодарю Его и за то, что барышня Эмилия поправляется!

Да, генеральская дочка быстрыми шагами шла вперед по пути выздоровления; шел быстрыми шагами вперед и Георг. В тот же год он удостоился малой серебряной медали, а затем попозже и большой.

— Ох, лучше бы мы отдали его в ученье! — со слезами причитала жена привратника. — Тогда бы, по крайней мере, он остался при нас! И что ему делать в Риме? Никогда-то нам больше не свидеться с ним, хоть бы он и вернулся!.. Да он и не вернется, мое дитяtko!

— Да ведь все это для его же счастья и славы! — уговаривал ее муж.

— Спасибо тебе, дружок! — отвечала жена. — Ты только говоришь так, а и сам тому не веришь! И тебе так же горько, как мне!

Так оно и было. Отцу и матери горько было расстаться с сыном, а все только и твердили: «Какое счастье выпало молодому человеку!»

И вот Георг простился со всеми; отправился прощаться и наверх к генералу. Генеральша не показала — у нее опять была мигрень. Генерал же на прощанье рассказал молодому человеку единственный свой анекдот о том, что он сказал принцу и что принц ему, а затем протянул Георгу два пальца.

Эмилия тоже подала Георгу ручку и выглядела как будто печальной, но сам Георг был печальнее всех.

Время идет и в деле, и в безделье; время проходит одинаково, только не с одинаковой пользой. Для Георга оно проходило с пользой и совсем не казалось долгим, исключая тех минут, когда он вспоминал о своих. Как-то они там поживают все — и нижние, и верхние? Положим, он получал из дома письма, а в письма можно вложить многое, из них льются в сердце солнечные лучи, от них же на сердце ложится тяжелая мгла. Такая мгла легла на сердце молодого человека, когда он получил письмо, извещавшее о смерти его отца. Мать осталась вдовой. Эмилия была для нее ангелом-утешителем, спускалась к ней в подвал, писала мать, и сама устроила так, что должность привратницы осталась за вдовой покойного.

Генеральша вела дневник. Туда записывался каждый прием, каждый бал, на которых она была, а также все визиты знакомых к ней. Иллюстрациями к дневнику служили карточки дипломатов и других высокопоставленных особ. Генеральша гордилась своим дневником, и он все рос да рос в объеме с течением времени — в течение многих, многих дней, мигреней и бессонных ночей, то есть придворных балов. Наконец, и Эмилию повезли на придворный бал. Мамаша была в розовом с черными кружевами — в испанском вкусе! Дочка — вся в белом, такая прозрачная, изящная! В золотых локонах висала, словно водоросль, зеленая шелковая лента, на головке красовался веноч из белых кувшинок. Глазки у девушки были такие голубые, ясные, ротик нежный, пунцовый — ну, ни дать ни взять морская царевна; прелесть что такое! Три принца танцевали с нею; конечно, не все зараз, а по очереди. У генеральши целую неделю не было мигрени.

Но первый бал был не последний, а Эмилии это оказалось не по силам. Хорошо что подоспело лето и можно было отдохнуть на лоне природы.

Вся генеральская семья была приглашена погостить в графский замок. Графский сад стоило посмотреть. Одна часть его была разбита в старинном вкусе: всюду шли, точно зеленые ширмы, прямые подстриженные живые изгороди, а в них были понаделаны круглые отверстия, вроде слуховых окошечек; буксбаум и тисовые деревья были подстрижены в виде звезд и пирамид; там и сям виднелись обложенные раковинами гроты, а в глубине их били фонтаны; всюду красовались статуи из массивного гранита — это видно было и по драпировкам, и по лицам. Каждая цветочная клумба также имела свою форму — рыбы, герба,

инициала. Эта часть сада была во французском вкусе. Из нее же попадали в свежий, роскошный парк, где деревья росли, как хотели, и потому разрослись на славу, густые, огромные! Трава тут так и зеленела, и по ней можно было ходить, даром что и за нею всячески ухаживали. Это было уж в английском вкусе.

— Старина и современность! — говорил граф. — Тут они отлично гармонируют друг с другом! А вот года через два и вся усадьба примет иной вид; будет предпринято столько разных перемен и улучшений! Я покажу вам чертежи и рисунки, да и самого архитектора, кстати. Он сегодня обедает у меня!

— Charmant! — сказал генерал.

— Тут просто рай земной! — сказала генеральша. — А вот и древний замок!

— Это птичник! — сказал граф. — В башне помещаются голуби, во втором этаже индейки, а в первом живет сама повелительница этого птичьего царства, старуха Эльза. Из ее помещения во все стороны идут двери в помещения ее постояльцев. Наседки на яйцах помещаются особо, наседки с цыплятами особо, а для уток сделан даже особый ход к воде!

— Charmant! — сказал генерал.

И все отправились любоваться на эту прелесть.

Старуха Эльза стояла посреди горницы, а рядом с нею архитектор Георг. Вот где довелось ему встретиться с Эмилией после стольких лет разлуки — в птичнике.

Да, он стоял тут, и на него можно было залюбоваться — такой красивый! Открытое, энергичное лицо, черные блестящие волосы и плутовская усмешка на губах, так и говорившая: «знаю я вас всех вдоль и поперек!» Старуха Эльза заблаговременно сняла свои деревянные башмаки и осталась в одних чулках из почтения к знатым гостям. Куры кудахтали, петухи кричали, утки крякали: рап! рап! Изящная молодая девушка, подруга детства, генеральская дочка, стояла тут же, и на ее обыкновенно бледных щечках цвели розы, глазки так и сияли, уста говорили без слов, и она поклонилась молодому архитектору так мило, как только может этого пожелать молодой человек, если он не в родстве с молодою девушкой или не танцевал с нею очень часто на балах. А Георг ведь ни разу не танцевал с Эмилией.

Граф же пожал ему руку и представил гостям:

— Наш молодой друг господин Георг, не совсем чужой вам!

Генеральша поклонилась, дочка чуть было не протянула ему руку.

— Так это наш господин Георг! — сказал генерал. — Как же, мы старые знакомые, соседями были! Charmant!

— Вы совсем превратились в итальянца! — заметила генеральша. — И, верно, говорите по-итальянски, как уроженец Италии?

Сама генеральша — заметил генерал — только пела по-итальянски, а не говорила.

За столом Георг сидел по правую руку Эмилии. Вел же ее к столу сам генерал, а граф вел генеральшу.

Господин Георг вел беседу, рассказывал, и прекрасно рассказывал. Он был душой всего общества, хотя граф тоже мог бы постоять за себя в этом отношении. Эмилия молчала, вся превратившись в слух, а глаза ее так и блестели.

После обеда она и Георг очутились на террасе; высокие кусты роз скрывали их от взоров остального общества. Георг заговорил первый.

— Позвольте поблагодарить вас за ваше дружеское отношение к моей матери! — начал он. — Я знаю, что в ночь смерти моего отца вы не оставляли ее, пока он не закрыл глаза. Благодарю вас!

И он взял ручку Эмилии и поцеловал. Что ж, это было вполне кстати. Девушка вся вспыхнула, но все-таки пожала в ответ его руку и взглянула на него своими славными голубыми глазами.

— Ваша матушка была такая милая! Как она любила вас! Она давала мне читать все ваши письма, так что я, пожалуй, немножко знаю вас!.. Как вы были добры ко мне в детстве, дарили мне картинки!..

— А вы их рвали! — подхватил Георг.

— Нет, «мой замок» еще цел! — ответила она.

— Теперь я могу построить вам настоящий! — сказал Георг с увлечением.

Генерал и генеральша разговаривали в своей комнате о сыне привратника. Как он умел держать себя, как говорил, какие приобрел познания!

— Он мог бы быть «информатором»! — сказал генерал.

— Гений! — сказала генеральша и больше не прибавила ни слова.

Хорошее выдалось лето! Господин Георг был в графском замке частым и желанным гостем. О нем скучали, если он не являлся.

— Как щедро одарил вас Господь в сравнении с нами, бедными! — говорила ему Эмилия. — А цените ли вы это как следует?

Георгу очень льстил такой взгляд, и он сам считал прелестную молодую девушку необыкновенно даровитой натурой.

А генерал все больше и больше убеждался в том, что Георг не мог быть такого низкого происхождения.

— Но, конечно, мать его была женщина вполне почтенная! — прибавлял он. — Надо отдать справедливость ее могиле!

Лето прошло, наступила зима, и господин Георг опять заставил о себе говорить. Он был принят в лучших домах, у самых знатных особ.

Генерал встретил его даже на придворном балу. Для Эмилии тоже предполагали сделать бал. Пригласить ли на него Георга?

— Кого приглашает король, может пригласить и генерал! — сказал генерал и выпрямился так, что вырос на целый вершок.

Георга пригласили, и он был на балу. Были там и принцы, и графы. Один танцевал лучше другого, но Эмилии удалось протанцевать только первый танец: она как-то неловко ступила на ногу и, хотя повредила ее неопасно, должна была все-таки побережиться и не танцевать больше. Пришлось сидеть да любоваться на других. Она и сидела и любовалась, а господин архитектор стоял возле.

— Вы, пожалуй, распишете ей весь собор Св. Петра! — сказал генерал, проходя мимо и благосклонно улыбаясь.

С той же благосклонной улыбкой принял он господина Георга и несколько дней спустя. Молодой человек явился, разумеется, поблагодарить за приглашение на бал, а то зачем же? Но... о ужас, о безумие! Генерал не верил своим ушам. Господин Георг ударился в «высшую декламацию», просьба его была неслыханная! Он просил руки Эмилии!

— Молодой человек! — сказал генерал, покраснев, как рак. — Я вас не понимаю!.. Что вы говорите?.. Чего вы хотите?.. Я вас не знаю!.. Господин!.. Молодой человек!.. Вы врываетесь в мой дом!.. Я здесь хозяин или вы?.. Куда мне деться?..

И он, пятась, дошел до дверей своей спальни, переступил порог и запер за собою дверь на ключ, оставив Георга одного. Молодой человек постоял с минуту, потом повернулся и ушел. В коридоре его встретила Эмилия.

— Что он сказал? — спросила она дрожащим голосом.

Георг пожал ей руку:

— Он убежал от меня! Но будем надеяться на лучшие времена!

У Эмилии выступили на глазах слезы; в глазах же молодого человека светились уверенность и мужество. А солнышко озаряло обоих, словно благословляя их.

Генерал сидел в своей комнате, точно ошпаренный. В груди у него так и kloкотало еще. «Безумие! Привратническое сумасшествие!..»

Не прошло и часа, как генеральша узнала от супруга обо всем, позвала Эмилию и усадила ее возле себя.

— Бедное дитя! Так оскорбить тебя! Оскорбить нас! Ты тоже плачешь!.. Слезы так идут к тебе! Ты прелестна в слезах! Ты похожа на меня в день моей свадьбы! Плачь, плачь, моя дорогая!

— И буду плакать, — ответила Эмилия, — если вы с папой не дадите своего согласия!

— Дитя! — воскликнула генеральша. — Ты нездорова! Ты бредишь! Ах, у меня опять разболится голова! Этот удар!.. Не заставь свою мать умереть с горя, Эмилия! Тогда у тебя не будет матери!

И у генеральши навернулись слезы — она совсем не выносила мысли о своей смерти.

В газетах было опубликовано о разных назначениях, между прочим и о назначении профессором и возведении в чин пятого класса архитектора Георга.

— Жалко, что родители его уж в могиле и не могут прочесть этого! — сказали новые привратник и привратница, жившие в подвале под генералом. Они знали, что профессор увидел свет в их каморке.

— Теперь его занесут в табель о рангах, и ему придется платить налог! — продолжала жена. — Да, это много значит для сына таких бедняков!

— Восемнадцать талеров в год! — сказал муж. — Конечно, деньги не малые.

— Нет, я не о том, я насчет почета! — возразила жена. — Что ему эти деньги! Он их заработает много больше в год! И уж, конечно, возьмет богатую невесту. Будь у нас дети, муженек, наш сын тоже бы мог стать архитектором и профессором!

Хорошо отзывались о Георге в подвале; хорошо отзывались о нем и в бельэтаже; там это позволил себе старый граф.

Поводом послужили детские рисунки архитектора. Почему же о них зашел разговор? Да вот, заговорили о России, о Москве, ну, дошли и до Кремля, который когда-то нарисовал и подарил Эмили Георг. Он дарил ей много картинок, но из них особенно запечатлелась в памяти у графа одна: «Эмилин замок», с комнатами, где «она спала», «танцевала» и «играла в гости». И вот граф высказал, что профессор одарен большим талантом и, наверно, умрет в высоком чине. В этом нет ничего невозможного! Так почему ж бы ему и в самом деле не построить замка для молодой девицы?

— Граф был сегодня необыкновенно шутливо настроен! — заметила генеральша по уходе графа. Генерал покачал головой, выехал на прогулку верхом в сопровождении лакея на почтительном расстоянии — и посадка его была еще величественнее обыкновенного.

Настал день рождения Эмили; посыпались цветы, книги, письма, визитные карточки. Генеральша поцеловала дочь в губки, генерал в лоб: они были нежные родители. Семью осчастливили в этот день посещением высокие гости — двое из принцев. Говорили о балах, о театре, о дипломатических назначениях, о политике. Говорили и о выдающихся деятелях — и чужих, и своих; тут уж и молодой профессор сам собой подвернулся на язык. «Он вступит в храм бессмертия! Вступит, вероятно, и в одну из лучших наших фамилий!» Вот что было между прочим сказано о нем.



— В одну из лучших фамилий! — повторил генерал, когда остался один с генеральшей. — В какую же бы это?

— Я знаю, на какую намекали! — ответила генеральша. — Но не скажу! И думать не хочу! Конечно, один Бог знает... Но я буду очень удивлена!

— И я тоже! Я даже и представить себе ничего не могу!.. — сказал генерал и стал выжидать минуту просветления.

А ведь, в самом деле, невыразимая сила кроется в милости свыше, в благоволении двора, знаменующем и Божье благоволение! И благоволение это выпало на долю Георга в самых широких размерах. Но мы забыли о дне рождения!..

Комната Эмилии утопала в цветах, присланных от друзей и подруг; на столе лежали прекрасные подарки, свидетельствовавшие о памяти и дружбе. Но от Георга не было и не могло быть ничего; да и зачем? Дом и без того был полон воспоминаниями о нем. Цветок воспоминания выглядывал даже из чуланчика под лестницей, где плакала Эмилия, когда в детской загорелись занавески, а Георг явился первым пожарным. Из окна была видна акация, тоже воскрешавшая воспоминания детства. На ней не было теперь ни цветов, ни листьев, только бахрома из инея, так что дерево напоминало гигантскую коралловую ветвь. Месяц просвечивал между ветвями, все такой же большой, яркий! Он, несмотря на всю свою изменчивость, ничуть не изменился с того времени, когда Георг делился с Эмилией бутербродом.

Молодая девушка вынула из ящика рисунки «Кремль» и «Эмилиин замок». Они тоже говорили о Георге, и она загляделась на них. Много дум пробудили в ней они! Ей припомнилось, как она тайком от родителей спустилась вниз к жене привратника, лежавшей на смертном одре, как села возле нее, взяла ее за руку и приняла ее последний вздох, ее последнюю молитву: «Георг... благословляю!..» Мать думала только о сыне, но Эмилия вложила в ее слова особенный смысл. Да, Георг провел-таки с Эмилией день ее рождения!

На другой день тоже случилось рождение — рождение самого генерала. Он родился днем позже своей дочери — конечно, многими годами раньше. Опять посыпались подарки. В числе их было превосходное, необыкновенно удобное и дорогое седло; такое имелось пока только у одного из принцев. Кто бы это мог прислать его? Генерал был от него в полном восхищении. К седлу была приложена записка. Гласи она: «Merci за вчерашнее!» — все догадались бы, от кого оно было, но она гласила: «От лица, которого господин генерал не знает!»

— Кого же я не знаю в свете? — сказал генерал. — Всех знаю! — И мысли его отправились гулять по большому свету. Нет, там он знал всех. — Это от жены! — решил он наконец. — Она вздумала интриговать меня! Charmant!

Но она и не думала интриговать его — миновала эта пора.

Опять готовилось празднество, но уж не у генерала, а у одного из принцев. Назначен был костюмированный бал; разрешалось быть и в масках.

Генерал явился Рубенсом, в испанском костюме, с небольшим стоячим воротником, при шпаге, щеголяя своей осанкой. Генеральша изображала супругу Рубенса и задыхалась от жары в закрытом черном бархатном платье, с жерновом на шее, т. е. с большим плоеным воротником. Костюм был скопирован с картины фламандского художника, принадлежавшей генералу; на картине особенно хороши были руки, а руки генеральши были точь-в-точь такие же.

Эмилия, вся в тюле и кружевах, изображала Психею. Она напоминала порхающую лебяжью пушинку и совсем не нуждалась в крылышках, составлявших принадлежность костюма Психеи.

Что это был за бал! Что за блеск, что за великолепие! Какие цветы, сколько вкуса! Глаза разбегались, где уж тут было смотреть на руки прекрасной супруги Рубенса!

Черное домино, с веткой акации на капюшоне, танцевало с Психеей.

— Кто это? — спросила генеральша.

— Его королевское высочество! — ответил генерал. — Я уверен в этом; я сразу узнал его по рукопожатию!

Генеральша сомневалась. Генерал Рубенс ничуть, подошел к черному домино и начертил на его ладони инициалы принца. Тот отрицательно покачал головой, но дал намек:

— Записка при седле! Лицо, которого генерал не знает!

— Но тогда я вас знаю! — сказал генерал. — Это вы прислали мне седло!

Домино подняло правую руку и исчезло в толпе.

— Кто это черное домино, Эмилия? — спросила генеральша. — Ты сейчас с ним танцевала!

— А я не спросила его имени! — ответила дочь.

— Потому что знала его! Это профессор!.. Ваш протеже, граф, здесь! — продолжала генеральша, обращаясь к графу, стоявшему возле. — Черное домино с веткой акации!

— Очень возможно! — ответил он. — Впрочем, один из принцев одет точно так же!

— Я узнал его по рукопожатию! — настаивал генерал. — От принца же я получил и седло. Я так уверен в этом, что приглашу его к нам обедать!

— Что ж, сделайте так! Если это принц — он придет! — ответил граф.

— А если это тот... другой, он не придет! — сказал генерал и приблизился к черному домино, которое только что кончило беседовать с

королем. Генерал обратился к домино с почтительным приглашением, выражая желание познакомиться с ним поближе. Генерал говорил так громко, отчетливо, так самоуверенно улыбался при этом: он знал ведь, кого приглашал!

Домино сняло маску; это был Георг.

— Повторит ли генерал свое приглашение? — спросил он.

Генерал словно вырос на целый вершок, осанка его стала еще величественнее; он отступил на два шага назад, потом сделал шаг вперед, точно в менуэте, и на лице его появилось самое знаменательное выражение, какое только он вообще мог придать своим благородным генеральским чертам.

— Я никогда не беру своих слов назад! Профессор приглашен!

И он удалился, косясь на короля, который, наверное, слышал весь разговор.

Обед у генерала состоялся; приглашены были только старик граф да его протеже.

«Теперь лед проломан!» — думал Георг. И лед действительно был проломан при самой торжественной обстановке.

Да, молодой человек снова появился в доме генерала и говорил и держал себя совсем как человек из лучшего общества — генерал не мог этого не видеть. Кроме того, он оказался в высшей степени интересным собеседником, так что генералу несколько раз пришлось прибегнуть к своему восклицанию: «charmant!» Генеральша не преминула рассказать об этом обеде в обществе, и одна из самых умных и уважаемых придворных дам выразила генеральше желание обедать у нее в следующий же раз, как будет приглашен молодой профессор. Пришлось снова пригласить его. Он принял приглашение и был опять в высшей степени мил; оказалось даже, что он играет в шахматы!

— Положительно он не подвального происхождения! — сказал генерал. — Наверное, он сын знатной особы! Таких сыновей много, и молодой человек тут ни при чем.

Профессор, бывавший при дворе у короля, мог, конечно, бывать у генерала, но предполагать, что он пустит в семье корни?! Об этом не могло быть и речи — в доме, в городе же только о том и говорили.

Он и пустил-таки корни!

Милость свыше пролилась на него, и когда он сделался статским советником, Эмилия сделалась статской советницей, что никого не удивило.

— Жизнь либо трагедия, либо комедия! — сказал генерал. — В трагедии влюбленные умирают, в комедии сочетаются браком.

Георг с Эмилией сочетались, и у них родилось трое славных мальчуганов — не зараз, конечно.

Милые детки, бывая в гостях у дедушки и бабушки, ездили по всем комнатам и залам верхом на палочках, а за ними гарцевал на палочке и сам генерал — «в качестве жокея маленьких статских советников!»

Генеральша же сидела на диване и улыбалась, глядя на внуков, даже в те дни, когда страдала своей «ужасной мигренью».

Так вот как далеко пошел Георг. Да он пошел и еще дальше, иначе не стоило бы и разговор заводить о сыне привратника!



## «ДЕНЬ ПЕРЕЕЗДА»



ы ведь помнишь колокольного сторожа Оле! Я рассказывал тебе о двух своих посещениях Оле, теперь расскажу и о третьем, но еще не последнем.

Обыкновенно я навещал его около Нового года, но на этот раз взобрался на колокольню в самый «день переезда». Внизу, на улицах, в этот день пренеприятно: всюду сор, осколки, черепки, обломки, не говоря уже о ворохах соломы, выкинутой из негодных матрацев!.. Шагаешь, шагаешь по ним!.. Да! Пришлось-таки мне пошагать! И вот вижу в опрокинутой мусорной бочке играют двое ребятшек. Они затеяли игру «в спанье» — бочка так и манила улечься в нее. Они и влезли туда, зарылись в гнилую солому и накрылись вместо одеяла куском старых ободранных обоев — то-то любо! Но с меня было уже довольно, и я поспешил наверх, к Оле.

— Сегодня «день переезда!» — сказал он. — Улицы и переулки превращаются в гигантские мусорные бочки, а мне довольно бывает и одного ящика: я и из него могу выловить кое-что и выловил-таки однажды, вскоре после сочельника. Я спустился на улицу; было сыро, грязно, серо и холодно. Мусорщик остановился со своим возом у одного дома. Ящик его был полнехонек и мог бы послужить примерным образцом того, во что превращаются копенгагенские улицы в день переезда. Сзади на возу торчала елка, совсем еще зеленая, на ветвях уцелела мишура; она покрасовалась в сочельник, а затем ее выбросили на улицу, и вот мусорщик водрузил ее на свой воз. Смеяться было или плакать, глядя на эту картину? Это зависит, конечно, от того, что думать при этом. Я смотрел на нее и думал; думали, вероятно, и кое-какие из сваленных в кучу предметов, или по крайней мере могли думать, а это ведь почти одно и то же. Лежала там, между прочим, разорванная дамская перчатка. О чем она думала? Сказать ли вам? Она лежала, указывая мизинчиком прямо на елку, и думала: «Мне жаль это деревце! И я тоже была создана блистать при свете огней! И моя жизнь продолжалась одну бальную ночь! Пожатие руки — и я лопнула! Тут обрывается нить

моих воспоминаний; больше мне не для чего было жить!» Вот что думала или могла думать перчатка!

«Глупая история с этой елкой! — думал черепок от горшка. Черепки всегда и все находят глупым. — Уж раз попала в мусорную кучу, нечего нос задирать и чваниться своею мишурой! Я-то вот знаю, что приносил пользу на свете, не то что эта зеленая розга!»

Что ж, и такое мнение имеет много сторонников, но елка все-таки смотрелась очень красиво, вносила хоть немножко поэзии в эту мусорную кучу, а сколько таких куч на улицах в день переезда!.. Мне стало тяжело бродить по улицам, и меня потянуло к себе наверх. Тут я сижу себе да благодушно посматриваю вниз.

Вот теперь добрые люди играют там «в перемену квартир»! Они возятся, перетаскивают свое добро, а домовый сидит на возу и переезжает вместе с ними: домашние дразги, семейные неурядицы, печали и заботы — все перебирается из старого жилища в новое. Так какой же смысл во всей этой кутерьме? В «Справочной газете» давным-давно как-то было напечатано старое доброе изречение: *«Помни о великом переезде в страну вечности!»*

Вот серьезная мысль, и, надеюсь, вам не будет неприятно послушать кое-что на эту тему? Смерть, несмотря на кучу дел, была и останется самым исправным чиновником. Вы когда-нибудь думали об этом?

Смерть — кондуктор, паспортист, выдающий нам аттестаты, и директор великой сберегательной кассы человечества. Понимаете вы меня? Все наши земные деяния — и большие, и малые, составляют наш вклад в эту кассу, и вот когда смерть подъедет к нам со своим дилижансом, в котором мы должны отправиться в страну вечности, она выдаст нам на границе вместо паспорта наш аттестат! Вместо же суточных кормовых денег мы получим из сберегательной кассы то или другое наиболее характерное деяние наше. Для иного это очень приятно, для иного же ужасно!

Никто еще не избегнул этого переезда в дилижансе смерти. Правда, рассказывают, что был один такой — иерусалимский башмачник, которому не позволили сесть в него. Ему пришлось бежать позади дилижанса. Но случись ему попасть туда, он бы ускользнул от поэтов! Загляните же когда-нибудь мысленно в дилижанс смерти! В нем самое смешанное общество! Тут сидят рядом король и нищий, гений и идиот. Всем приходится пуститься в дальний путь налегке, без всякого багажа, без денег, с одним аттестатом да с тем, что выдаст им из сберегательной кассы смерть. Какое же из всех деяний человека вынимает она из сберегательной кассы и дает ему в дорогу? Может быть, самое маленькое, незаметное, как горошинка, но ведь из горошинки вырастает длинный цветущий стебель!



Жалкий бедняк, сидевший у порога и получавший толчки да пинки, получит, может быть, в дорогу этот самый порог. Но он сейчас же превратится в паланкин, в золотой трон или в цветущую беседку, в которой бедняка и отнесут в страну бессмертия.

Тот же, кто постоянно пил из роскошной чаши наслаждения, чтобы забывать содеянное им зло, получит в дорогу простую плошку с чистым, прозрачным питьем, проясняющим мысли. Человек пьет его и видит то, чего прежде не хотел или не мог видеть. Наказание его в том гложущем черве совести, который никогда не умирает. Если на чаше земных наслаждений была надпись *забвение*, то на этой плошке будет написано *вспоминание*.

Когда я читаю хорошую книгу, историческое сочинение, я всегда задумываюсь над тем, какое деяние вынула смерть из сберегательной кассы и дала в дорогу такому-то или такому-то лицу, о котором я читаю. Вот, например, жил один французский король; имя его я позабыл — имена добрых всегда забываются, но дела их нет-нет да и всплывут в памяти. Этот король явился в голодный год благодетелем своего народа, и народ воздвиг ему памятник из снега с надписью: «Помощь твоя являлась быстрее, чем тает этот памятник!» Я думаю, что смерть дала этому королю одну снежинку из его памятника, которая никогда не может растаять, и она проводила короля, порхая над его головой белой бабочкой, в страну вечности. А вот еще жил другой король, Людовик XI; его имя я помню — люди не забывают зла. Мне особенно памятно одно его деяние, и всякий раз, как я вспоминаю о нем, мне так и хочется назвать историю ложью. Он велел казнить своего коннетабля; ну, это он мог, справедливо или несправедливо — его дело; но у коннетабля были невинные дети, один восьми, другой семи лет; так король велел и их привести на эшафот и обрызгать теплой кровью отца! Затем он приказал посадить детей в Бастилию, в железную клетку; бедняжкам не дали даже одеяла, чтобы покрываться ночью. А король присылал к ним каждую неделю палача, которому было приказано вырывать у детей по зубу, чтобы им жилось «не слишком вольготно». И старший мальчик сказал однажды палачу: «Матушка умерла бы с горя, если бы знала, что мой маленький брат так страдает! Выдерни же лучше два зуба у меня и оставь его в покое!» У палача выступили на глазах слезы, но воля короля была сильнее слез, и королю еженедельно продолжали подавать на серебряном блюде по два детских зуба. Он требовал их и получал. Так вот, я думаю, что эти-то два зуба смерть и вынула из сберегательной кассы человечества и вручила их королю Людовику XI в дорогу, когда он отправился в страну вечности. И зубы невинных детей летели над ним двумя огненными пчелами, жгли, жалили его всю дорогу!

Да, серьезный путь предстоит нам в день великого переезда в дилижансе смерти! Когда-то он приедет за нами?

Вспомнишь, что мы можем ожидать его каждый день, каждый час, каждую минуту, и невольно призадуматься. Которое-то из наших деяний вынет тогда смерть из сберегательной кассы и даст нам в дорогу? Да, поразмыслим-ка об этом! День *этого* переезда не обозначен ведь в календаре!



## ПОДСНЕЖНИК

**З**има; холодно; ветер так и режет, но в земле хорошо, уютно; там и лежит цветочек в своей луковичке, прикрытой землей и снегом. Но вот выпал дождь; капли проникли сквозь снежный покров в землю к цветочной луковичке и сообщили ей о белом свете, что над нею. Скоро пробрался туда и солнечный луч, такой тонкий, сверлящий; он пробуравил снег и землю и слегка постучался в луковичку.

— Войдите! — сказал цветок.

— Не могу! — ответил луч. — Я еще слаб теперь, и мне не раскрыть луковичку! А вот к лету я соберусь с силами!

— А когда будет лето? — спросил цветок и спрашивал то же самое у каждого нового гостя — солнечного луча. Но до лета было еще долго; снег еще не весь стаял, и лужицы каждую ночь затягивало льдом.

— Как это долго тянется! — говорил цветок. — А мне просто не сидится на месте! Хочется потянуться, вытянуться, раскрыться, выйти на волю, повидаться с летом! То-то блаженное времечко!

И цветок потянулся в своей тонкой скорлупке, размягченной водою, согретой снегом и землею, пронизанной солнечными лучами. Скоро из земли, под снегом, пробился зеленый стебелек со светло-зеленым бутонем, окруженным, словно ширмочкой, узенькими, толстенькими листками. Снег был еще холодный, но весь залит лучами солнца, — он был уже настолько рыхл, что им легко было пробиться сквозь него, да и сами они стали теперь сильнее.

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! — запели они, и цветок выглянул из-под снега. Солнечные лучи ласкали и целовали малютку, так что белоснежная с зелеными жилками чашечка его совсем раскрылась. Радостно и скромно склонил он головку.

— Милый цветочек! — пели солнечные лучи. — Как ты свеж и нежен! Ты первый, единственный! Ты наше возлюбленное дитя! Ты возвещаешь лето, чудное лето! Скоро весь снег растает, холодные ветры унесутся прочь! Царствовать будем мы! Все зазеленеет! И у тебя появятся подружки: зацветут сирень и желтая акация, а потом розы, но ты все-таки первый, такой нежный, прозрачный!

Вот была радость! Казалось, самый воздух пел и звучал, солнечные лучи проникали в самые лепестки и стебелек цветка. И он стоял, такой нежный, хрупкий и в то же время полный сил, в пышном расцвете юной красоты, такой нарядный в своем белом платье, с зелеными ленточками, и славил лето. Но до лета было еще долго; облака закрыли солнышко, подули холодные, резкие ветры.

— Рановато ты появился! — сказали они цветку. — Сила еще на нашей стороне! Постой, мы зададим тебе! Сидеть бы тебе да сидеть в тепле, а не торопиться франтить на солнышке — не пришло еще время!

Холод так и щипал. Дни шли за днями, а не показывалось ни единого солнечного луча. Нежному цветочку хоть замерзнуть было впопору. Но он был сильнее, чем подозревал сам; его укрепляла радостная вера в обещанное лето. Оно должно было скоро прийти! Недаром же о нем возвестили солнечные лучи. Цветок твердо верил их обещанию и терпеливо стоял на белом снегу в своем белом наряде, склоняя головку под тяжелыми, густыми хлопьями снега; вокруг него бушевали холодные ветры.

— Ты сломишься! — говорили они. — Завянешь, замерзнешь! Что тебе надо было тут? Зачем ты дал себя выманить? Солнечный луч обманул тебя! Вот и поделом тебе теперь! Эх ты, подснежник!

— Подснежник! — прозвучало в холодном утреннем воздухе.

— Подснежник! — ликовали дети, выбежавшие в сад. — Вот тут растет один, такой миленький, прелестный, первый, единственный!

И слова эти пригрели цветок, словно солнечные лучи. От радости он даже не почувствовал, что его сорвали. Он очутился в детской ручонке, детские губки целовали его. Потом его принесли в теплую комнату, полюбовались на него и поставили в воду. Цветок ожил, возродился к жизни, подумал, что вдруг наступило лето.

У старшей дочки, прелестной молодой девушки, — она уже была подтверждена — был друг сердца; он тоже был подтвержден и теперь проходил курс наук.

— Вот пошучу с ним! Он подумает, что у нас уже лето! — сказала девушка, взяла нежный цветочек и положила его в душистый листок бумаги, на котором были написаны стихи о подснежнике. Они начинались словом «подснежник», а кончались словами: «Теперь, дружок мой, ты на всю зиму останешься дурачком!» Да, вот что говорилось в стихах, которые она послала другу вместо письма. Цветок очутился в конверте; как там было темно! Он точно опять попал в луковицу! И вот он отправился в путь, побывал в почтовой сумке, его тискали, комкали; приятного тут было мало, но и этому пришел конец.

Письмо дошло по назначению; его распечатали и прочли. Друг сердца был так доволен, что расцеловал цветок и спрятал его вместе со стихами в ящик. Там лежало много таких же дорогих писем, но все они были

без цветов; этот явился первым, единственным, как называли его солнечные лучи, и цветок не нарадовался этому!

А времени радоваться было у него довольно: прошло лето, прошла и длинная зима, снова настало лето, и тогда только его опять вынули. Но на этот раз молодой человек не был весел и так сердито принялся рыться в письмах и бумагах, что листок со стихами полетел на пол, и подснежник выпал из него. Правда, он высох и сплюснулся, но из-за этого не следовало все-таки швырять его на пол! Все же лежать на полу было лучше, чем сгореть в печке, куда угодили все письма и стихи. Что же случилось? То, что часто случается. Подснежник обманул молодого человека — это была шутка; девушка обманула его — это уж была не шутка. Она избрала себе летом нового друга сердца.

Утром солнышко осветило маленький сплюснутый подснежник, выглядевший словно нарисованным на полу. Девушка, подметавшая пол, подняла его и вложила в одну из книг на столе; она думала, что нечаянно выронила оттуда цветок, приводя стол в порядок. И вот цветок снова очутился между стихами, но на этот раз напечатанными, а они ведь важнее написанных, по крайней мере обходятся дороже.

Прошли годы; книга все стояла на полке; но вот ее взяли, открыли и стали читать. Книга была хорошая: стихи и песни датского поэта Амвросия Стуба; с ними стоит познакомиться. Человек, читавший книгу, перевернул страницу.

— Подснежник! Недаром его положили сюда. Бедняга Амвросий Стуб! Ты тоже был подснежником среди своих собратьев! Ты явился слишком рано, опередил свое время, и тебя встретили буйные ветры и непогода. Пришлось тебе скитаться из дома в дом, от одного фионского помещика к другому, разыгрывая роль цветка в стакане с водою или вложенного в рифмованное письмо! Да, и ты был подснежником, обманчиво возвестившим лето, недоразумением, шуткой, но все же ты был первым, единственным, дышащим юношеской свежестью, датским поэтом. Оставайся же тут, подснежник! Ты положен сюда недаром.

И подснежник опять положили в книгу; он был и польщен и обрадован, узнав, что положен в это прекрасное собрание песен недаром и что сам певец был таким же подснежником, над которым подшутила зима. Подснежник понял все по-своему, как и мы всякую вещь понимаем по-своему.

Вот и вся сказка о подснежнике.



## ТЕТУШКА

**З**нали бы вы тетушку — прелесть что такое! То есть прелесть не в обыкновенном смысле слова, не красавица, а милая, славная и по-своему презабавная. Вот над кем можно было подшутить, пошутиться! Хоть сейчас сажай ее в комедию! И все это потому только, что она жила лишь театром и всем, что к нему относится. Вообще же тетушка была особа почтенная, даром что агент Болман, или «болван», как звала его тетушка, величал ее «театральной маньячкой».

— Театр — моя школа, — говаривала она, — источник моих познаний. Благодаря театру я освежила свое знание священной истории: «Моисей, Иосиф и его братья» — это все ведь оперы! Благодаря театру я познакомилась и со всемирной историей, и с географией, и с психологией! Из французских пьес я узнала парижскую жизнь; легкомысленна она, но в высшей степени интересна! Как я плакала над «Семейством Рикенбур»! Подумать только — герой допивается до смерти, чтобы героиня могла выйти замуж за любимого человека! Да, много слез я пролила за те пятьдесят лет, что абонируюсь!

Тетушка знала каждую пьесу, каждую кулису, каждого актера, который выступал на сцене теперь или прежде. Она жила, собственно говоря, только девять месяцев в году; летние три месяца, театральные каникулы прямо-таки старили ее, тогда как один вечер в театре, затягивавшийся за полночь, просто молодил. Она не говорила, как другие люди: «Вот скоро придет весна!», «Аист прилетел!», «В газетах уже пишут, что появилась свежая земляника!» Она, напротив, приветствовала осень: «Видели, абонемент уже открыт?.. Скоро начнутся представления!»

Достоинство и удобство квартиры она измеряла близостью ее к театру. Как горько было ей оставить маленький переулок, проходивший позади театра, и переехать на большую улицу немного подальше, да вдобавок поселиться в доме без визави.

— Я и дома хочу иметь свою ложу-окошко! Нельзя же все с самой собою рассуждать, надо и на людей поглядеть! А вот теперь мне приходится жить, точно в деревне, в захолустье! Если мне вздумается посмотреть на людей, приходится взлезать на кухонный стол — только



оттуда я и вижу соседей. То ли дело было в переулке! Там из моего окошка открывался вид прямо в квартиру торговца льном, да и до театра было всего три шага, а теперь целых три тысячи и каких еще — гвардейских!

Случалось тетушке и захворать, но как бы плохо она себя ни чувствовала, пропустить представление все-таки не могла. Раз доктор предписал ей поставить себе вечером к ногам кислое тесто. Она поставила, но в театр все-таки поехала и высидела все представление с тестом на ногах. Умри она в этот вечер, она была бы даже довольна. Ведь умер же в театре Торвальдсен, и такую смерть она называла блаженной.

Тетушка и рая не могла себе представить без театра. Конечно, нам этого не обещано, но ведь довольно же правдоподобно, что для прекрасных актеров и актрис, которые отправились туда до нас, найдется и там арена деятельности!

В комнатку тетушки была проведена из театра своего рода электрическая проволока; телеграмма являлась каждое воскресенье к кофе. Проволокой служил господин Сивертсен, театральный машинист, подававший сигналы к поднятию занавеса, перемене декораций и проч.

От него-то тетушка и получала краткие, но вразумительные сведения о репертуаре. «Бурю» Шекспира он звал «чертовщиной»: столько хлопот с ней! В первом же действии — «море вплоть до первой кулисы!» Это он хотел объяснить, как далеко должны были заходить волны морские. Если же сцена во всех пяти действиях изображала все одну и ту же комнату, он называл такую пьесу разумной, толково написанной, на которой можно отдохнуть. Она, дескать, играется сама собой, без всяких фокусов.

В прежние времена — то есть лет тридцать тому назад — когда и сама тетушка и вышепоименованный господин Сивертсен, уже и тогда служивший машинистом, были помоложе, он — по словам тетушки — был настоящим благодетелем для нее. В те времена в единственном большом городском театре существовал обычай допускать зрителей на особые места, находившиеся под потолком, по обеим сторонам сцены. Каждый машинист располагал там местом или двумя. И места эти зачастую бывали битком набиты самой избранной публикой; говорили даже, что туда жаловали генеральши и коммерции советницы. Ведь так интересно было заглянуть за кулисы, увидеть, как держат себя герои сцены после того, как занавес опустится!

Тетушка частенько бывала там, когда шли трагедии и балеты; в этих пьесах участвовала наибольшая часть труппы, и на них-то особенно интересно было смотреть сверху. Зрители сидели там в потемках, но очень удобно; почти все запасались закуской на ужин, и однажды в темницу Уголино, где он должен был умереть с голода, упала колбаса и три яблока! В публике, конечно, надорвали животики со смеху. Вот эта-то

колбаса и была одною из главнейших причин, по которым дирекция закрыла для зрителей места наверху.

— Но я все-таки успела побывать там тридцать семь раз! — говорила тетушка. — И никогда я не забуду этого господину Сивертсену!

В последний вечер, когда места под потолком еще были открыты для публики, давался «Суд Соломона», тетушка отлично помнила это. В этот раз она, благодаря любезности господина Сивертсена, достала входной билет для агента Болмана, хоть он и не заслуживал этого за свое зубоскальство и вечные насмешки над театром. Но ему очень хотелось видеть «театральную канитель с изнанки». Он именно так и выразился, и это было куда как похоже на него, говорила тетушка.

И вот он увидел «Суд Соломона» сверху, да и заснул там. Право, точно он пришел в театр с большого обеда, за которым было провозглашено пропасть тостов! Итак, он заснул, проспал конец представления, и его заперли в темном, пустом театре.

— Когда я проснулся, — рассказывал он потом (тетушка, впрочем, не верила ни единому его слову) — «Суд Соломона» был кончен, все лампы и свечи потушены, весь народ разошелся, но тогда-то и началось настоящее представление — эпилог. И это было всего интереснее! Все ожило, пошел уже не «Суд Соломона», а «Страшный суд в театре».

И подобной ерундой агент Болман думал морочить тетушку — в благодарность за то, что она устроила его под потолком!

Все, что рассказывал агент, могло со стороны показаться довольно забавным, но в сущности-то за всем этим скрывалась одна злая насмешка.

— Темно там было, наверху! — рассказывал он. — Но вот началось волшебное представление «Страшный суд в театре». У дверей стояли контролеры и требовали у каждого из зрителей аттестат, чтобы удостовериться, имеет ли он право входить в театр не связанный по рукам и без намордника. Господа, являющиеся в театр слишком поздно, — трудно ведь сообразоваться с временем! — привязывались у входа и подковывались войлочными подошвами, чтобы могли без шума войти в театр в начале следующего действия. Кроме того, на них надевались намордники. Затем начался «Страшный суд».

— Все только ехидничанье и злость, неугодные Господу Богу! — ворчала тетушка.

Агент же продолжал:

— Декоратор, желавший попасть на небо, должен был взбираться на него по им самим нарисованной лестнице, а лестница-то эта являлась сплошным отрицанием всяких законов перспективы! Заведующий же монтажной частью, прежде чем попасть на небо, должен был перенести в подобающие места все здания и растения, водворенные им в несоответствующие страны, — и все это раньше, чем пропоет петух!

— Господину Болману следовало бы лучше заботиться о том, как бы самому-то попасть на небо!

Вообще все, что он рассказывал об актерах — и комических, и драматических, о певцах и балетных танцорах, было, по словам тетушки, со стороны Болмана (болвана!) черной неблагодарностью! Он не заслуживал счастья попасть наверх. Тетушка не желала даже повторять его сквернословия. А он уверял, что все это записано и попадет в печать после его смерти — не раньше! Не то тетушка, пожалуй, загрызет его!

Только один раз довелось тетушке набраться страха в своем храме блаженства — театре. Дело было зимой, в один из коротких «двухчасовых» серых дней. На дворе стоял холод, шел снег, но тетушке непременно надо было попасть в театр. Давали «Германа фон Унна», небольшую оперу и большой балет, да еще пролог и эпилог вдобавок. Спектакль должен был затянуться до поздней ночи. Как же пропустить такое представление? К тому же квартирант тетушки снабдил ее парой высоких меховых сапог, заходивших ей за колена.

Тетушка явилась в театр, уселась в ложу, но сапог не сняла, хоть ей и жарко было в них. Вдруг закричали: «Пожар». Из-за одной кулисы и под потолком показался дым. Поднялся переполох. Тетушка осталась последней в своей ложе — второго яруса с левой стороны; оттуда декорации смотрятся красивее, говорила тетушка, их ведь ставят так, чтобы они выглядели лучше из королевской ложи! Наконец, и тетушка добралась до двери, но оказалось, что зрители, выскочившие раньше, заперли ее за собой впопыхах. Тетушка очутилась в западне. Прямо в коридор выйти было нельзя, через соседнюю ложу тоже — перегородка была слишком высока. Тетушка закричала, никто не услышал. Она заглянула вниз, в следующий ярус, там тоже было пусто, но до него было близко, просто рукой подать. Тетушка от страха вдруг помолодела, почувствовала себя такой легонькой, проворной и совсем уж собралась было перелезть через барьер вниз, даже перекинула через него одну ногу, а другую поставила на скамейку. Так она и сидела, словно верхом на лошади, такая нарядная, в платье с цветочками, свесив вниз ногу в необъятном меховом сапожище! То-то была картина! Когда на нее обратили внимание, слышали и крики тетушки, и она была спасена от опасности сгореть — со стыда, так как театр и не думал гореть.

По ее словам, это был самый памятный вечер в ее жизни. И хорошо, что она тогда не могла видеть самое себя, — она бы умерла со стыда.

Благодетель ее, машинист Сивертсен, приходил к ней каждое воскресенье, но от воскресенья до воскресенья долго было ждать, и вот тетушка стала в последнее время приглашать к себе по средам «кормиться» (т. е. пользоваться остатками от стола) маленькую девочку. Девочка участвовала в балетах и тоже нуждалась в пище. Выступала она в ролях эльфов и пажей; труднейшей же ролью ее была роль «задних

лап льва» в «Волшебной флейте». Потом она доросла и до передних лап, но за них ей платили уже только три марки разовых, тогда как задние лапы оплачивались целым риксдалером<sup>1</sup>. Зато, исполняя их, ей приходилось сгибаться в три погибели и задыхаться! Все это тетушку живо интересовало.

Она заслуживала прожить до самого закрытия старого театра, но нет, не выдержала! Не пришлось ей и умереть там! Умерла она чинно и благородно в собственной постели. Последние слова ее были, впрочем, довольно-таки характерны. Она спросила: «А что идет завтра?»

После тетушки осталось что-то около пятисот риксдалеров. Так мы заключаем из процентов на капитал, составлявших двадцать риксдалеров. Их завещала тетушка в виде пожизненной пенсии достойной, старой безродной девице с тем, чтобы она абонировалась на одно место в ложе второго яруса с левой стороны, и непременно на субботние представления — тогда даются лучшие пьесы. На пенсионерку налагалось лишь одно обязательство — поминать по субботам в театре покойную тетушку.

Так вот чему поклонялась и служила тетушка всю свою жизнь!



---

<sup>1</sup> Риксдалер равнялся шести маркам. — *Примеч. перев.*

## ЖАБА

**К**олодец был глубокий, поэтому и веревка была длинная; она медленно наворачивалась на ворот, когда вытаскивали полное ведро. Как ни прозрачна была вода в колодце, в ней никогда не играли солнечные лучи — они не достигали до ее поверхности. По стенкам же колодца и между камнями, куда они проникали, росла зелень.

Здесь ютилась целая семья жаб; она была не туземного происхождения, а, так сказать, слетела сюда кувырком в лице старой жабы, которая была еще жива и посейчас. Давнишние обитательницы колодца, зеленые лягушки, плававшие в воде, признали жаб родственницами и обошлись с ними, как с гостями, прибывшими на воды. А гости-то взяли да и поселились здесь совсем: жилось им тут очень вольготно, они чувствовали под собою твердую почву!

Старой бабушке-лягушке довелось раз совершить путешествие в ведре; она поднялась в нем наверх, но там ей показалось чересчур светло, у нее даже в глазах зарябило! К счастью, ей удалось выпрыгнуть из ведра. Шлепс! Она так бухнулась в воду, что три дня спины у себя не чувствовала. Многого о белом свете она рассказать не могла, но знала, да это и все знали, что колодец — еще не весь свет. Вот старая жаба, та бы могла порассказать о нем кое-что побольше, но она никогда не отвечала на вопросы, ну, ее и не спрашивали.

— Безобразная, жирная толстуха! — говорили про нее зеленые лягушки. — И детки ее все в нее будут!

— Может статься! — отвечала жаба. — Но у одной из них, или у меня самой, сидит в голове драгоценный камень!

Зеленые лягушки слушали ее, вытаращив глаза, но слова ее им не понравились — они передразнили ее и шлепнулись на дно. Зато молодые жабы даже задние ножки вытянули от пушей важности. Каждая мнила себя обладательницей драгоценного камня и сидела возле старой жабы смирно-смирно, боясь шевельнуть головой. Но вдруг все зараз зашевелились и спросили у старухи, чем, собственно, им гордиться, что это за камень.

— А это нечто такое великолепное и дорогое, что и описать нельзя! — ответила старая жаба. — Носят же это ради собственного удо-

вольствия и другим назло. Но не спрашивайте больше! Я не стану отвечать!

— Ну, уж во мне-то нет драгоценного камня! — сказала самая младшая из жаб. Она была безобразная-пребезобразная! — Да и с какой стати завелась бы во мне такая драгоценность? А если она к тому же будет сердить других, то какая мне от нее радость? Нет, мне бы хотелось только одного — взобраться когда-нибудь на край колодца и посмотреть оттуда на белый свет! То-то там, должно быть, чудесно!

— Оставайся-ка лучше на своем месте! — сказала старуха. — По крайней мере знаешь, где ты! Берегись ведра, оно раздавит тебя! А попадешь в него — еще вывалишься, и не всем ведь удастся упасть так счастливо, цело и невредимо, как мне!

— Квак! — вздохнула молодая жаба; по-нашему, по-человечьи, это означало «ах».

Уж как ей хотелось взобраться на край колодца, поглядеть на белый свет! Ее так и тянуло кверху! И вот на следующее утро ведро с водой случайно приостановилось перед камнем, на котором сидела жаба... Сердечко у нее так и екнуло, миг — и она прыгнула в ведро и погрузилась на дно.

Ведро вытянули и воду выплеснули.

— Ах, чтоб тебе! — вскрикнул парень, увидав жабу. — Такой гадины я еще не видывал! — И он ткнул ее ногой в деревянном башмаке, так что чуть не изувечил бедняжку. Жаба едва спаслась в высокую крапиву. Тут она стала оглядываться: стебли стояли рядышком один возле другого, а сверху, сквозь листья, просвечивало солнышко, так что листья казались совсем прозрачными. Для жабы разгуливать в крапиве было то же, что для нас гулять в густом лесу, где сквозь листву просвечивает солнышко.

— Здесь куда лучше, чем у нас в колодце! Право, так бы и осталась тут навсегда! — сказала жаба. Прошел час, прошел другой, а она все лежала в крапиве. — А что же там, дальше? Если уж я зашла так далеко, надо идти и дальше!

И она поползла как могла скорее и выползла на дорогу. Солнышко пригревало ее, пыль пудрила, а она себе ползла да ползла через дорогу.

— Вот тут так сушь да гладь! — сказала она. — Право, тут уж больно хорошо! Мне просто щекотно от удовольствия!

Вот она доплелась до канавы, обросшей по краям незабудками и таволгою. Повыше же шла живая изгородь из бузины, белого терна и вьюнка. Да, много тут было цветов! Просто загляденье! Вот вспорхнула бабочка, и жаба приняла ее за цветок, который сорвался со стебелька, чтобы лучше познакомиться с белым светом. Что ж, жаба отлично это понимала!





— Вот бы полететь, как он! — сказала она. — Квак! Ах! Что за красота!

Целую неделю прожила она у канавы; недостатка в пище тут не было. Но на девятый день жаба подумала: «Пора дальше! Вперед! Поищу еще чего-нибудь получше!» Но что же могла она найти? Может быть, подружку жабу или зеленых лягушек? Ночью ветер доносил до нее кваканье: должно быть, поблизости жила родня.

«Как хорошо жить на свете, выбраться из колодца, лежать в крапиве, ползать по пыльной дороге и нежиться в сырой канаве! Но дальше, дальше! Надо отыскать лягушек или подружку жабу! Без этого обойтись нельзя, одной природы мало!» И она опять пустилась в путь.

Вот она доползла до большого пруда, поросшего тростником. Туда она и забралась.

— Тут, пожалуй, чересчур сыро для вас! — сказали лягушки. — Но милости просим! Вы дама или кавалер? Впрочем, все равно! Милости просим!

И ее пригласили на вечерний семейный концерт. Восторг был полный, голоса тоненькие — дело известное! Угощения не было никакого, только даровое питье — целый пруд, если угодно.

— Теперь мне надо дальше! — сказала жаба. Она все рвалась к лучшему.

Видела она над собою звезды, такие большие, ясные, видела и новорожденную луну, видела и солнце, которое подымалось все выше и выше.

«Я, значит, все-таки еще в колодце, только в большом. Надо взобраться еще выше! Ах, меня так и тянет все дальше и дальше, все выше и выше!»

Вот настало полнолуние, и бедняжка подумала: «Не ведро ли это спускается? Вот бы прыгнуть в него да подняться кверху! Или, может быть, солнце — большое ведро? Какое оно огромное, яркое! В нем бы хватило места для всех нас! Надо будет ловить случай! Ах, как оно засветилось у меня в голове! Драгоценный камень вряд ли светит ярче. Ну, его-то во мне нет, да мне и горя мало! Нет, вот подняться еще выше, к еще большему блеску и радости — это дело другое! Я твердо решила на этот шаг, но все-таки и побаиваюсь слегка... Шаг ведь серьезный! Сделать его, однако, надо! Вперед! Все прямо, прямо! Знай — шагай!»

И она зашагала, т. е. поползла. Вот она выбралась на проезжую дорогу; тут жили люди, попадались сады и огороды.

— Сколько, однако, на свете разных тварей! Я их и не знавала прежде! И как велик, прекрасен самый свет! Но надо осматривать его, а не сидеть на одном месте. — И она прыгнула в огород. — Какая зелень! Как тут хорошо!

— Знаю, что хорошо! — сказала гусеница, сидевшая на капустном листе. — Мой листок больше всех здесь! Он закрывает от меня полсвета, но я в нем и не нуждаюсь!

— Кок-кок-кудак! — раздалось возле них.

Это явились куры. Они так и засемили по огороду. Самая первая курица была дальнзоркая, увидала гусеницу на капустном листе и клюнула его. Гусеница свалилась на землю и принялась изгибаться и вывертываться. Курица покосилась на нее сначала одним глазом, потом другим — она еще не знала, что выйдет из этих вывертов.

«Ну, он вертится этак не по доброй воле!» — решила она, наконец, и хотела было склевать гусеницу. Жаба так перепугалась, что подползла к курице вплотную.

— Э, да он выдвигает резервы! — сказала курица. — Ишь, ползучка какая нашлась! — И она повернула прочь. — Нужен мне очень этакий зеленый червячок! Только в горле от него запершит!

Остальные куры были того же мнения и тоже ушли.

— Ну, я таки отвертелась от нее! — сказала гусеница. — Вот что значит не терять присутствия духа! Но самое трудное еще впереди! Как мне опять взобраться на мой капустный лист? Где он?

Жаба подошла к гусенице и выразила свое сочувствие, а также радость, что ее безобразие обратило курицу в бегство.

— Что вы хотите сказать? — спросила гусеница. — Я сама отвертелась от нее. Фу, на вас смотреть тошно! Оставьте меня, пожалуйста, в покое! Я, кажется, у себя дома! А, вот и мой листок! То ли дело у себя дома! Но надо взобраться повыше!

— Да, повыше! — сказала жаба. — Выше! У нас с ней симпатия! Но она не в духе теперь — от страха. Все мы хотим взобраться повыше! И она подняла голову как только могла.

На крыше крестьянской хижины сидел аист; он трещал языком, и аистиха трещала.

«Как они высоко живут! — подумала жаба. — Вот бы забраться туда!»

Хижину нанимали двое студентов. Один был поэт, другой натуралист. Один радостно воспевал все сотворенное Богом так, как оно отражалось в его сердце, воспевал в кратких, ясных и звучных стихах. Другой вникал в самую суть вещей, готов был даже распотрошить их, если на то пошло. На весь мир Божий он смотрел как на огромную арифметическую задачу, производил вычисления, хотел выяснить себе все, понимать все, говорить обо всем разумно — все в мире было ведь так разумно. Он и говорил обо всем разумно и с увлечением. Оба были добрые, веселые малые.

— Вот славный экземпляр жабы! — сказал натуралист. — Надо ее в спирт посадить!

— Да у тебя уж две сидят! — сказал поэт. — Оставь ее в покое. Пусть наслаждается жизнью!

— Да уж больно она безобразна! Прелесть просто! — сказал первый.

— Вот если бы можно было найти в ее голове драгоценный камень, я бы сам помог тебе распотрошить ее! — сказал поэт.

— Драгоценный камень! — повторил натуралист. — Силен же ты в естественной истории!

— А разве не прекрасно это народное поверье — будто жаба, эта безобразнейшая тварь, часто скрывает в своей голове драгоценный камень? Разве с людьми не бывает того же? Какой драгоценный камень скрывался в голове Эзопа, а в голове Сократа?..

Дальше жаба ничего не слыхала, да и из того, что слышала, не поняла половины. Друзья прошли, и беда на этот раз миновала ее.

— И они говорили о драгоценном камне! — сказала жаба. — Хорошо, что во мне его нет, не то не избыть бы мне неприятности!

На крыше опять затрещало. Аист-отец держал семейную речь, а семья его косилась на двух студентов, гулявших по огороду

— Человек — самое чванное создание! — говорил аист. — Слышите, какую трескотню завели! А настоящего-то все не выходит! Они чванятся своей речью, своим языком! Хорош язык, который, чем дальше едешь, тем меньше понимаешь! Вот у них как! Один не понимает другого. А наш-то язык годится всюду — и в Дании, и в Египте. И летать они не умеют. Правда, они мчатся с места на место благодаря своему изобретению — железной дороге, да часто ломают себе шеи! У! Мороз по клюву пробирает, как подумаю об этом! Свет простоял бы и без людей! Мы без них отлично бы обошлись! Оставили бы нам только лягушек да дождевых червей!

«Вот так речь! — подумала жаба. — Какой он важный и как высоко сидит! Никого еще я не видела на такой высоте!.. А как он умеет плавать!» — вырвалось у нее, когда аист широко взмахнул крыльями и полетел.

Аистиха же продолжала рассказывать детям о Египте, о Ниле, о бесподобной тамошней тине. Все это было так ново для жабы.

— Мне надо в Египет! — сказала она. — Только бы аист взял меня с собою! Или хоть один из птенцов! Я бы уж отплатила ему чем-нибудь! Да я таки и попаду в Египет: на счастье мне везет! Право, это стремление, эта тоска, что во мне, лучше всякого драгоценного камня в голове!

А в ней как раз и сидел этот камень — эта вечная тоска, стремление к лучшему, стремление вперед, вперед! Она вся светилась ими.

В эту минуту явился аист. Он увидел в траве жабу, слетел и сцапал ее не особенно-то деликатно. Клюв сжался, в ушах у жабы засвистел ветер... Неприятно это было, но зато она летела вверх, в



Египет!.. Она знала это, и глаза ее засияли; из них как будто вылетела яркая искра.

— Квак! Ах!

Жаба умерла, тело ее раздавили. Но куда же девалась искра из ее глаз?

Ее подхватил солнечный луч и унес — куда?

Не спрашивай об этом натуралиста, спроси лучше поэта. Он ответит тебе сказкой; в ней будут упомянуты и гусеница, и семья аиста. Подумай! Гусеница превращается в прелестную бабочку, аист летит над горами и садами в далекую Африку и все же находит кратчайшую дорогу назад, в Данию, на то же место, на ту же крышу. Да, это что-то сказочное, и все-таки это правда. Спроси хоть у натуралиста, и он скажет то же самое. Да ты и сам знаешь, сам видел все это!

Ну, а драгоценный-то камень из головы жабы куда девался?

Поищи его на солнце! Взгляни на него, коли можешь! Но блеск солнца нестерпим. У нас нет еще таких глаз, которыми бы мы могли зреть всю красоту, созданную Богом, но когда-нибудь мы обретем их. То-то будет чудесная сказка: мы сами будем в ней действующими лицами!



## АЛЬБОМ КРЕСТНОГО

**М**астер был крестный рассказывать. Сколько он знал разных историй — длинных, интересных! Умел он также вырезать картинки и даже сам отлично рисовал их. Перед Рождеством он обыкновенно доставал чистую тетрадку и начинал наклеивать в нее картинки, вырезанные из книжек и газет; если же их не хватало для полной иллюстрации задуманного рассказа, он сам пририсовывал новые. Много дарил он мне в детстве таких тетрадок, но самую лучшую получил я в тот «достопамятный год, когда Копенгаген осветился новыми газовыми фонарями вместо прежних ворванных». Это событие и было отмечено на первой же странице.

— Этот альбом надо беречь! — говорили мне отец и мать. — Его и вынимать-то следует только в особых случаях.

Но крестный надписал на обложке:

Коль книжку разорвешь — беды еще нет!  
Другие похуже творили, мой свет!

Лучше всего было, когда крестный сам показывал альбом, читал стихи и прочее, что в нем попадалось, а к этому еще многое добавлял от себя. Вот тогда-то история становилась настоящей историей!

На первой странице красовалась картинка, вырезанная из «Летучей почты»<sup>1</sup>; на ней виднелась «Круглая Башня» и церковь Богоматери; левее этой картинки была наклеена другая, изображавшая старый фонарь с надписью: «Ворвань», а правее — третья, изображавшая новый фонарь с газовыми рожками и надписью: «Газ».

— Это афишка! — говорил крестный. — Она служит введением к истории, которую сейчас расскажу тебе. Из нее можно было бы выкроить хоть целую комедию: «Ворвань и газ, Или жизнь и приключения Копенгагена». Вот только сумеют ли поставить ее? А заглавие хоть куда! Внизу страницы видна еще картинка. Ее не так-то скоро поймешь! Придется пояснить. Это — мертвая лошадь<sup>2</sup>; место ее на последней странице

<sup>1</sup> «Kjöbeubavns Flyvende Post» — весьма влиятельный в свое время литературный орган, основанный И. Л. Гейбергом в 1827 г. — *Примеч. перев.*

<sup>2</sup> См. примеч., т. I, стр. 274. — *Примеч. перев.*



альбома, а она, вишь, забежала вперед! И забежала с целью объявить, что ни начало, ни середина, ни конец альбома никуда не годятся! Она сумела бы сделать куда лучше, если бы вообще умела. Днем — скажу я тебе — она гуляет на привязи по газетным столбцам, вечером же вырывается на волю, подбегает к дверям поэта и ржет, что поэт вот-вот Богу душу отдаст. Но поэт и не думает умирать, если только в нем действительно живая душа. Мертвая лошадь почти всегда очень жалкое существо, которое не может даже разобраться в собственном «я» и добывает себе хлеб насущный только беганием да ржанием. Я уверен, что ей наш альбом совсем не по вкусу, но из этого все-таки еще не следует, что он не стоит хотя бы бумаги, из которой шит!

Так вот тебе первая страница альбома — афишка.

Дело было как раз в тот последний вечер, когда еще горели старые фонари. Город только что обзавелся новыми газовыми, и они сияли так, что старых почти и не видно было.

— Я как раз бродил в этот вечер по улицам! — рассказывал крестный. — Люди разгуливали взад и вперед, сравнивая новое и старое освещение. Народу было много, и вдвое больше ног, чем голов. Ночные сторожа ходили, повесив головы, раздумывая о том, скоро ли и их упразднят, как старые фонари. А те вспоминали далекое прошлое — о будущем они думать не смели. И чего-чего только ни вспоминалось им, какие тихие вечера, темные ночи!.. Я стоял, опершись о фонарный столб; фитиль в фонаре трещал и шипел; я вслушался в его речь. Послушай и ты!

«Мы делали, что могли! Мы отслужили своему времени, светили людям на радость и на горе. Много важных событий мы пережили. Мы служили, так сказать, ночными глазами Копенгагена. Пусть же теперь нас сменяют новые светила. Но сколько лет им придется светить и что освещать — скажет лишь время. Правда, они светят поярче нас, стариков, но это и немудрено! У газовых фонарей столько связей, они сильны взаимной поддержкой! От них во все стороны, во все концы идут трубы, по которым к ним притекают силы из города и из-за города! А мы-то, старые фонари, обходимся собственными средствами, не прибегаем за помощью к семейным связям. Мы и наши предки светили Копенгагену с незапамятных времен. А вот теперь пришел нашему горению последний вечер, и мы стоим, так сказать, во второй шеренге, вы заслоняете нас собою, яркие товарищи! Но мы не станем хмуриться или завидовать, нет! Мы весело и добродушно уступим вам свой пост, как старые часовые молодым драбантам, одетым в более блестящий мундир, нежели их. Хотите, мы расскажем вам, что пережил и перевидел наш род, начиная с нашего прапрапрадедушки-фонаря? Расскажем вам

всю историю Копенгагена и пожелаем, чтобы вы и ваши потомки до последнего газового фонаря пережили столько же, могли бы поведать о стольких же важных событиях, как мы, когда вы, в свою очередь, будете отставлены от должности. А это рано или поздно случится! Вы должны к этому готовиться. Люди додумаются до еще более яркого освещения. Я даже слышал от одного прохожего студента, что уже поговаривают о том, как бы заставить гореть воду морскую!»

И фитиль в фонаре зашипел, словно в ворвань и в самом деле влили воды.

Крестный подумал, подумал и нашел, что старый фонарь блеснул прекрасной идеей — рассказать в этот последний вечер, когда Копенгаген перешел от ворвани к газу, историю города.

— А хорошими идеями надо пользоваться! — сказал крестный. — Я живо отправился домой и сделал для тебя этот альбом, но зашел в нем куда дальше, чем могли фонари. Вот тебе альбом, вот и история:

*«Жизнь и приключения Копенгагена»*

Начинается она непроглядным мраком — черной страницей; это времена доисторические.

— Теперь перевернем страницу! Видишь картинку? Дикая морская пучина; над ней проносится северо-восточный ветер. Он гонит тяжелые льдины; на них плывут только огромные каменные глыбы, оторвавшиеся от скал Норвегии. Ветер гонит льдины; он хочет показать германским горам образчики северных скал. Ледяная флотилия уже в Зунде, у берегов Зеландии, где ныне расположен Копенгаген, но тогда о нем еще и помину не было. Под водой шли обширные мели; на одну-то из них и сели несколько льдин с каменными глыбами. Застряла и вся ледяная флотилия; ветер никак не мог двинуть ее дальше, рассвирепел до последней степени и принялся проклинать эту «воровскую мель». Он клялся, что если только она когда-либо подымется над поверхностью морской, на ней поселятся воры и разбойники, воздвигнутся виселицы, колеса и дыбы.

Но в то время как он клялся и бранился, выглянуло солнышко, а на его лучах качались светлые, кроткие духи, дети света. Они закружились над льдинами воздушным хороводом, те растаяли, и каменные глыбы погрузились на дно.

«Ах вы, солнечные козявки! — зашумел ветер. — Так-то вы! Это по-товарищески, по-родственному? Припомню же я вам это и отплачу! Проклинаю вас!»

«А мы благословляем! — запели дети света. — Благословляем эту мель! Она будет расти, мы станем охранять ее. На ней воцарятся истина, добро и красота!»

«Фью! Мелите чепуху!» — просвистал ветер.

— Вот об этом-то фонаре не могли рассказать тебе! — заметил крестный. — А я могу, для истории же Копенгагена эти обстоятельства имеют важное значение.

— Теперь перевернем страницу! — продолжал крестный. — Прошли годы; мель высунулась из воды. Взгляни на картинку. На первый же показавшийся из воды камень уселась морская ласточка. Прошли еще годы. Море выбрасывало на мель мертвую рыбу и сухие водоросли; все это гнило, разлагалось и удобряло почву. Скоро на ней появились разные сорта трав и злаков, и мель превратилась в зеленый остров. На него стали высаживаться для единоборств викинги — пролив между островом и Зеландией представлял удобную стоянку для кораблей.

Вот зажгли первую плошку с ворванью; над нею, пожалуй, рыбаки жарили рыбу, а ее здесь было вдоволь. Сельди шли через Зунд такими стаями, что сквозь них не пробиться было лодке. Под водой, казалось, вспыхивали зарницы, зажигались снопы северного сияния! Обилен был рыбой Зунд, и по берегам Зеландии быстро вырастали рыбацьи поселки. Стены домов были бревенчатые, а кровли крыты древесной корой; в лесу для построек недостатка тут не было. В гавань заходили корабли. На колеблющихся снастях покачивался фонарь с ворванью. А северо-восточный ветер шумел и гудел: «У-у-у!» Если же мерцал огонек на острове, то это был воровской огонек. При свете его обделывали свои дела воры и контрабандисты.

«Сбудется, сбудется по-моему! — шумел ветер. — Скоро тут вырастет дерево, с которого я буду стряхивать плоды!»

— Вот оно, это дерево! — прибавил крестный. — Видишь виселицы на Воровском острове? На ней висят разбойники и грабители, точь-в-точь как висели тогда. Ветер постукивал остовы мертвецов один о другой, а месяц освещал их с такой же довольной миной, с какой освещает теперь какую-нибудь пирушку в лесу. Солнце тоже самодовольно светило на них и высушивало качающиеся остовы. Дети же света пели: «Знаем, знаем все! Здесь все-таки настанут лучшие времена! Пышно расцветут здесь истина, добро и красота!..»

«Чешите, чешите языки попусту!» — ревел ветер.

— Теперь опять перевернем страницу.

В Роскильде звонят в колокола; там живет епископ Абсалон. Он и в Библии начитан, и мечом владеет. Сильна его власть, силен он и волею. И вот он хочет защитить от разбойничьих набегов и грабежей

тружеников-рыбаков, возведших город, основавших на Зеландском берегу торговый рынок. Сначала он освящает Воровской остров, кропит его святой водой, затем там воздвигается по его приказу крепость. Каменщики и плотники работали в поте лица, а солнечные лучи целовали воздвигавшиеся красные кирпичные стены.

Наконец Акселев<sup>1</sup> дом готов:

С башнями высокими,  
Крыльцами широкими  
Замок стоит!  
Ветер шумит,  
Мечет и рвет,  
Грозно ревет!  
Силы лишь тратит,  
С замком не сладит!

А против замка гавань, купеческая гавань —

Терем царевны морской  
В роще зеленой, прохладной.

Из чужих земель являлись покупщики рыбы; на берегу начали строиться лавки и дома с окнами, затянутыми пузырем вместо стекла — стекло было дорого. Вот уж выстроился и склад для товаров, большое здание с кровлей «шипцом», а близ него подъемный ворот. Видишь, по лавкам сидят старые приказчики? Они не смеют жениться! Торгуют же они инбирем и перцем — вот тебе и «перечные молодцы!»<sup>2</sup>.

Северо-восточный ветер проносится над улицами и переулками, поднимает пыль, срывает соломенные крыши. По улицам расхаживают коровы и поросята.

«Разрушу, уничтожу! — ревет ветер. — Буду свистать вокруг домов и Акселева дома! Я не ошибся! Люди уже зовут этот дом Замок пыток на Воровском острове!»

И крестный показал мне картинку, которую сам нарисовал. Замок был обнесен высокой стеной, а та частоколом, и на каждом коле скалила зубы голова казненного пирата.

— Все это так и было на самом деле! — сказал крестный. — И об этом стоит знать да поразмыслить!

Сидит раз епископ Абсалон в купальне и слышит сквозь тонкую перегородку, что в гавань вошел воровской корабль. Живо выскочил он из купальни, кинулся в свою лодку, затрубил в рог... Люди сбежались, вслед разбойникам полетели стрелы... Те гребли изо всех сил, стрелы впивались им в руки, но вынимать их было некогда. Епископ Абсалон переловил всех, со всех велел снять головы и воткнуть их на колья

<sup>1</sup> Датское имя епископа Абсалона. — *Примеч. перев.*

<sup>2</sup> См. прим., т. I, стр. 502. — *Примеч. перев.*

вокруг замка. Северо-восточный ветер надул щеки и продолжал реветь: «Тут я растянусь на отдых, буду любоваться на это зрелище!»

Но отдыхал-то он часы, ревел же по суткам, и — годы шли.

— На башню замка восходит сторож и озирается во все стороны: на север, на юг, на восток и запад. Вот видишь картинку! — сказал крестный. — Ты видишь сторожа, а что видит он, я расскажу тебе.

От самых стен Замка пыток вплоть до Кьёгской бухты расстилается открытое море. Широкий путь кораблям, плывущим мимо берегов Зеландии! Напротив равнин Серритслевской и Сольбьергской, где расположены большие поселки, вырастает новый город с домами наполовину из дерева, наполовину из камня. Образуются особые кварталы башмачников, кожевников, торговцев пряностями, пивом. В городе есть рынок и цеховое управление, а на самом берегу, где прежде был остров, возвышается великолепная церковь св. Николая, с башнями и вызолоченным шпиром. Как она отражается в прозрачной воде! Неподалеку же от нее возвышается церковь Богоматери, где идут обедни, курится ладан, теплятся восковые свечи. Купеческая гавань стала резиденцией Роскильдского епископа.

В Акселевом доме живет епископ Эрландсен. В кухне шипит, в горнищах льется мед и кларет, раздаются звуки скрипок и барабанов, пылают свечи и лампы; замок весь залит огнями, светится, словно фонарь для всей страны и государства. Ветер дует на башни и стены, но их не сорвешь — стоят крепко. Дует он и на восточное укрепление города — старый деревянный забор. Но и он постоит за себя!

По ту сторону забора стоит король Дании Христофор I. Бунтовщики разбили его у Скульскера, и он ищет теперь убежища в епископском городе.

А ветер свистит, повторяя ответ епископа: «Оставайся-ка там! Город закрыт для тебя!»

Беспокойные настали времена, тяжелые выпали дни. Каждый хочет быть сам себе господином. На башне замка развевается голштинское знамя. Жалобы, стенания, мрак ужаса окутали страну; междоусобица, черная смерть царят в ней, но вот над нею опять занялась заря — на престол взошел Вальдемар Аттердаг<sup>1</sup>.

Епископский город стал королевской резиденцией. Есть в нем и дома с кровлями «щипцом», и узкие улицы, и сторожа, и ратуша, и даже каменная виселица у западных ворот. На ней вешают только городских жителей, пришельцы не удостоиваются такой чести. Только граждане копенгагенские могут болтаться так высоко в воздухе и любоваться городом Кьёге и кьёгскими курами<sup>2</sup>!

<sup>1</sup> «Аттердаг» означает, собственно, «снова день». — *Примеч. перев.*

<sup>2</sup> См. примеч., т. I, стр. 317. — *Примеч. перев.*

«Вот так виселица! — шумит северо-восточный ветер. — Красота и впрямь здесь процветает!» И он принялся свистеть и шуметь еще пуще.

Из Германии повеяло обидой и горем.

— Ганзейцы поднялись на Данию! — рассказывал крестный. — Они покинули свои склады и прилавки! Богатые купцы из Ростка, Любека и Бремена, стащив золотого гуся<sup>1</sup> с Вальдемаровой башни, все-таки не утомонились! Им хочется распоряжаться всем. А они и так уж распоряжались в городе датского короля больше самого короля! И вот они явились на вооруженных кораблях; датчане были захвачены врасплох. Да король Эрик и не намеревался драться с немецкими родичами — их было так много, они были так сильны, — а взял да бежал со всем своим двором через западные ворота города в Сорё, в густую зелень лесов, к тихим озерам. Громко зазвучали там любовные песни, зазвенели кубки!..

Но в Копенгагене билось еще одно царственное сердце, осталась еще одна царственная душа. Видишь на картинке нежную, изящную молодую женщину с голубыми глазами и золотисто-льняными волосами? Это королева Дании Филиппа, английская принцесса. Она осталась в смятенном городе, где на узких улицах и в переулках, возле сараев и заколоченных лавочек, на приставных лестницах, без толку суетились люди. Королева была женщиной и сердцем и душой. Она созвала граждан и крестьян, ободрила их, организовала защиту города. Корабли вооружились, в крепостях засели воины, загремели орудия, клубы дыма повисли в воздухе... Люди воспрянули духом. И Господь не покинул Дании! Солнышко светит во всех сердцах, все очи светятся радостью: победа, победа!

Благословенна будь ты, королева Филиппа!

Ее благословляют и в хижинах, благословляют и в хоромаш, и в королевском дворце, где она заботится о раненых и больных. Я вырезал венок и окружил им эту картинку! — прибавил крестный. — Благословенна будь, королева Филиппа!

— Теперь мы перескочим через многие годы! — продолжал крестный. — Перескочит с нами и Копенгаген. Король Христиан I побывал в Риме, получил благословение папы, и на всем протяжении долгого пути народ встречал его ликованием и почестями. Вернувшись на родину, он возводит здание из обожженного кирпича — питомник науки на латинском языке. Теперь и дети бедняков земледельцев и ремесленников могут выйти в люди, одеться в длинный черный сту-

<sup>1</sup> Флюгер с Вальдемаровой башни (близ города Вординборга) — золотой гусь — был, по преданию, украден ганзейцами, видевшими в нем насмешку над ними: «Gans — Хансе». — *Примеч. перев.*



денческий плащ и пробиваться подачками граждан, распевая перед их дверями.

А возле дома науки, где все идет по-латыни, стоит маленький домик; в нем господствуют датский язык, датские обычаи.

К завтраку там подают хлеб, сваренный в пиве, обедают в десять часов утра. Солнышко светит через маленькие окошечки на буфет и книжный шкаф. В шкафу лежат драгоценные рукописи: «Розовый венок» и «Божественные комедии» Миккельса, «Лечебник» Генрика Гарпестренга и «Рифмованная хроника Дании» отца Нильса из Сорё. Эти рукописи должен знать каждый датчанин, говорит хозяин дома, и благодаря ему их узнают. Он первый датский типографщик, голландец Готфред ван Гемен. Он «чернокнижник», печатает черной краской книги, занимается благословенным искусством книгопечатания.

Книги расходятся, попадают и во дворец короля, и в дома граждан. Старинные поговорки и песни возрождаются к вечной жизни. Птица народной песни поет о том, чего не смеет высказать в горе или радости человек, поет хоть и иносказательно, но все-таки понятно для всех. Она летает где хочет, залетает и в комнату простого горожанина, и в рыцарский замок, сидит и клеочет соколом на руке благородной девицы, проскальзывает и пискливой мышкой в щелочку к закованному в цепи крестьянину.

«Все чепуха!» — ревет свирепый северо-восточный ветер.

«Весна настала! — поют солнечные лучи. — Вон как всходят зеленые ростки!»

— Перевернем еще страницу! — сказал крестный. — Как сияет Копенгаген! Какое готовится торжество! Взгляни на благородных рыцарей в доспехах, на знатных дам в шелку и золоте! Король Ганс выдает свою дочь Елисавету за курфюрста Бранденбургского. Как она молода, как сияет радостью! Она ступает по бархату, будущее ей улыбается, ее ждет семейное счастье! Рядом с нею брат ее, принц Христиерн, смуглый, горячий юноша с мрачным взглядом. Но он дорог народу; он знает, как подавлен народ, и будущее бедняков заполонило все его мысли.

Один Бог управляет счастьем!

— Опять перевернем страницу! — продолжал крестный. — Резкий ветер поет об острых мечах, о мрачных тяжелых временах.

Холодный апрельский день. Зачем собираются толпы народа перед дворцом, возле старой таможни? У берега стоит под парусами и с поднятым флагом королевское судно. В окнах, на крышах — всюду народ. На лицах у всех печаль, горе, боязливое ожидание. Все взоры обращены на дворец, где прежде в раззолоченных покоях шли танцы с факелами; теперь там тихо, пусто. Все смотрят на выступ с окном, из которого

часто и подолгу смотрел король Христиерн через дворцовый мост в маленький переулок, где жила его Голубка, голландская девушка, вывезенная им из Бергена. Теперь ставни заперты наглухо. И вот ворота открываются, подъемный мост опускают, из дворца выходит король Христиерн в сопровождении верной супруги; она не захотела покинуть в жестокой нужде своего царственного мужа и повелителя.

Огонь кипел в его жилах, горел в его мозгу. Он хотел порвать со стариной, разбить оковы крестьянина, оказать покровительство горожанину и подрезать крылья «хищным ястребам», но их было слишком много! И вот он покидает свою родину, свое государство, отправляется за помощью к друзьям и родичам. Супруга его и верные слуги следуют за ним на чужбину. Тяжелый час разлуки выжал у всех из глаз слезы.

Время сложило о нем песнь; в ней сливаются три хора. Слушай, что поют дворяне; их слова и записаны и напечатаны:

«Горе тебе, Христиерн Лютый! Кровь, пролитая тобою в Стокгольме, вопиет против тебя! Горе тебе! Будь проклят!»

Хор монахов тоже осуждает его: «Отринут ты Богом и нами! Ты призвал сюда ересь Лютера, отдал ей во власть церкви и кафедры, предоставил слово дьяволу!.. Горе тебе, Христиерн Лютый!»

Но крестьяне и горожане горько плачут: «Христиерн, любезный народу! *Нельзя продавать крестьян как скот или обменивать на охотничьих собак!*» Закон этот послужит тебе хвалебным гимном! Но слова бедняков разносятся по ветру, что мякина.

Корабль проплывает мимо замка, горожане бегут на вал взглянуть еще раз на уплывающее королевское судно.

Долго тянется время в нужде, и не ищи тогда опоры в друзьях и родичах!

Дядя короля, Фредерик Кильский, не прочь стать королем Дании.

И вот он уже король и подступает к Копенгагену. Видишь эту картинку с надписью «верный Копенгаген»? Над ним сгустились черные облака, образующие зловещие фигуры и картины. Рассмотрю каждую! Они говорят о тяжелых горьких временах, память о которых еще жива в народных песнях и сказаниях.

А где же скитается король Христиерн, бесприютная птица? Об этом поют птицы небесные: они летают далеко за море, в чужие страны. Ранней весной вернулся с юга аист; он пролетал над немецкой землей и видел там вот что:

«По степи, поросшей вереском, ехал беглец, король Христиерн; на пути встретила ему жалкая повозка в одну лошадь. В повозке сидела женщина, сестра короля, маркграфиня Бранденбургская. Муж прогнал ее от себя за ее верность учению Лютера. Царственные изгнанники встре-

тились в мрачной степи! Долго тянется время в нужде, и не ищи тогда опоры в друзьях или родичах!»

Ласточка прилетела из Сендерборгского замка и жалобно запела: «Короля Христиерна обманули! Он сидит теперь в мрачной башне. Тяжелые шаги его оставляют следы на каменном полу, пальцы проводят борозду в твердом мраморе стола».

Язык так словами не выскажет горе,  
Как высказал мрамор немой чертой!

Морской орел прилетел с вольного моря; по морю гуляет корабль, на нем носится отважный фионец Сёрен Норбю<sup>2</sup>. Счастье покровительствует ему, но счастье, что ветер да погода, — переменчиво!

В Ютландии и Фионии каркают вороны и вороны: «Нам везет! Славно! Всюду падаль и трупы людей!»

Беспокойные, тяжелые времена! Идет «графская распря». Крестьянин хватается за дубину, купец за нож. «Перебьем всех волков, не оставим ни единого волчонка!» — кричат они. Над пылающими городами поднимаются облака дыма.

Король Христиерн заточен в Сендерборгском замке. Никогда не выйти ему на волю, не увидеть Копенгагена и его тяжелой беды. На «Северном выгоне» стоит сын Фредерика Христиан III. В городе — смятение, голод и чума.

Прислонясь спиной к церковной стене, сидит исхудалая женщина в лохмотьях. Она уже умерла, но двое ребятишек на ее коленях еще живы и сосут кровь из груди мертвой.

Мужество истощилось, сопротивление сломлено. О, «верный Копенгаген!»

Чу! Раздаются звуки фанфар и труб, грохот барабанов!

В роскошных одеждах из шелка и бархата, с развевающимися перьями на шляпах, верхом на конях в золотых уборах, едут благородные дворяне на Старую площадь. Едут они на обычную карусель или турнир? Горожане, также в лучших своих нарядах, стекаются туда же. Какое зрелище манит их? Воздвигнут ли на площади костер для сожжения папистских образов, или опять стоит там палач, как у того костра, на котором сожгли Слагхёка<sup>3</sup>? Нет, король, господин страны, стал лютеранином, и об этом-то хотят оповестить датский народ.

<sup>1</sup> Из стихотворения Ф. Паллудана Мюллера. — *Примеч. перев.*

<sup>2</sup> Один из приверженцев Христиерна II. — *Примеч. перев.*

<sup>3</sup> Дидрих Слагхёх, иноземец, врач и доктор канонического права, сумевший сделаться любимцем Христиана II и участвовавший во всех жестокостях последнего. После низвержения Христиана II казнен в 1522 г. — *Примеч. перев.*

Знатные дамы и благородные девицы в платьях с высокими воротниками, в шапочках, унизанных жемчугом, сидят у открытых окон и смотрят на торжество. Близ королевского трона, на разостланном сукне, под навесом из сукна, восседают, в старинных одеяниях, члены Государственного совета. Король молчит. Воля его, утвержденная советом и выраженная на датском языке, читается вслух. Жестокие упреки приходится выслушивать гражданам и крестьянам за их сопротивление высшему словию. Граждан унижают, крестьян отдают в рабство. Затем производится суд и над епископами страны. Могууществу их конец. Все церковные и монастырские богатства и угодья отходят к королю и дворянству.

С одной стороны высокомерие, с другой — ненависть, с одной — безумная роскошь, с другой — стоны нищеты,

Да, жалобно бедная птица пищит,  
Богатая ж гордо крылами шумит!

Смутное, переходное время! Тучи чередуются с ясным солнышком. Лучи его светят во Двор науки, в жилище студентов и озаряют имена, которые продолжают сиять и поныне. Ганс Таусен, сын бедного фионского кузнеца, стал «датским Лютером, действовал словом, как мечом, и завоевал сердце датского народа». Сияющими латинскими буквами написано на фоне времен и имя Петра Палладиуса — по-датски же Петра Пладе — епископа Роскильдского, тоже сына бедного ютландского кузнеца. Из дворянских имен ярким блеском светится имя Ганса Фриса, государственного канцлера. Он сажает бедняков-студентов за свой стол, заботится и о них, и о школьниках. Но громче всего раздается «ура» в честь самого короля Христиана, покровителя наук и искусств, и оно не умолкнет, пока в Копенгагене останется хоть один студент.

Да, сквозь темные тучи прорывались в это смутное время и лучи солнца!

— Перевернем страницу.

Что за песнь несется с Большого Бельта, омывающего берега острова Самс? Из моря подымается морская царевна с зелеными, как водоросли, волосами и предсказывает крестьянину рождение принца, который станет могучим, великим государем!

Родился он в чистом поле под цветущим терновым кустом. Теперь имя его цветет в песнях и преданиях, во всех усадьбах и замках. При нем выросла биржа с башней и шпигелем, воздвигся замок Розенбург и глянул вдаль через городской вал, у студентов завелся свой дом, а против него вознесла к небу свою главу Круглая башня, колонна Урании. Она смотрит на остров Вееен, где возвышается замок Ураниенбург с золоче-

ными куполами. Как они блестят при свете месяца, когда морские царевны поют о хозяине замка, которого посещали короли и величайшие люди века, об избраннике духа, о высокорожденном Тихо Браге. Он поднял имя Дании высоко-высоко, к звездному небу, чтобы оно сияло оттуда всем просвещенным странам мира, а Дания за это оттолкнула его прочь. Он же утешал себя в изгнании:

Не то же ли небо повсюду?  
Чего же желать мне еще!<sup>1</sup>

И песня его обрела бессмертие народной песни, как и пророчество морской царевны о Христиане IV.

— А вот на эту страницу гляди в оба! — сказал крестный. — Тут картинка идет за картинкой, как в богатырской песне строфа за строфою. Веселое начало у этой песни, да печальный конец.

В королевском дворце резвится девочка. Как она мила! Она часто сидит у короля на коленях. Это любимая дочка Христиана IV Элеонора-Христина. Ее воспитывают в правилах строгой нравственности и женской добродетели, и она уже обручена с знатнейшим представителем дворянства Корфицем Ульфельдом<sup>2</sup>. Но она еще дитя, и строгая гофмейстерина наказывает ее розгами. Элеонора жалуется своему милому, и она права. Как она умна, воспитанна, образованна; она знает языки латинский и греческий, поет по-итальянски, играет на лютне, здраво судит и о папе, и о Лютере.

Король Христиан покоится в усыпальнице Роскильдского собора. Королем — брат Элеоноры. В Копенгагенском дворце царят блеск и роскошь, красота и остроумие. Сама королева, София-Амалия Люнебургская, на первом плане. Кто искуснее ее правит лошадью? Кто поспорит с ней в величественной грации, в уме и красноречии?

«Элеонора-Христина Ульфельд! — это сказал французский посланник да еще прибавил: — Она всех затмевает своей красотой и умом!»

По блестящему дворцовому паркету катятся репейные шишки зависти; они растут, цепляются, пробираются всюду, и к ним пристаёт оскорбительная насмешка: «Побочная дочь! Ее колесница должна останавливаться у дворцового моста; там, где королева проезжает в экипаже, простая женщина может пройти пешком!» Сплетни, выдумки и ложь крутятся в воздухе, словно хлопья снега в метель.

Глухой ночью Ульфельд берет свою жену за руку и выводит из дворца; ключи от городских ворот хранятся у него; за воротами ждут

<sup>1</sup> Из стихотворения И. Л. Гейберга.

<sup>2</sup> См. примеч., т. I, стр. 293.

их оседланные кони. И вот они мчатся вдоль берега, а затем отплывают в Швецию.

Перевернем страницу. Так же повернулось спиной к беглецам счастье!

Осень; дни короткие, ночи длинные, серо, сыро; ветер так и режет, так и шумит в вершинах деревьев, растущих на валу; листва засыпает опустевший двор Педера Оксе<sup>1</sup>, покинутый своими хозяевами. Шумит ветер и над Христиановой гаванью, и над домом Кая Люкке, обращенным в тюрьму. Сам Кай Люкке лишен чести и изгнан из пределов страны, герб его сломан, а изображение его повешено на высокой виселице. Так наказан он за свой непочтительный отзыв о чтимой страной королеве. Ветер воет в вышине и проносится над открытой площадью, где стоял дом бывшего государственного канцлера Ульфельда. Теперь от него остался лишь один камень. «Я пригнал его когда-то на льдине! — шумит ветер. — Камень сел на мель, ставшую впоследствии Воровским островом, проклятым мною. Потом камень попал во двор Ульфельда, где супруга его распевала и играла на лютне, читала по-гречески да по-латыни и гордо задирала голову! Теперь тут задирает голову один камень с надписью:

Изменнику Корфицу Ульфельду  
На вечный позор, поношение и посмеяние!

Но где же сама высокородная госпожа? «У-у-у!» — гудит ветер.

Она в Синей башне, что позади дворца; волны морские лижут осклизлые стены башни, и в ней уже много лет томится Элеонора-Христина. Печь в ее каморке дает больше дыма, нежели тепла; маленькое окошечко высоко, под самым потолком!

Вот как плохо обставлена теперь любимица Христиана IV, изнеженная девушка и гордая супруга! Воспоминание убирает ее закоптелые стены занавесями и коврами, уносит ее в золотую пору детства. Она видит перед собою ласковые черты отца, вспоминает блестящий свадебный пир, дни своего величия и дни печали в Голландии, в Англии и на острове Борнгольме.

Ничто не тяжело для любящей супруги!  
Поддержкой служит совесть ей и долг.

---

<sup>1</sup> Известный государственный деятель, министр финансов в царствование Христиана III; был изгнан и вернулся на родину лишь в царствование Фредерика II. — *Примеч. перев.*



Да, тогда ей ничто не казалось тяжелым — тогда с нею был он, теперь же она одна, навеки одна! Она даже не знает, где его могила, да и никто этого не знает.

Ее же вся вина была в любви к супругу!

И за эту вину ей пришлось сидеть в заточении годы, многие, долгие годы, в то время как за стенами тюрьмы кипела жизнь. Жизнь никогда не останавливается, но мы-то остановимся на этой картине и вспомним об Элеоноре-Христине словами песни:

Супругу данную она сдержала клятву  
Во всех превратностях судьбы!

— А вот эту картинку видишь? — спросил крестный. — Зима; мороз перебросил мост между Лоландом и Фионией, мост для короля шведского Карла Густава, и он стремится по нему, не останавливаясь. В стране грабеж, убийства, ужас и бедствия.

Шведы обложили Копенгаген. Мороз так и щиплет, метель, вьюга. Но народ верен своему королю, верен самому себе, и мужчины и женщины храбро выходят на битву. Мастеровые, лавочники, приказчики, студенты и магистры — все на валу, все готовы защищать родной город. Никто не боится каленых шведских ядер. Король Фредерик клянется умереть в родном гнезде. Вот он объезжает валы; с ним и королева. В рядах защитников — полный порядок: их воодушевляет мужество, любовь к родине. Пусть себе шведы облакаются в саваны, чтобы незаметно подобраться по белому снегу к городу и взять его приступом! На головы им летят бревна, камни, а женщины льют на них из котлов кипящую смолу и деготь.

В эту ночь король и горожане образовали единую несокрушимую силу, и — победа за ними! Колокола звонят, раздаются благодарственные гимны. Граждане копенгагенские, вы заслужили себе в эту войну рыцарские шпоры!

— А теперь что? Взгляни на картинку!

Супруга епископа Сване едет в закрытой колымаге; но так могут разъезжать лишь особы из высшего дворянства, и гордые дворянчики ломают колымагу. Жена епископа принуждена вернуться домой пешком.

И все? Нет, скоро сломят кое-что поважнее — дворянское высокомерие!

Бургомистр Ганс Нансен и епископ Сване, призывая имя Господне, протянули друг другу руки во имя общего дела. Умные и честные речи их раздаются в церквях и в домах горожан. И вот все подготовлено: гавань заперта, городские ворота тоже, бьют в набат. Власть во всей

ее полноте передается королю, тому, кто не покинул своего гнезда в час опасности! Да властвует он один, нераздельно, над всеми — и большими, и малыми!

Наступает эпоха самодержавия.

— Перевернем страницу.

Галло! Галлой! Галло! Плут в сторону, пусть поля зарастают вереском — для охоты лучше. Галло! Галлой! Чу! Раздаются звуки рогов, лай собак. Вон мчатся охотники, между ними сам король Христиан V. Как он молод, весел! Во дворце и в городе царит веселье. Покои освещены восковыми свечами, двор — факелами, а городские улицы — фонарями. Все блестит новизной! Пошло в ход все новое: новое дворянство, вызванное из Германии, новые титулы — графы да бароны — и немецкий язык.

И вдруг раздался чисто датский голос. Это голос епископа Кинго, сына ткача; он поет свои дивные псалмы.

А вот и еще сын простого горожанина, виноторговца, Гриффенфельд; мысли его засияли в законе; составленный им свод законов стал вечным золотым фоном для имени его государя! Сын горожанина становится первым человеком в стране, возводится в дворянство и... приобретает врагов. И вот палач заносит меч над головой Гриффенфельда. Тогда раздается голос помилования, и казнь заменяется пожизненным заточением. Канцлера ссылают на скалистый остров Мункгольм близ Троньема. «О, Мункгольм — Санкт-Елена Дании!»

А во дворце по-прежнему идут танцы, все блещет роскошью, играет музыка, носятся в танцах благородные кавалеры и дамы.

— Вот правление Фредерика IV.

Взгляни на гордые корабли с развевающимися флагами! Взгляни на взволнованное море! Оно может поведать тебе о великих подвигах, о славе Дании. Мы помним славные имена Сегестеда и Гюльденлеве! Помним и Витфельда, взорвавшего, ради спасения датского флота, себя и свой корабль с Данеброгом на воздух. Мы помним морские сражения и героя, бросившегося на защиту Дании с норвежских скал, — Петра Торденскиольда. Имя его гремит над бурным морем от берега до берега.

Блеснула молния сквозь тучи пыли,  
Вдымавшейся с напудренных голов,  
Раскаты грома слабых оглушили.  
Портнишка кинул свой убогий кров,  
Иглу, верстак и в море смело принял.

В нем викингов воскрес могучий дух,  
И на врагов, как Божий гром, он грянул!

А с берегов Гренландии струится благоухание, как из страны Вифлеемской; там распространяется свет евангельской истины миссионером Гансом Эгедом и его супругой.

Вот почему половина этой страницы золотая. Другая же половина ее траурная, пепельная с черными крапинками, словно прожжена искрами. Эта означает скорбь.

В Копенгагене чума. Улицы пусты, двери домов заколочены; почти на всех белые кресты — значит, там есть чумные больные; черный же крест означает, что все в доме вымерли.

Без колокольного звона, ночью, выносят тела умерших. Вместе с трупами подбирают с улиц и полумертвых. С грохотом разъезжают тяжелые телеги, битком набитые трупами. А из постоянных дворов несутся пьяные песни и дикие крики. Люди хотят забыться, в забытьи встретить свой конец. Всему на свете есть конец — конец и этой странице, но на ней изображено еще другое тяжкое испытание Копенгагена — пожар.

Король Фредерик IV еще царствует; волосы его поседел с годами. Он смотрит из окна дворца; на дворе бушует ветер; стоит поздняя осень.

В маленьком домике около западных ворот играет мячиком мальчуган. Мячик застрял на чердаке. Мальчуган берет зажженную сальную свечку и отправляется на чердак искать свой мячик. В домике вспыхивает пожар, горит и вся улица. Зарево разливается по небу. Пламя все растет! Пищи для огня довольно: сено, солома, сало, деготь, поленицы дров, заготовленных на зиму. Все объято пламенем. Плач, стоны, смятение. Старый король объезжает город, утешает, успокаивает, отдает приказания. Взрывают целые кварталы, чтобы остановить шествие пламени. Но вот загорается северная часть города, горят церкви: Св. Петра, Богоматери! Орган играет в последний раз: «Смилуйся над нами, Боже!»

Уцелели только Круглая башня да дворец; кругом же одни дымящиеся развалины. Но король Фредерик IV добр к народу и не оставляет его в беде: он утешает и кормит бедняков, он — друг бездомных!

Да будет благословен Фредерик IV!

— Взгляни теперь на эту страничку!

Взгляни на золоченую колесницу, окруженную слугами; впереди и сзади конвой вооруженных всадников. Она выезжает из дворцовых ворот. Вокруг дворца протянута железная цепь, чтобы народ не подходил к

<sup>1</sup> Стихотв. Карла Плууга.

дворцу слишком близко. Люди недворянского происхождения обязаны переходить дворцовую площадь с непокрытыми головами. Поэтому на ней редко увидишь кого-нибудь: все избегают это место. Но вот проходит один, потупив взор и держа шляпу в руке. Это как раз тот, чье имя мы провозгласим громко: Людвиг Гольберг.

В нем гений спорит с остроумием, но датский театр, дворец его славы, закрыт теперь, словно приют соблазна.

Всякое веселье, радость похоронены; танцы, пение, музыка строго воспрещены. Это время господства мрачного ханжества <sup>1</sup>.

Но вот в управление страной вступил «датский принц», как звала его в детстве мать. Опять проглянуло солнышко, запели птички! На престоле Фредерик VI! Цепи с дворцовой площади убираются прочь, датский театр снова открывает двери смеху, веселью и здоровому юмору. Крестьяне вновь встречают лето веселыми играми. Унылый пост сменился веселым розговением. Искусство цветет и приносит плоды — звуки и краски. Послушай музыку Гретри, взгляни на игру Лондемана! И королева Дании любит все датское. Да благословит тебя Бог, прелестная, кроткая Луиза Английская! Дети солнца воспевают хором датских королей: Филиппу, Елизавету, Луизу!

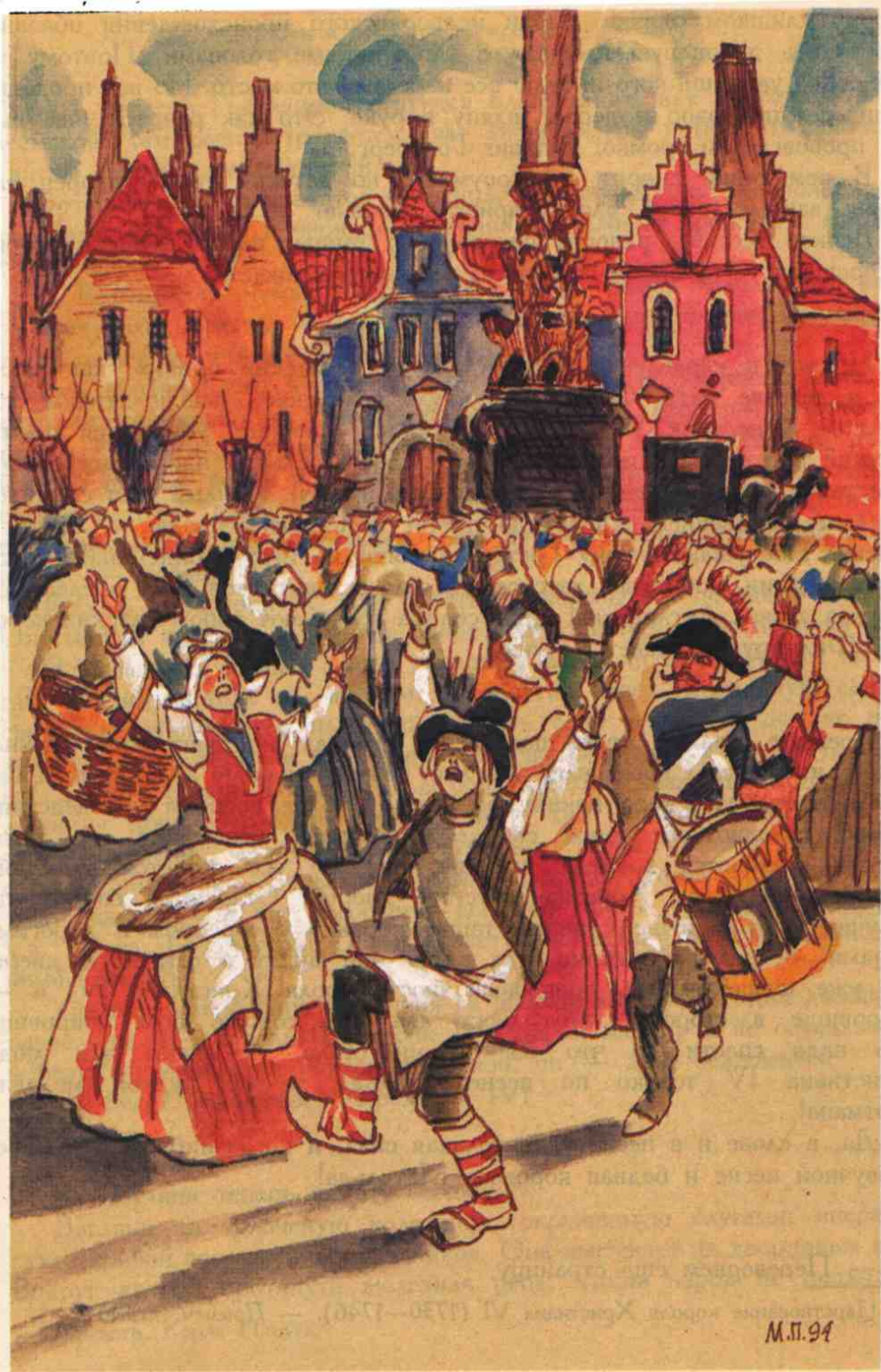
Бренные останки людей покоятся в склепах, но души живут вечно, живут и имена. Снова шлет Англия невесту королю — юную принцессу Матильду, скоро покинутую всеми! Но ее воспоют впоследствии поэты! Воспоют ее юное сердце и горькие испытания. А песня могуча: сменяются времена, народы, она же все остается властной. Взгляни на пожар Христианборгского дворца! Стараются спасти что получше. Вот рабочие с верфи тащат корзину с серебром и дорогими вещами — целое богатство. Но вдруг они видят в открытую дверь, где уже пышет пламя, бронзовый бюст короля Христиана IV, и — сокровище в сторону! Этот бюст для них дороже всех сокровищ! Его надо спасти во что бы то ни стало. А знают эти люди Христиана IV только по песне Эвальда да по чудной мелодии Гартмана!

Да, в слове и в песне удивительная сила, и когда-нибудь да оживет в звучной песне и бедная королева Матильда!

— Перевернем еще страницу.

<sup>1</sup> Царствование короля Христиана VI (1730—1746). — *Примеч. перев.*





На площади Ульфельда стоял позорный камень; где еще в свете возвышался подобный? У западных ворот воздвигли колонну; много ли в свете таких?

Солнечные лучи целовали каменные глыбы, послужившие основанием Колонне Свободы. Колокольный звон, всюду флаги, народ ликует и славит кронпринца Фредерика<sup>1</sup>. У старого и у малого в сердцах и на языке имена Бернсторфа, Ревентлова, Кольбьернсена<sup>2</sup>. Сияющие взоры, благодарные сердца останавливаются на благословенной надписи на колонне:

«Король повелел разбить оковы крестьянина; издал новый закон об отношениях между помещиком и свободным крестьянином, дабы последний мог стать на ноги, сделаться просвещенным, трудолюбивым, добрым, честным и счастливым гражданином!»

Какой счастливый день! Какое лето в городе!

Дети солнца поют: «Добро растет! Красота растет! Скоро уберут позорный камень с площади Ульфельда, а Колонна Свободы все будет стоять, вечно озаряемая солнцем, благословляемая Богом, королем и народом!»

Дорога широкая к нам пролегает  
И света конца достигает.

Дорога эта — открытое море. Она открыта и для друга, и для недруга. Недруг и явился. Подплывает могучий английский флот. Великая держава надвигается на маленькое государство. Жаркое вспыхнуло сражение, но датчане дрались мужественно, возбуждая удивление врагов и вдохновляя скальдов. Этот день вспоминается и поныне: Дания до сих пор чтит день славной битвы на рейде — 2 апреля.

Прошли годы. На Зунде опять показывается английский флот. Идет ли он на Россию или на Данию? Никто не знает этого, не знает никто даже на самых кораблях.

Сохранилось предание, что в то утро, когда на главном корабле был вскрыт секретный пакет, содержащий приказ напасть врасплох на Копенгаген и уничтожить весь датский флот, один молодой капитан, сын Альбиона, обратился к своему начальнику с достопамятными словами: «Я клялся до последнего вздоха бороться за честь и знамя Англии, но лишь в честном бою, а не предательски!»

И сказав это, он бросился за борт!

<sup>1</sup> Впоследствии король Фредерик VI. — *Примеч. перев.*

<sup>2</sup> Выдающиеся государственные деятели Дании. — *Примеч. перев.*



Враг подошел к Копенгагену; ярким заревом загорелось небо, и мы лишились нашего флота, но не мужества и веры в Бога. Он смиряет, он же и возносит! Раны заживают, как раны Эйнгериов<sup>1</sup>. История Копенгагена богата утешительными примерами.

Скоро снова заблестело солнце в восставшем из пепла городе, на богатых жатвою полях и на творениях ума человеческого. Настал благодатный летний день мира, когда поэзия возродилась в чудных, ярких образах Эленшлегера!

И в области науки сделана находка, куда драгоценнее, нежели древний золотой рог: найден золотой «мост мысли». Ганс Христиан Эрстед нарисовал на нем свое имя.

А вот взгляни сюда! Близ дворца и собора воздвигается здание, на постройку которого жертвуют свою лепту даже бедняки.

Ты помнишь старые каменные глыбы, изображенные в начале альбома? Их пригнал из Норвегии на льдинах северо-восточный ветер. Теперь они поднялись с песчаного дна по повелению Торвальдсена. Они служат фундаментом здания, в котором красуются мраморные изваяния великого мастера.

Вспомни, что я показывал и рассказывал тебе! Песчаная мель поднялась с морского дна, стала защитой для гавани, на ней воздвигся Акселев дом, дворец епископа, потом дворец короля, а ныне на нем воздвигся и храм красоты. Проклятие ветра развеяно по воздуху, а радостное пророчество детей солнца сбылось.

Много бурь пронеслось над Копенгагеном, пронесется, может быть, и еще. Но победа все же останется за добром, истиной и красотой.

Альбому тут конец, но история Копенгагена далеко не кончена. Кто знает, до чего доживешь со временем ты сам?

Часто над городом скоплялись черные тучи, бушевала буря, но свет солнца затмевался лишь на время. Бог же еще сильнее солнышка! Господь правит кое-чем и побольше Копенгагена!

Вот что сказал крестный, вручая мне альбом. Глаза его сияли, он был так уверен в том, что говорил. А я взял книгу с такой же радостью, гордостью и осторожностью, с какими взял впервые на руки свою новорожденную сестрицу.

Крестный же прибавил:

— Ты можешь показывать свой альбом кому хочешь, можешь даже сказать, что я сам сделал, вырезал и нарисовал все. Но пусть также знают все, кто подал мне мысль. Ты знаешь это и расскажи! Мысль принадлежит старым ворванным фонарям. Они вздумали в последний

<sup>1</sup> Любимые сыны Одина, развлекающиеся в Валгалле единоборствами, в которых ранят и даже убивают друг друга, но потом опять воскресают. — *Примеч. перев.*

вечер своей службы показать новым газовым фонарям, как в туманных картинах, все, что пережил Копенгаген с того вечера, когда в нем зажегся первый ворванный фонарь, и до того, когда в нем вспыхнули бок о бок ворванные и газовые фонари.

Можешь показывать книгу всем, кому хочешь, т. е. всем ласковым и доброжелательным людям; если же явится «мертвая лошадь» — сейчас закрой

*альбом крестного!*



## ТРЯПЬЕ

**П**еред бумажной фабрикой были свалены вороха тряпок, собранных отовсюду. У всякой тряпки была своя история, каждая держала свою речь, но нельзя же слушать всех зараз! Некоторые были здешние, другие заграничные. Одной датской тряпке случилось лежать рядом с норвежской; первая была мягкой датской, вторая — суровой норвежской закваски. И вот это-то и было самое забавное в них, с чем, наверно, согласится всякий благоразумный норвежец и датчанин.

Они узнали друг друга по языку, хотя датский и норвежский языки — по словам норвежской тряпки — так же различны, как французский и еврейский.

— Мы берем свой язык из недр народа в сыром, первобытном виде, а датчане создают себе искусственно-приторный, пошлый язык! — прибавила норвежская тряпка.

Разговор вели ведь тряпки, а тряпка так уж и есть тряпка, из какой бы страны ни была; значение они приобретают лишь в ворохах, как тряпье.

— Я дочь Норвегии! — продолжала первая. — И этим, я думаю, сказано довольно! Я крепка волокнами, как древние скалы старой Норвегии, страны свободной, конституционной, которая не уступит Америке! У меня волокна так и чешутся при одной мысли о том, кто я! И мысли мои звонко выливаются в гранитных словах!

— Но мы имеем литературу! — сказала датская тряпка. — Понимаете вы, что это значит?

— Понимаете? — повторила норвежская тряпка. — Ах ты, дочь изменной страны! Поднять, что ли, тебя на скалы и осветить северным сиянием, тряпка ты этакая! Когда лед тает от лучей норвежского солнца, к нам приходят датские суденышки с маслом да сыром — благородные товары, нечего сказать! — а вместо балласта привозят с собою и датскую литературу! Мы же в ней не нуждаемся! Не диво обойтись без выдохшегося пива там, где бьет свежий ключ! Наша литература, что твой родник, а не пробуравленный колодезь! И европейскою известностью

своею она обязана самой себе, а не широким газетным глоткам, не кумовству, не шлянью авторов за границу! В нас говорит «нутро», и датчанам пора привыкать к этому свободному голосу, да они и так уж цепляются в своих скандинавских симпатиях за нашу гордую скалистую страну, древнейшую кочку вселенной!

— Так не позволит себе говорить ни одна датская тряпка! — сказала представительница Дании. — Это не в нашем характере. Я хорошо знаю себя, а таковы, как я, и все наши датские тряпки. Все мы добродушны, скромны, мало верим в самих себя. Этим, конечно, много не возьмешь, но мне лично это все-таки больше по сердцу! Могу, однако, уверить вас, что я вполне сознаю свою добротность, но только не говорю о ней. В самохвальстве меня уж никто не обвинит! Я мягка, податлива, вынослива, независтлива, обо всех отзываюсь хорошо, хотя и мало кто этого заслуживает, но это уж их дело, а не мое! Мне-то что? Я только посмеиваюсь себе, как натура богато одаренная!

— Ах, замолчите! Меня просто тошнит от вашего мягкого, липкого, клейстерного языка! — сказала норвежка и перелетела по ветру в другой ворох.

Обе стали бумагой, и случай распорядился так, что норвежская тряпка стала листком бумаги, на котором один норвежец написал любовное письмо датчанке, а датская тряпка — бумагой, на которой датчанин написал оду в честь величавой красавицы — Норвегии.

И из тряпок может выйти что-нибудь путное, раз они выберутся из общей кучи да переродятся к лучшему, просветятся, — в этом вся суть.

Вот и вся история. Она довольно забавна и никого не задает, кроме тряпья.



## ВЭН И ГЛЭН

**Б**лиз Зеландского берега, напротив Гольстейнского замка, лежали когда-то два лесистых островка — Вэн и Глэн — с селами и поселками. Они и от твердого берега лежали недалеко, и друг от друга тоже.

Но вот один островок исчез. Ночью разразилась страшная буря, море поднялось так высоко, как и не запомнили старики; буря свирепела все больше и больше. Казалось, наступало светопредставление, разверзалась земля; колокола на колокольнях раскачивались и звонили сами собою.

В эту-то ночь остров Вэн и исчез в морской глубине, и следа от него не осталось. Но часто потом в летние тихие ночи, когда море ясно и прозрачно, рыбаки, выслеживавшие угрей при свете укрепленного на носу лодки фонаря, видели (особенно более зоркие) в прозрачной глубине остров Вэн, белую колокольню его церкви и высокие церковные стены.

И вот у жителей другого островка сложилось поверье, что «Вэн дожидается Глэна!» Рыбаки рассказывали, что видели исчезнувший остров, слышали даже звон его колоколов; но это им только чудилось. Это, верно, пели дикие лебеди, которые часто нежатся тут на водяной поверхности, их жалобное пение напоминает собой отдаленный колокольный звон.

Было время, когда многие старики из жителей Глэна хорошо помнили ту бурную ночь, помнили еще и то время, когда они детьми переезжали во время отлива узенький пролив, отделявший их остров от Вэна, как теперь переезжают пролив, отделяющий Зеландию от Глэна; вода ведь достигает только оси телеги.

«Вэн дожидается Глэна» — сложилось поверье, и все знали, что придет время, когда оно оправдается.

Немудрено, что многие мальчики и девочки часто думали в бурные ночи: «А вдруг сегодня ночью Вэн придет за Глэном!» В страхе принимались они читать «Отче наш», потом сладко засыпали, а на утро — Глэн со своими лесами, хлебными полями, приветливыми крестьянскими домиками, увитыми хмелем, оказывался на своем месте. В лесу распевали птички, резвились лани, и крот, как ни остро у него обоняние, не чуял еще запаха морской воды.

И все-таки дни острова сочтены; мы не можем сказать наверное, сколько именно времени осталось еще существовать ему, но тем не менее дни его сочтены — в одно прекрасное утро остров исчезнет.

Может быть, ты еще вчера только был на берегу и любовался на диких лебедей, нежившихся на воде между Зеландией и Глэном, смотрел, как скользила около лесистого берега лодка с распушенными парусами, сам переезжал на остров вброд — другой дороги ведь не было, — и лошади шлепали прямо по воде, которая плескалась о колеса.

Но вот ты уезжаешь оттуда, путешествуешь, быть может, по белу свету и возвращаешься на родину лишь через несколько лет. Глядишь — перед тобою огромный зеленый луг, окруженный лесом; перед нарядными крестьянскими домиками благоухают стога сена. Куда же ты попал? Гольштейнский замок по-прежнему блещет своими золочеными шпицами, но он уже не на самом берегу, а далеко от него! Ты идешь по лесу, по полю, на берег моря... Где же Глэн? Перед тобой нет никакого острова, одно открытое море! Неужели Вэн пришел за Глэном, как говорило поверье? Когда же разыгралась эта ночная буря, когда случилось такое землетрясение, что древний Гольштейнский замок передвинуло на много тысяч петушиных шагов в глубь страны?

Такой бурной ночи и не было; случилось все при свете солнца, днем. Человеческий ум устроил плотины, выкачал воду из пролива и соединил Глэн с твердой почвой. Пролив стал зеленым лугом, покрытым сочной травой, Глэн крепко прирос к Зеландии. Старый замок стоит на прежнем месте. Это не Вэн пришел за Глэном, а Зеландия притянула его к себе своими руками — плотинами, выкачала воду, разлучавшую ее с островом, и произнесла заклинание, соединившее их брачными узами. И остров принес с собою приданое — Зеландия обогатилась многими десятинами земли! Все это правда, об этом даже опубликовано в газетах. Так вот, поверье-то оправдалось — остров Глэн исчез.





## КТО ЖЕ СЧАСТЛИВЕЙШАЯ?

**К**акие чудные розы! — сказал солнечный луч. — И каждый бутон распустится и будет такой же чудной розой! Все они — мои детки! Мои поцелуи вызвали их к жизни!

— Нет, это мои детки! — сказала роса. — Я кропила их своими слезами!

— А мне так кажется, что они мои родные детки! — сказал розовый куст. — Вы же только крестные отец и мать, одарившие моих деточек кто чем мог.

— Мои прелестные детки! — сказали все трое в один голос и пожелали каждому цветку всякого счастья. Но только один из них мог оказаться самым счастливым из всех и один наименее счастливым.

Кто же именно?

— А вот я узнаю это! — сказал ветер. — Я летаю повсюду, проникаю в самые узкие щели, знаю, что делается и внутри и снаружи домов.

Каждая роза слышала, каждый бутон понял сказанное.

В сад пришла печальная мать в трауре и сорвала одну свежую, полураспустившуюся розу, которая показала ей прекраснейшей из всех. Мать принесла цветок в тихую безмолвную комнату, в которой несколько дней тому назад резвилась ее веселая жизнерадостная дочка. Теперь же девочка покоилась, словно спящее мраморное изваяние, в черном гробу. Мать поцеловала умершую, поцеловала и полураспустившуюся розу и положила ее на грудь девочки, как бы надеясь, что свежий цветок, овященный поцелуем матери, заставит снова забиться ее сердечко.

И роза так и расцвела вся, пышно развернула свои лепестки, колебавшиеся от радостной мысли: «Какой любовью озарился путь моей жизни! Я как будто стала человеческим ребенком — мать поцеловала меня и благословила в путь — в неведомую страну! И я отправлюсь туда, покоясь на груди умершей! Конечно, я счастливейшая из всех моих сестер!»

Потом пришла в сад старая полольщица гряд; она тоже залюбовалась красотой куста и глаз не могла оторвать от самой большой, вполне

распустившейся розы. Капля росы да один жаркий день еще, и — лепестки опадут! Вот как рассуждала женщина и нашла, что роза покрасовалась довольно — пора было извлечь из нее и пользу. И вот она сорвала цветок, завернула его в газетную бумагу и отнесла домой, чтобы набальзамировать солью вместе с другими розами и смешать с засушенными голубыми лавандами, — выйдет чудесная душистая смесь! Такой чести, как бальзамирование, удостоиваются только розы да короли!

— Мне выпал на долю высший почет! — сказала роза, которую сорвала полольщица. — Я — счастливейшая! Меня набальзамируют!

Затем явились двое молодых людей; один — художник, другой — поэт. Каждый сорвал себе по прекрасной розе.

Художник изобразил цветущую розу на холсте, так что она увидала себя как в зеркале.

— Таким образом, — сказал художник, — она будет жить многие годы, в продолжение которых успеют завясть и умереть миллионы и миллионы роз.

— Мне посчастливилось больше всех! — сказала роза. — Я достигла высшего счастья!

Поэт полюбовался на свою розу и написал о ней стихи, целую поэму, в которой высказал все, что прочел на ее лепестках. Вышла бессмертная поэма — «Альбом любви».

— Он обессмертил меня! — сказала роза. — Я счастливейшая!

Но среди этой массы прекрасных роз была одна, которая как-то заслонялась другими; по воле случая — может быть, и счастливого — у нее был изъян: она криво сидела на стебельке, лепестки ее были расположены не совсем симметрично, и из середины чашечки выглядывал маленький свернутый зеленый листок. Случаются подобные изъяны и у роз.

— Бедное дитя! — говорил ветер и целовал ее в щечку, а роза думала, что он приветствует, чествует ее. Она сама чувствовала, что сложена как-то иначе, нежели другие розы, что из чашечки ее выглядывает зеленый листок, но смотрела на это не как на изъян, а как на отличие. Вот на нее вспорхнул мотылек и поцеловал ее лепестки; это был жених, но она не стала удерживать его. Потом явился огромный кузнечик; он уселся на другую розу и принялся влюбленно потирать ножки — это признак влюбленности у кузнечиков. Роза, на которой он сидел, не поняла этого; зато поняла роза с изъяном — свернутым зеленым листком; на нее-то как раз и уставился кузнечик, а глаза его так и говорили: «Съел бы я тебя от пущей любви!» А уж известно, дальше этого никакая любовь не может идти: один исчезает в другом! Но роза не имела ни малейшего желания исчезнуть в этом прыгуне.

Звездной ночью запел соловей.

— Это он для меня поет! — сказала роза с изъясном, или с отличием. — И за что это меня во всем постоянно отличают от других сестер! Почему именно мне выпало на долю это отличие, благодаря которому я стала счастливейшею?

Тут в сад зашли два господина; они курили сигары и вели разговор о розах и табаке: правда ли, что розы не переносят табачного дыма — зеленеют? Надо было произвести опыт. Но они пожалели красивейшие розы и взяли для опыта розу с изъясном.

— Вот новое отличие! — сказала она. — Я уж чересчур счастлива! Я счастливейшая из счастливейших!

И она вся позеленела от этого сознания и табачного дыма.

Одна из роз, едва начавшая распускаться и, может быть, самая прекрасная на всем кусте, заняла почетное место в искусно подобранном садовником букете. Букет отнесли важному молодому господину, владельцу дома и сада, и тот повез его с собою в карете. Роза сидела между другими цветами и зеленью, словно царица красоты. И вот она очутилась на блестящем празднике. Повсюду сидели разряженные мужчины и дамы, залитые светом тысяч ламп. Музыка гремела, театр утопал в море света. При восторженных криках зрителей на сцену выпорхнула юная танцовщица — любимица публики, и к ногам ее посыпался целый дождь цветов. Упал к ее ногам и букет с розой, сиявшей в его середине, как драгоценный камень. Роза чувствовала всю честь, все безмерное счастье, выпавшие ей на долю, но вот букет коснулся пола, стебелек ее переломился, она выскочила из букета и покатилась по полу. Не пришлось ей попасть в руки виновницы торжества — она откатилась за кулисы. Там увидел ее машинист и поднял. Она была так хороша, так чудно пахла, но стебелька у нее не было! Он взял и положил ее прямо в карман, а потом отнес домой. Там роза очутилась в рюмке с водою и пролежала в ней всю ночь. Рано утром ее поставили на стол перед старой бабушкой, беспомощно сидевшей в кресле. Как она любовалась прекрасной розой без стебелька, как наслаждалась ее запахом!

— Да, ты не попала на роскошный стол важной барышни, попала к бедной старухе! Зато здесь ты заменяешь целый розовый куст! Как ты хороша!

И старушка с детской радостью смотрела на цветок, вероятно, вспоминая при этом свою давно минувшую юность.

— В оконном стекле была дырочка! — рассказывал ветер. — Я легко пробрался через нее и видел, каким юношеским блеском сияли глаза старушки, любовавшейся на розу без стебелька в рюмке с водою. Я знаю, которая из роз была счастливее всех! Я могу рассказать это!

У каждой розы была, таким образом, своя история, каждая верила, что она счастливейшая, а ведь блажен, кто верует!.. Но последняя из роз на кусте все-таки считала себя самой счастливейшей.

— Я пережила всех! Я последнее, единственное, любимейшее дитя у отца!

— И я — отец им всем! — сказал розовый куст.

— Нет, я! — возразил солнечный свет.

— Нет, я! — сказали в один голос ветер и погода.

— Каждый имеет на них свои права! — сказал ветер. — И каждый получит свою долю! — И он развеял лепестки, окропленные сиявшими в лучах солнца капельками росы. — И мне кое-что досталось! — прибавил он. — Я узнал историю каждой розы и разнесу их по всему свету!

Так вот, которая же из роз счастливейшая? Да, скажите-ка это мне вы, я уже сказал довольно!



## ДРИАДА



отправляемся в Париж, на выставку!

Вот мы и там! То-то была поездка — настоящий полет, и без малейшей примеси колдовства: пар мчал нас и по морю и по суше.

Мы живем в сказочное время!

Теперь мы в центре Парижа, в большом отеле. Лестница вся уставлена цветами, устлана мягкими коврами. Номер наш очень удобен, уютен; дверь на балкон, выходящий на большую площадь, открыта. На площади уже весна; она прибыла в Париж одновременно с нами, в лице пышного молодого каштанового дерева с только что распустившейся нежной листвой. Оно опередило своим роскошным весенним нарядом все остальные деревья на площади! Одно из них уже вычеркнуто из числа живых и лежит на земле, вырванное с корнями. На его-то место и хотят посадить свежее каштановое дерево.

Пока же оно возвышается на телеге, привезшей его в Париж из далекой окрестности. Там оно росло годы рядом с могучим дубом, под которым часто присаживался славный старый священник. Ребятишки обступали его толпою, и он вел с ними беседу. Прислушивалось к его речам и молодое каштановое дерево. Дриада, обитавшая в нем, тоже ведь была еще ребенком. Она еще живо помнила время, когда деревце было совсем маленьким, таким маленьким, что чуть только выглядывало из высокой травы и папоротников. Но те-то уж выше стать не могли, деревце же все росло да росло год от году, впитывая в себя воздух и солнечный свет, росу и дождь и получая, как водится, время от времени встрепки от буйного ветра, — это уж входило в программу воспитания.

Дриада жила и наслаждалась жизнью, солнышком, пением птичек, но больше всего человеческим голосом; она понимала речь человека так же хорошо, как и речи животных и птиц.

Бабочки, стрекозы, мухи и вся остальная летучая компания часто являлись к ней с визитом. Все они болтали без умолку, рассказывали о деревнях, о виноградниках, о лесах, о старом замке и парке, о его каналах и прудах. В этих прудах также жили разные живые создания, которые

могли перелетать с место на место — только по-своему, под водою. Создания эти были очень разумны, рассудительны и от большого ума даже не говорили ничего.

Морская же ласточка, нырявшая в воду, рассказывала Дриаде о хороших золотых рыбках, о жирных лещах, толстых линиях и старых обросших мхом карасях. Ласточка отлично описывала, но видеть все своими глазами все же куда лучше, прибавляла она. Да как же устроить это?! Дриаде приходилось довольствоваться зрелищем расстилавшейся перед нею роскошной равнины да прислушиваться к суете и шуму человеческой жизни издали.

И Дриада наслаждалась и тем, и другим, но больше всего любила слушать рассказы старого священника о Франции, о славных деяниях героев и героинь, чьи имена благоговейно передаются из поколения в поколение.

Дриада слушала о пастушке Жанне Д'Арк, о Шарлоте Корде, о старине, о Генрихе IV, о Наполеоне Первом и его времени, о былом и настоящем величии родины. Она слышала все эти славные имена, говорившие сердцу народа: «Франция — мировая страна, родина пытливого ума, очаг свободы!»

Деревенские ребятишки благоговейно внимали этим рассказам, Дриада тоже. И она училась наравне с прочими детьми. Плывущие по небу облака рисовали ей картину за картиной — иллюстрации ко всему слышанному ей. Облачное небо было для нее любимой книжкой с картинками.

Она чувствовала себя такой счастливой в своей прекрасной Франции, но чувствовала также, что любая птичка, любое крылатое существо куда счастливее ее! Даже мухе дано видеть на белом свете куда больше, чем ей!

Франция обширна и прекрасна, а Дриаде суждено видеть лишь крошечную часть этой чудной страны, широко раскинувшей по лицу земли свои виноградники, леса и большие города. Самым лучшим, великолепнейшим из них был Париж, и птички могли в нем побывать, Дриада же — никогда!

Среди деревенских ребятишек была одна маленькая бедная, оборванная девочка, красавица собою. Она вечно пела, вечно смеялась и вплетала в свои черные кудри красные цветочки.

— Смотри, не забирайся в Париж! — говаривал ей старый священник. — Бедное дитя, ты пропадешь там!

Но она все-таки отправилась в Париж.

Дриада часто вспоминала о ней: и ее тоже тянуло, неудержимо влекло в этот огромный город.

Прошли весна, лето, осень, зима; прошло два-три года.

Каштановое деревце впервые надело убор из нежных цветов, и птички наперерыв щебетали об этом друг другу; солнышко так и сияло. Вдруг



на дороге показалась великолепная коляска; в ней сидела знатная дама, сама правившая красивыми быстроногими конями. Разодетый мальчик-жокей сидел позади. Дриада сразу признала молодую даму, старый священник тоже и печально покачал головой:

— Ты все-таки попала туда и погибла, бедняжка Мария!

«Бедняжка? — недоумевала Дриада. — Такое превращение! Она одета, как герцогиня! Вот что случилось с ней в этом волшебном городе! Ах, если бы и мне побывать там, насладиться его роскошью и блеском! Блеск его отражается даже на вечерних облаках! Я часто смотрю в ту сторону, где, знаю, находится Париж, и вижу на небе светлое сияние!»

Да, туда, в ту сторону Дриада смотрела каждый вечер, каждую ночь — на горизонте расстился какой-то светящийся туман. Как она скучала о нем в светлые, безоблачные, лунные ночи! Как скучала она тогда и о бегущих облаках, показывавших ей из жизни и истории города картину за картиной!

Дитя жадно хватается за свою книжку с картинками, Дриада хваталась за облачное небо, где отражались ее мечты.

Чистое, безоблачное летнее небо было для нее белой страницей, и вот уже несколько дней, как оно оставалось таким. Стояли жаркие летние дни, без малейшей прохлады; листья и цветы охватила какая-то истома; людей тоже.

Но вот на небе собрались облака и как раз в той стороне, где сияющий туман говорил о Париже. Облака поднялись, образуя какие-то причудливые горные цепи, загромодили все небо, нависли над всем видимым Дриаде горизонтом. И вот из этих гигантских темно-синих облачных скал вырвались лучи молнии, «тоже слуги Божии», как называл их старый священник. Голубая, ослепительная, как солнце, молния ударила в старый могучий дуб, проникла до самых его корней и расколола его пополам. Вершина и ствол дерева раздвоились и рухнули на землю, словно принимая посланницу света в свои объятия.

Громче, сильнее пушечного выстрела, приветствующего рождение принца, потряс воздух и разнесся по всей окрестности удар грома, возвестивший кончину старого дуба. Полил дождь, подул свежий ветер, буря пронеслась, и вся природа опять засияла в праздничном блеске. Деревенские жители окружили поверженный дуб; старый священник почтил его словом, один художник срисовал его на память для потомства.

— Все сменяется, проносится, как облако, и никогда не возвращается назад! — сказала Дриада.

Не возвращался сюда и старый священник: школьной кровли и кафедры его больше не существовало. Ребятишки тоже перестали приходить сюда, зато пришла осень, за нею зима, а там и опять весна. Времена года сменялись, а Дриада все смотрела в одну сторону — в ту, где каждый вечер, каждую ночь стояло над Парижем сияющее туманное

облако. Из столицы и в столицу мчались, свистя и пыхтя, паровоз за паровозом, поезд за поездом, мчались непрерывно — и утром, и днем, и вечером, день-деньской; в одни входили, из других выходили толпы людей, высланных сюда всеми странами мира, — всех манило в Париж новое чудо света.

Какое же?

«На бесплодном песчаном Марсовом поле, — говорили одни, — распустился роскошный цветок искусства и промышленности, гигантский подсолнечник, и по лепесткам его можно изучить географию, статистику и всякую механику, искусство и поэзию, познать величину и величие всех стран света!» — «На Марсовом поле, — говорили другие, — вырос сказочный цветок, пестрый лотос, распустивший над песком свои зеленые листья, словно бархатные ковры; распустился он ранней весной, летом достигнет апогея своей красоты, а осенью ветер развеет его лепестки, и от него не останется и следа!»

Перед Военным училищем расстилается боевая арена мирного времени, поле без травы, словно вырезанное из песчаной африканской пустыни, где Фата-Моргана показывает свои диковинные воздушные замки и висячие сады. Такие же замки и сады пленяют ныне взоры и на Марсовом поле, только здесь они, пожалуй, еще богаче, еще диковиннее: благодаря гению человеческой изобретательности они стали действительностью!

«На Марсовом поле, — шел говор, — воздвигнут современный дворец Алладина и день ото дня, час от часу развертывает взорам все новые и новые красоты. Стены обширных покоев выложены мрамором, пестреют красками. В огромной круглой зале работает своими стальными и железными мускулами мастер Бескровный. Чудеса искусств из металла, из камня, художественно выполненные ткани говорят о духовной жизни различных стран мира. Картинные галереи, роскошные цветники — все, что только могут создать ум и руки человеческие, собрано и выставлено здесь напоказ, не забыты даже памятники седой древности, извлеченные из старинных замков, из древних торфяных болот.»

Но, чтобы объять взглядом, охватить эту пеструю, подавляюще грандиозную панораму в целом и описать ее, нужно сжать, уменьшить ее до игрушечных размеров.

Да, на Марсовом поле, словно на гигантском игрушечном столе, под елкой, красовался замок Алладина, воздвигнутый соединенными усилиями искусства и промышленности, а вокруг замка были расставлены диковинные и величественные безделушки из всех стран мира; каждая национальность могла унести отсюда воспоминание о своей родине.

Тут возвышался египетский дворец, там караван-сарай пустыни, мимо которого проносился на верблюде житель знойной степи, бедуин, здесь шли русские конюшники с огненными, великолепными конями, там ютилось

крытое соломой жилище датского крестьянина с развевающимся Данеб-рогом на крыше, а рядом великолепный, деревянный, изукрашенный резьбою далекарлийский дом Густава Вазы. Американские хижины, английские коттеджи, французские павильоны, турецкие киоски, всевозможные церкви и театры были прихотливо разбросаны по свежей, покрытой дерном площади, где журчала вода, росли цветущие кусты, редкие породы деревьев, помещались оранжереи, сразу переносившие посетителей в тропические леса, раскинулись под навесами целые сады роз, словно перенесенные сюда из Дамаска. Какое разнообразие красок, какое благоухание!

В искусственные сталактитовые пещеры были вделаны гигантских размеров аквариумы, одни с пресной, другие с соленой водой. Тут зритель попадал в царство рыб и полипов, как будто опускался на дно морское!

Так вот что представляло теперь, по рассказам, Марсово поле, и по этому-то празднично убранному пиршественному столу двигались, словно мириады муравьев, несметные толпы людей пешком или в ручных креслах — не всякие ноги могут ведь выдержать такое странствие!

Люди наводняли выставку с раннего утра и до позднего вечера. По Сене скользили пароход за пароходом, переполненные пассажирами, вереницы экипажей на улицах все увеличивались, пеших и верховых все прибывало; omnibus и дилижансы были набиты битком, унижены людьми сплошь. И все это двигалось по одному направлению, к одной цели — к парижской выставке! Над всеми входами развевались французские флаги, а над «всемирным базаром» — флаги различных наций. Свист и шум машин, мелодичный звон башенных колоколов, гул церковных органов, хриплое, гнусливое пение, вырывавшееся из восточных кофеен, — все сливалось вместе! Настоящее вавилонское смешение языков!

Вот что говорили, вот как описывали «новое чудо света». Кто не слышал о нем? Дриада тоже слышала, знала все, что говорилось о новом чуде в городе городов.

«О, летите же туда, птички, летите, а вернувшись назад, — расскажите мне обо всем!» — молила Дриада.

Смутное влечение выросло в безумное желание, в заветную мечту: «в Париж, в Париж!» И вот однажды, среди безмолвной тишины лунной ночи, из полного диска луны вылетела искра, скатилась по небу, словно падающая звездочка, и перед деревом, ветви которого заколыхались, словно от бурного порыва ветра, предстало светлое величественное видение. Раздались звуки, такие нежные, ласкающие и в то же время мощные, как трубные звуки в день Страшного суда, пробуждающие к жизни и призывающие на суд мертвецов:

«Ты попадешь в этот волшебный город, пустишь там корни, познакомишься с его воздухом и солнечным светом. Но жизнь твоя сократится, длинный ряд годов, ожидавших тебя здесь, на воле, сократится в дни.

Бедная Дриада, ты пропадешь там! Твоя тоска, твои желания будут все расти! Само дерево твое станет для тебя темницей, ты захочешь покинуть свою оболочку, отказаться от своей природы, вмешаться в толпу людей, и тогда годы твоего существования сократятся в полжизни мухи-поденки, твоя жизнь продолжится всего лишь одну ночь! А затем ты угаснешь, листья твоего дерева завянут, развеются по ветру и никогда уже не взрождаются к жизни!»

Звуки смолкли, видение исчезло, но тоска и желание Дриады не исчезли; она вся трепетала от ожидания, как в лихорадке.

— Я попаду туда, в этот город городов! — ликовала она. — Для меня начнется новая жизнь! Она будет расти, нестись, как облако, неведомо куда!

На заре, когда месяц побледнел и облака заалели, пробил час исполнения ее желания — обещанное сбылось.

Явились люди с заступами и железными ломami и принялись выкапывать дерево; затем подъехала телега, запряженная лошадьми; дерево, со всеми его корнями и приставшей к ним землею, подняли, закутали корни в рогожи, словно в теплый ножной мешок, затем взвалили деревце на телегу и крепко привязали. Судьба назначила ему расти в великой столице Франции, в городе городов.

Телега двинулась, ветви и листья каштана задрожали, сама Дриада вся затрепетала от сладостного ожидания.

«В путь! В путь!» — слышалось ей в каждом биении пульса. «В путь! В путь!» — лепетала она дрожащим голосом и даже забыла проститься с родиной, с высокой колеблющейся травой, с невинными ромашками, смотревшими на нее как на важную особу в саду Господнем, как на юную принцессу, которая разыгрывала тут, на лоне природы, простую пастушку.

Каштановое дерево кивало с телеги ветвями, как бы говоря: «Прощайте, прощайте!» или «В путь, в путь!» — что именно, Дриада сама не знала. Она была полна одной мыслью, одной мечтой об ожидавших ее новых чудесах — новых и в то же время столь знакомых! Ни один ребенок в невинной радости сердца, ни одна пылкая человеческая натура в порыве чувственности не предавались таким радужным мечтам, как Дриада на пути в Париж.

И вместо «прости» губы ее шептали: «В путь! в путь!»

Колеса вертелись, телега продвигалась вперед, даль приближалась, затем оставалась позади; окрестности менялись, как меняются облака. Виноградники, леса, деревушки, виллы и сады выступали и пробегали мимо. Каштановое деревце все продвигалось вперед, а с ним и Дриада. Поезд за поездом пролетали мимо друг друга, скрещивали свои пути;

паровозы выпускали облака дыма, принимавшие причудливые очертания и рисовавшие Дриаде картины Парижа, откуда неслись поезда и куда стремилась она.

Все вокруг как будто знало, должно было понимать, куда лежит ее путь, и ей казалось, что каждое встречное дерево протягивает к ней ветви с мольбой: «Возьми и меня с собой!» В каждом деревце ведь тоже жила Дриада, обуреваемая такою же страстной тоской!

Но какая быстрая смена картин! Какая пестрота! Дома словно вырастали из-под земли, становились все многочисленнее, все теснее жались друг к другу. Дымовые трубы вздымались на крышах одна возле другой, одна над другой, как цветочные горшки; огромные надписи, выведенные аршинными буквами, покрывали стены домов от самого фундамента до крыши.

«Где же начинается Париж, когда же я попаду туда?» — спрашивала себя Дриада. А толпы народа все росли, движение и суета все увеличивались, экипаж следовал за экипажем, пешие сменяли всадников, справа и слева тянулись ряды магазинов, со всех сторон слышались музыка, пение, говор, крик!..

Тяжелая телега остановилась на маленькой площади, обсаженной деревьями, окруженной высокими домами, с балкончиками у каждого окна. На балкончиках стояли люди и любовались вновь привезенным молодым свежим каштановым деревом, которое должно было заменить старое, засохшее, валявшееся на земле. Прохожие останавливались и с довольной улыбкой смотрели на весеннюю зелень деревца; старые деревья, еще не успевшие развернуть почек, кивали ему ветвями и шумели: «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» А фонтан, выбрасывавший в воздух свои струи, ниспадавшие затем в широкий бассейн, оросил нового гостя брызгами, словно желая поднести ему на новоселье заздравный кубок.

Дриада чувствовала, как ее дерево подняли с телеги и посадили в приготовленную яму. Корни дерева закопали в землю, прикрыли сверху свежим дерном, кругом же рассадили цветущие кусты и цветы в горшках, так что по середине площади образовалась целая цветочная клумба. Мертвое выдернутое дерево, задушенное газовыми, кухонными и другими испарениями, насыщавшими губительный для растений городской воздух, было взвалено на телегу и увезено. Толпа глазела на это зрелище; дети и старики, сидевшие на скамеечках в тени, смотрели вверх на свежую листву нового деревца. Мы же, стоя на балконе и любуясь на юную весну, прибывшую сюда из деревенского приволья, сказали, что сказал бы на нашем месте и старый священник: «Бедная Дриада!»

— Я счастлива! Счастлива! — твердила между тем она. — Но я не могу хорошенько понять, не могу высказать того, что чувствую! Все здесь так, как я думала, и все-таки как-то не так!



Высокие-высокие дома как-то уж очень близко подступали к ней; солнышко падало только на одну стену, и та была вся залеплена разными объявлениями и афишами, собиравшими перед собою толпы народа. Мимо проезжали экипажи всех сортов — и тяжелые, и легкие. Омнибусы, эти переполненные людьми движущиеся дома, мчались по мостовой, верховые стремились обогнать их, тележки и фиакры добивались того же.

— Ах, да скоро ли, — волновалась Дриада, — и эти высокие дома, обступающие площадь, догадаются сдвинуться с места, изменят очертания, как облака, и дадут мне заглянуть в самое сердце Парижа, дадут мне весь охватить его взором! Пусть покажется мне собор Богоматери, Вандомская колонна и то чудо света, которое вызвало и вызывает сюда эти толпы иностранцев!

Но дома и не думали двигаться с места.

Вечер еще не настал, а на площади уже зажглись фонари, в магазинах заблестели газовые рожки, бросая яркий отблеск на ветви дерева, — словно опять взошло красное солнышко! На небе проглянули звездочки, те самые, которые Дриада видела у себя на родине; ей даже показалось, что на нее повеяло воздухом оттуда — чистым, мягким воздухом полей. И Дриада точно воспрянула духом, силы ее как будто удвоились, сила зрения сообщилась каждому листочку дерева, каждый корешок как будто обрел чувствительность. Она чувствовала на себе ласковые взгляды, внимала говору, звукам, любовалась всем этим блеском и пестротой!..

Из боковой улицы доносились до нее звуки духовых инструментов и плясовые мотивы шарманок, призывавшие к танцам, к веселью, к наслаждению жизнью!

Под эту музыку должны были бы, кажется, заплясать все люди, лошади, кареты, деревья и дома! Опьяняющее чувство радости охватило Дриаду.

— Как хорошо здесь! Как я счастлива! — ликовала она. — Я в Париже!

Следующий день, и следующая ночь, и последующие за тем день и ночь не принесли с собою Дриаде ничего нового: вокруг то же зрелище, то же движение, та же пестрая, разнообразная и вместе с тем однообразная жизнь!

«Теперь я знаю тут, на площади, каждое дерево, каждый цветок, каждый дом, каждый балкон и магазин! Меня засадили в такой маленький, тесный уголок, что я совсем не вижу исполинского Парижа. Где же триумфальные арки, бульвары, где чудо света? Ничего этого я не вижу! Я сижу между этими огромными домами, словно в клетке! Я знаю наизусть все эти надписи, афиши и вывески, все это уже набило мне оскомину! Где же то, о чем я слышала, знала, тосковала, к чему рвалась? Что же я нашла тут, чего добилась? Я тоскую по-прежнему! Я чувствую вокруг себя какую-то иную жизнь, хочу схватиться за нее, слиться с нею! Я хочу вме-



шаться в толпу людей, порхать птичкою, видеть, ощущать все, стать вполне человеком! Я готова променять на полжизни мухи-поденки годы такой тянущейся из дня в день, скучной, вялой жизни! Я изнываю, хирею, таю от нее, как туман! Я хочу сиять в лучах солнца, глядеть на все с высоты, скользить, нестись неведомо куда — как облако!»

И вздохи Дриады перешли в пламенную мольбу:

«О, возьмите годы моей жизни, дайте мне полжизни мухи-поденки, но только откройте мою темницу! Дайте мне пожить человеческой жизнью, насладиться человеческим счастьем хоть один только миг, одну эту ночь, а там карайте меня за мою смелость, за мою жажду жизни, сотрите меня с лица земли! Пусть моя оболочка, мое свежее, зеленое деревце завянет, пусть его срубят, превратят в пепел, развеют по ветру!»

И листва дерева зашелестела, затрепетала вся до последнего листочка, как будто по дереву пробежала дрожь или огненная струя. Вершина его заколыхалась в бурном порыве, раскрылась, и оттуда взвился в воздух женский образ — сама Дриада. Мгновение — и она очутилась под освещенными газом густолиственными ветвями дерева, такая же юная, прекрасная, как бедняжка Мария, которой священник предрекал гибель в Париже.

Дриада сидела у подножия своего дерева, у дверей своего дома, — она сама заперла их на ключ, и ключ этот забросила! Как она была молода, прелестна! Звезды мигали ей, газовые фонари блеснули и манили ее вдаль! Она была нежна, гибка, воздушна и в то же время полна сил: дитя и в то же время вполне сложившаяся женщина. На ней было тонкое шелковое платье цвета нежных, свежих светло-зеленых листьев каштана; в темно-каштановых волосах красовался полураспустившийся цветок родного деревца; она смотрелась самою богиней весны!

С минуту она сидела неподвижно, затем вскочила и с быстротой газели кинулась вперед, завернула за угол, неслась, летела, перебегала с места на место, быстрая, неуловимая, как солнечный зайчик, наводимый зеркалом.

Если бы можно было проследить, подметить все ее движения! Какое открылось бы удивительное зрелище! Облик ее, все ее одеяние менялись ежеминутно, принимали новые очертания и краски — сообразно месту, на котором она приостанавливалась хоть на мгновение, или падавшему на нее из окон домов свету.

Вот она на бульваре; от уличных фонарей и от газовых рожков в магазинах и кофейнях лились потоки света. Вдоль тротуаров тянулись ряды молодых и стройных деревьев; каждое скрывало от лучей искусственного света свою Дриадку. Весь бесконечно длинный тротуар представ-

лял как будто одну сплошную залу, заставленную столами со всевозможными прохладительными напитками — от шампанского и шартреза до кофе и пива. На окнах магазинов красовались настоящие выставки цветов, картин, статуй, книг и пестрых тканей.

Насмотревшись на толпу, сновавшую около домов, Дриада устремила взор на ужасающий поток, струившийся между двумя рядами деревьев. Там неслась как будто целая река карет, кабриолетов, колясок, омнибусов, фиакров, всадников и марширующих солдат. Вздумать пробраться сквозь этот бешеный поток — значило бы рисковать жизнью. Вот замелькали какие-то голубоватые огоньки, потом опять все утонуло в море газового света, и вдруг взвилась ракета!.. Откуда? Куда?

Так вот где расстилалась широкая столбовая дорога города городов! С одной стороны звучала нежная итальянская мелодия, с другой — испанский мотив, сопровождаемый позвякиванием кастаньет; но громче, оглушительнее всего раздавались модные шарманочные мотивы, звуки этой щекочущей нервы, канканной музыки, которой и не знал Орфей, никогда и не слыживала прекрасная Елена, но под которую впору было заплесать на своем единственном колесе даже старой тачке, умей она только плясать! И Дриада плясала, кружилась, порхала, меняя цвета и краски, как колибри под лучами солнца, — она ведь воспринимала отражение от каждого дома и его внутреннего мирка. Она неслась вперед, как сияющий цветок лотоса, оторванный от стебля и увлекаемый течением; стоило же ей приостановиться — она принимала новый образ. Кто мог уследить за нею, разглядеть ее?

Все проносилось мимо нее, как облачные картины. Одно за другим мелькали перед нею лица, но хоть бы одно знакомое, родное! А в ее памяти ярко сияла пара очей: она вспоминала Марию, бедняжку Марию, оборванную, веселую девочку с красным цветком в черных кудрях. Она ведь жила тут же, в этом мировом городе, богатая, сияющая, как тогда, когда проезжала мимо дома священника, мимо дерева Дриады и старого дуба.

Она, наверно, здесь, среди этого оглушительного водоворота; может быть, только что вышла вон из той роскошной коляски, остановившейся возле ограды, перед которой уже стоял целый ряд великолепных экипажей с кучерами в галунах и лакеями в шелковых чулках. Выходили из карет все одни разодетые дамы, которые затем проходили в открытые решетчатые ворота, подымались по высокой, широкой лестнице и вступали в величественное здание с белыми, как мрамор, колоннами. Не это ли и есть чудо света? Если да, то Мария наверно там!

Изнутри здания доносилось пение: «*Sancta Maria!*»<sup>1</sup>; из-под высоких расписанных и вызолоченных сводов, под которыми царствовал полумрак, струился благоуханный дым ладана.

<sup>1</sup> Пресвятая Дева Мария.

Это была церковь св. Магдалины. По блестящему каменному полу скользили знатные светские дамы в дорогих черных платьях, сшитых по последней моде. На серебряных застежках переплетенных в бархат молитвенников красовались гербы, на раздушенных тонких носовых платках, обшитых драгоценными брюссельскими кружевами, — тоже. Некоторые из дам преклоняли в тихой молитве колени перед алтарями, другие направлялись к исповедальням.

Дриаду охватило не то волнение, не то страх, словно она попала в такое место, куда не смела входить. Здесь царствовали тишина, таинственный полумрак, слышался лишь тихий шепот исповедавшихся.

Дриада увидела на себе такой же богатый наряд из шелка и кружев, такую же вуаль, в каких были и все другие дамы, представительницы роскоши и знати. Не были ли и они все сестрами Дриады по охватывавшей ее страстной тоске и жажде наслаждений?

Послышался глубокий, скорбный вздох. Вырвался ли он из укромого уголка исповедальни или из груди самой Дриады? Она плотнее окутала лицо вуалью...

Нет, здесь ей приходится дышать кадильным дымом, а не свежим воздухом, — не сюда влекли ее желания! Дальше, дальше, вперед, без конца, без отдыха! Муха-поденка не знает отдыха, вся жизнь ее — один полет, одно порханье!

Она опять очутилась на залитой газовыми лучами площади, у великолепного фонтана. «Но все эти струи не в силах смыть невинной крови, пролитой на этом месте!» — произнес кто-то неподалеку от Дриады.

На площади собралась толпа иностранцев; шел громкий, живой разговор. Так не смели говорить там, в той таинственной полутемной обители, откуда только что вышла Дриада.

Вот приподняли и отвернули одну из огромных плит тротуара. Дриада пришла в недоумение: она видела, что под плитой открывался спуск в какое-то подземелье. Но вот иностранцы стали спускаться туда один за другим, расставаясь с звездным небом, ярким, как солнце, пламенем газовых рожков и кипящей вокруг жизнью.

— Нет, я боюсь! — сказала одна из дам. — Я не решаюсь спуститься туда! Да меня и не интересуют эти подземные прелести! Оставайся и ты со мною!

— Как? Уехать домой, оставить Париж, не увидав самого замечательного, настоящего чуда нашего времени, созданного умом и волею одного человека? — сказал муж дамы.

— Ну, а я все-таки не спущусь! — повторила она.

«Чудо нашего времени!» Дриада слышала эти слова и поняла их по-своему. Так цель ее страстных желаний — перед нею!

Собственно говоря, перед нею открывался спуск в глубину, в подземный Париж; не так она представляла себе «чудо», но иностранцы отправились искать его в подземелье, и она последовала за ними.

Железная витая лестница была широка и удобна. Спуск озарялся лампой; внизу, в глубине, светилась другая. И вот путники очутились в лабиринте бесконечно длинных перекрещивающихся сводчатых коридоров. Здесь видны были, словно в матовом зеркале, все парижские улицы и переулки; на углах можно было прочесть их названия; каждый дом имел здесь свой номер, основания домов как будто вращались в эти пустынные мощенные панели, сжимавшие, как в тисках, широкий канал, в котором быстро струилась жидкая грязь. Повыше, по трубам, протекала свежая вода, а в самом верху шла сеть газовых труб и телеграфных проводов. Лампы были разбросаны на больших расстояниях друг от друга и смахивали скорее на отражения фонарей верхнего города. Иногда оттуда доносился глухой грохот; это проезжали над подземными люками тяжелые дроги.

Куда же попала Дриада?

Вы, конечно, слышали о римских катакомбах? Парижские катакомбы имели с ними лишь слабое сходство, да и это исчезло с преобразованием этого подземного мира в «чудо нашего времени» — в «клоаки Парижа». Вот куда попала Дриада, а вовсе не на Марсово поле, не на всемирную выставку.

Вокруг нее раздавались возгласы удивления и глубокой признательности.

«Вот отчего, — услышала Дриада, — зависит жизнь и здоровье тысяч и тысяч живущих наверху! Да, наше время — время благодетельного прогресса!»

Вот как судили и рядили люди, но совсем иначе относились к делу искони обитавшие здесь твари — крысы. Эти пищали из щели старой стены так громко, ясно и понятно для Дриады.

Большая старая крыса мужского пола, с откушенным хвостом, пронзительно излагала свои ощущения, горькие впечатления и единственно верное мнение, и все члены ее семьи выражали одобрение каждому ее слову.

— Меня просто тошнит от этого человеческого мяуканья, этих невежественных речей! Как же, отлично здесь стало: теперь тут и газ, и керосин! Да я не ем ни того, ни другого! Здесь стало до того чисто и светло, что просто самого себя стыдно, а почему — и сам не знаешь! То-то опять зажали бы мы при сальных свечках! А ведь это время не так-то еще давно миновало! То была эпоха романтизма, как говорится.

— Что ты толкуешь? — спросила Дриада. — Я тебя никогда не видела раньше. О чем ты говоришь?

— О добрых старых временах! — сказала крыса. — О тех блаженных временах, когда еще здравствовали наши прадедушки и прабабушки — крысы! В те времена спуститься сюда было не шуткой! Тут было настоящее крысиное царство, не то что верхний Париж! Здесь жила сама матушка чума; она убивала людей, но крыс не трогала. Вора и контрабандистам была тут вольная дорога; здесь только они вздыхали свободно, и тут было убежище интереснейших лиц, каких теперь увидишь разве лишь в мелодрамах. Да, эпоха романтизма миновала и для нашего крысиного гнезда! И у нас завелся свежий воздух и керосин!

Вот как пищала крыса, поносила наше время и восхваляла старое вместе с матушкой чумой.

Подъехала каретка, вроде омнибуса, запряженная быстрыми маленькими лошадаками. Путники уселись в нее и поехали по Севастопольскому бульвару, т. е. по подземному коридору, тянувшемуся под многолюдным, известным всему миру, бульваром того же названия, что был наверху.

Каретка исчезла в полумраке; Дриада тоже исчезла, поднялась на вольный воздух и свет. Тут, при блеске газовых фонарей, а не внизу, под скрещивающимися, темными, душными сводами, найдет она чудо света, которое так жадно искала в эту короткую ночь своей жизни. Это чудо должно превосходить своим блеском все газовые фонари наверху, даже выплывший на небо полный месяц!

Да, конечно, так! Она даже видит его перед собою!.. Что за блеск, какое сияние!.. Оно светилось, вспыхивало, манило к себе, как вечерняя звезда в небесах, как сама Венера!

Дриада увидела открытый иллюминированный вход в маленький сад, тоже весь залитый огнями. В саду раздавались звуки плясовых мотивов; вокруг маленьких тихих озер и прудов блестели яркой каймой газовые огоньки, в середине же красовались искусственные водяные растения из цветной фольги, и из чашечек их били в воздух водяные струи. Красивые плакучие ивы — настоящие ивы, в весеннем уборе — свешивали к воде свои свежие густые ветви, словно прозрачное зеленое покрывало. В кустах зажжен был костер, бросавший красный отблеск на маленькие, полутемные, безмолвные беседки, в которые врывались звуки щекочущей нервы, одуряющей, распаляющей кровь музыки.

Дриада увидела здесь молодых, красивых, нарядных, простодушно улыбававшихся, беззаботных и легкомысленных женщин, похожих на Марию, тоже с розами в волосах, но без колясок и жокеев. Как они неслись, кружились, сплетались в дикой пляске! Где голова, где ноги? Они кружи-

лись, словно укушенные тарантулом, смеялись, улыбались, готовы были в радостном упоении обнять весь мир.

Дриада почувствовала и себя увлеченной в этот вихрь танцев. Маленькую, изящную ножку ее охватывал шелковый башмачок темно-каштанового цвета, такая же лента спускалась с ее локонов на обнаженные плечи. Шелковое зеленое платье драпировалось на ней пышными складками, но не скрывало очертаний изящных, стройных ног с прелестной ступней, которая как будто описывала в воздухе перед молодым кавалером магические круги.

Куда она попала? В волшебные сады Армиды? Как называлось это место?

Над входом огненными буквами красовалось:

«Mobbille».

Звуки музыки, рукоплескания, треск ракет, журчание фонтанов и хлопанье пробок от бутылок шампанского — все сливалось в один общий гул. Пляска становилась все разнузданнее, и месяц проплывал над пляшущими, слегка отвернув лицо в сторону. На небе не было ни облачка; над Мабилем расстилалась прозрачная ясная синева — можно было в упоении пляски вообразить, что глядишь прямо в небо!

Пламенная, пожирающая жажда жизни охватила Дриадy; она была в каком-то чадy, словно приняла опиум.

Глаза ее блеснули, губы шептали, но слова заглушались звуками флейт и скрипок. Кавалер ее тоже шептал ей что-то под звуки канканной музыки, но она не поняла его слов; не пойдем их и мы. Но вот он протянул к ней руки и заключил в свои объятия лишь прозрачный, освещенный газом воздух.

Поток воздуха подхватил и унес Дриадy, как уносит лепесток розы. В вышине перед собой Дриада видела пламя, мерцающий огонек на высокой башне. То сиял маяк, указывавший ей путь к цели ее заветных желаний, огонек на башне Марсова поля; туда-то и понес ее весенний ветер. Она обогнула башню, и рабочие подумали, что это спускается на землю чересчур ранняя весенняя гостья-бабочка, которая скоро и погибнет.

Месяц сиял, сияли и все газовые рожки и фонари в огромных покоях и рассыпанных по полю постройках, собравшихся сюда из всех стран света. Ярким светом были залиты и холмы, покрытые дерном, и искусственные скалы, с которых низвергалась вода, приводимая в движение силою мастера Бескровного. Взорам открывались глубины соленых морей и пресных вод, царство рыб; зритель как будто опускался на дно глубокого пруда или в море в стеклянном водолазном колоколе. Вода напирала на толстые стеклянные стены со всех сторон. Сажанные скользкие,



похожие на гигантских угрей, на какие-то извивающиеся кишки, полипы плотно присосались ко дну. Тут же преспокойно разлеглась большущая задумчивая камбала; через нее переползал краб, похожий на огромного паука, а креветки быстро носились взад и вперед, точно морская моль или бабочки.

В пресных водах росли кувшинки, нарциссы и тростник. Золотые рыбки располагались рядами, словно рыжие коровки по лугу, повернув головки в одну сторону и разинув рты навстречу течению. Толстые, жирные линии глупо глазели сквозь стеклянные стены. Они знали, что они на парижской выставке, помнили, что совершили в бочках с водой ужасно трудное путешествие, ехали по железной дороге и страдали «сухопутной болезнью», как люди страдают на море морской. Они прибыли сюда, чтобы полюбоваться на выставку, и теперь любовались ею из своих собственных пресноводных или соленоводных лож. Смотрели они оттуда и на толпы людей, двигавшихся мимо них с утра до вечера. Все страны света выслали сюда своих представителей, чтобы старые линии и леши да юркие окуни и обросшие мхом карпы могли составить себе понятие и высказать свое мнение об этой породе живых созданий.

— Это чешуйчатые твари! — сказала покрытая тиной килька. — Но они меняют чешую по несколько раз в день и издают ртом звуки, которые называют речью. Мы не меняем чешую так часто и объясняемся друг с другом гораздо проще: движением губ да таращением глаз. Мы во многом опередили людей!

— Плавать-то они все-таки выучились! — сказала маленькая пресноводная рыбка. — Я из большого внутреннего озера; так вот там люди плавают в теплую погоду, но сначала снимают с себя чешуи! Плавать же их выучили лягушки — они тоже отталкиваются задними лапами и гребут передними, но недолго выдерживают. Они хотят походить на нас, да нет, шалишь! Бедные люди!

И рыбы таращили глаза, воображая, что толпа людей, которых они видели при ярком дневном свете, все еще двигается мимо; да, они были вполне уверены, что все еще видят тех же самых людей, которые, так сказать, впервые потрясли их зрительные нервы.

Маленький окунь, с красивой тигровой чешуей и завидно горбатой спиной, уверял, что «человечья тина» все еще тянется мимо — он отлично видел ее!

— Я тоже вижу ее, ясно вижу! — подхватил золотистый линь. — Я еще вижу и эту красивую, хорошо сложенную человеческую фигуру, длинноногую женщину, или как там ее зовут? У нее были такие же движущиеся уголки губ и горящие глаза, как у нас, два шара сзади и сложенный зонтик спереди, да еще бахрома из тины и разные побрякушки! Ей бы следовало поснимать с себя все это да ходить, как мы,

как создала природа, вот тогда бы и она походила на почтенного линия — насколько вообще люди способны походить на нас!

— А куда девался тот человек-самец, которого тащили на удочке? Он сидел в тележке, в руках у него была бумага, чернила и перо, и он все записывал да отмечал что-то. Что он изображает? Другие называли его репортером.

— Он все еще катается тут! — сказала обросшая мхом девица из породы карасей, поперхнувшаяся житейским опытом и потому несколько охрипшая. Она проглотила когда-то крючок и терпеливо носила его в горле до сих пор. — Репортер! — продолжала она. — Выражаясь проще, понятнее, по-рыбьи, это своего рода чернильная рыба между людьми.

Так-то судили да рядили рыбы. А в искусственном гроте раздавались удары молотка и пение рабочих; им приходилось пользоваться и ночным временем, чтобы поскорее довести дело до конца. Голоса их убаюкивали Дриаду в ее «сне в летнюю ночь». Она стояла тут же, в пещере, готовая опять улететь, исчезнуть.

— Да ведь это золотые рыбки! — сказала она, кивая им головой. — Так я все-таки увидела вас! Да, да, я знаю вас! Давно знаю! Мне рассказывала о вас на родине ласточка. Какие вы хорошенькие, блестящие, милые! Просто перецеловала бы вас всех до единой! Я и других знаю! Вот этот, верно, жирный карась, этот — вкусный лебедь, а вот и старые обросшие мхом карпы! Я знаю вас всех! Вы же меня нет!

Рыбы глазели на нее в полумраке, не понимая ни слова.

Минута — и Дриады уже не было там; она опять очутилась на вольном воздухе, где «чудо света» — исполинский цветок распространял благоухание всевозможных стран земных: страны черного хлеба, побережья, где ловится треска, царства русской кожи, берегов кельнской воды и дальнего Востока, страны розового масла.

Возвращаясь домой с бала, мы еще ясно слышим в полудремоте звуки бальных мелодий; они как бы запечатлелись в нашем ухе, мы могли бы, кажется, спеть каждую; в зрачках убитого тоже, говорят, отпечатывается снимок того, кого видели его глаза в последний момент, — так вот, и выставка так же сохраняла еще отпечатки дневной суеты и шума; жизнь не замирала здесь окончательно; даже ночью Дриада угадывала ее и знала, что завтра все опять закипит, загремит здесь по-прежнему.

Она стояла среди благоухающих роз, в которых, казалось, узнала старых знакомок со своей родины — роз из дворцового парка и сада священника. Увидела она здесь и гранатовые цветы; такие же носила в своих черных кудрях Мария!

Воспоминания детства, мысли о родине мелькали в голове Дриады одни за другими, взор же ее упивался в это время дивным зрелищем выставки, лихорадочное беспокойство быстро гнало ее по диковинным залам.

Наконец, она почувствовала усталость, и усталость эта усиливалась с каждой минутой. Дриаду манило отдохнуть на мягких, разбросанных тут восточных подушках и коврах или спуститься вместе с плакучими ивами к самой воде и погрузиться в ее глубину.

Но муха-поденка не знает покоя. Сутки кончались через несколько мгновений.

Мысли ее путались, она вся дрожала и бессильно опустилась на траву у журчащего источника.

— Ты вечно бьешь из земли живой струей! — сказала она воде. — Освежи же мой язык, утоли мою жажду!

— Я не живой родник! — ответила вода. — Меня приводит в движение машина.

— Поделись со мной своей свежестью, зеленая травка! — молила Дриада. — Дай мне хоть один из твоих душистых цветов!

— Мы умираем, если нас срывают! — ответили былинки и цветы.

— Поцелуй меня, свежий ветер! Дай мне хоть один твой животворный поцелуй!

— Скоро солнце поцелует облака, и они вспыхнут ярким румянцем! — сказал ветер. — И тогда — конец тебе, как придет в свое время конец и всему этому великолепию! Да, не минет и года, как я опять буду играть здесь, на площади, мягким, сыпучим песком, вздымать и крутить по земле пыль, прах! Все становится пылью, прахом!

Дриаду охватил страх, как женщину, которая перерезала себе в ванне сонную артерию и уже истекает кровью, но вдруг вновь проникается жаждой жизни. Она поднялась, сделала несколько шагов вперед и снова беспомощно опустилась на землю перед маленькой церковью. Дверь была открыта, на алтаре горели свечи, раздавались звуки органа.

Что за музыка! Ничего такого Дриада еще не слыхивала, и все же в этих звуках ей чудилось что-то родное, знакомое. Они выливались из глубины сердец всего сотворенного Богом. Дриада внимала в них и шелесту старого дуба, и голосу старого священника, который рассказывал о великих деяниях, называл великие имена, говорил о том, что могло, что должно дать грядущим поколениям Божье создание, чтобы стяжать себе жизнь вечную!

Звуки органа росли, гудели, пели:

«Твоя тоска, твои желания вырвали тебя с корнем из родной почвы! И вот ты погибла, бедная Дриада!»

Мягкие ласкающие звуки, рыдая, замерли в воздухе; занялась заря, ветер прошумел:

— Сгиньте, мертвые призраки! Солнце встает!

Первый луч упал на Дриаду. Образ ее загорелся радужным блеском, как мыльный пузырь, готовый лопнуть, исчезнуть, превратиться в каплю, слезу, упасть на землю и испариться!

Бедная Дриада! Она блеснула росинкой, скатилась слезой и исчезла!

Солнце осветило Фату-Моргану Марсова поля, огромный Париж, маленькую площадь, обсаженную деревьями, фонтан, высокие дома и каштановое дерево — увы! — увядшее, печально поникнувшее ветвями! А вчера еще оно было так свежо, полно жизни, как сама весна!

«Оно погибло, — говорили люди, — Дриада покинула его, исчезла, как облако, — неведомо куда!»

Сорванный увядший каштановый цветок лежал на земле; его не вернула бы теперь к жизни никакая живая вода! И люди скоро втоптали его в прах.

Все это случилось в действительности.

Мы сами были этому очевидцами во время всемирной парижской выставки 1867 года.

Да, наше время — сказочное, диковинное время!



## ПРЕДКИ ПТИЧНИЦЫ ГРЕТЫ

**П**тичница Грета была единственной представительницей рода человеческого в новом, красивом домике, выстроенном при усадьбе для кур и уток. Стоял он как раз на том же самом месте, где прежде возвышался старинный барский дом с башнями, кровлей «щипцом» и рвом, через который был перекинут подъемный мост. В нескольких шагах от домика начиналась дикая чаща кустов и деревьев; прежде тут был сад, спускавшийся к большому озеру, которое теперь стало болотом. Над высокими старыми деревьями кружились и кричали грачи, вороны, галки — несметные стаи. Число их не убавлялось, сколько их ни стреляли, скорее, прибавлялось. Крики их слышны были даже в птичнике, где сидела Грета, любуясь утятками, то и дело переползавшими через ее ноги, обутые в деревянные башмаки. Старушка знала наперечет всех своих кур и уток и блюла их с той самой минуты, как они вылуплялись из яиц. Она гордилась ими, гордилась и великолепным домиком, построенным для них. В маленькой комнатке ее царствовал такой порядок, такая чистота — этого требовала сама госпожа, владелица птичника. Она часто приводила сюда своих знатных гостей «полюбоваться утиными и куриными казармами», как она выражалась.

В комнатке Греты был и платяной шкаф, и кресло, и даже комод, а на нем красовалась блестящая, полированная медная дощечка с вырезанной надписью: «Груббе». Так именно прозывался древний дворянский род, владевший когда-то старой, исчезнувшей, усадьбой. Дощечку эту нашли в земле, когда клали фундамент для нового дома, но, по словам пономаря, она имела цену только как памятник старины, не более. Пономарь был вообще очень сведущ, сведения же свои почерпал из книг да из старинных рукописей — их у него в ящиках лежало множество. Да, много знал он о старине, но старейшая из ворон знала, пожалуй, побольше его. Она и не таила этого, выкрикивала свои знания во всеуслышание, но по-своему, по-вороньи, а по-вороньи-то пономарь, несмотря на всю свою ученость, не понимал.

Вечерами, после теплых летних дней, над болотом подымался густой туман, и вся местность казалась издали большим озером, доходившим

вплоть до старых деревьев, над которыми летали грачи, вороны и галки. Такое-то вот озеро и расстилалось здесь в старину, когда еще жив был господин Груббе, владелец старого барского дома с красными кирпичными стенами. Дворовая собака ходила на такой длинной цепи, что могла бегать даже за воротами, а башня была соединена с жилыми покоем бесконечно длинной кирпичной галереей. Окошечки в доме были маленькие, узенькие даже в главной зале, где происходили танцы. Впрочем, при последнем владельце в доме уж не танцевали, хотя в зале все еще хранился старинный барабан, игравший когда-то роль в оркестре. Тут же стоял шкаф, весь покрытый искусной резьбой; в нем хранились редкие цветочные луковичы — госпожа Груббе занималась садоводством. Супруг же ее предпочитал стрелять волков да кабанов, а за ним всюду следовала и маленькая дочка его Мария. Лет пяти от роду она уже переважно сидела на коне и смело посматривала кругом своими большими черными глазами. Ее очень забавляло щелкать бичом над головами охотничьих собак, отец же предпочитал, чтобы она щелкала им по спинам крестьянских мальчишек, которые сбегались глазеть на господ.

Возле самой усадьбы стояла землянка одного крестьянина. У него был сын Серен, одних лет с дочерью господина. Серен мастер был карабкаться по деревьям, и барышня постоянно заставляла его доставать ей птичьи гнезда. Птицы вопили что было мочи, а одна из самых больших взяла раз да и клюнула мальчишку прямо в бровь. Кровь полилась ручьем, думали, что с нею вытечет и глаз, но нет, он уцелел. Мария Груббе звала мальчика «мой Серен» — это было знаком большого благоволения, и оно так пригodiлось однажды самому отцу мальчика, бедняку Иону. Он как-то раз провинился, и его посадили верхом на кобылку, т. е. на узкую острую дощечку, укрепленную на четырех деревянных подпорках, а к ногам привязали тяжелые камни, чтобы ему не сиделось чересчур удобно. Бедняк корчил страдальческие гримасы, Серен ревел и просил заступничества Марии. Она сейчас же велела спустить крестьянина с кобылки, но ее не послушались. Тогда она затопала ногами по каменной мостовой двора и так рванула своего отца за рукав, что рукав треснул. Уж она умеда поставить на своем! Пришлось уступить ей и освободить отца Серена.

Госпожа Груббе, которая в это время вышла на двор, погладила дочку по головке и ласково поглядела на нее, но Мария не поняла причины.

Ее больше тянуло к охотничьим собакам, чем к матери, и мать одна отправилась в сад, к озеру, поросшему тростником, кувшинками и другими красивыми болотными цветами и растениями. Госпожа Груббе залюбовалась этой мирной картиной. «Как хорошо здесь!» — шептали ее губы. В саду росло, между прочим, одно, в те времена очень редкое, дерево, которое она сама посадила, — красный бук. Оно было своего рода мав-



ром среди других деревьев: такие темно-коричневые на нем росли листья. Дереву нужен был яркий солнечный свет: в тени оно стало бы зеленым, как и все прочие деревья, и лишилось бы своей достопримечательности. В ветвях высоких каштанов было пропасть гнезд, в кустах и в траве тоже. Птицы как будто знали, что они тут в безопасности, что здесь никто не смеет палить в них из ружей.

Но вот явилась маленькая Мария с Сереном, а он ведь, как мы знаем, умел лазить на деревья за птичьими яйцами и покрытыми пушком птенчиками. Птицы — и большие, и малые — в ужасе подняли крик, принялись летать и хлопать крыльями! Из травы взлетали пугливы, с деревьев — грачи, вороны и галки, и все это каркало, кричало, вопило, как вопят эти породы и поныне.

— Что это вы делаете, дети? — вскричала кроткая госпожа Груббе. — Ведь это безбожно!

Серен переконфузился, высокородная барышня тоже отвернула было личико в сторону, но потом отрывисто выпалила:

— Отец позволяет!

— Прочь! Убраться, убраться отсюда! — кричали большие черные птицы, улета.

Но на другой же день они вернулись опять — тут ведь они были у себя дома.

А вот тихая, кроткая госпожа Груббе так недолго оставалась тут: Господь Бог отозвал ее к Себе — она больше была у себя дома на небе, нежели в барской усадьбе. Тело вынесли в церковь под торжественный звон колоколов, бедняки роняли слезы — она была добра к ним.

После нее некому было заботиться о ее растениях, и сад заглох.

Господин Груббе был, как говорили, человек жесткий, суровый, но дочь, несмотря на всю свою молодость, умела вертеть им по-своему; она смешила его и добивалась своего. Теперь ей минуло двенадцать лет, она была крепкого сложения, смело смотрела своими черными глазами в лицо людям, ездила верхом, как мужчина, и стреляла, как опытный охотник.

В окрестность прибыли знатные-презнатные гости: сам молодой король и его сводный брат и товарищ господин Ульрик-Фредерик Гюльденлеве. Они вздумали поохотиться на диких кабанов и хотели провести денек в усадьбе господина Груббе.

Гюльденлеве сидел за столом рядом с Марией, взял ее за подбородок и поцеловал, словно они были в родстве, но она закатила ему звонкую пощечину и сказала, что терпеть его не может. Он же, а за ним и все остальные принялись смеяться, словно она ему невесть какую приятную вещь сказала!

Да, должно быть, ее слова прилились-таки ему по вкусу: пять лет спустя, когда Марии исполнилось семнадцать лет, на двор прискакал

гонца с письмом, в котором господин Гюльденлеве просил руки благородной девицы. Вот как!

— Он знатнейший и любезнейший кавалер в королевстве! — сказал господин Груббе. — Такими женихами не брезгают!

— Не очень-то он мне нравится! — ответила дочка, но все-таки не побрезговала знатнейшим человеком в королевстве, столь близко стоявшим к самому королю.

Приданое — серебро, меха и белье — было отправлено в Копенгаген на корабле, сама невеста отправилась туда сухим путем. Переезд этот занял десять дней, корабль же с приданым был задержан отчасти противными ветрами, отчасти безветрием, и прибыл на место лишь через четыре месяца, когда самой госпожи Гюльденлеве уж и след простыл.

— Лучше спать на соломе, чем на его шелковой постели! — сказала она. — Лучше буду ходить босиком, чем разъезжать с ним в карете!

И вот поздним ноябрьским вечером в Оргус приехали две женщины: супруга Гюльденлеве — Мария Груббе и ее служанка. Они прибыли туда из Вейле, куда приплыли на корабле из Копенгагена. Скоро они въехали и в обнесенный каменной оградой двор замка господина Груббе. Неласково встретил отец дочку, но все же отвел ей комнату. Мария поселилась в ней, получала по утрам хлеб с маслом, но нельзя сказать, чтобы все остальное в ее жизни шло как по маслу. Крутой нрав отца отзывался теперь и на ней, а она к этому не привыкла, к тому же сама была не из мягких натур и за словом в карман не лазила: как аукнется, мол, так и откликнется! О своем супруге она отзывалась со злобой и ненавистью и говорила, что ни за что не сойдется с ним больше — слишком она честна и чиста душою и телом!

Так прошел год, и нельзя сказать, чтобы приятно. Отец и дочь обменивались недобрыми словами, а это не годится: недоброе слово и плод приносит недобрый.

Бог знает чем бы все это кончилось!

— Нет, нам с тобой не ужиться под одной кровлей! — сказал, наконец, старик. — Уезжай отсюда в нашу старую усадьбу да держи лучше свой язык на привязи, чем давать ход сплетням!

Отец с дочерью расстались; она переехала со своей служанкой в старую усадьбу, где родилась и выросла, где жила и умерла ее кроткая, благочестивая мать, обретшая покой в склепе старой усадебной церкви. В усадьбе жил только старый пастух — вот и вся дворня. В комнатах висела паутина, покрытая черным слоем пыли, сад совсем заглох; между деревьями и кустами повисли густые сети хмеля и вьюнка; белена и крапива разрослись на славу. Красный бук рос теперь в тени, и листья его приняли обыкновенную зеленую окраску — миновала его краса! Но над высокими каштанами по-прежнему летали бесчисленные стаи грачей, ворон и галок. Они кричали и вопили, словно передавая друг другу

великую новость: «Опять приехала сюда та девчонка, что приказывала таскать у нас яйца и птенцов! Сам же воришка карабкается теперь по дереву без сучьев и листьев, взбирается на высокие мачты и частенько получает здоровые трепки, коли ведет себя не так, как надо».

Обо всем этом рассказывал нам пономарь; он добыл все эти сведения из разных книг и записок — у него их был полный шкаф.

— На этом свете все идет то в гору, то под гору! — говаривал он. — Диковинно послушать!

Послушаем и мы о том, что случилось с Марией Груббе, но не забудем при этом и о птичнице Грете, что сидит в своем великолепном птичнике в наше время, как Мария сидела в усадьбе в свое, только не то у нее было на душе, что у птичницы Греты!

Прошла зима, прошли весна и лето, опять завывали осенние ветры, потянулись с моря сырые, холодные морские туманы. Скучно, одиноко жилось в усадьбе.

И вот Мария Груббе взялась за свое ружье, стала ходить в степь стрелять зайцев да лисиц, а то и птиц, если попадались. В поле она частенько встречала благородного господина Палле Дюре из Нерребэка. Он тоже разгуливал там с ружьем да собаками. Дородный он был, сильный мужчина и всегда хвастался этим в беседах с Марией. Он мог даже помериться силою с покойным господином Броккенгусом из Эгескова, что на Фионии, о силе которого и до сих пор ходили рассказы. По его-то примеру и Палле Дюре повесил у себя в воротах железную цепь с охотничьим рожком и, возвращаясь домой, схватывался за эту цепь, приподымался на воздух вместе с лошадьёю и трубил в рог.

— Приезжайте сами посмотреть на это, сударыня! — говорил он. — У нас в Нерребэке можно подышать свежим воздухом!

Когда именно она приехала к нему, из старинных записей не видно, но на подсвечниках в Нерребэкской церкви можно прочесть, что они принесены церкви в дар господином Палле Дюре и Марией Груббе, владельцами Нерребэка.

Делом и силой Палле Дюре похвастаться мог, вино он всасывал в себя, как губка, как бездонная бочка, а храпел, как целое стадо свиней. Красный он был, разбухший!

— Ехидный, да и задира вдобавок! — говорила про него госпожа Палле Дюре, урожденная Груббе.

Скоро ей наскучило вести такую жизнь, но жизнь-то от этого лучше не становилась.

И вот в один прекрасный день стол был накрыт, и кушанья остыли: Палле Дюре охотился за лисицами, а госпожу нигде не могли отыскать. Палле Дюре вернулся домой около полуночи, а госпожа Дюре не вернулась ни ночью, ни на другой день утром. Она покинула Нерребэк, ушла, не простившись ни с кем.

Погода стояла сырая, серая, дул холодный ветер, над головой Марии с криком вились стаи черных птиц — они-то не были такими бездомными беглянками, как она.

Мария сначала направилась к югу, в Германию; тут золотые перстни с драгоценными камнями были обращены в деньги; потом она направилась на восток, потом опять повернула на запад — у нее не было перед собой никакой цели, она сердилась на всех и на все, даже на Бога: так ожесточена была ее душа. Но вот силы начали изменять ей, она едва передвигала ноги от усталости, наконец, запнулась о кочку и упала. С кочки взлетела пигаица и пискнула: «Чув-чув! Ах ты воровка!» Мария никогда не посягала на добро ближнего, но птичьи яйца и птенцов приказывала красть для себя, когда была маленькая. Теперь она припомнила это.

С того места, где она лежала, видны были береговые дюны; там жили рыбаки, но она не могла добраться до них — так она была слаба. Большие белые чайки пролетали над нею и кричали так же пронзительно, как кричали, бывало, грачи, вороны и галки в усадьбе; птицы подлетали к Марии все ближе и ближе, под конец из белых стали черными, как уголь, да и все потемнело в ее глазах...

Когда она опять открыла их, то увидела, что ее подняли и несут на руках. Нес ее высокий, сильный малый. Она взглянула в его бородатое лицо — над глазом у него был глубокий шрам, бровь как будто была перерезана пополам. Он отнес несчастную женщину на судно, где служил матросом, а шкипер разругал его за это на чем свет стоит.

На другой день корабль отплыл. Марию Груббе не высадили — значит, и она тоже отправилась в плавание. Но она, конечно, вернулась обратно? Да, только когда и куда?

И об этом пономарь мог рассказать; при этом он ровно ничего не выдумывал от себя, а почерпал все свои сведения из достоверного источника — из одной старой книги, которую мы и сами можем взять да прочесть. Написал ее датский историк Людвиг Гольберг, автор многих прекрасных книг и забавных комедий, которые так живо рисуют нам его век и современников. В своих письмах Гольберг рассказывает о своей встрече с Марией Груббе. Об этом стоит послушать, но все же мы не забудем из-за этого птичницы Греты, что сидит теперь такая веселая и довольная в своем великолепном птичнике.

Остановились мы на том, что Мария Груббе отплыла на корабле.

Прошли годы...

В Копенгагене в 1711 году свирепствовала чума. Королева Дании отплыла на родину в Германию, король тоже покинул столицу, да и все, кто только мог, бежали из нее. Старались выбраться из города и студенты, даже те, что пользовались даровым помещением и столом. В так называемой Борхс-Коллегии оставался всего один студент, да и

тот собирался уехать. Было два часа ночи, когда он вышел оттуда с ранцем на плечах; в нем больше было книг и рукописей, нежели платья и белья. Над городом навис густой тягучий туман, на улицах не было видно ни души. Кругом почти на всех дверях и воротах стояли кресты — в тех домах были больные чумой или все уже вымерли. Не было видно людей и в более широкой извилистой Kjødmangergade, как называлась тогда улица от Круглой башни до королевского дворца. Но вот мимо прокатилась тяжелая телега. Кучер пощелкивал кнутом, лошади неслись вскачь; телега была битком набита трупами. Молодой студент поднес руку к носу и стал вдыхать крепкий спирт, в который была омочена губка, уложенная в медную коробочку. Из кабака в одном из переулков раздавалось дикое пение и хохот. Люди пьянствовали там всю ночь, чтобы забыть о чуме, стоявшей за дверями и готовый уложить их в телегу к другим мертвецам. Студент направился к дворцовому мосту; у набережной стояла пара небольших судов; одно уже готовилось отплыть из зараженного города.

— Коли Бог даст, будем живы иждемся попутного ветра, пойдем в Грензунд к Фальстеру! — сказал шкипер и спросил студента, желавшего сесть на судно, как его зовут.

— Людвиг Гольберг! — ответил тот, и имя это прозвучало тогда, как и всякое другое, теперь же оно принадлежит к славнейшим датским именам! А тогда-то он был простой, не известный никому бедный студент.

Судно проплыло мимо дворца, и еще не рассвело, как оно уже вышло в открытое море. Поднялся легкий ветерок, паруса надулись, молодой студент сел лицом против свежего ветра да и заснул; нельзя сказать, чтобы это было с его стороны особенно благоразумно!

Уже на третье утро судно встало на якорь у Фальстера.

— Не знаете ли вы, у кого бы мне найти здесь пристанище за небольшую плату? — спросил Гольберг у капитана.

— Думаю, что лучше всего вам обратиться к перевозчице! — ответил тот. — Коли хотите быть с нею полюбезнее, зовите ее матушкой Серен Серенсен Меллер! Но смотрите, не слишком-то уж любезничайте, не то она рассердится! Муж ее арестован за убийство, и она сама теперь правит перевозом — лапищи у нее здоровые!

Студент забрал свою котомку и пошел в домик перевозчицы. Дверь не была заперта; он приподнял щеколду и вошел в комнату, выстланную кирпичом. Главной мебелью была длинная скамья, покрытая большим кожаным одеялом. К скамье была привязана белая наседка с цыплятами; она опрокинула блюдечко с питьем, и вода разлилась по полу. Ни в этой, ни в соседней комнате не было ни души, кроме грудного ребенка в колыбельке. Но вот показалась лодка, отплывшая от противоположного берега; в ней кто-то сидел, но кто именно — мужчина или женщина —

решить было мудрено: сидевший был закутан в широкий плащ с капюшоном, покрывавшим голову. Лодка пристала к берегу.

Из нее вышла и вошла в комнату женщина, еще очень видная собой, особенно когда выпрямляла спину. Из-под черных бровей гордо смотрели черные глаза. Это и была сама матушка Серен, перевозчица. Грачи, вороны и галки прокричали бы, впрочем, другое, более знакомое нам имя.

Сурово глядела она, скупа была на слова, но все же студенту удалось сговориться с нею насчет платы за стол и за помещение на то время, пока в Копенгагене будет обстоять неблагополучно.

В домик перевозчицы частенько заглядывали из ближайшего городка некоторые почтенные граждане, вроде Франца Ножевщика и Сиверта Обозревателя мешков<sup>1</sup>. Они потягивали из кружек пиво и беседовали со студентом. Он был мастер своего дела, как выражались они: читал по-латыни и по-гречески, умел потолковать об ученых предметах.

— Чем меньше знаешь, тем легче живется! — заметила однажды матушка Серен.

— Да, вот вам-то не легко приходится! — сказал Гольберг, застав ее за стиркой белья в щелоке, причем ей самой приходилось раскалывать тяжелые плахи на подтопку.

— Ну, про то я одна знаю! — ответила она.

— Что ж, вы с малых лет так колотитесь?

— Это видно по рукам: прочесть, чай, нетрудно! — сказала она, показывая ему свои, правда, маленькие, но огрубелые и сильные руки с обкусанными ногтями. — Вы ведь ученый!

Около Рождества начались сильные метели; мороз крепчал, ветер как будто промывал людям лица крепкой водкой. Но матушка Серен не боялась никакой погоды, завернувшись в свой плащ да надвинув капюшон на голову.

Было непоздно, но в комнатке уже совсем стемнело; хозяйка подложила в печку хвороста и вереска, сама уселась возле и принялась штопать свои чулки — другому некому было взяться за это дело. Под вечер она стала словоохотливее, чем это вообще было в ее привычках. Она заговорила о своем муже.

— Он нечаянно убил одного драгерского шкипера и должен за это три года пробыть на каторге. Что ж, он ведь простой матрос, так должно поступать с ним по закону!

— Поступают по закону и с лицами высшего сословия! — сказал Гольберг.

— Вы думаете? — сказала матушка Серен и поглядела в огонь, но затем начала снова. — А вы слышали о Кае Люкке? Он велел скрыть

<sup>1</sup> Действующие лица из комедии Гольберга «Медник-Политик». — *Примеч. перев.*



одну из своих церквей, а когда священник Мас стал громить его за это с кафедры, приказал заковать духовного отца в цепи, созвал суд и сам приговорил его к казни. И священнику отрубили голову! Это уж не было нечаянным убийством, а Кая Люкке все-таки не тронули!

— Он действовал сообразно нравам своего времени! — сказал Гольберг. — Теперь эти времена миновали!

— Рассказывайте! — сказала матушка Серен, встала и пошла в другую каморку, где была девчурка, прибрала и уложила ее, потом приготовила на скамье постель студенту. Кожаное одеяло было отдано ему — он был куда чувствительнее к холоду, чем она, даром что родился в Норвегии.

Утро в день Нового года было ясное, солнечное; мороз, однако, стоял такой, что нанесенный метелью снег превратился в твердую кору, и по нему можно было ходить как по полу. Колокола в городе зазвонили к обедне. Студент завернулся в свой шерстяной плащ и собрался пойти в город.

Над домиком перевозчицы с криком и карканьем летали грачи, вороны и галки; из-за их крика не слышно было даже колокольного звона. Матушка Серен стояла за порогом и набирала в котелок снегу, чтобы вскипятить воды. Она смотрела на стаи птиц и думала свою думушку.

Студент пошел в церковь; на пути туда и обратно ему пришлось проходить мимо дома Сиверта Обозревателя мешков. Когда студент проходил во второй раз, его зазвали выпить кружку теплого пива с сиропом и имбирем. Речь зашла о матушке Серен, но хозяин немного мог сообщить о ней — знал только, что она нездешняя, что у нее когда-то водились деньжонки и что муж ее, простой матрос, убил сгоряча одного драгерского шкипера. «Он бивал и жену, но она стоит за него горой!»

— Я бы такого обращения не потерпела! — сказала хозяйка. — Ну, да и то сказать, я лучшего происхождения! Мой отец ведь был королевским ткачом чулок!

— Да и замужем-то вы за королевским чиновником! — сказал Гольберг и откланялся хозяевам.

Вот подошел и вечер, а в вечер Нового года празднуется память трех восточных царей, пришедших на поклонение Младенцу Иисусу, и матушка Серен зажгла для Гольберга в честь трех царей особую, «тройную», сальную свечу собственного изделия.

— По одной свечке для каждого мужа! — сказал Гольберг.

— Для каждого мужа? — спросила женщина и пристально посмотрела на него.

— Ну да, для каждого из восточных мужей! — сказал студент.

— Ах, вы вот о чем! — сказала она и долго сидела молча.

Но все-таки в этот вечер студенту удалось выведать от нее кое-что.

— Вы любите своего мужа? — начал Гольберг. — А поговаривают, что он обходился с вами жестоко.

— Это никого не касается, кроме меня! — ответила она. — Такие побои принесли бы мне большую пользу в детстве, теперь же они достаются мне, вероятно, за мои грехи! О том же, сколько добра он мне сделал, знаю я одна! — И она выпрямилась. — Я валялась в степи больная, и никому не было дела до меня, кроме разве грачей да ворон, которые готовы были заклевать меня! А он взял меня на руки и отнес на судно, не побоялся головомойки шкипера за такой груз! Я не из хворых и скоро оправилась. Каждый живет по-своему, и Серен по-своему. Нельзя судить клячу по узде! С ним мне все-таки жилось куда лучше, нежели с любезнейшим и знатнейшим из всех подданных короля. Я ведь была замужем за наместником Гюльденлеве, сводным братом короля. Потом я вышла за Палле Дюре. Оба — одного поля ягоды! У каждого свой вкус, и у меня свой! Заболталась я, однако, с вами, ну да зато теперь вы знаете все!

И она ушла из комнаты.

Это была Мария Груббе! Вот как обернулось для нее колесо счастья! Немного еще новогодних вечеров довелось ей пережить. Гольберг пишет, что она умерла в июне 1716 года, но он не пишет о том — да он и не знал этого, — что, когда матушка Серен, как ее называли, лежала в гробу, над домом молча носились стаи больших черных птиц — они как будто знали, что там, где похороны, надо соблюдать тишину. После же того, как тело предали земле, черные птицы улетели, и никто больше не видел их в той местности. Зато в тот же вечер над старой усадьбой в Ютландии виднелись целые стаи грачей, ворон и галок, готовых перекричать друг друга. Они словно торопились поделиться вестью, что таскавший их яйца и покрытых пушком птенцов крестьянский мальчишка работает теперь в кандалах на каторге, а благородная девица окончила жизнь перевозчицей через Грензунд. «Кра! Кра! Бра! Бра! Браво!» — кричали птицы. То же кричали они, когда срывали старую усадьбу.

— Они и теперь кричат то же, а и кричать-то уж не о чем! — сказал пономарь. — Весь род Груббе вымер, усадьба скрыта, и на месте ее стоит теперь нарядный птичник с вызолоченными флюгерами, а в нем сидит птичница Грета. Как она радуется своему прелестному жилищу! Не попади она сюда, ей ведь пришлось бы доживать век в богадельне!

Над нею ворковали голубки, вокруг хлопали индейки, крикали утки.

— Никто не знает ее! — толковали они. — Безродная она. Милость Божья, что она попала сюда. Нет у нее ни селезня-батюшки, ни курицы-матушки, ни деток!

Но она все-таки не была безродной; предки-то у нее были, только она не знала их. Не знал их и пономарь, сколько ни валялось у него в ящике стола рукописей; знала и рассказывала об этом лишь одна из

старых ворон. Она еще от матери своей и бабушки слышала о матери и о бабушке Греты. Последнюю-то и мы знаем, знаем еще с тех пор, как она девочкой проезжала по подъемному мосту и гордо посматривала кругом, словно весь свет и все птичьи гнезда принадлежали ей одной. Видели мы ее потом в степи, около дюн, и, наконец, у перевоза через Грензунд.

Внучка ее, последняя в роде, опять попала туда, где стояла старая усадьба и где кричали черные дикie птицы, но она-то сидела в кругу ручных, домашних птиц. Они знали ее, и она знала их. Птичнице Грете нечего было больше желать, она бы рада была и умереть теперь — стара уж она стала.

«Гроб! Гроб!» — кричали вороны.

И птичницу Грету положили в гроб и схоронили, но где — никто не знает, кроме старой вороны, если только и та не околела.

Так вот, мы теперь узнали историю старой усадьбы и древнего рода, узнали и о предках птичницы Греты.



## ДОЛЯ РЕПЕЙНИКА

**П**еред богатой усадьбой был разбит чудесный сад с редкими деревьями и цветами. Гости, наезжавшие в усадьбу, громко восхищались садом; горожане и окрестные деревенские жители нарочно приезжали сюда по воскресеньям и праздникам просить позволения осмотреть его; являлись сюда с той же целью и ученики разных школ со своими учителями.

За решеткой сада, отделявшей его от поля, вырос репейник; он был такой большой, густой и раскидистый, что по всей справедливости заслуживал название репейного куста. Но никто не любовался на него, кроме старого осла, возившего тележку молочницы. Он вытягивал свою длинную шею и говорил репейнику: «Как ты хорош! Так бы и съел тебя!» Но веревка была коротка, и ослу не удавалось дотянуться до репейника.

В саду собралось раз большое общество; к хозяевам приехали знатные гости из столицы, молодые люди, прелестные молодые девушки, и между ними одна барышня издалека, из Шотландии, знатного рода и очень богатая. «Завидная невеста», — говорили холостые молодые люди и их маменьки.

Молодежь резвилась на лужайке, играла в крокет, затем все отправились гулять по саду; каждая барышня сорвала по цветочку и воткнула его в петлицу одного из молодых людей. Молодая же шотландка долго озиралась кругом, выбирала, выбирала, но так ничего и не выбрала: ни один из садовых цветков не пришелся ей по вкусу. Но вот она глянула за решетку, где рос репейник, увидела его иссиня-красные пышные цветы, улыбнулась и попросила сына хозяина дома сорвать ей один из них.

— Это цветок Шотландии! — сказала она. — Он красуется в шотландском гербе. Дайте мне его!

И он сорвал самый красивый, уколол себе при этом пальцы, словно цветок рос на колючем шиповнике.

Барышня продела цветок молодому человеку в петлицу, и он был очень польщен этим, да и каждый из остальных молодых людей охотно бы отдал свой роскошный садовый цветок, чтобы только получить из ручек прекрасной шотландки хоть репейник. Но уж если был польщен

хозяйский сын, то что же почувствовал сам репейник? Его как будто окропило росой, осветило солнышком.

«Однако я поважнее, чем думал! — сказал он про себя. — Место-то мое, пожалуй, в саду, а не за решеткою. Вот, право, как странно играет нами судьба! Но теперь хоть одно из моих детищ перебралось за решетку, да еще угодило в петлицу!»

И с тех пор репейник рассказывал об этом событии каждому вновь распускавшемуся бутону. Не прошло за тем и недели, как репейник услышал новость — не от людей, не от щебетуний-пташек, а от самого воздуха, который воспринимает и разносит повсюду малейший звук, раздавшийся в самых глухих аллеях сада или во внутренних покоях дома, где окна и двери отворены настежь. Ветер сообщил, что молодой человек, получивший из прекрасных рук шотландки цветок репейника, удостоился, наконец, получить и руку и сердце красавицы. Славная вышла парочка, вполне приличная партия.

«Это я их сосватал!» — решил репейник, вспоминая свой цветок, попавший в петлицу. И каждый вновь распускавшийся цветок должен был выслушивать эту историю.

«Меня, конечно, пересадят в сад! — рассуждал репейник. — Может быть, даже посадят в горшок; тесновато будет, ну да зато почетно!»

И репейник так увлекся этой мечтой, что уже с полной уверенностью говорил: «Я попаду в горшок!» — и обещал каждому своему цветочку, который появлялся вновь, что и он тоже попадет в горшок, а может быть, даже и в петлицу — выше этого уж попасть было некуда! Но ни один из цветов не попал в горшок, не говоря уже о петлице. Они впивали в себя воздух и свет, солнечные лучи днем и капельки росы ночью, цвели, принимали визиты женихов — пчел и ос, которые искали приданого, цветочного сока, получали его и покидали цветы. «Разбойники этикие! — говорил про них репейник. — Так бы и проколол их насквозь, да не могу!»

Цветы поникали головками, блекли и увядали, но на смену им распускались новые.

— Вы являетесь как раз вовремя! — говорил им репейник. — Я с минуты на минуту жду пересадки туда, за решетку.

Невинные ромашки и мокричник стояли и слушали его с глубоким изумлением, искренно веря каждому его слову.

А старый осел, таскавший тележку молочницы, стоял на привязи у дороги и любовно косился на цветущий репейник, но веревка была коротка, и он никак не мог добраться до кустарника.

А репейник так много думал о своем родиче, шотландском репейнике, что под конец уверовал в свое происхождение из Шотландии и в то, что именно его-то родители и сидели в гербе страны. Великая то была мысль, но отчего бы такому большому репейнику и не иметь великих мыслей?







— Иной раз приходишь из такой знатной семьи, что не смеешь и догадываться о том! — сказала крапива, росшая возле; у нее тоже было какое-то смутное сознание, что при надлежащем уходе и она могла бы превратиться в кисею!

Лето прошло, прошла и осень, листья с деревьев пооблетели, цветы приобрели более яркую окраску, но отчасти утратили свой запах. Ученик садовника распевал в саду по ту сторону решетки:

Вверх на горку,  
Вниз под горку,  
Времечко бежит!

Молоденькие елочки в лесу начали уже томиться предрождественской тоской, но до Рождества было еще далеко.

— А я-то все еще здесь стою! — сказал репейник. — Никому как будто и дела до меня нет, а ведь я устроил свадьбу! Они обручились, да и поженились вот уж неделю тому назад! Что ж, сам я шагу не сделаю — не могу!

Прошло еще несколько недель. На репейнике красовался уже только один цветок, последний, но большой и пышный. Вырос он почти у самых корней, ветер обдавал его холодом, краски его поблекли, и чашечка, такая большая, словно у цветка артишока, напоминала теперь высеребренный подсолнечник.

В сад вышла молодая парочка, муж с женою. Они шли вдоль садовой решетки, и молодая женщина взглянула через нее.

— А вот он, большой репейник! Все еще стоит! — воскликнула она. — Но на нем нет больше цветов!

— Нет, видишь вон блаженную тень последнего! — сказал муж, указывая на высеребренный остаток цветка.

— А он все-таки красив! — сказала она. — Надо велеть вырезать такой на рамке вокруг нашего портрета.

И молодому мужу опять пришлось перелезть через решетку и сорвать цветок репейника. Цветок уколол ему пальцы — молодой человек ведь обозвал его блаженной тенью. И вот цветок попал в сад, в дом и даже в залу, где висел портрет молодых супругов, написанный масляными красками. В петлице у молодого был изображен репейный цветок. Поговорили и об этом цветке и о том, который только что принесли; его решено было вырезать на рамке.

Ветер подхватил эти речи и разнес их далеко-далеко по всей окрестности.

— Чего только не приходится пережить! — сказал репейник. — Мой первенец попал в петлицу, мой последыш попадет в рамку! Куда же попаду я?

А осел стоял у дороги и косился на него.

— Подойди же ко мне, моя аппетитная! Я не могу подойти к тебе — веревка коротка!

Но репейник не отвечал; он все больше и больше погружался в думы. Так он продумал вплоть до Рождества и, наконец, расцвел мыслью:

— Коли детки пристроены хорошо, родители могут постоять и за решеткой!

— Вот это благородная мысль! — сказал солнечный луч. — Но и вы займете почетное место!

— В горшке или в рамке? — спросил репейник.

— В сказке! — ответил луч.

Вот она!



## ЧТО МОЖНО ПРИДУМАТЬ

**Ж**ил-был молодой человек; он усердно готовился в поэты и хотел стать поэтом уже к Пасхе, потом жениться и зажить творчеством. Это вовсе не трудно: все дело в том, чтобы придумывать да придумывать, но что именно? То-то вот и есть! Опоздал он родиться! Все сюжеты уже были разобраны до его появления на свет, все уже было описано, воспето в поэзии.

— То-то счастье было тем, что родились тысячу лет тому назад! — сказал он. — Им-то легко было обессмертить себя! Да, счастливы были и те, что явились на свет лет за сто до нашего времени, — и тогда еще оставалось кое о чем писать. Но теперь все на свете давно воспето и перепето, о чем же петь мне?

И он так усердно ломал себе голову, что, наконец, захворал, бедняга. Никакой доктор не мог ему помочь, одна оставалась надежда на знахарку. Она жила в маленьком домике, у околицы, которую и должна была отворять для вozов и проезжих. Но она годилась кое на что и поважнее — умом-то она ведь заткнула бы за пояс любого доктора, что ездит в собственном экипаже и платит государственный налог за чин!

— Надо пойти к ней! — решил молодой человек.

Жила знахарка в маленьком, чистеньком, но как будто скучном на вид домике: ни деревца вокруг, ни цветочка! Перед дверями только улей — вещь полезная, да картофельное поле — тоже вещь очень полезная, да еще канава, обросшая кустами терновника. Терновник уже отцвел и был осыпан ягодами, которые сводят рот, если вздумаешь есть прежде, чем их хватит морозом.

«Точная картина нашего времени, лишенного всякой поэзии!» — подумал молодой человек. Вот уж, значит, он и нашел у дверей знахарки жемчужное зернышко — у него блеснула идея!

— Запиши ее! — сказала старуха. — И крошки ведь тот же хлеб! Я знаю, зачем ты пришел! Ты не можешь ничего придумать, а все-таки хочешь выйти к Пасхе в поэты!

— Все сюжеты уже разобраны! — сказал он. — Наше время — не доброе старое время!

— Нет! — ответила старуха. — В то время знахарок сжигали, а поэты разгуливали с пустым желудком да с прорванными локтями. Наше время именно самое лучшее время! Но ты не умеешь смотреть на вещи как следует, ты не изоощрял своего слуха и мало читал по вечерам «Отче наш!» Есть о чем петь и рассказывать и в наше время, умей только взяться за дело! Черпай мысли, откуда хочешь: из трав и злаков земных, из стоячих и текучих вод! Но для этого, конечно, нужно обладать даром разумения, уметь — как говорится — поймать солнечный луч! На вот, попробуй-ка надеть мои очки, приставь к уху мой слуховой рожок, призови на помощь Господа Бога да перестань думать о самом себе!

Последнее-то уж было чересчур трудно; некстати бы такой умной женщине и требовать этого!

Молодой человек вооружился очками, слуховым рожком, и знахарка поставила его посреди картофельного поля, вручив ему предварительно большую картофелину. Картофелина издавала звуки. Он прислушался и услышал целую песню о житье-бытье картофелины, «обыкновенную историю» в десяти частях. А и десяти строк было бы довольно!

Так о чем же пела картофелина?

Она пела о самой себе и своей семье, о прибытии первых картофелин в Европу и о тех испытаниях и мытарствах, через которые они прошли, пока их признали куда большей благодатью для края, нежели золотые самородки.

«Нас разослали, согласно королевскому приказу, по всем городским ратушам; всем было объявлено о нашем великом значении, но в него не верили, не знали даже, как обращаться с нами. Кто выкапывал яму и бросал в нее всю меру картофеля зараз, кто рассаживал картофелины там и сям по полю и ждал, что из них вырастут целые деревья, с которых можно будет отряхивать картофелины! Ну, вот и выростала зелень, на ней распускались цветы, потом появлялись водянистые плоды, но затем все растение увядало, и никому в голову не приходило, что настоящая-то благодать лежит в земле — самые-то картофелины. Да, много мы перетерпели, вынесли, то есть не мы, а наши предки, но это все едино!»

— Вот так история! — сказал молодой человек.

— Ну, теперь довольно! — сказала старуха. — Посмотри на терновник!

— У нас тоже есть близкая родня на родине картофеля, — заговорил терновник, — но несколько севернее, чем растет он. Туда явились норманны; они плыли навстречу туманам и бурям и попали в неведомую страну, где под снегом и льдом нашли разные травы, растения и кусты с темно-синими ягодами, похожими на виноград, из которых тоже можно делать вино. То был терновник; его ягоды созревают на морозе, как и мои. И вся страна получила имя Винной страны, Зеленой страны, Гренландии!

— Да это целая поэма! — сказал молодой человек.

— Да, а теперь иди-ка вот сюда! — сказала знахарка и подвела его к улью. Он заглянул туда. Что за жизнь, какое движение! Во всех проходах сидели пчелы и махали крылышками, чтобы проветрить эту огромную фабрику, — это была их обязанность. А в улей все прибывали новые и новые пчелы, нагруженные провизией; они приносили на щеточках ножек цветочную пыль, отряхивали ее, сортировали — часть шла на мед, часть на воск. Пчелы прилетали и улетали; царица тоже хотела было улететь, но за нею пришлось бы улететь и всем, а не время было, и вот они взяли да и откусили ее величеству крылышки — пришлось ей остаться на месте!

— Подымись теперь на насыпь, что возле канавы! — сказала знахарка. — Погляди на дорогу и на добрых людей!

— Да там их тьма-тьмушная! — воскликнул молодой человек. — Шум, гам! История на истории! Ох, у меня в глазах темнеет! Я упаду навзничь!

— Нет, смело иди вперед! — сказала старуха. — Иди прямо навстречу жизни, в самую густую толпу, да насторожи и глаза, и уши, и сердце! Тогда живо придумаешь что-нибудь! Но сперва отдай мне мои очки и слуховой рожок, а там и ступай себе!

И она взяла у него и то, и другое.

— Теперь я ровно ничего не вижу! — сказал молодой человек. — И ничего не слышу!

— Ну, видно, не сделаться тебе поэтом к Пасхе! — сказала знахарка.

— А когда же? — спросил он.

— Ни к Пасхе, ни к Троице! Тебе никогда ничего не придумать!

— Так за что же мне взяться, что делать, если я хочу жить творчеством?

— Ну, этого-то ты можешь добиться и к масленице! Засади поэтов в бочку да и колоти по ней! Колоти по их творениям — это все одно что колотить их самих! Только не падай духом, колоти хорошенько и сколотишь себе деньжонки! Хватит на прокорм и тебе, и жене!

— Вот что можно придумать! — сказал молодой человек и принялся колотить поэтов одного за другим: самому-то ему не удалось сделаться поэтом.

Мы узнали все это от знахарки; она-то уж знает, что можно придумать!



<sup>1</sup> Намек на старинный обычай сажать на масленице в бочку кошку. См. примеч., т. II, стр. 153.



## И В ЩЕПКЕ ПОРОЮ СКРЫВАЕТСЯ СЧАСТЬЕ!

**Т**еперь я расскажу вам историю о счастье. Все знакомы со счастьем, но иным оно улыбается из года в год, иным только в известные годы, а бывают и такие люди, которых оно дарит улыбкой лишь раз в их жизни, но таких, которым бы оно не улыбнулось хоть раз, — нет.

Я не стану рассказывать о том, что маленьких детей присылает на землю Господь Бог, что Он кладет их прямо к груди матери, что это может случиться и в богатом замке, в уютной комнате, и в чистом поле, на холоде и ветре, — это знает всякий. Но вот что знает не всякий, а между тем это вернее верного: Господь Бог, ниспосылая на землю ребенка, ниспосылает вместе с ним и его счастье. Только счастье это не кладется на виду, рядом с ребенком, а прячется обыкновенно в каком-нибудь таком местечке, где меньше всего ожидают найти его. Найдись же оно всегда рано или поздно найдется, и это лучше всего! Оно может скрываться в яблоке, как, например, счастье одного великого ученого по имени Ньютон. Яблоко шлепнулось перед ним на землю, и он нашел в нем свое счастье. Если ты не знаешь этой истории, то попроси рассказать тебе ее того, кто знает, я же хочу рассказать другую историю — о груше.

Жил-был бедняк; он и родился, и вырос в нужде, и в приданое за женою взял нужду. По ремеслу же он был токарь и точил главным образом ручки да колечки для зонтиков, но работа эта только-только позволяла ему перебиваться с семьей.

«Нет мне счастья!» — говаривал он.

История эта настоящая быль; я мог бы даже назвать и страну и местность, где жил наш токарь, но не все ли равно?

Первым и главным украшением его садика служила красная кислая рябина, но росло в саду и одно грушевое дерево, да только без плодов. И все же счастье токаря скрывалось как раз в этом дереве, в его невидимых грушах!



Раз ночью поднялась сильная буря; в газетах писали даже, что ветер подхватил большой дилижанс и швырнул его оземь, как щепку. Немудрено, что таким ветром обломило и сук у грушевого дерева.

Сук принесли в мастерскую, и токарь, ради шутки, выточил из него большую грушу, потом поменьше, еще меньше и, наконец, несколько совсем крохотных.

— Пора было дереву принести груши! — сказал он шутя и роздал груши детям — пусть играют!

К числу вещей, необходимых в сырых, дождливых странах, относится, конечно, зонтик, но вся семья токаря обходилась одним зонтиком. В сильный ветер зонтик выворачивало наизнанку, иногда даже ломало, но токарь сейчас же приводил его в порядок. Одно было досадно — пуговка, на которую настегивалось колечко шнурка, охватывавшего сложенный зонтик, часто выскакивала или ломалось само колечко.

Раз пуговка отскочила, токарь стал искать ее на полу и нашел вместо нее одну из маленьких точеных груш, которые отдал играть детям.

— Пуговики теперь не найти! — сказал токарь. — Но можно воспользоваться вот этой штучкой! — И он просверлил в груше дырочку, протернул сквозь нее шнурок, и маленькая груша плотно вошла в полуколючку. Так хорошо застежка еще никогда не держалась!

Посылая на следующий год в столицу ручки для зонтиков, токарь послал также вместо застежек и несколько выточенных груш с полуколючками к ним и просил хозяина магазина испробовать новые застежки. Последние попали в Америку; там скоро смекнули, что маленькие груши лучше, удобнее всяких пуговок, и потребовали от поставщика, чтобы впредь и все зонтики высылались с такими застежками.

Вот когда закипела работа! Груш понадобились тысячи! Токарь принялся за дело, точил, точил, все грушевое дерево пошло на маленькие груши. А груши приносили скиллинги и далеры!

— Так счастье мое скрывалось в грушевом дереве! — сказал токарь. У него теперь была уже большая мастерская, он держал подмастерьев и учеников, вечно был весел и приговаривал: «И в щепке порою скрывается счастье!»

Скажу то же самое и я.

Говорят же ведь: «возьми в рот белую щепочку и станешь невидимкою!» Но для этого нужно взять настоящую щепочку, которая дается нам на счастье от Господа Бога. Вот и мне дана такая, и я тоже могу извлечь из нее, как и токарь, звонкое, блестящее, лучшее в свете золото — то золото, что блестит огоньком в детских глазках, звенит смехом из детских уст и из уст их родителей. Они читают мои сказки, а я стою посреди комнаты невидимкою — у меня во рту белая щепочка! И увижу я, что они довольны моей сказкой, я тоже скажу: «Да, и в щепке порою скрывается счастье!»

## КОМЕТА

**И** вот на небе появилась комета, ядро ее сияло, хвост грозил розгой. На нее смотрели и из богатых замков, и из бедных домов, глазели и целые толпы, устремлял взор и одинокий путник, проходивший по безлюдной степи, и каждый при этом думал свое.

— Идите смотреть на небесное знамение! Какое великолепие! — сказал кто-то, и все повысыпали из дома смотреть на комету.

Но в одной горнице еще остались двое: маленький мальчик с матерью. На столе горела сальная свечка, и мать увидела, что на фитиле образовался нагар в виде стружки, а это означало, по народному поверью, скорую смерть мальчика — стружка ведь наклонилась в его сторону.

Мать верила в эту старинную примету. Но мальчику суждено было прожить на земле долгие годы и увидеть комету во второй раз, более шестидесяти лет спустя.

Мальчик не замечал нагара на свечке, не думал о комете, появившейся при нем впервые. Перед ним стояло на столе склеенное блюдечко с мыльной водой, он погружал в нее маленькую глиняную трубочку, брал в рот другой конец ее и пускал мыльные пузыри — и большие, и маленькие. Они колебались и переливались всеми цветами радуги, из желтых становились красными, из лиловых голубыми, а потом вдруг окрашивались в ярко-зеленый цвет листьев, залитых в лесу лучами солнышка.

— Дай Бог прожить тебе столько лет, сколько пустишь пузырей! — сказала мать.

— Ох, как много! — воскликнул мальчик. — Этой мыльной воды хватит на век!

И он продолжал выпускать пузырь за пузырем.

— Вот летит год! Вот еще! Гляди, как они летят! — приговаривал он. Два пузыря влетели ему прямо в глаза; как их защемило, закусало — до слез! И в каждом пузыре мальчик видел блестящую, ослепительную картину будущего.

— Вот когда ее отлично видно! — кричали между тем соседи. — Идите же смотреть комету! Что вы засели там?

Мать взяла мальчика за руку; пришлось ему положить трубочку, расстаться со своей игрой — надо было посмотреть на комету.

И мальчуган смотрел на ее сияющее ядро и на блестящий хвост. Кто говорил, что он длиною в три аршина, кто — что он не меньше трех миллиардов. Всякий ведь мерит на свой аршин.

— И дети, и внуки наши успеют умереть, прежде чем она появится на небе опять! — толковали люди.

Большинства из них и действительно уже не было в живых, когда она появилась вторично, но мальчик, которому нагар на свечке предвещал, по мнению матери, близкую смерть, был еще жив, хотя и очень стар, весь седой. «Седые волосы — цветы старости!» — гласит поговорка, и у него была полная голова этих цветов. Он уж был старым школьным учителем.

Школьники говорили, что он страсть какой умный и ученый, знает и историю, и географию, и все, что только можно знать о телах небесных.

— Все повторяется! — говаривал он. — Только примечайте хорошенько лица и события и увидите, что они постоянно повторяются, возвращаются обратно, только в иных костюмах, в иных странах.

И школьный учитель указывал на историю о Вильгельме Телле, которому пришлось стрелять в яблоко, положенное на голову его собственного сына. Прежде чем выстрелить, он припрятал за пазуху другую стрелу для злого Геслера. Происходило это в Швейцарии, но за много лет до этого то же самое случилось в Дании. Пальнатоку<sup>1</sup> тоже пришлось стрелять в яблоко, положенное на голову его сына, и он тоже спрятал за пазуху другую стрелу, чтобы отомстить за себя. А больше чем за тысячу лет до того — читаем мы в старинных рукописях — происходила такая же история в Египте! Да, и события и лица повторяются, возвращаются, как кометы.

И он начинал рассказывать об ожидаемой комете, которую уже видел однажды в своем раннем детстве. Школьный учитель много знал о небесных телах, много думал о них, но не забывал от того ни истории, ни географии.

Сад свой он разбил в виде карты Дании. Каждая часть, каждая провинция изображалась цветами и растениями, которые были ей наиболее свойственны.

— Ну-ка, достаньте мне гороха! — говорил он, и ученики направлялись к грядке, представлявшей Лолланд. — Достаньте мне гречихи! — и те шли к Лангеланду.

Чудесные голубые горечавки можно было найти на севере, на Скагене, блестящий Христов терн — возле Силькеборга. Самые города изображались статуэтками. Св. Кнуд, поражающий дракона, означал город Одензе; Абсалон с епископским посохом в руке — Сорё; маленькое

<sup>1</sup> Сказочный датский герой. Предание о нем послужило сюжетом для известной трагедии Эленшлегера «Palmatoke». — *Примеч. перев.*

весельное судно — город Оргус, и так далее. Да, по саду школьного учителя можно было изучить карту Дании, но, конечно, предварительно надо было поучиться у него самого, а это было превесело!

Так вот, опять ожидали комету, и он рассказывал о ней и о толках людских, вызванных ее первым появлением, которое он так хорошо помнил.

— В год появления кометы вино бывает крепче! — говорил он. — Виноторговцы могут разбавлять его водой — никто не заметит! Оттого-то они, как говорят, очень жалуют такие годы!

Но небо было покрыто облаками вот уже целые две недели, так что кометы не было видно, хотя она и появилась уже.

Престарелый учитель сидел в своей каморке рядом с классной комнатой. В углу стояли большие старинные борнгольмские часы, доставшиеся ему еще от родителей. Тяжелые свинцовые гири уже не поднимались и не опускались больше, маятник не двигался, маленькая кукушка, которая прежде выскакивала и куковала, уже много лет молчаливо сидела взаперти; все в часах замерло, притихло, они не шли больше. Но старые клавикорды, тоже времен родителей учителя, все еще сохраняли в себе жизнь. Струны еще могли звучать, правда хрипловато, но все же из них можно было извлечь мелодии целого человеческого века. И много воспоминаний будили эти мелодии в старом школьном учителе — и веселых, и печальных. Много пережил он в этот длинный ряд годов, с тех пор как видел комету маленьким мальчиком и до ее вторичного появления на небе. Он помнил, что сказала его мать, увидя нагар на свечке, помнил чудесные мыльные пузыри, которые пускал тогда... Каждый означал — как он говорил — год его будущей жизни, и какие они были блестящие, радужные! Они сулили ему столько чудес и радостей, детские игры, юношеские наслаждения! Весь свет лежал перед ним, озаренный лучами солнца! То были мыльные пузыри будущего! Теперь он был уже старик и извлекал из струн клавикорд мелодии прошлого — это были уже пузыри, окрашенные цветами воспоминаний. Вот раздалась песня бабушки, которую она напевала, быстро шевеля чулочными спицами:

Вестимо уж, не амазонка  
Связала первый нам чулок!

А вот песня, которую напевала ему, когда он был ребенком, их старая служанка:

Ах, сколько испытаний  
Готовит свет тому,  
Кто млад и глуп, — известно  
Лишь Богу одному!

Потом раздались мелодии первого бала, менуэт, молиnasки<sup>1</sup>, за ними зазвучали нежные, грустные звуки, вызвавшие на глаза старика слезы,

<sup>1</sup> Старинный танец. — Примеч. перев.

затем раздался военный марш, затем псалмы, а там опять веселые игривые звуки. Они сменяли друг друга, следовали один за другим, как мыльные пузыри, что он пускал мальчиком.

Он устремил взор в окно; облака, застилавшие небо, вдруг разошлись, и он увидел комету, ее сияющее ядро и блестящий туманный шлейф.

Он как будто видел ее в первый раз только вчера, а на самом-то деле между этими двумя вечерами легла целая человеческая жизнь, богатая воспоминаниями! В тот вечер он был ребенком и видел в мыльных пузырях будущее, теперь они показывали ему прошлое. И душа его прониклась детской верой, глаза засияли, рука упала на клавиши... Раздался звук, словно порвалась струна!

— Идите же смотреть на комету! — кричали ему соседи. — Небо чудо какое ясное! Идите, теперь ее отлично видно!

Но старый школьный учитель не отвечал: он унесся в заоблачные высоты, чтобы хорошенько поглядеть на комету! Душа его готовилась пролететь пространство куда больше, обширнее, нежели пролетает комета. А на нее опять смотрели и из богатых замков, и из бедных домов, глазели и целые толпы, устремлял взор и одинокий путник, проходивший по безлюдной степи. На душу же учителя смотрели теперь Сам Господь и опередившие его на небе дорогие, близкие его сердцу, о которых он так тосковал на земле!



## ДНИ НЕДЕЛИ

**Д**ням недели тоже хотелось хоть разок собраться вместе и попить. Но каждый из них был на счету, они были так заняты круглый год, что это им никак не удавалось. Им нужно было выждать лишний день, а такой выдается только раз в четыре года — в феврале високосного года; его прикидывают для уравнивания счетов.

Так вот, в этот-то день они и порешили собраться и попить, а так как в феврале празднуется масленица, то они решили кстати явиться ряжеными, сообразно вкусу и значению каждого. Решено было плотно поесть, здорово выпить, говорить речи и без церемонии высказывать друг другу приятные и неприятные истины, как оно и подобает в дружеском кружке. Герои древности перебрасывались за столом обглоданными костями, а дни недели готовились перебрасываться плохими каламбурами да разными ехидными остротами, какие только могут прийти в голову во время невинных масленичных забав.

Итак, день настал, и они собрались.

Господин *Воскресенье*, глава дней недели, явился в черном шелковом плаще. Благочестивые люди подумали бы, что он надел пасторское облачение и собирается в церковь, дети же мирской суеты увидели бы, что он просто-напросто накинул на себя домино и собирается веселиться, а яркая гвоздика, красующаяся у него в петличке, означает красный фонарик, который выставляется у театральных касс и гласит: «Все билеты проданы, веселитесь же на славу!»

*Понедельник*, молодой человек, близкий родственник *Воскресенья*, большой любитель удовольствий, следовал за первым. Он бросал — как рассказывал сам — мастерскую всякий раз, как у дворца происходила смена караула, сопровождающаяся музыкой.

— Я люблю освежиться, послушать музыку — особенно оффенбавовскую! Она не отягощает мозга, не затрагивает сердца, а только слегка щекочет под коленками — так и подмывает пуститься в пляс, кутнуть, подраться и осветить себе дорогу домой фонарем под глазом, а потом всхрапнуть хорошенько! Вот на другой день — с Богом и за работу, пожалуй, я же первенец недели!



*Вторник*, как известно, был посвящен у древних северян Тюру, богу силы.

— Да, это ко мне и подходит! — сказал он. — Я ретивый работник, привязываю к сапогам купцов крылья Меркурия, осматриваю, хорошо ли смазаны и вертятся ли как следует колеса на фабриках, слежу за тем, чтобы портной сидел на верстаке, а каменщик на мостовой, чтобы каждый занимался своим делом! Я смотрю за порядком, вот почему я в полицейском мундире! Коли это неостроумно придумано, так попробуйте вы придумать что-нибудь поострее!

— А вот и я! — сказала *Среда*. — Я стою в середине недели, меня так и зовут: серединою. Я, как приказчик среди магазина, как цветок в середине букета, стою, окруженная другими почтенными днями недели. Если мы идем все в ряд, друг за другом, то у меня три дня в авангарде и три в арьергарде. Смею думать, что я самая первая персона в неделе!

*Четверг* — день, посвященный богу грома и молнии Тору, был одет кузнецом и держал в руках атрибуты этого бога: молот и медный котел.

— Я самого знатного происхождения! — сказал он. — Я из языческого божественного рода! В северных странах меня посвятили Тору, в южных — Юпитеру, а они оба мастера греметь и сверкать молнией. Это уж наша фамильная черта!

И он ударил молотом по котлу, чтобы доказать свое высокое происхождение.

*Пятница* была одета, как и подобает молодой девушке, жрице Фрейи — в северных странах и Венеры — в южных. Она, по ее собственным словам, отличалась тихим, мягким нравом и только сегодня развернулась: сегодня ведь было 29 февраля, а этот день, согласно обычаем, являлся в старину днем свободы для женщин: они могли свататься сами, не дожидаясь, когда к ним присватаются!

*Суббота* явилась старой ключницей, с метлой и прочими атрибутами чистки. Любимым блюдом ее был черствый хлеб, сваренный в пиве, но она все-таки не требовала, чтобы это блюдо было подано при сем торжественном случае всем: она готова была съесть его одна и съела.

И затем дни расселись по местам.

Так вот они и обрисованы здесь все, и могут послужить образцами для живых картин в домашних спектаклях! Там могут изобразить их в таком смешном виде, в каком только сумеют. Мы же, изображая их, имели в виду только карнавальную шутку — февраль единственный месяц в году, имеющий лишний день, — месяц карнавала!



## РАССКАЗЫ СОЛНЕЧНОГО ЛУЧА

**Т**еперь я начну! — заявил ветер.

— Нет уж, позвольте! — сказал дождь. — Теперь мой черед! Довольно вы стояли на углу да выли что было мочи!

— Так вот ваше спасибо за то, что я в честь вас вывертывал да ломал зонтики тех господ, что не желали иметь с вами дела!

— Слово за мною! — сказал солнечный луч. — Смирно!

И это было сказано с таким блеском и величием, что ветер сейчас же растянулся во всю длину. Но дождь все еще не хотел уняться, тербил ветер и говорил:

— Неужели мы это потерпим? Он вечно прорвется вперед, этот господин! Не станем его слушать! Вот еще, очень нужно!

А солнечный луч начал:

— Пролетал над бурным морем лебедь; перья его блестели, словно золотые; одно перо выпало и упало на большой торговый корабль, скользивший по морю на всех парусах. Перо запуталось в курчавых волосах молодого человека, надсмотрщика за товарами. Перо птицы счастья коснулось его чела, превратилось в его руке в писчее перо, и он вскоре стал богатым купцом, которому ничего не стоило купить себе золотые шпоры, сменять бочку золота на дворянский щит. Я сам сверкал на этом щите! — прибавил солнечный луч.

— Пролетал лебедь и над зеленым лугом; в тени старого одинокого дерева лежал пастушок, семилетний мальчуган, и поглядывал на своих овец. Лебедь поцеловал на лету один из листьев дерева, лист упал в руку пастушка, и из одного листка сделалось три, десять, целая книжка! Мальчик читал в ней о чудесах природы, о родном языке, о вере и знании, а ложась спать, прятал ее себе под голову, чтобы не позабыть прочитанного. И вот книжка та привела его сначала на школьную скамью, а затем и на кафедру науки. Я прочел его имя среди имен ученых! — добавил солнечный луч.

— Лебедь полетел в чащу леса и спустился отдохнуть на тихое темное лесное озеро, поросшее кувшинками; на берегу росли тростник, лесные яблони, а в их ветвях куковала кукушка, ворковали лесные голуби.



Бедная женщина собирала здесь хворост; на спине у нее была целая вязанка, у груди же лежал маленький ребенок. Она увидела золотого лебедя, лебедя счастья, который вылетел из тростника. Но что же такое блестело там? Золотое яйцо! Женщина положила его за пазуху, и яйцо согрелось, в нем зашевелилось живое существо. Оно уже стучало носиком в скорлупку, а женщина-то думала, что это бьется ее собственное сердце.

Придя домой, в свою бедную хижину, она вынула золотое яйцо. «Тик-тик!» — слышалось из него, точно яйцо было золотыми часами, но это было настоящее яйцо, и в нем билась жизнь. Вот скорлупка треснула, и из яйца высунул головку маленький лебедь, покрытый золотым пушком. На шейке у него было четыре золотых кольца, и так как у женщины было еще трое сыновей, кроме того, который был с нею в лесу, то она сразу догадалась, что кольца эти предназначались ее детям. Только что она сняла кольца — золотой птенец улетел.

Женщина перецеловала кольца, дала каждому ребенку поцеловать свое кольцо, приложила их к сердцу каждого и затем надела на пальчики детей.

— Я видел все это! — прибавил солнечный луч. — Видел и то, что из этого вышло.

Один из мальчиков копался в глине, взял комок глины, начал мять его между пальцами, и вышла статуя Язона, добывшего золотое руно.

Другой мальчуган сейчас же побежал на луг, поросший чудными, пестрыми цветами, набрал там целую горсть цветов, крепко стиснул их в ручонке, и цветочные соки брызнули ему прямо в глаза, омочили его золотое кольцо... В мозгу мальчика что-то зашевелилось, в руках тоже, и несколько лет спустя в большом городе заговорили о новом великом живописце.

Третий мальчуган так крепко стиснул свое кольцо зубами, что оно издало звук, отголосок того, что таилось в сердце мальчугана, и с тех пор чувства и думы его стали выливаться в звуках, подниматься к небу, как поющие лебеди, погружаться в бездны мысли, как лебеди погружаются в глубокие озера. Мальчик стал композитором; каждая страна может считать его своим.

Четвертый же мальчик был заморыш, и на языке у него, как говорили, сидел типун; его надо было угощать маслом с перцем, как больных цыплят, да хорошими трепками, ну, его и угощали!

— Я же дал ему свой солнечный поцелуй! — сказал солнечный луч. — Да не один, а десять! Мальчик был поэтической натурой, и его то дарили поцелуями, то угощали щелчками, но он все-таки владел кольцом счастья, данным ему золотым лебедем, и мысли его взлетали к небу золотыми бабочками, а бабочка — символ бессмертия!

— Длинная история! — сказал ветер.

— И скучная! — прибавил дождь. — Подуй на меня, я в себя прийти не могу!

И ветер принялся дуть, а солнечный луч продолжал:

— Лебедь счастья пролетал и над глубоким заливом, где рыбаки закидывали сети. Беднейший из рыбаков собирался жениться и женился.

Лебедь же принес ему кусок янтаря. Янтарь притягивает, и этот кусок притянул сердца к дому рыбака. Янтарь — чудеснейшее благовонное курение, и из дома рыбака стало исходить благоухание, как из храма; это было благоухание самой природы Божьей! Бедная чета наслаждалась семейным счастьем, была довольна своею скромной домашней обстановкой, и вся жизнь ее прошла как один солнечный день!

— Не пора ли прервать его! — сказал ветер. — Довольно уж он болтал! Я соскучился!

— И я тоже! — сказал дождь.

А что же скажем мы, прослушав эти истории?

Мы скажем:

— Ну вот, и конец им!





## ПРАДЕДУШКА

**П**радедушка был такой славный, умный и добрый, все мы так любили и уважали его. Сначала-то, с тех самых пор, как я себя помню, его звали дедушкой, но вот у моего старшего брата Фредерика родился сынок, и дедушку произвели в прадедушки. Выше этого звания ему уж не подняться было в жизни. Он очень любил нас всех, но наше время не особенно-то жаловал.

— То ли дело было в доброе старое время! — говаривал он. — То время было солидное, степенное! А теперь все несутся сломя голову, все идет вверх дном! Молодежь ораторствует, говорит о королях так, как будто они им ровня! Любой господин с улицы может обмакнуть свою тряпку в грязную лужу да выжать ее над головой почтенного деятеля!

И, говоря это, прадедушка весь краснел, но потом опять успокаивался, улыбался своей обычной ласковой улыбкой и говорил:

— Ну! Я, может быть, и не вполне прав! Но я человек старого времени и не могу попасть в ногу с новым! Предоставим же Господу Богу вести его!

Слушая рассказы прадедушки о старых временах, я как будто сам переживал их: разъезжал мысленно в золотой карете с гайдуками, видел церемонии перенесения цеховой вывески с музыкой и знаменами, участвовал в забавных святочных развлечениях и играх. Правда, и в те времена было много дурного и ужасного: колеса, дыбы, кровопролитие, но даже и эти ужасы имели в себе что-то заманчивое. Много и хорошего узнавал я из рассказов прадедушки: узнал, например, о датских дворянах, освободивших крестьян, о датском кронпринце, прекратившем торговлю рабами.

Да, славно было послушать рассказы прадедушки о днях его молодости, но предшествовавшее тому время было все-таки еще лучше — такое сильное, могучее!

— Жестокое, варварское! — отозвался брат Фредерик. — Слава Богу, что оно миновало!

Он так прямо и заявил это прадедушке! Не совсем-то это было хорошо с его стороны, но я все-таки очень уважал Фредерика. Он был



моим старшим братом, «мог бы даже быть моим отцом», как говорил он сам; такой чудак! Он блестяще сдал свой студенческий экзамен, а в конторе у отца занимался так прилежно, что скоро его допустили к участию в делах фирмы. Он был любимцем прадедушки, но они вечно спорили друг с другом. «Эти двое никогда не поймут друг друга, никогда не столкнутся», — говорила о них вся семья, а я как ни мал был, все-таки заметил, что эти двое и обойтись друг без друга не могут!

Когда Фредерик рассказывал или читал при прадедушке о новых научных открытиях и изобретениях, знаменующих наше время, глаза старика так и светились.

— Люди становятся умнее, но не добрее! — говаривал он, однако, вслед за тем. — Они изобретают на гибель друг другу ужаснейшие орудия истребления.

— Зато тем скорее и войне конец! — возражал Фредерик. — Теперь уж не приходится ждать мира по семь лет! Мир страдает полнокровием, и пускать ему время от времени кровь необходимо!

Раз Фредерик рассказал прадедушке о происшествии, действительно случившемся в одном городке. Часы бургомистра, большие часы на башне ратуши, устанавливали время для всего города. Часы шли не совсем верно, но все же весь город сообразовался с ними. Но вот провели железную дорогу; она была в связи с железнодорожной сетью других стран, и тут уж приходилось точно рассчитывать время, а то поездам недолго было и столкнуться! На вокзале были установлены свои солнечные часы; они указывали время верно — не то что бургомистровы, и вот все жители города стали проверять свои часы по железнодорожным.

Я засмеялся — история показалась мне забавною.

Но прадедушка и не думал смеяться; напротив, он стал еще серьезнее.

— В твоём рассказе есть кое-что! — начал он, обращаясь к Фредерику. — И я понимаю, зачем ты это рассказал мне. Твои часы очень поучительны. Они приводят мне на память другие часы, старые, простые борнгольмские часы с тяжелыми свинцовыми гирями, принадлежавшие моим родителям. По этим часам жили мои родители, жил и я, когда был ребенком. Может быть, они шли и не совсем верно, но все-таки шли, а мы смотрели на стрелку и верили ей, не заботясь о колесах внутри. Так-то вот обстояло тогда дело и с государственным механизмом: люди спокойно верили тому, что показывали стрелки. Теперь же государственный механизм стал часами из стекла: все устройство их на виду; видишь, как вертятся и жужжат колеса, боишься за каждый зубчик, за каждое колесико, сомневаешься, верно ли бьют часы, ну, и прежнего детского доверия уже нет! Вот слабость нашего времени!

И прадедушка кончал тем, что начинал горячиться. Они с Фредериком никак не могли столковаться, но и разлучить их было трудно, как прошлое с настоящим. Это поняли они оба и вся семья, когда Фредерику пришлось

отправиться по делам фирмы в далекий путь, в Америку. Тяжело было прадедущке перенести такую разлуку: далеко ведь отправлялся Фредерик, за море, в другую часть света!

— Каждые две недели ты будешь получать от меня по письму! — сказал Фредерик. — А еще быстрее всякого письма прилетит к вам от меня весточка по телеграфной проволоке. Вместо дней понадобятся часы, вместо часов — минуты!

Первый привет пришел от Фредерика из Англии; он послал его, садясь на корабль, отплывавший в Америку. А затем быстрее всякого письма — хоть бы его взяли доставить сами несущиеся облака — пришел привет из Америки, где Фредерик высадился всего несколько часов тому назад!

— Наше время озарила поистине божественная мысль! — сказал тогда прадедущка. — Телеграф — благодеяние для человечества!

— И Фредерик говорил мне, что первое открытие этих сил сделано у нас на родине! — сказал я.

— Да! — ответил прадедущка и поцеловал меня. — Да, и я сам глядел в те ласковые очи, которые первые проникли в тайны этой новой силы природы! В них светилась такая же детская душа, как в твоих! Довелось мне и пожать ему руку!

Тут прадедущка опять поцеловал меня.

Прошло более месяца, и вот мы получили от Фредерика письмо, извещавшее о его помолвке с молодой прелестной девушкой, которую, конечно, полюбит вся семья. В письмо была вложена ее фотографическая карточка, и мы рассматривали ее на все лады — и простыми глазами, и сквозь увеличительное стекло. То-то ведь и хорошо в этих фотографических снимках, что их можно рассматривать сквозь самые сильные увеличительные стекла, и сходство выступает только еще сильнее! А этого не могли добиться художники-портретисты, даже самые величайшие из старинных мастеров!

— Обладай этим изобретением старое время, мы могли бы теперь видеть перед собою лицом к лицу всех великих людей и благодетелей человечества! — сказал прадедущка. — Как, однако, эта девочка мила и добра на вид! — И он опять впился глазами в карточку, лежащую под увеличительным стеклом. — Теперь я узнаю ее, как только она ступит на порог!

Но этого могло и не случиться никогда! Чуть-чуть было так и не вышло! К счастью, мы узнали об опасности, только когда она уже миновала.

Молодые новобрачные счастливо и весело достигли Англии, а оттуда отправились на пароходе в Копенгаген. Они уже видели датский берег и белые песчаные дюны западной Ютландии, как вдруг поднялась буря, пароход налетел на риф и сел. Волны вздымались горами и грозили

разбить его; нельзя было даже спустить спасательных лодок. Настала ночь, но вот ночной мрак прорезала яркая ракета, пущенная на погибающий пароход с берега. Ракета перебросила на пароход канат, и между судном и берегом установилось сообщение. Скоро над темными бурными волнами заскользила по канату спасательная корзина с красивой молодой женщиной. Она была высажена на твердую землю, спасена! И как же была она счастлива, когда возле нее очутился и молодой ее муж! Все пассажиры и команда парохода были спасены таким же способом еще до рассвета.

А мы-то сладко спали у себя в Копенгагене, не думая ни о какой опасности, и только когда мы все сидели за утренним кофе, до нас дошла полученная в городе по телеграфу весть о гибели английского корабля у западного берега. Сердце у нас так и упало. Но в ту же минуту подоспела и телеграмма от дорогих наших молодых: они спаслись и скоро должны были быть у нас!

Все плакали; плакал и я, и прадедушка. Потом он набожно сложил руки и — я уверен — благословил новое время.

В тот же день он пожертвовал двести риксдаллеров на памятник Гансу Христиану Эрстеду<sup>1</sup>.

Когда вернулся со своей молодой женой Фредерик и услышал об этом, он сказал:

— Вот это дело, прадедушка! Теперь я кстати прочту тебе, что писал много лет тому назад о старом и новом времени сам Эрстед!

— Он, конечно, был твоего мнения? — спросил прадедушка.

— Еще бы! — ответил Фредерик. — Да и ты теперь того же мнения, иначе бы ты не внес своей лепты на памятник ему!



---

<sup>1</sup> См. примеч., т. I, стр. 387.

## СВЕЧИ



Жила-была большая восковая свеча; она-то уж знала себе цену.

— Я — из воска и отлита в форме! — говорила она. — Я горю ярче и дольше других свеч; место мое в люстре или в серебряном подсвечнике!

— То-то, должно быть, счастливая жизнь! — сказала сальная свечка. — А я-то только из сала: фитиль мой макали в сало, и вот вышла я! Но все же я утешаюсь тем, что я настоящая толстая свечка, а не какая-нибудь захудалая! Бывают ведь и такие свечки, которые обмакиваются только два раза, меня же макали в сало целых восемь раз, пока я, наконец, растолстела как следует. Я довольна! Конечно, лучше, аристократичнее родиться восковой свечкой, а не сальной, но ведь не сами же мы выбираем себе положение в свете! Восковые свечи попадут в зал, в хрустальную люстру, я останусь в кухне, но и это не дурное место — кухня кормит весь дом!

— Но есть кое-что и поважнее еды! — сказала восковая свеча. — Хорошее общество! Быть свидетельницей всего этого блеска, блеснуть самой!.. Сегодня вечером в доме бал, скоро меня и всю нашу семью возьмут отсюда!

Только что она проговорила это, все восковые свечи были взяты, но вместе с ними была взята и сальная. Госпожа сама взяла ее своей изящной ручкой и отнесла на кухню. Тут стоял маленький мальчик с корзиной, полной картофеля. Туда же пошли и несколько яблок. Все это дала бедняжке добрая барыня.

— А вот тебе еще свечка! — прибавила она. — Мать твоя опять будет работать ночью — ей свечка пригодится!

Маленькая дочка барыни стояла тут же и, услышав слово «ночью», радостно воскликнула:

— Я тоже не буду спать сегодня ночью! У нас бал, и на меня наденут платьице с красными бантиками!

Какой радостью сияли ее глазки! Где было восковой свечке сравниться блеском с этой парой детских глазок!

— Просто прелесть! — подумала сальная свечка. — Я никогда не забуду этих глазок! Да мне и увидеть-то их, пожалуй, больше не придется!

Тут ее уложили в корзину, прикрыли крышкой, и мальчик унес корзину домой.

«Куда-то я теперь попаду! — думала свечка. — К бедным людям; там, пожалуй, не найдется для меня и медного подсвечника, а восковая-то свечка будет себе сидеть в серебре, любоваться знатным обществом! То-то, должно быть, приятно освещать избранное общество! А вот меня судьба создала сальной, а не восковой свечкой!»

И свечка попала к бедным людям, к вдове с тремя детьми, в низенькую каморку, что находилась как раз напротив богатого дома.

— Бог, награди добрую барыню за все это! — сказала мать. — Вот-то чудесная свечка! Она прогорит за полночь.

И свечку зажгли.

— Апчхи-чхи! — зачихала она. — Фу, как эти спички воняют серой! Небось таких не поднесут в богатом доме восковой свечке!

А там тоже зажгли свечи, и из окон полился яркий свет на улицу. К дому то и дело подъезжали кареты с разряженными гостями. Заиграла музыка.

«Вот уж началось там! — подумала сальная свечка и вспомнила личико маленькой девочки, сиявшее ярче всех восковых свечек в мире. — Никогда я не забуду его!»

В эту минуту к столу подошла самая младшая девочка в семье и одной ручонкой обвила за шейку брата, другой сестренку: ей надо было сообщить им что-то очень важное, чего нельзя и сказать иначе как на ушко!

— Вечером — подумайте! — у нас будет горячая картошка!

И глазки ее так и сияли от восторга. Свечка светила ей прямо в лицо и видела на нем такую же радость, такое же счастье, какими светилось личико богатой девочки, мечтавшей о красных бантиках!

«Разве горячая картошка такая же прелесть, как красные бантики? — подумала свечка. — Малютки-то ведь одинаково радуются!» И она чихнула, то есть затрещала; сальные свечки иначе не умеют чихать.

Стол накрыли и принялись за картошку. Какая она была вкусная! Чудо! Это был целый пир, а на закуску каждому досталось по яблоку! После трапезы самая младшая девочка проговорила коротенький стишок:

Благодарю я, Боженька, тебя  
За то, что снова накормил меня!  
Аминь!

— Хорошо я прочитала, мама? — спросила она затем.

— Об этом не надо спрашивать! — ответила мать. — Ты должна думать не о себе, а только о Боженьке, который накормил тебя!

Детишки улеглись спать, мать перецеловала их, и они сейчас же заснули, сама же мать села за шитье и сидела далеко за полночь, чтобы заработать себе и детям на пропитание. А там, в богатых покоях, сияли свечи, гремела музыка. Звезды же блестели на небе одинаково ярко и приветливо и для богатых, и для бедных.

«А ведь, в сущности, я провела славный вечер! — подумала сальная свечка. — Лучше ли было восковым свечам в серебряных подсвечниках? Вот бы узнать это, прежде чем сгорю!»

И она опять стала вспоминать два одинаково сияющих личика: одно — освещенное восковой свечкой, другое — сальной.

Да вот и все.





## САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ

**Т**от, кто сделает самое невероятное, возьмет за себя принцессу, а за ней в приданое полкоролевства!»

Как только объявили это, все молодые люди, да и старики за ними, принялись ломать себе головы, напрягать мозги, жилы и мускулы. Двое объелись, двое опились до смерти — в надежде совершить самое невероятное на свой лад, да не так взялись за дело! Уличные мальчишки вылезали из кожи, чтобы плюнуть самим себе в спину, — невероятнее этого они ничего и представить себе не могли.

Назначен был день для представления на суд всего того, что каждый считал самым невероятным. В число судей попали люди всех возрастов, от трехлетних детей до девяностолетних старцев. Взорам судей представилась целая выставка невероятных вещей, но скоро все единогласно решили, что самой невероятной из них были большие столовые часы удивительного внутреннего и внешнего устройства. Каждый раз, как часы били, появлялись живые картины, показывавшие, который час. Таких картин было двенадцать, каждая с движущимися фигурами, пением и разговорами.

— Это самое невероятное! — говорили все.

Бил час, и показывался Моисей на горе и чертил на скрижали первую заповедь.

Било два — взорам представлялся райский сад, жилище Адама и Евы, двух счастливых, утопавших в блаженстве, хоть у них и не было ничего — даже шкафа для платья; ну, да они в нем и не нуждались!

В три часа появлялись трое царей, шедших с востока на поклонение Иисусу; один из них был черен, как голенище, но не по своей вине — это солнце так наваксило его! Все трое держали в руках драгоценные дары и благовонные курения.

В четыре показывались четыре времени года: весна с только что распустившеюся буквой ветвью, на которой сидела кукушка; лето с колосом спелой ржи, к которому прицепился кузнечик; осень с пустым гнездом аиста, означавшим, что все птицы улетели, и зима со старой

вороной-сказочницей, умевшей рассказывать в уголке за печкой старые предания.

Часы били пять — выходили пять чувств: зрение — в образе оптика, слух — медника, обоняние — продащицы фиалок и дикого яминника, вкус — повара, а осязание или чувствительность — распорядителя похоронной процессии, в траурной мантии, спускавшейся до самых пят.

Било шесть — выскакивал игрок, подбрасывал кость кверху, она падала и показывала высшее очко — шесть.

Затем следовали семь дней недели или семь смертных грехов; насчет этого шла разногласица, да и впрямь трудно было различить их.

После этого выходил хор монахов — восемь человек — и пел заутреню.

С последним ударом девяти являлись девять муз; одна занималась астрономией, другая служила в историческом архиве, а остальные посвящали себя театру.

Било десять, и опять выступал Моисей с двумя скрижалями, на которых были начертаны все десять заповедей.

Било одиннадцать, и выскакивали одиннадцать мальчиков и девочек и начинали играть в игру под названием «пробил одиннадцатый час»!

Наконец, било двенадцать, и являлся ночной сторож, в шлеме, с «утренней звездой»<sup>1</sup> в руках, и пел старинную песенку ночных сторожей:

Полночь настала,  
Спаситель родился!

А в то время как он пел, вокруг расцветали розы и затем превращались в головки ангелочков, парящих на радужных крылышках.

Было тут что послушать, на что посмотреть! Вообще часы являлись настоящим чудом, «самым невероятным», по общему мнению.

Художник, творец часов, был человек еще молодой, сердечный, с детски веселой душой, добрый товарищ и примерный сын, заботившийся о своих бедных родителях. Он вполне заслуживал и руки принцессы, и полкоролевства.

День присуждения награды наступил; весь город убрался по-праздничному; сама принцесса сидела на троне; подушки его набили новым волосом, но сам он от этого не стал ни удобнее, ни покойнее. Судьи лукаво поглядывали на юношу, который должен был получить награду, а он стоял такой веселый, бодрый, уверенный в своем счастье, — он ведь сделал самое невероятное.

— Нет, это вот я сейчас сделаю! — закричал высокий мускулистый парень. — Я совершу самое невероятное!

И он занес над чудесными часами тяжелый топор.

<sup>1</sup> См. т. I, стр. 91, 2-я стр. сн. — *Примеч. перев.*

Трах! — и все было разбито вдребезги! Колеса и пружины разлетелись по полу, все было разрушено!

— Вот вам я! — сказал силач. — Один удар, и — я поразил и его творение, и вас всех! Я сделал самое невероятное!

— Разрушить такое чудо искусства! — толковали судьи. — Да, это самое невероятное!

Весь город повторил то же, и вот принцесса, а с нею и полкоролевства должны были достаться силачу — закон остается законом, как бы они ни был невероятен.

С вала, со всех башен города было оповещено о свадьбе. Сама принцесса вовсе не радовалась такому обороту дела, но была чудно хороша в подвенечном наряде. Церковь была залита огнями; венчание назначено было поздно вечером — эффектнее выходит. Знатнейшие девушки города с пением повели невесту; рыцари тоже с пением окружили жениха, а он так задира голову, словно и знать не знал, что такое споткнуться.

Пение умолкло, настала такая тишина, что слышно было бы падение иголки на землю, и вдруг церковные двери с шумом и треском растворились, а там... Бум! Бум!.. В двери торжественно вошли чудесные часы и стали между женихом и невестой. Умершие люди не могут восстать из могилы, это мы все хорошо знаем, но произведение искусства может возродиться, и оно возродилось — вдребезги была разбита лишь внешность, форма, но идея, одухотворявшая произведение, не погибла.

Произведение искусства вновь стояло целым и невредимым, как будто рука разрушителя и не касалась его. Часы начали бить, сначала пробил час, потом два, и т. д. до двенадцати, и картина являлась за картиной. Прежде всех явился Моисей; от чела его исходил пламень; он уронил тяжелые скрижали прямо на ноги жениха и пригвоздил его к месту.

— Поднять их снова я не могу! — сказал Моисей. — Ты обрубил мне руки. Стой же, где стоишь!

Затем явились Адам и Ева, восточные цари и четыре времени года; каждое лицо обратилось к нему со справедливым укором:

«Стыдись!»

Но он и не думал стыдиться.

Остальные фигуры и группы продолжали выступать из часов по порядку и вырастали в грозные по величине образы; казалось, что скоро в церкви не останется места для настоящих людей. Когда же, наконец, пробил двенадцать и выступил ночной сторож в шлеме и с «утренней звездой», в церкви произошло смятение: сторож прямо направился к жениху и хватил его своим жезлом по лбу.

— Лежи! — сказал он. — Мера за меру! Теперь и мы отомщены, и художник! Исчезнем!

И произведение искусства исчезло, но свечи в церкви превратились в большие светящиеся цветы; золотые звезды, рассыпанные по потолку,

засияли; орган заиграл сам собою. И все сказали, что вот это-то и есть «самое невероятное»!

— Так не угодно ли вызвать сюда настоящего виновника всего этого! — молвила принцесса. — Моим мужем и господином будет художник, творец чуда!

И он явился в церковь в сопровождении всего народа. Все радовались его счастью, не нашлось ни одного завистника! Да, вот это-то и было «самое невероятное»!



## ЧТО СКАЗАЛА ВСЯ СЕМЬЯ

**Ч**то же сказала вся семья? А вот послушайте сначала, что сказала Маня!

Был день рождения Мани, чудеснейший день в году, по ее мнению. К ней собрались поиграть все ее маленькие друзья и подруги; одета она была в лучшее свое платьице, которое подарила ей бабушка. Теперь бабушка была уже у Боженьки, но она сама скроила и сшила это платьице, прежде чем улетила на ясное небо. Стол в Маниной комнатке был весь завален подарками. Тут была и чудеснейшая маленькая кухня со всеми кухонными принадлежностями, и кукла, которая умела закрывать глаза и кричать «ай», если ей давили животик, и книжка с чудными картинками и сказками для чтения — разумеется, для тех, кто уже умел читать! Но лучше всех сказок была возможность пережить еще много-много таких дней рождения.

— То-то хорошо жить на свете! — сказала Маня, и крестный подтвердил, что жизнь — чудеснейшая из сказок.

В соседней комнате расхаживали двое братишек Мани, славные мальчишки, один девяти, другой одиннадцати лет. Они тоже были довольны жизнью, находили, что жить на свете чудесно, но жить на их лад, быть не такими малютками, как Маня, а заправскими школьниками, получать хорошие отметки, всласть драться с товарищами, кататься на коньках зимой и на велосипеде летом, читать рыцарские романы с описаниями замков, рыцарей, темниц да слушать об открытиях во внутренней Африке. Одного из мальчиков, впрочем, сокрушала забота, что к тому времени, как он успеет вырасти, все уже будет открыто; но в таком случае он решил просто-напросто пуститься по свету искать самых что ни на есть сказочных приключений. Недаром же крестный говорил, что жизнь — чудеснейшая из сказок!

Так вот какой разговор шел в детской. В следующем же этаже, повыше, проживала другая ветвь той же семьи. Здесь тоже были дети, но эти-то давно стоптали свои детские башмаки: одному сыну было семнадцать, другому двадцать, а третий так и вовсе был стариком, по словам Мани: ему исполнилось целых двадцать пять, и он уже был женихом.

Всем сыновьям удалось хорошо пристроиться, родители у них были добрые, одевались они хорошо, были одарены прекрасными способностями и знали, чего хотели: «Вперед! Долой все старые заборы, чтобы видно было на все стороны, чтобы можно было осмотреться на белом свете, чудеснейшем, какой только нам известен! Крестный прав: «жизнь — чудеснейшая из сказок!»

Отец с матерью, оба люди пожилые, — разумеется, они должны были быть постарше своих детей — говорили с улыбкой на устах, в глазах и в сердце:

— Как они еще юны! Не все-то на свете таково, как они себе воображают, но ничего, жить все-таки можно! Жизнь — в самом деле удивительная, чудесная сказка!

Над ними, поближе к небу, как говорится о жилых помещениях под самой крышей, проживал крестный. Стар он уже был, но в то же время так еще молод душой, так весел! Он всегда готов был рассказывать истории — длинные, интересные, и немудрено, что у него их был большой запас — он таки погулял по белу свету! В его комнатке были собраны редкости из всех стран мира, стены были увешаны картинами, в окнах вставлены разноцветные желтые и красные стекла. Поглядишь через них, и кажется, будто все залито солнцем, какая бы ни стояла на дворе сырая, пасмурная погода. В большом стеклянном ящике росли зеленые растения, а внутри его помещался сосуд, в котором плавали золотые рыбки. Они глядели на вас, точно знали много-много такого, чего не хотели сообщать. В комнатке разливалось благоухание цветов даже зимою, когда в камине ярко пылал огонь. Славно было сидеть тут, глядеть на огонь да прислушиваться к трескотне и шипенью в камине!

— Огонь рассказывает мне о былом! — говорил крестный, а Мане казалось даже, что огонь рисует ей картинки!

В большом шкафу, рядом с камином, хранились книги. Одну из них крестный читал и перечитывал особенно часто, называя ее «книгой книг»; это была Библия. В ней отражался в ярких образах весь мир земной, история всего человечества, рассказывалось о сотворении мира, о грехопадении людей, о царях и о «царе царей».

— В этой книге говорится обо всем, что было и что будет! — говорил крестный. — Вот как много содержит в себе она одна! Подумай! А все, о чем только может просить человек, вложено в одну краткую молитву «Отче наш». Она — капля Божественного милосердия, жемчужина утешения, ниспосланная нам Богом. Она кладется, как лучший дар, в колыбельку ребенка, к его сердцу. Дитя, храни ее как зеницу ока! Не теряй ее никогда, даже когда вырастешь, и ты не заблудишься на спутанных тропинках жизни! Она будет светить изнутри тебя, и ты не погибнешь!



И при этих словах глаза крестного сияли радостью. Они плакали всего раз, в молодые годы, но «и это было хорошо!» — говорил он.

— То было время испытания, весь мир Божий казался мне пасмурным! Теперь же опять вокруг меня и во мне самом ярко светит солнышко. Да, чем старше становишься, тем яснее видишь, что всюду и по течению, и против течения ведет нас сам Господь и что жизнь — чудеснейшая из сказок! Такою мог сделать ее для нас лишь Он один! Он же продолжит ее для нас и в вечности!

— То-то хорошо жить на свете! — сказала Маня. То же сказали и маленькие мальчики, и молодые люди, и мать, и отец — вся семья. Но прежде всех сказал это крестный, а он-то больше всех был умудрен и опытом, и годами! Он знал всевозможные истории и сказки и все-таки сказал, и сказал от глубины сердца, что жизнь — чудеснейшая из сказок.



## «ПЛЯШИ, КУКОЛКА, ПЛЯШИ!»



у, это песенка для самых маленьких ребятишек! — уверяла тетя Маллэ. — Я при всем своем добром желании не могу распевать ее!

Зато это могла малютка Амалия. Ей было всего три года; она играла со своими куклами, занималась их воспитанием и старалась сделать их такими же умными, как тетя Маллэ.

В дом хаживал студент; он давал уроки братьям Амалии, но часто и подолгу беседовал и с самой крошкой Амалией, и с ее куклами. Малютка находила эти беседы такими забавными, но тетя Маллэ утверждала, что студент совсем не умеет обходиться с маленькими детьми: их маленьким головкам не переварить его болтовни. А вот Амалия все-таки отлично понимала его и даже заучила с его слов целую песенку: «Пляши, куколка, пляши!» и распевала ее трем своим куклам; две были новые: барышня и кавалер, а третья старая, и звали ее Лизой. Но и Лиза тоже слушала песенку и принимала участие в танцах.

Пляши, куколка, пляши!  
Веселись от всей души!  
Разодета ты по моде,  
Кавалер твой в том же роде!  
В белом галстукe, в сапожках  
И с мозолями на ножках!  
Как вы оба хороши!  
Пляши, куколка, пляши!  
Да и ты не отставай,  
Лиза — свет мой, не зевай!  
Хоть стара ты и чумаза,  
Без волос стала, без глаза,  
Паричок мы смастерили,  
Щечки, носик приумыли —  
Вновь ты стала хоть куда!  
Так поди ж и ты сюда!

Пляши, куколка, пляши,  
Веселись от всей души!

Ручки в бок, вертись живее!  
Вправо! Влево! Ну, бойчее!  
Коль плясать, так уж на славу,  
На здоровье, на забаву,  
Веселиться от души!  
Пляши, куколка, пляши!

И куклы понимали песню, крошка Амалия тоже, и студент тоже. Он ведь сам сочинил ее и сказал, что она очень удалась. Не понимала ее только тетя Маллэ — она уж давно вышла из пеленок! Но крошка Амалия продолжала распевать песенку.

От нее-то мы ее и переняли.



## БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ ЗМЕЙ

**Ж**ила-была одна маленькая морская рыбка из хорошей семьи; имени ее не упомяну; это пусть скажут тебе ученые. Было у рыбки тысяча восемьсот сестриц-ровесниц; ни отца, ни матери они не знали, и им с самого рождения пришлось промышлять о себе самим, плавать, как знают, а плавать было так весело! Воды для питья было вдоволь — целый океан, о пище тоже беспокоиться не приходилось — и ее хватало, и вот каждая рыбка жила в свое удовольствие, по-своему, не утруждая себя думами.

Солнечные лучи проникали в воду и ярко освещали рыбок и целый мир удивительнейших созданий, кишевших вокруг. Некоторые были чудовищной величины, с такими ужасными пастьми, что могли бы проглотить всех тысячу восемьсот сестриц зараз, но рыбки об этом и не думали — ни одной из них еще не пришлось быть проглоченной.

Маленькие рыбки плавали все вместе стадом, тесно прижавшись друг к другу, как сельди и макрели. Но вот однажды, в то время как они беззаботно плавали себе, ни о чем не думая, в самую середину их стада шумно бухнулась сверху и начала погружаться в воду какая-то тяжелая и такая длинная штука, что ей, казалось, и конца не будет! Она тянулась, стремительно шла ко дну, давя и калеча на пути попадавшихся рыбок. И все рыбы — и маленькие, и большие, и те, что держались на поверхности, и те, что гуляли в глубине, — в ужасе улепетывали в разные стороны. Страшная тяжелая штука между тем погружалась все глубже и глубже, вытягивалась все больше и больше и, наконец, протянулась на много-много миль по дну морскому, через все море.

Рыбы и слизняки, все, что плавает, ползает или носится по течению, — все видели эту чудовищную штуку, этого невозможного, невиданного морского угря, который так неожиданно свалился к ним в море.

Что же это была за штука? Да мы-то знаем! Это был огромный, в несколько миль длиною, морской телеграфный кабель, который проложили люди между Европой и Америкой.

То-то смятение, то-то переполох поднялся между законными обитателями моря! Летучие рыбы подпрыгивали на воздух так высоко, как

только могли, а керцы<sup>1</sup> выскакивали из воды на целый ружейный выстрел — такие уж прыгуны! Другие же рыбы искали убежища на дне, да так стремительно, что далеко опередили телеграфный кабель и успели напугать и треску, и камбал, которые так мирно разгуливали в глубине, поедая своих ближних.

Несколько колбасообразных голотурий так перетрусили, что выплюнули весь свой желудок и все-таки остались в живых — им это нипочем. А сколько повышло из себя от перепуга омаров и крабов! Да еще как! Так что под броней остались одни ножки!

Во время всего этого переполоха тысяча восемьсот сестриц-рыбок рассеялись в разные стороны и больше уж не встречались, а может быть, и встречались, да не узнавали друг друга. С десятков сестриц удержались, впрочем, вместе, и когда первый страх прошел, вышли из оцепенения, в котором пробыли несколько часов, и принялись любопытно озираться вокруг.

Поглядели они по сторонам, поглядели вверх, поглядели вниз, и им показалось, что они видят в глубине ту ужасную штуку, которая так напугала всех — и больших, и малых. Она была очень тонка на вид, но ведь почему знать, насколько она может раздуться или насколько вообще сильна! Она лежала на дне смиренхонько, но они подозревали, что это она только так, лукавит.

— Пусть ее лежит, где лежит! Нам до нее дела нет! — сказала самая осторожная из рыбок, но самая маленькая не хотела отказаться разузнать, что это была, собственно, за штука. Явилась она сверху; наверху, значит, надо и начать разведку, и вот рыбки поднялись на поверхность. Стоял штиль; море лежало как зеркало.

Там они встретили дельфина. Это такой гуляка, вертопрах, знай себе кувыркается на морской поверхности, но глаза-то у него есть — наверное, уж он видел ту штуку и знал о ней что-нибудь! Рыбки приступили к нему с вопросами, но он был занят только самим собою и своими прыжками, ничего не видал, ни о чем не знал и гордо помалкивал.

Тогда рыбки обратились к тюленю, который только что погрузился в воду. Этот оказался вежливее, нужды нет, что он ест маленьких рыбок; сегодня, впрочем, он был сыт. Он знал немножко побольше прыгуна-дельфина.

— Я много ночей провел, лежа на мокром камне и поглядывая на землю. Прелукавые создания эти люди, как они сами себя называют! Они всячески стараются истребить нас, но чаще всего мы ускользаем из их рук. Мне это удавалось, удалось вот и тому морскому угрю, о котором вы спрашиваете. Он попался им в лапы, вероятно, еще в незапамятные времена и с тех пор оставался на земле. Но вот они вздумали

<sup>1</sup> См. примеч., т. II, стр. 135.

перевезти его на судне в другую, еще более отдаленную землю. Я видел, как они старались и тужились и наконец-таки одолели его — конечно, он успел ослабеть там, на суше! И вот они согнули его в кольцо; я слышал, как он хрустел и трещал, когда они укладывали его, но потом ему все-таки удалось ускользнуть от них сюда! Они держали его изо всех сил, вцепились в него сотнями рук, а он все-таки удрал от них на самое дно и теперь лежит там пока что!

— Он что-то тонок! — сказали рыбы.

— Они заморили его голодом! — ответил тюлень. — Но погодите, он скоро оправится, опять войдет в тело! Я полагаю, что это-то и есть тот большой морской змей, о котором люди так много толкуют и которого так боятся. Раньше я никогда его не видывал и даже не верил в него, но теперь верю. Это он и есть!

И тюлень нырнул вглубь.

— Как много он знает! Как много он насказал! — затараторили рыбки. — Я сроду не знавала столько! Только бы он не наврал нам!

— Мы можем спуститься на дно и удостовериться! — сказала самая маленькая. — По дороге же узнаем, что говорят другие!

— Ну, нет, мы не шевельнем плавником, чтобы разузнавать еще! — сказали остальные рыбки и отстали.

— А я так добыю своего! — сказала самая маленькая и устремилась на дно. Но она оказалась далеко от того места, где лежала «длинная штука». Рыбка принялась искать ее, шныряя во все стороны.

Никогда еще не думала она, что мир их так велик. Сельди гуляли огромными стаями, блистая чешуей, словно исполинские лодки из серебра; макрели ходили такими же стаями и сияли еще ярче. Повсюду гуляли рыбы всех родов и видов, всевозможных оттенков. Медузы, точно полупрозрачные цветы, неслись по течению; со дна подымались большие растения, трава в сажень вышиной и пальмообразные деревья; на каждом листке красовались блестящие раковинки.

Наконец, рыбка увидела на дне какую-то длинную темную черту и устремилась к ней, но оказалось, что это не рыба и не кабель, а борт затонувшего корабля; верхняя и нижняя палубы его были снесены волнами. Рыбка вплыла в каюту; течение унесло оттуда всех утонувших вместе с кораблем людей, исключая двух: молодой женщины и ребенка, которого она держала в объятиях. Волны слегка приподымали их, словно баюкая; и мать, и ребенок казались спящими. Рыбка совсем перепугалась: она ведь не знала, что они не могут больше проснуться. Водяные растения обвивали борт корабля и сплелись беседкой над прекрасными трупами матери и ребенка. Как тут было тихо, пустынно! Рыбка поспешила поскорее убраться отсюда туда, где вода была освещена ярче и где попадались живые рыбы. Немного спустя рыбка встретила молодого кита, огромного-преогромного.



— Не ешь меня! — взмолилась рыбка. — Я такая маленькая, меня и на глоток-то не хватит, а мне так хочется жить!

— А что тебе понадобилось тут, в глубине? Тут ваша сестра не водится! — сказал кит.

И рыбка рассказала ему о длинном диковинном угре, или чем там была эта штука, которая погрузилась сверху и напугала даже самых храбрых обитателей моря.

— Ого! — сказал кит и так потянул в себя воду, что можно было представить себе, какой он пустит фонтан, когда опять вынырнет на поверхность! — Ого! — продолжал кит. — Так это та штука, что пощекотала меня по спине, когда я повернулся на другой бок! А я-то думал, что это корабельная мачта, и радовался было, что нашел себе хорошую чесалку! Но случилось это не тут! Нет, штука та лежит подальше! Что ж, надо от нечего делать расследовать, в чем дело!

И он поплыл вперед, а маленькая рыбка за ним — на почтительном расстоянии — он оставлял за собою такой бурный, пенящийся след.

На пути они встретили акулу и старую меч-рыбу. Те тоже слышали о диковинном тонком и длинном угре, но еще не видели его и непременно хотели.

Потом явился морской кот.

— И я с вами! — сказал он. — И если этот большой морской змей не толще якорной цепи, я разом перекушу его пополам! — Тут он открыл свою пасть и показал шесть рядов зубов. — Я могу оставить ими метку на корабельном якоре, так уж этакий-то стебелек и подавно перекушу!

— Вот он! — сказал кит. — Я вижу его! — Он воображал, что видит лучше других. — Смотрите, как он подымается, извивается, корчится!

Но это был вовсе не морской змей, а огромный морской угорь, в несколько сажен длиною.

— Ну, этого-то я и раньше видела! — заявила меч-рыба. — Не ему надеть такого переполоха в море и перепугать больших рыб!

И все рассказали угрю о новом угре и спросили, не отправится ли и он вместе с ними на разведку.

— Коли тот угорь длиннее меня, так надо ему шею свернуть! — сказал угорь.

— Да, да! — подхватили другие. — Нас довольно, чтобы не спустить ему!

И они двинулись вперед.

Но вот что-то загородило им дорогу, что-то чудовищное, превосходящее своей величиной всех их вместе! Чудовище походило на плавучий остров, который не мог удержаться на поверхности.

Это был старый-престарый кит. Голова его вся поросла водяными растениями, а черная спина была усажена разными гадами и такой массой устриц и ракушек, что казалась вся в белых пятнах.

— Пойдем с нами, старина! — сказали они ему. — Тут появилась новая рыба, которая не может быть терпима!

— Нет, я лучше останусь на месте! — сказал старый кит. — Оставьте меня в покое! О-хо-хо! Я совсем разболелся! Только и облегчения, что всплыть на поверхность да выставить из воды спину! Тогда прилетают добрые, большие морские птицы и ковыряют мне спину. Славно! Если только они не запускают клювов слишком глубоко в жир, а это часто бывает. Вот глядите! Я так и таскаю на спине целый птичий остов! Птица запустила когти слишком глубоко и не могла высвободиться, когда я нырнул вглубь. Теперь рыбки пообчистили ее. Полюбуйтесь-ка на нее да и на меня! Ох, я совсем расхворался!

— Ну, это одно воображение! — сказал молодой кит. — Я никогда не хвораю! Ни одна рыба не хворает!

— Извините! — сказал старый кит. — У угря болит кожа, у карпов бывает оспа, и у всех у нас глисты!

— Чепуха! — сказала акула.

Ей не хотелось больше слушать, да и остальным тоже — у них было другое дело.

Наконец, они добрались до места, где лежал телеграфный кабель. Он тянулся через весь океан от Европы до самой Америки, по песчаным мелям, по морскому илу, скалистому грунту, сквозь чащу водяных растений, через целые леса кораллов. Тут, в глубине течения, встречаются, образуются водовороты, кишат несметными стаями рыбы; их тут больше, чем птиц в поднебесье во время перелета. Движение, плеск, гул, шум... Отголосок этого шума слышится еще внутри больших пустых раковин, если приложить их к уху.

— Вон он лежит! — сказали большие рыбы, а за ними и маленькая, которая первая пустилась на разведку. Они увидели кабель, начало и конец которого терялись из вида.

Губки, полипы и горгоны колыхались на дне, опускались и наклонялись над кабелем, так что он то совсем скрывался под ними, то опять показывался. Морские ежи, слизняки и червяки тоже копошились около него; исполинские пауки, носившие на себе целые поселки паразитов, шагали вдоль по кабелю. Темно-голубые морские колбасы, или как там зовут тех гадов, что едят всем своим телом, лежали смирно и словно принимались к новому созданию, лежавшему на дне моря. Камбала и треска переворачивались в воде с боку на бок, чтобы слышать на все стороны. Морские звезды, которые вечно зарываются в ил, выставляя наружу только два длинных хоботка с глазами, лежали и таращили глаза в ожидании, что выйдет из всей этой кутерьмы.

Кабель лежал недвижимо, но внутри его кипела жизнь, работали мысли — он ведь был проводником человеческих мыслей!

— Хитрит он! — сказал кит. — Пожалуй, возьмет да и хлестнет меня в живот, а это мое самое больное место!

— Надо пощупать его! — сказал полип. — У меня длинные руки, гибкие пальцы! Я уже трогал его слегка, а теперь возьмусь покрепче! — И он протянул свои гибкие длиннейшие руки к кабелю и обвил его.

— Чешуи на нем нет! — заявил полип. — И кожи нет! Он вряд ли рождает живых детенышей!

Морской угорь растянулся рядом с кабелем и вытянулся как только мог.

— Нет, эта штука длиннее меня! — сказал он. — Ну, да не в одной длине дело, надо тоже иметь и кожу, и желудок, и гибкость!

Молодой силач-кит погрузился чуть не на самое дно; так глубоко он еще никогда не погружался.

— Рыба ты или растение? — спросил он. — Или ты просто человеческая выдумка? Тогда тебе не поздоровится!

Телеграфный кабель безмолвствовал: он хоть и разговаривает, да не так; он передает человеческие мысли, которые пробегают в одну секунду сотни миль.

— Или отвечай, или мы загрызем тебя! — крикнула свирепая акула, за нею повторили то же и остальные:

— Или отвечай, или мы загрызем тебя!

Но кабель не двигался, он думал свое. И как ему было не думать, если он был полон мыслями! Он думал: «Грызите себе на здоровье! Испортите — меня вытащат да исправят! Случалось это с нашим братом, хоть и не в таких больших морях!»

Вот почему он и не отвечал. К тому же он был занят другим — телеграфировал: он ведь лежал здесь, на дне, по служебной обязанности.

А над морем заходило солнышко, как выражаются люди; оно горело, как жар, и облака на небе тоже горели, как жар, одно великолепнее другого.

— Теперь нас осветит красным огнем! — сказали полипы. — Тогда, пожалуй, и эту штуку будет виднее, если это вообще нужно.

— Ату его! Ату его! — закричал морской кот, оскаливая зубы.

— Ату его! Ату его! — закричали меч-рыба, кит и морской угорь.

Все бросились вперед, морской кот впереди всех, но только что он хотел укусить кабель, как меч-рыба сгоряча угодила ему своим мечом прямо в зад! Это была большая ошибка, и морской кот так и не укусил кабеля — ослабел!

Пошла кутерьма: большие и малые рыбы, морские колбасы и слизняки сталкивались, тискались, давили, мяли и пожирали друг друга. А кабель лежал себе смирнехонько и делал свое дело. Так оно и следует.

Над морем спустилась ночная тьма, но в море засветились мириады живых маленьких созданий. Светились даже раки величиной меньше булавочной головки! Диковинно, но это так!

Обитатели моря смотрели на кабель: что же это за штука?

Да, вот был вопрос!

Тут явилась старая морская корова; люди зовут ее «морской девой», или «водяным». Это была особа женского пола, с хвостом, двумя короткими лапами для гребли и висячими грудями; голова ее была покрыта водорослями и паразитами, чем она очень гордилась.

— Хотите вы знать, в чем дело? — сказала она. — Я одна могу дать вам объяснение. Но я требую за это свободного пастбища на дне морском для меня и всех моих. Я такая же рыба, как и вы, а благодаря упражнению стала и ползучим животным. Я умнее всех в море, я имею сведения обо всем, что движется внизу и наверху. Штука эта, над которой вы ломаете себе головы, явилась сверху, а все, что является оттуда, мертво или сейчас же умирает, становится бессильным. Так пусть она себе лежит! Это человеческая выдумка и больше ничего!

— Ну, а по-моему, она значит кое-что побольше! — возразила маленькая рыбка.

— Молчать, макрель! — сказала морская корова.

— Ах ты, колюшка! — сказали другие, и это вышло еще обиднее.

И морская корова объяснила им, что вся эта громкая штука, которая в сущности-то и не пискнула даже, только выдумка людская. Затем она прочла небольшую лекцию о коварстве и злобе людей.

— Им хочется изловить нас всех! Они только для того и живут! Закидывают сети, крючки с приманкой — все, чтобы подманить нас. И эта штука тоже нечто вроде большой удочки — они думают, что мы все так сразу и впоемся в нее зубами! Глупые! А мы-то не глупы! Только не троньте этой дряни, она изветшает сама, станет трухой, тинной! Все, что является оттуда, сверху, — гниль, дрянь, никуда не годится!

— Никуда не годится! — подхватили все остальные, присоединяясь к мнению морской коровы: надо же иметь хоть какое-нибудь!

Но маленькая рыбка осталась при особом мнении. «А, может статься, этот огромный, тонкий змей — диковиннейшая морская рыба? Сдается мне, что так!»

«Да, это нечто диковиннейшее!» — скажем вместе с нею и мы, и скажем сознательно и уверенно.

Это-то и есть тот большой морской змей, о котором исстари твердили нам песни и предания.

Он — порождение человеческого ума. Люди спустили его на дно морское, и он тянется там от восточной страны до западной, передавая вести с такою же быстротой, с какой доходит до земли луч солнца.

И змей этот все растет в длину, становится все сильнее год от года, проходит по всем морям, окружает кольцом всю землю, прячась то в бурных, то в тихих и таких прозрачных волнах, что шкипер видит в них — словно плавает в прозрачном воздухе — мириады рыб и целый фейерверк красок.

Глубоко-глубоко под водою, на самом дне, покоится этот змей, благодатный змей Мидгорд<sup>1</sup>, окружающий кольцом всю землю и кусающий свой собственный хвост. О него с разлету стукаются лбами рыбы и гады и все-таки не понимают значения этой штуки, не понимают, что это — полный человеческих мыслей, говорящий на всех языках и в то же время немой хранитель тайн, чудо из морских чудес, *современный большой морской змей*.



---

<sup>1</sup> По сев. мифологии — гигантский змей, окружающий кольцом всю землю и при Рагнароке способствующий истреблению богов. — *Примеч. перев.*

## САДОВНИК И ГОСПОДИН



В одной миле от столицы лежало старинное барское поместье; в поместье был замок со множеством башен, окруженный толстыми стенами.

В замке жили — конечно, только в летнее время — богатые, знатные господа. Это поместье было лучшим, богатейшим из всех их имений; замок смотрелся отстроенным заново, внутри все было устроено с таким комфортом и удобством. Над воротами красовался высеченный из камня родовой герб господ; и герб, и весь верхний выступ ворот были обвиты розами. Перед самым замком расстился зеленый ковер-лукайка, покрытая дерном; в саду рос и красный, и белый терн, и разные редкие цветы — прямо на вольном воздухе, кроме тех, что росли в теплице.

Недаром же господа держали дельного садовника! Любо было посмотреть на цветник, на фруктовый сад и на огород. Но к ним примыкал еще остаток старого сада — площадка, обсаженная кустами буксбаума, подстриженными в виде корон и пирамид, и на ней два могучих старых дерева, почти всегда оголенных, без единого листочка, и словно осыпанных во время какого-нибудь урагана большими комками навоза. На самом же деле эти комки были птичьими гнездами.

На деревьях гнездилась с незапамятных времен масса крикливых грачей и ворон. Тут был настоящий птичий городок; птицы являлись здесь владельческими господами; и то сказать, они были ведь старейшими обитателями усадьбы, а следовательно, и настоящими господами здесь! Им мало было дела до людей, которые копошились там, внизу, — они, так сказать, только терпели этих низменных созданий, хотя те порою и палили в них из ружей, так что у них дрожь пробегала по спине, и они в ужасе взлетали кверху с криками: «Дуррак! Ду-ррак!»

Садовник часто говорил господам, что следовало бы срубить эти старые некрасивые деревья и заодно избавиться от крикливых птиц — они, наверно, улетят тогда в другое место. Но господа не желали расстаться ни с деревьями, ни с птицами: так было в усадьбе в старину, так оно должно было остаться и впредь — никаких перемен.



— Эти деревья — родовое имение птиц, пусть же они владеют им, добрейший Ларсен!

Фамилия садовника была Ларсен, но в данном случае фамилия его ни при чем.

— Да и разве мало у вас места, добрейший Ларсен? И цветник, и теплицы, и фруктовый сад, и огород — все в вашем распоряжении!

Действительно, все это было предоставлено на его полное попечение, и он ухаживал за вверенным ему участком с любовью и усердием. И господа ценили его за это, но вместе с тем и не скрывали, что в гостях им нередко приходилось кушать лучшие фрукты и любоваться более красивыми цветами, чем у себя дома. Это огорчало садовника — он хотел иметь в господском саду все, что только было лучшего из фруктов и цветов, и употреблял для этого все старания. Он был добрый, честный слуга.

Раз господа позвали его к себе и сказали со всей господской мягкостью и снисходительностью, что вот-де накануне им пришлось отведать у своих знатных друзей таких вкусных, сочных яблок и груш, что и они, и все остальные гости были просто поражены; конечно, эти плоды, наверно, нездешние, но их надо развести и здесь, если только климат позволит. Господа узнали, что плоды были куплены в городе, в лучшем фруктовом магазине; так вот, пусть садовник съездит туда и узнает, откуда они привезены, а затем выпишет черенки.

Садовник хорошо знал хозяина того магазина — ему-то как раз он, с согласия господ, и продавал весь излишек фруктов из их сада.

И вот садовник отправился в город и спросил хозяина магазина, откуда он достал эти хваленые яблоки и груши.

— Да из вашего же сада! — ответил тот и показал садовнику плоды.

Садовник сразу признал их.

Как же он был рад! Живо вернулся домой и доложил господам, что и яблоки, и груши из их собственного сада.

Господа и верить не хотели.

— Это просто невозможно, Ларсен! Вот если бы вы могли достать от хозяина магазина письменное удостоверение?..

Конечно! Удостоверение было доставлено.

— Замечательно! — сказали господа.

С тех пор на господском столе стали ежедневно появляться большие вазы с этими великолепными яблоками и грушами из собственного сада господ. Стали также рассылать их бочонками всем друзьям, жившим в городе и за городом, и даже за границу. Господам это доставляло такое удовольствие! Но они, конечно, не забывали и того, что два последних лета были особенно благоприятны для фруктов, которые удались у всех!

Прошло некоторое время. Господа были приглашены на придворный обед. На другой день садовника позвали к господам: во дворце им по-

давали за десертом удивительно сочные, нежные и вкусные дыни прямо из королевской теплицы.

— Надо вам отправиться к придворному садовнику, Ларсен, и добыть семян этих чудных дынь!

— Да ведь придворный садовник сам брал семена от нас! — радостно сказал садовник.

— Ну, так он сумел выходить из них удивительные плоды! — сказали господа. — Каждая дыня была превосходна!

— Тем больше чести мне! — сказал садовник. — Я могу доложить милостивым господам, что у придворного садовника дыни нынешний год совсем не удались, и, увидев, как хороши и вкусны наши, он взял у меня для вчерашнего обеда три штуки.

— Ларсен! Не воображайте, что те дыни из нашего сада!

— А я думаю, что так! — ответил садовник, отправился к придворному садовнику и добыл от него письменное удостоверение, что дыни, поданные вчера к королевскому столу, были взяты из сада его господ.

Господа были поражены, но не стали держать этой истории в секрете, всем показывали удостоверение и повсюду рассылали семена дынь, как прежде черенки яблонь и грушевых деревьев.

А относительно этих черенков приходили известия, что они привились, и деревья стали приносить великолепные плоды, получившие название в честь господской усадьбы; таким образом, имя ее получило теперь известность и на французском, и на немецком, и на английском языках.

Ничего такого господам и не снилось прежде.

— Только бы наш садовник не возомнил о себе слишком много! — говорили они.

Но садовник относился к делу совсем иначе и заботился только о том, чтобы удержать за собою славу одного из лучших садовников в стране. Ради этого он прилагал все старания, чтобы ежегодно иметь в господском саду самые лучшие плоды и цветы. Тем не менее, ему часто приходилось слышать от своих господ, что из всех доставленных им фруктов лучше всего удались ему те первые яблоки и груши. Конечно, и дыни были очень хороши, но это ведь совсем другое дело! Земляника же, хоть и действительно превосходная, все же была не лучше, чем у многих других господ. А случилось один год, что у садовника не удался редис, так только и разговору было, что о неудавшемся редисе, о том же, что удалось, совсем не говорили.

У господ как будто легче становилось на сердце, если они могли сказать:

— Не повезло вам нынешний год, добрейший Ларсен! — Им просто приятно было говорить: — Да, да, не повезло вам!

Два-три раза в неделю садовник украшал комнаты свежими букетами цветов, подобранных с таким вкусом, что все краски как-то особенно эффектно оттеняли друг друга.

— У вас есть вкус, Ларсен! — говорили господа. — Но это дар Божий, и вы сами тут ни при чем!

Однажды садовник принес в комнату большую хрустальную вазу, в которой плавал большой лист кувшинки, а на нем покоился яркий голубой цветок величиною с подсолнечник, длинный же толстый стебель его купался в воде.

— Индийский лотос! — вскричали господа.

Никогда еще не выдывали они такого цветка! И вот, днем его выставляли на яркое солнышко, а вечером освещали искусственным светом, и все гости приходили в восторг от прекрасного редкого цветка. Такое впечатление цветок произвел даже на самую знатную даму во всей стране — на молодую принцессу, а она была очень умна и добра сердцем.

Господа сочли за честь поднести ей цветок, и она увезла его с собою во дворец, а господа отправились в сад — им хотелось сорвать себе другой такой же цветок, если только найдется еще хоть один, но ничего не нашли. Тогда они призвали садовника и спросили, откуда он взял голубой лотос.

— Мы напрасно искали его повсюду! — сказали они. — Искали и в теплице, и в цветнике!

— Да там-то вы его и не найдете! — ответил садовник. — Это ведь простой цветок из огорода! Но красив он, правда? Ни дать ни взять цветок голубого кактуса! А на самом-то деле только цвет артишока!

— Вам следовало заявить нам это сразу! — сказали господа. — А то мы приняли его за редкий тропический цветок! Вы нас скомпрометировали перед принцессой! Она увидела его у нас, и он ей очень понравился, но она не знала, что это за цветок, даром что прошла всю ботанику! Но, конечно, этой науке нет дела до кухонных трав! Как же это вам взбрело на ум принести такой цветок в комнату? Ведь нас теперь на смех подымут!

И прекрасный голубой цветок, питомец огорода, был приговорен к изгнанию из барских покоев — тут ему было не место, — а сами господа поехали к принцессе извиниться и объяснить, что это только простой огородный цветок, который садовнику вздумалось принести в комнаты, за что он уже и получил выговор.

— Ну, это и грешно, и несправедливо! — сказала принцесса. — Он только открыл нам глаза на прелестный цветок, которого мы прежде не замечали, указал красоту там, где нам и в голову не приходило искать ее! Я велю придворному садовнику ежедневно, пока артишоки будут в цвету, приносить мне в комнату по такому цветку!

И как сказала, так и сделала.

Тогда и господа объявили садовнику, что он опять может приносить им в комнаты свежие цветы артишока.

— В сущности-то они очень красивы! — сказали они. — И в высшей степени оригинальны!

И садовника даже похвалили.

— А он страсть это любит! — толковали господа потом. — Он словно балованный ребенок у нас!

Осенью случилась страшная буря; разыгралась она ночью и так свирепствовала, что выворотила с корнями много деревьев на опушке леса, а также, к большому огорчению господ, как они сами сказали, и к радости садовника, повалила и два больших старых дерева с птичьими гнездами. Сквозь завывания бури слышны были крики грачей и ворон, которые, по рассказам дворни, даже бились крыльями в оконные стекла.

— Ну, теперь вы рады, Ларсен? — сказали господа. — Буря свалила деревья, и птицы улетели в лес. Ничто больше не напоминает взору о старине! Всякий след ее стерт, уничтожен! Нас это огорчает!

Садовник не сказал ни слова, но решил поскорее приступить к осуществлению своей давнишней мечты, воспользоваться как следует этим чудесным, залитым солнцем местечком, до которого прежде не смел касаться. Оно послужит к украшению сада, и господа сами будут довольны.

Старые деревья, падая, смяли и переломали старые кусты буксбаума со всеми их отводками, и садовник решил совсем вырвать их и засадить все местечко простыми полевыми и лесными растениями. Ничего такого не пришло бы в голову другому садовнику! Он рассадил все эти растения как можно лучше: любящие тень — посадил в тени, любящие солнце — на солнышке, заботливо ухаживал за ними, и они разрослись на славу.

Среди этой группы возвышался можжевельник, питомец ютландских степей, напоминающий итальянский кипарис, и блестящий колючий, вечнозеленый и летом и зимою, красивый Христов терн, а пониже росли папоротники всех сортов и видов; одни были похожи на миниатюрные пальмы, другие на тонкое прелестное растение венерины волосы. Рос здесь также и скромный репейник, свежие цветы которого так красивы, что их не грех поместить в любой букет. Репейник был посажен на сухом месте, а пониже, в более сыром грунте, рос лопух, также самое простое, но, благодаря своей высоте и размеру листьев, такое красивое декоративное растение. Кроме того росли здесь и осыпанные цветами, похожие на огромные канделябры, царские кудри, взятые с поля, и дикий яминник, и первоцвет, и лесные ландыши, и дикая кала, и трехлистная нежная заячья травка — ну, просто загляденье!

А на самом первом плане опирался на проволочную ограду ряд маленьких грушевых деревьев французской породы. Росли они на самом припеке, за ними заботливо ухаживали, и они скоро стали приносить большие, сочные плоды, какие приносят у себя на родине.

Вместо же двух старых голых деревьев садовник водрузил здесь высокий шест с Данеброгом на вершине, а рядом с ним другой, обвитый

летом и осенью душистым хмелем; зимою же к верхушке его, согласно старинному обычаю, привязывался сноп необмолоченного овса — на поживу птицам небесным. Пусть и птички весело справят сочельник!

— Наш добрейший Ларсен ударился на старости лет в сентиментальность! — сказали господа. — Но нам-то он очень предан!

Около Нового года в одном из иллюстрированных журналов появилась картинка, изображающая старое господское поместье. На ней были также видны и шест с Данеброгом, и шест с привязанным к нему снопом — рождественским угощением для птиц. К рисунку относилась заметка, в которой приветствовалась прекрасная мысль — воскресить старинный обычай, столь характерный для старого господского поместья.

— Обо всем, что ни сделает этот Ларсен, вечно трубят во все трубы! — сказали господа. — Вот счастливец! Право, кажется, нам впору гордиться тем, что он служит у нас!

Но они вовсе не гордились этим. Они ведь сознавали себя господами, которые могут и отказать Ларсену, если вздумают. Но, конечно, они ему не отказывали — они были ведь добрые господа, и таких добрых господ немало — к счастью для разных Ларсенов.

Да, вот вам и вся история о садовнике и господах!

Поразмыслите же о ней на досуге!



## БЛОХА И ПРОФЕССОР

**Ж**ил-был воздухоплаватель. Ему не повезло, шар его лопнул, и сам он упал и разбился. Сына же своего он за несколько минут перед тем спустил на парашюте, и это было счастьем для мальчика — он достиг земли целым и невредимым. В нем были все задатки, чтобы сделаться таким же воздухоплавателем, как отец, но у него не было ни шара, ни средств на приобретение его.

Жить, однако, чем-нибудь да надо было, и он занялся фокусничеством и чревовещанием. Он был молод, красив собою, и когда возмужал да отпустил себе усы и стал ходить в хороших платьях, то мог сойти хоть за природного графа. Дамам он очень нравился, а одна девица так прямо влюбилась в него за его красоту и ловкость и решила разделить его скитальческую жизнь по чужим странам. Там он присвоил себе титул профессора — меньшим уж он не мог довольствоваться.

Заветной мечтой его было приобрести себе воздушный шар и подниматься на нем вместе с молодой женой, да вот беда — денег не было.

— Ну, когда-нибудь да они придут к нам! — говорил он.

— Если только захотят! — отвечала жена.

— Что ж, люди мы ведь еще молодые, а я уже профессор! И крошки ведь тот же хлеб!

Жена всячески помогала мужу, сидела у дверей и продавала билеты на представления, а холодное это было удовольствие зимою! Помогала она ему также и в одном фокусе. Он прятал ее в ящик стола, в большой ящик, а она оттуда перебиралась в задний ящик, и в переднем ее уже не оказывалось. Выходил как будто обман глаз.

Но однажды вечером, когда он выдвинул ящик, оказалось, что жена исчезла взаправду! Ее не было ни в переднем ящике, ни в заднем, не было во всем доме — исчезла без следа! Это уж был ее фокус! Она так и не вернулась к нему больше: жене наскучила эта жизнь, а муж стал так скучать по жене, что утратил свой веселый нрав, не мог больше шутить и паясничать, и публика перестала ходить на его представления. Заработки стали плохие, платье изнашивалось; под конец из всего имущества осталась у профессора одна большая блоха — память о жене; немудрено,



что он души не чаял в этой блохе! Он выдрессировал ее и обучил разным штукам: делать на караул ружьем и стрелять из пушки — конечно, из маленькой.

Профессор гордился своей блохой, а она гордилась собой: она ведь обучилась кое-чему, в ней текла человеческая кровь, и, кроме того, она побывала в разных городах, показывала свои фокусы перед принцами и принцессами и удостаивалась их высокого одобрения. Об этом говорилось и в газетах, и в афишах. Блоха сознавала себя знаменитостью, знала, что в состоянии прокормить не только своего профессора, но хоть целую семью.

Она была горда, знаменита, но — увы! — путешествуя со своим профессором по железным дорогам, всегда занимала место в четвертом классе! Что ж, и в четвертом едешь ведь не тише, чем в первом! Блоха и профессор вступили друг с другом в крепкий, хотя и молчаливый союз, дали друг другу молчаливый обет никогда не разлучаться, никогда не жениться. Блоха решила остаться в девицах, профессор — вдовцом. Одно стоило другого.

— Туда, где произвел наибольший фурор, нельзя заглядывать второй раз! — говаривал профессор; он знал людей, а это ведь тоже кое-что значит.

Но вот, наконец, он побывал во всех странах, кроме страны дикарей, и решил отправиться туда. Правда, он знал, что дикари поедают христиан, но сам он был ненастоящий христианин, а блоха ненастоящий человек, так он и порешил, что они могут отважиться на такое путешествие и даже заработать там хорошие денюжки.

Часть пути они сделали на пароходе, часть на парусном судне; блоха проделывала свои штуки, и таким образом дорога окупилась. Наконец, они прибыли в страну дикарей.

Страной правила маленькая принцесса; ей было всего восемь лет, но она уже правила. Принцесса просто-напросто отняла власть у отца и матери — она была страсть какая своевольная, да к тому же на диво миленькая и непослушная.

Как только блоха показала свои штуки: сделала ружьем на караул и выстрелила из пушки, принцесса влюбилась в нее и воскликнула:

— Она или никто! Я выйду за нее замуж!

Принцесса совсем одичала от любви, а и без того-то уж была дикая.

— Милое, дорогое дитятко! Умница ты наша! — заговорил ее отец. — Да если бы можно было сначала сделать из блохи человека!

— Не твое дело, старый! — отрезала принцесса, и это было с ее стороны не очень-то мило — она ведь говорила с отцом. Но уж такая она была дикая!

Она посадила блоху себе на руку и сказала ей:

— Теперь ты человек и царствуешь вместе со мною! Но ты должна делать, что я хочу, иначе я убью тебя и съем профессора!

Профессору отвели большой зал. Стены были из сахарного тростника — знай лижи себе вволю, но он не был лакомкой. Вместо же постели ему дали висячую койку, и он покачивался в ней, как в корзине воздушного шара, о котором не переставал мечтать.

Блоха осталась у принцессы, сидела на ее маленькой ручке и на шейке: принцесса выдернула у себя из головы волос и велела профессору обвязать его вокруг ножки блохи, другой же конец волоса прикрепила к большому куску коралла, красовавшемуся у нее в ухе.

То-то настало блаженное времечко для принцессы, да и для блохи тоже — по мнению первой. Но профессор не был доволен: он был путешественник в душе, любил странствовать из города в город и читать в газетах похвалы своему терпению и ловкости, которые помогли ему обучить блоху разным человеческим штукам. Изюм в день качался он в своей койке, ничего не делая, только ел да пил. Пища ему отпускалась хорошая: свежие птичьи яйца, слоновьи глаза и жареные ляжки жирафа. Людоеды питаются не одним человеческим мясом; оно у них только считается самым изысканным блюдом.

— Особенно хороши детские плечики под крепким соусом! — говорила мать принцессы.

Профессор скучал и рвался вон из страны дикарей, но не мог же он оставить здесь свою блоху: она была его славой и кормилицей. Да как же заполнить ее? Задача не легкая!

Он напряг все свои мыслительные способности и наконец воскликнул: «Нашел!»

— Принцессин отец! Разреши мне заняться чем-нибудь! Разреши обучить всех жителей страны делать на караул! В величайших странах мира это служит признаком высшей образованности!

— А чему ты можешь научить меня? — спросил отец принцессы.

— Моему высшему искусству! — сказал профессор. — Искусству палить из пушки так, что вся земля начнет дрожать, а с неба посыплются вкуснейшие жареные птицы! Вот как!

— Давай сюда пушку! — сказал отец принцессы.

Но во всей стране не нашлось ни одной пушки, кроме той, которую привезла с собою блоха, но эта была чересчур мала.

— Я отолью большую! — сказал профессор. — Только дайте мне материалы! Мне нужны тонкая шелковая материя, иголка и нитки, канаты и веревки, а также желудочные капли для воздушных шаров — они раздувают, поднимают шары на воздух, они же производят и взрыв в желудке пушки.

Все, что он потребовал, было ему выдано.

Все жители страны сбегались посмотреть на большую пушку. Но профессор позвал их не раньше, чем шар был совсем готов наполниться газом и подняться.

Блоха сидела на руке принцессы и тоже смотрела. Шар наполнили газом, он раздулся, и его еле удерживали — он совсем одичал.

— Мне надо будет подняться на воздух, чтобы пушка остыла! — сказал профессор и уселся в корзину, прикрепленную под шаром. — Но одному мне не справиться! Мне нужен знающий помощник! Кроме же блохи никто не годится!

— Не очень-то я охотно отпускаю ее! — молвила принцесса, но все-таки отдала блоху профессору. Тот посадил ее себе на руку.

— Теперь отпустите веревки и канат! — закричал он народу. — Шар подымается!

И вот шар стал подыматься все выше да выше к облакам и улетел из земли дикарей.

А принцесса, мать ее, отец и весь народ все стояли да ждали. Они ждут и посейчас, а не веришь, поезжай сам в страну дикарей — там каждый ребенок говорит о блохе и профессоре и верит, что они вернутся, когда пушка остынет. Но они и не думают возвращаться: они давно дома, на своей родине, и разъезжают по железным дорогам уже в первом, а не в четвертом классе. Теперь они много зарабатывают — у них свой большой воздушный шар. Никто не спрашивает, как и где они его добыли: они ведь теперь люди со средствами, всеми уважаемые — и блоха, и профессор.



## О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЛА СТАРУХА ИОАННА

**В**етер шумит в ветвях старой ивы. Сдается, что внимлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старуху Иоганну из богадельни; она все знает, она ведь родилась тут, в окрестности.

Много лет тому назад, когда мимо ивы еще проходила большая столбовая дорога, ива была уже большим могучим деревом. Стояла она, где и теперь стоит, близ пруда, перед выбеленным домиком портного. Пруд этот в те времена был так велик, что к нему пригоняли на водопой скотину, а в теплые летние дни в нем полоскались голые деревенские ребяташки. Под самым деревом стоял тогда большой камень, изображавший верстовой столб; теперь он свалился и оброс побегами ежевики.

Новую большую дорогу провели по ту сторону богатой крестьянской усадьбы, а старая стала проселочной, пруд же превратился в подернутую зеленой плесенью лужу. Бухнется в нее лягушка — зелень разойдется, и покажется грязная, черная вода. По краям ее росли и растут осока, тростник и желтые лилии.

Домишко портного покосился от старости; крыша превратилась в садник мха и дикого чеснока. Голубятня обветшала, и в ней свил себе гнездо скворец, под крышей же налепили себе гнезд ласточки, словно домик был приютом счастья.

Когда-то оно так и было; теперь же в нем тишина и запустение. Живет в нем, или, вернее, прозябает, дурачок Расмус, как его прозвали. Он родился в этом доме, играл тут ребенком, прыгал по полю и через изгородь, полоскался в пруде и карабкался на старую иву.

Она и теперь еще подымает к небу свои роскошные, красивые, большие ветви, как и тогда. Но буря слегка погнула ее ствол, время проделало в нем трещину, ветер занес в нее землю, и из нее сами собою выросли трава, зелень и даже маленькая рябинка.

Ласточки возвращаются сюда каждую весну, начинают летать вокруг дерева и над крышей и чинить свои старые гнезда; Расмус же махнул

рукой на свое гнездо, никогда не чинил его. «К чему? Что толку?» — вот такая была у него поговорка, унаследованная от отца.

И он оставался в своем гнезде, а ласточки улетали, но на следующую весну возвращались опять — верные птички! Скворец посвистывал, улетал, опять возвращался и опять насвистывал свою песенку. Когда-то и Расмус свистал с ним взапуски; теперь он и свистать и петь разучился.

Ветер шумел в ветвях старой ивы, шумит и посейчас; сдается, что внемлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старуху Иоганну из богадельни; она все знает, может порассказать о том, что было здесь в старину, она — живая хроника.

Дом был еще нов и крепок, когда в него перебрались на житье деревенский портной Ивар Эльсе с женой Марен, люди честные, работающие. Старуха Иоганна была в то время еще девчонкой; отец ее, выделывавший деревянные башмаки, считался чуть ли не последним бедняком в околотке. Много перепало девочке славных кусков хлеба с маслом от доброй Марен — у этой-то не было недостатка в провизии. Она пользовалась большой благосклонностью помещицы, вечно смеялась, вечно была весела, никогда не вешала носа, болтала без умолку, но, работая языком, не покладала и рук. Иголка в ее руках двигалась так же быстро, как язычок во рту; кроме того, она смотрела и за хозяйством, и за детьми, а их была без малого дюжина — целых одиннадцать; двенадцатый так и не явился.

— У бедняков вечно полно гнездо птенцов! — ворчал помещик. — Топить бы их, как котят, оставляя лишь одного или парочку из тех, что покрепче, так беды-то было бы меньше!

— Спаси Боже! — говорила жена портного. — Дети — благословение Божие, радость в доме! За каждого лишнего ребенка прочтешь лишний раз «Отче наш» — вот и все! А если туго приходится и трудно кормить столько ртов, так стоит приналечь маленько на работу — и выйдешь из беды честь честью! Господь не забудет нас, коли мы Его не забываем!

Помещица одобряла Марен, ласково кивала ей головой и часто трепала ее по щеке. А было время, что она даже целовала Марен, но это тогда еще, когда сама была маленькой девочкой, а Марен — ее нянькой. Обе очень любили друг друга, и добрые отношения между ними не порывались.

Каждый год, к Рождеству, в доме портного появлялся запас провизии на зиму: бочка муки, свиная туша, два гуся, бочонок масла, сыр и яблоки. Все это шло с помещичьего двора и помогало пополнить кладовую. Ивар Эльсе глядел тогда веселее, но скоро опять затягивал свой вечный припев: «Что толку?»

В домике портного было чисто, уютно: на окнах занавески, на подоконниках цветы — гвоздики да бальзамины. На стене, в рамке, висела

азбука, вышитая Марен, а рядом стихотворение, тоже ее собственной работы; она умела подбирать рифмы и почти гордилась тем, что ее фамилия Эльсе (Olse) являлась единственным словом, рифмовавшим со словом Polse (колбаса).

— Все-таки преимущество перед другими! — говаривала она, смеясь.

Она всегда была в духе, никогда не говорила, как муж: «Что толку!» У нее была своя поговорка: «Надейся на Бога и сам не плошай!» Так она и делала, и весь дом держался на ней. Детишки росли здоровыми, подрастали, покидали родное гнездо, становились сами на ноги и вели себя хорошо. Самый меньший из них, Расмус, ребенком был просто красавчик, так что один из лучших живописцев в городе даже взял его раз моделью, но нарисовал совсем голеньким, как мать родила! Картинка эта висела теперь в королевском дворце; помещица видела ее и сейчас признала маленького Расмуса, даром что он был без платья.

Но вот настало тяжелое время. Портной схватил ревматизм в обеих руках; руки распухли; ни один доктор не мог ничего поделывать, даже сама знахарка Стина.

— Не надо вешать носа! — сказала Марен. — В этом толку мало! Теперь у нас парой здоровых рук меньше, так задам побольше дела моим! Да и Расмус умеет держать иглу в руках!

Он уже и в самом деле сидел на столе, насвистывал и шил — веселый он был мальчик!

Но целыми днями ему не след было сидеть за работой, говорила мать, грешно так мучить ребенка; надо было дать ему и побегать, и порезвиться!

Первой подругой Расмуса была Иоганна; она была еще из более бедной семьи, чем Расмус, красотой не отличалась, ходила босиком и в лохмотьях — некому было о ней заботиться, самой же зашить свои дыры ей в голову не приходило. Она была еще ребенок и весела, как птичка, порхающая на солнышке.

Чаще всего играли дети под большой ивой у каменного столба.

Расмус задавался великими замыслами: он мечтал сделаться важным портным и поселиться в городе, где живут такие мастера, что держат по десяти подмастерьев, — это он слышал от своего отца. Вот к такому-то мастеру Расмус и поступит в подмастерья, а потом сам станет мастером. Тогда Иоганна непременно должна прийти к нему в гости, а если к тому времени выучится стряпать, то может остаться у них и навсегда — готовить им кушанье, и тогда ей отведут свою комнату.

Иоганна не совсем-то этому верила, но Расмус был вполне уверен, что все оно так и сбудется.

Так они сидели вместе под старым деревом, а ветер шумел в ветвях, словно пел песню, ива же пересказывала ее.

Осенью все листья опали; с голых ветвей закапал дождь.



— Они снова зазеленеют на будущий год! — говорила матушка Эльсе.

— Что толку? — ответил муж. — Новый год — новые печали, новые заботы о куске хлеба!

— Кладовая наша полна! — возражала жена. — Спасибо доброй барыне! Я здорова, сил мне не занимать — грех нам и жаловаться!

Рождество семья помещика проводила в имении, но через неделю после Нового года перебиралась обыкновенно в город, где весело проводила зиму, посещая разные балы и собрания и бывая даже при дворе.

Госпожа выписала себе из Парижа два дорогих платья, из такой материи, такого покроя и такой работы, что Марен сроду не видывала ничего великолепнее. Она и выпросила у госпожи позволение прийти в замок еще раз вместе с мужем, чтобы и он мог полюбоваться на платья.

— Ничего такого ни одному деревенскому портному ведь и во сне не снилось! — сказала она.

И вот он увидел платья, но не сказал ни слова, пока не вернулся к себе домой, да и тут сказал лишь то, что говорил всегда: «Что толку?» И на этот раз слова его оказались вещими.

Господа переехали в город, начались балы и праздники, но тут-то как раз старый помещик и умер. Не пришлось молодой госпоже и пощеголять в своих великолепных платьях! Она была очень огорчена, оделась с ног до головы в траур, не позволяла себе надеть даже белого воротничка. Все слуги тоже были одеты в траур, а парадную карету обили тонким черным сукном.

Была ясная морозная ночь; звезды сияли на небе, снег так и сверкал, когда к воротам усадебной церкви подъехала колесница с телом помещика: его привезли сюда из города, чтобы схоронить в семейном склепе. Управляющий помещьем и деревенский староста, оба верхом, с факелами в руках, встретили гроб у калитки кладбища. Церковь была освещена, священник встретил гроб в дверях. Затем гроб внесли на возвышение перед алтарем, священник сказал приличное случаю слово, а присутствующие пропели псалом. Сама госпожа тоже находилась в церкви; она приехала в парадной траурной карете, обитой черным сукном и внутри, и снаружи; ничего такого деревенские жители сроду не видывали.

Всю зиму толковали они о печальной, но пышной церемонии. Да, вот это так были господские похороны!

— Сейчас видно, какой человек умер! — говорили они. — Родился он знатным барином и схоронили его как знатного барина!

— Что толку? — сказал опять портной. — Теперь у него ни жизни, ни имени! У нас хоть жизнь-то осталась!

— Да не говори же таких слов! — прервала его жена. — Он ведь обрел вечную жизнь в царствии небесном!

— А кто тебе это сказал? — возразил муж. — Мертвое тело — хорошее удобрение для земли и только! А этот господин даже и удобрением-то послужить не может — он слишком знатен для этого, будет себе гнить в склепе!

— Да оставь ты свои безбожные речи! — вскричала жена. — Говорю тебе: он обрел вечную жизнь!

— А кто тебе сказал это, Марен? — повторил портной.

Но Марен набросила передник на голову маленького Расмуса — ему не след было слушать такие речи; увела его в сарай и там принялась плакать.

— Это говорил, Расмус, не отец твой, а злой дух! Он забрался в дом и овладел языком твоего отца! Прочти «Отче наш»! Прочтем вместе! — И она сложила ручки ребенка. — Ну, теперь у меня отлегло от сердца! — сказала она. — Надеемся на Бога и сам не плошай!

Год скорби подходил к концу, вдова ходила уже в полутрауре, а в сердце ее печаль давно сменилась полной радостью.

Поговаривали, что к ней присватался жених, и она уже подумывает о свадьбе. Марен знала об этом кое-что, а священник и того больше.

В Вербное воскресенье, после проповеди, он должен был огласить предстоящее бракосочетание вдовы. Жених ее был какой-то не то камелотес, не то ваятель, толковали в народе. Как называть его — никто хорошенько не знал; в те времена Торвальдсен и его искусство еще не были знакомы народу.

Новый помещик был не из знатного рода, но вид у него был очень важный, и занимался он чем-то таким, о чем никто не имел настоящего понятия; знали только, что он имеет дело с глиной да с камнем, что он большой мастер своего дела, и к тому же молод и красив.

— Что толку? — говорил, однако, Ивар Эльсе.

И вот в Вербное воскресенье, после проповеди, состоялось оглашение; затем пропели псалмы и приступили к причащению. Портной, Марен и Расмус были в церкви; родители подошли к причастию, мальчик остался сидеть на своем месте — он еще не был конфирмован.

В последнее время в доме портного ощущался сильный недостаток в одежде: старые платья все изнашивались, их уж вывертывали, перешивали и чинили не раз. В этот же день все трое, и муж, и жена, и сын, были в новых платьях, но из черной траурной материи, словно собирались на похороны, — на платья им пошла траурная обивка кареты. Мужу вышел из нее сюртук и брюки, жене платье и Расмусу полный костюм, да еще на рост, чтобы платье пригодились и к конфирмации. На все это, как сказано, пошла и внутренняя и наружная обивка траурной кареты. Ни-

кому, собственно, не было нужды добираться до первоначального употребления материи, но люди все-таки живо добрались, и знахарка, умная баба Стина, да еще несколько таких же умниц, которые, однако, не промышляли своим умом, объявили, что эти платья накличат на головы семьи несчастье: «Нельзя одеваться в обивку траурной кареты — сам отправишься на кладбище!»

Иоганна заплакала, услышав такие речи, и так как случилось, что с того самого дня портному стало хуже, то скоро должно было выясниться, на чью именно голову падет несчастье.

Наконец, оно и выяснилось.

В первое же воскресенье после Троицы портной Эльсе умер. Теперь Марен осталась одна — как знаешь, так и справляйся! Она и справлялась: надеялась на Бога и сама не плошала!

Через год Расмус конфирмовался. Пришла пора отдать его в город в ученье к настоящему портному, хоть и не к такому, который держал двенадцать подмастерьев. Этот держал только одного, мальчика же Расмуса можно было считать разве за полподмастерья. Расмус был весел, рад тому, что отправляется в город, но Иоганна плакала: она любила его больше, чем сама подозревала. Мать Расмуса осталась в доме одна и продолжала заниматься своим ремеслом.

В это-то время и была открыта новая проезжая дорога, старая же, что шла мимо ивы и дома портного, стала проселочной; пруд зарос, превратился в подернутую зеленой плесенью лужу; верстовой столб свалился — ему незачем было больше стоять, — но дерево стояло по-прежнему, все такое же крепкое и красивое, и ветер по-прежнему шумел в его ветвях.

Ласточки улетели, улетел и скворец, но весной все они вернулись опять, потом опять улетели и опять прилетели, когда же вернулись в четвертый раз, вернулся домой и Расмус. Он стал подмастерьем и выровнялся в красивого, но худощавого и слабого здоровьем парня. Он хотел было не медля вскинуть котомку на плечи и пуститься в чужие страны, куда его давно тянуло, но мать стала его удерживать: дома, дескать, лучше! Все дети ее разлетелись из гнезда, он был младшим, дом должен был достаться ему; работы же он и здесь мог достать вдоволь: пусть только сделается странствующим портным, переходит из дома в дом по всей окрестности, работая недели по две то тут, то там, — чем не путешествие? Расмус сдался.

И вот он опять спал под родной кровлей, опять сидел под старой ивой и прислушивался к шуму ветвей.

Он был красив, свистал как птица, умел петь и новые и старинные песни и скоро стал желанным гостем во многих богатых крестьянских домах, особенно же в доме Клауса Гансена, чуть ли не первого богача в окрестности.

Дочка его, Эльза, цвела как роза; улыбка не сходила с ее уст, и находились-таки злые люди, поговаривавшие, что она смеется только для того, чтобы показывать свои хорошенькие зубки. Что ж, такая уж она была хохотунья, вечно готова дурачиться, шутить! К ней все шло.

Она полюбила Расмуса, а он полюбил ее, но ни он, ни она не обмолвились о том друг другу ни словом.

И вот он стал задумываться и грустить; в его характере было больше отцовского, нежели материнского. Весел он был только в присутствии Эльзы; тогда они оба смеялись и шалили напропалую, но хотя и не раз при этом представлялся удобный случай, Расмус так и не признался Эльзе в своей любви. «Что толку? — думал он. — Родители ищут ей богатого жениха, а у меня ничего нет. Так лучше бежать от нее!» Но на это у него не хватало сил: Эльза как будто держала его на привязи и могла заставить его петь и свистеть, словно ручную птицу.

Иоганна служила у Клауса Гансена в работниках; на ней лежала разная черная работа по дому: она возила на поле молочную бочку и доила там вместе с другими работницами коров, возила туда и навоз, когда надо было. Она не бывала в хозяйских горницах и не часто видела Расмуса или Эльзу, но слышала от других, что они чуть ли не жених и невеста.

«Расмус идет в гору! — думала она. — И дай ему Бог!» Но глаза ее при этом наполнялись слезами, хотя, казалось бы, о чем тут плакать?

В городе была ярмарка; Клаус Гансен отправился туда с дочерью, а с ними и Расмус. Он сидел рядом с Эльзой всю дорогу и туда и обратно. Сердце его было переполнено любовью, но он не сказал о том Эльзе ни слова.

«Должен же он, однако, объясниться со мною! — думала девушка вполне резонно. — А не заговорит сам, так я расшевелю его!»

И скоро в доме стали поговаривать, что за Эльзу сватается богатейший крестьянин в окрестности. Так оно и было, но никто не знал, что ответила ему Эльза.

У Расмуса и голова кругом пошла.

Однажды вечером Эльза надела на пальчик золотое кольцо и спросила у Расмуса, что оно означает.

— Обручение! — ответил тот.

— А с кем, по-твоему? — спросила она.

— С тем богачом, что сватался за тебя!

— Угадал! — сказала она, кивнула головкой и скрылась.

Скрылся и он, пришел домой к матери совсем вне себя и сейчас же принялся завязывать свою котомку: «В путь-дорогу! Куда глаза глядят!» Не помогли и слезы матери.

Он вырезал себе палку из ветви старой ивы и так насвистывал при этом, словно у него невесть как весело было на душе, — чего-чего ведь ни насмотрится он теперь на белом свете!

— Для меня-то это большое горе! — сказала мать. — Но для тебя, конечно, самое лучшее уехать, так и мне надо примириться с этим. Но надейся на Бога, да не плошай и сам, и — я увижу тебя опять молодцом!

Он пошел по новой дороге и увидал издали Иоганну, которая везла на поле навоз. Она еще не успела заметить его, а ему и не хотелось этого, и он присел за изгородью у канавы. Иоганна проехала мимо.

Расмус отправился бродить по белу свету, но где бродил — никому не было известно. Мать, впрочем, надеялась, что не пройдет и года, как он вернется домой. «Теперь ведь он увидит столько нового, будет ему чем поразвлечься, ну, он мало-помалу и войдет в старую колею. Да, в его характере больно много отцовского, лучше бы он был в меня, бедное дитятко! Но он все-таки вернется домой — не может же он бросить и меня, и дом!»

И мать собиралась ждать год; Эльза прождала только месяц, а потом отправилась тайком к знахарке Стине; та и полечивала, и на картах и на кофейной гуще ворожила.

Она, конечно, сейчас же узнала, где находился Расмус, — только в кофейную гущу поглядела. Он находился в чужом городе, но названия его она не могла прочесть. В городе том было много солдат и красивых девушек, и он собирался или стать под ружье, или жениться на одной из девушек.

Тут Эльза не выдержала и заявила, что отдала бы всю свою копилку с деньгами, только бы вернуть Расмуса, но... никто не должен был знать об этом!

И старуха обещала вернуть Расмуса: она знала одно средство, правда, очень опасное, так что прибегать к нему следовало только в крайних случаях. Надо было заварить кашу и поставить ее на огонь: каша будет кипеть, и Расмусу — где бы он ни был — придется вернуться, вернуться туда, где кипит каша и ждет его возлюбленная. Пройдут, может быть, месяцы, прежде чем он вернется, но вернуться он должен, если только жив. Он будет спешить домой без оглядки, без отдыха, день и ночь, через моря и горы, во всякую погоду, несмотря ни на какую усталость. Его будет неудержимо тянуть домой, и он вернется домой!

Была первая четверть луны, а это-то как раз, по словам Стины, и требовалось для ворожбы. Погода стояла бурная, старая ива так и трещала. Стина отломила от нее веточку, связала ее узлом — узел этот должен был притянуть Расмуса — и бросила ее в горшок. Затем знахарка набрала с крыши дома мха и дикого чеснока, положила в горшок и их, поставила горшок на огонь и велела Эльзе вырвать листок из молитвенника. Та случайно вырвала листок с опечатками. «Все едино!» — сказала Стина и бросила его в кашу.

И много еще всякой всячины пришлось бросить в кашу, которая должна была кипеть, не переставая, пока Расмус не вернется домой. Черному петуху старой Стины пришлось расстаться со своим красным гребешком, а Эльзе со своим толстым золотым кольцом. И оно пошло в кашу; Эльза так никогда и не получила его обратно; впрочем, Стина заранее предупредила ее об этом. Страсть какая была умная эта Стина! Да, и не перечесть всех вещей, какие попали в кашу, которая не сходила с огня, или с горячих угольев, или с теплой золы. Знали же о том только Стина да Эльза.

Месяц нараждался и убывал, а Эльза все наведывалась к Стине с тем же вопросом: «Что, все еще не видать его?»

— Много знаю я! — отвечала Стина. — Много вижу, но сколько еще остается ему идти — не вижу. Впрочем, он уже перешел первые горы! Теперь он в море и терпит непогоду! Но долго еще идти ему через дремучие леса! Ноги его покрылись волдырями, тело его треплет лихорадка, а он все должен идти, идти без конца, без отдыха!

— Ах, нет, нет! — сказала Эльза. — Мне жалко его!

— Ну, уж теперь его нельзя остановить! А остановим — он упадет мертвым на дороге!

Прошел год. Стояло полнолуние; ветер шумел в ветвях ивы; на небе, при свете месяца, показалась радуга.

— Вот это хороший знак! — сказала Стина. — Значит, Расмус скоро придет!

Но он не приходил.

— Да, коли ждешь, время тянется ой-ой как долго! — говорила Стина.

— Ну, а мне надоело ждать! — сказала Эльза, стала заходить к Стине все реже и реже и перестала приносить ей новые подарки.

На душе у Эльзы становилось все легче, и вот в одно прекрасное утро все узнали, что Эльза согласилась выйти за богача-крестьянина.

Она отправилась взглянуть на его двор и земли, на скот и прочее добро; все оказалось в добром порядке, и свадьбы незачем было больше откладывать.

Отпраздновали ее на славу; пирование шло целых три дня. Плясали под звуки скрипок и кларнетов. Никто из окрестных жителей не был обойден приглашением; была на свадьбе и матушка Эльсе, и когда веселье кончилось, дружки поблагодарили гостей за честь, а музыканты сыграли последний туш, она пошла домой с полной корзинкой остатков от свадебного угощения.

Дверь дома она приперла снаружи, продев в колечки щепку, но, подходя к дому, она заметила, что щепка выдернута и дверь стоит настежь. В горнице сидел Расмус! Он вернулся домой, вернулся в этот



самый час. Но, Боже, на нем не было лица! Как он пожелтел, похудел — одни кости да кожа!

— Расмус! — вскричала мать. — Тебя ли я вижу! Жалость берет, глядя на тебя! Но как же я рада, что ты вернулся!

И она угостила его вкусными кушаньями, которые принесла с пира: куском жаркого и свадебным пирожным.

А он сказал, что часто вспоминал в последнее время мать, свой дом и старую иву. Диво просто, как часто снилось ему это дерево и босоногая Иоганна!

Об Эльзе он и не упомянул. Он был болен и слег в постель; мы-то не подумаем, что в болезни его и возвращении была виновата каша Стины, это думали только сама Стина да Эльза, но и они молчали о том.

У Расмуса сделалась горячка; болезнь была заразительна, и никто не заглядывал в домик портного, кроме Иоганны. Она горько плакала, глядя на больного.

Доктор прописывал ему лекарства, но он не хотел их принимать.

— Что толку! — говорил он.

— Как что? Поправишься! — уговаривала его мать. — Надейся на Бога, да и сам не плошай! Я бы жизнь отдала, только бы мне увидеть тебя опять здоровым и веселым, услышать твой свист и пение!

И Расмус избавился от болезни, но зато передал ее матери, и Господь отозвал к себе ее, а не его.

Пусто стало в доме, хозяйство пришло в упадок.

— Плох он! — говорили про него соседи. — Совсем дурачком стал!

Бурную жизнь вел он во время своих странствований, вот что высосало из него жизненные соки, а не каша! Волосы его поредели и поседели; к настоящему труду он был уже не годен. «Да и что толку?» — говорил он и охотнее заглядывал в кабачок, чем в церковь.

Однажды ненастным осенним вечером он с трудом тащился по дурной дороге из кабачка к себе домой; матери его давно не было в живых; ласточки и скворец улетели; все покинули его, кроме Иоганны. Она догнала его и пошла с ним рядом.

— Возьми себя в руки, Расмус! — сказала она.

— Что толку! — возразил он.

— Дурная у тебя поговорка! — продолжала она. — Вспомни-ка лучше поговорку матери: «Надейся на Бога и сам не плошай!» Ты вот этого не делаешь, Расмус, а надо! Никогда не говори: «что толку?» Этим ты подрываешь в корне всякое дело!

Она проводила его до дверей дома и ушла, но он не вошел в дом, а присел под старой ивой на повалившийся верстовой столб.

Ветер шумел в ветвях дерева; слышалась не то песня, не то речь, и Расмус отвечал на нее, но никто не слышал его, кроме дерева да шумящего в ветвях ветра.

— Брр! Как холодно! Верно, пора в постель! Уснуть, уснуть!

И он пошел, да не домой, а к пруду, там споткнулся и упал. Дождь так и лил, ветер обдавал его холодом, но он ничего не чувствовал. Встало солнышко, к пруду стали слетаться вороны, и Расмус очнулся, но тело его почти заоченело. Упав он туда, где теперь лежали его ноги, головою, ему бы не встать вовеки — болотная плесень стала бы его саваном!

Днем в дом портного зашла Иоганна; не будь ее, плохо бы пришлось Расмусу; она свезла его в больницу.

— Мы знаем друг друга с детских лет! — сказала она. — Мать твоя поила и кормила меня; никогда мне не воздать ей за это! Но я надеюсь, что ты выздоровеешь и опять станешь человеком!

И Господу Богу угодно было поднять его на ноги. Но в здоровье его и телесном и духовном пошли с тех пор скачки — то лучше, то хуже.

Ласточки и скворец по-прежнему улетали и прилетали; Расмус состарился преждевременно. Одиноким бобылем жил он в своем доме, который ветшал все больше и больше. Совсем обнищал Расмус, стал беднее Иоганны.

— Веры у тебя нет! — говорила она. — А коли у нас нет веры в Бога, так что же у нас есть? Следовало бы тебе сходить к причастию! Ты ведь не причащался с самой конфирмации.

— Что в этом толку? — ответил он.

— Ну, коли ты так рассуждаешь, так лучше и не ходи! Невольных гостей Господь не хочет видеть за своим столом. Но вспомни же свою мать, свое детство! Ты был тогда добрым, набожным мальчиком. Хочешь, я прочту тебе псалом?

— Что толку? — молвил он.

— Меня псалмы всегда утешают! — сказала она.

— Иоганна, ты стала святошей! — И он посмотрел на нее усталым, тусклым взглядом.

А Иоганна прочла псалом — не по книге, у нее не было ее, а наизусть.

— Прекрасные слова! — сказал он. — Но я не могу хорошенько вникнуть в них. Голова у меня такая тяжелая.

Расмус стал стариком, но и Эльза была уже не молода. Упомянем о ней к слову, Расмус же никогда не упоминал о ней. Она была уже бабушкой. Резвая маленькая внучка ее играла раз с другими деревенскими детьми, а Расмус проходил мимо, опираясь на палку. Увидав детей, он остановился и с улыбкой стал смотреть на их игру — в памяти его воскресло бывшее. Но внучка Эльзы указала на него пальчиком и закричала: «Дурачок Расмус!» Другие девочки подхватили: «Дурачок Расмус!» — и пустились преследовать старика.

Тяжелый то был, пасмурный день; за ним потянулись такие же, но в конце концов ненастье всегда сменяется солнышком.

Утро в день Троицы выдалось чудесное; церковь вся была убрана зелеными березками; пахло, точно в лесу; солнышко играло на церковных стульях; большие свечи у алтаря так и сияли. Приступили к причащению; Иоганна была в числе причастниц, но Расмуса не было. Как раз в это утро Господь отозвал его к Себе.

А у Бога всякий найдет и милосердие, и сострадание.

Прошло много лет; дом портного все еще стоит, все еще держится, но в нем уже никто не живет — он, пожалуй, упадет в первую же бурю. Пруд весь зарос тростником и трилистником.

Ветер шумит в ветвях старого дерева. Сдается, что внемлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старую Иоганну из богадельни!

Она живет там, поет свой псалом, который пела Расмусу, вспоминает о нем и молит за него Творца — верная душа! Она-то вот и может рассказать тебе о былом, растолковать, о чем шумит ветер в ветвях старой ивы!



## КЛЮЧ ОТ ВОРОТ



каждого ключа своя история, и самых-то ключей много: есть камергерские ключи, есть часовые, есть ключи св. Петра и много других. Мы могли бы рассказать кое-что обо всех, но теперь расскажем только о ключе надворного советника.

Ключ этот делал слесарь, но самому-то ключу могло показаться, что его ковал кузнец — так тот неистово колотил и пилил его. Ключ был чересчур велик для брючных карманов; приходилось носить его в сюртучном. Тут он частенько леживал в потемках; обычное же место его было на стене, рядом с силуэтом, изображавшим советника в детском возрасте; лицо советника напоминало на нем сдобную лепешку, окруженную курчавыми волосами.

Говорят, что в характере и манерах всякого человека есть нечто, напоминающее о созвездии, под которым он родился, например о созвездии Быка, Девы, Скорпиона. Но советница не ссыалась ни на одно из созвездий, поименованных в календаре, а говорила, что муж ее родился под созвездием «Тачки» — его вечно надо было подталкивать. Отец толкнул его на службу, мать толкнула жениться, а жена дотолкала до чина надворного советника, о чем, впрочем, никогда не проговаривалась. Она была рассудительная, честная женщина, умела и помолчать кстати, и толкнуть вовремя.

Советник был господином плотным и довольно полным в пропорцию, как выражался сам. Был он также человеком начитанным, добродушным и к тому же отличался «ключевою мудростью». Смысл последнего выражения поймем потом. Он всегда был в духе, любил всех людей, охотно болтал со всеми, и уж если, бывало, уйдет из дому, да еще без жены, которая вечно подталкивала его, то залучить его опять домой было мудрено. Ему надо было поговорить с каждым встреченным знакомым, а знакомых у него была пропасть, так время-то и уходило, а дома все ждали да ждали хозяина обедать.

Советница караулила мужа у окна. «Ну, идет! — говорила на кухарке. — Подогрей суп!.. Ах, нет, отставь — переварится! Советник остановился и говорит с кем-то!.. Ну, вот теперь идет! Подогревай!»

Но советник и не думал приходить.

Он был способен дойти до самых ворот своего дома, кивнуть жене головою и — застрять на самом пороге, если завидит на улице знакомого. Как не перекинуться словечком-другим! А случись ему в то же время завидеть еще знакомого, он брал за пуговицу пальто первого, протягивал руку второму и уже окликал проходящего мимо третьего.

Вот был настоящий искус для советницы!

«Советник! Советник! — кричала она. — Нет, этот человек положительно рожден под созвездием «Тачки»: сам сдвинуться с места не может, все надо его подталкивать!»

Советник очень любил также заходить в книжные лавки и рыться в книгах и журналах. Он даже платил своему знакомому книгопродавцу небольшую сумму за право пробегать все новые книги, разрезая их только вдоль, а не поперек, — иначе бы их уж нельзя было продать за новые. Вообще же советник был, не в обиду ему будь сказано, «ходячей газетой»: он знал обо всех помолвках, свадьбах и похоронах, о всяких сплетнях и устных, и печатных, и даже иногда таинственно намекал на что-то такое, о чем не знал никто, кроме его самого. Подобные секретные сведения он получал от своего ключа.

Советник и советница с самой женитьбы своей жили в собственном доме, и за все это время у них был все один и тот же ключ от ворот, но сначала-то никто и не подозревал о чудных свойствах ключа; они обнаружились гораздо позже.

Было это в царствование короля Фредерика VI. Копенгаген в то время не имел еще газового освещения, а только ворванное; не было тогда и Тиволи<sup>1</sup>, не было и Казино<sup>2</sup>, ни дилижансов, ни конно-железных дорог. Сравнительно с настоящим по части развлечений было тогда бедно. По воскресеньям обывателям столицы предоставлялось на выбор: или предпринять прогулку за город на кладбище, почитать там надгробные надписи, потом усесться на травку, распаковать корзинку со съестными припасами, выпить да закусить, или же отправиться в Фредериксбергский сад, где на площадке перед дворцом играла полковая музыка, а в аллеях толпился народ, смотревший, как королевская фамилия катается в лодке по узким каналам. Старый король сам правил рулем, рядом с ним сидела королева, и оба приветливо отвечали на поклоны всех подданных, не разбирая сословий и чинов. В Фредериксберг стекались по преимуществу люди посостоятельнее и распивали тут чай. Кипяток можно было достать в крестьянском домике, что стоял в поле против сада, но чайники и самовары приходилось иметь свои.

<sup>1</sup> Один из увеселительных садов, наиболее любимый и посещаемый копенгагенцами. — *Примеч. перев.*

<sup>2</sup> Один из частных театров Копенгагена. — *Примеч. перев.*

В один прекрасный воскресный день советник с советницей и отправились после обеда в Фредериксберский сад; служанка шла впереди с самоваром и корзиной со съестным и водочкой.

— Захвати с собой ключ от ворот! — сказала советница. — Не то нам трудно будет попасть в дом, если мы запоздаем. Ты знаешь, ворота запираются, как только стемнеет, а проволока колокольчика вчера оборвалась!.. А ведь мы непременно запоздаем! Из Фредериксберга мы пойдем в театр смотреть пантомиму «Арлекин — старшина молотильщиков». Там люди спускаются на землю на облаке! И вход стоит всего две марки с персоны!

И вот они отправились в Фредериксберг, слушали там музыку, любовались королевскими лодками, изукрашенными флагами, видели старого короля и белых лебедей. Напившись чаю и закусив, они заторопились в театр, но все-таки опоздали к началу представления.

Хождение по канату и пляска на ходулях уже кончились, и началась пантомима. Советник с советницей опоздали, как и всегда, и, разумеется, по вине советника: ему поминутно надо было останавливаться и болтать со знакомыми! Он и в театре встретил добрых друзей, и когда представление окончилось, ему с женой пришлось принять настойчивое приглашение одного знакомого семейства, жившего неподалеку от театра. Приглашали их только на стаканчик пунша, что могло задержать их разве минут на десять. Но, конечно, эти минуты растянулись за разговорами в целый час. Особенно заинтересовал всех один барон — шведский ли, немецкий ли, советник не запомнил, но зато навсегда сохранил в памяти то, чему научил его барон, проделывавший разные фокусы с ключом. Это было необыкновенно занимательно! Барон мог заставить ключ отвечать на все вопросы, которые ему задавали, каких бы секретных предметов они не касались. Особенно пригодным оказался для этих фокусов советников ключ от ворот — у него была тяжелая бородка. Барон надевал кольцо ключа на указательный палец правой руки, а бородка висела свободно; малейшее биение пульса могло привести ее в движение, и она повертывалась; если же нет, то барон умел незаметно заставить ее повернуться, куда ему хотелось. Каждый поворот бородки означал какую-нибудь букву азбуки; когда называли, наконец, настоящую букву, бородка повертывалась в обратную сторону. После того начинали отгадывать следующую букву, и так выходили целые слова, а затем и целые предложения — ответы на вопросы. Конечно, все это был один обман, но очень забавный. Так сначала отнесся к делу и сам советник, но потом переменял мнение и совсем увлекся проделками ключа.

— Муж, а муж! — крикнула вдруг советница. — Западные ворота запираются ведь в двенадцать часов! Мы не попадем в город, остается всего четверть часа!





Пришлось спешить; по дороге их то и дело обгоняли пешеходы, тоже торопившиеся попасть в город вовремя. Наконец, они добрались до крайней сторожевой будки, но в ту же минуту пробило двенадцать, и ворота захлопнулись! Целая толпа людей осталась по ту сторону ворот; между ними и советник с советницей и служанкой, которая тащила самовар и пустую корзину. Некоторые опешили, другие рассердились: каждый отнесся к делу по-своему. Что же, однако, было делать?

К счастью, в последнее время было отдано распоряжение оставлять незапертыми на всю ночь одни из городских ворот — Северные; через них-то пешеходы и могли пробраться в город.

Не близко было до Северных ворот, но погода стояла хорошая, ясное небо было усеяно звездами, то и дело скатывались падающие звездочки, в канавах и прудах квакали лягушки, и путники тоже мало-помалу распелись. Но советник не пел и не смотрел не только на звезды, но и себе под ноги, ну, и растянулся во весь рост на краю канавы! Можно было подумать, что он выпил лишнее, но дело было вовсе не в пунше, а в ключе, который не переставал вертеться у него в голове.

Наконец, добрались и до будки у Северных ворот, перешли мост и вошли в город.

— Ну, вот теперь отлегло от сердца! — сказала советница. — Вот и наши ворота!

— Да; только где же ключ от них? — спросил советник.

Ключа не оказывалось ни в заднем кармане, ни в боковых.

— Ах, Господи Боже мой! — сказала советница. — Так у тебя нет ключа? Верно, ты потерял его там с этими баронскими фокусами! Как же мы попадем теперь домой? Проволока колокольчика оборвана, у сторожа другого ключа нет — просто беда!

Служанка принялась хныкать; один советник сохранил присутствие духа.

— Надо выбить стекло в подвале у мелочного торговца! — сказал он. — Пусть он отворит нам ворота!

И он выбил одно стекло, потом другое, просунул туда ручку зонтика и закричал: «Петерсен!» Изнутри послышался крик дочери мелочного торговца. Сам торговец распахнул двери лавки и закричал: «Караул!» И прежде чем лавочник успел хорошенько рассмотреть и признать хозяев да впустить их во двор, сторож уже дал свисток, ему откликнулся другой из соседней улицы, из окон начали выглядывать люди, посыпались вопросы: «Где пожар? Где скандал?» — и продолжались еще, когда советник давно уже был у себя дома, снял сюртук и... нашел в нем ключ от ворот. Ключ лежал не в кармане, а между материей и подкладкой, — в кармане была дыра, хотя ей вовсе и не полагалось быть там.

С того вечера ключ от ворот стал предметом особого внимания, и не только когда советник с советницей уходили по вечерам прогуляться, но

и когда сидели дома, — советник показывал свое искусство, заставляя ключ отвечать на разные вопросы.

Он заранее придумывал наиболее подходящий ответ и затем заставлял ключ давать его, но под конец как-то и сам уверовал в способности ключа. А вот аптекарь, молодой человек и близкий родственник советницы, так ничему не верил.

Умный человек был этот аптекарь и с критической жилкой. Он еще на школьной скамье зарабатывал деньги рецензиями книг и театральных представлений, причем никогда не подписывал своих статей — так выходит внушительнее. В нем, как говорится, преобладал эстетический дух, но сам он ни в каких духов, особенно в духов, обитающих в ключах, не верил.

— Впрочем, нет, я верю! — говорил он. — Верю, добрейший господин советник! Верю в ключ от ворот и во всех духов ключей так же твердо, как и в новейшую науку, что открыла духов в старой и новой мебели и занимается столоверчением! Вы слышали о ней? Я слышал! Я сомневался было — вы ведь знаете, я из числа скептиков, — но теперь стал прозелитом новой веры, прочитав в одной достойной доверия заграничной газете ужасную историю. Я, впрочем, за что купил ее, за то и продаю! Представьте же себе, советник! Двое умных детей видели, как родители их вызывали духов из большого обеденного стола. Детишки остались одни и захотели, в свою очередь, попробовать пробудить жизнь в старом комод. Жизнь-то они в нем пробудили, духи проснулись, но не захотели слушаться ребячьей команды, поднялись — комод затрепал, выдвинул ящики и уложил в них своими ножками обоих ребят, затем выбежал в открытую дверь, спустился по лестнице на улицу, прямо к каналу, да и утопился там вместе с детьми. Тела детей предали христианскому погребению, а комод отправили в ратушу и присудили за убийство детей к сожжению живьем на костре. Вот что я вычитал в иностранной газете и передаю вам, ничего не прибавляя от себя! Ключ меня побори, если я выдумываю! Видите, я даже поклялся!

Но советник нашел, что это было со стороны аптекаря уж чересчур грубой шуткой. Не стоило и говорить с ним о ключе: аптекарь был глуп, как самый последний ключ!

Сам же советник все более и более изощрялся в «ключевой мудрости». Ключ и забавлял его, и поучал.

Однажды вечером советник уже собирался лечь в постель и стоял в спальне полураздетый, как вдруг в дверь из коридора постучали. Поздним гостем оказался лавочник, тоже полураздетый. И он было совсем уж собрался спать, да вдруг ему пришла в голову мысль, и он побоялся забыть ее за ночь!

— Дело-то идет о дочке моей Лотте-Лене. Она девушка красивая, конфирмована, и мне хотелось бы теперь пристроить ее получше!

— Да ведь я еще не вдовец! — усмехнулся советник. — И сына у меня нет, за которого бы я мог посватать ее!

— Ну, вы поймете, в чем дело, господин советник! — сказал лавочник. — Она играет на фортепьяно, умеет петь — небось слышно по всему дому! Но вы еще не знаете всего, на что эта девочка способна. Она умеет подражать разговору и походке всякого! Она просто создана для театра, а это хорошая дорога для красивых молодых девушек из порядочных семейств! Им удастся иной раз подхватить в мужья графов! Ну, да об этом пока ни я, ни Лотта-Лена не думаем! Так вот, она умеет петь, играть на фортепьяно, и на днях я пошел с нею в школу пения. Она спела, но оказалось, что у нее нет ни этакого пивного баса, ни канареечного визга, которые нынче требуются от певиц. Ну, ей и отсоветовали идти в певицы. «Что ж, — подумал я, — коли не в певицы, так в актрисы! Для этого нужно только уметь говорить». И сегодня я завел об этом речь с «инструктором», как он там у них называется. «А она начитана?» — спрашивает он. «Нет! — говорю, — совсем нет!» — «Ну, а это необходимо для актрисы!» — «Что ж, начитанность-то она еще приобрести может!» — подумал я и пошел себе домой. — Пусть Лотта-Лена запишется в библиотеку и перечитает все, что там есть!» Но вот, сижу это я сейчас, раздеваюсь, и вдруг мне пришло на ум: зачем же платить за чтение, коли можно иметь его даром! У советника пропасть книг, пусть он даст их Лотте-Лене почитать — вот тратиться-то и не придется!

— Лотта-Лена славная девушка! — сказал советник. — Красивая девушка. Книги я ей дам! Но есть ли у нее, что называется, огонек, талант? Да, и кроме того, везет ли ей вообще? Счастье ведь тоже вещь очень важная!

— Она два раза выигрывала в лотерею! — ответил лавочник. — Один раз выиграла шкаф для платья, а другой — полдюжины простынь. Разве это не счастье?

— А вот я сейчас спрошу насчет этого ключ! — сказал советник.

И он надел кольцо ключа на указательный палец правой руки себе и лавочнику и заставил ключ вертеться и указывать букву за буквой.

И ключ ответил: «Победа и счастье!» Таким образом, будущее Лотты-Лены было определено.

Советник сейчас же вручил лавочнику две книги: трагедию «Дюеке» и «Обхождение с людьми» Книгге. Пусть Лотта-Лена читает!

С этого вечера между Лоттой-Леной и семейством советника завязалось более близкое знакомство. Она стала бывать у них, и советник нашел ее девушкой очень разумной — она верила и в него, и в ключ. И советнице она тоже понравилась. Непринужденность и откровенность, с которыми девушка на каждом шагу сознавалась в своем невежестве, казались советнице чем-то детским, невинным. Словом, оба супруга, каждый по-своему, питали симпатию к Лотте-Лене, а она к ним.



— Как у них чудесно пахнет! — говорила она.

В самом деле, в коридоре у них пахло яблоками — советница заготовила на зиму целую бочку, а по всем комнатам распространялось благоухание роз и лаванд.

— У них все на благородную ногу! — говорила Лотта-Лена, любуясь прекрасными комнатными цветами советницы. У той даже зимою цвели в комнатах ветви сирени и вишен. Она ставила срезанные оголенные веточки в воду, и они в тепле скоро одевались листьями, а потом покрывались и цветами.

— Вот, можно было подумать, что жизнь совсем покинула эти голые ветви, а поглядите-ка, как они воскресли! — говорила советница.

— Мне никогда ничего такого и в голову не приходило! — отзывалась Лотта-Лена. — Какая, однако, эта природа милая!

Советник же показывал ей свою «ключевую книгу», куда были занесены разные замечательные ответы и разоблачения ключа, например относительно пропажи из шкафа половинки яблочного пирожного, как раз в тот вечер, когда у кухарки был в гостях ее друг.

Советник спросил ключ: «Кто съел пирожное — кошка или друг?» И ключ ответил: «Друг!» Советник, впрочем, знал это заранее, да и служанка поспешила сознаться: еще бы, этот проклятый ключ знал решительно все!

— Ну, не замечательно ли это? — спрашивал советник. — Вот это так ключ! А на вопрос о судьбе Лотты-Лены он ответил: «Победа и счастье!» Ну, вот и посмотрим! Я-то уж ручаюсь за него!

— Как все это мило! — говорила Лотта-Лена.

Сама советница не была так доверчива, но не выражала своих сомнений при муже, а только после как-то призналась Лотте-Лене, что муж ее молодым человеком сам без ума был от театра. Толкни его тогда кто-нибудь на сцену, он бы, наверно, сделался актером, но родители, напротив, оттолкнули его от этого. Но он все-таки желал как-нибудь пробраться на сцену и даже написал ради этого комедию.

— Я доверяю вам большую тайну, милочка! — говорила советница. — Комедия была не дурна, ее приняли на королевскую сцену и — освистали! С тех пор о ней не было и слуха, чему я очень рада. Я ведь жена его и хорошо его знаю! Теперь и вы хотите пойти по той же дороге — желаю вам всего хорошего, но сомневаюсь в успехе! Не верю я в ключ!

А Лотта-Лена верила и вполне сходилась в этом случае с советником. Вообще сердца их отлично понимали друг друга, но в пределах честных и благородных отношений.

Девушка в самом деле отличалась многими достоинствами, которых не могла не ценить и сама советница. Лотта-Лена умела делать крахмал из картофеля, перешивать старые шелковые чулки на перчатки и обтя-

гивать заново свои шелковые бальные башмачки, даром что у нее хватало средств одеваться во все новое. У нее ведь были, как выражался мелочной торговец, «и монетки в шкатулке, и облигации в денежном ящике». Словом, она бы как раз годилась в жены аптекарю, думалось советнице, но она ни сама не заговаривала об этом, ни к ключу не прибегала. Аптекарь должен был в скором времени обзавестись собственной аптечкой в одном из ближайших больших провинциальных городов.

Лотта-Лена все еще читала «Дюеке» и «Обхождение с людьми». Она держала у себя эти книги два года, но зато и выучила наизусть одну — «Дюеке», выучила все роли, а сама-то собиралась выступить лишь в одной, именно в роли Дюеке, но выступить не в столице, где всегда столько недоброжелателей и где ее знать не хотели. Лотта-Лена решила начать свою «артистическую карьеру», как выражался советник, в провинции.

И вот случилось так, что ей пришлось дебютировать в том самом городе, где устроился молодой аптекарь в качестве если не единственного, то самого младшего аптекаря.

Наконец, настал тот великий, долгожданный вечер, в который Лотта-Лена должна была, по предсказанию ключа, завоевать себе победу и счастье. Советник не мог присутствовать на представлении — он лежал в постели, и советница угощала его горячими припарками и липовым чаем: припарками на желудок, а чаем в желудок.

Итак, супруги не были на первом дебюте Лотты-Лены, но аптекарь был и написал о нем своей родственнице советнице.

«Лучше всего был воротник на Дюеке, — писал он. — Будь у меня в кармане советников ключ, я бы выгащил его и свистнул: этого заслуживала и Лотта-Лена, и сам ключ, бесстыдно напропорочивший ей «победу и счастье!»

Советник прочел письмо и объявил, что все это одно недоброжелательство, «ключененависть», которая отозвалась и на ни в чем не повинной девушке.

И как только он поправился, сейчас же написал аптекарю небольшое, но ядовитое письмецо. Тот, в свою очередь, ответил, но так, как будто принял письмо советника за самую безобидную и веселую шутку: благодарил советника за настоящее, равно как и за всякое будущее разъяснение неподражаемого значения и важности ключа, и признавался, что и сам в свободное от занятий время пишет большой роман о ключах. Все действующие лица в нем — ключи; главным же являлся ключ от ворот. Образцом для него послужил советников ключ, как одаренный даром прозорливости и пророчества. Все остальные ключи вертелись около этого ключа: и старый камергерский ключ, который знавал лучшие времена и рассказывал о придворном блеске и празднества; и часовой ключик, такой изящный и важный, стоящий у часовых дел мастера четыре



скиллинга; и ключ от церковных дверей, который, оставшись однажды на ночь в замочной скважине, видел духов; и ключ от кладовой; и ключ от дровяного сарая, и от винного погреба. Все они низко склонялись перед ключом от ворот, все вертелись около него. Солнечные лучи серебрили его, «всемирный дух» ветер забирался в него и свистел. Словом, этот ключ всем ключам был ключ: сначала-то он был только ключом от ворот советника, а затем стал ключом от ворот рая, ключом-папою — он ведь непогрешим!

— Сколько злобы! — сказал советник. — Чудовищной злобы!

Зато он больше и не виделся с аптекарем — до самых похорон советницы.

Она умерла первая.

В доме были печаль и горе. Даже срезанные веточки вишневых деревьев, пустившие было свежие побеги и покрывшиеся цветами, и те до того опечалились, что завяли: о них позабыли — хозяйка не могла уже ухаживать за ними.

Советник и аптекарь шли за гробом рядом, как близкие родственники; тут было не время и не место сводить счеты.

Лотта-Лена обвязала шляпу советника черным крепом. Она уже давно вернулась домой, не завоевав себе ни победы, ни счастья. Но она еще могла завоевать их — все будущее ее было еще впереди, а недаром же ключ предсказал ей «победу и счастье», да и советник подтвердил.

Она стала навещать его. Они беседовали об умершей и плакали вместе — сердце у Лотты было мягкое. Говорили они также и о театре, но тогда Лотта-Лена становилась твердой.

— Жизнь актрисы прелестна! — говорила она. — Но сколько там вздора и зависти! Нет, я лучше пойду своей дорогой! Сначала я сама, а потом уж искусство!

Она убедилась, что Книжке прав в своих суждениях об актерах, а ключ попросту наврал ей, но не проговаривалась об этом советнику — она любила его.

Ключ был ведь истинным его утешением в дни скорби. Советник задавал ему вопросы, а он отвечал. И вот через год, сидя вечером рядом с Лоттой-Леной, советник спросил ключ: «Женюсь ли я и на ком?»

На этот раз никто не подталкивал его, он сам подталкивал ключ, и этот ответил: «На Лотте-Лене!»

И Лотта-Лена сделалась советницей.

«Победа и счастье!» Недаром же это было ей предсказано, и предсказано — ключом.



## ТЕТУШКА ЗУБНАЯ БОЛЬ



Откуда мы взяли эту историю? Хочешь знать?

Из бочки мелочного торговца, что битком набита старой бумагой.

Немало хороших и редких книг попадает в бочки мелочных торговцев, не как материал для чтения, а как предмет первой необходимости: надо же во что-нибудь завертывать крахмал, кофе, селедки, масло и сыр! Годятся для этого и рукописи. И вот в бочку часто попадает то, чему бы вовсе не следовало. Я знаком с подручным из одной бакалейной лавки; он, собственно, сын мелочного торговца из подвала, но сумел подняться оттуда в магазин первого этажа. Молодой человек очень начитан: у него ведь под рукой целая бочка всякого чтения: и печатного, и рукописного. И вот, мало-помалу у него составилось преинтересное собрание. В собрание это входят, между прочим, кое-какие важные документы из корзинки для ненужных бумаг чересчур занятого или рассеянного чиновника, и откровенные записочки от приятельниц к приятельницам, содержащие такие скандальные сообщения, о которых, собственно говоря, нельзя бы и заикаться. Боже сохрани! А уж передавать их дальше — и подавно! Собрание моего знакомого — настоящая спасательная станция для многих литературных произведений, и поле его деятельности тем обширнее, что в его распоряжении бочки из двух лавок — хозяйской и отцовской. Много поэтому удалось ему спасти и книг, и отдельных страниц, которые стоило перечесать и два раза.

Он и показал мне однажды свое собрание интересных печатных и рукописных произведений, извлеченных главным образом из бочки мелочного торговца. Между прочим, я обратил внимание на несколько страниц, вырванных из большой тетради; необыкновенно красивый и четкий почерк сразу бросился мне в глаза.

— Это писал студент! — сказал молодой человек. — Он жил вон в том доме напротив и умер месяц тому назад. Он, как видно из этих страниц, страшно мучился зубами. Описано довольно забавно! Тут осталось немного, а была целая тетрадь; родители мои дали за нее квартирной хозяйке студента полфунта зеленого мыла; но вот все, что мне удалось спасти.

Я попросил его дать мне прочесть эти страницы и теперь привожу их здесь.

Заглавие гласило:

«Тетушка Зубная боль»

В детстве тетушка страшно пичкала меня сладкими; однако зубы мои выдержали, не испортились. Теперь я стал постарше, сделался студентом, но она все еще продолжает угощать меня сладким — уверяет, что я поэт.

Во мне, правда, есть кое-какие поэтические задатки, но я еще не настоящий поэт. Часто, когда я брожу по улицам, мне кажется, что я в огромной библиотеке; дома представляются мне этажерками, а каждый этаж — книжной полкой. На них стоят и «обыкновенные истории», и хорошие старинные комедии, и научные сочинения по всем отраслям, и всякая «литературная гниль», и хорошие произведения — словом, я могу тут фантазировать и философствовать вволю!

Да, во мне есть поэтическая жилка, но я еще не настоящий поэт. Такая жилка есть, пожалуй, и во многих людях, а они все-таки не носят бляхи или ошейника с надписью «поэт».

И им, как и мне, дана от Бога благодатная способность, поэтический дар, вполне достаточный для собственного обихода, но чересчур маленький, чтобы делиться им с другими людьми. Дар этот озаряет сердце и ум, как солнечный луч, наполняет их ароматом цветов, убаюкивает дивными, мелодичными звуками, которые кажутся такими родными, знакомыми, где же слышал их впервые — вспомнить не можешь.

На днях вечером я сидел в своей каморке, изнывая от желания почитать, но у меня не было ни книги, ни даже единого печатного листка, и вдруг на стол ко мне упал листок — свежий зеленый листок липы. Его занесло ко мне в окно ветерком.

Я стал рассматривать бесчисленные разветвления жилок. По листку ползала маленькая букашка, словно задавшаяся целью обстоятельно изучить его, и я невольно вспомнил о человеческой мудрости. Ведь и мы все ползаем по маленькому листку, знаем один лишь этот листок и все-таки сплеча беремся читать лекцию о всем великом дереве — и о корне его, и о стволе, и о вершине: мы толкуем и о Боге, и о человечестве, и о бессмертии, а знаем-то всего-навсего один листок!

Тут пришла ко мне в гости тетушка Миллэ. Я показал ей листок с букашкой и передал, что мне пришло по этому поводу в голову. Глаза у тетушки загорелись.

— Да ты поэт! — вскричала она. — Пожалуй, величайший из современных поэтов! Дожить бы мне только до твоей славы, и я бы охотно умерла! Ты всегда, с самых похорон пивовара Расмусена, поражал меня своей удивительной фантазией! — С этими словами тетушка расцеловала меня.

Кто же такая была тетушка Миллэ и кто такой пивовар Расмусен? Тетушкой мы, дети, звали тетку нашей матери; другого имени подбирать ей мы не умели.

Она страшно пичкала нас вареньем и сахаром, хотя все это могло испортить наши зубы, но она не могла не побаловать нас: она питала к милым деткам такую слабость и считала просто жестоким отказывать им в сладостях, которые они так любят! Зато и мы очень любили тетушку.

Она была старой девой, и с тех самых пор, как я ее помню, все одних лет! Она как будто застыла в одном возрасте.

В молодости тетушка сильно страдала зубами и так часто рассказывала об этом, что остроумный друг ее, пивовар Расмусен, прозвал ее тетушкой Зубною болью.

Он в последние годы уже оставил свое занятие и жил доходами с капитала. Вот у него так и совсем не было зубов, а кое-где торчали только черные корешки. Дело в том, рассказывал он нам, детям, что мальчиком он ел чересчур много сладкого, и вот что из этого вышло!

А тетушка так, должно быть, совсем не ела в детстве ничего сладкого — зубы у нее были белые-пребелые!

— Зато она и бережет-то их как! — говорил пивовар. — Даже не спит с ними ночью!

Мы, дети, почуяли в этих словах какой-то злой намек, но тетя уверила нас, что это он сказал только так.

Однажды за завтраком она рассказала, что ей приснился дурной сон — будто бы у нее выпал зуб! И это означает, прибавила она, что я лишусь истинного друга или подруги!

— Ну, а если это был фальшивый зуб, — усмехнулся пивовар, — то, значит, вы лишитесь только фальшивого друга!

— Вы — невежливый старый господин! — сердито проговорила тетушка; такой сердитой я не видывал ее никогда, ни прежде, ни после.

По уходе пивовара она, впрочем, сказала нам, что старый друг ее хотел только пошутить, что он благороднейший человек в свете и, когда умрет, станет Божиим ангелочком на небе!

Я сильно задумался над этим превращением, спрашивая себя, узнаю ли я пивовара в новом виде?

Когда и тетя и он были еще молоды, он сватался за нее, но она слишком долго раздумывала, ну и засела в девах, хотя и осталась ему верным другом.

И вот пивовар Расмусен умер.

Его везли на самой дорогой погребальной колеснице; за ней тянулся длинный хвост провожатых; между ними были даже господа в орденах и мундирах!

Тетушка, вся в трауре, смотрела на процессию из окна, собрав около себя всех нас, ребят, кроме младшего братца, которого за неделю перед тем принес нам аист.

Колесница проехала, скрылись из виду и все провожавшие ее; улица опустела, и тетушка хотела отойти от окна, но я не хотел — я ждал ангелочка: пивовар Расмусен превратился ведь теперь в ангелочка с крылышками и должен был показаться нам!

— Тетя! — сказал я. — Как ты думаешь, ангелочек Расмусен появится сейчас или, может быть, его принесет аист, когда опять вздумает прилететь к нам с маленьким братцем?

Тетушка была просто поражена моей богатой фантазией и сказала: «Из этого мальчика выйдет великий поэт!» И она повторяла это все время, пока я ходил в школу, повторяла, когда я уже конфирмовался, и даже теперь, когда я стал студентом.

Да, тетушка принимала и продолжает принимать живейшее участие и в моем поэтическом, и в зубном недуге. Я страдаю по временам припадками и того и другого.

— Только выливай на бумагу все твои мысли! — говорила она. — И бросай их в ящик стола! Так делал Жан-Поль и сделался великим поэтом, хотя я и недолюбливаю его! Он как-то не захватывает! А ты должен захватывать! И будешь!

Всю ночь после этого разговора я провел в муках, сгорая желанием стать тем великим поэтом, которого видела и угадала во мне тетушка. Да, я мучился припадком поэтического недуга! Но есть еще худший недуг: зубная боль! Та могла доконать, уничтожить меня вконец, превратить в какого-то извивающегося червя, обложенного припарками и шпанскими мушками!

— Мне эта боль знакома! — говорила тетушка, сострадательно улыбаясь, а зубы ее при этом так и сверкали белизной.

Но теперь наступает новая глава, как в описании моей жизни, так и в описании жизни тетушки.

Я перебрался на новую квартиру, прожил в ней уже с месяц и вот как описывал свое жилище в разговоре с тетушкой.

— Живу я в «тихом семействе»; хозяева не обращают на меня внимания — даже если я звоню три раза подряд. В доме нашем постоянный крик, шум, гам и сквозняки. Комната моя приходится как раз над воротами, и стоит проехать под ними телеге — все картины так и заходят по стенам; ворота захлопываются, и весь дом содрогается, словно от землетрясения. Если я лежу в постели, сотрясение отдается у меня во всем теле, но это, говорят, укрепляет нервы. В сильный ветер, а у нас тут вечно сильный ветер, железные болты ставень раскачиваются и бьют о стену, а колокольчик на соседнем дворе звонит без умолку.

Соседи мои по дому возвращаются домой не все в один час, а так, понемножку, один за другим, кто — поздним вечером, кто — даже ночью. Верхний жилец, что играет на тромбоне, целый день ходит по урокам, возвращается домой позже всех и ни за что не уляжется прежде, чем совершит маленькую ночную прогулку взад и вперед по комнате; тяжелые шаги его так и раздаются у меня в ушах, словно сапожищи у него подкованы железом.

В доме нет двойных рам, зато в моей комнате есть окно с выбитым стеклом. Хозяйка залепила его бумагой, но ветер все-таки пробирается сквозь скважину и гудит, словно шмель. Это колыбельная песня. Но едва я, наконец, усну под нее, меня живо разбудит петушиное ку-ка-ре-ку. Это петухи и куры мелочного торговца возвещают скорое наступление утра. Маленькие пони, которые помещаются в чуланчике под лестницей, — для них не имеется особого стойла — лягаются ради моциона и стучат копытами о двери.

Занимается заря; привратник, ночующий со всей семьей на чердаке, грузно спускается по лестнице; деревянные башмаки его стучат, ворота скрипят и хлопают, дом ходит ходуном. Когда же и это все кончено, над головой моей начинаются гимнастические упражнения верхнего жильца. Он берет в обе руки по тяжелой гире, но сдержать их не в силах, и они поминутно падают на пол. В это же время подымается на ноги и вся детвора в доме и с шумом и криком спешит в школу. Я подхожу к окну подышать свежим воздухом — свежий воздух так подкрепляет! Но рассчитывать на него я могу лишь в том случае, если девица, живущая в заднем флигеле, не чистит перчаток бензином, а она этим только и живет! И все-таки это очень хороший дом, и живу я в очень тихом семействе!

Вот как я описал тетушке мое житье-бытье. Описание это вышло в устной передаче еще живее; устное слово всегда ведь свежее, жизненнее написанного!

— Ты положительно поэт! — вскричала тетушка. — Только изложи все на бумаге, и ты — тот же Диккенс! А по мне, так и еще интереснее! Ты просто рисуешь словами! Слушая тебя, так вот все и видишь перед собой, сама переживаешь все! Бррр! Даже дрожь пробирает! Продолжай же творить! Но вводи в свои описания и живых лиц, людей, хороших, милых людей, лучше же всего — несчастных!

Вот я и описал здесь мой дом, каков он есть со всеми его прелестями, но действующих лиц пока никаких, кроме себя самого, не вывел. Они явятся позже!

Дело было зимою, поздно вечером, по окончании спектакля в театре. Погода стояла ужасная — такая вьюга, что с трудом можно было пробираться по улице.

Тетушка отправилась в театр и взяла меня с собой — я должен был потом проводить ее домой. Но тут и одному-то едва-едва можно было



двигаться, а не то что с дамой! Все извозчики были разобраны; тетушка жила далеко от театра, а я, напротив, очень близко; если бы не это, нам с ней пришлось бы засесть в первой сторожевой будке!

Мы вязли в сугробах, нас заносило снегом; я поддерживал, подымал, подталкивал тетушку, и мы упали всего два раза, да и то на мягкую подстилку.

Наконец, мы добрались до ворот моего дома и стряхнули с себя хлопья снега, на лестнице отряхнулись опять и все-таки, войдя в самую квартиру, засыпали снегом весь пол в передней.

Затем мы поснимали с себя и верхнее, и нижнее платье, все, что только можно было снять. Хозяйка моя одолжила тетушке сухие чулки и чепчик — самое необходимое, по словам доброй женщины, — и затем совершенно резонно объявила, что тетушке в такую погоду нечего и думать добраться до дому — так пусть переночует в гостиной, где ей устроят постель на диване возле запертой на ключ двери в мою спальню.

Так все и сделали.

В печке у меня развели огонь, на столе появился самовар, в комнате стало тепло, уютно, хоть и не так, как у тетушки. У нее зимою и двери, и окна плотно завешены толстыми гардинами, полы устланы двойными коврами, под которыми положен еще тройной слой толстой бумаги, — сидишь словно в закупоренной бутылке, наполненной теплым воздухом! Но и у меня, как сказано, стало очень уютно. За окном был ветер.

Тетушка говорила без умолку; на сцену выступили старые воспоминания: юные годы, пивовар Расмусен и проч. Тетушка припомнила даже, как у меня прорезался первый зубок и какая была по этому поводу радость в семье.

Да, первый зубок! Зуб невинности, блестящий, как молочная капелька, молочный зуб!

Прорезался один, за ним другой, третий, и вот выстраиваются целых два ряда, один сверху, другой снизу, чудеснейших детских зубов! Но это еще только авангард, а не настоящая армия, которая должна будет служить нам всю жизнь. Но вот является и она, а за нею и зубы мудрости, фланговые, прорезывающиеся с такою болью и трудом!

А потом они мало-помалу и выбывают из строя, выбывают все до единого, и даже раньше времени, не отслужив всего срока! Наконец, настает день — нет и последнего служивого, и день этот уже не праздник, а день печали. С этого дня ты — старик, как бы ни был молод душой!

Не очень-то весело думать и говорить о таких вещах, а мы с тетушкой все-таки заговорили о них, вернулись затем к годам детства и болтали, болтали без конца. Было уже за полночь, когда тетушка, наконец, удалась на покой в соседнюю комнату.

— Покойной ночи, милый мой мальчик! — крикнула она мне из-за двери. — Теперь я засну, словно на своей собственной постели!

И она уgomонилась, но дом наш и погоду никакой угомон не брал! Буря дребезжала оконными стеклами, хлопала длинными железными болтами ставень и звонила на соседнем дворе в колокольчик; верхний жилец вернулся домой и принялся расхаживать перед сном взад и вперед, потом швырнул на пол свои сапожищи и, наконец, захрапел так, что слышно было через потолок.

Я не мог успокоиться; не успокаивалась и погода; она вела себя непозволительно резво. Ветер выл на свой лад, а зубы мои начали ныть на свой. Это была прелюдия к зубной боли!

Из окна дуло. Лунный свет падал прямо на пол; временами по нему пробегали какие-то тени, словно облачка, гонимые бурей. Тени скользили и перебегали, но, наконец, одна из них приняла определенные очертания; я смотрел на ее движения и чувствовал, что меня пробирает мороз.

На полу сидело видение, худая длинная фигура, вроде тех, что рисуют маленькие дети грифелем на аспидной доске: длинная тонкая черта изображает тело, две по бокам — руки, две внизу — ноги, и многоугольник наверху — голову.

Скоро видение приняло еще более ясные очертания; обрисовалось одеяние, очень тонкое, туманное, но все же ясно указывающее на особу женского пола.

Я услышал жужжание. Призрак ли то гудел, или ветер жужжал, как шмель, застрявший в оконной скважине?

Нет, это гудела она! Это была сама госпожа Зубная боль, исчадие самого ада! Да сохранит и помилует от нее Бог всякого!

— Тут славно! — гудела она. — Славное местечко, болотистая почва! Тут водились комары; у них яд в жалах, и я тоже достала себе жало, надо только отточить его о человеческие зубы! Ишь, как они блестят вон у того, что растянулся на кровати! Они устояли и против сладкого, и против кислого, против горячего и холодного, против орехов и сливных косточек! Так я ж расшатаю их, развинчу, наполню корни сквозняком! То-то засвистит в них!

Ужасные речи, ужасная гостья!

— А, так ты поэт! — продолжала она. — Ладно, я научу тебя всем размерам мук! Я примусь за тебя, прижгу тебя каленым железом, продерну веревки во все твои нервы!

В челюсть мне как будто вонзили раскаленное шило; я корчился от боли, начал извиваться, как червь.

— Чудесный материал! — продолжала она. — Настоящий орган для игры! И задам же я сейчас концерт! Загремят и барабаны, и трубы, и флейты, а в зубе мудрости — тромбон! Великому поэту — великая и музыка!

И вот она начала играть! Вид у нее был ужасный, нужды нет, что я видел одну ее руку, эту туманную, холодную, как лед, руку с длинными, тонкими, шилообразными пальцами. Каждый был орудием пытки: большой и указательный образовывали клещи, средний был острым шилом, безымянный — буравом, и мизинец — спринцовкой с комариным ядом.

— Я научу тебя всем размерам! — опять начала она. — Великому поэту — великая и зубная боль, а маленькому поэту — маленькая!

— Так пусть я буду маленьким! — взмолился я. — Пусть совсем не буду поэтом! Да я и не поэт! На меня только находят временами припадки стихотворного недуга, как находят и припадки зубного! Уйди же! Уйди!

— Так ты признаешь, что я могущественнее поэзии, философии, математики и всей этой музыки? — спросила она. — Могущественнее всех человеческих чувств и ощущений, изваянных из мрамора и написанных красками? Я ведь и старше их всех! Я родилась у самых ворот рая, где дул холодный ветер и росли от сырости грибы. Я заставила Еву одеваться в холодную погоду, да и Адама тоже! Да, уж поверь, что первая зубная боль имела силу!

— Верю! — сказал я. — Верю всему! Уйди же, уйди!

— А ты откажешься от желания стать поэтом, писать стихи — на бумаге, грифельной доске, на чем бы то ни было? Тогда я оставляю тебя! Но я вернусь, как только ты опять возьмешься за стихи!

— Клянусь, оставляю все! — сказал я. — Только бы мне никогда больше не видеть, не чувствовать тебя!

— Видеть-то ты меня будешь, только в более приятном и дорогом для тебя образе — в образе тетушки Миллэ, и я буду говорить тебе: «Сочиняй, мой милый мальчик! Ты великий поэт; пожалуй, величайший из наших поэтов!». Но если ты согласишься мне и возьмешься за кропание стихов, я положу твои стихи на музыку и разыграю ее на твоих зубах! Так-то, милый мальчик! Помни же обо мне, беседуя с тетушкой Миллэ!

Тут она исчезла.

На прощанье я получил в челюсть еще один укол раскаленным шилом. Но вот боль начала утихать... Я как будто скользил по зеркальной глади озера, вокруг меня цвели белые кувшинки с широкими зелеными листьями... Они колыхались, погружались подо мною, увядали, распадались в прах, и я погружался вместе с ними, погружался в какую-то тихую бездну... Покой, тишина!.. «Умереть, растаять, как снежинка, испариться, превратиться в облако и растаять, как облако!» — звучало вокруг меня в воде.

Сквозь прозрачную воду я видел сияние великих имен, надписи на развевающихся победных знаменах, патенты на бессмертие, начертанные на крыльях мухи-поденки.

Я погрузился в глубокий сон, без сновидений, и не слышал больше ни воя ветра, ни хлопанья ворот, ни звона колокольчика, ни гимнастики верхнего жильца.

Блаженство!

Вдруг налетел такой порыв ветра, что запертая дверь в комнату, где спала тетушка, распахнулась. Тетушка вскочила, надела башмаки, накинула платье и вошла ко мне. Но я спал — рассказывала она мне потом — сном праведника, и она не решилась разбудить меня. Я проснулся сам; в первую минуту я ничего не помнил, не помнил даже, что тетушка ночевала тут, в доме, но потом припомнил все, припомнил и ужасную ночную гостью. Сон и действительность слились в одно.

— А ты не писал чего-нибудь вечером, после того как мы попрощались? — спросила тетушка. — Ах, если бы ты писал! Ты ведь у меня поэт и будешь поэтом!

Мне показалось при этом, что она лукаво-пелукаво улыбнулась, и я уж не знал — любящая ли это тетушка Миллэ предо мною или ужасное ночное видение, взявшее с меня слово никогда не писать стихов?

— Так ты не писал стихов, милый мой мальчик?

— Нет, нет! — вскричал я.. — А ты... ты — тетушка Миллэ?

— А то кто же? — сказала она. И впрямь это была тетушка Миллэ. Она поцеловала меня, взяла извозчика и уехала домой.

Я, однако, решился написать то, что тут написано: это ведь не стихи, да и напечатано никогда не будет!..»

На этом рукопись обрывалась. Молодой друг мой, будущий приказчик бакалейного магазина, так и не мог добыть остальной части тетрадки; она пошла гулять по белу свету в виде обертки для селедок, масла и зеленого мыла — выполнила свое назначение!

Пивовар умер, тетушка умерла, сам студент умер, а искорки его таланта угодили в бочку. Вот каков был конец истории — истории о тетушке Зубной боли!



## СИДЕНЬ

**В** старой барской усадьбе жили славные молодые господа. Жили они богато, счастливо, себе ни в чем не отказывали и других не забывали — делали много добра: им хотелось, всех видеть такими же счастливыми, довольными, какими были сами.

В сочельник в богатой зале замка зажигалась великолепно изукрашенная елка; в камине ярко пылал огонь, а рамки старых картин были окружены венками из еловых ветвей. К господам собирались гости, начиналась музыка, танцы.

А пораньше, под вечер, рождественское веселье устраивалось и в людской. Тут тоже красовалась большая елка, пестревшая красными и белыми свечками, национальными флагами, бумажными лебедями и сеточками, наполненными сладостями. На эту елку приглашали также всех бедных ребятишек из окрестности с их матерями. Матери не очень-то заглядывались на елку, а больше все поглядывали на стол с подарками: шерстяными и бумажными материями на платья и штанишки. Туда же смотрели и дети постарше, и только малыши тянулись ручонками к свечам, мишуре и флагам.

Вся эта пестрая компания являлась сюда рано после обеда и угощалась рождественской кашей и жареным гусем с красной капустой; после же того, как все успевали досыта налюбоваться елкой и получить свои подарки, каждому подносили еще по чарочке пунша да по яблочной пышке.

Затем гости расходились по своим бедным лачугам, и там-то начинались разговоры о том, как славно живет барам, как они сладко едят и пьют, а наговорившись, все принимались еще раз хорошенько разглядывать свои подарки.

В услужении у господ жили также Оле и Кирстина — муж с женой. Они были приставлены к господскому саду в помощь садовнику и получали за свой труд помещение и стол. Кроме того, на их долю каждый сочельник доставались положенные подарки, и всех пятерых детей одевали на свой счет господа.

— Много делают добра наши господа! — говорили муж и жена. — Ну да ведь на то у них и средства, чтобы доставлять себе этим удовольствие!

— Тут славные платья для четверых ребят! — сказал Оле. — Что же, нет ничего для «сидня»? Прежде они и его не забывали, хоть он и не бывает на елке!

«Сиднем» прозвали они старшего сына; звали же его, собственно, Гансом. Малышом он был резвым, крепким ребенком, но потом вдруг с чего-то ослабел ногами, как они говорили, не мог больше ни стоять, ни ходить, и вот лежал в постели уже пятый год.

— У меня есть кое-что и для него! — сказала мать. — Только не Бог весть что — книжка для чтения ему!

— Сыт он с нее будет, нечего сказать! — заметил отец.

Зато сам-то Ганс очень обрадовался книжке. Он был мальчик способный, любил читать, да и работать не ленился и трудился, насколько хватало сил и умения. Он не сходил с постели, но руки у него были проворные, и он прилежно вязал шерстяные чулки и даже одеяла, которые госпожа помещица хвалила и покупала.

Книжка, что подарили Гансу господа, оказалась со сказками. Было ему теперь что почитать, о чем поразмыслить!

— А в доме-то от нее все-таки пользы мало! — сказали родители. — Ну да пусть себе почитает от скуки, не все же ему чулки вязать!

Пришла весна; начала пробиваться травка, показались первые цветочки, а с ними и сорные травы, как, например, можно обозвать крапиву, хотя о ней так прекрасно сказано в псалме:

Хотя бы всех земных царей  
Со всех концов земли созвать,  
То все же властью им своей  
Листка крапивы не создать!<sup>1</sup>

В господском саду было поэтому много работы не только самому садовнику и его ученикам, но и Оле и Кирстине.

— Ну и работа! — говорили они. — Только что мы выполем и вычистим все дорожки — их опять затопчут! Гости-то ведь у господ не переводятся! И во что это обходится им! Ну да и то сказать — куда ж им деньги-то девать?

— Да, мудроно распределено все на свете! — сказал Оле. — Все мы дети одного Отца Господа, говорит священник, откуда же такая разница?

— Пошла она с грехопадения! — говорила Кирстина.

Об этом же зашел у них разговор и вечером, когда «сидень» лежал и читал свои сказки. От нужды и тяжелого труда огрубели не только

<sup>1</sup> Из псалма епископа Томаса Кинго (1634 — 1703). — Примеч. перев.



руки, но и сердце и мысли бедняков; они не могли переварить своей бедности, не могли взять в толк ее причин и, говоря о том, раздражались все больше и больше.

— Одни живут в довольстве и в счастье, другие век свой должны мыкать горе! И с какой стати нам платиться за непослушание и любопытство наших прародителей! Мы бы на их месте ничего такого не сделали!

— Сделали бы! — сказал вдруг «сидень». — Вот тут в книжке все сказано!

— Что там сказано? — спросили родители.

И Ганс прочел им старую сказку о дровосеке и его жене. Они тоже бранили Адама и Еву за их любопытство, ставшее виной людского несчастья, а в это время мимо как раз проходил король той страны. «Идите за мною! — сказал он. — Вы будете жить не хуже меня; на стол вам будут подавать по семи блюд, да еще одно сверх того, но на него вы можете только смотреть. Стоит же вам дотронуться до этой закрытой миски — конец вашему сладкому житью!» — «Что бы такое было в этой миске?» — спросила жена. «Это нас не касается!» — ответил муж. «Да я и не любопытствую!» — продолжала жена. — Мне только хотелось бы знать, почему нам нельзя приподнять крышку? Уж, наверно, там что-нибудь отменно вкусное!» — «Только бы не какая-нибудь хитрая механика!» — сказал муж. — Вдруг как выстрелит да всполошит весь дом!» — «Ой-ой!» — сказала жена и не посмела дотронуться до миски. Но ночью ей приснилось, что крышка приподнялась сама собой и из миски запахло чудеснейшим пуншем, какой подают только на свадьбах да на похоронах. Еще в миске лежала серебряная монетка с надписью: «Напьетесь этого пунша и сделаетесь такими богачами, что все остальные люди будут перед вами нищими!» Тут она проснулась и рассказала мужу свой сон. «Ты слишком много думаешь об этом!» — сказал он. «А что, если чуть-чуть приподнять крышку?» — сказала жена. «Только чуть-чуть, смотри!» — сказал муж. Жена приподняла крышку — чуть-чуть... Из миски выскочили два юрких мышонка и шмыгнули в щелочку. «Спокойной ночи! — сказал король. — Можете теперь отправляться восвояси! Да не браните больше Адама и Еву — вы сами такие же любопытные и неблагодарные!»

— Как эта история могла попасть в книгу? — спросил Оле. — Ведь она точно на нас написана! Да, тут есть над чем призадуматься!

На другой день они опять пошли на работу, и за день-то их и солнцем пожгло, и дождиком до костей промочило. Опять накипело у них на душе, опять принялись они пережевывать невеселые думы и чувства. Отужинали они засветло, и Оле сказал Гансу:

— Ну-ка, прочти нам опять ту историю о дровосеке!

— Да тут много других хороших! — сказал Ганс. — Вы их еще не знаете!

— И не надо! — ответил отец. — Я хочу слышать ту, которую знаю!

И муж с женою опять прослушали ту же сказку. И не раз еще возвращались они к ней по вечерам.

— Не все-то она мне, однако, распутывает! — сказал раз Оле. — Поди ж ты вот, и с людьми бывает, что с молоком, когда оно скисается: выходит и дорогой сыр, и жидкая сыворотка! Иные так уж и рождаются на счастье да на радость, никакого горя, никакой нужды весь век не знают!

«Сидень» лежал и слушал. Он был слаб ногами, но не умом, и вот взял да в ответ на это и прочел родителям из своей книжки сказку о человеке, который сроду не знал ни горя, ни нужды. Да где только было искать такого человека? А найти его надо было: король лежал при смерти, и спасти его могла только рубашка с человека, который бы по правде мог сказать, что сроду не знал ни горя, ни нужды. Разослали гонцов во все концы света, по всем замкам и усадьбам, ко всем зажиточным и довольным жизнью людям, но стоило хорошенько порасспросить их, и оказывалось, что все они испытали и нужду, и горе. «А вот я — нет!» — заявил один свинопас; он сидел у канавы и весело распевал песенку. «Я счастливейший человек на свете!» — «Так давай сюда твою рубашку!» — сказали посланные. — Тебе дадут за нее полкоролевства!» Но у него не было рубашки. А он все-таки называл себя счастливецем!

— Вот так франт! — вскричал Оле, и оба, и он и жена, принялись смеяться, как не смеялись уже много лет.

А мимо их жилища проходил школьный учитель.

— Ишь какое у вас сегодня веселье! — сказал он. — Вот новость-то! В лотерею выиграли, что ли?

— Нет, не то! — сказал Оле. — Это вот Ганс прочел нам сказку о человеке, сроду не знавшем ни нужды, ни горя, а оказалось, что у молодца и рубашки-то на теле не было! Поневоле размякнешь душой, как послушаешь такую историю, да еще прямо из книжки! Правда, знать, у всякого свой крест; никто не избавлен от этого! Все-таки утешение!

— Откуда у вас эта книга? — спросил учитель.

— А ее прошлый год подарили Гансу на елке! Господа подарили. Они знают, что он охотник читать, да и «сидень» вдобавок! Мы-то было жалели тогда, что они не подарили ему лучше на пару рубах! Но книжка-то оказалась дельною: она словно отвечает тебе на все твои мысли!

Учитель взял книжку и раскрыл ее.

— Ну-ка, пусть он прочтет нам эту историю еще разок! — попросил Оле. — Я не запомнил ее как следует. А потом пусть прочтет и дру-

гую — о дровосеке! — Эти две сказки вполне удовлетворяли Оле; они как будто освещали солнышком все жилье и разгоняли тяжелые, мрачные думы, одолевавшие бедняков. А сам-то Ганс успел прочесть и перечесть свою книжку не раз; сказки уносили его в недоступный ему мир — ноги ведь не носили бедняжку.

Школьный учитель присел у постели и побеседовал с мальчиком. Беседа эта обоим доставила большое удовольствие, и с того дня учитель часто стал заходить к Гансу, когда родители были на работе. Для мальчика же каждое посещение учителя было настоящим праздником. Как внимательно слушал он рассказы старика о величине земли, о разных странах, о том, что солнце почти в полмиллиона раз больше земли и находится так далеко от нее, что пущенное с солнца пушечное ядро долетело бы до земли только через двадцать пять лет, тогда как луч света достигает до нее всего в восемь минут.

Все это известно в наше время каждому прилежному школьнику, но для Ганса все это было новостью куда более чудесной, нежели все сказки в его книжке.

Раза два в год школьного учителя приглашали отобедать в замке, и вот однажды он воспользовался случаем — рассказал господам, какое значение приобрела для бедняков та книжка, которую они подарили мальчику, какое благотворительное отрезвляющее влияние имели на бедняков какие-нибудь две сказки! Хилый, но умный мальчик вливал своим чтением мир и отраду в сердца родителей и заставлял работать их мысли.

Когда учитель стал прощаться, госпожа вручила ему пару серебряных далеров для маленького Ганса.

— Пусть их возьмут отец с матерью! — сказал Ганс, когда учитель принес ему деньги. А те сказали:

— «Сидень-то» наш тоже, оказывается, нам на радость и на пользу!

Дня два спустя, днем, когда родители Ганса были на работе, перед жилищем их остановилась господская карета. Это пожаловала навестить «сидня» сама добрая госпожа: она была так рада, что ее рождественский подарок доставил столько утехи и удовольствия и родителям, и мальчику! На этот раз она привезла ему белого хлеба, фруктов, бутылку сладкого сока и — что всего больше обрадовало бедняжку — вызолоченную клетку с маленькой черненькой птичкой. Как она мило насвистывала! Клетку с птичкой поставили на высокий деревянный сундук, неподалеку от постели мальчика, чтобы он постоянно мог любоваться на птичку. Пение же ее слышно было даже на улице.

Оле и Кирстина вернулись домой уже после отъезда госпожи. Они хоть и видели, как рад был птичке мальчик, все-таки отнесли к подарку как к лишней обузе в доме.

— Много они рассуждают, эти баре! — сказали они. — Вот у нас теперь еще новая забота — ходить за птицей! Сам-то «сидень» ведь не может! Ну, и кончится тем, что кошка съест ее!

Прошла неделя, прошла другая; кошка за это время много раз побывала в горнице, не выказывая поползновения даже испугать птичку, не то что съесть. Но вот случилось удивительное событие. Дело было после обеда, родители и все дети были на работе; дома оставался один Ганс. Он сидел на постели и перечитывал сказку о жене рыбака, все желания которой исполнялись сейчас же. Захотела стать королем и стала, захотела стать императором — тоже, но когда захотела стать самим Богом — очутилась опять в грязи, откуда только что выбралась.

История эта не имела ни малейшего отношения ни к птице, ни к кошке; «сидень» только читал ее, когда произошло замечательное событие, и навсегда запомнил это обстоятельство.

Клетка помещалась на сундуке; кошка стояла на полу и пристально глядела на птицу своими желто-зелеными глазами. Взгляд ее как будто говорил птичке: «Как ты мила! Так бы и съела тебя!»

Ганс прочел это во взгляде кошки и закричал: «Брысь! Вон из комнаты!» А кошка как будто готовилась к прыжку.

Ганс не мог достать до нее, и под руками у него не было ничего, кроме драгоценнейшего его сокровища — книжки со сказками. Но он все-таки бросил ее в кошку; корочки переплета оторвались и полетели в одну сторону, а книжка в другую. Кошка же только слегка отодвинулась и посмотрела на Ганса, словно говоря: «И не суйся лучше, милый мой! Я-то могу и бегать и прыгать, а ты вот нет!»

Ганс следил за каждым движением кошки и весь трепетал от волнения. Птичка тоже заметалась в клетке. Позвать было некого, и кошка точно знала это. Вот она опять стала готовиться к прыжку. Ганс принялся махать на нее своим одеялом — руками-то он мог действовать, — но кошка не обращала на одеяло никакого внимания. Наконец, Ганс даже запустил в нее одеялом, но без всякой пользы; кошка вскочила на стул, а потом на подоконник, откуда было ближе добраться до птички.

Вся кровь прихлынула к сердцу Ганса, но он о том и не думал, он думал только о кошке и птичке. Что же, однако, мог он сделать? Как ему сойти с постели? Он не мог даже встать на ноги, не то что двигаться!.. Сердце мальчика как будто перевернулось в груди, когда он увидел, что кошка вдруг прыгнула с окна прямо на сундук и опрокинула клетку набок. Птичка отчаянно забилась. Ганс вскрикнул, по телу его пробежал судорожный трепет, и он, не помня себя, спрыгнул с постели, кинулся к сундуку, крепко схватил клетку с перепуганной птичкой и выбежал на улицу. Тут у него брызнули из глаз слезы, и он громко

возликовал: «Я могу ходить! Я могу ходить!» Он вдруг выздоровел; это случается, случилось и с ним.

Учитель жил рядом. Ганс и кинулся к нему как был — босоножкой, в одной рубашонке да курточке, с клеткой в руках.

— Я могу ходить! — кричал он. — Господи Боже мой! — И он зарыдал от радости.

Да, вот была в тот день радость в доме Оле и Кирстины!

— Счастливее этого дня нам уж не дожидаться! — сказали они оба.

Ганса позвали к господам; много лет уже не ходил он по этой дороге, и теперь ему казалось, что и деревья-то все и кусты, которые он так хорошо знал, кивали ему ветвями и говорили: «Здорово, Ганс! Добро пожаловать!» Солнышко так и играло у него на лице и в сердечке!

Добрые молодые господа усадили Ганса и так радовались его выздоровлению, словно он был им родной. Особенно радовалась сама госпожа: это она ведь подарила ему и книжку со сказками, и птичку. Птичка, правда, околела от испуга, но все-таки была виновницей выздоровления Ганса, а книжка тоже сослужила немалую службу: развлекала и утешала и мальчика, и его родителей. Он и не хотел расставаться с нею никогда, хотел беречь и постоянно перечитывать ее, до какой бы глубокой старости ни дожил! Теперь он уже мог быть в помощь своим родителям и собирался научиться какому-нибудь ремеслу — лучше всего переплетному: тогда ему можно будет читать все новые книги!

Но после обеда госпожа призвала к себе родителей Ганса — она уже поговорила о мальчике с мужем. Ганс был мальчик прилежный, набожный и способный к учению, ну и Господь не оставит его!

В этот вечер родители Ганса вернулись домой как нельзя более довольные, особенно Кирстина, но через неделю она заливалась горькими слезами, снаряжая своего Ганса в путь. Правда, его одели в хорошее платье, и сам он был мальчик хороший, но теперь его приходилось отправить за море, далеко-далеко! Он поступит в гимназию, и пройдут долгие годы, прежде чем родители опять свидятся с ним!

Книжку со сказками ему не дали с собою: родители хотели сохранить ее на память. И отец частенько перечитывал все те же две сказки — их-то он знал!

И вот от Ганса стали приходиться письма, одно другого радостнее. Он жил у хороших людей, в хорошей обстановке, а лучше всего было то, что он мог посещать школу! Многому мог он там научиться! Теперь у него было только одно желание: дожить до ста лет и потом когда-нибудь сделаться школьным учителем!

— Дожить бы нам до этого! — толковали родители, пожимая друг другу руки, словно шли к причастию.

— Да, вот что случилось с Гансом! — сказал Оле. — Господь, значит, печется и о детях бедняков! На нашем-то «сидне» это как раз и сказалось. А, право, все-таки это смахивает на сказку! Так вот и кажется, что «сидень» только прочел нам обо всем этом из своей книжки со сказками!





# ПРИМЕЧАНИЯ Г. Х. АНДЕРСЕНА К ПОЛНОМУ СОБРАНИЮ СКАЗОК И РАССКАЗОВ

## I. ПРИМЕЧАНИЯ К ДВУМ ПЕРВЫМ ТОМАМ, ВЫШЕДШИМ В 1862 г.

В данное издание входят все помещенные раньше в различных выпусках и сборниках сказки и рассказы, иллюстрированные *В. Педерсеном*; помещены они здесь приблизительно в том порядке, в каком написаны и напечатаны.

Мне говорили, что некоторые данные относительно происхождения и появления в свет сказок были бы не совсем безынтересны для читателей, вот почему я и привожу их здесь.

К Рождеству 1829 г. вышел небольшой сборник моих стихотворений, в конце которого была помещена сказка в прозе «*Мертвец*». Слышал я ее еще в детстве и теперь попытался пересказать в стиле Музеуса, но удалось мне это как следует только много лет спустя, когда я, наконец, выступил со сказкой «*Дорожный товарищ*» (1836).

Настоящим же образом сказочные струны зазвенели в моей душе впервые, когда я путешествовал по Гарду в 1831 г.; там у меня сложилась сказка о старом короле, воображавшем, что он сроду не слыхивал лжи, и обещавшем поэтому руку своей дочери и полкоролевства тому, кто сумеет солгать ему<sup>1</sup>.

Первый же выпуск сказок «*Сказки для детей*» вышел в 1835 г. и содержал: «*Огниво*», «*Николай и Николка*», «*Принцесса на горошине*», «*Идочкины цветы*».

<sup>1</sup> Относительно порядка помещения сказок мы руководствовались последним, отредактированным самим автором, изданием (1876 — 1880 гг.), вследствие чего упомянутая здесь сказка, наравне с некоторыми другими, не включенными автором в «*Полное собрание*», будет помещена в отделе «*Путевых очерков*», в которых она появилась впервые. — *Примеч. перев.*

В тоне сказок должна была слышаться живая речь, рассказ, рассказанный на слушателей-детей, но также и на взрослых. Три из первых поименованных сказок я слышал еще ребенком на «посиделках» и во время чистки хмеля. Сказка же «*Идочкины цветы*», напротив, плод моей собственной фантазии, и сложилась у меня как-то сразу, когда я принялся однажды рассказывать маленькой дочке поэта Тиле, Иде, о цветах ботанического сада. Я и сохранил в сказке некоторые замечания девочки.

Второй выпуск вышел в 1836 г. и содержал сказки: «*Лизок С Вершок*», «*Нехороший мальчик*» и «*Дорожный товарищ*».

Через год вышел третий выпуск с двумя сказками: «*Русалочка*» и «*Новый наряд короля*».

Все эти выпуски составили затем один небольшой том. В предисловии к нему говорилось о том небольшом успехе, который, по-видимому, выпал на долю этих произведений, и, кроме того, предлагалось нечто вроде отчета относительно того, откуда был взят материал для них. Привожу мои подлинные слова:

«К числу датских народных сказок, слышанных мною еще в детстве и ныне появляющихся в вольной моей передаче, следует отнести сказки: «*Огниво*», «*Николай и Николка*», «*Принцесса на горошине*» и «*Дорожный товарищ*». Фабула сказки «*Нехороший мальчик*» заимствована из песен Анакреона, а фабула сказки «*Новый наряд короля*» испанского происхождения; забавной идеей ее мы обязаны принцу Дон-Мануэлю (1277 — 1347)<sup>1</sup>. Сказки же «*Идочкины цветы*», «*Лизок С Вершок*» и «*Русалочка*»<sup>2</sup> — плоды моей собственной фантазии и являются тремя первыми оригинальными моими сказками. Последняя обратила на себя некоторое внимание, и это придало мне охоту продолжать свои попытки в этом роде. Такой же вполне оригинальной сказкой является сказка «*Калоши счастья*», вышедшая в 1838 г. Позже идеей «*Калош*» воспользовался писатель Гострун для своей превосходной комедии из студенческой жизни «*Gjenboerne*» («*Соседи*»).

В том же году к Рождеству вышел первый выпуск нового собрания сказок. В него вошли: «*Ромашка*», «*Стойкий оловянный солдатик*» — обе оригинальные и «*Дикие лебеди*» — пересказ датской народной сказки.

В следующий выпуск вошли: «*Райский сад*», «*Сундук-самолет*» и «*Аисты*».

<sup>1</sup> Той же идеей воспользовался Сервантес для одного из своих мастерских «интермеццо», переведенного на немецкий язык под заглавием «*Das Wundertheater*».

<sup>2</sup> Впоследствии переделана в драму и поставлена на сцене народного театра в Вене.

Первая сказка — из числа слышанных мною в детстве. Она мне всегда очень нравилась, и, слушая ее, я всякий раз жалел, что она так скоро кончается. Мне казалось, что все четыре ветра могли бы рассказать куда больше, а сам райский сад быть обрисованным яснее. Вот я и попытался теперь сделать это.

Сюжет сказки «Сундук-самолет» взят из «Тысячи и одной ночи»; сказка «Аисты» сложилась из народного поверья и детской песенки об аистах.

В 1840—1841 гг., после путешествия в Грецию и в Константинополь, появился «Базар поэта», из которого были взяты для немецкого собрания сказок, иллюстрированного Педерсеном: «Бронзовый кабан», «Побратимы» и «Роза с могилы Гомера». Сказки эти помещены теперь и в датском издании сказок, где заняли место, соответствующее времени их появления в свет.

Третий выпуск «Сказок для детей» вышел в 1842 г. Сюда вошли: «Оле-Закрой-Глазки», «Эльф», «Свинопас» и «Гречиха».

Представление, связанное с именем «Оле-Закрой-Глазки», существа, навещающего сон на детей, послужило единственным данным для этой сказки. В ней Оле-Закрой-Глазки впервые получил ясный облик, а затем я вывел его и на сцену в волшебной комедии, получившей то же название. В последнее же время молодой скульптор Ширбек дал нам изображение божка сна в терракоте.

Сюжет сказки «Эльф» заимствован из итальянской народной песни.

«Свинопас» сохранил некоторое сходство со старой датской народной сказкой, слышанной мной в детстве, но в невозможном для передачи виде. Впоследствии эта сказка была переделана в детскую комедию «*Die Prinzessin von Marzipan und der Schweinehirt von Zuckerland*» и поставлена на сцене в Берлине.

Основанием для сказки «Гречиха» послужило народное поверье.

Этим выпуском заканчивается второй том, посвященный Иоганне-Луизе Гейберг<sup>1</sup>:

Говорят, что мир волшебный  
Фей лишь в сказке существует —  
Вы явились, и хвалебный  
Хор вас феей именует!

Госпожа Гейберг явилась первым лицом, которому были посвящены мои сказки, не только в силу ее положения великой, всеми почитаемой артистки, но и потому, что она, в числе немногих лиц, одна из первых отнеслась сочувственно к моим сказкам, тогда еще мало обращавшим на себя внимание публики. Ее благосклонный отзыв и часто высказываемое

<sup>1</sup> Знаменитая датская актриса и писательница. — Примеч. перев.

удовольствие Г. Х. Эрстеда по поводу юмористического элемента в моих сказках и были для меня первым поощрением.

В 1842 г. появилась в «Геа» сказка «Бузинная матушка»; идею ее я нашел в народном сказании, сообщенном И. М. Тиле<sup>1</sup>.

«В бузине обитает существо — «Бузинная матушка» или «Бузинная дева», которая и мстит за всякое насилие над деревом; в Новой Слободке хранится еще предание о том, как один человек, срубивший бузину, вскоре затем внезапно умер». Бузинная матушка превратилась в сказке в датскую дриаду, в само воспоминание; в таком же виде она выведена и в моей волшебной пьесе, поставленной на сцене.

В том же году была напечатана в ежемесячном журнале, издаваемом Герсоном и Колундом, сказка «Колокол»; как эта, так и почти все последующие — плоды моей собственной фантазии. Зародыши их давным-давно лежали в моей душе, и довольно было известного настроения, солнечного луча, капли горечи, чтобы из зародыша расцвел цветок.

С годами мне становилось все яснее и яснее, что можно сделать из сказки, а вместе с тем росло и сознание собственных сил в этой области и их пределов.

Сказки приобрели читателей не только между детьми, но и между взрослыми, поэтому новый сборник сказок, вышедший в 1845 г., был озаглавлен только: «Новые сказки», без прибавления: для детей. Первый маленький выпуск со сказками «Ангел», «Соловей», «Парочка» и «Безобразный утенок» был посвящен поэту Карлу Баггеру, как посильная благодарность за те свежие мысли и теплые чувства, которые возбудили во мне его богатые поэзией творения.

Первая половина «Безобразного утенка» написана летом в имении Гиссельфельд, где я гостил несколько времени, а конец — только полгода спустя; остальные же три сказки вылились разом. С этого выпуска успех моих сказок все возрастает. Впоследствии знаменитый художник Каульбах нарисовал к сказке «Ангел» чудную картину, которая обошла в гравюрах весь свет.

Лето 1846 г. я провел в Нюсе вместе с Торвальдсеном; ему очень нравились сказки «Парочка» и «Безобразный утенок», и он сказал мне однажды: «Ну, напишите же нам новенькую забавную сказку! Вы ведь можете написать обо всем, хоть о штопальной игле!» Я и написал «Штопальную иглу». Почти одновременно с нею была написана «Бабушка». Мне заметили, что последняя имеет сходство с одним из стихотворений Ленау; я прочел его, нашел то же самое и поставил поэтому упомянутое стихотворение эпиграфом к сказке, когда она впервые появилась в печати, кажется в «Portefeuillen» («Портфеле»). Этим я хотел показать, что знаю

<sup>1</sup> Известный датский писатель; известен главным образом как собиратель датских «Народных преданий» и биограф Торвальдсена. — Примеч. перев.

о сходстве, но не думаю, что из-за него следует уничтожить написанную мною сказку.

Второй сборник содержал сказки «Ель» и «Снежная королева» и был посвящен поэту Фредерику Гег-Гульдбергу. Идея «Ели» пришла мне однажды вечером в королевском театре, во время представления; шла опера «Дон-Жуан»; вернувшись домой, я сейчас же принялся за сказку и кончил ее поздно ночью. Первая глава «Снежной королевы» написана в Максене, близ Дрездена, остальное — на родине, в Дании.

Третий сборник явился весенним приветствием и благодарностью писателю Генриху Герцу, «благодарностью за творения, которые подарили нам его глубоко поэтическая душа и богатый юмор». В этот выпуск вошли: «Лесной холм», «Красные башмачки», «Прыгуны», «Пастушка и трубочист», «Гольгер Данске».

В «Сказке моей жизни» упомянуто о том, как я в день моей конфирмации впервые надел сапоги. Они громко скрипели, когда я шагал по церкви, и я несказанно радовался этому. Еще бы! Все прихожане могли слышать этот скрип и заключить из него, что сапоги новые. Зато мое религиозное настроение было расстроено; я чувствовал это и испытывал ужасные угрызения совести от сознания, что мысли мои были заняты сапогами не меньше, чем самим господом Богом. Воспоминание об этом и создало сказку «Красные башмачки», которая скоро сделалась одною из наиболее популярных сказок, особенно в Голландии и в Америке.

«Прыгуны» — своего рода экспромт: я рассказал эту сказочку маленьким ребятишкам, просившим меня рассказать им что-нибудь.

Основанием фабулы «Гольгера Данске» послужило народное поверье о нем, сходное с преданием о Фридрихе Барбароссе, что сидит в горе Кюфгейзер, облокотившись на каменный стол, в который выросла его борода.

Первый выпуск второго тома, посвященный матери И.Л.Гейберга, высокодаровитой писательнице Т.Гюллембург, вышел в 1847 г. и содержал сказки: «Старый уличный фонарь», «Соседи», «Штопальная игла», «Маленький Тук» и «Тень».

Идея сказки «Маленький Тук» возникла у меня во время посещения Ольденборга; в эту сказку вошли также несколько воспоминаний детства.

«Тень» набросана во время летнего пребывания в Неаполе, но обработана только в Копенгагене.

Через год вышел второй выпуск: «Старый дом», «Капля воды», «Девочка со спичками», «Счастливая семья», «Мать» и «Воротничок».

Во многих из этих сказок найдутся частности, почерпнутые мною из пережитого. В «Сказке моей жизни» я привожу два эпизода, вошедшие затем в сказку «Старый дом». Маленький сын поэта Мозена подарил мне перед моим отъездом из Ольденборга одного из своих оловянных

солдатиков, чтобы я не был «так ужасно одинок», а двухлетняя дочка композитора Гартмана Мария принималась плясать, как только слышит музыку или пение. Раз она вошла в комнату, где пели псалмы ее старшие братья и сестры, и сейчас же начала плясать, но музыкальное чутье не позволило ей плясать не в такт, и вот она то становилась на одну ножку, то на другую, невольно выдерживая такт псалмов.

«Капля воды» написана после беседы с Г. Х. Эрстедом.

«Девочка со спичками» написана в замке «Гростен», где я, собираясь ехать за границу, провел несколько дней. Там я получил от г-на Флинха письмо с предложением написать к одному из трех прилагаемых рисунков какую-нибудь сказку для его Календаря. Я выбрал рисунок, изображавший бедную маленькую продавщицу спичек.

В Глорупе, на острове Фионии, где я часто проводил летом по несколько недель, одна часть сада была совсем запущена и вся заросла лопухом, посеянным когда-то для больших белых улиток, которые считались в те времена изысканным блюдом. Вот этот-то лопух и эти улитки и подали мне идею сказки «Счастливая семья», которая была написана во время моего первого пребывания в Лондоне.

«Мать» создалась сама собою без всякого повода; идея ее возникла у меня во время прогулки по улице, быстро развилась, и мне осталось только выложить сказку на бумагу. Как мне сообщили, сказка эта чрезвычайно понравилась индусам, до которых дошла в переводе.

Сказка «Лень» написана в 1849 г. и напечатана в газете «Faederland» («Отечество»).

После путешествия на север появились, в 1851 г., путевые очерки: «По Швеции». Из них были впоследствии взяты для немецкого собрания сказок, иллюстрированного Педерсеном: «Птица Феникс», «Бабушка», «Сон» и «Немая книга».

Уже и раньше многие из немецких переводов сказок были иллюстрированы Гоземаном, графом Поччи, Людвигом Рихтером и Отто Спектером. Гениальные рисунки последнего вошли впоследствии и в английское издание, озаглавленное: «*The shoes of fortune and other tales*» («Калоши счастья и другие сказки»). Теперь же немецкий издатель мой, консул Лорк в Лейпциге, решил издать собрание иллюстрированных сказок и предложил мне найти даровитого датского художника, которому бы можно было поручить исполнить рисунки. Я счастливо попал на покойного ныне морского офицера В. Педерсена. Клише рисунков последнего были затем приобретены у г. Лорка датским моим издателем К. А. Рейцлем, и в 1849 г. появилось первое датское издание сказок со 125 рисунками.

Этим роскошно изданным томом закончилась первая серия сказок, но деятельность моя в этой области далеко еще не была кончена. Для новой серии понадобилось новое, подходящее название, и я остановился на названии «*Historier*» (Истории). Я нашел, что оно всего больше подходит



к моим сказкам: на датском народном языке «история» одинаково означает и простой рассказ, и самую смелую фантастическую сказку; нянькины сказки, басни и рассказы — все известно у детей, крестьян и простолюдинов под именем «историй».

Первый маленький выпуск «Историй», вышедший в 1852 г., содержал: «История года», «Прекраснейшая роза мира», «С крепостного вала», «В день кончины», «Истинная правда», «Лебединое гнездо», «Веселый нрав».

В 1853 году вышел следующий выпуск, содержавший: «Сердечное горе», «Всему свое место», «Домовой мелочного торговца», «Через тысячу лет», «Под ивой».

«Напишите, — сказал мне однажды поэт *Тиле*, — сказку о флейте, которая, играя, все ставит на свое место!»

Слова эти дали мне идею, и вышла упомянутая сказка. В сказке «Под ивой» вложено кое-что из пережитого.

Когда первые издания этих выпусков были распроданы, гг. *Рейцель* и *Лорк* решили сообща издать иллюстрированное собрание историй по образцу предыдущего собрания сказок. Рисунки изготовил *В. Педерсен*, и новое издание вышло в 1855 г. В него, кроме поименованных, вошли еще несколько совсем новых сказок и кроме того все появившиеся в разное время в «Народном датском календаре». Вот их перечень: «Есть же разница!», «Пять из одного стручка», «Отпрыск райского растения», «Старая могильная плита», «Иванушка-дурачок», «Из окна богадельни», «Иб и Христиночка», «Последняя жемчужина», «Пропадающая», «День девицы», «На краю моря» и «Свинья-копилка».

Сказка «Есть же разница!» сложилась у меня во время посещения Христинелунда, что близ Прэсте. У канавы росла цветущая яблонька, живое изображение самой весны. Деревце это так крепко засело у меня в голове, что я никак не мог отделаться от него, пока не пересадил его в сказку.

Сказка «Пять из одного стручка» выросла из воспоминания детства: небольшой деревянный ящик с землею, в котором был посеян лук и горох, служил тогда моим единственным садиком.

«Старая могильная плита» является настоящей мозаикой воспоминаний. Первая идея этой сказки возникла у меня в Свендборге. Мне часто приходила на память старая могильная плита, служившая ступенью лестницы перед дверями старого дома *Коллина* на Бредгадэ. А «натурой» для старого Пребена, рассказывавшего в день смерти жены о своей и ее юности, о их помолвке и помолодевшего от этих воспоминаний, послужил старый отец композитора *Гартмана*, рассказывавший о смерти старушки жены. Самый рассказ был сначала напечатан по-немецки в одном баварском календаре.

«*Иванушка-дурачок*» — вольный пересказ старой датской народной сказки и стоит как-то особняком в ряду остальных оригинальных сказок.

«*Пропащая*» — выросла, собственно, из нескольких слов, слышанных мною в детстве от матери. Я увидел однажды на улице мальчика, спешившего с бутылкой водки к реке, где полоскала белье его мать, и услышал при этом, как одна известная своей строгостью барыня кричала ему из окна: «Ты опять тащишься к матери с водкой! Гадко так делать! Смотри, и ты не пойдешь по стопам матушки! Пропащая она!» Я вернулся домой и рассказал, что слышал. Все сказали: «Да, прачка — пьяница, пропащая!» Только мать моя стала защищать ее: «Не судите ее так строго! Бедняжка из сил выбивается, вечно стоит в холодной воде и часто по целым дням не ест ничего горячего, надо же ей чем-нибудь подкрепиться! Конечно, нехорошо она поступает, да что же делать! Ей столько пришлось перенести! И она все-таки женщина честная: поглядите, как она бережет своего мальчугана!» Кроткие слова матери произвели на меня глубокое впечатление — я ведь и сам готов был вместе с другими осудить бедную прачку! Много лет спустя одно маленькое происшествие заставило меня вспомнить, как часто и легко осуждают люди ближнего, тогда как стоит отнестись к нему мягче, и все дело принимает совершенно иную окраску. Живое вспомнились мне тогда кроткие слова моей матери, и я написал «*Пропащую*».

Когда немецкое издание было распродано и приступили к изготовлению нового, оно было увеличено ранее поименованными историями из «*Путевых очерков*», «*Базара поэта*» и, наконец, из «*Народного датского календаря*»; отсюда были взяты три: «*Тернистый путь славы*», «*Еврейка*», в которую вплетено одно венгерское предание, и «*Бутылочное горлышко*». И эти все истории и сказки также были иллюстрированы Педерсеном. Последней же сказкой, которую он иллюстрировал, является «*Камень мудрецов*», которую мы и помещаем в конце этого собрания, несмотря на то, что она, как и «*Бутылочное горлышко*», принадлежит к более поздним, появившимся в новых шести выпусках «*Сказок и историй*».

Копенгаген. Июнь 1862 г.

## II. ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕМ ПОСЛЕДУЮЩИМ ТОМАМ, ВЫШЕДШИМ В 1874 г.

После смерти В. Педерсена пришлось искать другого подходящего по таланту иллюстратора для новых сказок и историй. В числе многих датских художников, которые ради собственного удовольствия и с успехом пробовали снабжать рисунками эти маленькие мои творения, находился

и г. Лоренц Фрелих, уже обративший на себя внимание своими иллюстрациями к нескольким французским книжкам, изданным для детей, но читаемым и взрослыми. Ему предложили иллюстрировать три последующих тома сказок, и он успешно выполнил эту работу.

В этих томах сказки и истории также помещены почти в том же порядке, в каком были написаны и напечатаны впервые.

Выпуски же новых сказок выходили первоначально, как и выпуски двух первых томов, без всяких иллюстраций.

Первый выпуск или, как я называю, первый сборник, вышел около Рождества 1857 г. и выдержал четыре издания. Посвящен он был госпоже Серре из Максена и содержал: «Суп из колбасной палочки», «Бутылочное горлышко», «Ночной колпак старого холостяка», «Кое-что», «Последний сон старого дуба» и «Азбука»<sup>1</sup>. В наших пословицах и поговорках зачастую лежит уже зародыш, зерно целой сказки. Я как-то высказал эту мысль и затем подтвердил ее, написав сказку «Суп из колбасной палочки».

Друг мой, Тиле, сказал мне однажды в шутку: «Надо бы вам написать историю бутылки с момента ее появления на свет и до того, когда от нее осталось одно горлышко, годное только служить стаканчиком для птицы». Я и написал «Бутылочное горлышко».

Для сказки «Ночной колпак старого холостяка» у меня имелись только два данных: историческое происхождение слова «перечный молодец» и легенда о Св. Елизавете.

Для сказки «Кое-что» я воспользовался слышанным мною в западном Шлезвиге рассказом о старухе, поджегшей свой домишко, чтобы спасти от внезапной гибели множество народа, бывшего на льду за несколько минут до наступления бури.

Сказки «Последний сон старого дуба» и «Азбука» возникли просто благодаря известному душевному настроению.

Второй сборник вышел весной 1858 г., был посвящен госпоже Лэссе, урожденной Абрагамсон, и содержал: «Дочь болотного царя», «Скоророды», «Колокольная бездна».

Первая принадлежит к числу тех сказок, обработка которых стоила мне наибольшего труда и времени. Кое-кого, может быть, и заинтересует проследить, как бы в увеличительное стекло, ее возникновение и постепенное развитие.

Сюжет этой сказки, как и всех других, пришел мне в голову сам собою и сразу, как приходит на ум какая-нибудь знакомая мелодия или песня. Я сейчас же рассказал ее одному из своих друзей, затем набросал

<sup>1</sup> Сказка эта, вследствие несоответствия датского и русского алфавитов, не поддается переводу и потому не могла быть включена в настоящее «Собрание сказок». — Примеч. перев.

на бумаге, исправил, переписал, еще раз исправил, но даже после трехкратной переделки все еще чувствовал, что некоторые частности рассказа не выступают с должной яркостью и жизненностью. Я стал перечитывать *исландские саги*, и это чтение помогло мне яснее усвоить себе жизнь древних северян, проникнуться ее истинным духом. Кроме того, я прочел несколько новейших *«Путешествий по Африке»*, произведших на меня сильное впечатление своеобразной новизной описаний; я как будто воочию увидел перед собою эту знойную страну и мог уже говорить о ней более определенно. Немалую службу сослужили мне также кое-какие вычитанные мною сведения об отлете и полете птиц, позволившие мне характернее обрисовать птиц, фигурирующих в этой сказке. В короткое время она была переделана и переписана шесть или семь раз, пока я, наконец, не почувствовал, что лучше написать не могу.

Сюжет для сказки *«Колокольная бездна»* дал мне народное поверье о водяном, обитающем в реке Одензе, и сказание о колоколе церкви Альбани.

*«Злой князь»* — старое сказание и принадлежит к числу ранних моих сказок; напечатана она была впервые в *«Салоне»* Сисбю, а позже попала в немецкие и английские издания моих сказок, так что я не захотел выпустить ее и здесь.

Третий выпуск, посвященный композитору Гартману, вышел весною 1859 г. и содержал: *«Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях»*, *«Девочка, наступившая на хлеб»*, *«Колокольный сторож Оле»*, *«Анна-Лизбета»*, *«Ребятень болтовня»* и *«Обрывок жемчужной нити»*.

В датских народных преданиях, как и в исторических записях о древнем поместье Борребю, что близ Скэлскера, встречаются сведения о *«Вальдемаре До и его дочерях»*. Эта история также принадлежит к числу тех, которые я больше всего переделывал, стараясь в самом тоне рассказа дать подражание шуму и завыванию ветра, который заставляю рассказывать.

Еще в раннем детстве я слышал историю о *«Девочке, наступившей на хлеб»*, который превратился в камень и потянул ее за собою в тину. И вот я задался целью изобразить душевное просветление, раскаяние и спасение этой девочки.

В *«Анне-Лизбете»* я хотел показать, как добрые семена, заложенные в душу человека, могут и должны, хотя бы и окольными путями, пробиться наружу и дать плод; здесь таким семенем является материнская любовь, которая возрождается к жизни благодаря душевному потрясению, вызванному испугом.

Сюжет *«Ребятень болтовни»* почерпнут из пережитого.

*«Обрывок жемчужной нити»* описывает переходное время, которое я сам пережил. Во времена моего детства несколько не казалось нео-

быкновенным употребить на переезд из Одензе в Копенгаген пять дней, тогда как теперь на это довольно почти столько же часов.

Четвертый выпуск явился к Рождеству 1859 г. и содержал истории: «Перо и чернильница», «На могиле ребенка», «Дворовый петух и флюгерный», «Как хороша!» и «На дюнах».

Всякий, кто слышал скрипачей Эрнста или Леонарда, вспомнит, наверное, при чтении сказки «Перо и чернильница» их дивную игру.

«На могиле ребенка» и «Мать» — две сказки, доставившие мне наибольшую радость, — в них нашли утешение и подкрепление многие убитые горем матери.

Почти все наивные до тошноты замечания вдовы, приведенные в истории «Как хороша!», взяты из жизни.

История «На дюнах» возникла после посещения Скагена и западного побережья Ютландии. Здесь я наткнулся на природу и народную жизнь, годные послужить фоном для идей, которые я хотел вложить в задуманное мною поэтическое произведение. Идеи эти давно бродили у меня в голове и как-то внезапно приняли определенную форму после одной беседы с Эленшлегером. Я был тогда еще очень молод, и слова его произвели на меня сильное впечатление, хотя я и думал тогда только о них, а не о том, чем они были вызваны.

Кому из нас неизвестно то душевное настроение, в котором часто высказываешь сомнение в чем-либо таком, относительно чего, в сущности, и не сомневаешься, — только из желания услышать от собеседника подтверждение своих собственных мыслей. Очень может быть, что и Эленшлегер в данном случае испытывал ту же потребность или же просто хотел испытать твердость моей веры. Мы говорили о вечной жизни, и Эленшлегер заметил вскользь: «А вы так уверены в будущей жизни?» Я принялся отстаивать свою уверенность ссылкой на справедливость Божию и в пылу разговора брякнул: «Человек вправе требовать этого!» Эленшлегер возразил: «Опять, разве не великое тщеславие с вашей стороны требовать вечной жизни? Разве Бог уже не дал вам бесконечно много и в этой жизни? Я сознаю, — продолжал он, — какую бесконечную милость оказал Он в этой жизни мне, и когда настанет мой смертный час, я закрою глаза, с благодарностью благословляя Его имя! Если же Он дарует мне вдобавок вечную жизнь, то я приму ее, как новую бесконечную милость!» — «Так можете говорить вы, — сказал я. — Господь излил на вас свои щедроты на земле; не обделил Он и меня, но сколько людей поставлены на этом свете совсем в иные условия, брошены в свет больными и телом и духом, обречены на горе и нужду! Зачем же они должны так страдать, откуда такое неравенство? Оно было бы несправедливостью, а Господь не может ее допустить! Он воздает, возвышает и разрешает то, чего мы не в силах разрешить!» Вот эти-то мысли и были положены в

основу рассказа «На дюнах». По выходе его в свет один критик отозвался, что слова сомнения, на которых построена вся сказка, вряд ли были услышаны мною от кого-либо, не говоря уже о том, чтобы я сам мог носить их в своей душе, и что рассказ вследствие этого грешит против истины. Насколько помню, этим же критиком, или другим столь же сведущим лицом, было высказано также, что всякий, кто прочтет мои описания Ютландии и Скагена и сам отправится туда в чаянии найти такую именно поэтическую природу, наверно, разочаруется. Случилось, однако, так, что г-н Бринк Сейделин, человек, который лучше всех мог судить о правдивости моих описаний (он сам дал превосходное описание Скагена в «Областных ведомостях»), как раз явился ко мне, чтобы выразить свое искреннее удовольствие по поводу верности и правдивости, с которыми я обрисовал тамошнюю природу. Получил я затем письмо и от скагенского священника: и ему очень понравились описания природы — главным образом своей правдивостью. Кончалось же его письмо так: «Мы сами готовы поверить вашему рассказу и говорить чужеземцам, посещающим песчаную насыпь над церковью: *«Здесь погребен Юрген!»*»

Один молодой человек из местных жителей оказал мне, во время моего пребывания на дюнах, большое внимание, ездил со мной по окрестностям и к Старому Скагену. По дороге туда мы проезжали мимо засыпанной церкви, от которой виднелся лишь верх колокольни, служивший как бы маяком для моряков. Спутник мой не захотел предпринять утомительной прогулки по песку, я же слез с телеги и один взобрался на насыпь, которую затем и описал в своем рассказе. И вдруг я слышу потом, что мой вообще любезный проводник, прочитав «На дюнах», рассказывает, что я никогда не был на насыпи, — он знает это, так как сам ездил со мною по окрестностям! Многих, кажется, очень позабавило такое утверждение, будто я описываю то, чего не видел сам, но меня нисколько. И вот однажды я встречаю в Копенгагене того самого господина и спрашиваю его: «А вы помните еще нашу поездку?» — «Как же, — ответил он, — мы ведь проезжали внизу, мимо церкви, когда ехали в Старый Скаген!» — «Проехали мимо вы, — говорю я ему, — но как же вы не помните, что я слезал с телеги и пешком взбирался наверх». И я подробно описал ему все, что видел там примечательного. «Все это точь-в-точь так! — сказал он. — И в таком случае вы, конечно, побывали там; я просто позабыл об этом!» Я напомнил ему также о том месте, где я догнал его и поехал с ним дальше. «Помню, помню! — сказал он на это. — Да сам-то я не взбирался наверх, ну, думал, что и вы тоже не взбирались!» Я сообщаю этот маленький факт ради самого факта, а то, пожалуй, после моей смерти кто-нибудь, услышав эту историю из собственных уст моего проводника, поверит, что я описываю то, чего сам не видел никогда.



Из разговоров с местными крестьянами и рыбаками я вынес много характерных сведений, которыми также воспользовался в своем рассказе; но как раз относительно одной из таких характерных подробностей я и получил от одного рецензента дружеский совет «пользоваться для подобных описаний указаниями местных жителей». А я как раз это и сделал!

«На дюнах» доставила мне сердечное спасибо и близкое знакомство поэта Паллудана-Мюллера, которыми я настолько дорожу, что и упоминаю о них здесь.

«Два брата» — фантастическая виньетка к жизни братьев Эрстедов.

«Старый колокол» написан по приглашению внести свою лепту в «Альбом Шиллера». Я захотел ввести в эту сказку датский элемент, и кто прочтет ее, увидит, удалось ли мне это.

Весною 1861 г. вышли «Новые сказки и истории». В этот выпуск, посвященный министру народного просвещения Д.Г.Монраду, вошли: «Двенадцать пассажиров», «Навозный жук», «Уж что муженек делает, то и ладно!», «Камень мудрецов», «Снегур», «На утином дворе» и «Муза нового века».

В одном из номеров журнала «Household words» Чарльз Диккенс поместил некоторые из арабских пословиц и поговорок; из них он особенно отметил следующую: «Дают золотые подковы царской лошади, а навозный жук тоже протягивает ножки». «Мы рекомендуем, — говорит Диккенс в своем примечании к этим пословицам, — Г.Х. Андерсену написать на эту тему сказку». И желание у меня было явилось, да сказка-то нет! Только девять лет спустя, во время посещения уютного поместья Баснэса, где я случайно опять прочел это приглашение Диккенса, в голове у меня сразу сложилась сказка «Навозный жук».

«Уж что муженек сделает, то и ладно!» принадлежит к датским народным сказкам, слышанным мною в детстве; я только пересказал ее по-своему.

В течение этих многих лет я, если можно так выразиться, испытал свои силы во всех радиусах сказочного круга, и поэтому мне нередко приходили в голову идеи или мотивы, уже затронутые мною раньше, но я в таких случаях или совсем отказывался от них, или старался облечь их в совершенно новую форму. Таким образом, рассказ «Камень мудрецов» получил восточный колорит и сильно отзывается аллегорией. Меня часто упрекали в философском направлении последних сказок, что, дескать, не в моем жанре; повод к таким упрекам подали, вероятно, главным образом упомянутая сказка и помещенная в том же выпуске фантазия «Муза нового века». Последняя, однако, совершенно в духе всех моих сказок. Вообще и говорили и писали, что этот выпуск слабее всех прежних, а между тем в него входят две из наиболее удавшихся мне по форме сказок: «Уж что старик сделает, то и ладно!» и «Снегур». Последний написан к Рождеству, во время пребывания моего в прекрас-

ном Баснэсе, и предпочтительно перед всеми другими сказками достиг большой популярности благодаря превосходной передаче его артистом королевского театра *Манциусом*.

В последнее время стали поговаривать, что главное значение имеют мои первые сказки, все же позднейшие далеко уступают им. Вряд ли это так, но объяснить эти отзывы все-таки можно. Многие, познакомившиеся с моими первыми сказками в детстве, просто утратили с годами душевную свежесть и восприимчивость. Затем, иным, может быть, стало казаться, что широкая популярность сказок и значение, которое придается им повсюду, должны уж чересчур вскружить автору голову, и так как первые сказки уже прошли через огонь испытания, то их и оставили в покое, а стали придираться к новым. Порицать ведь надо! Наконец, часто люди говорят о сказках, сами не отдавая себе ясного отчета, какие принадлежат к старым и какие к позднейшим. Сколько раз мне приходилось слышать: «Ну, мне больше нравятся ваши самые первые сказки!» А когда я спрашивал: «Какие же именно?» — мне чаще всего отвечали: «*Мотылек*», «*Истинная правда*», «*Снегур*», а эти-то как раз и принадлежат к новым, некоторые даже к самым новейшим сказкам.

Но если уж непременно считать этот выпуск одним из неудачных, с чем я, впрочем, не могу согласиться, то следующий, вышедший на Рождество 1861 г., придется, вероятно, отнести к удачнейшим. В него вошли: «*Дева Льдов*», «*Мотылек*», «*Психея*» и «*Улитка и розовый куст*». Выпуск этот посвящен был поэту *Бьернстерне-Бьернсону*.

«*Дева Льдов*» написана в Швейцарии. Это было уже не первое мое посещение Швейцарии, но на этот раз я провел в ней, проездом из Италии на родину, более продолжительное время. Орлиное гнездо и помилку орленка я описал со слов баварского народного поэта *Коппеля*. «*Мотылек*» также написан в Швейцарии; он пришел мне в голову во время прогулки из Монтрэ в Шильонский замок. «*Психея*» написана несколькими месяцами раньше, когда я еще был в Риме. Мне вспомнилось событие, случившееся там в первый мой приезд, в 1833—1834 годах, которое и подало мне первую мысль: умерла одна молодая монахиня и, когда рыли для нее могилу, нашли в земле превосходную статую Бахуса.

В сказке «*Улитка и розовый куст*» затронута кое-что из пережитого. После выхода этого сборника наступил тяжелый печальный год войны; Дания лишилась Шлезвига; кто мог думать в это время о чем-либо другом? Поэтому прошло больше года, прежде чем вышел (около Рождества 1865 г.) новый выпуск сказок, посвященный нашему даровитому балетмейстеру *Августу Бурнонвилю* и содержавший: «*Блуждающие огоньки в городе*», «*Ветряная мельница*», «*Серебряная монетка*», «*Епископ Берглумский и его родичи*», «*В детской*», «*Золотой мальчик*» и «*Буря перемещает вывески*».

Сказка *«Блуждающие огоньки в городе»* написана под тяжелым впечатлением, оставленным после себя печальным годом войны, и в ней найдется немало намеков на разные злобы времени.

На дороге между Сорё и Гольстейнборгом стоит ветряная мельница; я часто проезжал мимо нее, и мне всегда казалось, что она так и просится в сказку! Наконец она и попала! Самая же фабула сказки послужила мне рамкой для изложения некоторых верований.

*«Серебряная монетка»* написана в Ливорно. Я приехал туда из Чевита-Веккия на пароходе; на судне я разменял скудо на мелочь, и мне дали в числе прочих монет фальшивый двухфранковик. Никто не хотел брать его от меня; мне сначала досадно было, что меня надули, но скоро у меня блеснула идея сказки, и я таки вернул ею мою потерю.

*«Епископ Берглумский»* написан после посещения Берглумского монастыря. Это хорошо известное событие из мрачной, жестокой эпохи, которая, однако, еще многими зовется прекрасной и желанной, обрисовано здесь в контраст нашему, конечно, более светлому и счастливому времени.

*«Золотой мальчик»* написан в имении Фрийсенборге. Лесное уединение, роскошный цветущий сад, уютные покои замка — все это связано в моих воспоминаниях с этой сказкой, которая расцвела, как цветок, из души, озаренной солнцем мира и счастья.

*«Буря перемещает вывески»* написана одновременно с *«Птицей народной песни»* в Копенгагене около Рождества. Цеховые торжества описаны мною по воспоминаниям детства, проведенного в Одензе.

Сказка *«Чайник»* написана в Толедо.

*«Зелененькие крошки»*, так же, как и *«Пейтер, Петр и Пейр»*, написаны в вилле *«Rolighed»*<sup>1</sup> и вылились сразу благодаря счастливому и веселому настроению духа, в какое приводит нас жизнь в счастливой семье.

Основным мотивом для сказки *«Домовой и хозяйка»* послужило народное поверье о домовом, дразнящем цепную собаку.

Следующий выпуск, посвященный художнику Карлу Блокку и вышедший к Рождеству 1860 г., содержал: *«Скрыто — не забыто»*, *«Сын привратника»*, *«День переезда»*, *«Подснежник»*, *«Тетушка»* и *«Жаба»*.

В сказке *«Скрыто — не забыто»* дано три картинки. Мотив первой взят из *«Народных сказаний»*, собранных Тиле; в одном из них рассказывается о госпоже, которую разбойники посадили на цепь вместо дворовой собаки. Я же прибавил от себя о том, как она спаслась. Вторая картинка — современная; самый же случай произошел при мне в Гольстейнборге. Третья картинка, рисующая бедную, удрученную горем де-

<sup>1</sup> Роскошная вила на берегу Зунда, неподалеку от Копенгагена, в которой подолгу жил и умер Андерсен, окруженный нежными заботами семьи владельца ее Морица Мельхиора. — Примеч. перев.

вушку, тоже срисована с натуры; я слышал эту историю из собственных уст девушки.

«Сын привратника» содержит много черт, заимствованных прямо из жизни.

«Тетушку» я знал лично, и не одну, а несколько таких особ, которые теперь все мирно почивают в могилах.

«Подснежник» написан по просьбе моего друга *Древсена*; он вообще горячо любил старину и родной язык и как-то раз жаловался мне на искажение многих хороших старых датских слов и выражений. Так, например, садовники печатают весною в газетах объявления о каких-то «*Vintergaekke*» (зимних дурачках), тогда как в дни нашей молодости эти цветы носили другое, куда более понятное название: «*Sommergoekke*» (летних дурачков): они ведь оставляют нас в дураках, преждевременно пообещав нам лето. В заключение *Древсен* попросил меня написать сказку, в которой бы оказывалось преимущество старого названия, я и написал сказку «*Sommergoekken*» (подснежник).

Сказка «*Жаба*» пришла мне в голову во время пребывания в Сетубале летом 1866 г. У одного из колодцев, из которых вода черпается большими кувшинами, поднимаемыми воротом, я увидел однажды большую безобразную жабу. Вглядевшись в нее, я обратил внимание на ее умные глаза, и скоро у меня сложилась целая сказка, которая позже, по возвращении моем в Данию, и была написана, но получила чисто датский колорит.

«Альбом крестного» имеет свою краткую историю.

Однажды я встретил на улице нашего заслуженного археолога *Томсена*, только что вернувшегося из Парижа; он рассказал мне, что видел там в одном из второстепенных театров что-то вроде исторической народной комедии, сюжетом для которой послужило развитие Парижа как города. В общем комедия была, по словам *Томсена*, лишена всякой поэтичности, плохо скомпонована, но все-таки интересна, как ряд картин, рисующих различные эпохи. Он полагал, что я мог бы воспользоваться этою идеей и написать для нашего «Казино» более поэтическую народную комедию, в которой было бы изображено историческое развитие Копенгагена. В то время как я обдумывал план этой комедии, наступил как раз тот памятный вечер, в который Копенгаген впервые осветился газом. Но бок о бок с газовыми горели в этот вечер в последний раз и ворванные фонари, как бы для сравнения и сопоставления с новыми. Вот это-то сопоставление и послужило мне рамкой для целого ряда исторических картин. Для того же, чтобы провести через все произведение красной нитью идею красоты, я решил ввести в него мощные каменные глыбы, еще с незапамятных времен занесенные на мель, на которой затем воздвигся Акселев дом, а в наше время послужившие основанием для здания — хранилища образов

красоты, изваянных из мрамора Торвальдсеном. Долго я трудился над разработкой этой идеи, но она уж чересчур разрослась; да если бы даже я и довел ее до конца, то все равно ее нельзя было бы поставить на небольшой сцене «Казино» и при наличных силах труппы этого театра. Вследствие этого я отказался от своей первоначальной мысли, но воспользовался затем самой идеей для альбома-тетрадки, в которую я вклеивал рисунки, собранные и вырезанные отовсюду. Рисунки эти я связал краткими рассказами, и вышла связная история «*Жизнь-бытие Копенгагена, или Ворвань и газ*». Гораздо позже история эта была напечатана в «*Illustreret Tidende*», разумеется, без моих рисунков и в сокращенном виде. Впоследствии же она перешла в «*Путевые очерки и наброски пером*» («*Собрание сочинений*», т. 28), но критика нашла, что место ее скорее между сказками и историями. Вот почему она и помещена в данном собрании сказок.

Сказка «*Тряпье*» написана гораздо раньше «*Альбома крестного*». В то время норвежская литература еще не отличалась той свежестью, значением и разнообразием, как теперь. Мунк только что начал писать; Бьернсона, Ибсена, Ионаса Лие, Магдалены Торесен и др. еще не знали, но норвежцы уже начали сильно прохаживаться насчет датских писателей, не пощадили даже и Эленслегера. Меня это взорвало, и мне захотелось тоже сказать свое слово, отщелкать норвежцев в какой-нибудь маленькой сказке. Я и написал ее в следующее же лето во время продолжительного пребывания в Силькеборге, где я гостил у бумажного фабриканта *Михаэля Дреусена*. Там я ежедневно видел перед фабрикой огромные кучи тряпья, собранного отовсюду. Сказку нашли забавной, но сам я находил в ней больше пчелиного яда, чем меда поэзии, и отложил ее в сторону. Много лет спустя, когда сатира — если таковая есть в сказке — уже утратила силу современности, я опять взялся за нее и отнесся к обеим тряпкам одинаково доброжелательно и юмористично. Как датские, так и норвежские друзья мои посоветовали мне напечатать эту сказку, и я поместил ее в «*Народном календаре*» 1869 г.

Сказка «*Вэн и Глэн*» возникла из импровизированного мною тоста за обедом в Гольстейнборге, где собрались копенгагенские инженеры обсудить проект соединения Глэна с Зеландией.

В 1868 г. вышла отдельным выпуском сказка «*Дриада*». Весною 1867 г. я посетил всемирную выставку в Париже, и никогда еще город этот не производил на меня такого сильного и полного впечатления, как в это посещение. К моему прибытию главное здание выставки было возведено, но сама выставка еще не вполне закончена и все-таки производила уже мощное, подавляющее впечатление. Все французские и иностранные газеты шумели о великолепии выставки; один датский корреспондент уверял, что никто, кроме Чарльза Диккенса, не был бы в состоянии дать описание ее; мне, однако, показалось, что это могло,



пожалуй, удастся и мне. Я представил себе, какая будет для меня радость, если мне удастся выполнить эту задачу так, что я заслужу одобрение и земляков своих, и иностранцев! Воодушевленный этой мыслью, смотрел я раз из окна своего отеля на площадь, где валялось выдернутое из земли каштановое дерево; рядом с ним на телеге лежало свежее, молодое деревце, только что привезенное из деревни, и вот идея сказки о парижской выставке выглянула из своего убежища — молодого зеленого деревца. *Дриада* кивнула мне головкой! И день за днем, и во время пребывания моего в Париже, и по возвращении домой, история жизни *Дриады* не переставала слагаться у меня в уме в связи с описанием парижской выставки. Последней я, однако, не видел в полном ее расцвете, а между тем я хотел дать верную и полную картину ее, и мне пришлось вернуться на нее еще раз в сентябре. Возвратившись опять в Копенгаген, я окончил сказку и посвятил ее старому своему другу поэту *И.М. Тиле*.

В 1870 г. вышли, также отдельным выпуском, «Три новые сказки и истории»: «*Предки птичницы Греты*», «*Доля репейника*» и «*Что можно придумать*».

Этот выпуск я посвятил своему верному другу в тяжелые и счастливые дни, *Эдварду Коллину*.

Однажды я случайно прочел в «*Laalands-Falsters Stifstidende*» (Областные ведомости Лоланда-Фальстера) кое-какие исторические заметки о личности *Марии Груббе*, знатной девицы, вышедшей сначала за сводного брата короля *Христиана V*, *Ульриха Фредерика Гюльденлеве*, затем за одного ютландского помещика, наконец, за бедного матроса, попавшего впоследствии на каторгу, и кончила жизнь перевозчицей на острове Фальстер.

В заметке была ссылка на «*Письма Гольберга*». В них Гольберг рассказывает о том, как он, молодым студентом, бежал из Копенгагена, где свирепствовала чума, на остров Фальстер и квартировал там у перевозчицы, матушки *Серен-Серенсен-Меллер*, некогда знатной девицы *Марии Груббе*. Тут был богатый материал для поэтического произведения; в «*Датском атласе*» и в «*Народных сказаниях*» *Тиле* я нашел еще некоторые сведения и написал историю: «*Предки птичницы Греты*»<sup>1</sup>.

Идею для сказки «*Доля репейника*» подал мне виденный мною в поле, близ Баснэса, великолепный экземпляр этого растения, который мне захотелось пересадить в сказку.

В сказке «*Что можно придумать*» найдется немало намеков на современную действительность.

<sup>1</sup> Сюжетом этим воспользовался также другой датский поэт, *Якобсен*, для своего романа «*Мария Груббе*», который занимает почетное место среди художественных произведений датской литературы.



К Рождеству 1871 г. вышли «Новые сказки и истории», посвященные моим издателям братьям Теодору и Карлу Рейцель. Вот перечень их: «И в щепке порою скрывается счастье», «Комета», «Дни недели», «Истории солнечного луча», «Прадедушка», «Кто же счастливейшая?», «Свечи», «Самое невероятное», «Что сказала вся семья», «Пляши, куколка, пляши!», «Спроси тетку с Амагера»<sup>1</sup>, «Большой морской змей», «Садовник и господа».

Все эти сказки и истории написаны в последний год, и двенадцать первых уже были прежде напечатаны в различных газетах и повременных изданиях.

История «И в щепке порою скрывается счастье» написана во время летнего пребывания в Швейцарии, на Юре. Там я услышал рассказ об одном бедном токаре, который вздумал заменить часто отскакивавшую пуговку от своего зонтика маленькой точеной грушей, нашел новую застежку, куда более практичную, нежели прежняя, и выточил такие же кое-кому из соседей для их зонтиков. Скоро он получил множество заказов на такие застежки и через несколько лет сделался зажиточным человеком. Вот это-то и послужило мне сюжетом для моей истории.

Уже в зрелом возрасте случилось мне опять увидеть ту комету, которую я видел ребенком; мне казалось, что я видел ее впервые только вчера, а между тем между этими двумя вечерами лег уже длинный ряд годов и воспоминаний, и вот я написал «Комету».

«Дни недели» — импровизация; мне предложили экспромтом рассказать сказку о днях недели; напечатана же она впервые в календаре Торкильссена.

В «Историях солнечного луча» подразумеваются известные выдающиеся люди нашей страны.

История «Прадедушка» написана по воспоминанию об одном разговоре с Г.Х. Эрстедом о старом времени и новом.

«Свечи» — маленькая картинка с натуры.

Сюжеты для истории «Самое невероятное» и «Что сказала вся семья» также дала действительная жизнь.

«Большой морской змей» принадлежит, как и «Дриада», к чисто современным сказкам. Современные открытия и изобретения представляют богатый материал для поэта; обратил же на этот материал мое внимание Г. Х. Эрстед.

История «Садовник и господа» еще не была нигде напечатана. Сюжет ее взят прямо из современной жизни, чем, вероятно, главным образом

<sup>1</sup> Небольшой рифмованный рассказ-шутка, неизвестно почему помещенный автором в собрание сказок; по своему чисто национальному колориту вещь эта не поддается переводу, да и не представляет к тому же для русских читателей никакого интереса. — Примеч. перев.

и объясняется тот успех, которым она пользуется. Особенную же популярность приобрела она благодаря чтению ее со сцены. Во время моей молодости в концертных программах фигурировали также и декламационные номера, но декламировались всегда одни стихотворения. Прекрасная артистка королевского театра госпожа *Юргенсен* первая попыталась прочесть на концерте одну из моих сказок. После нее артистически читали со сцены «Новый наряд короля» актер *Фистер* и покойные *Розенкильде* и *Нильсен*. К превосходным чтецам сказок принадлежат, кроме упомянутых, еще артисты: *Михаэль Виге* («Истинная правда», «Воротничок» и «Иванушка-дурачок»), *Гете* и *Манциус*. Из артистов же «Казино» считаю долгом назвать *Христиана Шмидта*, *Стигора* и *Мадсена*.

К Рождеству 1872 г. вышла третья серия сказок — «Новые сказки и истории». Сюда вошли: «О чем рассказывала старуха *Иоганна*», «Ключ от ворот», «Сидень» и «Тетушка зубная боль».

Скажу несколько слов и об этих историях.

В детстве я видел в родном городе *Одензе* человека, худого, как щепка, желтого, сморщенного — кожа да кости! Старушка, часто занимавшая меня своими сказками и историями о привидениях, объяснила мне, почему он выглядит таким жалким: на его голову заварили кашу, и она кипела все время, пока он был в чужих краях. Дело в том, что невеста его соскучилась по нему и пошла к знахарке, а та заварила кашу, положила в нее всякой чертовщины и поставила на огонь кипеть: где бы ни находился парень, он должен был без оглядки, без отдыха спешить домой, где кипела каша и ждала его невеста. Но когда он добрался до дому, от него остались одни кости да кожа, и он сделался на всю жизнь немощным. Доказательство было налицо: стоило мне взглянуть на беднягу. Рассказ этот произвел на меня глубокое впечатление, и я воспользовался им для истории «О чем рассказывала старуха *Иоганна*».

Для истории «Ключ от ворот» я воспользовался кое-какими чертами из области суеверия. Не так давно и в *Копенгагене* было в большом ходу «столоверчение». Многие, даже люди даровитые и выдающиеся, верили, что в столах и в разной другой мебели живут духи. С «ключевыми духами» я познакомился в *Германии* в одном богатом поместье, принадлежавшем людям весьма развитым и образованным. Ключ давал ответы на всевозможные вопросы, и многие верили этому. В истории «Ключ от ворот» я и затронул эту тему, но время действия перенес в более раннюю эпоху, нежели та, в которую я сам познакомился с «ключевой мудростью». Посещение же советника лавочником и артистическое образование *Лотты-Лены* взяты прямо из жизни.

История «Сидень» одна из последних моих сказок — я думал даже, что она будет самой последней, — и так как принадлежит, на мой взгляд, к числу лучших и к тому же является своего рода прославлением сказки, то годилась бы, пожалуй, для заключения всего собрания.

После нее я написал, однако, еще одну — *«Тетушку Зубную боль»*.

Сказки и истории переведены почти на все европейские языки и в течение многих лет успели стать как в отечестве моем, так и далеко за пределами любимым чтением и старых, и малых. Мне, таким образом, выпало на долю высшее счастье, вообще выпадающее авторам. Но когда человек, подобно мне, приближается к предельному человеческому возрасту — библейскому «семью-десять», то пора подумать, что эта счастливая деятельность близка к своему концу. Вот я к этому Рождеству и подношу читателям все мое богатство — полное собрание сказок и историй, и пусть слова скрипача из сказки *«Перо и чернильница»* послужат моими заключительными словами: если я и сделал что-либо хорошее, то *«Богу одному честь и хвала!»*

«Rolighed», 6 сентября 1875 г.

Г. Х. АНДЕРСЕН

# СОДЕРЖАНИЕ

КОЕ-ЧТО . . . . .	5
ПОСЛЕДНИЙ СОН СТАРОГО ДУБА . . . . .	10
ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ . . . . .	15
СКОРОХОДЫ . . . . .	44
КОЛОКОЛЬНАЯ БЕЗДНА . . . . .	47
ЗЛОЙ КНЯЗЬ . . . . .	50
ВЕТЕР РАССКАЗЫВАЕТ О ВАЛЬДЕМАРЕ ДО И ЕГО ДОЧЕРЯХ . . . . .	52
ДЕВОЧКА, НАСТУПИВШАЯ НА ХЛЕБ . . . . .	61
КОЛОКОЛЬНЫЙ СТОРОЖ ОЛЕ . . . . .	69
АННА-ЛИЗБЕТА . . . . .	74
РЕБЯЧЕСКАЯ БОЛТОВНЯ . . . . .	83
ОБРЫВОК ЖЕМЧУЖНОЙ НИТИ . . . . .	85
ПЕРО И ЧЕРНИЛЬНИЦА . . . . .	90
НА МОГИЛЕ РЕБЕНКА . . . . .	92
ДВОРОВЫЙ ПЕТУХ И ФЛЮГЕРНЫЙ . . . . .	97
«КАК ХОРОША!» . . . . .	99
НА ДЮНАХ . . . . .	105
ДИРЕКТОР КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА . . . . .	134
ДВА БРАТА . . . . .	138
СТАРЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КОЛОКОЛ . . . . .	140
ДВЕНАДЦАТЬ ПАССАЖИРОВ . . . . .	144
НАВОЗНЫЙ ЖУК . . . . .	148
УЖ ЧТО МУЖЕНЕК СДЕЛАЕТ, ТО И ЛАДНО . . . . .	155

СНЕГУР . . . . .	160
НА УТИНОМ ДВОРЕ . . . . .	164
МУЗА НОВОГО ВЕКА . . . . .	169
ДЕВА ЛЬДОВ . . . . .	174
МОТЫЛЕК . . . . .	215
ПСИХЕЯ . . . . .	217
УЛИТКА И РОЗОВЫЙ КУСТ . . . . .	227
«БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ В ГОРОДЕ!» . . . . .	229
ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА . . . . .	239
СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТКА . . . . .	241
ЕПИСКОП БЕРГЛУМСКИЙ И ЕГО РОДИЧИ . . . . .	246
В ДЕТСКОЙ . . . . .	251
ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК . . . . .	255
БУРЯ ПЕРЕМЕЩАЕТ ВЫВЕСКИ . . . . .	263
ЧАЙНИК . . . . .	267
ПТИЦА НАРОДНОЙ ПЕСНИ . . . . .	269
ЗЕЛЕННЫЕ КРОШКИ . . . . .	273
ДОМОВОЙ И ХОЗЯЙКА . . . . .	275
ПЕЙТЕР, ПЕТР И ПЕЙР . . . . .	279
СКРЫТО — НЕ ЗАБЫТО . . . . .	283
СЫН ПРИВРАТНИКА . . . . .	287
«ДЕНЬ ПЕРЕЕЗДА» . . . . .	302
ПОДСНЕЖНИК . . . . .	306
ТЕТУШКА . . . . .	309
ЖАБА . . . . .	314
АЛЬБОМ КРЕСТНОГО . . . . .	321
ТРЯПЬЕ . . . . .	342
ВЭН И ГЛЭН . . . . .	344
КТО ЖЕ СЧАСТЛИВЕЙШАЯ? . . . . .	346

ДРИАДА . . . . .	.350
ПРЕДКИ ПТИЧНИЦЫ ГРЕТЫ . . . . .	.368
ДОЛЯ РЕПЕЙНИКА . . . . .	.379
ЧТО МОЖНО ПРИДУМАТЬ . . . . .	.384
И В ЩЕПКЕ ПОРОЮ СКРЫВАЕТСЯ СЧАСТЬЕ! . . . . .	.387
КОМЕТА . . . . .	.389
ДНИ НЕДЕЛИ . . . . .	.393
РАССКАЗЫ СОЛНЕЧНОГО ЛУЧА . . . . .	.395
ПРАДЕДУШКА . . . . .	.399
СВЕЧИ . . . . .	.403
САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ . . . . .	.406
ЧТО СКАЗАЛА ВСЯ СЕМЬЯ . . . . .	.410
«ПЛЯШИ, КУКОЛКА, ПЛЯШИ!» . . . . .	.413
БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ ЗМЕЙ . . . . .	.415
САДОВНИК И ГОСПОДИН . . . . .	.423
БЛОХА И ПРОФЕССОР . . . . .	.429
О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЛА СТАРУХА ИОАННА . . . . .	.433
КЛЮЧ ОТ ВОРОТ . . . . .	.445
ТЕТУШКА ЗУБНАЯ БОЛЬ . . . . .	.455
СИДЕНЬ . . . . .	.464
ПРИМЕЧАНИЯ Г.Х.АНДЕРСЕНА К ПОЛНОМУ СОБРАНИЮ СКАЗОК И РАССКАЗОВ . . . . .	.472



Ганс -Христиан  
АНДЕРСЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ 2

Редактор

С. Кондратов

Художественный редактор

И. Сайко

Технический редактор

Г. Шитова

Корректоры

В. Антонова, М. Александрова,

В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 29.12.94. Формат 70 X 100 1/16. Бумага  
офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 40,3. Уч.-изд. л. 33,18. Тираж 15 000 экз. Заказ 811

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл.,  
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском полиграфкомбинате Комитета Российской  
Федерации по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

